Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

13

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Ф. М. Достоевский.

Фотография Н. Досса. 1876 г. Петербург.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА I—XVII

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · ЛЕНИНГРАД
1975

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ

ПОДРОСТОК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1975

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР*

*

Текст подготовила Г. Я. ГАЛАГАН

Редактор XIII тома Е. И. КИЙКО

Д $\frac{70301-508}{042(02)-75}$ **Подписное**

ПОДРОСТОК

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

I

Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово всё, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но всё это в сторону. Однако вот и предисловие; более, в этом роде, ничего не будет. К делу; хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, — может быть, даже и ко всякому делу.

II

Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с девятнадцатого сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил...

Но объяснить, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло; даже, я думаю, и тон этот пошл: дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим.

Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро девятнадцатого сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому.

III

Я — кончивший курс гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой — Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я — законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версилов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою всё мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя.

Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло,

до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки...

Приехал он тогда в деревню «бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться: редко кто мог столько вызлиться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителишка, гувернер, инспектор, поп — все, кто угодно, спрося мою фамилию и услыхав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:

— Князь Долгорукий?

И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:

— Нет, *просто* Долгорукий.

Это *просто* стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сем, в виде феномена, что я не помню ни одного исключения: все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я *просто* Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо-равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузящийся новичок, в первый день поступления в школу (в какую бы то ни было), есть общая жертва: ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет.

— Как твоя фамилия?

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий.

— А, просто! Дурак.

И он прав: ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины.

Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос: ты князь? всегда отвечал:

— Нет, я — сын дворового человека, бывшего крепостного.

Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь? твердо раз ответил:

— Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова.

Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть вскорости несомненно убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей — впрочем, он один и был — нашел, что я «полон мстительной и гражданской идеи». Вообще же приняли эту выходку с какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:

— Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться; но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконнорожденный... а вы точно именинник!

С тех пор я перестал *хвалиться,* что незаконнорожденный. Повторю, очень трудно писать по-русски: я вот исписал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию, а между тем читатель наверно уж вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унизительно.

IV

Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка; то есть она мне не тетушка, а сама помещица; но, не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это — Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова (в пятьсот душ), и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела; я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна — существо благородное и даже оригинальное.

Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого (говорили, что он был тогда мра-

чен), но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет; покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят даже, за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неправоспособен, как крепостной, подозвав Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел «показать себя». Он не то чтобы был начетчик или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке), не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, «жил почтительно», — по собственному удивительному его выражению, — вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из дворни: тут уж его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю наверно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояния приказчика отдать в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и всё, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим; под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Всё это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.

V

Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про всё это с самым непринужденным и «остроумным» видом, что романа никакого не было вовсе и что всё вышло *так*. Верю, что

так, и русское словцо это: *так* — прелестно; но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе; с детства меня отдали в люди, для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после; а потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытною стороною рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал (точно из кармана), когда видел, что это необходимо, — он сам говорил мне, что тогда он был весьма «глупым молодым щенком» и не то что сентиментальным, а *так,* только что прочел «Антона Горемыку» и «Полиньку Сакс» — две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за «Антона Горемыки», может, и в деревню тогда приехал, — и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот «глупый щенок» с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого «развлечения» Версилов мог выбрать другую, и такая там была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с «Антоном Горемыкой», разрушать, на основании поме-

щичьего права, святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого «Антона Горемыку» он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть двадцать лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену! Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла mademoiselle Сапожкова (по-моему, выиграла). Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать (потому что не всегда можно было с ним разговаривать), со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно: что мать моя была одна такая особа из *незащищенных,* которую не то что полюбишь, — напротив, вовсе нет, — а как-то вдруг почему-то *пожалеешь,* за кротость, что ли, впрочем, за что? — это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго; пожалеешь и привяжешься... «Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься». Вот что он сказал мне; и если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было.

Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по «приниженности»: еще бы выдумал, что по крепостному праву! Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства!

Всё это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней, тогдашней, не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее беда совершилась. Кстати, надо поправиться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у них прямо *с беды.* (Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтоб не понять сразу, об чем я хочу сказать.) Одним словом, началось у них именно по-помещичьи, несмотря на то что была обойдена mademoiselle Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версилов, с такою особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина, с женщиной сходясь, начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты; тем не менее Версилов, если б и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей «Полиньку Сакс»? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы; напротив, по его же словам

(он как-то раз расходился), они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали как мячики, с красными лицами, если кто проходил, и «тиран помещик» трепетал последней поломойки, несмотря на всё свое крепостное право. Но хоть и по-помещичьи началось, а вышло так, да не так, и, в сущности, все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версилов, — это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному «молодому щенку» (а они были все развратны, все до единого — и прогрессисты и ретрограды) — не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романическое его положение молодого вдовца и его бездельничанье. Но полюбить на всю жизнь — это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь — это верно.

Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то что так близко сошелся с нею прошлого года и, сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что *перед ним виноваты,* не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше чем какого-то бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же женщина была моя мать? Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь, даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое, при известном простодушии жертвы, овладевает фатально и трагически. Почем знать, может быть, она полюбила до смерти... фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и «приниженностью»! Итак, мог же, стало быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель — это-то и мать моя, на-

деюсь, понимала всю жизнь; только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе; но так всегда у этих «беззащитных»: и знают, что гибель, а лезут.

Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она — она в то время лежала где-то в забытьи, в своей дворовой клетушке...

VI

Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, вскорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу; тогда оставлял большею частью на попечении тетушки, то есть Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвертывалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя — болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, — так по крайней мере мне сказали: она быстро стала стареть и хилеть.

Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловы ни были, жили ли по нескольку лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе «семейство». Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел; в них мало чего-нибудь личного; напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах: извещения прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения — и всё. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и всё высшее знание обращения в этой среде. «Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон»... «Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое». Детки все прописывались поимянно, по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал «его высоко-

родия достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим «благодетелем», хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон, испрашивая у него милости, а на самого его благословение божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью вскорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил; зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда так приходилось, имела свою квартиру, особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю.

Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию «Долгорукий». Разумеется, это — смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами!

Если я и сказал, что всё семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему, а крикун ребенок, разумеется, был всему помехою, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова.

VII

Теперь совсем о другом.

Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово: «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль — то самое, для чего я живу на свете. Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и всё поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разум-

нымп. Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали и, если возможно, чтоб забыли меня вовсе (то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили), и, наконец, что в университет я «ни за что» не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение «идеи» к делу еще на четыре года; я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версилов, отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет (и который в один этот миг успел поразить меня), Версилов, в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие), вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом, — этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно, мне, между прочим, понравилось в его письмеце (одна маленькая страничка малого формата), что он ни слова не упомянул об университете, не просил меня переменить решение, не укорял, что не хочу учиться, — словом, не выставлял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению, а между тем это-то и было худо с его стороны в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет, — рассуждал я, — во всяком случае я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от *главного,* то тотчас же с ними порву, брошу всё и уйду в свою скорлупу». Именно в скорлупу! «Спрячусь в нее, как черепаха»; сравнение это очень мне нравилось. «Я буду не один, — продолжал я раскидывать, ходя как угорелый все эти последние дни в Москве, — никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор: со мной будет моя

идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились, и дали мне счастье, и я прожил бы с ними хоть десять лет!» Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг в Петербурге (ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться), — эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною из главнейших причин многих моих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей.

Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне. Что отец — это бы еще ничего, и нежностей я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы взасос (если можно так о мечте выразиться). Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им: витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою всё мое будущее, все расчеты мои на жизнь, — и это случилось само собою, это шло вместе с ростом.

Повлияло на мой отъезд из Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за три месяца пред выездом (стало быть, когда и помину не было о Петербурге), у меня уже поднималось и билось сердце! Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих! Но великодушные, а не деспотические чувства кипели во мне — предуведомляю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версилов мог думать (если только удостоивал обо мне думать), что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я меж тем уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который (теперь уж я знаю это наверно) он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что наставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же обо всем этом слишком довольно будет на своем месте, затем и перо взял. А так писать — похоже на бред или облако.

VIII

Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно, скажу пока вкратце и, так сказать, мимолетом, что я застал их всех, то есть Версилова, мать и сестру мою (последнюю я увидал в первый раз в жизни), при тяжелых обстоятельствах, почти в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и

в Москве, но всё же не предполагал того, что увидел. Я с самого детства привык воображать себе этого человека, этого «будущего отца моего» почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. Никогда Версилов не жил с моею матерью на одной квартире, а всегда нанимал ей особенную: конечно, делал это из подлейших ихних «приличий». Но тут все жили вместе, в одном деревянном флигеле, в переулке, в Семеновском полку. Все вещи уже были заложены, так что я даже отдал матери, таинственно от Версилова, мои таинственные шестьдесят рублей. Именно *таинственные* потому, что были накоплены из карманных денег моих, которых отпускалось мне по пяти рублей в месяц, в продолжение двух лет; копление же началось с первого дня моей «идеи», а потому Версилов не должен был знать об этих деньгах ни слова. Этого я трепетал.

Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье; Версилов жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и всё семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версилова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы оттиснула на этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего.

А между тем нищета была лишь десятой или двадцатой долей в его неудачах, и я слишком знал об этом. Кроме нищеты, стояло нечто безмерно серьезнейшее, — не говоря уже о том, что всё еще была надежда выиграть процесс о наследстве, затеянный уже год у Версилова с князьями Сокольскими, и Версилов мог получить в самом ближайшем будущем имение, ценностью в семьдесят, а может и несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версилов прожил в свою жизнь три наследства, и вот его опять выручало наследство! Дело решалось в суде в самый ближайший срок. Я с тем и приехал. Правда, под надежду денег никто не давал, занять негде было, и пока терпели.

Но Версилов и не ходил ни к кому, хотя иногда уходил на весь день. Уже с лишком год назад, как он *выгнан* из общества.

История эта, несмотря на все старания мои, оставалась для меня в главнейшем невыясненною, несмотря на целый месяц жизни моей в Петербурге. Виновен или не виновен Версилов — вот что для меня было важно, вот для чего я приехал! Отвернулись от него все, между прочим и все влиятельные знатные люди, с которыми он особенно умел во всю жизнь поддерживать связи, вследствие слухов об одном чрезвычайно низком и — что хуже всего в глазах «света» — скандальном поступке, будто бы совершенном им с лишком год назад в Германии, и даже о пощечине, полученной тогда же слишком гласно, именно от одного из князей Сокольских, и на которую он не ответил вызовом. Даже дети его (законные), сын и дочь, от него отвернулись и жили отдельно. Правда, и сын и дочь витали в самом высшем кругу, чрез Фанариотовых и старого князя Сокольского (бывшего друга Версилова). Впрочем, приглядываясь к нему во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя, — до того он смотрел независимо. Но имел ли он право смотреть таким образом — вот что меня волновало! Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека. Свои силы я еще таил от него, но мне надо было или признать его, или оттолкнуть от себя вовсе. А последнее мне было бы слишком тяжело, и я мучился. Сделаю наконец полное признание: этот человек был мне дорог!

А пока я жил с ними на одной квартире, работал и едва удерживался от грубостей. Даже и не удерживался. Прожив уже месяц, я с каждым днем убеждался, что за окончательными разъяснениями пи за что не мог обратиться к нему. Гордый человек прямо стал передо мной загадкой, оскорбившей меня до глубины. Он был со мною даже мил и шутил, но я скорее хотел ссоры, чем таких шуток. Все разговоры мои с ним носили всегда какую-то в себе двусмысленность, то есть попросту какую-то странную насмешку с его стороны. Он с самого начала встретил меня из Москвы несерьезно. Я никак не мог понять, для чего он это сделал. Правда, он достиг того, что остался передо мною непроницаем; но сам я не унизился бы до просьб о серьезности со мной с его стороны. К тому же у него были какие-то удивительные и неотразимые приемы, с которыми я не знал что делать. Короче, со мной он обращался как с самым зеленым подростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так будет. Вследствие того я сам перестал говорить серьезно и ждал; даже почти совсем перестал говорить. Ждал я одного лица, с приездом которого в Петербург мог окончательно узнать истину; в этом была моя последняя надежда. Во всяком случае приготовился порвать окончательно и уже принял все меры. Мать мне жаль было, но... «или он, или я» — вот что я хотел предложить ей и сестре моей. Даже день у меня был назначен; а пока я ходил на службу.

Глава вторая

I

В это девятнадцатое число я должен был тоже получить мое первое жалованье за первый месяц моей петербургской службы на моем «частном» месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, и я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же — значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место покамест молча, молчаньем защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богач и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими (ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду), с которыми Версилов вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не менее старый князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать их старшего в роде — одного молодого офицера. Версилов еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом, странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его, не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались; бесчестный поступок, в котором обвиняли Версилова, касался именно семейства князя; но подвернулась Татьяна Павловна, и чрез ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал «молодого человека» к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодное Версилову, так сказать первый шаг к нему, а Версилов *позволил*. Распорядился же старый князь в отсутствие своей дочери, вдовы-генеральши, которая наверно бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версилову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи всё еще продолжает питать уважение к Версилову, то, стало быть, нелепы или по крайней мере двусмысленны и распущенные толки о подлости Версилова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении: поступая, я именно надеялся всё это проверить.

Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей московской жизни и являлась бог знает откуда, по чьему-то поручению, всякий раз когда надо было меня где-нибудь устроивать, — при поступлении ли в пансионишко Тушара или потом, через два с половиной года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного

Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мною весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на Кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устроивала, одним словом, всё мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика; при этом всё время шипела на меня, бранила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня, и, право, даже щипала меня, а толкала положительно, даже несколько раз, и больно. Устроив меня и водворив на месте, она исчезала на несколько лет бесследно. Вот она-то, тотчас по моем приезде, и появилась опять водворять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка, с птичьим востреньким носиком и птичьими вострыми глазками. Версилову она служила, как раба, и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и главное — решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением; в его семействе тоже; эти гордые дети Версилова тоже; у Фанариотовых тоже, — а между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, шесть лет тому, шипеть на меня; с тех пор продолжали ссориться каждый день; но это не мешало нам иногда разговаривать, и, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться; я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял.

Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику затем только, чтоб его «тешить», и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчас же принял было меры; но вскоре этот старый чудак произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости, и к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более шестидесяти. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок; он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через пять он вдруг опять появился, и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версилов уверял серьезно (и заметно горячо), что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версилова я немедленно отметил. Впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не по летам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении.

Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенной силы быть советником. Замечали за ним (хоть я и не заметил), что после припадка в нем развилась какая-то особенная наклонность поскорее жениться и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора года. Об этом будто бы знали в свете и, кому следует, интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. Свое семейство у него было малое; он был вдовцом уже двадцать лет и имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу, характера которой он несомненно боялся. Но у него была бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие; кроме того, множество разных его питомцев и им облагодетельствованных питомиц, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была, сверх того, одна странность, с самого молоду, не знаю только, смешная или нет: выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду — или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Всё это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве народили еще девочек, все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы, везде он должен был крестить, всё это являлось поздравлять с именинами, и всё это ему было чрезвычайно приятно.

Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уме старика гнездилось одно тяжелое убеждение — и этого никак нельзя было не заметить, — что все-де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому; это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его всё еще подозревают помешанным, видимо его мучила; даже ко мне он иногда приглядывался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот незлобивейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему; даже рад был, если приводилось его иногда развеселить или развлечь; не думаю, чтоб признание это могло положить тень на мое достоинство.

Большая часть его денег находилась в обороте. Он, уже после болезни, вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран

был в члены-учредители, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел, и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень понравилось: по крайней мере все могли видеть его ум. И вообще он ужасно как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо; я это слишком понимаю. В доме, внизу, было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счеты и книги, а вместе с тем и управлял домом. Этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно; но, по желанию самого князя, прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику; но я тотчас же был переведен в кабинет и часто, даже для виду, не имел пред собою занятий, ни бумаг, ни книг.

Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как посторонний; но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчас припомнил), засевшую в сердце, а главное — мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам — от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил.

II

Спрашивать денег — прегадкая история, даже жалованье, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. Между тем накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова («чтобы не огорчить Андрея Петровича»), намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-то слишком ей дорогой. Служил я на пятидесяти рублях в месяц, но совсем не знал, как я буду их получать; определяя меня сюда, мне ничего не сказали. Дня три назад, встретившись внизу с чиновником, я осведомился у него: у кого здесь спрашивают жалованье? Тот посмотрел с улыбкой удивившегося человека (он меня не любил):

— А вы получаете жалованье?

Я думал, что вслед за моим ответом он прибавит:

— За что же это-с?

Но он только сухо ответил, что «ничего не знает», и уткнулся в свою разлинованную книгу, в которую с каких-то бумажек вставлял какие-то счеты.

Ему, впрочем, небезызвестно было, что я кое-что и делал. Две недели назад я ровно четыре дня просидел над работой, которую он же мне и передал: переписать с черновой, а вышло почти пересочинить. Это была целая орава «мыслей» князя, которые он готовился подать в комитет акционеров. Надо было всё это скомпоновать в целое и подделать слог. Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же остался доволен; не знаю только, подал ли

бумагу или нет. О двух-трех письмах, тоже деловых, которые я написал по его просьбе, я и не упоминаю.

Просить жалованья мне и потому было досадно, что я уже положил отказаться от должности, предчувствуя, что принужден буду удалиться и отсюда, по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в каморке, я почувствовал, что у меня забилось сердце, и хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал то же волнение: в это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснения всего, что меня мучило! Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая вдова, о которой я уже говорил и которая была в жестокой вражде с Версиловым. Наконец я написал это имя! Ее я, конечно, никогда не видал, да и представить не мог, как буду с ней говорить, и буду ли; но мне представлялось (может быть, и на достаточных основаниях), что с ее приездом рассеется и мрак, окружавший в моих глазах Версилова. Твердым я оставаться не мог: было ужасно досадно, что с первого же шагу я так малодушен и неловок; было ужасно любопытно, а главное, противно, — целых три впечатления. Я помню весь тот день наизусть!

О вероятном прибытии дочери мой князь еще не знал ничего и предполагал ее возвращение из Москвы разве через неделю. Я же узнал накануне совершенно случайно: проговорилась при мне моей матери Татьяна Павловна, получившая от генеральши письмо. Они хоть и шептались и говорили отдаленными выражениями, но я догадался. Разумеется, не подслушивал: просто не мог не слушать, когда увидел, что вдруг, при известии о приезде этой женщины, так взволновалась мать. Версилова дома не было.

Старику я не хотел передавать, потому что не мог не заметить во весь этот срок, как он трусит ее приезда. Он даже, дня три тому назад, проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится с ее приездом за меня, то есть что за меня ему будет таска. Я, однако, должен прибавить, что в отношениях семейных он все-таки сохранял свою независимость и главенство, особенно в распоряжении деньгами. Я сперва заключил о нем, что он — совсем баба; но потом должен был перезаключить в том смысле, что если и баба, то все-таки оставалось в нем какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, в которые с характером его — по-видимому, трусливым и поддающимся — почти ничего нельзя было сделать. Мне это Версилов объяснил потом подробнее. Упоминаю теперь с любопытством, что мы с ним почти никогда и не говорили о генеральше, то есть как бы избегали говорить: избегал особенно я, а он в свою очередь избегал говорить о Версилове, и я прямо догадался, что он не будет мне отвечать, если я задам который-нибудь из щекотливых вопросов, меня так интересовавших.

Если же захотят узнать, об чем мы весь этот месяц с ним проговорили, то отвечу, что, в сущности, обо всем на свете, но всё

о странных каких-то вещах. Мне очень нравилось чрезвычайное простодушие, с которым он ко мне относился. Иногда я с чрезвычайным недоумением всматривался в этого человека и задавал себе вопрос: «Где же это он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в четвертый класс, — и премилый вышел бы товарищ». Удивлялся я тоже не раз и его лицу: оно было на вид чрезвычайно серьезное (и почти красивое), сухое; густые седые вьющиеся волосы, открытые глаза; да и весь он был сухощав, хорошего роста; но лицо его имело какое-то неприятное, почти неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серьезного на слишком уж игривое, так что в первый раз видевший никак бы не ожидал этого. Я говорил об этом Версилову, который с любопытством меня выслушал; кажется, он не ожидал, что я в состоянии делать такие замечания, но заметил вскользь, что это явилось у князя уже после болезни и разве в самое только последнее время.

Преимущественно мы говорили о двух отвлеченных предметах — о боге и бытии его, то есть существует он или нет, и об женщинах. Князь был очень религиозен и чувствителен. В кабинете его висел огромный киот с лампадкой. Но вдруг на него находило — и он вдруг начинал сомневаться в бытии божием и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень завлекались оба и всегда искренно. Вообще все эти разговоры, даже и теперь, вспоминаю с приятностью. Но всего милее ему было поболтать о женщинах, и так как я, по нелюбви моей к разговорам на эту тему, не мог быть хорошим собеседником, то он иногда даже огорчался.

Он как раз заговорил в этом роде, только что я пришел в это утро. Я застал его в настроении игривом, а вчера оставил отчего-то в чрезвычайной грусти. Между тем мне надо было непременно окончить сегодня же об жалованье — до приезда некоторых лиц. Я рассчитывал, что нас сегодня непременно *прервут* (недаром же билось сердце), — и тогда, может, я и не решусь заговорить об деньгах. Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, естественно, рассердился на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его, изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.

III

— ...Я не люблю женщин за то, что они грубы, за то, что они неловки, за то, что они несамостоятельны, и за то, что носят неприличный костюм! — бессвязно заключил я мою длинную тираду.

— Голубчик, пощади! — вскричал он, ужасно развеселившись, что еще пуще обозлило меня.

Я уступчив и мелочен только в мелочах, но в главном не уступлю никогда. В мелочах же, в каких-нибудь светских приемах, со мной бог знает что можно сделать, и я всегда проклинаю в себе эту черту. Из какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, единственно обольщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. Всё это от невыдержки и оттого, что вырос в углу. Уходишь злой и клянешься, что завтра это уже не повторится, но завтра опять то же самое. Вот почему меня принимали иногда чуть не за шестнадцатилетнего. Но вместо приобретения выдержки я и теперь предпочитаю закупориться еще больше в угол, хотя бы в самом мизантропическом виде: «Пусть я неловок, но — прощайте!» Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора.

— Я вовсе не для веселости вашей говорю, — почти закричал я на него, — я просто высказываю убеждение.

— Но как же это женщины грубы и одеты неприлично? Это ново.

— Грубы. Подите в театр, подите на гулянье. Всякий из мужчин знает правую сторону, сойдутся и разойдутся, он вправо и я вправо. Женщина, то есть дама, — я об дамах говорю — так и прет на вас прямо, даже не замечая вас, точно вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов уступить, как созданью слабейшему, но почему тут право, почему она так уверена, что я это обязан, — вот что оскорбительно! Я всегда плевался встречаясь. И после того кричат, что они принижены, и требуют равенства; какое тут равенство, когда она меня топчет или напихает мне в рот песку!

— Песку!

— Да; потому что они неприлично одеты; это только развратный не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях; зачем же позволяют на улицах, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтоб показать, что бельфам; открыто! Я ведь не могу не заметить, и юноша тоже заметит, и ребенок, начинающий мальчик, тоже заметит; это подло. Пусть любуются старые развратники и бегут высуня язык, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в полтора аршина и пыль метет; каково идти сзади: или беги обгоняй, или отскакивай в сторону, не то и в нос и в рот она вам пять фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки-то сидят! Я всегда плевался, вслух плевался и бранился.

Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнею характерностью, но мысли эти и теперь мои.

— И сходило с рук? — полюбопытствовал князь.

— Я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побранился я совершенно серьезно всего один раз с какими-то двумя, обе с хвостами, на бульваре, — разумеется, не скверными словами, а только вслух заметил, что хвост оскорбителен.

— Так и выразился?

— Конечно. Во-первых, она попирает условия общества, а во-вторых, пылит; а бульвар для всех: я иду, другой идет, третий, Федор, Иван, всё равно. Вот это я и высказал. И вообще я не люблю женскую походку, если сзади смотреть; это тоже высказал, по намеком.

— Друг мой, но ведь ты мог попасть в серьезную историю: они могли стащить тебя к мировому?

— Ничего не могли. Не на что было жаловаться: идет человек подле и разговаривает сам с собой. Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на воздух. Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привязались сами: они стали браниться, они гораздо сквернее бранились, чем я: и молокосос, и без кушанья оставить надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязался, что они одни и слабые женщины, а был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объявил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону. А чтобы доказать им, что я не боюсь их мужчин и готов принять вызов, то буду идти за ними в двадцати шагах до самого их дома, затем стану перед домом и буду ждать их мужчин. Так и сделал.

— Неужто?

— Конечно, глупость, но я был разгорячен. Они протащили меня версты три с лишком, по жаре, до институтов, вошли в деревянный одноэтажный дом, — я должен сознаться, весьма приличный, — а в окна видно было в доме много цветов, две канарейки, три шавки и эстампы в рамках. Я простоял среди улицы перед домом с полчаса. Они выглянули раза три украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник, пожилой; судя по виду, спал, и его нарочно разбудили; не то что в халате, а так, в чем-то очень домашнем; стал у калитки, заложил руки назад и начал смотреть на меня, я — на него. Потом отведет глаза, потом опять посмотрит и вдруг стал мне улыбаться. Я повернулся и ушел.

— Друг мой, это что-то шиллеровское! Я всегда удивлялся: ты краснощекий, с лица твоего прыщет здоровьем и — такое, можно сказать, отвращение от женщин! Как можно, чтобы женщина не производила в твои лета известного впечатления? Мне, mon cher, [1] еще одиннадцатилетнему, гувернер замечал, что я слишком засматриваюсь в Летнем саду на статуи.

---

[1] мой милый *(франц.)*.

— Вам ужасно хочется, чтоб я сходил к какой-нибудь здешней Жозефине и пришел вам донести. Незачем; я и сам еще тринадцати лет видел женскую наготу, всю; с тех пор и почувствовал омерзение.

— Серьезно? Но, cher enfant,[1] от красивой свежей женщины яблоком пахнет, какое ж тут омерзение!

— У меня был в прежнем пансионишке, у Тушара, еще до гимназии, один товарищ, Ламберт. Он всё меня бил, потому что был больше чем тремя годами старше, а я ему служил и сапоги снимал. Когда он ездил на конфирмацию, то к нему приехал аббат Риго поздравить с первым причастием, и оба кинулись в слезах друг другу на шею, и аббат Риго стал его ужасно прижимать к своей груди, с разными жестами. Я тоже плакал и очень завидовал. Когда у него умер отец, он вышел, и я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии и жил у Николая Семеновича. Он пришел поутру, показал мне пятьсот рублей и велел с собой ехать. Хоть он и бил меня два года назад, а всегда во мне нуждался, не для одних сапог; он всё мне пересказывал. Он сказал, что деньги утащил сегодня у матери из шкатулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его, по закону, и что она не смеет не давать, а что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать — вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать руки к небу, «а я вынул нож и сказал, что я его зарежу» (он выговаривал: загхэжу). Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на всё плюет, и что всё, что они говорят про причастие, — вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил двухствольное ружье, ягдташ, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогою встретили птицелова с клетками; Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки, и стал стрелять в нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружье мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из двух стволов, в упор, на вершок расстояния, дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама... Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я всё это и увидел... про что вам говорил... Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать; она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться

---

[1] дорогое дитя *(франц.)*.

и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы, и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготе; поверьте, была красавица.

По мере как я говорил, у князя изменялось лицо с игривого на очень грустное.

— Mon pauvre enfant! [1] Я всегда был убежден, что в твоем детстве было очень много несчастных дней.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Но ты был один, ты сам говорил мне, и хоть бы этот Lambert; ты это так очертил: эта канарейка, эта конфирмация со слезами на груди и потом, через какой-нибудь год, он о своей матери с аббатом... О mon cher, этот детский вопрос в наше время просто страшен: покамест эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, в первом детстве, порхают перед тобой и смотрят на тебя, с их светлым смехом и светлыми глазками, — то точно ангелы божии или прелестные птички; а потом... а потом случается, что лучше бы они и не вырастали совсем!

— Какой вы, князь, расслабленный! И точно у вас у самих дети. Ведь у вас нет детей и никогда не будет.

— Tiens! [2] — мгновенно изменилось всё лицо его, — как раз Александра Петровна, — третьего дня, хе-хе! — Александра Петровна Синицкая, — ты, кажется, ее должен был здесь встретить недели три тому, — представь, она третьего дня вдруг мне, на мое веселое замечание, что если я теперь женюсь, то по крайней мере могу быть спокоен, что не будет детей, — вдруг она мне и даже с этакою злостью: «Напротив, у вас-то и будут, у таких-то, как вы, и бывают *непременно*, с первого даже года пойдут, увидите». Хе-хе! И все почему-то вообразили, что я вдруг женюсь; но хоть и злобно сказано, а согласись — остроумно.

— Остроумно, да обидно.

— Ну, cher enfant, не от всякого можно обидеться. Я ценю больше всего в людях остроумие, которое видимо исчезает, а что там Александра Петровна скажет — разве может считаться?

— Как, как вы сказали? — привязался я, — не от всякого можно... именно так! Не всякий сто́ит, чтобы на него обращать внимание, — превосходное правило! Именно я в нем нуждаюсь. Я это запишу. Вы, князь, говорите иногда премилые вещи.

Он так весь и просиял.

— N'est-ce pas? [3] Cher enfant, истинное остроумие исчезает, чем дальше, тем пуще. Eh, mais... C'est moi qui connaît les femmes! [4]

---

[1] Мое бедное дитя! *(франц.)*
[2] Кстати! *(франц.)*
[3] Не правда ли? *(франц.)*
[4] А между тем... Я-то знаю женщин! *(франц.)*

Поверь, жизнь всякой женщины, что бы она там ни проповедовала, это — вечное искание, кому бы подчиниться... так сказать, жажда подчиниться. И заметь себе — без единого исключения.

— Совершенно верно, великолепно! — вскричал я в восхищении. В другое время мы бы тотчас же пустились в философские размышления на эту тему, на целый час, но вдруг меня как будто что-то укусило, и я весь покраснел. Мне представилось, что я, похвалами его бонмо, подлещаюсь к нему перед деньгами и что он непременно это подумает, когда я начну просить. Я нарочно упоминаю теперь об этом.

— Князь, я вас покорнейше прошу выдать мне сейчас же должные мне вами пятьдесят рублей за этот месяц, — выпалил я залпом и раздражительно до грубости.

Помню (так как я помню всё это утро до мелочи), что между нами произошла тогда прегадкая, по своей реальной правде, сцена. Он меня сперва не понял, долго смотрел и не понимал, про какие это деньги я говорю. Естественно, что он и не воображал, что я получаю жалованье, — да и за что? Правда, он стал уверять потом, что забыл, и, когда догадался, мигом стал вынимать пятьдесят рублей, но заторопился и даже закраснелся. Видя, в чем дело, я встал и резко заявил, что не могу теперь принять деньги, что мне сообщили о жалованье, очевидно, ошибочно или обманом, чтоб я не отказался от места, и что я слишком теперь понимаю, что мне не за что получать, потому что никакой службы не было. Князь испугался и стал уверять, что я ужасно много служил, что я буду еще больше служить и что пятьдесят рублей так ничтожно, что он мне, напротив, еще прибавит, потому что он обязан, и что он сам рядился с Татьяной Павловной, но «непростительно всё позабыл». Я вспыхнул и окончательно объявил, что мне низко получать жалованье за скандальные рассказы о том, как я провожал два хвоста к институтам, что я не потешать его нанялся, а заниматься делом, а когда дела нет, то надо покончить и т. д., и т. д. Я и представить не мог, чтобы можно было так испугаться, как он, после этих слов моих. Разумеется, покончили тем, что я перестал возражать, а он всучил-таки мне пятьдесят рублей: до сих пор вспоминаю с краской в лице, что их принял! На свете всегда подлостью оканчивается, и, что хуже всего, он тогда сумел-таки почти доказать мне, что я заслужил неоспоримо, а я имел глупость поверить, и притом как-то решительно невозможно было не взять.

— Cher, cher enfant! — восклицал он, целуя меня и обнимая (признаюсь, я сам было заплакал черт знает с чего, хоть мигом воздержался, и даже теперь, как пишу, у меня краска в лице), — милый друг, ты мне теперь как родной; ты мне в этот месяц стал как кусок моего собственного сердца! В «свете» только «свет» и больше ничего; Катерина Николаевна (дочь его) блестящая женщина, и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой,

часто меня обижает... Ну, а эти девочки (elles sont charmantes [1]) и их матери, которые приезжают в именины, — так ведь они только свою канву привозят, а сами ничего не умеют сказать. У меня на шестьдесят подушек их канвы накоплено, всё собаки да олени. Я их очень люблю, но с тобой я почти как с родным — и не сыном, а братом, и особенно люблю, когда ты возражаешь; ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться...

— Я ничего не читал и совсем не литературен. Я читал, что попадется, а последние два года совсем ничего не читал и не буду читать.

— Почему не будешь?

— У меня другие цели.

— Cher... жаль, если в конце жизни скажешь себе, как и я: je sais tout, mais je ne sais rien de bon.[2] Я решительно не знаю, для чего я жил на свете! Но... я тебе столько обязан... и я даже хотел...

Он как-то вдруг оборвал, раскис и задумался. После потрясений (а потрясения с ним могли случаться поминутно, бог знает с чего) он обыкновенно на некоторое время как бы терял здравость рассудка и переставал управлять собой; впрочем, скоро и поправлялся, так что всё это было не вредно. Мы просидели с минуту. Нижняя губа его, очень полная, совсем отвисла... Всего более удивило меня, что он вдруг упомянул про свою дочь, да еще с такою откровенностью. Конечно, я приписал расстройству.

— Cher enfant, ты ведь не сердишься за то, что я тебе *ты* говорю, не правда ли? — вырвалось у него вдруг.

— Нисколько. Признаюсь, сначала, с первых разов, я был несколько обижен и хотел вам самим сказать *ты*, но увидал, что глупо, потому что не для того же, чтоб унизить меня, вы мне *ты* говорите?

Он уже не слушал и забыл свой вопрос.

— Ну, что *отец?* — поднял он вдруг на меня задумчивый взгляд.

Я так и вздрогнул. Во-первых, он Версилова обозначил моим *отцом*, чего бы он себе никогда со мной не позволил, а во-вторых, заговорил о Версилове, чего никогда не случалось.

— Сидит без денег и хандрит, — ответил я кратко, но сам сгорая от любопытства.

— Да, насчет денег. У него сегодня в окружном суде решается их дело, и я жду князя Сережу, с чем-то он придет. Обещался прямо из суда ко мне. Вся их судьба; тут шестьдесят или восемьдесят тысяч. Конечно, я всегда желал добра и Андрею Петровичу (то есть Версилову), и, кажется, он останется победителем, а князья ни при чем. Закон!

— Сегодня в суде? — воскликнул я, пораженный.

---

[1] они очаровательны *(франц.)*.

[2] я знаю всё, но не знаю ничего хорошего *(франц.)*.

Мысль, что Версилов даже и это пренебрег мне сообщить, чрезвычайно поразила меня. «Стало быть, не сказал и матери, может, никому, — представилось мне тотчас же, — вот характер!»

— А разве князь Сокольский в Петербурге? — поразила меня вдруг другая мысль.

— Со вчерашнего дня. Прямо из Берлина, нарочно к этому дню.

Тоже чрезвычайно важное для меня известие. «И он придет сегодня сюда, этот человек, который дал *ему* пощечину!»

— Ну и что ж, — изменилось вдруг всё лицо князя, — проповедует бога по-прежнему, и, и... пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам? Хе-хе! Тут и теперь презабавный наклевывается один анекдот... Хе-хе!

— Кто проповедует? Кто по девочкам?

— Андрей Петрович! Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим? — то есть почти так. Пугал и очищал: «Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?» Почти это и требовал. Mais quelle idée! [1] Если и правильно, то не слишком ли строго? Особенно меня любил Страшным судом пугать, меня из всех.

— Ничего этого я не заметил, вот уж месяц с ним живу, — отвечал я, вслушиваясь с нетерпеньем. Мне ужасно было досадно, что он не оправился и мямлил так бессвязно.

— Это он только не говорит теперь, а поверь, что так. Человек остроумный, бесспорно, и глубокоученый; но правильный ли это ум? Это всё после трех лет его за границей с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс... и всех потрясал... Cher enfant, j'aime le bon Dieu... [2] Я верую, верую сколько могу, но — я решительно вышел тогда из себя. Положим, что я употребил прием легкомысленный, но я это сделал нарочно, в досаде, — и к тому же сущность моего возражения была так же серьезна, как была и с начала мира: «Если высшее существо, — говорю ему, — есть, и существует *персонально*, а не в виде разлитого там духа какого-то по творению, в виде жидкости, что ли (потому что это еще труднее понять), — то где же он живет?» Друг мой, c'était bête,[3] без сомнения, но ведь и все возражения на это же сводятся. Un domicile [4] — это важное дело. Ужасно рассердился. Он там в католичество перешел.

— Об этой идее я тоже слышал. Наверно, вздор.

— Уверяю тебя всем, что есть свято. Вглядись в него... Впрочем, ты говоришь, что он изменился. Ну а в то время как он нас всех тогда измучил! Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явятся. Он у нас отчета в поведении требовал,

---

[1] Но что за мысль! *(франц.)*
[2] Дорогое дитя, я люблю боженьку... *(франц.)*
[3] это было глупо *(франц.)*.
[4] Место жительства *(франц.)*.

клянусь тебе! Мощи! En voilà une autre! [1] Ну, пусть там монах или пустынник, — а тут человек ходит во фраке, ну, и там всё... и вдруг его мощи! Странное желание для светского человека и, признаюсь, странный вкус. Я там ничего не говорю: конечно, всё это святыня и всё может случиться... К тому же всё это de l'inconnu,[2] но светскому человеку даже и неприлично. Если бы как-нибудь случилось со мной, или там мне предложили, то, клянусь, я бы отклонил. Ну я, вдруг, сегодня обедаю в клубе и вдруг потом — *являюсь!* Да я насмешу! Всё это я ему тогда же и изложил... Он вериги носил.

Я покраснел от гнева.

— Вы сами видели вериги?

— Я сам не видал, но...

— Так объявляю же вам, что всё это — ложь, сплетение гнусных козней и клевета врагов, то есть одного врага, одного главнейшего и бесчеловечного, потому что у него один только враг и есть — это ваша дочь!

Князь вспыхнул в свою очередь.

— Mon cher, я прошу тебя и настаиваю, чтоб отныне никогда впредь при мне не упоминать рядом с этой гнусной историей имя моей дочери.

Я приподнялся. Он был вне себя; подбородок его дрожал.

— Cette histoire infâme!.. [3] Я ей не верил, я не хотел никогда верить, но... мне говорят: верь, верь, я...

Тут вдруг вошел лакей и возвестил визит; я опустился опять на мой стул.

IV

Вошли две дамы, обе девицы, одна — падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя, или что-то в этом роде, воспитанница его, которой он уже выделил приданое и которая (замечу для будущего) и сама была с деньгами; вторая — Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая с своим братом у Фанариотовой и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице, хотя с братом ее, тоже мельком, уже имел в Москве стычку (очень может быть, и упомяну об этой стычке впоследствии, если место будет, потому что в сущности не стоит). Эта Анна Андреевна была с детства своего особенною фавориткой князя (знакомство Версилова с князем началось ужасно давно). Я был так смущен только что происшедшим, что, при входе их, даже не встал, хотя князь встал им навстречу; а потом подумал, что уж стыдно вста-

---

[1] Вот еще идея! *(франц.)*
[2] из области неведомого *(франц.)*.
[3] Эта мерзкая история!.. *(франц.)*

вать, и остался на месте. Главное, я был сбит тем, что князь так закричал на меня три минуты назад, и всё еще не знал: уходить мне или нет. Но старик мой уже всё забыл совсем, по своему обыкновению, и весь приятно оживился при виде девиц. Он даже, с быстро переменившейся физиономией и как-то таинственно подмигивая, успел прошептать мне наскоро пред самым их входом:

— Вглядись в Олимпиаду, гляди пристальнее, пристальнее... потом расскажу...

Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил: не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекцией не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет не более девятнадцати. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказали бы: подушка. (Если я описываю в такой подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем.)

Впрочем, и всё, что описывал до сих пор, по-видимому с такой ненужной подробностью, — всё это ведет в будущее и там понадобится. В своем месте всё отзовется; избежать не умел; а если скучно, то прошу не читать.

Совсем другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные; глаза темные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой; впрочем, она была тонка и сухощава. Выражение лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версиловым, а между тем, каким-то чудом, необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой; тут как на вкус. Обе были одеты очень скромно, так что не стоит описывать. Я ждал, что буду тотчас обижен каким-нибудь взглядом Версиловой или жестом, и приготовился; обидел же меня ее брат в Москве, с первого же нашего столкновения в жизни. Она меня не могла знать в лицо, но, конечно, слышала, что я хожу к князю. Всё, что предполагал или делал князь, во всей этой куче его родных и «ожидающих» тотчас же возбуждало интерес и являлось событием, — тем более его внезапное пристрастие ко мне. Мне положительно было известно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искал ей жениха. Но для Версиловой было труднее найти жениха, чем тем, которые вышивали по канве.

И вот, против всех ожиданий, Версилова, пожав князю руку и обменявшись с ним какими-то веселыми светскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрела на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдруг мне с улыбкою поклонилась. Правда, она только что вошла и поклонилась как вошедшая, но улыбка была

до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И, помню, я испытал необыкновенно приятное ощущение.

— А это... а это — мой милый и юный друг Аркадий Андреевич Дол... — пролепетал князь, заметив, что она мне поклонилась, а я всё сижу, — и вдруг осекся: может, сконфузился, что меня с ней знакомит (то есть, в сущности, брата с сестрой). Подушка тоже мне поклонилась; но я вдруг преглупо вскипел и вскочил с места: прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленной; всё от самолюбия.

— Извините, князь, я — не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарович, — резко отрезал я, совсем уж забыв, что нужно бы ответить дамам поклоном. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту!

— Mais... tiens! [1] — вскричал было князь, ударив себя пальцем по лбу.

— Где вы учились? — раздался надо мной глупенький и протяжный вопрос прямо подошедшей ко мне подушки.

— В Москве-с, в гимназии.

— А! Я слышала. Что, там хорошо учат?

— Очень хорошо.

Я всё стоял, а говорил точно солдат на рапорте.

Вопросы этой девицы, бесспорно, были ненаходчивы, но, однако ж, она таки нашлась, чем замять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой улыбкою какое-то веселое нашептыванье ему на ухо Версиловой, — видимо, не обо мне. Но вопрос: зачем же эта девица, совсем мне незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и всё прочее? Вместе с тем невозможно было и представить себе, что она обращалась ко мне только так: тут было намерение. Смотрела она на меня слишком любопытно, точно ей хотелось, чтоб и я ее тоже очень заметил как можно больше. Всё это я уже после сообразил и — не ошибся.

— Как, разве сегодня? — вскричал вдруг князь, срываясь с места.

— Так вы не знали? — удивилась Версилова. — Olympe! князь не знал, что Катерина Николаевна сегодня будет. Мы к ней и ехали, мы думали, она уже с утренним поездом и давно дома. Сейчас только съехались у крыльца: она прямо с дороги и сказала нам пройти к вам, а сама сейчас придет... Да вот и она!

Отворилась боковая дверь и — *та женщина появилась!*

Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя; я изучал этот портрет весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете минуты три и ни на одну секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета и после этих трех минут спросили меня: «Какая она?» — я бы ничего не ответил, потому что всё у меня заволоклось.

---

[1] Ах, да! *(франц.)*

Я только помню из этих трех минут какую-то действительно прекрасную женщину, которую князь целовал и крестил рукой и которая вдруг быстро стала глядеть — так-таки прямо только что вошла — на меня. Я ясно расслышал, как князь, очевидно показав на меня, пробормотал что-то, с маленьким каким-то смехом, про нового секретаря и произнес мою фамилию. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела и так нахально улыбнулась, что я вдруг шагнул, подошел к князю и пробормотал, ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется стуча зубами:

— С тех пор я... мне теперь свои дела... Я иду.

И я повернулся и вышел. Мне никто не сказал ни слова, даже князь; все только глядели. Князь мне передал потом, что я так побледнел, что он «просто струсил».

Да нужды нет!

Глава третья

I

Именно нужды не было: высшее соображение поглощало все мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за всё. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно, было прелестное утро, солнце, прохожие, шум, движение, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, — это всё равно, — с моей стороны? Заметьте, она уж и ехала с тем, чтоб меня поскорей оскорбить, еще никогда не видав: в глазах ее я был «подсыльный от Версилова», а она была убеждена и тогда, и долго спустя, что Версилов держит в руках всю судьбу ее и имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет, посредством одного документа; подозревала по крайней мере это. Тут была дуэль на смерть. И вот — оскорблен я не был! Оскорбление было, но я его не почувствовал! Куда! я даже был рад; приехав ненавидеть, я даже чувствовал, что начинаю любить ее. «Я не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ловит? Миленькая мушка! Мне кажется, жертву любят; по крайней мере можно любить. Я же вот люблю моего врага: мне, например, ужасно нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударыня, что вы так надменны и величественны: были бы вы посмирнее, не было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую; если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевком, то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы — моя жертва, *моя,* а не *его*. Как обаятельна эта мысль! Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства. Если б я был стомиллионный богач, я бы,

кажется, находил удовольствие именно ходить в самом старепьком платье и чтоб меня принимали за человека самого мизерного, чуть не просящего па бедность, толкали и презирали меня: с меня было бы довольно одного сознания».

Вот как бы я перевел тогдашние мысли и радость мою, и многое из того, что я чувствовал. Прибавлю только, что здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее: на деле я был глубже и стыдливее. Может, я и теперь про себя стыдливее, чем в словах и делах моих; дай-то бог!

Может, я очень худо сделал, что сел писать: внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, — всегда глубже, а на словах — смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко; а я стараюсь писать всю правду: это ужасно трудно!

II

В это девятнадцатое число я сделал еще один «шаг».

В первый раз с приезда у меня очутились в кармане деньги, потому что накопленные в два года мои шестьдесят рублей я отдал матери, о чем и упомянул выше; но уже несколько дней назад я положил, в день получения жалованья, сделать «пробу», о которой давно мечтал. Еще вчера я вырезал из газеты адрес — объявление «судебного пристава при С.-Петербургском мировом съезде» и проч., и проч. о том, что «девятнадцатого сего сентября, в двенадцать часов утра, Казанской части, такого-то участка и т. д., и т. д., в доме № такой-то, будет продаваться движимое имущество г-жи Лебрехт» и что «опись, оценку и продаваемое имущество можно рассмотреть в день продажи» и т. д., и т. д.

Был второй час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Вот уже третий год как я не беру извозчиков — такое дал слово (иначе не скопил бы шестидесяти рублей). Я никогда не ходил на аукционы, я еще не *позволял* себе этого; и хоть теперешний «шаг» мой был только *примерный,* но и к этому шагу я положил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией, когда порву со всеми, когда забьюсь в скорлупу и стану совершенно свободен. Правда, я далеко был не в «скорлупе» и далеко еще не был свободен; но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы — так только, чтоб посмотреть, почти как бы помечтать, а потом уж не приходить, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только маленький, глупенький аукцион, а для меня — то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку. Вот мои тогдашние чувства.

Прибыв на место, я прошел в углубление двора обозначенного в объявлении дома и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и четырех небольших, невысоких

комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек даже до тридцати; из них наполовину торгующихся, а другие, по виду их, были или любопытные, или любители, или подосланные от Лебрехт; были и купцы, и жиды, зарившиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых «чисто». Даже физиономии иных из этих господ врезались в моей памяти. В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол, так что в ту комнату войти было нельзя: там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены, хотя и отпирались поминутно на маленькую щелку, в которую, видно было, кто-то выглядывал — должно быть, из многочисленного семейства госпожи Лебрехт, которой, естественно, в это время было очень стыдно. За столом между дверями, лицом к публике, сидел на стуле господин судебный пристав, при знаке, и производил распродажу вещей. Я застал уже дело почти в половине; как вошел — протеснился к самому столу. Продавались бронзовые подсвечники. Я стал глядеть.

Я глядел и тотчас же стал думать: что же я могу тут купить? И куда сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело делается, и удастся ли мой расчет? И не детский ли был мой расчет? Всё это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом в тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить: «захочу поставлю, захочу уйду — моя воля». Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает — ощущение не без приятности. Но нерешимость быстро начинает тяготить вас, и вы как-то слепнете: протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти против воли, как будто вашу руку направляет другой; наконец вы решились и ставите — тут уж ощущение совсем иное, огромное. Я не про аукцион пишу, я только про себя пишу: у кого же другого может биться сердце на аукционе?

Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который ошибкою, не расслышав, купил мельхиоровый молочник вместо серебряного, вместо двух рублей за пять; даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи: после подсвечников явились серьги, после серег шитая сафьянная подушка, за нею шкатулка, — должно быть, для разнообразия или соображаясь с требованиями торгующихся. Я не выстоял и десяти минут, подвинулся было к подушке, потом к шкатулке, но в решительную минуту каждый раз осекался: предметы эти казались мне совсем невозможными. Наконец в руках пристава очутился альбом.

«Домашний альбом, в красном сафьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застежками — цена два рубля!»

Я подступил: вещь на вид изящная, но в костяной резьбе, в одном месте, был изъян. Я только один и подошел смотреть, все молчали;

конкурентов не было. Я бы мог отстегнуть застежки и вынуть альбом из футляра, чтоб осмотреть вещь, но правом моим не воспользовался и только махнул дрожащей рукой: «дескать, всё равно».

— Два рубля пять копеек, — сказал я, опять, кажется, стуча зубами.

Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил альбом и ушел в угол комнаты; там вынул его из футляра и лихорадочно, наскоро, стал разглядывать: не считая футляра, это была самая дрянная вещь в мире — альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький, с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями; были стишки:

Я в путь далекий отправляюсь,
С Москвой надолго расстаюсь,
Надолго с милыми прощаюсь
И в Крым на почтовых несусь.

(Уцелели-таки в моей памяти!) Я решил, что «провалился»; если кому чего не надо, так именно этого.

«Ничего, — решил я, — первую карту непременно проигрывают; даже примета хорошая».

Мне решительно было весело.

— Ах, опоздал; у вас? Вы приобрели? — вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. Он опоздал.

— Я опоздал. Ах, как жаль! За сколько?

— Два рубля пять копеек.

— Ах, как жаль! а вы бы не уступили?

— Выйдемте, — шепнул я ему, замирая.

Мы вышли на лестницу.

— Я уступлю вам за десять рублей, — сказал я, чувствуя холод в спине.

— Десять рублей! Помилуйте, что вы!

— Как хотите.

Он смотрел на меня во все глаза; я был одет хорошо, совсем не похож был на жида или перекупщика.

— Помилосердуйте, да ведь это — дрянной старый альбом, кому он нужен? Футляр в сущности ведь ничего не стоит, ведь вы же не продадите никому?

— Вы же покупаете.

— Да ведь я по особому случаю, я только вчера узнал: ведь этакий я только один и есть! Помилуйте, что вы!

— Я бы должен был спросить двадцать пять рублей; но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только десять для верности. Не спущу ни копейки.

Я повернулся и пошел.

— Да возьмите четыре рубля, — нагнал он меня уже на дворе, — ну, пять.

Я молчал и шагал.

— Нате, берите! — Он вынул десять рублей, я отдал альбом.

— А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять — а?

— Почему нечестно? Рынок!

— Какой тут рынок? (Он сердился.)

— Где спрос, там и рынок; не спроси вы, — за сорок копеек не продал бы.

Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри, — хохотал не то что от восторга, а сам не знаю отчего, немного задыхался.

— Слушайте, — пробормотал я совершенно неудержимо, но дружески и ужасно любя его, — слушайте: когда Джемс Ротшильд, покойник, парижский, вот что тысячу семьсот миллионов франков оставил (он кивнул головой), еще в молодости, когда случайно узнал, за несколько часов раньше всех, об убийстве герцога Беррийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует и одной только этой штукой, в один миг, нажил несколько миллионов, — вот как люди делают!

— Так вы Ротшильд, что ли? — крикнул он мне с негодованием, как дураку.

Я быстро вышел из дому. Один шаг — и семь рублей девяносто пять копеек нажил! Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен, но он все-таки совпадал с моею мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко... Впрочем, нечего чувства описывать. Десятирублевая была в жилетном кармане, я просунул два пальца пощупать — и так и шел не вынимая руки. Отойдя шагов сто по улице, я вынул ее посмотреть, посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета; швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с двухаршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у ней из руки и упал на землю; она села; лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил даме, приподняв шляпу. (Шляпа — цилиндр, я был одет, как молодой человек, недурно.) Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне: «Merci, мсье». Карета загремела. Я поцеловал десятирублевую.

III

Мне в этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимназию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. Сам он не стоит описания, и, собственно, в дружеских отношениях

Хорошо — 112.

— Превращение [illegible]

— [illegible]

[illegible]

4/ Нас создала [illegible] по [illegible]

[illegible]

4 (Европа [illegible]

[illegible]

«Подросток». Страница чернового автографа главы VII третьей части (исповедь Версилова). 1875 г.
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

я с ним не был; но в Петербурге его отыскал; он мог (по разным обстоятельствам, о которых говорить тоже не стоит) тотчас же сообщить мне адрес одного Крафта, чрезвычайно нужного мне человека, только что тот вернется из Вильно. Зверев ждал его именно сегодня или завтра, о чем третьего дня дал мне знать. Идти надо было на Петербургскую сторону, но усталости я не чувствовал.

Зверева (ему тоже было лет девятнадцать) я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. Он только что пообедал и ходил по двору на ходулях; тотчас же сообщил мне, что Крафт приехал еще вчера и остановился на прежней квартире, тут же на Петербургской, и что он сам желает как можно скорее меня видеть, чтобы немедленно сообщить нечто нужное.

— Куда-то едет опять, — прибавил Ефим.

Так как видеть Крафта в настоящих обстоятельствах для меня было капитально важно, то я и попросил Ефима тотчас же свести меня к нему на квартиру, которая, оказалось, была в двух шагах, где-то в переулке. Но Зверев объявил, что час тому уж его встретил и что он прошел к Дергачеву.

— Да пойдем к Дергачеву, что ты всё отнекиваешься; трусишь?

Действительно, Крафт мог засидеться у Дергачева, и тогда где же мне его ждать? К Дергачеву я не трусил, но идти не хотел, несмотря на то что Ефим тащил меня туда уже третий раз. И при этом «трусишь» всегда произносил с прескверной улыбкой на мой счет. Тут была не трусость, объявляю заранее, а если я боялся, то совсем другого. На этот раз пойти решился; это тоже было в двух шагах. Дорогой я спросил Ефима, всё ли еще он держит намерение бежать в Америку?

— Может, и подожду еще, — ответил он с легким смехом.

Я его не так любил, даже не любил вовсе. Он был очень бел волосами, с полным, слишком белым лицом, даже неприлично белым, до детскости, а ростом даже выше меня, но принять его можно было не иначе как за семнадцатилетнего. Говорить с ним было не о чем.

— Да что ж там? неужто всегда толпа? — справился я для основательности.

— Да чего ты всё трусишь? — опять засмеялся он.

— Убирайся к черту, — рассердился я.

— Вовсе не толпа. Приходят только знакомые, и уж все свои, будь покоен.

— Да черт ли мне за дело, свои или не свои! Я вот разве там свой? Почему они во мне могут быть уверены?

— Я тебя привел, и довольно. О тебе даже слышали. Крафт тоже может о тебе заявить.

— Слушай, будет там Васин?

— Не знаю.

— Если будет, как только войдем, толкни меня и укажи Васина; только что войдем, слышишь?

Об Васине я уже довольно слышал и давно интересовался.

Дергачев жил в маленьком флигеле, на дворе деревянного дома одной купчихи, но зато флигель занимал весь. Всего было чистых три комнаты. Во всех четырех окнах были спущены шторы. Это был техник и имел в Петербурге занятие; я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии и что он уже отправляется.

Только что мы вошли в крошечную прихожую, как послышались голоса; кажется, горячо спорили и кто-то кричал: «Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat!» [1]

Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я не привык к обществу, даже к какому бы ни было. В гимназии я с товарищами был на ты, но ни с кем почти не был товарищем, я сделал себе угол и жил в углу. Но не это смущало меня. На всякий случай я дал себе слово не входить в споры и говорить только самое необходимое, так чтоб никто не мог обо мне ничего заключить; главное — не спорить.

В комнате, даже слишком небольшой, было человек семь, а с дамами человек десять. Дергачеву было двадцать пять лет, и он был женат. У жены была сестра и еще родственница; они тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-как, впрочем достаточно, и даже было чисто. На стене висел литографированный портрет, но очень дешевый, а в углу образ без ризы, но с горевшей лампадкой. Дергачев подошел ко мне, пожал руку и попросил садиться.

— Садитесь, здесь все свои.

— Сделайте одолжение, — прибавила тотчас же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одетая, и, слегка поклонившись мне, тотчас же вышла. Это была жена его, и, кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка. Но в комнате оставались еще две дамы — одна очень небольшого роста, лет двадцати, в черном платьице и тоже не из дурных, а другая лет тридцати, сухая и востроглазая. Они сидели, очень слушали, но в разговор не вступали.

Что же касается до мужчин, то все были на ногах, а сидели только, кроме меня, Крафт и Васин; их указал мне тотчас же Ефим, потому что я и Крафта видел теперь в первый раз в жизни. Я встал с места и подошел с ним познакомиться. Крафтово лицо я никогда не забуду: никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобивое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. Двадцати шести лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое; что-то во всем нем было такое тихое. А между тем спросите, — я бы не променял моего, может быть, даже очень пошлого лица,

---

[1] «Чего не исцеляют лекарства — исцеляет железо, чего не исцеляет железо — исцеляет огонь!» *(лат.)*

на его лицо, которое казалось мне так привлекательным. Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое, что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной, себе неведомой гордости. Впрочем, так буквально судить я тогда, вероятно, не мог; это мне теперь кажется, что я тогда так судил, то есть уже после события.

- Очень рад, что вы пришли, — сказал Крафт. — У меня есть одно письмо, до вас относящееся. Мы здесь посидим, а потом пойдем ко мне.

Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой; во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая беспрерывная осторожность; хоть он больше молчал, но очевидно управлял разговором. Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое; предчувствовалось мало сообщительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачевского, глубже, — умнее всех в комнате; впрочем, может быть, я теперь всё преувеличиваю. Из остальных я припоминаю всего только два лица из всей этой молодежи: одного высокого смуглого человека, с черными бакенами, много говорившего, лет двадцати семи, какого-то учителя или вроде того, и еще молодого парня моих лет, в русской поддевке, — лицо со складкой, молчаливое, из прислушивающихся. Он и оказался потом из крестьян.

— Нет, это не так надо ставить, — начал, очевидно возобновляя давешний спор, учитель с черными бакенами, горячившийся больше всех, — про математические доказательства я ничего не говорю, но это идея, которой я готов верить и без математических доказательств...

— Подожди, Тихомиров, — громко перебил Дергачев, — вошедшие не понимают. Это, видите ли, — вдруг обратился он ко мне одному (и признаюсь, если он имел намерение обэкзаменовать во мне новичка или заставить меня говорить, то прием был очень ловкий с его стороны; я тотчас это почувствовал и приготовился), — это, видите ли, вот господин Крафт, довольно уже нам всем известный и характером и солидностью убеждений. Он, вследствие весьма обыкновенного факта, пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный...

— Третьестепенный, — крикнул кто-то.

— ...второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть и справедливого, своего вывода господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки и...

— Позволь, Дергачев, это не так надо ставить, — опять подхватил с нетерпением Тихомиров (Дергачев тотчас же уступил). — Ввиду того, что Крафт сделал серьезные изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею (которую я бы принял преспокойно a priori), ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена. Из всего выходит вопрос, который Крафт понимать не может, и вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта, потому что это феномен. Надо разрешить, принадлежит ли этот феномен клинике, как единичный случай, или есть свойство, которое может нормально повторяться в других; это интересно в видах уже общего дела. Про Россию я Крафту поверю и даже скажу, что, пожалуй, и рад; если б эта идея была всеми усвоена, то развязала бы руки и освободила многих от патриотического предрассудка...

— Я не из патриотизма, — сказал Крафт как бы с какой-то натугой. Все эти дебаты были, кажется, ему неприятны.

— Патриотизм или нет, это можно оставить в стороне, — промолвил Васин, очень молчавший.

— Но чем, скажите, вывод Крафта мог бы ослабить стремление к общечеловеческому делу? — кричал учитель (он один только кричал, все остальные говорили тихо). — Пусть Россия осуждена на второстепенность; но можно работать и не для одной России. И, кроме того, как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить?

— К тому же немец, — послышался опять голос.

— Я — русский, — сказал Крафт.

— Это — вопрос, не относящийся прямо к делу, — заметил Дергачев перебившему.

— Выйдите из узкости вашей идеи, — не слушал ничего Тихомиров. — Если Россия только материал для более благородных племен, то почему же ей и не послужить таким материалом? Это — роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идее ввиду расширения задачи? Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось. Предстоящую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего, — для будущего еще неизвестного народа, но который составится из всего человечества, без разбора племен. И без того Россия умерла бы когда-нибудь; народы, даже самые даровитые, живут всего по полторы, много по две тысячи лет; не всё ли тут равно: две тысячи или двести лет? Римляне не прожили и полутора тысяч лет в живом виде и обратились тоже в материал. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу положения, чтоб когда-нибудь было нечего делать! Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь.

Дела так много, что недостанет жизни, если внимательно оглянуться.

— Надо жить по закону природы и правды, — проговорила из-за двери госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди, с прикрытой грудью, и горячо прислушивалась.

Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем с сильною искренностью:

— Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?

— Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности из-за того только, что Россия — предназначенная второстепенность; если вам указано, что вместо узкого горизонта вам открывается бесконечность, что вместо узкой идеи патриотизма...

— Э! — тихо махнул рукой Крафт, — я ведь сказал вам, что тут не патриотизм.

— Тут, очевидно, недоумение, — ввязался вдруг Васин. — Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает всё существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.

— Ошибка! — завопил спорщик, — логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!

— Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, — ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи.

— Это именно так, как вы сказали! — обратился я вдруг к нему, разбивая лед и начиная вдруг говорить. — Именно надо вместо чувства вставить другое, чтоб заменить. В Москве, четыре года назад, один генерал... Видите, господа, я его не знал, но... Может быть, он, собственно, и не мог внушать сам по себе уважения... И притом самый факт мог явиться неразумным, но... Впрочем, у него, видите ли, умер ребенок, то есть, в сущности, две девочки, обе одна за другой, в скарлатине... Что ж, он вдруг так был убит, что всё грустил, так грустил, что ходит и на него глядеть нельзя, — и кончил тем, что умер, почти после полгода. Что он от этого умер, то это факт! Чем, стало быть, можно было его воскресить? Ответ: равносильным чувством! Надо было выкопать ему из могилы этих двух девочек и дать их — вот и всё, то есть

в этом роде. Он и умер. А между тем можно бы было представить ему прекрасные выводы: что жизнь скоропостижна, что все смертны, представить из календаря статистику, сколько умирает от скарлатины детей... Он был в отставке...

Я остановился, задыхаясь и оглядываясь кругом.

— Это совсем не то, — проговорил кто-то.

— Приведенный вами факт хоть и неоднороден с данным случаем, но всё же похож и поясняет дело, — обратился ко мне Васин.

IV

Здесь я должен сознаться, почему я пришел в восхищение от аргумента Васина насчет «идеи-чувства», а вместе с тем должен сознаться в адском стыде. Да, я трусил идти к Дергачеву, хотя и не от той причины, которую предполагал Ефим. Я трусил оттого, что еще в Москве их боялся. Я знал, что они (то есть они или другие в этом роде — это всё равно) — диалектики и, пожалуй, разобьют «мою идею». Я твердо был уверен в себе, что им идею мою не выдам и не скажу; но они (то есть опять-таки они или вроде них) могли мне сами сказать что-нибудь, отчего я бы сам разочаровался в моей идее, даже и не заикаясь им про нее. В «моей идее» были вопросы, мною не разрешенные, но я не хотел, чтоб кто-нибудь разрешал их, кроме меня. В последние два года я даже перестал книги читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу «идеи», которое могло бы потрясти меня. И вдруг Васин разом разрешает задачу и успокоивает меня в высшем смысле. В самом деле, чего же я боялся и что могли они мне сделать какой бы там ни было диалектикой? Я, может быть, один там и понял, что такое Васин говорил про «идею-чувство»! Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить ее равносильным прекрасным; не то я, не желая ни за что расставаться с моим чувством, опровергну в моем сердце опровержение, хотя бы насильно, что бы там они ни сказали. А что они могли дать мне взамен? И потому я бы мог быть храбрее, я был обязан быть мужественнее. Придя в восхищение от Васина, я почувствовал стыд, а себя — недостойным ребенком!

Тут и еще вышел стыд. Не гаденькое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить, но и желание «прыгнуть на шею». Это желание прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того (словом, свинство), я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало, после всякого такого позора, лишь то, что все-таки «идея» при мне, в прежней тайне, и что я ее им не выдал. С замиранием представлял

я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а может быть, и идею брошу; а потому берег и хранил ее и трепетал болтовни. И вот, у Дергачева, с первого почти столкновения не выдержал: ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно; вышел позор. Воспоминание скверное! Нет, мне нельзя жить с людьми; я и теперь это думаю; на сорок лет вперед говорю. Моя идея — угол.

V

Только что Васин меня похвалил, мне вдруг нестерпимо захотелось говорить.

— По-моему, всякий имеет право иметь свои чувства... если по убеждению... с тем, чтоб уж никто его не укорял за них, — обратился я к Васину. Хоть я проговорил и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой язык шевелился.

— Бу-удто-с? — тотчас же подхватил и протянул с иронией тот самый голос, который перебивал Дергачева и крикнул Крафту, что он немец.

Считая его полным ничтожеством, я обратился к учителю, как будто это он крикнул мне.

— Мое убеждение, что я никого не смею судить, — дрожал я, уже зная, что полечу.

— Зачем же так секретно? — раздался опять голос ничтожества.

— У всякого своя идея, — смотрел я в упор на учителя, который, напротив, молчал и рассматривал меня с улыбкой.

— У вас? — крикнуло ничтожество.

— Долго рассказывать... А отчасти моя идея именно в том, чтоб оставили меня в покое. Пока у меня есть два рубля, я хочу жить один, ни от кого не зависеть (не беспокойтесь, я знаю возражения) и ничего не делать, — даже для того великого будущего человечества, работать на которого приглашали господина Крафта. Личная свобода, то есть моя собственная-с, на первом плане, а дальше знать ничего не хочу.

Ошибка в том, что я рассердился.

— То есть проповедуете спокойствие сытой коровы?

— Пусть. От коровы не оскорбляются. Я никому ничего не должен, я плачу обществу деньги в виде фискальных поборов за то, чтоб меня не обокрали, не прибили и не убили, а больше никто ничего с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечеству, и буду, и, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповедники; но только я хочу, чтобы с меня этого никто *не смел требовать*, заставлять меня, как господина Крафта; моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму. А бегать да вешаться всем на шею от любви к человечеству да сгорать слезами умиления — это только мода.

Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое в свою очередь истлеет без всякого следа и воспоминания (время тут ничего не значит), когда Земля обратится в свою очередь в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее чего нельзя себе и представить! Вот ваше учение! Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более если всё продолжается одну минуту.

— Б-ба! — крикнул голос.

Я выпалил всё это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что лечу в яму, но я торопился, боясь возражений. Я слишком чувствовал, что сыплю как сквозь решето, бессвязно и через десять мыслей в одиннадцатую, но я торопился их убедить и перепобедить. Это так было для меня важно! Я три года готовился! Но замечательно, что они вдруг замолчали, ровно ничего не говорили, а все слушали. Я всё продолжал обращаться к учителю:

— Именно-с. Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» Видите ли-с, есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-с: у меня был товарищ, Ламберт, который говорил мне еще шестнадцати лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду; а когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувства! Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос: «Почему он непременно должен быть благородным?» И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, — никогда не бывало. В нашем обществе совсем неясно, господа. Ведь вы бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода»; а если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них, и до будущего, когда я один только раз на свете живу! Позвольте мне самому знать мою выгоду: оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига? Нет-с, если так, то я самым преневежливым образом буду жить для себя, а там хоть бы все провалились!

— Превосходное желание!

— Впрочем, я всегда готов вместе.

— Еще лучше! (Это всё тот голос.)

Остальные все продолжали молчать, все глядели и меня разглядывали; но мало-помалу с разных концов комнаты началось хихиканье, еще тихое, но все хихикали мне прямо в глаза. Васин и Крафт только не хихикали. С черными бакенами тоже ухмылялся; он в упор смотрел на меня и слушал.

— Господа, — дрожал я весь, — я мою идею вам не скажу ни за что, но я вас, напротив, с вашей же точки спрошу, — не думайте, что с моей, потому что я, может быть, в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все, вместе взятые! Скажите, — и вы уж теперь непременно должны ответить, вы обязаны, потому что смеетесь, — скажите: чем прельстите вы меня, чтоб я шел за вами? Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? Я давно, господа, желал с вами встретиться! У вас будет казарма, общие квартиры, stricte nécessaire,[1] атеизм и общие жены без детей — вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за всё за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло, вы берете взамен всю мою личность! Позвольте-с: у меня там жену уведут; уймете ли вы мою личность, чтоб я не размозжил противнику голову? Вы скажете, что я тогда и сам поумнею; но жена-то что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно-с; постыдитесь!

— А вы по женской части — специалист? — раздался с злорадством голос ничтожества.

Одно мгновение у меня была мысль броситься и начать его тузить кулаками. Это был невысокого роста, рыжеватый и весноватый... да, впрочем, черт бы взял его наружность!

— Успокойтесь, я еще никогда не знал женщины, — отрезал я, в первый раз к нему повертываясь.

— Драгоценное сообщение, которое могло бы быть сделано вежливее, ввиду дам!

Но все вдруг густо зашевелились; все стали разбирать шляпы и хотели идти, — конечно, не из-за меня, а им пришло время; но это молчаливое отношение ко мне раздавило меня стыдом. Я тоже вскочил.

— Позвольте, однако, узнать вашу фамилию, вы всё смотрели на меня? — ступил вдруг ко мне учитель с подлейшей улыбкой.

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий, сын бывшего крепостного Макара Долгорукого и незаконный сын моего бывшего барина господина Версилова. Не беспокойтесь, господа: я вовсе не для того, чтобы

---

[1] строго необходимое *(франц.)*.

вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все завыли как телята от умиления!

Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся и запищал. Я трепетал от ярости. Все они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого внимания.

— Пойдемте, — толкнул меня Крафт.

Я подошел к Дергачеву, изо всех сил сжал ему руку и потряс ее несколько раз тоже изо всей силы.

— Извините, что вас всё обижал Кудрюмов (это рыжеватый), — сказал мне Дергачев.

Я пошел за Крафтом. Я ничего не стыдился.

VI

Конечно, между мной теперешним и мной тогдашним — бесконечная разница.

Продолжая «ничего не стыдиться», я еще на лесенке нагнал Васина, отстав от Крафта, как от второстепенности, и с самым натуральным видом, точно ничего не случилось, спросил:

— Вы, кажется, изволите знать моего отца, то есть я хочу сказать Версилова?

— Я, собственно, не знаком, — тотчас ответил Васин (и без малейшей той обидной утонченной вежливости, которую берут на себя люди деликатные, говоря с тотчас же осрамившимся), — но я несколько его знаю; встречался и слушал его.

— Коли слушали, так, конечно, знаете, потому что вы — вы! Как вы о нем думаете? Простите за скорый вопрос, но мне нужно. Именно как *вы* бы думали, собственно *ваше* мнение необходимо.

— Вы с меня много спрашиваете. Мне кажется, этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, — но отчету никому не отдающий.

— Это верно, это очень верно, это — очень гордый человек! Но чистый ли это человек? Послушайте, что вы думаете о его католичестве? Впрочем, я забыл, что вы, может быть, не знаете...

Если б я не был так взволнован, уж разумеется, я бы не стрелял такими вопросами, и так зря, в человека, с которым никогда не говорил, а только о нем слышал. Меня удивляло, что Васин как бы не замечал моего сумасшествия!

— Я слышал что-то и об этом, но не знаю, насколько это могло бы быть верно, — по-прежнему спокойно и ровно ответил он.

— Ничуть! это про него неправду! Неужели вы думаете, что он может верить в бога?

— Это — очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали, а многие из очень гордых людей любят верить в бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность — найти кого-нибудь

или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу.

— Послушайте, это, должно-быть, ужасно верно! — вскричал я опять. — Только я бы желал понять...

— Тут причина ясная: они выбирают бога, чтоб не преклоняться перед людьми, — разумеется, сами не ведая, как это в них делается: преклониться пред богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие — вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся. Про господина Версилова я думаю, что в нем есть и чрезвычайно искренние черты характера. И вообще он меня заинтересовал.

— Васин! — вскричал я, — вы меня радуете! Я не уму вашему удивляюсь, я удивляюсь тому, как можете вы, человек столь чистый и так безмерно надо мной стоящий, — как можете вы со мной идти и говорить так просто и вежливо, как будто ничего не случилось!

Васин улыбнулся.

— Вы уж слишком меня хвалите, а случилось там только то, что вы слишком любите отвлеченные разговоры. Вы, вероятно, очень долго перед этим молчали.

— Я три года молчал, я три года говорить готовился... Дураком я вам, разумеется, показаться не мог, потому что вы сами чрезвычайно умны, хотя глупее меня вести себя невозможно, но подлецом!

— Подлецом?

— Да, несомненно! Скажите, не презираете вы меня втайне за то, что я сказал, что я незаконнорожденный Версилова... и похвалился, что сын дворового?

— Вы слишком себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоит только не говорить в другой раз; вам еще пятьдесят лет впереди.

— О, я знаю, что мне надо быть очень молчаливым с людьми. Самый подлый из всех развратов — это вешаться на шею; я сейчас это им сказал, и вот я и вам вешаюсь! Но ведь есть разница, есть? Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту!

Васин опять улыбнулся.

— Приходите ко мне, если захотите, — сказал он. — Я имею теперь работу и занят, но вы сделаете мне удовольствие.

— Я заключил об вас давеча, по физиономии, что вы излишне тверды и несообщительны.

— Это очень может быть верно. Я знал вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлого года, в Луге... Крафт остановился и, кажется, вас ждет; ему поворачивать.

Я крепко пожал руку Васина и добежал до Крафта, который всё шел впереди, пока я говорил с Васиным. Мы молча дошли до его квартиры; я не хотел еще и не мог говорить с ним. В характере Крафта одною из сильнейших черт была деликатность.

Глава четвертая

I

Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову (за вознаграждение от него) в ведении иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть многое известно из того, что так интересовало меня. Но я знал от Марьи Ивановны, жены Николая Семеновича, у которого я прожил столько лет, когда ходил в гимназию, — и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже «поручено» передать мне нечто. Я уже ждал его целый месяц.

Он жил в маленькой квартире, в две комнаты, совершенным особняком, а в настоящую минуту, только что воротившись, был даже и без прислуги. Чемодан был хоть и раскрыт, но не убран, вещи валялись на стульях, а на столе, перед диваном, разложены были: саквояж, дорожная шкатулка, револьвер и проч. Войдя, Крафт был в чрезвычайной задумчивости, как бы забыв обо мне вовсе; он, может быть, и не заметил, что я с ним не разговаривал дорогой. Он тотчас же что-то принялся искать, но, взглянув мимоходом в зеркало, остановился и целую минуту пристально рассматривал свое лицо. Я хоть и заметил эту особенность (а потом слишком всё припомнил), но я был грустен и очень смущен. Я был не в силах сосредоточиться. Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела в сущности? Не одной ли напускной на себя заботой? Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, на недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу. А между тем неспособность моя к серьезному делу очевидно обозначалась, ввиду того, что случилось у Дергачева.

— Крафт, вы к ним и еще пойдете? — вдруг спросил я его. Он медленно обернулся ко мне, как бы плохо понимая меня. Я сел на стул.

— Простите их! — сказал вдруг Крафт.

Мне, конечно, показалось, что это насмешка; но, взглянув пристально, я увидал в лице его такое странное и даже удивительное простодушие, что мне даже самому удивительно стало, как это он так серьезно попросил меня их «простить». Он поставил стул и сел подле меня.

— Я сам знаю, что я, может быть, сброд всех самолюбий и больше ничего, — начал я, — но не прошу прощения.

— Да и совсем не у кого, — проговорил он тихо и серьезно. Он всё время говорил тихо и очень медленно.

— Пусть я буду виноват перед собой... Я люблю быть виновным перед собой... Крафт, простите, что я у вас вру.

Скажите, неужели вы тоже в этом кружке? Я вот об чем хотел спросить.

— Они не глупее других и не умнее; они — помешанные, как все.

— Разве все — помешанные? — повернулся я к нему с невольным любопытством.

— Из людей получше теперь все — помешанные. Сильно кутит одна середина и бездарность... Впрочем, это всё не стоит.

Говоря, он смотрел как-то в воздух, начинал фразы и обрывал их. Особенно поражало какое-то уныние в его голосе.

— Неужели и Васин с ними? В Васине — ум, в Васине — нравственная идея! — вскричал я.

— Нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было.

— Прежде не было?

— Лучше оставим это, — проговорил он с явным утомлением.

Меня тронула его горестная серьезность. Устыдясь своего эгоизма, я стал входить в его тон.

— Нынешнее время, — начал он сам, помолчав минуты две и всё смотря куда-то в воздух, — нынешнее время — это время золотой средины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею.

Он опять оборвал и помолчал немного; я слушал.

— Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало...

— Позвольте, Крафт, вы сказали: «Заботятся о том, что будет через тысячу лет». Ну а ваше отчаяние... про участь России... разве это не в том же роде забота?

— Это... это — самый насущный вопрос, который только есть! — раздражительно проговорил он и быстро встал с места.

— Ах да! Я и забыл! — сказал он вдруг совсем не тем голосом, с недоумением смотря на меня, — я вас зазвал по делу и между тем... Ради бога, извините.

Он точно вдруг опомнился от какого-то сна, почти сконфузился; взял из портфеля, лежавшего на столе, письмо и подал мне.

— Вот что я имею вам передать. Это — документ, имеющий некоторую важность, — начал он со вниманием и с самым деловым видом.

Меня, еще долго спустя, поражала потом, при воспоминании, эта способность его (в такие для него часы!) с таким сердечным вниманием отнестись к чужому делу, так спокойно и твердо рассказать его.

— Это письмо того самого Столбеева, по смерти которого из-за завещания его возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу Версилова; за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения. Алексей Никанорович (Андроников), занимавшийся делом Версилова, сохранял это письмо у себя и, незадолго до своей смерти, передал его мне с поручением «приберечь» — может быть, боялся за свои бумаги, предчувствуя смерть. Не желаю судить теперь о намерениях Алексея Никаноровича в этом случае и признаюсь, по смерти его я находился в некоторой тягостной нерешимости, что мне делать с этим документом, особенно ввиду близкого решения этого дела в суде. Но Марья Ивановна, которой Алексей Никанорович, кажется, очень много поверял при жизни, вывела меня из затруднения: она написала мне, три недели назад, решительно, чтоб я передал документ именно вам, и что это, *кажется* (ее выражение), совпадало бы и с волей Андроникова. Итак, вот документ, и я очень рад, что могу его наконец передать.

— Послушайте, — сказал я, озадаченный такою неожиданною новостью, — что же я буду теперь с этим письмом делать? Как мне поступить?

— Это уж в вашей воле.

— Невозможно, я ужасно несвободен, согласитесь сами! Версилов так ждал этого наследства... и, знаете, он погибнет без этой помощи — и вдруг существует такой документ!

— Он существует только здесь, в комнате.

— Неужели так? — посмотрел я на него внимательно.

— Если вы в этом случае сами не находите, как поступить, то что же я могу вам присоветовать?

— Но передать князю Сокольскому я тоже не могу: я убью все надежды Версилова и, кроме того, выйду перед ним изменником... С другой стороны, передав Версилову, я ввергну невинных в нищету, а Версилова все-таки ставлю в безвыходное положение: или отказаться от наследства, или стать вором.

— Вы слишком преувеличиваете значение дела.

— Скажите одно: имеет этот документ характер решительный, окончательный?

— Нет, не имеет. Я небольшой юрист. Адвокат противной стороны, разумеется, знал бы, как этим документом воспользоваться, и извлек бы из него всю пользу; но Алексей Никанорович находил положительно, что это письмо, будучи предъявлено, не имело бы большого юридического значения, так что дело Версилова могло

бы быть все-таки выиграно. Скорее же этот документ представляет, так сказать, дело совести...

— Да вот это-то и важнее всего, — перебил я, — именно потому-то Версилов и будет в безвыходном положении.

— Он, однако, может уничтожить документ и тогда, напротив, избавит себя уже от всякой опасности.

— Имеете вы особые основания так полагать о нем, Крафт? Вот что я хочу знать: для того-то я и у вас!

— Я думаю, что всякий на его месте так бы поступил.

— И вы сами так поступили бы?

— Я не получаю наследства и потому про себя не знаю.

— Ну, хорошо, — сказал я, сунув письмо в карман. — Это дело пока теперь кончено. Крафт, послушайте. Марья Ивановна, которая, уверяю вас, многое мне открыла, сказала мне, что вы, и только один вы, могли бы передать истину о случившемся в Эмсе, полтора года назад, у Версилова с Ахмаковыми. Я вас ждал, как солнца, которое всё у меня осветит. Вы не знаете моего положения, Крафт. Умоляю вас сказать мне всю правду. Я именно хочу знать, какой *он* человек, а теперь — теперь больше, чем когда-нибудь это надо!

— Я удивляюсь, как Марья Ивановна вам не передала всего сама; она могла обо всем слышать от покойного Андроникова и, разумеется, слышала и знает, может быть, больше меня.

— Андроников сам в этом деле путался, так именно говорит Марья Ивановна. Этого дела, кажется, никто не может распутать. Тут черт ногу переломит! Я же знаю, что вы тогда сами были в Эмсе...

— Я всего не застал, но что знаю, пожалуй, расскажу охотно; только удовлетворю ли вас?

II

Не привожу дословного рассказа, а приведу лишь вкратце сущность.

Полтора года назад Версилов, став через старого князя Сокольского другом дома Ахмаковых (все тогда находились за границей, в Эмсе), произвел сильное впечатление, во-первых, на самого Ахмакова, генерала и еще нестарого человека, но проигравшего всё богатое приданое своей жены, Катерины Николаевны, в три года супружества в карты и от невоздержной жизни уже имевшего удар. Он от него очнулся и поправлялся за границей, а в Эмсе проживал для своей дочери, от первого своего брака. Это была болезненная девушка, лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности. Приданого у ней не было; надеялись, по обыкновению, на старого князя. Катерина Николавна была, говорят, доброй мачехой. Но девушка почему-то особенно привязалась к Версилову.

Он проповедовал тогда «что-то страстное», по выражению Крафта, какую-то новую жизнь, «был в религиозном настроении высшего смысла» — по странному, а может быть, и насмешливому выражению Андроникова, которое мне было передано. Но замечательно, что его скоро все невзлюбили. Генерал даже боялся его; Крафт совершенно не отрицает слуха, что Версилов успел утвердить в уме больного мужа, что Катерина Николавна неравнодушна к молодому князю Сокольскому (отлучившемуся тогда из Эмса в Париж). Сделал же это не прямо, а, «по обыкновению своему», наветами, наведениями и всякими извилинами, «на что он великий мастер», выразился Крафт. Вообще же скажу, что Крафт считал его, и желал считать, скорее плутом и врожденным интриганом, чем человеком, действительно проникнутым чем-то высшим или хоть оригинальным. Я же знал и помимо Крафта, что Версилов, имев сперва чрезвычайное влияние на Катерину Николавну, мало-помалу дошел с нею до разрыва. В чем тут состояла вся эта игра, я и от Крафта не мог добиться, но о взаимной ненависти, возникшей между обоими после их дружбы, все подтверждали. Затем произошло одно странное обстоятельство: болезненная падчерица Катерины Николавны, по-видимому, влюбилась в Версилова, или чем-то в нем поразилась, или воспламенилась его речью, или уж я этого ничего не знаю; но известно, что Версилов одно время все почти дни проводил около этой девушки. Кончилось тем, что девица объявила вдруг отцу, что желает за Версилова замуж. Что это случилось действительно, это все подтверждают — и Крафт, и Андроников, и Марья Ивановна, и даже однажды проговорилась об этом при мне Татьяна Павловна. Утверждали тоже, что Версилов не только сам желал, но даже и настаивал на браке с девушкой и что соглашение этих двух неоднородных существ, старого с малым, было обоюдное. Но отца эта мысль испугала; он, по мере отвращения от Катерины Николавны, которую прежде очень любил, стал чуть не боготворить свою дочь, особенно после удара. Но самой ожесточенной противницей возможности такого брака явилась сама Катерина Николавна. Произошло чрезвычайно много каких-то секретных, чрезвычайно неприятных семейных столкновений, споров, огорчений, одним словом, всяких гадостей. Отец начал наконец подаваться, видя упорство влюбленной и «фанатизированной» Версиловым дочери — выражение Крафта. Но Катерина Николавна продолжала восставать с неумолимой ненавистью. И вот здесь-то и начинается путаница, которую никто не понимает. Вот, однако, прямая догадка Крафта на основании данных, но все-таки лишь догадка.

Версилов будто бы успел внушить *по-своему*, тонко и неотразимо, молодой особе, что Катерина Николавна оттого не соглашается, что влюблена в него сама и уже давно мучит его ревностью, преследует его, интригует, объяснилась уже ему, и теперь готова сжечь его за то, что он полюбил другую; одним словом, что-то в этом роде. Сквернее всего тут то, что он будто бы «намек-

нул» об этом и отцу, мужу «неверной» жены, объясняя, что князь был только развлечением. Разумеется, в семействе начался целый ад. По иным вариантам, Катерина Николавна ужасно любила свою падчерицу и теперь, как оклеветанная перед нею, была в отчаянии, не говоря уже об отношениях к больному мужу. И что же, рядом с этим существует другой вариант, которому, к печали моей, вполне верил и Крафт и которому я и сам верил (обо всем этом я уже слышал). Утверждали (Андроников, говорят, слышал от самой Катерины Николавны), что, напротив, Версилов, прежде еще, то есть до начала чувств молодой девицы, предлагал свою любовь Катерине Николавне; что та, бывшая его другом, даже экзальтированная им некоторое время, но постоянно ему не верившая и противоречившая, встретила это объяснение Версилова с чрезвычайною ненавистью и ядовито осмеяла его. Выгнала же его формально от себя за то, что тот предложил ей прямо стать его женой ввиду близкого предполагаемого второго удара мужа. Таким образом, Катерина Николавна должна была почувствовать особенную ненависть к Версилову, когда увидела потом, что он так открыто ищет уже руки ее падчерицы. Марья Ивановна, передавая всё это мне в Москве, верила и тому и другому варианту, то есть всему вместе: она именно утверждала, что всё это могло произойти совместно, что это вроде la haine dans l'amour,[1] оскорбленной любовной гордости с обеих сторон и т. д., и т. д., одним словом, что-то вроде какой-то тончайшей романической путаницы, недостойной всякого серьезного и здравомыслящего человека и, вдобавок, с подлостью. Но Марья Ивановна была и сама нашпигована романами с детства и читала их день и ночь, несмотря на прекрасный характер. В результате выставлялась очевидная подлость Версилова, ложь и интрига, что-то черное и гадкое, тем более что кончилось действительно трагически: бедная воспламененная девушка отравилась, говорят, фосфорными спичками; впрочем, я даже и теперь не знаю, верен ли этот последний слух; по крайней мере его всеми силами постарались замять. Девица была больна всего две недели и умерла. Спички остались, таким образом, под сомнением, но Крафт и им твердо верил. Затем умер вскорости и отец девицы, говорят, от горести, которая и вызвала второй удар, однако не раньше как через три месяца. Но после похорон девицы молодой князь Сокольский, возвратившийся из Парижа в Эмс, дал Версилову пощечину публично в саду и тот не ответил вызовом; напротив, на другой же день явился на променаде как ни в чем не бывало. Тут-то все от него и отвернулись, в Петербурге тоже. Версилов хоть и продолжал некоторое знакомство, но совсем в другом кругу. Из светского его знакомства все его обвинили, хотя, впрочем, мало кто знал обо всех подробностях; знали только нечто о романической смерти молодой особы и о пощечине. По возможности полные сведения имели

[1] ненависти в любви *(франц.)*.

только два-три лица; более всех знал покойный Андроников, имея уже давно деловые сношения с Ахмаковыми и особенно с Катериной Николавной по одному случаю. Но он хранил все эти секреты даже от семейства своего, а открыл лишь нечто Крафту и Марье Ивановне, да и то вследствие необходимости.

— Главное, тут теперь один документ, — заключил Крафт, — которого чрезвычайно боится госпожа Ахмакова.

И вот что он сообщил и об этом.

Катерина Николавна имела неосторожность, когда старый князь, отец ее, за границей стал уже выздоравливать от своего припадка, написать Андроникову в большом секрете (Катерина Николавна доверяла ему вполне) чрезвычайно компрометирующее письмо. В то время в выздоравливавшем князе действительно, говорят, обнаружилась склонность тратить и чуть не бросать свои деньги на ветер: за границей он стал покупать совершенно ненужные, но ценные вещи, картины, вазы; дарить и жертвовать на бог знает что большими кушами, даже на разные тамошние учреждения; у одного русского светского мота чуть не купил за огромную сумму, заглазно, разоренное и обремененное тяжбами имение; наконец, действительно будто бы начал мечтать о браке. И вот, ввиду всего этого, Катерина Николавна, не отходившая от отца во время его болезни, и послала Андроникову, как юристу и «старому другу», запрос: «Возможно ли будет, по законам, объявить князя в опеке или вроде неправоспособного; а если так, то как удобнее это сделать без скандала, чтоб никто не мог обвинить и чтобы пощадить при этом чувства отца и т. д., и т. д.». Андроников, говорят, тогда же вразумил ее и отсоветовал; а впоследствии, когда князь выздоровел совсем, то и нельзя уже было воротиться к этой идее; но письмо у Андроникова осталось. И вот он умирает; Катерина Николавна тотчас вспомнила про письмо: если бы оно обнаружилось в бумагах покойного и попало в руки старого князя, то тот несомненно прогнал бы ее навсегда, лишил наследства и не дал бы ей ни копейки при жизни. Мысль, что родная дочь не верит в его ум и даже хотела объявить его сумасшедшим, обратила бы этого агнца в зверя. Она же, овдовев, осталась, по милости игрока мужа, без всяких средств и на одного только отца и рассчитывала: она вполне надеялась получить от него новое приданое, столь же богатое, как и первое!

Крафт об участи этого письма знал очень мало, но заметил, что Андроников «никогда не рвал нужных бумаг» и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и «широкой совести». (Я даже подивился тогда такой чрезвычайной самостоятельности взгляда Крафта, столь любившего и уважавшего Андроникова.) Но Крафт имел все-таки уверенность, что компрометирующий документ будто бы попался в руки Версилова через близость того со вдовой и с дочерьми Андроникова; уже известно было, что они тотчас же и обязательно предоставили Версилову все бумаги, оставшиеся после покойного. Знал он тоже, что и Катерине Николавне уже из-

вестно. что письмо у Версилова и что она этого-то и боится, думая, что Версилов тотчас пойдет с письмом к старому князю; что, возвратясь из-за границы, она уже искала письмо в Петербурге, была у Андрониковых и теперь продолжает искать, так как все-таки у нее оставалась надежда, что письмо, может быть, не у Версилова, и, в заключение, что она и в Москву ездила единственно с этою же целью и умоляла там Марью Ивановну поискать в тех бумагах, которые сохранялись у ней. О существовании Марьи Ивановны и об ее отношениях к покойному Андроникову она проведала весьма недавно, уже возвратясь в Петербург.

— Вы думаете, она не нашла у Марьи Ивановны? — спросил я, имея свою мысль.

— Если Марья Ивановна не открыла ничего даже вам, то, может быть, у ней и нет ничего.

— Значит, вы полагаете, что документ у Версилова?

— Вероятнее всего, что да. Впрочем, не знаю, всё может быть, — промолвил он с видимым утомлением.

Я перестал расспрашивать, да и к чему? Всё главное для меня прояснилось, несмотря на всю эту недостойную путаницу; всё, чего я боялся, — подтвердилось.

— Всё это как сон и бред, — сказал я в глубокой грусти и взялся за шляпу.

— Вам очень дорог этот человек? — спросил Крафт с видимым и большим участием, которое я прочел на его лице в ту минуту.

— Я так и предчувствовал, — сказал я, — что от вас все-таки не узнаю вполне. Остается одна надежда на Ахмакову. На нее-то я и надеялся. Может быть, пойду к ней, а может быть, нет.

Крафт посмотрел с некоторым недоумением.

— Прощайте, Крафт! Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли всё порвать, — а?

— А потом куда? — спросил он как-то сурово и смотря в землю.

— К себе, к себе! Все порвать и уйти к себе!

— В Америку?

— В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся «моя идея», Крафт! — сказал я восторженно.

Он как-то любопытно посмотрел на меня.

— А у вас есть это место: «к себе»?

— Есть. До свиданья, Крафт; благодарю вас и жалею, что вас утрудил! Я бы, на вашем месте, когда у самого такая Россия в голове, всех бы к черту отправлял: убирайтесь, интригуйте, грызитесь про себя — мне какое дело!

— Посидите еще, — сказал он вдруг, уже проводив меня до входной двери.

Я немного удивился, воротился и опять сел. Крафт сел напротив. Мы обменялись какими-то улыбками, всё это я как теперь вижу. Очень помню, что мне было как-то удивительно на него.

— Мне в вас нравится, Крафт, то, что вы — такой вежливый человек, — сказал я вдруг.

— Да?

— Я потому, что сам редко умею быть вежливым, хоть и хочу уметь... А что ж, может, и лучше, что оскорбляют люди: по крайней мере избавляют от несчастия любить их.

— Какой вы час во дню больше любите? — спросил он, очевидно меня не слушая.

— Час? Не знаю. Я закат не люблю.

— Да? — произнес он с каким-то особенным любопытством, но тотчас опять задумался.

— Вы куда-то опять уезжаете?

— Да... уезжаю.

— Скоро?

— Скоро.

— Неужели, чтоб доехать до Вильно, револьвер нужен? — спросил я вовсе без малейшей задней мысли: и мысли даже не было! Так спросил, потому что мелькнул револьвер, а я тяготился, о чем говорить.

Он обернулся и посмотрел на револьвер пристально.

— Нет, это я так, по привычке.

— Если б у меня был револьвер, я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Я, может быть, и не верю в эпидемию самоубийств, но если торчит вот это перед глазами — право, есть минуты, что и соблазнит.

— Не говорите об этом, — сказал он и вдруг встал со стула.

— Я не про себя, — прибавил я, тоже вставая, — я не употреблю. Мне хоть три жизни дайте — мне и тех будет мало.

— Живите больше, — как бы вырвалось у него.

Он рассеянно улыбнулся и, странно, прямо пошел в переднюю, точно выводя меня сам, разумеется не замечая, что делает.

— Желаю вам всякой удачи, Крафт, — сказал я, уже выходя на лестницу.

— Это пожалуй, — твердо отвечал он.

— До свиданья!

— И это пожалуй.

Я помню его последний на меня взгляд.

III

Итак, вот человек, по котором столько лет билось мое сердце! И чего я ждал от Крафта, каких это новых сообщений?

Выйдя от Крафта, я сильно захотел есть; наступал уже вечер, а я не обедал. Я вошел тут же на Петербургской, на Большом проспекте, в один мелкий трактир, с тем чтоб истратить копеек двадцать и не более двадцати пяти — более я бы тогда ни за что себе не позволил. Я взял себе супу и, помню, съев его, сел глядеть

в окно; в комнате было много народу, пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый. В соседней биллиардной шумели, но я сидел и сильно думал. Закат солнца (почему Крафт удивился, что я не люблю заката?) навел на меня какие-то новые и неожиданные ощущения совсем не к месту. Мне всё мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза, которые вот уже весь месяц так робко ко мне приглядывались. В последнее время я дома очень грубил, ей преимущественно; желал грубить Версилову, но, не смея ему, по подлому обычаю моему, мучил ее. Даже совсем запугал: часто она таким умоляющим взглядом смотрела на меня при входе Андрея Петровича, боясь с моей стороны какой-нибудь выходки... Очень странно было то, что я теперь, в трактире, в первый раз сообразил, что Версилов мне говорит *ты*, а она — *вы*. Удивлялся я тому и прежде, и не в ее пользу, а тут как-то особенно сообразил — и всё странные мысли, одна за другой, текли в голову. Я долго просидел на месте, до самых полных сумерек. Думал и об сестре...

Минута для меня роковая. Во что бы ни стало надо было решиться! Неужели я не способен решиться? Что трудного в том, чтоб порвать, если к тому же и сами не хотят меня? Мать и сестра? Но их-то я ни в каком случае не оставлю — как бы ни обернулось дело.

Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг, еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встреться он мне тогда — мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверно, были бы иные, несмотря даже на предопределенный мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул.

Но ведь оказывается, что этот человек — лишь мечта моя, мечта с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на деле оказался другой, упавший столь ниже моей фантазии. Я приехал к человеку чистому, а не к этому. И к чему я влюбился в него, раз навсегда, в ту маленькую минутку, как увидел его когда-то, бывши ребенком? Это «навсегда» должно исчезнуть. Я когда-нибудь, если место найдется, опишу эту первую встречу нашу: это пустейший анекдот, из которого ровно ничего не выходит. Но у меня вышла целая пирамида. Я начал эту пирамиду еще под детским одеялом, когда, засыпая, мог плакать и мечтать — о чем? — сам не знаю. О том, что меня оставили? О том, что меня мучат? Но мучили меня лишь немножко, всего только два года, в пансионе Тушара, в который он меня тогда сунул и уехал навсегда. Потом меня никто не мучил; даже напротив, я сам гордо смотрел на товарищей. Да и терпеть я не могу этого ноющего по себе сиротства! Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконнорожденные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, к которым я нисколько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно

воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать: «Вот, дескать, как поступили с нами!» Я бы сек этих сирот. Никто-то не поймет из этой гнусной казенщины, что в десять раз ему благороднее смолчать, а не выть и не *удостоивать* жаловаться. А коли начал удостоивать, то так тебе, сыну любви, и надо. Вот моя мысль!

Но не то смешно, когда я мечтал прежде «под одеялом», а то, что и приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека, почти забыв мои главные цели. Я ехал помочь ему сокрушить клевету, раздавить врагов. Тот документ, о котором говорил Крафт, то письмо этой женщины к Андроникову, которого так боится она, которое может сокрушить ее участь и ввергнуть ее в нищету и которое она предполагает у Версилова, — это письмо было не у Версилова, а у меня, зашито в моем боковом кармане! Я сам и зашивал, и никто во всем мире еще не знал об этом. То, что романическая Марья Ивановна, у которой документ находился «на сохранении», нашла нужным передать его мне, и никому иному, то были лишь ее взгляд и ее воля, и объяснять это я не обязан; может быть, когда-нибудь к слову и расскажу; но столь неожиданно вооруженный, я не мог не соблазниться желанием явиться в Петербург. Конечно, я полагал помочь этому человеку не иначе как втайне, не выставляясь и не горячась, не ожидая ни похвал, ни объятий его. И никогда, никогда бы я не *удостоил* попрекнуть его чем-нибудь! Да и вина ли его в том, что я влюбился в него и создал из него фантастический идеал? Да я даже, может быть, вовсе и не любил его! Его оригинальный ум, его любопытный характер, какие-то там его интриги и приключения и то, что была при нем моя мать, — всё это, казалось, уже не могло бы остановить меня; довольно было и того, что моя фантастическая кукла разбита и что я, может быть, уже не могу любить его больше. Итак, что же останавливало меня, на чем я завяз? — вот вопрос. В итоге выходило, что глуп только я, а более никто.

Но, требуя честности от других, буду честен и сам: я должен сознаться, что зашитый в кармане документ возбуждал во мне не одно только страстное желание лететь на помощь Версилову. Теперь для меня это уж слишком ясно, хоть я и тогда уже краснел от мысли. Мне мерещилась женщина, гордое существо высшего света, с которою я встречусь лицом к лицу; она будет презирать меня, смеяться надо мной, как над мышью, даже и не подозревая, что я властелин судьбы ее. Эта мысль пьянила меня еще в Москве, и особенно в вагоне, когда я сюда ехал; я признался уже в этом выше. Да, я ненавидел эту женщину, но уже любил ее как мою жертву, и всё это правда, всё было действительно. Но уж это было такое детство, которого я даже и от такого, как я, не ожидал. Я описываю тогдашние мои чувства, то есть то, что мне шло в голову тогда, когда я сидел в трактире под соловьем и когда порешил в тот же вечер разорвать с ними неминуемо. Мысль о давешней встрече с этой женщиной залила вдруг тогда

краской стыда мое лицо. Позорная встреча! Позорное и глупенькое впечатленьице и — главное — сильнее всего доказавшее мою неспособность к делу! Оно доказывало лишь то, думал я тогда, что я не в силах устоять даже и пред глупейшими приманками, тогда как сам же сказал сейчас Крафту, что у меня есть «свое место», есть свое дело и что если б у меня было три жизни, то и тогда бы мне было их мало. Я гордо сказал это. То, что я бросил мою идею и затянулся в дела Версилова, — это еще можно было бы чем-нибудь извинить; но то, что я бросаюсь, как удивленный заяц, из стороны в сторону и затягиваюсь уже в каждые пустяки, в том, конечно, одна моя глупость. На какой ляд дернуло меня идти к Дергачеву и выскочить с моими глупостями, давно зная за собой, что ничего не сумею рассказать умно и толково и что мне всего выгоднее молчать? И какой-нибудь Васин вразумляет меня тем, что у меня еще «пятьдесят лет жизни впереди и, стало быть, тужить не о чем». Возражение его прекрасно, я согласен, и делает честь его бесспорному уму; прекрасно уже тем, что самое простое, а самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уж перепробовано всё, что мудреней или глупей; но я знал это возражение и сам, раньше Васина; эту мысль я прочувствовал с лишком три года назад; даже мало того, в ней-то и заключается отчасти «моя идея». Вот что я думал тогда в трактире.

Гадко мне было, когда, усталый и от ходьбы и от мысли, добрался я вечером, часу уже в восьмом, в Семеновский полк. Совсем уже стемнело, и погода переменилась; было сухо, но подымался скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спину, и взвевал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц простонародья, торопливо возвращавшегося в углы свои с работы и промыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни одной-то, может быть, общей, всесоединяющей мысли в этой толпе! Крафт прав: все врозь. Мне встретился маленький мальчик, такой маленький, что странно, как он мог в такой час очутиться один на улице; он, кажется, потерял дорогу; одна баба остановилась было на минуту его выслушать, но ничего не поняла, развела руками и пошла дальше, оставив его одного в темноте. Я подошел было, но он с чего-то вдруг меня испугался и побежал дальше. Подходя к дому, я решил, что я к Васину никогда не пойду. Когда я всходил на лестницу, мне ужасно захотелось застать наших дома одних, без Версилова, чтоб успеть сказать до его прихода что-нибудь доброе матери или милой моей сестре, которой я в целый месяц не сказал почти ни одного особенного слова. Так и случилось, что его не было дома...

IV

А кстати: выводя в «Записках» это «новое лицо» на сцену (то есть я говорю про Версилова), приведу вкратце его формулярный список, ничего, впрочем, не означающий. Я это, чтобы было понятнее

читателю и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем течении рассказа.

Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фанариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню; тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и всё время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу, и даже с моею матерью, которую, впрочем, оставил в Кенигсберге. Бедная рассказывала иногда с каким-то ужасом и качая головой, как она прожила тогда целые полгода, одна-одинешенька, с маленькой дочерью, не зная языка, точно в лесу, а под конец и без денег. Тогда приехала за нею Татьяна Павловна и отвезла ее назад, куда-то в Нижегородскую губернию. Потом Версилов вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял свое дело; но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности, очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версилов и это бросил и опять уехал за границу, и уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи с стариком князем Сокольским. Во всё это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально: то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался.

А впрочем, теперь, доведя мои записки именно до этого пункта, я решаюсь рассказать и «мою идею». Опишу ее в словах, в первый раз с ее зарождения. Я решаюсь, так сказать, открыть ее читателю, и тоже для ясности дальнейшего изложения. Да и не только читатель, а и сам я, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснять шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Этою «фигурою умолчания» я, от неуменья моего, впал опять в те «красоты» романистов, которые сам осмеял выше. Входя в дверь моего петербургского романа со всеми позорными моими в нем приключениями, я нахожу это предисловие необходимым. Но не «красоты» соблазнили меня умолчать до сих пор, а и сущность дела, то есть трудность дела; даже теперь, когда уже прошло всё прошедшее, я ощущаю непреодолимую трудность рассказать эту «мысль». Кроме того, я, без сомнения, должен изложить ее в ее тогдашней форме, то есть как она сложилась и мыслилась у меня тогда, а не теперь, а это уже новая трудность. Рассказывать иные вещи почти невозможно. Именно те идеи, которые всех проще, всех яснее, — именно те-то и трудно понять. Если б Колумб перед открытием Америки стал рассказывать свою идею другим, я убежден, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же. Говоря это, я вовсе не думаю равнять себя с Колумбом, и если кто выведет это, тому будет стыдно и больше ничего.

Глава пятая

I

Моя идея — это стать Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности.

Я повторяю: моя идея — это стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд. Для чего, зачем, какие я именно преследую цели — об этом будет после. Сперва лишь докажу, что достижение моей цели обеспечено математически.

Дело очень простое, вся тайна в двух словах: *упорство* и *непрерывность*.

— Слышали, — скажут мне, — не новость. Всякий фатер в Германии повторяет это своим детям, а между тем ваш Ротшильд (то есть покойный Джемс Ротшильд, парижский, я о нем говорю) был всего только один, а фатеров мильоны.

Я ответил бы:

— Вы уверяете, что слышали, а между тем вы ничего не слышали. Правда, в одном и вы справедливы: если я сказал, что это дело «очень простое», то забыл прибавить, что и самое трудное. Все религии и все нравственности в мире сводятся на одно: «Надо любить добродетель и убегать пороков». Чего бы, кажется, проще? Ну-тка, сделайте-ка что-нибудь добродетельное и убегите хоть одного из ваших пороков, попробуйте-ка, — а? Так и тут.

Вот почему бесчисленные ваши фатеры в течение бесчисленных веков могут повто́рять эти удивительные два слова, составляющие весь секрет, а между тем Ротшильд остается один. Значит: то, да не то, и фатеры совсем не ту мысль повторяют.

Про упорство и непрерывность, без сомнения, слышали и они; но для достижения моей цели нужны не фатерское упорство и не фатерская непрерывность.

Уж одно слово, что он фатер, — я не об немцах одних говорю, — что у него семейство, он живет как и все, расходы как и у всех, обязанности как и у всех, — тут Ротшильдом не сделаешься, а станешь только умеренным человеком. Я же слишком ясно понимаю, что, став Ротшильдом или даже только пожелав им стать, но не по-фатерски, а серьезно, — я уже тем самым разом выхожу из общества.

Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из пароходов, умер один нищий, ходивший в отрепье, просивший милостыню, всем там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми в его рубище до трех тысяч кредитными билетами. На днях я опять читал про одного нищего, из благородных, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его арестовали и нашли при нем до пяти тысяч рублей. Отсюда прямо два вывода: первый — *упорство* в накоплении, даже копеечными суммами, впоследствии дает громадные результаты (время тут ничего не

значит), и второй — что самая нехитрая форма наживания, но лишь *непрерывная*, обеспечена в успехе математически.

Между тем есть, может быть, и очень довольно людей почтенных, умных и воздержных, но у которых (как ни бьются они) нет ни трех, ни пяти тысяч и которым, однако, ужасно бы хотелось иметь их. Почему это так? Ответ ясный: потому что ни один из них, несмотря на всё их хотенье, все-таки не до такой степени *хочет,* чтобы, например, если уж никак нельзя иначе нажить, то стать даже и нищим; и не до такой степени упорен, чтобы, даже и став нищим, не растратить первых же полученных копеек на лишний кусок себе или своему семейству. Между тем при этом способе накопления, то есть при нищенстве, нужно питаться, чтобы скопить такие деньги, хлебом с солью и более ничем; по крайней мере я так понимаю. Так, наверно, делали и вышеозначенные двое нищих, то есть ели один хлеб, а жили чуть не под открытым небом. Сомнения нет, что намерения стать Ротшильдом у них не было: это были лишь Гарпагоны или Плюшкины в чистейшем их виде, не более; но и при сознательном наживании уже в совершенно другой форме, но с целью стать Ротшильдом, — потребуется не меньше хотения и силы воли, чем у этих двух нищих. Фатер такой силы не окажет. На свете силы многоразличны, силы воли и хотения особенно. Есть температура кипения воды и есть температура красного каления железа.

Тут тот же монастырь, те же подвиги схимничества. Тут чувство, а не идея. Для чего? Зачем? Нравственно ли это и не уродливо ли ходить в дерюге и есть черный хлеб всю жизнь, таская на себе такие деньжища? Эти вопросы потом, а теперь только о возможности достижения цели.

Когда я выдумал «мою идею» (а в красном-то каленье она и состоит), я стал себя пробовать: способен ли я на монастырь и на схимничество? С этою целью я целый первый месяц ел только один хлеб с водой. Черного хлеба выходило не более двух с половиною фунтов ежедневно. Чтобы исполнить это, я должен был обманывать умного Николая Семеновича и желавшую мне добра Марью Ивановну. Я настоял на том, к ее огорчению и к некоторому недоумению деликатнейшего Николая Семеновича, чтобы обед приносили в мою комнату. Там я просто истреблял его: суп выливал в окно в крапиву или в одно другое место, говядину — или кидал в окно собаке, или, завернув в бумагу, клал в карман и выносил потом вон, ну и всё прочее. Так как хлеба к обеду подавали гораздо менее двух с половиной фунтов, то потихоньку хлеб прикупал от себя. Я этот месяц выдержал, может быть только несколько расстроил желудок; но с следующего месяца я прибавил к хлебу суп, а утром и вечером по стакану чаю — и, уверяю вас, так провел год в совершенном здоровье и довольстве, а нравственно — в упоении и в непрерывном тайном восхищении. Я не только не жалел о кушаньях, но был в восторге. По окончании года, убедившись, что я в состоянии выдержать какой угодно пост,

я стал есть, как и они, и перешел обедать с ними вместе. Не удовлетворившись этой пробой, я сделал и вторую: на карманные расходы мои, кроме содержания, уплачиваемого Николаю Семеновичу, мне полагалось ежемесячно по пяти рублей. Я положил из них тратить лишь половину. Это было очень трудное испытание, но через два с лишком года, при приезде в Петербург, у меня в кармане, кроме других денег, было семьдесят рублей, накопленных единственно из этого сбережения. Результат двух этих опытов был для меня громадный: я узнал положительно, что могу настолько хотеть, что достигну моей цели, а в этом, повторяю, вся «моя идея»; дальнейшее — всё пустяки.

II

Однако рассмотрим и пустяки.

Я описал мои два опыта; в Петербурге, как известно уже, я сделал третий — сходил на аукцион и, за один удар, взял семь рублей девяносто пять копеек барыша. Конечно, это был не настоящий опыт, а так лишь — игра, утеха: захотелось выкрасть минутку из будущего и попытать, как это я буду ходить и действовать. Вообще же настоящий приступ к делу у меня был отложен, еще с самого начала, в Москве, до тех пор пока я буду совершенно свободен; я слишком понимал, что мне надо было хотя бы, например, сперва кончить с гимназией. (Университетом, как уже известно, я пожертвовал.) Бесспорно, я ехал в Петербург с затаенным гневом: только что я сдал гимназию и стал в первый раз свободным, я вдруг увидел, что дела Версилова вновь отвлекут меня от начала дела на неизвестный срок! Но хоть и с гневом, а я все-таки ехал совершенно спокойный за цель мою.

Правда, я не знал практики; но я три года сряду обдумывал и сомнений иметь не мог. Я воображал тысячу раз, как я приступлю: я вдруг очутываюсь, как с неба спущенный, в одной из двух столиц наших (я выбрал для начала наши столицы, и именно Петербург, которому, по некоторому расчету, отдал преимущество); итак, я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кого не завишу, здоров и имею затаенных в кармане сто рублей для первоначального оборотного капитала. Без ста рублей начинать невозможно, так как на слишком уже долгий срок отдалился бы даже самый первый период успеха. Кроме ста рублей у меня, как уже известно, мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и тайна. Уединение — главное: я ужасно не любил до самой последней минуты никаких сношений и ассоциаций с людьми; говоря вообще, начать «идею» я непременно положил один, это sine qua.[1] Люди мне тяжелы, и я был бы неспокоен духом, а беспокойство вредило бы цели. Да и вообще до сих пор,

---

[1] непременное условие (*лат.*).

во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми, — у меня всегда выходило очень умно; чуть же на деле — всегда очень глупо. И признаюсь в этом с негодованием и искренно, я всегда выдавал себя сам словами и торопился, а потому и решился сократить людей. В выигрыше — независимость, спокойствие духа, ясность цели.

Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более пятнадцати копеек на еду не истрачу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно; я положил, например, иногда по два дня сряду есть один хлеб с солью, но с тем чтобы на третий день истратить сбережения, сделанные в два дня; мне казалось, что это будет выгоднее для здоровья, чем вечный ровный пост на минимуме в пятнадцать копеек. Затем, для житья моего мне нужен был угол, угол буквально, единственно чтобы выспаться ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. Жить я положил на улице, и за нужду я готов был ночевать в ночлежных приютах, где, сверх ночлега, дают кусок хлеба и стакан чаю. О, я слишком сумел бы спрятать мои деньги, чтобы их у меня в угле или в приюте не украли; и не подглядели бы даже, ручаюсь! «У меня-то украдут? Да я сам боюсь, у кого б не украсть», — слышал я раз это веселое слово на улице от одного проходимца. Конечно, я к себе из него применяю лишь одну осторожность и хитрость, а воровать не намерен. Мало того, еще в Москве, может быть с самого первого дня «идеи», порешил, что ни закладчиком, ни процентщиком тоже не буду: на это есть жиды да те из русских, у кого ни ума, ни характера. Заклад и процент — дело ординарности.

Что касается до одежи, то я положил иметь два костюма: расхожий и порядочный. Раз заведя, я был уверен, что проношу долго; я два с половиной года нарочно учился носить платье и открыл даже секрет: чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось, надо чистить его щеткой сколь возможно чаще, раз по пяти и шести в день. Щетки сукно не боится, говорю достоверно, а боится пыли и сору. Пыль — это те же камни, если смотреть в микроскоп, а щетка, как ни тверда, всё та же почти шерсть. Равномерно выучился я и сапоги носить: тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь набок. Выучиться этому можно в две недели, далее уже пойдет бессознательно. Этим способом сапоги носятся, в среднем выводе, на треть времени дольше. Опыт двух лет.

Затем начиналась уже самая деятельность.

Я шел из такого соображения: у меня сто рублей. В Петербурге же столько аукционов, распродаж, мелких лавочек на Толкучем и нуждающихся людей, что невозможно, купив вещь за столько-то, не продать ее несколько дороже. За альбом я взял семь рублей девяносто пять копеек барыша на два рубля пять копеек затраченного капитала. Этот огромный барыш взят был

без риску: я по глазам видел, что покупщик не отступится. Разумеется, я слишком понимаю, что это только случай; но ведь таких-то случаев я и ищу, для того-то и порешил жить на улице. Ну пусть эти случаи даже слишком редки; всё равно, главным правилом будет у меня — не рисковать ничем, и второе — непременно в день хоть сколько-нибудь нажить сверх минимума, истраченного на мое содержание, для того чтобы ни единого дня не прерывалось накопление.

Мне скажут: всё это мечты, вы не знаете улицы, и вас с первого шага надуют. Но я имею волю и характер, а уличная наука есть наука, как и всякая, она дается упорству, вниманию и способностям. В гимназии я до самого седьмого класса был из первых, я был очень хорош в математике. Ну можно ли до такой кумирной степени превозносить опыт и уличную науку, чтобы непременно предсказывать неудачу! Это всегда только те говорят, которые никогда никакого опыта ни в чем не делали, никакой жизни не начинали и прозябали на готовом. «Один расшиб нос, так непременно и другой расшибет его». Нет, не расшибу. У меня характер, и при внимании я всему выучусь. Ну есть ли возможность представить себе, что при беспрерывном упорстве, при беспрерывной зоркости взгляда и беспрерывном обдумывании и расчете, при беспредельной деятельности и беготне, вы не дойдете наконец до знания, как ежедневно нажить лишний двугривенный? Главное, я порешил никогда не бить на максимум барыша, а всегда быть спокойным. Там, дальше, уже нажив тысячу и другую, я бы, конечно, и невольно вышел из факторства и уличного перекупства. Мне, конечно, слишком мало еще известны биржа, акции, банкирское дело и все прочее. Но, взамен того, мне известно как пять моих пальцев, что все эти биржи и банкирства я узнаю и изучу в свое время, как никто другой, и что наука эта явится совершенно просто, потому только, что до этого дойдет дело. Ума, что ли, тут так много надо? Что за Соломонова такая премудрость! Был бы только характер; уменье, ловкость, знание придут сами собою. Только бы не переставалось «хотеть».

Главное, не рисковать, а это именно возможно только лишь при характере. Еще недавно была, при мне уже, в Петербурге одна подписка на железнодорожные акции; те, которым удалось подписаться, нажили много. Некоторое время акции шли в гору. И вот вдруг не успевший подписаться или жадный, видя акции у меня в руках, предложил бы их продать ему, за столько-то процентов премии. Что ж, я непременно бы и тотчас же продал. Надо мной бы, конечно, стали смеяться: дескать, подождали бы, в десять бы раз больше взяли. Так-с, но моя премия вернее уже тем, что в кармане, а ваша-то еще летает. Скажут, что этак много не наживешь; извините, тут-то и ваша ошибка, ошибка всех этих наших Кокоревых, Поляковых, Губониных. Узнайте истину: непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накоплении

сильнее моментальных выгод даже хотя бы и в сто на сто процентов!

Незадолго до французской революции явился в Париже некто Лоу и затеял один, в принципе гениальный, проект (который потом на деле ужасно лопнул). Весь Париж взволновался; акции Лоу покупались нарасхват, до давки. В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа как из мешка; но и дома наконец недостало: публика толпилась на улице — всех званий, состояний, возрастов; буржуа, дворяне, дети их, графини, маркизы, публичные женщины — всё сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных бешеной собакой; чины, предрассудки породы и гордости, даже честь и доброе имя — всё стопталось в одной грязи; всем жертвовали (даже женщины), чтобы добыть несколько акций. Подписка перешла наконец на улицу, но негде было писать. Тут одному горбуну предложили уступить на время свой горб, в виде стола для подписки на нем акций. Горбун согласился — можно представить, за какую цену! Некоторое время спустя (очень малое) всё обанкрутилось, всё лопнуло, вся идея полетела к черту, и акции потеряли всякую цену. Кто ж выиграл? Один горбун, именно потому, что брал не акции, а наличные луидоры. Ну-с, я вот и есть тот самый горбун! У меня достало же силы не есть и из копеек скопить семьдесят два рубля; достанет и настолько, чтобы и в самом вихре горячки, всех охватившей, удержаться и предпочесть верные деньги большим. Я мелочен лишь в мелочах, но в великом — нет. На малое терпение у меня часто недоставало характера, даже и после зарождения «идеи», а на большое — всегда достанет. Когда мне мать подавала утром, перед тем как мне идти на службу, простылый кофей, я сердился и грубил ей, а между тем я был тот самый человек, который прожил весь месяц только на хлебе и на воде.

Одним словом, не нажить, не выучиться, как нажить, — было бы неестественно. Неестественно тоже при беспрерывном и ровном накоплении, при беспрерывной приглядке и трезвости мысли, воздержности, экономии, при энергии, всё возрастающей, неестественно, повторяю я, не стать и миллионщиком. Чем нажил нищий свои деньги, как не фанатизмом характера и упорством? Неужели я хуже нищего? «А наконец, пусть я не достигну ничего, пусть расчет неверен, пусть лопну и провалюсь, всё равно — я иду. Иду потому, что так хочу». Вот что я говорил еще в Москве.

Мне скажут, что тут нет никакой «идеи» и ровнешенько ничего нового. А я скажу, и уже в последний раз, что тут бесчисленно много идеи и бесконечно много нового.

О, я ведь предчувствовал, как тривиальны будут все возражения и как тривиален буду я сам, излагая «идею»: ну что я высказал? Сотой доли не высказал; я чувствую, что вышло мелочно, грубо, поверхностно и даже как-то моложе моих лет.

III

Остаются ответы на «зачем» и «почему», «нравственно или нет» и пр., и пр., на это я обещал ответить.

Мне грустно, что разочарую читателя сразу, грустно, да и весело. Пусть знают, что ровно никакого-таки чувства «мести» нет в целях моей «идеи», ничего байроновского — ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности, ничего, ничего. Одним словом, романтическая дама, если бы ей попались мои записки, тотчас повесила бы нос. Вся цель моей «идеи» — уединение.

— Но уединения можно достигнуть вовсе не топорщась стать Ротшильдом. К чему тут Ротшильд?

— А к тому, что кроме уединения мне нужно и могущество.

Сделаю предисловие: читатель, может быть, ужаснется откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя: как это не краснел сочинитель? Отвечу, я пишу не для издания; читателя же, вероятно, буду иметь разве через десять лет, когда всё уже до такой степени обозначится, пройдет и докажется, что краснеть уж нечего будет. А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только прием. Мой читатель — лицо фантастическое.

Нет, не незаконнорожденность, которою так дразнили меня у Тушара, не детские грустные годы, не месть и не право протеста явились началом моей «идеи»; вина всему — один мой характер. С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Слишком мне грустно было иногда самому, в чистые минуты мои, что я никак не могу всего высказать даже близким людям, то есть и мог бы, да не хочу, почему-то удерживаюсь; что я недоверчив, угрюм и несообщителен. Опять-таки, я давно уже заметил в себе черту, чуть не с детства, что слишком часто обвиняю, слишком наклонен к обвинению других; но за этой наклонностью весьма часто немедленно следовала другая мысль, слишком уже для меня тяжелая: «Не я ли сам виноват вместо них?» И как часто я обвинял себя напрасно! Чтоб не разрешать подобных вопросов, я, естественно, искал уединения. К тому же и не находил ничего в обществе людей, как ни старался, а я старался; по крайней мере все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения.

Да, я сумрачен, я беспрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти из общества. Я, может быть, и буду делать добро людям, но часто не вижу ни малейшей причины им делать добро. И совсем люди не так прекрасны, чтоб о них так заботиться. Зачем они не подходят прямо и откровенно и к чему я непременно сам и первый обязан к ним лезть? — вот о чем я себя спрашивал. Я существо благодарное и доказал это уже сотнею дурачеств. Я мигом бы

отвечал откровенному откровенностью и тотчас же стал бы любить его. Так я и делал; но все они тотчас же меня надували и с насмешкой от меня закрывались. Самый открытый из всех был Ламберт, очень бивший меня в детстве; но и тот — лишь открытый подлец и разбойник; да и тут открытость его лишь из глупости. Вот мои мысли, когда я приехал в Петербург.

Выйдя тогда от Дергачева (к которому бог знает зачем меня сунуло), я подошел к Васину и, в порыве восторженности, расхвалил его. И что же? В тот же вечер я уже почувствовал, что гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхвалив его, я тем самым принизил перед ним себя. Между тем, казалось бы, обратно: человек настолько справедливый и великодушный, что воздает другому, даже в ущерб себе, такой человек чуть ли не выше, по собственному достоинству, всякого. И что же — я это понимал, а все-таки меньше любил Васина, даже очень меньше любил, я нарочно беру пример, уже известный читателю. Даже про Крафта вспоминал с горьким и кислым чувством за то, что тот меня вывел сам в переднюю, и так было вплоть до другого дня, когда уже всё совершенно про Крафта разъяснилось и сердиться нельзя было. С самых низших классов гимназии, чуть кто-нибудь из товарищей опережал меня или в науках, или в острых ответах, или в физической силе, я тотчас же переставал с ним водиться и говорить. Не то чтоб я его ненавидел или желал ему неудачи; просто отвертывался, потому что таков мой характер.

Да, я жаждал могущества всю мою жизнь, могущества и уединения. Я мечтал о том даже в таких еще летах, когда уж решительно всякий засмеялся бы мне в глаза, если б разобрал, что у меня под черепом. Вот почему я так полюбил тайну. Да, я мечтал изо всех сил и до того, что мне некогда было разговаривать; из этого вывели, что я нелюдим, а из рассеянности моей делали еще сквернее выводы на мой счет, но розовые щеки мои доказывали противное.

Особенно счастлив я был, когда, ложась спать и закрываясь одеялом, начинал уже один, в самом полном уединении, без ходящих кругом людей и без единого от них звука, пересоздавать жизнь на иной лад. Самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытия «идеи», когда все мечты из глупых разом стали разумными и из мечтательной формы романа перешли в рассудочную форму действительности.

Всё слилось в одну цель. Они, впрочем, и прежде были не так уж очень глупы, хотя их была тьма тем и тысяча тысяч. Но были любимые... Впрочем, не приводить же их здесь.

Могущество! Я убежден, что очень многим стало бы очень смешно, если б узнали, что такая «дрянь» бьет на могущество. Но я еще более изумлю: может быть, с самых первых мечтаний моих, то есть чуть ли не с самого детства, я иначе не мог вообразить себя как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни.

Прибавлю странное признание: может быть, это продолжается еще до сих пор. При этом замечу, что я прощения не прошу.

В том-то и «идея» моя, в том-то и сила ее, что деньги — это единственный путь, который приводит на *первое место* даже ничтожество. Я, может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю, по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, — кто будет справляться с лицом моим и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне с своими красо́тами? Я даже уверен, что они сами, совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умен. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек в восемь пядей во лбу — и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему и говорить не дадут подле меня! Я, может быть, остроумен; но вот подле меня Талейран, Пирон — и я затемнен, а чуть я Ротшильд — где Пирон, да может быть, где и Талейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства. Всё это я решил еще в Москве.

Вы в этой мысли увидите, конечно, одно нахальство, насилие, торжество ничтожества над талантами. Согласен, что мысль эта дерзка (а потому сладостна). Но пусть, пусть: вы думаете, я желал тогда могущества, чтоб непременно давить, мстить? В том-то и дело, что так непременно поступила бы ординарность. Мало того, я уверен, что тысячи талантов и умников, столь возвышающихся, если б вдруг навалить на них ротшильдские миллионы, тут же не выдержали бы и поступили бы как самая пошлая ординарность и давили бы пуще всех. Моя идея не та. Я денег не боюсь; они меня не придавят и давить не заставят.

Мне не нужно денег, или, лучше, мне не деньги нужны; даже и не могущество; мне нужно лишь то, что приобретается могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества: это уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода! Я начертал наконец это великое слово... Да, уединенное сознание силы — обаятельно и прекрасно. У меня сила, и я спокоен. Громы в руках Юпитера, и что ж: он спокоен; часто ли слышно, что он загремит? Дураку покажется, что он спит. А посади на место Юпитера какого-нибудь литератора или дуру деревенскую бабу — грому-то, грому-то что будет!

Будь только у меня могущество, рассуждал я, мне и не понадобится оно вовсе; уверяю, что сам, по своей воле, займу везде последнее место. Будь я Ротшильд, я бы ходил в стареньком пальто и с зонтиком. Какое мне дело, что меня толкают на улице, что я принужден перебегать вприпрыжку по грязи, чтоб меня не раздавили извозчики. Сознание, что это я сам Ротшильд, даже веселило бы меня в ту минуту. Я знаю, что у меня может быть обед,

как ни у кого, и первый в свете повар, с меня довольно, что я это знаю. Я съем кусок хлеба и ветчины и буду сыт моим сознанием. Я даже теперь так думаю.

Не я буду лезть в аристократию, а она полезет ко мне, не я буду гоняться за женщинами, а они набегут как вода, предлагая мне всё, что может предложить женщина. «Пошлые» прибегут за деньгами, а умных привлечет любопытство к странному, гордому, закрытому и ко всему равнодушному существу. Я буду ласков и с теми и с другими и, может быть, дам им денег, но сам от них ничего не возьму. Любопытство рождает страсть, может быть, я и внушу страсть. Они уйдут ни с чем, уверяю вас, только разве с подарками. Я только вдвое стану для них любопытнее.

... с меня довольно
Сего сознанья.

Странно то, что этой картинкой (впрочем, верной) я прельщался еще семнадцати лет.

Давить и мучить я никого не хочу и не буду; но я знаю, что если б захотел погубить такого-то человека, врага моего, то никто бы мне в том не воспрепятствовал, а все бы подслужились; и опять довольно. Никому бы я даже не отомстил. Я всегда удивлялся, как мог согласиться Джемс Ротшильд стать бароном! Зачем, для чего, когда он и без того всех выше на свете? «О, пусть обижает меня этот нахал генерал, на станции, где мы оба ждем лошадей; если б знал он, кто я, он побежал бы сам их запрягать и выскочил бы сажать меня в скромный мой тарантас! Писали, что один заграничный граф или барон на одной венской железной дороге надевал одному тамошнему банкиру, при публике, на ноги туфли, а тот был так ординарен, что допустил это. О, пусть, пусть эта страшная красавица (именно страшная, есть такие!) — эта дочь этой пышной и знатной аристократки, случайно встретясь со мной на пароходе или где-нибудь, косится и, вздернув нос, с презрением удивляется, как смел попасть в первое место, с нею рядом, этот скромный и плюгавый человечек с книжкой или с газетой в руках? Но если б только знала она, кто сидит подле нее! И она узнáет — узнáет и сядет подле меня сама, покорная, робкая, ласковая, ища моего взгляда, радостная от моей улыбки...» Я нарочно вставляю эти ранние картинки, чтоб ярче выразить мысль; но картинки бледны и, может быть, тривиальны. Одна действительность всё оправдывает.

Скажут, глупо так жить: зачем не иметь отеля, открытого дома, не собирать общества, не иметь влияния, не жениться? Но чем же станет тогда Ротшильд? Он станет как все. Вся прелесть «идеи» исчезнет, вся нравственная сила ее. Я еще в детстве выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил! Тех же мыслей я и теперь.

«Но ваш идеал слишком низок, — скажут с презрением, — деньги, богатство! То ли дело общественная польза, гуманные подвиги?»

Но почем кто знает, как бы я употребил мое богатство? Чем безнравственно и чем низко то, что из множества жидовских, вредных и грязных рук эти миллионы стекутся в руки трезвого и твердого схимника, зорко всматривающегося в мир? Вообще, все эти мечты о будущем, все эти гадания — всё это теперь еще как роман, и я, может быть, напрасно записываю; пускай бы оставалось под черепом; знаю тоже, что этих строк, может быть, никто не прочтет; но если б кто и прочел, то поверил ли бы он, что, может быть, я бы и не вынес ротшильдских миллионов? Не потому, чтоб придавили они меня, а совсем в другом смысле, в обратном. В мечтах моих я уже не раз схватывал тот момент в будущем, когда сознание мое будет слишком удовлетворено, а могущества покажется слишком мало. Тогда — не от скуки и не от бесцельной тоски, а оттого, что безбрежно пожелаю большего, — я отдам все мои миллионы людям; пусть общество распределит там всё мое богатство, а я — я вновь смешаюсь с ничтожеством! Может быть, даже обращусь в того нищего, который умер на пароходе, с тою разницею, что в рубище моем не найдут ничего зашитого. Одно сознание о том, что в руках моих были миллионы и я бросил их в грязь, как вран, кормило бы меня в моей пустыне. Я и теперь готов так же мыслить. Да, моя «идея» — это та крепость, в которую я всегда и во всяком случае могу скрыться от всех людей, хотя бы и нищим, умершим на пароходе. Вот моя поэма! И знайте, что мне именно нужна моя порочная воля *вся*, — единственно чтоб доказать *самому себе*, что я в силах от нее отказаться.

Без сомнения, возразят, что это уж поэзия и что никогда я не выпущу миллионов, если они попадутся, и не обращусь в саратовского нищего. Может быть, и не выпущу; я начертал лишь идеал моей мысли. Но прибавлю уже серьезно: если б я дошел, в накоплении богатства, до такой цифры, как у Ротшильда, то действительно могло бы кончиться тем, что я бросил бы их обществу. (Впрочем, раньше ротшильдской цифры трудно бы было это исполнить.) И не половину бы отдал, потому что тогда вышла бы одна пошлость: я стал бы только вдвое беднее и больше ничего; но именно всё, всё до копейки, потому что, став нищим, я вдруг стал бы вдвое богаче Ротшильда! Если этого не поймут, то я не виноват; разъяснять не буду!

«Факирство, поэзия ничтожества и бессилия! — решат люди, — торжество бесталанности и средины». Да, сознаюсь, что отчасти торжество и бесталанности и средины, но вряд ли бессилия. Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот

я — бездарность и незаконность, и все-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились. Сознаюсь, я доводил эту фантазию до таких окраин, что похеривал даже самое образование. Мне казалось, что красивее будет, если человек этот будет даже грязно необразованным. Эта, уже утрированная, мечта повлияла даже тогда на мой успех в седьмом классе гимназии; я перестал учиться именно из фанатизма: без образования будто прибавлялось красоты к идеалу. Теперь я изменил убеждение в этом пункте; образование не помешает.

Господа, неужели независимость мысли, хотя бы и самая малая, столь тяжела для вас? Блажен, кто имеет идеал красоты, хотя бы даже ошибочный! Но в свой я верую. Я только не так изложил его, неумело, азбучно. Через десять лет, конечно, изложил бы лучше. А это сберегу на память.

IV

Я кончил «идею». Если описал пошло, поверхностно — виноват я, а не «идея». Я уже предупредил, что простейшие идеи понимаются всех труднее; теперь прибавлю, что и излагаются труднее, тем более что я описывал «идею» еще в прежнем виде. Есть и обратный закон для идей: идеи пошлые, скорые — понимаются необыкновенно быстро, и непременно толпой, непременно всей улицей; мало того, считаются величайшими и гениальнейшими, но — лишь в день своего появления. Дешевое не прочно. Быстрое понимание — лишь признак пошлости понимаемого. Идея Бисмарка стала вмиг гениальною, а сам Бисмарк — гением; но именно подозрительна эта быстрота: я жду Бисмарка через десять лет, и увидим тогда, что останется от его идеи, а может быть, и от самого господина канцлера. Эту в высшей степени постороннюю и не подходящую к делу заметку я вставляю, конечно, не для сравнения, а тоже для памяти. (Разъяснение для слишком уж грубого читателя.)

А теперь расскажу два анекдота, чтобы тем покончить с «идеей» совсем и так, чтоб она ничем уж не мешала в рассказе.

Летом, в июле, за два месяца до поездки в Петербург и когда я уже стал совершенно свободен, Марья Ивановна попросила меня съездить в Троицкий посад к одной старой поселившейся там девице с одним поручением — весьма неинтересным, чтобы упоминать о нем в подробности. Возвращаясь в тот же день, я заметил в вагоне одного плюгавенького молодого человека, недурно, но нечисто одетого, угреватого, из грязновато-смуглых брюнетов. Он отличался тем, что на каждой станции и полустанции непременно выходил и пил водку. Под конец пути образовался около него веселый кружок весьма дрянной, впрочем, компании. Особенно восхищался один купец, тоже немного пьяный, способностью молодого человека пить беспрерывно, оставаясь трезвым.

Очень доволен был и еще один молодой парень, ужасно глупый и ужасно много говоривший, одетый по-немецки и от которого весьма скверно пахло, — лакей, как я узнал после; этот с пившим молодым человеком даже подружился и при каждой остановке поезда поднимал его приглашением: «Теперь пора водку пить» — и оба выходили обнявшись. Пивший молодой человек почти совсем не говорил ни слова, а собеседников около него усаживалось всё больше и больше; он только всех слушал, беспрерывно ухмылялся с слюнявым хихиканьем и, от времени до времени, но всегда неожиданно, производил какой-то звук, вроде «тюр-люр-лю!», причем как-то очень карикатурно подносил палец к своему носу. Это-то и веселило и купца, и лакея, и всех, и они чрезвычайно громко и развязно смеялись. Понять нельзя, чему иногда смеются люди. Подошел и я — и не понимаю, почему мне этот молодой человек тоже как бы понравился; может быть, слишком ярким нарушением общепринятых и оказенившихся приличий, — словом, я не разглядел дурака; однако с ним сошелся тогда же на *ты* и, выходя из вагона, узнал от него, что он вечером, часу в девятом, придет на Тверской бульвар. Оказался он бывшим студентом. Я пришел на бульвар, и вот какой штуке он меня научил: мы ходили с ним вдвоем по всем бульварам и чуть попозже замечали идущую женщину из порядочных, но так, что кругом близко не было публики, как тотчас же приставали к ней. Не говоря с ней ни слова, мы помещались, он по одну сторону, а я по другую, и с самым спокойным видом, как будто совсем не замечая ее, начинали между собой самый неблагопристойный разговор. Мы называли предметы их собственными именами, с самым безмятежным видом и как будто так следует, и пускались в такие тонкости, объясняя разные скверности и свинства, что самое грязное воображение самого грязного развратника того бы не выдумало. (Я, конечно, все эти знания приобрел еще в школах, даже еще до гимназии, но лишь слова, а не дело.) Женщина очень пугалась, быстро торопилась уйти, но мы тоже учащали шаги и — продолжали свое. Жертве, конечно, ничего нельзя было сделать, не кричать же ей: свидетелей нет, да и странно как-то жаловаться. В этих забавах прошло дней восемь; не понимаю, как могло это мне понравиться; да и не нравилось же, а так. Мне сперва казалось это оригинальным, как бы выходившим из обыденных казенных условий; к тому же я терпеть не мог женщин. Я сообщил раз студенту, что Жан-Жак Руссо признается в своей «Исповеди», что он, уже юношей, любил потихоньку из-за угла выставлять, обнажив их, обыкновенно закрываемые части тела и поджидал в таком виде проходивших женщин. Студент ответил мне своим «тюр-люр-лю». Я заметил, что он был страшно невежествен и удивительно мало чем интересовался. Никакой затаенной идеи, которую я ожидал в нем найти. Вместо оригинальности я нашел лишь подавляющее однообразие. Я не любил его всё больше и больше. Наконец всё кончилось совсем неожиданно: мы пристали раз, уже совсем в тем-

ноте, к одной быстро и робко проходившей по бульвару девушке, очень молоденькой, может быть только лет шестнадцати или еще меньше, очень чисто и скромно одетой, может быть живущей трудом своим и возвращавшейся домой с занятий, к старушке матери, бедной вдове с детьми; впрочем, нечего впадать в чувствительность. Девочка некоторое время слушала и спешила-спешила, наклонив голову и закрывшись вуалем, боясь и трепеща, но вдруг остановилась, откинула вуаль с своего очень недурного, сколько помню, но худенького лица и с сверкающими глазами крикнула нам:

— Ах, какие вы подлецы!

Может быть, тут и заплакала бы, но произошло другое: размахнулась и своею маленькой тощей рукой влепила студенту такую пощечину, которой ловче, может быть, никогда не было дано. Так и хлястнуло! Он было выбранился и бросился, но я удержал, и девочка успела убежать. Оставшись, мы тотчас поссорились: я высказал всё, что у меня за всё время на него накипело; высказал ему, что он лишь жалкая бездарность и ординарность и что в нем никогда не было ни малейшего признака идеи. Он выбранил меня... (я раз объяснил ему насчет моей незаконнорожденности), затем мы расплевались, и с тех пор я его не видал. В тот вечер я очень досадовал, на другой день не так много, на третий совсем забыл. И что ж, хоть и вспоминалась мне иногда потом эта девочка, но лишь случайно и мельком. Только по приезде в Петербург, недели две спустя, я вдруг вспомнил о всей этой сцене, — вспомнил, и до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слезы стыда потекли по щекам моим. Я промучился весь вечер, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять сначала не мог, как можно было так низко и позорно тогда упасть и, главное — забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться. Только теперь я осмыслил, в чем дело: винсю была «идея». Короче, я прямо вывожу, что, имея в уме нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят, — как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню, и всё, что случается, проходит лишь вскользь, мимо главного. Даже впечатления принимаются неправильно. И кроме того, главное в том, что имеешь всегда отговорку. Сколько я мучил мою мать за это время, как позорно я оставлял сестру: «Э, у меня „идея“, а то всё мелочи» — вот что я как бы говорил себе. Меня самого оскорбляли, и больно, — я уходил оскорбленный и потом вдруг говорил себе: «Э, я низок, а все-таки у меня „идея“, и они не знают об этом». «Идея» утешала в позоре и ничтожестве; но и все мерзости мои тоже как бы прятались под идею; она, так сказать, всё облегчала, но и всё заволакивала передо мной; но такое неясное понимание случаев и вещей, конечно, может вредить даже и самой «идее», не говоря о прочем.

Теперь другой анекдот.

Марья Ивановна, первого апреля прошлого года, была именинница. Ввечеру пришло несколько гостей, очень немного. Вдруг входит запыхавшись Аграфена и объявляет, что в сенях,

перед кухней, пищит подкинутый младенец и что она не знает, как быть. Известие всех взволновало, все пошли и увидели лукошко, а в лукошке — трех- или четырехнедельную пищавшую девочку. Я взял лукошко и внес в кухню и тотчас нашел сложенную записку: «Милые благодетели, окажите доброжелательную помощь окрещенной девочке Арине; а мы с ней за вас будем завсегда воссылать к престолу слезы наши, и поздравляем вас с днем тезоименитства; неизвестные вам люди». Тут Николай Семенович, столь мною уважаемый, очень огорчил меня: он сделал очень серьезную мину и решил отослать девочку немедленно в воспитательный дом. Мне очень стало грустно. Они жили очень экономно, но не имели детей, и Николай Семенович был всегда этому рад. Я бережно вынул из лукошка Ариночку и приподнял ее за плечики; из лукошка пахло каким-то кислым и острым запахом, какой бывает от долго не мытого грудного ребеночка. Поспорив с Николаем Семеновичем, я вдруг объявил ему, что беру девочку на свой счет. Тот стал возражать с некоторою строгостью, несмотря на всю свою мягкость, и хоть кончил шуткой, но намерение насчет воспитательного оставил во всей силе. Однако сделалось по-моему: на том же дворе, но в другом флигеле, жил очень бедный столяр, человек уже пожилой и пивший; но у жены его, очень еще не старой и очень здоровой бабы, только что помер грудной ребеночек и, главное, единственный, родившийся после восьми лет бесплодного брака, тоже девочка и, по странному счастью, тоже Ариночка. Я говорю, по счастью, потому что когда мы спорили в кухне, эта баба, услыхав о случае, прибежала поглядеть, а когда узнала, что это Ариночка, — умилилась. Молоко еще у ней не прошло, она открыла грудь и приложила к груди ребенка. Я припал к ней и стал просить, чтоб унесла к себе, а что я буду платить ежемесячно. Она боялась, позволит ли муж, но взяла на ночь. Наутро муж позволил за восемь рублей в месяц, и я тут же отсчитал ему за первый месяц вперед; тот тотчас же пропил деньги. Николай Семенович, всё еще странно улыбаясь, согласился поручиться за меня столяру, что деньги, по восьми рублей ежемесячно, будут вноситься мною неуклонно. Я было стал отдавать Николаю Семеновичу, чтоб обеспечить его, мои шестьдесят рублей на руки, но он не взял; впрочем, он знал, что у меня есть деньги, и верил мне. Этою деликатностью его наша минутная ссора была изглажена. Марья Ивановна ничего не говорила, но удивлялась, как я беру такую заботу. Я особенно оценил их деликатность в том, что они оба не позволили себе ни малейшей шутки надо мною, а стали, напротив, относиться к делу так же серьезно, как и следовало. Я каждый день бегал к Дарье Родивоновне, раза по три, а через неделю подарил ей лично, в руку, потихоньку от мужа, еще три рубля. На другие три рубля я завел одеяльце и пеленки. Но через десять дней Риночка вдруг заболела. Я тотчас привез доктора, он что-то прописал, и мы провозились всю ночь, мучая крошку его скверным лекарством, а на другой день он объявил,

что уже поздно, и на просьбы мои — а впрочем, кажется, на укоры — произнес с благородною уклончивостью: «Я не бог». Язычок, губки и весь рот у девочки покрылись какой-то мелкой белой сыпью, и она к вечеру же умерла, упирая в меня свои большие черные глазки, как будто она уже понимала. Не понимаю, как не пришло мне на мысль снять с нее, с мертвенькой, фотографию. Ну, поверят ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер, чего прежде никогда не позволял себе, и Марья Ивановна принуждена была утешать меня — и опять-таки совершенно без насмешки ни с ее, ни с его стороны. Столяр же сделал и гробик; Марья Ивановна отделала его рюшем и положила хорошенькую подушечку, а я купил цветов и обсыпал ребеночка: так и снесли мою бедную былиночку, которую, поверят ли, до сих пор не могу позабыть. Немного, однако, спустя всё это почти внезапное происшествие заставило меня даже очень задуматься. Конечно, Риночка обошлась недорого — со всем: с гробиком, с погребением, с доктором, с цветами и с платой Дарье Родивоновне — тридцать рублей. Эти деньги, отъезжая в Петербург, я наверстал на присланных мне на выезд Версиловым сорока рублях и продажею кой-каких вещиц перед отъездом, так что весь мой «капитал» остался неприкосновенным. «Но, — подумал я, — если я буду так сбиваться в сторону, то недалеко уеду». В истории с студентом выходило, что «идея» может увлечь до неясности впечатлений и отвлечь от текущей действительности. Из истории с Риночкой выходило обратное, что никакая «идея» не в силах увлечь (по крайней мере меня) до того, чтоб я не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи». Оба вывода были тем не менее верны.

Глава шестая

I

Надежды мои не сбылись вполне — я не застал их одних: хоть Версилова и не было, но у матери сидела Татьяна Павловна — все-таки чужой человек. Половина великодушного расположения разом с меня соскочила. Удивительно, как я скор и перевертлив в подобных случаях; песчинки или волоска достаточно, чтобы разогнать хорошее и заменить дурным. Дурные же впечатления мои, к моему сожалению, не так скоро изгоняются, хоть я и не злопамятен. Когда я вошел, мне мелькнуло, что мать тотчас же и быстро прервала нить своего разговора с Татьяной Павловной, кажется весьма оживленного. Сестра воротилась с работы передо мной лишь за минуту и еще не выходила из своей каморки.

Квартира эта состояла из трех комнат. Та, в которой все, по обыкновению, сидели, серединная комната, или гостиная, была

у нас довольно большая и почти приличная. В ней всё же были мягкие красные диваны, очень, впрочем, истертые (Версилов не терпел чехлов), кой-какие ковры, несколько столов и ненужных столиков. Затем, направо, находилась комната Версилова, тесная и узкая, в одно окно; в ней стоял жалкий письменный стол, на котором валялось несколько неупотребляемых книг и забытых бумаг, а перед столом не менее жалкое мягкое кресло, со сломанной и поднявшейся вверх углом пружиной, от которой часто стонал Версилов и бранился. В этом же кабинете, на мягком и тоже истасканном диване, стлали ему и спать; он ненавидел этот свой кабинет и, кажется, ничего в нем не делал, а предпочитал сидеть праздно в гостиной по целым часам. Налево из гостиной была точно такая же комнатка, в ней спали мать и сестра. В гостиную входили из коридора, который оканчивался входом в кухню, где жила кухарка Лукерья, и когда стряпала, то чадила пригорелым маслом на всю квартиру немилосердно. Бывали минуты, когда Версилов громко проклинал свою жизнь и участь из-за этого кухонного чада, и в этом одном я ему вполне сочувствовал; я тоже ненавижу эти запахи, хотя они и не проникали ко мне: я жил вверху в светелке, под крышей, куда подымался по чрезвычайно крутой и скрипучей лесенке. Там у меня было достопримечательного — полукруглое окно, ужасно низкий потолок, клеенчатый диван, на котором Лукерья к ночи постилала мне простыню и клала подушку, а прочей мебели лишь два предмета — простейший тесовый стол и дырявый плетеный стул.

Впрочем, все-таки у нас сохранялись остатки некоторого, когда-то бывшего комфорта; в гостиной, например, имелась весьма недурная фарфоровая лампа, а на стене висела превосходная большая гравюра дрезденской Мадонны и тут же напротив, на другой стене, дорогая фотография, в огромном размере, литых бронзовых ворот флорентийского собора. В этой же комнате в углу висел большой киот с старинными фамильными образами, из которых на одном (всех святых) была большая вызолоченная серебряная риза, та самая, которую хотели закладывать, а на другом (на образе божьей матери) — риза бархатная, вышитая жемчугом. Перед образами висела лампадка, зажигавшаяся под каждый праздник. Версилов к образам, в смысле их значения, был очевидно равнодушен и только морщился иногда, видимо сдерживая себя, от отраженного от золоченой ризы света лампадки, слегка жалуясь, что это вредит его зрению, но всё же не мешал матери зажигать.

Я обыкновенно входил молча и угрюмо, смотря куда-нибудь в угол, а иногда входя не здоровался. Возвращался же всегда ранее этого раза, и мне подавали обедать наверх. Войдя теперь, я вдруг сказал: «Здравствуйте, мама», чего никогда прежде не делывал, хотя как-то все-таки, от стыдливости, не мог и в этот раз заставить себя посмотреть на нее, и уселся в противоположном конце комнаты. Я очень устал, но о том не думал.

— Этот неуч всё так же у вас продолжает входить невежей, как и прежде, — прошипела на меня Татьяна Павловна; ругательные слова она и прежде себе позволяла, и это вошло уже между мною и ею в обычай.

— Здравствуй... — ответила мать, как бы тотчас же потерявшись оттого, что я с ней поздоровался.

— Кушать давно готово, — прибавила она, почти сконфузившись, — суп только бы не простыл, а котлетки я сейчас велю... Она было стала поспешно вставать, чтоб идти на кухню, и в первый раз, может быть, в целый месяц мне вдруг стало стыдно, что она слишком уж проворно вскакивает для моих услуг, тогда как до сих пор сам же я того требовал.

— Покорно благодарю, мама, я уж обедал. Если не помешаю, я здесь отдохну.

— Ах... что ж... отчего же, посиди...

— Не беспокойтесь, мама, я грубить Андрею Петровичу больше не стану, — отрезал я разом...

— Ах, господи, какое с его стороны великодушие! — крикнула Татьяна Павловна. — Голубчик Соня, — да неужели ты всё продолжаешь говорить ему *вы*? Да кто он такой, чтоб ему такие почести, да еще от родной своей матери! Посмотри, ведь ты вся законфузилась перед ним, срам!

— Мне самому очень было бы приятно, если б вы, мама, говорили мне *ты*.

— Ах... Ну и хорошо, ну и буду, — заторопилась мать, — я — я ведь не всегда же... ну, с этих пор знать и буду.

Она вся покраснела. Решительно ее лицо бывало иногда чрезвычайно привлекательно... Лицо у ней было простодушное, но вовсе не простоватое, немного бледное, малокровное. Щеки ее были очень худы, даже ввалились, а на лбу сильно начинали скопляться морщинки, но около глаз их еще не было, и глаза, довольно большие и открытые, сияли всегда тихим и спокойным светом, который меня привлек к ней с самого первого дня. Любил я тоже, что в лице ее вовсе не было ничего такого грустного или ущемленного; напротив, выражение его было бы даже веселое, если б она не тревожилась так часто, совсем иногда попусту, пугаясь и схватываясь с места иногда совсем из-за ничего или вслушиваясь испуганно в чей-нибудь новый разговор, пока не уверялась, что всё по-прежнему хорошо. Всё хорошо — именно значило у ней, коли «всё по-прежнему». Только бы не изменялось, только бы нового чего не произошло, хотя бы даже счастливого!.. Можно было подумать, что ее в детстве как-нибудь испугали. Кроме глаз ее нравился мне овал ее продолговатого лица, и, кажется, если б только на капельку были менее широки ее скулы, то не только в молодости, но даже и теперь она могла бы назваться красивою. Теперь же ей было не более тридцати девяти, но в темно-русых волосах ее уже сильно проскакивали сединки.

Татьяна Павловна взглянула на нее с решительным негодованием.

— Этакому-то бутузу! И так перед ним дрожать! Смешная ты, Софья; сердишь ты меня, вот что!

— Ах, Татьяна Павловна, зачем бы вам так с ним теперь! Да вы шутите, может, а? — прибавила мать, приметив что-то вроде улыбки на лице Татьяны Павловны. Татьяны Павловнину брань и впрямь иногда нельзя было принять за серьезное, но улыбнулась она (если только улыбнулась), конечно, лишь на мать, потому что ужасно любила ее доброту и уж без сомнения заметила, как в ту минуту она была счастлива моею покорностью.

— Я, конечно, не могу не почувствовать, если вы сами бросаетесь на людей, Татьяна Павловна, и именно тогда, когда я, войдя, сказал «здравствуйте, мама», чего прежде никогда не делал, — нашел я наконец нужным ей заметить.

— Представьте себе, — вскипела она тотчас же, — он считает это за подвиг? На коленках, что ли, стоять перед тобой, что ты раз в жизни вежливость оказал? Да и это ли вежливость! Что ты в угол-то смотришь, входя? Разве я не знаю, как ты перед нею рвешь и мечешь! Мог бы и мне сказать «здравствуй», я пеленала тебя, я твоя крестная мать.

Разумеется, я пренебрег отвечать. В ту минуту как раз вошла сестра, и я поскорее обратился к ней:

— Лиза, я сегодня видел Васина, и он у меня про тебя спросил. Ты знакома?

— Да, в Луге, прошлого года, — совершенно просто ответила она, садясь подле и ласково на меня посмотрев. Не знаю почему, мне казалось, что она так и вспыхнет, когда я ей расскажу про Васина. Сестра была блондинка, светлая блондинка, совсем не в мать и не в отца волосами; но глаза, овал лица были почти как у матери. Нос очень прямой, небольшой и правильный; впрочем, и еще особенность — мелкие веснушки в лице, чего совсем у матери не было. Версиловского было очень немного, разве тонкость стана, не малый рост и что-то такое прелестное в походке. Со мной же ни малейшего сходства; два противоположные полюса.

— Я их месяца три знала, — прибавила Лиза.

— Это ты про Васина говоришь *их*, Лиза? Надо сказать *его*, а не *их*. Извини, сестра, что я поправляю, но мне горько, что воспитанием твоим, кажется, совсем пренебрегли.

— А при матери низко об этом замечать, с твоей стороны, — так и вспыхнула Татьяна Павловна, — и врешь ты, вовсе не пренебрегли.

— Ничего я и не говорю про мать, — резко вступился я, — знайте, мама, что я смотрю на Лизу как на вторую вас; вы сделали из нее такую же прелесть по доброте и характеру, какою, наверно, были вы сами, и есть теперь, до сих пор, и будете вечно... Я лишь про наружный лоск, про все эти светские глупости, впрочем необходимые. Я только о том негодую, что Версилов, услышав, что ты

про Васина выговариваешь *их,* а не *его,* наверно, не поправил бы тебя вовсе — до того он высокомерен и равнодушен с нами. Вот что меня бесит!

– Сам-то медвежонок, а туда же лоску учит. Не смейте, сударь, впредь при матери говорить: «Версилов», равно и в моем присутствии, — не стерплю! — засверкала Татьяна Павловна.

— Мама, я сегодня жалованье получил, пятьдесят рублей, возьмите, пожалуйста, вот!

Я подошел и подал ей деньги; она тотчас же затревожилась.

— Ах, не знаю, как взять-то! — проговорила она, как бы боясь дотронуться до денег.

Я не понял.

— Помилуйте, мама, если вы обе считаете меня в семье как сына и брата, то...

— Ах, виновата я перед тобою, Аркадий; призналась бы тебе кое в чем, да боюсь тебя уж очень...

Сказала она это с робкою и заискивающею улыбкой; я опять не понял и перебил:

— Кстати, известно вам, мама, что сегодня в суде решилось дело Андрея Петровича с Сокольскими?

— Ах, известно! — воскликнула она, от страху сложив перед собою ладошками руки (ее жест).

— Сегодня? — так и вздрогнула вся Татьяна Павловна, — да быть же того не может, он бы сказал. Он тебе сказал? — повернулась она к матери.

— Ах, нет, что сегодня, про то не сказал. Да я всю неделю так боюсь. Хоть бы проиграть, я бы помолилась, только бы с плеч долой, да опять по-прежнему.

— Так не сказал же и вам, мама! — воскликнул я. — Каков человечек! Вот образец его равнодушия и высокомерия; что я говорил сейчас?

— Решилось-то чем, чем решилось-то? Да кто тебе сказал? — кидалась Татьяна Павловна. — Да говори же!

— Да вот и сам он! Может, расскажет, — возвестил я, заслышав его шаги в коридоре, и поскорей уселся около Лизы.

— Брат, ради бога, пощади маму, будь терпелив с Андреем Петровичем... — прошептала мне сестра.

— Буду, буду, я с тем и воротился, — пожал я ей руку.

Лиза очень недоверчиво на меня посмотрела и права была.

II

Он вошел очень довольный собой, так довольный, что и нужным не нашел скрыть свое расположение. Да и вообще он привык перед нами, в последнее время, раскрываться без малейшей церемонии, и не только в своем дурном, но даже в смешном, чего уж всякий боится; между тем вполне сознавал, что мы до

последней черточки всё поймем. В последний год он, по замечанию Татьяны Павловны, очень опустился в костюме: одет был всегда прилично, но в старом и без изысканности. Это правда, он готов был носить белье по два дня, что даже огорчало мать; это у них считалось за жертву, и вся эта группа преданных женщин прямо видела в этом подвиг. Шляпы он всегда носил мягкие, широкополые, черные; когда он снял в дверях шляпу — целый пук его густейших, но с сильной проседью волос так и прянул на его голове. Я любил смотреть на его волосы, когда он снимал шляпу.

— Здравствуйте; все в сборе; даже и он в том числе? Слышал его голос еще из передней; меня бранил, кажется?

Один из признаков его веселого расположения — это когда он принимался надо мною острить. Я не отвечал, разумеется. Вошла Лукерья с целым кульком каких-то покупок и положила на стол.

— Победа, Татьяна Павловна; в суде выиграно, а апеллировать, конечно, князья не решатся. Дело за мною! Тотчас же нашел занять тысячу рублей. Софья, положи работу, не труди глаза. Лиза, с работы?

— Да, папа, — с ласковым видом ответила Лиза; она звала его отцом; я этому ни за что не хотел подчиниться.

— Устала?

— Устала.

— Оставь работу, завтра не ходи; и совсем брось.

— Папа, мне так хуже.

— Прошу тебя... Я ужасно не люблю, когда женщины работают, Татьяна Павловна.

— Как же без работы-то? Да чтобы женщина не работала!..

— Знаю, знаю, всё это прекрасно и верно, и я заранее согласен; но — я, главное, про рукоделья. Представьте себе, во мне это, кажется, одно из болезненных или, лучше, неправильных впечатлений детства. В смутных воспоминаниях моего пяти-шестилетнего детства я всего чаще припоминаю — с отвращением конечно — около круглого стола конклав умных женщин, строгих и суровых, ножницы, материю, выкройки и модную картинку. Все судят и рядят, важно и медленно покачивая головами, примеривая и рассчитывая и готовясь кроить. Все эти ласковые лица, которые меня так любят, — вдруг стали неприступны; зашали я, и меня тотчас же унесут. Даже бедная няня моя, придерживая меня рукой и не отвечая на мои крики и теребенья, загляделась и заслушалась точно райской птицы. Вот эту-то строгость умных лиц и важность перед начатием кройки — мне почему-то мучительно даже и теперь представить. Татьяна Павловна, вы ужасно любите кроить! Как это ни аристократично, но я все-таки больше люблю женщину совсем не работающую. Не прими на свой счет, Софья... Да где тебе! Женщина и без того великая власть. Это, впрочем, и ты знаешь, Соня. Как ваше мнение, Аркадий Макарович, наверно, восстаете?

— Нет, ничего, — ответил я. — Особенно хорошо выражение, что женщина — великая власть, хотя не понимаю, зачем вы связали это с работой? А что не работать нельзя, когда денег нет, — сами знаете.

— Но теперь довольно, — обратился он к матушке, которая так вся и сияла (когда он обратился ко мне, она вся вздрогнула), — по крайней мере хоть первое время чтоб я не видал рукоделий, для меня прошу. Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверно, немножко социалист; ну, так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность — это из трудящегося вечно народа!

— Отдых, может быть, а не праздность.

— Нет, именно праздность, полное ничегонеделание; в том идеал! Я знал одного вечного труженика, хоть и не из народа; он был человек довольно развитой и мог обобщать. Он всю жизнь свою, каждый день может быть, мечтал с засосом и с умилением о полнейшей праздности, так сказать, доводя идеал до абсолюта — до бесконечной независимости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания. Так и было вплоть, пока не сломался совсем на работе; починить нельзя было; умер в больнице. Я серьезно иногда готов заключить, что о наслаждениях труда выдумали праздные люди, разумеется из добродетельных. Это одна из «женевских идей» конца прошлого столетия. Татьяна Павловна, третьего дня я вырезал из газеты одно объявление, вот оно (он вынул клочок из жилетного кармана), — это из числа тех бесконечных «студентов», знающих классические языки и математику и готовых в отъезд, на чердак и всюду. Вот слушайте: «Учительница подготовляет во все учебные заведения (слышите, во все) и дает уроки арифметики», — одна лишь строчка, но классическая! Подготовляет в учебные заведения — так уж конечно и из арифметики? Нет, у ней об арифметике особенно. Это — это уже чистый голод, это уже последняя степень нужды. Трогательна тут именно эта неумелость: очевидно, никогда себя не готовила в учительницы, да вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготовляет во все учебные заведения и, сверх того, дает уроки арифметики. Per tutto mondo e in altri siti.[1]

— Ах, Андрей Петрович, ей бы помочь! Где она живет? — воскликнула Татьяна Павловна.

— Э, много таких! — Он сунул адрес в карман. — В этом кульке всё гостинцы — тебе, Лиза, и вам, Татьяна Павловна; Софья и я, мы не любим сладкого. Пожалуй, и тебе, молодой человек. Я сам всё взял у Елисеева и у Балле. Слишком долго «голодом сидели», как говорит Лукерья. (NB. Никогда никто не сидел у нас голодом.) Тут виноград, конфеты, дюшесы и клубничный пирог; даже взял превосходной наливки; орехов тоже.

---

[1] Во всем мире и в других местах *(итал.)*.

Любопытно, что я до сих пор с самого детства люблю орехи, Татьяна Павловна, и, знаете, самые простые. Лиза в меня; она тоже, как белочка, любит щелкать орешки. Но ничего нет прелестнее, Татьяна Павловна, как иногда невзначай, между детских воспоминаний, воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи... Дни уже почти осенние, но ясные, иногда так свежо, затаишься в глуши, забредешь в лес, пахнет листьями... Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович?

— Первые годы детства моего прошли тоже в деревне.

— Как, да ведь ты, кажется, в Москве проживал... если не ошибаюсь.

— Он у Андрониковых тогда жил в Москве, когда вы тогда приехали; а до тех пор проживал у покойной вашей тетушки, Варвары Степановны, в деревне, — подхватила Татьяна Павловна.

— Софья, вот деньги, припрячь. На днях обещали пять тысяч дать.

— Стало быть, уж никакой надежды князьям? — спросила Татьяна Павловна.

— Совершенно никакой, Татьяна Павловна.

— Я всегда сочувствовала вам, Андрей Петрович, и всем вашим, и была другом дома; но хоть князья мне и чужие, а мне, ей-богу, их жаль. Не осердитесь, Андрей Петрович.

— Я не намерен делиться, Татьяна Павловна.

— Конечно, вы знаете мою мысль, Андрей Петрович, они бы прекратили иск, если б вы предложили поделить пополам в самом начале; теперь, конечно, поздно. Впрочем, не смею судить... Я ведь потому, что покойник, наверно, не обошел бы их в своем завещании.

— Не то что обошел бы, а наверно бы всё им оставил, а обошел бы только одного меня, если бы сумел дело сделать и как следует завещание написать; но теперь за меня закон — и кончено. Делиться я не могу и не хочу, Татьяна Павловна, и делу конец.

Он произнес это даже с озлоблением, что редко позволял себе. Татьяна Павловна притихла. Мать как-то грустно потупила глаза: Версилов знал, что она одобряет мнение Татьяны Павловны.

«Тут эмская пощечина!» — подумал я про себя. Документ, доставленный Крафтом и бывший у меня в кармане, имел бы печальную участь, если бы попался к нему в руки. Я вдруг почувствовал, что всё это сидит еще у меня на шее; эта мысль, в связи со всем прочим, конечно, подействовала на меня раздражительно.

— Аркадий, я желал бы, чтоб ты оделся получше, мой друг; ты одет недурно, но, ввиду дальнейшего, я мог бы тебе отрекомендовать хорошего одного француза, предобросовестного и со вкусом.

— Я вас попрошу никогда не делать мне подобных предложений, — рванул я вдруг.

— Что так?

— Я, конечно, не нахожу унизительного, но мы вовсе не в таком соглашении, а, напротив, даже в разногласии, потому что я на днях, завтра, оставляю ходить к князю, не видя там ни малейшей службы...

— Да в том, что ты ходишь, что ты сидишь с ним, — служба!

— Такие мысли унизительны.

— Не понимаю; а впрочем, если ты столь щекотлив, то не бери с него денег, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно; он уж к тебе прилип, будь уверен... Впрочем, как хочешь...

Ему, очевидно, было неприятно.

— Вы говорите, не проси денег, а по вашей же милости я сделал сегодня подлость: вы меня не предуведомили, а я стребовал с него сегодня жалованье за месяц.

— Так ты уже распорядился; а я, признаюсь, думал, что ты не станешь просить; какие же вы, однако, все теперь ловкие! Нынче нет молодежи, Татьяна Павловна.

Он ужасно злился; я тоже рассердился ужасно.

— Мне надо же было разделаться с вами... это вы меня заставили, — я не знаю теперь, как быть.

— Кстати, Софи, отдай немедленно Аркадию его шестьдесят рублей; а ты, мой друг, не сердись за торопливость расчета. Я по лицу твоему угадываю, что у тебя в голове какое-то предприятие и что ты нуждаешься... в оборотном капитале... или вроде того.

— Я не знаю, что выражает мое лицо, но я никак не ожидал от мамы, что она расскажет вам про эти деньги, тогда как я так просил ее, — поглядел я на мать, засверкав глазами. Не могу выразить, как я был обижен.

— Аркаша, голубчик, прости, ради бога, не могла я никак, чтобы не сказать...

— Друг мой, не претендуй, что она мне открыла твои секреты, — обратился он ко мне, — к тому же она с добрым намерением — просто матери захотелось похвалиться чувствами сына. Но поверь, я бы и без того угадал, что ты капиталист. Все секреты твои на твоем честном лице написаны. У него «своя идея», Татьяна Павловна, я вам говорил.

— Оставим мое чѐстное лицо, — продолжал я рвать, — я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других случаях не дальше куриного носа, — и удивлялся вашей способности проницать. Ну да, у меня есть «своя идея». То, что вы так выразились, конечно случайность, но я не боюсь признаться: у меня есть «идея». Не боюсь и не стыжусь.

— Главное, не стыдись.

— А все-таки вам никогда не открою.

— То есть не удостоишь открыть. Не надо, мой друг, я и так знаю сущность твоей идеи; во всяком случае, это:

Я в пустыню удаляюсь...

Татьяна Павловна! Моя мысль — что он хочет... стать Ротшильдом, или вроде того, и удалиться в свое величие. Разумеется, он нам с вами назначит великодушно пенсион, — мне-то, может быть, и не назначит, — но, во всяком случае, только мы его и видели. Он у нас как месяц молодой — чуть покажется, тут и закатится.

Я содрогнулся внутри себя. Конечно, всё это была случайность: он ничего не знал и говорил совсем не о том, хоть и помянул Ротшильда; но как он мог так верно определить мои чувства: порвать с ними и удалиться? Он всё предугадал и наперед хотел засалить своим цинизмом трагизм факта. Что злился он ужасно, в том не было никакого сомнения.

— Мама! простите мою вспышку, тем более что от Андрея Петровича и без того невозможно укрыться, — засмеялся я притворно и стараясь хоть на миг перебить всё в шутку.

— Самое лучшее, мой милый, это то, что ты засмеялся. Трудно представить, сколько этим каждый человек выигрывает, даже в наружности. Я серьезнейшим образом говорю. У него, Татьяна Павловна, всегда такой вид, будто у него на уме что-то столь уж важное, что он даже сам пристыжен сим обстоятельством.

— Я серьезно попросил бы вас быть скромнее, Андрей Петрович.

— Ты прав, мой друг; но надо же высказать раз навсегда, чтобы уж потом до всего этого не дотрогиваться. Ты приехал к нам из Москвы с тем, чтобы тотчас же взбунтоваться, — вот пока что нам известно о целях твоего прибытия. О том, что приехал с тем, чтоб нас удивить чем-то, — об этом я, разумеется, не упоминаю. Затем, ты весь месяц у нас и на нас фыркаешь, — между тем ты человек, очевидно, умный и в этом качестве мог бы предоставить такое фырканье тем, которым нечем уж больше отмстить людям за свое ничтожество. Ты всегда закрываешься, тогда как честный вид твой и красные щеки прямо свидетельствуют, что ты мог бы смотреть всем в глаза с полною невинностью. Он — ипохондрик, Татьяна Павловна; не понимаю, с чего они все теперь ипохондрики?

— Если вы не знали, где я даже рос, — как же вам знать, с чего человек ипохондрик?

— Вот она разгадка: ты обиделся, что я мог забыть, где ты рос!

— Совсем нет, не приписывайте мне глупостей. Мама, Андрей Петрович сейчас похвалил меня за то, что я засмеялся; давайте же смеяться — что так сидеть! Хотите, я вам про себя анекдоты стану рассказывать? Тем более что Андрей Петрович совсем ничего не знает из моих приключений.

У меня накипело. Я знал, что более мы уж никогда не будем сидеть, как теперь, вместе и что, выйдя из этого дома, я уж не войду в него никогда, — а потому, накануне всего этого, и не мог утерпеть. Он сам вызвал меня на такой финал.

— Это, конечно, премило, если только в самом деле будет смешно, — заметил он, проницательно в меня вглядываясь, — ты немного огрубел, мой друг, там, где ты рос, а впрочем, все-таки ты довольно еще приличен. Он очень мил сегодня, Татьяна Павловна, и вы прекрасно сделали, что развязали наконец этот кулек.

Но Татьяна Павловна хмурилась; она даже не обернулась на его слова и продолжала развязывать кулек и на поданные тарелки раскладывать гостинцы. Мать тоже сидела в совершенном недоумении, конечно понимая и предчувствуя, что у нас выходит неладно. Сестра еще раз меня тронула за локоть.

III

— Я просто вам всем хочу рассказать, — начал я с самым развязнейшим видом, — о том, как один отец в первый раз встретился с своим милым сыном; это именно случилось «там, где ты рос»...

— Друг мой, а это будет... не скучно? Ты знаешь: tous les genres... [1]

— Не хмурьтесь, Андрей Петрович, я вовсе не с тем, что вы думаете. Я именно хочу, чтоб все смеялись.

— Да услышит же тебя бог, мой милый. Я знаю, что ты всех нас любишь и... не захочешь расстроить наш вечер, — промямлил он как-то выделанно, небрежно.

— Вы, конечно, и тут угадали по лицу, что я вас люблю?

— Да, отчасти и по лицу.

— Ну, а я так по лицу Татьяны Павловны давно угадал, что она в меня влюблена. Не смотрите так зверски на меня, Татьяна Павловна, лучше смеяться! Лучше смеяться!

Она вдруг быстро ко мне повернулась и пронзительно с полминуты в меня всматривалась.

— Смотри ты! — погрозила она мне пальцем, но так серьезно, что это вовсе не могло уже относиться к моей глупой шутке, а было предостережением в чем-то другом: «Не вздумал ли уж начинать?»

— Андрей Петрович, так неужели вы не помните, как мы с вами встретились, в первый раз в жизни?

— Ей-богу, забыл, мой друг, и от души виноват. Я помню лишь, что это было как-то очень давно и происходило где-то...

---

[1] все жанры... *(франц.)*

— Мама, а не помните ли вы, как вы были в деревне, где я рос, кажется, до шести- или семилетнего моего возраста, и, главное, были ли вы в этой деревне в самом деле когда-нибудь, или мне только как во сне мерещится, что я вас в первый раз там увидел? Я вас давно уже хотел об этом спросить, да откладывал; теперь время пришло.

— Как же, Аркашенька, как же! да, я там у Варвары Степановны три раза гостила; в первый раз приезжала, когда тебе всего годочек от роду был, во второй — когда тебе четвертый годок пошел, а потом — когда тебе шесть годков минуло.

— Ну вот, я вас весь месяц и хотел об этом спросить.

Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня:

— Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?

— Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь, и, кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Я всю эту деревню как во сне теперь вижу, я даже свою няньку забыл. Эту Варвару Степановну запомнил капельку потому только, что у ней вечно были подвязаны зубы. Помню еще около дома огромные деревья, липы кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку, а вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно...

— Господи! Это всё так и было, — сплеснула мать руками,— и голубочка того как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!»

— Ваше лицо, или что-то от него, выражение, до того у меня осталось в памяти, что лет пять спустя, в Москве, я тотчас признал вас, хоть мне и никто не сказал тогда, что вы моя мать. А когда я с Андреем Петровичем в первый раз встретился, то взяли меня от Андрониковых; у них я вплоть до того тихо и весело прозябал лет пять сряду. Их казенную квартиру до мелочи помню, и всех этих дам и девиц, которые теперь все так здесь постарели, и полный дом, и самого Андроникова, как он всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая всё чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый. Там меня барышни по-французски научили, но больше всего я любил басни Крылова, заучил их множество наизусть и каждый день декламировал по басне Андроникову, прямо входя к нему в его крошечный кабинет, занят он был или нет. Ну вот, из-за басни же и с вами познакомился, Андрей Петрович... Я вижу, вы начинаете припоминать.

— Кое-что припоминаю, мой милый, именно ты что-то мне тогда рассказал... басню или из «Горе от ума», кажется? Какая же у тебя память, однако!

— Память! Еще бы! Я только это одно всю жизнь и помнил.

— Хорошо, хорошо, мой милый, ты меня даже оживляешь.

Он даже улыбнулся, тотчас же за ним стали улыбаться и мать и сестра. Доверчивость возвращалась; но Татьяна Павловна, расставив на столе гостинцы и усевшись в углу, продолжала проницать меня дурным взглядом.

— Случилось так, — продолжал я, — что вдруг, в одно прекрасное утро, явилась за мною друг моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре, и меня повезли в карете и привезли в один барский дом, в пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фанариотовой, Андрей Петрович, в ее пустом доме, который она у вас же когда-то и купила; сама же в то время была за границей. Я всё носил курточки; тут вдруг меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей; я же всё ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала. Вот таким-то образом я на другое утро, часов в десять, бродя по квартире, зашел вдруг, совсем невзначай, к вам в кабинет. Я уже и накануне вас видел, когда меня только что привезли, но лишь мельком, на лестнице. Вы сходили с лестницы, чтобы сесть в карету и куда-то ехать; в Москву вы прибыли тогда один, после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время, так что вас всюду расхватали и вы почти не жили дома. Встретив нас с Татьяной Павловной, вы протянули только: а! и даже не остановились.

— Он с особенною любовью описывает, — заметил Версилов, обращаясь к Татьяне Павловне; та отвернулась и не ответила.

— Я как сейчас вас вижу тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет, уж простите эту откровенность; впрочем, вам и тогда было уже лет тридцать семь, но я на вас даже загляделся: какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глянцевитым блеском, без малейшей сединки; усы и бакены ювелирской отделки — иначе не умею выразиться; лицо матово-бледное, не такое болезненно бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть; горящие и темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. Вы именно рассмеялись, осмотрев меня, когда я вошел; я мало что умел тогда различать, и от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе, цвета сольферино, по великолепной рубашке с алансонскими кружевами, стояли перед зер-

калом с тетрадью в руке и выработывали, декламируя, последний монолог Чацкого и особенно последний крик:

Карету мне, карету!

— Ах, боже мой, — вскрикнул Версилов, — ведь он и вправду! Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнью Жилейко, сыграть Чацкого у Александры Петровны Витовтовой, на домашней сцене!

— Неужто вы забыли? — засмеялась Татьяна Павловна.

— Он мне напомнил! И признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве, может быть, были лучшей минутой всей жизни моей! Мы все еще тогда были так молоды... и все тогда с таким жаром ждали... Я тогда в Москве неожиданно встретил столько... Но, продолжай, мой милый: ты очень хорошо сделал на этот раз, что так подробно напомнил...

— Я стоял, смотрел на вас и вдруг прокричал: «Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!» Вы вдруг обернулись ко мне и спрашиваете: «Да разве ты уже знаешь Чацкого?» — а сами сели на диван и принялись за кофей в самом прелестном расположении духа, — так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андроникова все очень много читают, а барышни знают много стихов наизусть, а из «Горе от ума» так промеж себя разыгрывают сцены, и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе, вслух, «Записки охотника», а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю. Вы и велели мне прочесть что-нибудь наизусть, а я вам прочел «Разборчивую невесту»:

Невеста-девушка смышляла жениха.

— Именно, именно, ну теперь я всё припомнил, — вскричал опять Версилов, — но, друг мой, я и тебя припоминаю ясно: ты был тогда такой милый мальчик, ловкий даже мальчик, и клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти девять лет.

Тут уж все, и сама Татьяна Павловна, рассмеялись. Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и тою же монетою «отплатил» мне за колкое мое замечание о том, что он постарел. Все развеселились; да и сказано было прекрасно.

— По мере как я читал, вы улыбались, но я и до половины не дошел, как вы остановили меня, позвонили и вошедшему слуге приказали попросить Татьяну Павловну, которая немедленно прибежала с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Павловне я вновь начал «Невесту-девушку» и кончил блистательно, даже Татьяна Павловна улыбнулась, а вы, Андрей Петрович, вы крикнули даже «браво!» и заметили с жаром, что прочти я «Стрекозу и Муравья», так еще неудивительно, что толковый мальчик, в мои лета, прочтет толково, но что эту басню:

Невеста-девушка смышляла жениха,
Тут нет еще греха...,

«Вы послушайте, как он выговаривает: „Тут нет еще греха“»! Одним словом, вы были в восхищении. Тут вы вдруг заговорили с Татьяной Павловной по-французски, и она мигом нахмурилась и стала вам возражать, даже очень горячилась; но так как невозможно же противоречить Андрею Петровичу, если он вдруг чего захочет, то Татьяна Павловна и увела меня поспешно к себе: там вымыли мне вновь лицо, руки, переменили белье, напомадили, даже завили мне волосы. Потом к вечеру Татьяна Павловна разрядилась сама довольно пышно, так даже, что я не ожидал, и повезла меня с собой в карете. Я попал в театр в первый раз в жизни, в любительский спектакль у Витовтовой; свечи, люстры, дамы, военные, генералы, девицы, занавес, ряды стульев — ничего подобного я до сих пор не видывал. Татьяна Павловна заняла самое скромное местечко в одном из задних рядов и меня посадила подле. Были, разумеется, и дети, как я, но я уже ни на что не смотрел, а ждал с замиранием сердца представления. Когда вы вышли, Андрей Петрович, я был в восторге, в восторге до слез,— почему, из-за чего, сам не понимаю. Слезы-то восторга зачем? — вот что мне было дико во все эти девять лет потом припоминать! Я с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что *она ему* изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он — велик, велик! Конечно, и подготовка у Андроникова способствовала пониманию, но — и ваша игра, Андрей Петрович! Я в первый раз видел сцену! В разъезде же, когда Чацкий крикнул: «Карету мне, карету!» (а крикнули вы удивительно), я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захлопал и изо всей силы закричал «браво!». Живо помню, как в этот самый миг, точно булавка, вонзился в меня сзади, «пониже поясницы», разъяренный щипок Татьяны Павловны, но я и внимания не обратил! Разумеется, тотчас после «Горе от ума» Татьяна Павловна увезла меня домой: «Не танцевать же тебе оставаться, через тебя только я сама не остаюсь», — шипели вы мне, Татьяна Павловна, всю дорогу в карете. Всю ночь я был в бреду, а на другой день, в десять часов, уже стоял у кабинета, но кабинет был притворен: у вас сидели люди, и вы с ними занимались делами; потом вдруг укатили на весь день до глубокой ночи — так я вас и не увидел! Что такое хотелось мне тогда сказать вам — забыл конечно, и тогда не знал, но я пламенно желал вас увидеть как можно скорей. А назавтра поутру, еще с восьми часов, вы изволили отправиться в Серпухов: вы тогда только что продали ваше тульское имение, для расплаты с кредиторами, но все-таки у вас оставался в руках аппетитный куш, вот почему вы и в Москву тогда пожаловали, в которую не могли до того времени заглянуть, боясь кредиторов; и вот один только этот серпуховский грубиян, один из всех кредиторов, не соглашался взять половину долга вместо

всего. Татьяна Павловна на вопросы мои даже и не отвечала: «Нечего тебе, а вот послезавтра отвезу тебя в пансион; приготовься, тетради свои возьми, книжки приведи в порядок, да приучайся сам в сундучке укладывать, не белоручкой расти вам, сударь», да то-то, да это-то, уж барабанили же вы мне, Татьяна Павловна, в эти три дня! Тем и кончилось, что свезли меня в пансион, к Тушару, в вас влюбленного и невинного, Андрей Петрович, и пусть, кажется, глупейший случай, то есть вся-то встреча наша, а, верите ли, я ведь к вам потом, через полгода, от Тушара бежать хотел!

— Ты прекрасно рассказал и всё мне так живо напомнил,— отчеканил Версилов, —но, главное, поражает меня в рассказе твоем богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих например. Не говоря уже о некоторой неприличности этих подробностей, не понимаю, как даже ты их мог достать?

— Подробности? Как достал? Да повторяю же, я только и делал, что доставал о вас подробности, все эти девять лет.

— Странное признание и странное препровождение времени!

Он повернулся, полулежа в креслах, и даже слегка зевнул,— нарочно или нет, не знаю.

— Что же, продолжать о том, как я хотел бежать к вам от Тушара?

— Запретите ему, Андрей Петрович, уймите его и выгоните вон, — рванула Татьяна Павловна.

— Нельзя, Татьяна Павловна, — внушительно ответил ей Версилов, — Аркадий, очевидно, что-то замыслил, и, стало быть, надо ему непременно дать кончить. Ну и пусть его! Расскажет, и с плеч долой, а для него в том и главное, чтоб с плеч долой спустить. Начинай, мой милый, твою новую историю, то есть я так только говорю: новую; не беспокойся, я знаю конец ее.

IV

— Бежал я, то есть хотел к вам бежать, очень просто. Татьяна Павловна, помните ли, как недели две спустя после моего водворения Тушар написал к вам письмо, — нет? А мне потом и письмо Марья Ивановна показывала, оно тоже в бумагах покойного Андроникова очутилось. Тушар вдруг спохватился, что мало взял денег, и с «достоинством» объявил вам в письме своем, что в заведении его воспитываются князья и сенаторские дети и что он считает ниже своего заведения держать воспитанника с таким происхождением, как я, если ему не дадут прибавки.

— Mon cher, ты бы мог...

— О, ничего, ничего, — перебил я, — я только немножко про Тушара. Вы ему ответили уже из уезда, Татьяна Павловна, через две недели, и резко отказали. Я припоминаю, как он, весь багровый, вошел тогда в нашу классную. Это был очень малень-

кий и очень плотненький французик, лет сорока пяти и действительно парижского происхождения, разумеется из сапожников, но уже с незапамятных времен служивший в Москве на штатном месте, преподавателем французского языка, имевший даже чины, которыми чрезвычайно гордился, — человек глубоко необразованный. А нас, воспитанников, было у него всего человек шесть; из них действительно какой-то племянник московского сенатора, и все мы у него жили совершенно на семейном положении, более под присмотром его супруги, очень манерной дамы, дочери какого-то русского чиновника. Я в эти две недели ужасно важничал перед товарищами, хвастался моим синим сюртуком и папенькой моим Андреем Петровичем, и вопросы их: почему же я Долгорукий, а не Версилов, — совершенно не смущали меня именно потому, что я сам не знал почему.

— Андрей Петрович! — крикнула Татьяна Павловна почти угрожающим голосом. Напротив, матушка, не отрываясь, следила за мною, и ей видимо хотелось, чтобы я продолжал.

— Се [1] Тушар... действительно я припоминаю теперь, что он такой маленький и вертлявый, — процедил Версилов, — но мне его рекомендовали тогда с наилучшей стороны...

— Се Тушар вошел с письмом в руке, подошел к нашему большому дубовому столу, за которым мы все шестеро что-то зубрили, крепко схватил меня за плечо, поднял со стула и велел захватить мои тетрадки. «Твое место не здесь, а там», — указал он мне крошечную комнатку налево из передней, где стоял простой стол, плетеный стул и клеенчатый диван — точь-в-точь как теперь у меня наверху в светелке. Я перешел с удивлением и очень оробев: никогда еще со мной грубо не обходились. Через полчаса, когда Тушар вышел из классной, я стал переглядываться с товарищами и пересмеиваться; конечно, они надо мною смеялись, но я о том не догадывался и думал, что мы смеемся оттого, что нам весело. Тут как раз налетел Тушар, схватил меня за вихор и давай таскать. «Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения и всё равно что лакей!» И он пребольно ударил меня по моей пухлой румяной щеке. Ему это тотчас же понравилось, и он ударил меня во второй и в третий раз. Я плакал навзрыд, я был страшно удивлен. Целый час я сидел, закрывшись руками, и плакал-плакал. Произошло что-то такое, чего я ни за что не понимал. Не понимаю, как человек не злой, как Тушар, иностранец, и даже столь радовавшийся освобождению русских крестьян, мог бить такого глупого ребенка, как я. Впрочем, я был только удивлен, а не оскорблен; я еще не умел оскорбляться. Мне казалось, что я что-то сшалил, но когда я исправлюсь, то меня простят и мы опять станем вдруг все веселы, пойдем играть на дворе и заживем как нельзя лучше.

---

[1] Этот *(франц.)*.

— Друг мой, если б я только знал...—протянул Версилов с небрежной улыбкой несколько утомленного человека, — каков, однако, негодяй этот Тушар! Впрочем, я всё еще не теряю надежды, что ты как-нибудь соберешься с силами и всё это нам наконец простишь и мы опять заживем как нельзя лучше.

Он решительно зевнул.

— Да я и не обвиняю, совсем нет, и, поверьте, не жалуюсь на Тушара! — прокричал я, несколько сбитый с толку, — да и бил он меня каких-нибудь месяца два. Я, помню, всё хотел его чем-то обезоружить, бросался целовать его руки и целовал их и всё плакал-плакал. Товарищи смеялись надо мною и презирали меня, потому что Тушар стал употреблять меня иногда как прислугу, приказывал подавать себе платье, когда одевался. Тут мое лакейство пригодилось мне инстинктивно: я старался изо всех сил угодить и нисколько не оскорблялся, потому что ничего еще я этого не понимал, и удивляюсь даже до сей поры тому, что был так еще тогда глуп, что не мог понять, как я всем им неровня. Правда, товарищи много мне и тогда уже объяснили, школа была хорошая. Тушар кончил тем, что полюбил более пинать меня коленком сзади, чем бить по лицу; а через полгода так даже стал меня иногда и ласкать; только нет-нет, а в месяц раз, наверно, побьет, для напоминания, чтоб не забывался. С детьми тоже скоро меня посадили вместе и пускали играть, но ни разу, в целые два с половиной года, Тушар не забыл различия в социальном положении нашем, и хоть не очень, а всё же употреблял меня для услуг постоянно, я именно думаю, чтоб мне напомнить.

Бежал же я, то есть хотел было бежать, уже месяцев пять спустя после этих первых двух месяцев. И вообще я всю жизнь бывал туг на решение. Когда я ложился в постель и закрывался одеялом, я тотчас начинал мечтать об вас, Андрей Петрович, только об вас одном; совершенно не знаю, почему это так делалось. Вы мне и во сне даже снились. Главное, я всё страстно мечтал, что вы вдруг войдете, я к вам брошусь и вы меня выведете из этого места и увезете к себе, в тот кабинет, и опять мы поедем в театр, ну и прочее. Главное, что мы не расстанемся — вот в чем было главное! Когда же утром приходилось просыпаться, то вдруг начинались насмешки и презрение мальчишек; один из них прямо начал бить меня и заставлял подавать сапоги; он бранил меня самыми скверными именами, особенно стараясь объяснить мне мое происхождение, к утехе всех слушателей. Когда же являлся наконец сам Тушар, в душе моей начиналось что-то невыносимое. Я чувствовал, что мне здесь никогда не простят, — о, я уже начинал помаленьку понимать, что именно не простят и чем именно я провинился! И вот я наконец положил бежать. Я мечтал об этом ужасно целых два месяца, наконец решился; тогда был сентябрь. Я выждал, когда все товарищи разъехались в субботу на воскресенье, а между тем потихоньку тщательно связал себе узелок самых необходимых вещиц; денег

у меня было два рубля. Я хотел выждать, когда смеркнется: «Там спущусь по лестнице, — думал я, — и выйду, а потом и пойду». Куда? Я знал, что Андроников уже переведен в Петербург, и решил, что я отыщу дом Фанариотовой на Арбате; «ночь где-нибудь прохожу или просижу, а утром расспрошу кого-нибудь на дворе дома: где теперь Андрей Петрович и если не в Москве, то в каком городе или государстве? Наверно, скажут. Я уйду, а потом в другом месте где-нибудь и у кого-нибудь спрошу: в какую заставу идти, если в такой-то город, ну и выйду, и пойду, и пойду. Всё буду идти; ночевать буду где-нибудь под кустами, а есть буду один только хлеб, а хлеба на два рубля мне очень надолго хватит». В субботу, однако, никак не удалось бежать; пришлось ожидать до завтра, до воскресенья, и, как нарочно, Тушар с женой куда-то в воскресенье уехали; остались во всем доме только я да Агафья. Я ждал ночи с страшной тоской, помню, сидел в нашей зале у окна и смотрел на пыльную улицу с деревянными домиками и на редких прохожих. Тушар жил в захолустье, и из окон видна была застава: уж не та ли? — мерещилось мне. Солнце закатывалось такое красное, небо было такое холодное, и острый ветер, точь-в-точь как сегодня, подымал песок. Стемнело наконец совсем; я стал перед образом и начал молиться, только скоро-скоро, я торопился; захватил узелок и на цыпочках пошел с скрипучей нашей лестницы, ужасно боясь, чтобы не услыхала меня из кухни Агафья. Дверь была на ключе, я отворил, и вдруг — темная-темная ночь зачернела передо мной, как бесконечная опасная неизвестность, а ветер так и рванул с меня фуражку. Я было вышел; на той стороне тротуара раздался сиплый, пьяный рев ругавшегося прохожего; я постоял, поглядел и тихо вернулся, тихо прошел наверх, тихо разделся, сложил узелок и лег ничком, без слез и без мыслей, и вот с этой-то самой минуты я и стал мыслить, Андрей Петрович! Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я, сверх того, что лакей, вдобавок, и трус, и началось настоящее, правильное мое развитие!

— А вот с этой-то самой минуты я тебя теперь навек раскусила! — вскочила вдруг с места Татьяна Павловна, и так даже неожиданно, что я совсем и не приготовился, — да ты, мало того, что тогда был лакеем, ты и теперь лакей, лакейская душа у тебя! Да чего бы стоило Андрею Петровичу тебя в сапожники отдать? Даже благодеяние бы тебе оказал, ремеслу бы обучил! Кто бы с него больше для тебя спросил аль потребовал? Отец твой, Макар Иваныч, не то что просил, а почти требовал, чтоб вас, детей его, из низших сословий не выводить. Нет, ты не ценишь, что он тебя до университета довел и что чрез него ты права получил. Мальчишки, вишь, его дразнили, так он поклялся отмстить человечеству... Сволочь ты этакая!

Признаюсь, я был поражен этой выходкой. Я встал и некоторое время смотрел, не зная, что сказать.

— А ведь действительно, Татьяна Павловна сказала мне новое, — твердо обернулся я наконец к Версилову, — ведь действительно я настолько лакей, что никак не могу удовлетвориться только тем, что Версилов не отдал меня в сапожники; даже «права» не умилили меня, а подавай, дескать, мне всего Версилова, подавай мне отца... вот чего потребовал — как же не лакей? Мама, у меня на совести уже восемь лет, как вы приходили ко мне одна к Тушару посетить меня и как я вас тогда принял, но теперь некогда об этом, Татьяна Павловна не даст рассказать. До завтра, мама, может, с вами-то еще увидимся. Татьяна Павловна! Ну что, если я опять-таки до такой степени лакей, что никак не могу даже того допустить, чтоб от живой жены можно было жениться еще на жене? А ведь это чуть-чуть было не случилось в Эмсе с Андреем Петровичем! Мама, если не захотите оставаться с мужем, который завтра женится на другой, то вспомните, что у вас есть сын, который обещается быть навеки почтительным сыном, вспомните и пойдемте, но только с тем, что «или он, или я», — хотите? Я не сейчас ведь ответа прошу: я знаю, что на такие вопросы нельзя давать ответа тотчас же...

Но я не мог докончить, во-первых, потому, что разгорячился и растерялся. Мать вся побледнела, и как будто голос ее пресекся: не могла выговорить ни слова. Татьяна Павловна говорила что-то очень громко и много, так что я даже разобрать не мог, и раза два пихнула меня в плечо кулаком. Я только запомнил, что она прокричала, что мои слова «напускные, в мелкой душе взлелеянные, пальцем вывороченные». Версилов сидел неподвижно и очень серьезный, не улыбался. Я пошел к себе наверх. Последний взгляд, проводивший меня из комнаты, был укорительный взгляд сестры; она строго качала мне вслед головой.

Глава седьмая

I

Я описываю все эти сцены, не щадя себя, чтобы всё ясно припомнить и восстановить впечатление. Взойдя к себе наверх, я совершенно не знал, надобно ли мне стыдиться или торжествовать, как исполнившему свой долг. Если б я был капельку опытнее, я бы догадался, что малейшее сомнение в таком деле надо толковать к худшему. Но меня сбивало с толку другое обстоятельство: не понимаю, чему я был рад, но я был ужасно рад, несмотря на то что сомневался и явно сознавал, что внизу срезался. Даже то, что Татьяна Павловна так злобно меня обругала, — мне было только смешно и забавно, а вовсе не злобило меня. Вероятно, всё это потому, что я все-таки порвал цепь и в первый раз чувствовал себя на свободе.

Я чувствовал тоже, что испортил свое положение: еще больше мраку оказывалось в том, как мне теперь поступить с письмом о наследстве. Теперь решительно примут, что я хочу мстить Версилову. Но я еще внизу положил, во время всех этих дебатов, подвергнуть дело о письме про наследство решению третейскому и обратиться, как к судье, к Васину, а если не удастся к Васину, то еще к одному лицу, я уже знал к какому. Однажды, для этого только раза, схожу к Васину, думал я про себя, а там — там исчезну для всех надолго, на несколько месяцев, а для Васина даже особенно исчезну; только с матерью и с сестрой, может, буду видеться изредка. Всё это было беспорядочно; я чувствовал, что что-то сделал, да не так, и — и был доволен; повторяю, все-таки был чему-то рад.

Лечь спать, я положил было раньше, предвидя завтра большую ходьбу. Кроме найма квартиры и переезда, я приня некоторые решения, которые так или этак положил выполнить. Но вечеру не удалось кончиться без курьезов, и Версилов сумел-таки чрезвычайно удивить меня. В светелку мою он решительно никогда не заходил, и вдруг, я еще часу не был у себя, как услышал его шаги на лесенке: он звал меня, чтоб я ему посветил. Я вынес свечку и, протянув вниз руку, которую он схватил, помог ему дотащиться наверх.

— Merci, друг, я сюда еще ни разу не вползал, даже когда нанимал квартиру. Я предчувствовал, что это такое, но все-таки не предполагал такой конуры, — стал он посредине моей светелки, с любопытством озираясь кругом. — Но это гроб, совершенный гроб!

Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гроба, и я даже подивился, как он верно с одного слова определил. Каморка была узкая и длинная; с высоты плеча моего, не более, начинался угол стены и крыши, конец которой я мог достать ладонью. Версилов, в первую минуту, бессознательно держал себя сгорбившись, боясь задеть головой о потолок, однако не задел и кончил тем, что довольно спокойно уселся на моем диване, на котором была уже постлана моя постель. Что до меня, я не садился и смотрел на него в глубочайшем удивлении.

— Мать рассказывает, что не знала, брать ли с тебя деньги, которые ты давеча ей предложил за месячное твое содержание. Ввиду этакого гроба не только не брать, а, напротив, вычет с нас в твою пользу следует сделать! Я здесь никогда не был и... вообразить не могу, что здесь можно жить.

— Я привык. А вот что вижу вас у себя, то никак не могу к тому привыкнуть после всего, что вышло внизу.

— О да, ты был значительно груб внизу, но... я тоже имею свои особые цели, которые и объясню тебе, хотя, впрочем, в приходе моем нет ничего необыкновенного; даже то, что внизу произошло, — тоже всё в совершенном порядке вещей; но разъясни мне вот что, ради Христа: там, внизу, то, что ты рассказывал и

к чему так торжественно нас готовил и приступал, неужто это всё, что ты намерен был открыть или сообщить, и ничего больше у тебя не было?

— Всё. То есть положим, что всё.

— Маловато, друг мой; признаться, я, судя по твоему приступу и как ты нас звал смеяться, одним словом, видя, как тебе хотелось рассказывать, — я ждал большего.

— Да вам-то не всё ли равно?

— Да я, собственно, из чувства меры: не стоило такого треску, и нарушена была мера. Целый месяц молчал, собирался, и вдруг — ничего!

— Я хотел долго рассказывать, но стыжусь, что и это рассказал. Не всё можно рассказать словами, иное лучше никогда не рассказывать. Я же вот довольно сказал, да ведь вы же не поняли.

— А! и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова! Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным; дурак всегда доволен тем, что сказал, и к тому же всегда выскажет больше, чем нужно; про запас они любят.

— Как я внизу, например; я тоже высказал больше, чем нужно: я потребовал «всего Версилова» — это гораздо больше, чем нужно; мне Версилова вовсе не нужно.

— Друг мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу. Ты, очевидно, раскаялся, а так как раскаяться значит у нас немедленно на кого-нибудь опять накинуться, то вот ты и не хочешь в другой раз на мне промахнуться. Я рано пришел, а ты еще не остыл и к тому же туго выносишь критику. Но садись, ради бога, я тебе кое-что пришел сообщить; благодарю, вот так. Из того, что ты сказал матери внизу, уходя, слишком ясно, что нам, во всяком даже случае, лучше разъехаться. Я пришел с тем, чтоб уговорить тебя сделать это по возможности мягче и без скандала, чтоб не огорчить и не испугать твою мать еще больше. Даже то, что я пошел сюда сам, уже ее ободрило: она как-то верует, что мы еще успеем примириться, ну и что всё пойдет по-прежнему. Я думаю, если б мы с тобой, здесь теперь, раз или два погромче рассмеялись, то поселили бы восторг в их робких сердцах. Пусть это и простые сердца, но они любящие, искренно и простодушно, почему же не полелеять их при случае? Ну, вот это раз. Второе: почему бы нам непременно расставаться с жаждой мести, с скрежетом зубов, с клятвами и так далее? Безо всякого сомнения, нам вешаться друг другу на шею совсем ни к чему, но можно расстаться, так сказать, взаимно уважая друг друга, не правда ли, а?

— Всё это — вздор! Обещаю, что съеду без скандалу — и довольно. Это вы для матери хлопочете? А мне так кажется, что спокойствие матери вам тут решительно всё равно, и вы только так говорите.

— Ты не веришь?

— Вы говорите со мной решительно как с ребенком!

— Друг мой, я готов за это тысячу раз просить у тебя прощения, ну и там за всё, что ты на мне насчитываешь, за все эти годы твоего детства и так далее, но, cher enfant, что же из этого выйдет? Ты так умен, что не захочешь сам очутиться в таком глупом положении. Я уже и не говорю о том, что даже до сей поры не совсем понимаю характер твоих упреков: в самом деле, в чем ты, собственно, меня обвиняешь? В том, что родился не Версиловым? Или нет? Ба! ты смеешься презрительно и махаешь руками, стало быть, нет?

— Поверьте, нет. Поверьте, не нахожу никакой чести называться Версиловым.

— О чести оставим; к тому же твой ответ непременно должен быть демократичен; но если так, то за что же ты обвиняешь меня?

— Татьяна Павловна сказала сейчас всё, что мне надо было узнать и чего я никак не мог понять до нее: это то, что не отдали же вы меня в сапожники, следственно, я еще должен быть благодарен. Понять не могу, отчего я неблагодарен, даже и теперь, даже когда меня вразумили. Уж не ваша ли кровь гордая говорит, Андрей Петрович?

— Вероятно, нет. И, кроме того, согласись, что все твои выходки внизу, вместо того чтоб падать на меня, как и предназначались тобою, тиранили и терзали одну ее. Между тем, кажется, не тебе бы ее судить. Да и чем она перед тобой виновата? Разъясни мне тоже, кстати, друг мой: ты для чего это и с какою бы целью распространял и в школе, и в гимназии, и во всю жизнь свою, и даже первому встречному, как я слышал, о своей незаконнорожденности? Я слышал, что ты делал это с какою-то особенною охотою. А между тем всё это вздор и гнусная клевета: ты законнорожденный, Долгорукий, сын Макара Иваныча Долгорукого, человека почтенного и замечательного умом и характером. Если же ты получил высшее образование, то действительно благодаря бывшему помещику твоему Версилову, но что же из этого выходит? Главное, провозглашая о своей незаконнорожденности, что само собою уже клевета, ты тем самым разоблачал тайну твоей матери и, из какой-то ложной гордости, тащил свою мать на суд перед первою встречною грязью. Друг мой, это очень неблагородно, тем более что твоя мать ни в чем не виновна лично: это характер чистейший, а если она не Версилова, то единственно потому, что до сих пор замужем.

— Довольно, я с вами совершенно согласен и настолько верю в ваш ум, что вполне надеюсь, вы перестанете слишком уж долго распекать меня. Вы так любите меру; а между тем есть мера всему, даже и внезапной любви вашей к моей матери. Лучше вот что: если вы решились ко мне зайти и у меня просидеть четверть часа или полчаса (я всё еще не знаю для чего, ну, положим, для спокойствия матери) — и, сверх того, с такой охотой со мной говорите, несмотря на то что произошло внизу, то расскажите уж

мне лучше про моего отца — вот про этого Макара Иванова, странника. Я именно от вас бы хотел услыхать о нем; я спросить вас давно намеревался. Расставаясь, и, может быть, надолго, я бы очень хотел от вас же получить ответ и еще на вопрос: неужели в целые эти двадцать лет вы не могли подействовать на предрассудки моей матери, а теперь так даже и сестры, настолько, чтоб рассеять своим цивилизующим влиянием первоначальный мрак окружавшей ее среды? О, я не про чистоту ее говорю! Она и без того всегда была бесконечно выше вас нравственно, извините, но... это лишь бесконечно высший мертвец. Живет лишь один Версилов, а всё остальное кругом него и всё с ним связанное прозябает под тем непременным условием, чтоб иметь честь питать его своими силами, своими живыми соками. Но ведь была же и она когда-то живая? Ведь вы что-нибудь полюбили же в ней? Ведь была же и она когда-то женщиной?

— Друг мой, если хочешь, никогда не была, — ответил он мне, тотчас же скривившись в ту первоначальную, тогдашнюю со мной манеру, столь мне памятную и которая так бесила меня: то есть, по-видимому, он само искреннее простодушие, а смотришь — всё в нем одна лишь глубочайшая насмешка, так что я иной раз никак не мог разобрать его лица, — никогда не была! Русская женщина — женщиной никогда не бывает.

— Полька, француженка бывает? Или итальянка, страстная итальянка, вот что способно пленить цивилизованного русского высшей среды, вроде Версилова?

— Ну, мог ли я ожидать, что встречу славянофила? — рассмеялся Версилов.

Я припоминаю слово в слово рассказ его; он стал говорить с большой даже охотой и с видимым удовольствием. Мне слишком ясно было, что он пришел ко мне вовсе не для болтовни и совсем не для того, чтоб успокоить мать, а наверно имея другие цели.

II

— Мы все наши двадцать лет, с твоею матерью, совершенно прожили молча, — начал он свою болтовню (в высшей степени выделанно и ненатурально), — и всё, что было у нас, так и произошло молча. Главным характером всего двадцатилетия связи нашей было — безмолвие. Я думаю, мы даже ни разу не поссорились. Правда, я часто отлучался и оставлял ее одну, но кончалось тем, что всегда приезжал обратно. Nous revenons toujours, [1] и это уж такое основное свойство мужчин; у них это от великодушия. Если бы дело брака зависело от одних женщин — ни одного бы брака не уцелело. Смирение, безответность, приниженность и в то же время твердость, сила, настоящая сила — вот

[1] Мы всегда возвращаемся *(франц.)*.

характер твоей матери. Заметь, что это лучшая из всех женщин, каких я встречал на свете. А что в ней сила есть — это я засвидетельствую: видал же я, как эта сила ее питала. Там, где касается, я не скажу убеждений — правильных убеждений тут быть не может, — но того, что считается у них убеждением, а стало быть, по-ихнему, и святым, там просто хоть на муки. Ну, а сам можешь заключить: похож ли я на мучителя? Вот почему я и предпочел почти во всем замолчать, а не потому только, что это легче, и, признаюсь, не раскаиваюсь. Таким образом, всё обошлось само собою широко и гуманно, так что я себе даже никакой хвалы не приписываю. Скажу кстати, в скобках, что почему-то подозреваю, что она никогда не верила в мою гуманность, а потому всегда трепетала; но, трепеща, в то же время не поддалась ни на какую культуру. Они как-то это умеют, а мы тут чего-то не понимаем, и вообще они умеют лучше нашего обделывать свои дела. Они могут продолжать жить по-своему в самых ненатуральных для них положениях и в самых не ихних положениях оставаться совершенно самими собой. Мы так не умеем.

— Кто они? Я вас немного не понимаю.

— Народ, друг мой, я говорю про народ. Он доказал эту великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически. Но, чтобы обратиться к нашему, то замечу про мать твою, что она ведь не всё молчит; твоя мать иногда и скажет, но скажет так, что ты прямо увидишь, что только время потерял говоривши, хотя бы даже пять лет перед тем постепенно ее приготовлял. К тому же возражения самые неожиданные. Опять-таки заметь, что я совсем не называю ее дурой; напротив, тут своего рода ум, и даже презамечательный ум; впрочем, ты уму-то, может быть, не поверишь...

— Почему нет? Я вот только не верю тому, что вы сами-то в ее ум верите в самом деле, и не притворяясь.

— Да? Ты меня считаешь таким хамелеоном? Друг мой, я тебе немного слишком позволяю... как балованному сыну... но пусть уже на этот раз так и останется.

— Расскажите мне про моего отца, если можете, правду.

— Насчет Макара Ивановича? Макар Иванович — это, как ты уже знаешь, дворовый человек, так сказать, пожелавший некоторой славы...

— Об заклад побьюсь, что вы ему в эту минуту в чем-нибудь завидуете!

— Напротив, мой друг, напротив, и если хочешь, то очень рад, что вижу тебя в таком замысловатом расположении духа; клянусь, что я именно теперь в настроении в высшей степени покаянном, и именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз может быть, бессильно жалею обо всем, двадцать лет тому назад происшедшем. К тому же, видит бог, что всё это произошло в высшей степени нечаянно... ну а потом, сколько было в силах моих, и гуманно; по крайней мере сколько я тогда представлял себе подвиг гуманности. О, мы

тогда все кипели ревностью делать добро, служить гражданским целям, высшей идее; осуждали чины, родовые права наши, деревни и даже ломбард, по крайней мере некоторые из нас... Клянусь тебе. Нас было немного, но мы говорили хорошо и, уверяю тебя, даже поступали иногда хорошо.

— Это когда вы на плече-то рыдали?

— Друг мой, я с тобой согласен во всем вперед; кстати, ты о плече слышал от меня же, а стало быть, в сию минуту употребляешь во зло мое же простодушие и мою же доверчивость; но согласись, что это плечо, право, было не так дурно, как оно кажется с первого взгляда, особенно для того времени; мы ведь только тогда начинали. Я, конечно, ломался, но я ведь тогда еще не знал, что ломаюсь. Разве ты, например, никогда не ломаешься в практических случаях?

— Я сейчас внизу немного расчувствовался, и мне очень стало стыдно, взойдя сюда, при мысли, что вы подумаете, что я ломался. Это правда, что в иных случаях хоть и искренно чувствуешь, но иногда представляешься; внизу же, теперь, клянусь, всё было натурально.

— Именно это и есть; ты преудачно определил в одном слове: «хоть и искренно чувствуешь, но все-таки представляешься»; ну, вот так точно и было со мной: я хоть и представлялся, но рыдал совершенно искренно. Не спорю, что Макар Иванович мог бы принять это плечо за усиление насмешки, если бы был остроумнее; но его честность помешала тогда его прозорливости. Не знаю только, жалел он меня тогда или нет; помнится, мне того тогда очень хотелось.

— Знаете, — прервал я его, — вы вот и теперь, говоря это, насмехаетесь. И вообще, всё время, пока вы говорили со мной, весь этот месяц, вы насмехались. Зачем вы всегда это делали, когда говорили со мной?

— Ты думаешь? — ответил он кротко, — ты очень мнителен; впрочем, если я и засмеюсь, то не над тобой, или, по крайней мере, не над тобой одним, будь покоен. Но я теперь не смеюсь, а тогда — одним словом, я сделал тогда всё, что мог, и, поверь, не в свою пользу. Мы, то есть прекрасные люди, в противоположность народу, совсем не умели тогда действовать в свою пользу: напротив, всегда себе пакостили сколько возможно, и я подозреваю, что это-то и считалось у нас тогда какой-то «высшей и нашей же пользой», разумеется в высшем смысле. Теперешнее поколение людей передовых несравненно нас загребистее. Я тогда, еще до греха, объяснил Макару Ивановичу всё с необыкновенною прямотой. Я теперь согласен, что многое из того не надо было объяснять вовсе, тем более с такой прямотой: не говоря уже о гуманности, было бы даже вежливее; но поди удержи себя, когда, растанцевавшись, захочется сделать хорошенькое па? А может быть, таковы требования прекрасного и высокого в самом деле, я этого во всю жизнь не мог разрешить. Впрочем, это слишком глубокая

тема для поверхностного разговора нашего, но клянусь тебе, что я теперь иногда умираю от стыда, вспоминая. Я тогда предложил ему три тысячи рублей, и, помню, он всё молчал, а только я говорил. Представь себе, мне вообразилось, что он меня боится, то есть моего крепостного права, и, помню, я всеми силами старался его ободрить; я его уговаривал, ничего не опасаясь, высказать все его желания, и даже со всевозможною критикой. В виде гарантии я давал ему слово, что если он не захочет моих условий, то есть трех тысяч, вольной (ему и жене, разумеется) и вояжа на все четыре стороны (без жены, разумеется), — то пусть скажет прямо, и я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему жену, награжу их обоих, кажется теми же тремя тысячами, и уж не они от меня уйдут на все четыре стороны, а я сам от них уеду на три года в Италию, один-одинехонек. Mon ami, я бы не взял с собой в Италию mademoiselle Сапожкову, будь уверен: я был чрезвычайно чист в те минуты. И что же? Этот Макар отлично хорошо понимал, что я так и сделаю, как говорю; но он продолжал молчать, и только когда я хотел было уже в третий раз припасть, отстранился, махнул рукой и вышел, даже с некоторою бесцеремонностью, уверяю тебя, которая даже меня тогда удивила. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не могу. Вообще они, когда ничего не говорят — всего хуже, а это был мрачный характер, и, признаюсь, я не только не доверял ему, призывая в кабинет, но ужасно даже боялся: в этой среде есть характеры, и ужасно много, которые заключают в себе, так сказать, олицетворение непорядочности, а этого боишься пуще побоев. Sic.[1] И как я рисковал, как рисковал! Ну что, если б он закричал на весь двор, завыл, сей уездный Урия, — ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Давидом, и что бы я сумел тогда сделать? Вот потому-то я и пустил прежде всего три тысячи, это было инстинктивно, но я, к счастью, ошибся: этот Макар Иванович был нечто совсем другое...

— Скажите, грех был? Вы сказали сейчас, что позвали мужа еще до греха?

— То есть, видишь ли, это как разуметь...

— Значит, был. Вы сказали сейчас, что вы в нем ошиблись, что это было нечто другое; что же другое?

— А что именно, я и до сих пор не знаю. Но что-то другое, и, знаешь, даже весьма порядочное; заключаю потому, что мне под конец стало втрое при нем совестнее. Он на другой же день согласился на вояж, без всяких слов, разумеется не забыв ни одной из предложенных мною наград.

— Деньги взял?

— Еще как! И знаешь, мой друг, в этом пункте даже совсем удивил меня. Трех тысяч у меня тогда в кармане, разумеется, не случилось, но я достал семьсот рублей и вручил ему их на первый случай, и что же? Он две тысячи триста остальных стребовал же

[1] Так *(лат.)*.

с меня, в виде заемного письма, для верности, на имя одного купца. Потом, через два года, он по этому письму стребовал с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня опять удивил, тем более что буквально пошел сбирать на построение божьего храма, и с тех пор вот уже двадцать лет скитается. Не понимаю, зачем страннику столько собственных денег... деньги такая светская вещь... Я, конечно, предлагал их в ту минуту искренно и, так сказать, с первым пылом, но потом, по прошествии столь многих минут, я, естественно, мог одуматься... и рассчитывал, что он по крайней мере меня пощадит... или, так сказать, *нас* пощадит, нас с нею, подождет хоть по крайней мере. Однако даже не подождал...

(Сделаю здесь необходимое нотабене: если бы случилось, что мать пережила господина Версилова, то осталась бы буквально без гроша на старости лет, когда б не эти три тысячи Макара Ивановича, давно уже удвоенные процентами и которые он оставил ей все целиком, до последнего рубля, в прошлом году, по духовному завещанию. Он предугадал Версилова даже в то еще время.)

— Вы раз говорили, что Макар Иванович приходил к вам несколько раз на побывку и всегда останавливался на квартире у матушки?

— Да, мой друг, и я, признаюсь, сперва ужасно боялся этих посещений. Во весь этот срок, в двадцать лет, он приходил всего раз шесть или семь, и в первые разы я, если бывал дома, прятался. Даже не понимал сначала, что это значит и зачем он является? Но потом, по некоторым соображениям, мне показалось, что это было вовсе не так глупо с его стороны. Потом, случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать и вышел поглядеть на него и, уверяю тебя, вынес преоригинальное впечатление. Это уже в третье или четвертое его посещение, именно в ту эпоху, когда я поступал в мировые посредники и когда, разумеется, изо всех сил принялся изучать Россию. Я от него услышал даже чрезвычайно много нового. Кроме того, встретил в нем именно то, чего никак не ожидал встретить: какое-то благодушие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не веселость. Ни малейшего намека на *то* (tu comprends? [1]) и в высшей степени уменье говорить дело, и говорить превосходно, то есть без глупого ихнего дворового глубокомыслия, которого я, признаюсь тебе, несмотря на весь мой демократизм, терпеть не могу, и без всех этих напряженных русизмов, которыми говорят у нас в романах и на сцене «настоящие русские люди». При этом чрезвычайно мало о религии, если только не заговоришь сам, и премилые даже рассказы в своем роде о монастырях и монастырской жизни, если сам полюбопытствуешь. А главное — почтительность, эта скромная почтительность, именно та почтительность, которая необходима для высшего равенства, мало того, без которой, по-моему, не достигнешь и первенства.

---

[1] понимаешь? *(франц.)*

Тут именно, через отсутствие малейшей заносчивости, достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно и именно в своем положении, каково бы оно там ни было и какова бы ни досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно в своем положении — чрезвычайно редка на свете, по крайней мере столь же редка, как и истинное собственное достоинство... Ты сам увидишь, коль поживешь. Но всего более поразило меня впоследствии, и именно впоследствии, а не вначале (прибавил Версилов) — то, что этот Макар чрезвычайно осанист собою и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но

Смуглолиц, высок и прям,

прост и важен; я даже подивился моей бедной Софье, как это она могла *тогда* предпочесть меня; тогда ему было пятьдесят, но все же он был такой молодец, а я перед ним такой вертун. Впрочем, помню, он уже и тогда был непозволительно сед, стало быть, таким же седым на ней и женился... Вот разве это повлияло.

У этого Версилова была подлейшая замашка из высшего тона: сказав (когда нельзя было иначе) несколько преумных и прекрасных вещей, вдруг кончить нарочно какою-нибудь глупостью, вроде этой догадки про седину Макара Ивановича и про влияние ее на мать. Это он делал нарочно и, вероятно, сам не зная зачем, по глупейшей светской привычке. Слышать его — кажется, говорит очень серьезно, а между тем про себя кривляется или смеется.

III

Не понимаю, почему вдруг тогда на меня нашло страшное озлобление. Вообще, я с большим неудовольствием вспоминаю о некоторых моих выходках в те минуты; я вдруг встал со стула.

— Знаете что, — сказал я, — вы говорите, что пришли, главное, с тем, чтобы мать подумала, что мы помирились. Времени прошло довольно, чтоб ей подумать; не угодно ли вам оставить меня одного?

Он слегка покраснел и встал с места:

— Милый мой, ты чрезвычайно со мной бесцеремонен. Впрочем, до свиданья; насильно мил не будешь. Я позволю себе только один вопрос: ты действительно хочешь оставить князя?

— Ага! Я так и знал, что у вас особые цели...

— То есть ты подозреваешь, что я пришел склонять тебя остаться у князя, имея в том свои выгоды. Но, друг мой, уж не думаешь ли ты, что я из Москвы тебя выписал, имея в виду какую-нибудь свою выгоду? О, как ты мнителен! Я, напротив, желая тебе же во всем добра. И даже вот теперь, когда так поправились и мои средства, я бы желал, чтобы ты, хоть иногда, позволял мне с матерью помогать тебе.

— Я вас не люблю, Версилов.

— И даже «Версилов». Кстати, я очень сожалею, что не мог передать тебе этого имени, ибо в сущности только в этом и состоит вся вина моя, если уж есть вина, не правда ли? Но, опять-таки, не мог же я жениться на замужней, сам рассуди.

— Вот почему, вероятно, и хотели жениться на незамужней?

Легкая судорога прошла по лицу его.

— Это ты про Эмс. Слушай, Аркадий, ты внизу позволил себе эту же выходку, указывая на меня пальцем, при матери. Знай же, что именно тут ты наиболее промахнулся. Из истории с покойной Лидией Ахмаковой ты не знаешь ровно ничего. Не знаешь и того, насколько в этой истории сама твоя мать участвовала, да, несмотря на то что ее там со мною не было; и если я когда видел добрую женщину, то тогда, смотря на мать твою. Но довольно; это всё пока еще тайна, а ты — ты говоришь неизвестно что и с чужого голоса.

— Князь именно сегодня говорил, что вы любитель неоперившихся девочек.

— Это князь говорил?

— Да, слушайте, хотите, я вам скажу в точности, для чего вы теперь ко мне приходили? Я всё это время сидел и спрашивал себя: в чем тайна этого визита и наконец, кажется, теперь догадался.

Он было уже выходил, но остановился и повернул ко мне голову в ожидании.

— Давеча я проговорился мельком, что письмо Тушара к Татьяне Павловне, попавшее в бумаги Андроникова, очутилось, по смерти его, в Москве у Марьи Ивановны. Я видел, как у вас что-то вдруг дернулось в лице, и только теперь догадался, когда у вас еще раз, сейчас, что-то опять дернулось точно так же в лице: вам пришло тогда, внизу, на мысль, что если одно письмо Андроникова уже очутилось у Марьи Ивановны, то почему же и другому не очутиться? А после Андроникова могли остаться преважные письма, а? Не правда ли?

— И я, придя к тебе, хотел заставить тебя о чем-нибудь проболтаться?

— Сами знаете.

Он очень побледнел.

— Это ты не сам собою догадался; тут влияние женщины; и сколько уже ненависти в словах твоих — в грубой догадке твоей!

— Женщины? А я эту женщину как раз видел сегодня! Вы, может быть, именно чтоб шпионить за ней, и хотите меня оставить у князя?

— Однако вижу, что ты чрезвычайно далеко уйдешь по новой своей дороге. Уж не это ли «твоя идея»? Продолжай, мой друг, ты имеешь несомненные способности по сыскной части. Дан талант, так надо усовершенствовать.

Он приостановился перевести дыхание.

— Берегитесь, Версилов, не делайте меня врагом вашим!

— Друг мой, последние свои мысли в таких случаях никто не высказывает, а бережет про себя. А затем, посвети мне, прошу тебя. Ты хоть мне и враг, но не до такой же, вероятно, степени, чтоб пожелать мне сломать себе шею. Tiens, mon ami,[1] вообрази, — продолжал он спускаясь, — а ведь я весь этот месяц принимал тебя за добряка. Ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что дай, кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало: это у тебя на лице написано; ну, а такие большею частью добряки. И вот как же я ошибся!

IV

Не могу выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остался один: точно я отрезал живьем собственный кусок мяса! Для чего я так вдруг разозлился и для чего так обидел его — так усиленно и нарочно, — я бы не мог теперь рассказать, конечно и тогда тоже. И как он побледнел! И что же: эта бледность, может быть, была выражением самого искреннего и чистого чувства и самой глубокой горести, а не злости и не обиды. Мне всегда казалось, что бывали минуты, когда он очень любил меня. Почему, почему не верить мне теперь этому, тем более что уже так многое совершенно объяснено теперь?

А разозлился я вдруг и выгнал его действительно, может быть, и от внезапной догадки, что он пришел ко мне, надеясь узнать: не осталось ли у Марьи Ивановны еще писем Андроникова? Что он должен был искать этих писем и ищет их — это я знал. Но кто знает, может быть тогда, именно в ту минуту, я ужасно ошибся! И кто знает, может быть, я же, этою же самой ошибкой, и навел его впоследствии на мысль о Марье Ивановне и о возможности у ней писем?

И наконец, опять странность: опять он повторял слово в слово мою мысль (о трех жизнях), которую я высказал давеча Крафту, главное моими же словами. Совпадение слов опять-таки случай, но все-таки как же знает он сущность моей природы: какой взгляд, какая угадка! Но, если так понимает одно, зачем же совсем не понимает другого? И неужели он не ломался, а и в самом деле не в состоянии был догадаться, что мне не дворянство версиловское нужно было, что не рождения моего я не могу ему простить, а что мне самого Версилова всю жизнь надо было, всего человека, отца, и что эта мысль вошла уже в кровь мою? Неужели же такой тонкий человек настолько туп и груб? А если нет, то зачем же он меня бесит, зачем притворяется?

---

[1] Вот, друг мой *(франц.)*.

Глава восьмая

I

Наутро я постарался встать как можно раньше. Обыкновенно у нас поднимались около восьми часов, то есть я, мать и сестра; Версилов нежился до половины десятого. Аккуратно в половине девятого мать приносила мне кофей. Но на этот раз я, не дождавшись кофею, улизнул из дому ровно в восемь часов. У меня еще с вечера составился общий план действий на весь этот день. В этом плане, несмотря на страстную решимость немедленно приступить к выполнению, я уже чувствовал, было чрезвычайно много нетвердого и неопределенного в самых важных пунктах; вот почему почти всю ночь я был как в полусне, точно бредил, видел ужасно много снов и почти ни разу не заснул как следует. Несмотря на то, поднялся бодрее и свежее, чем когда-нибудь. С матерью же я особенно не хотел повстречаться. Я не мог заговорить с нею иначе как на известную тему и боялся отвлечь себя от предпринятых целей каким-нибудь новым и неожиданным впечатлением.

Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спеша, или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит: и вопрос и ответ всегда кратки, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшая во дню. Петербуржец, среди дня или к вечеру, становится менее сообщителен и, чуть что, готов и обругать или насмеяться; совсем другое рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору. Я это заметил.

Я опять направлялся на Петербургскую. Так как мне в двенадцатом часу непременно надо было быть обратно на Фонтанке у Васина (которого чаще всего можно было застать дома в двенадцать часов), то и спешил я не останавливаясь, несмотря на чрезвычайный позыв выпить где-нибудь кофею. К тому же и Ефима Зверева надо было захватить дома непременно; я шел опять к нему и впрямь чуть-чуть было не опоздал; он допивал свой кофей и готовился выходить.

— Чего тебя так часто носит? — встретил он меня, не вставая с места.

— А вот я тебе сейчас объясню.

Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с уко-

ризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из «Пиковой дамы» (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что всё это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это всё грезится, — и всё вдруг исчезнет». Но я увлекся.

Скажу заранее: есть замыслы и мечты в каждой жизни до того, казалось бы, эксцентрические, что их с первого взгляда можно безошибочно принять за сумасшествие. С одною из таких фантазий и пришел я в это утро к Звереву, — к Звереву, потому что никого другого не имел в Петербурге, к кому бы на этот раз мог обратиться. А между тем Ефим был именно тем лицом, к которому, будь из чего выбирать, я бы обратился с таким предложением к последнему. Когда я уселся напротив него, то мне даже самому показалось, что я, олицетворенный бред и горячка, уселся напротив олицетворенной золотой середины и прозы. Но на моей стороне была идея и верное чувство, на его — один лишь практический вывод: что так никогда не делается. Короче, я объяснил ему кратко и ясно, что, кроме него, у меня в Петербурге нет решительно никого, кого бы я мог послать, ввиду чрезвычайного дела чести, вместо секунданта; что он старый товарищ и отказаться поэтому даже не имеет и права, а что вызвать я желаю гвардии поручика князя Сокольского за то, что, год с лишком назад, он, в Эмсе, дал отцу моему, Версилову, пощечину. Замечу при этом, что Ефим даже очень подробно знал все мои семейные обстоятельства, отношения мои к Версилову и почти всё, что я сам знал из истории Версилова; я же ему в разное время и сообщил, кроме, разумеется, некоторых секретов. Он сидел и слушал, по обыкновению своему нахохлившись, как воробей в клетке, молчаливый и серьезный, одутловатый, с своими взъерошенными белыми волосами. Неподвижная насмешливая улыбка не сходила с губ его. Улыбка эта была тем сквернее, что была совершенно не умышленная, а невольная; видно было, что он

действительно и воистину считал себя в эту минуту гораздо выше меня и умом и характером. Я подозревал тоже, что он к тому же презирает меня за вчерашнюю сцену у Дергачева; это так и должно было быть: Ефим — толпа, Ефим — улица, а та всегда поклоняется только успеху.

— А Версилов про это не знает? — спросил он.

— Разумеется, нет.

— Так какое же ты право имеешь вмешиваться в дела его? Это во-первых. А во-вторых, что ты этим хочешь доказать?

Я знал возражения и тотчас же объяснил ему, что это вовсе не так глупо, как он полагает. Во-первых, нахалу князю будет доказано, что есть еще люди, понимающие честь, и в нашем сословии, а во-вторых, будет пристыжен Версилов и вынесет урок. А в-третьих, и главное, если даже Версилов был и прав, по каким-нибудь там своим убеждениям, не вызвав князя и решившись снести пощечину, то по крайней мере он увидит, что есть существо, до того сильно способное чувствовать его обиду, что принимает ее как за свою, и готовое положить за интересы его даже жизнь свою... несмотря на то что с ним расстается навеки...

— Постой, не кричи, тетка не любит. Скажи ты мне, ведь с этим самым князем Сокольским Версилов тягается о наследстве? В таком случае это будет уже совершенно новый и оригинальный способ выигрывать тяжбы — убивая противников на дуэли.

Я объяснил ему en toutes lettres,[1] что он просто глуп и нахал и что если насмешливая улыбка его разрастается всё больше и больше, то это доказывает только его самодовольство и ординарность, что не может же он предположить, что соображения о тяжбе не было и в моей голове, да еще с самого начала, а удостоило посетить только его многодумную голову. Затем я изложил ему, что тяжба уже выиграна, к тому же ведется не с князем Сокольским, а с князьями Сокольскими, так что если убит один князь, то остаются другие, но что, без сомнения, надо будет отдалить вызов на срок апелляции (хотя князья апеллировать и не будут), но единственно для приличия. По миновании же срока и последует дуэль; что я с тем и пришел теперь, что дуэль не сейчас, но что мне надо было заручиться, потому что секунданта нет, я ни с кем не знаком, так по крайней мере к тому времени чтоб успеть найти, если он, Ефим, откажется. Вот для чего, дескать, я пришел.

— Ну, тогда и приходи говорить, а то ишь прет попусту десять верст.

Он встал и взялся за фуражку.

— А тогда пойдешь?

— Нет, не пойду, разумеется.

— Почему?

— Да уж по тому одному не пойду, что согласись я теперь, что тогда пойду, так ты весь этот срок апелляции таскаться нач-

---

[1] откровенно, без обиняков *(франц.)*.

нешь ко мне каждый день. А главное, всё это вздор, вот и всё. И стану я из-за тебя мою карьеру ломать? И вдруг князь меня спросит: «Вас кто прислал?» — «Долгорукий». — «А какое дело Долгорукому до Версилова?» Так я должен ему твою родословную объяснять, что ли? Да ведь он расхохочется!

— Так ты ему в рожу дай!

— Ну, это сказки.

— Боишься? Ты такой высокий; ты был сильнее всех в гимназии.

— Боюсь, конечно боюсь. Да князь уж потому драться не станет, что дерутся с ровней.

— Я тоже джентльмен по развитию, я имею права, я ровня... напротив, это он неровня.

— Нет, ты маленький.

— Как маленький?

— Так маленький; мы оба маленькие, а он большой.

— Дурак ты! да я уж год, по закону, жениться могу.

— Ну и женись, а все-таки ш⟨—⟩дик: ты еще растешь!

Я, конечно, понял, что он вздумал надо мною насмехаться. Без сомнения, весь этот глупый анекдот можно было и не рассказывать и даже лучше, если б он умер в неизвестности; к тому же он отвратителен по своей мелочности и ненужности, хотя и имел довольно серьезные последствия.

Но чтобы наказать себя еще больше, доскажу его вполне. Разглядев, что Ефим надо мной насмехается, я позволил себе толкнуть его в плечо правой рукой, или, лучше сказать, правым кулаком. Тогда он взял меня за плечи, обернул лицом в поле и — доказал мне на деле, что он действительно сильнее всех у нас в гимназии.

II

Читатель, конечно, подумает, что я был в ужаснейшем расположении, выйдя от Ефима, и, однако, ошибется. Я слишком понял, что вышел случай школьнический, гимназический, а серьезность дела остается вся целиком. Кофею я напился уже на Васильевском острове, нарочно миновав вчерашний мой трактир на Петербургской; и трактир этот, и соловей стали для меня вдвое ненавистнее. Странное свойство: я способен ненавидеть места и предметы, точно как будто людей. Зато есть у меня в Петербурге и несколько мест счастливых, то есть таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, — и что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уже совсем один и несчастлив, зайти погрустить и припомнить. За кофеем я отдал вполне справедливость Ефиму и здравому смыслу его. Да, он был практичнее меня, но вряд ли реальнее. Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что слеп. Но, отдавая справедливость Ефиму (который,

вероятно, в ту минуту думал, что я иду по улице и ругаюсь), — я все-таки ничего не уступил из убеждений, как не уступлю до сих пор. Видал я таких, что из-за первого ведра холодной воды не только отступаются от поступков своих, но даже от идеи, и сами начинают смеяться над тем, что, всего час тому, считали священным; о, как у них это легко делается! Пусть Ефим, даже и в сущности дела, был правее меня, а я глупее всего глупого и лишь ломался, но всё же в самой глубине дела лежала такая точка, стоя на которой, был прав и я, что-то такое было и у меня справедливого и, главное, чего они никогда не могли понять.

У Васина, на Фонтанке у Семеновского моста, очутился я почти ровно в двенадцать часов, но его не застал дома. Занятия свои он имел на Васильевском, домой же являлся в строго определенные часы, между прочим почти всегда в двенадцатом. Так как, кроме того, был какой-то праздник, то я и предполагал, что застану его наверно; не застав, расположился ждать, несмотря на то что являлся к нему в первый раз.

Я рассуждал так: дело с письмом о наследстве есть дело совести, и я, выбирая Васина в судьи, тем самым выказываю ему всю глубину моего уважения, что, уж конечно, должно было ему польстить. Разумеется, я и взаправду был озабочен этим письмом и действительно убежден в необходимости третейского решения; но подозреваю, однако, что и тогда уже мог бы вывернуться из затруднения без всякой посторонней помощи. И главное, сам знал про это; именно: стоило только отдать письмо самому Версилову из рук в руки, а что он там захочет, пусть так и делает: вот решение. Ставить же самого себя высшим судьей и решителем в деле такого сорта было даже совсем неправильно. Устраняя себя передачею письма из рук в руки, и именно молча, я уж тем самым тотчас бы выиграл, поставив себя в высшее над Версиловым положение, ибо, отказавшись, насколько это касается меня, от всех выгод по наследству (потому что мне, как сыну Версилова, уж конечно, что-нибудь перепало бы из этих денег, не сейчас, так потом), я сохранил бы за собою навеки высший нравственный взгляд на будущий поступок Версилова. Упрекнуть же меня за то, что я погубил князей, опять-таки никто бы не мог, потому что документ не имел решающего юридического значения. Всё это я обдумал и совершенно уяснил себе, сидя в пустой комнате Васина, и мне даже вдруг пришло в голову, что пришел я к Васину, столь жаждая от него совета, как поступить, — единственно с тою целью, чтобы он увидал при этом, какой я сам благороднейший и бескорыстнейший человек, а стало быть, чтоб и отмстить ему тем самым за вчерашнее мое перед ним принижение.

Сознав всё это, я ощутил большую досаду; тем не менее не ушел, а остался, хоть и наверно знал, что досада моя каждые пять минут будет только нарастать.

Прежде всего мне стала ужасно не нравиться комната Васина. «Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер» — право,

можно бы так сказать. Васин жил в меблированной комнате от жильцов, очевидно бедных и тем промышлявших, имевших постояльцев и кроме него. Знакомы мне эти узкие, чуть-чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, с претензией на комфортабельный вид; тут непременно мягкий диван с Толкучего рынка, который опасно двигать, рукомойник и ширмами огороженная железная кровать. Васин был, очевидно, лучшим и благонадежнейшим жильцом; такой самый лучший жилец непременно бывает один у хозяйки, и за это ему особенно угождают: у него убирают и подметают тщательнее, вешают над диваном какую-нибудь литографию, под стол подстилают чахоточный коврик. Люди, любящие эту затхлую чистоту, а главное, угодливую почтительность хозяек, — сами подозрительны. Я был убежден, что звание лучшего жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бумаги, чернилица — всё было в самом отвратительном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяйки-немки и ее горничной. Книг было довольно, и не то что газет и журналов, а настоящих книг, — и он, очевидно, их читал и, вероятно, садился читать или принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом. Не знаю, но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке, по крайней мере из занятий не делается священнодействия. Наверно, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем, но, наверно, каждый жест его говорит посетителю: «Вот я посижу с тобою часика полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом». Наверно, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новое, но — «мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдешь, я примусь уже за самое интересное»... И однако же, я все-таки не уходил, а сидел. В том же, что совсем не нуждаюсь в его совете, я уже окончательно убедился.

Я сидел уже с час и больше, и сидел у окна на одном из двух приставленных к окну плетеных стульев. Бесило меня и то, что уходило время, а мне до вечера надо было еще сыскать квартиру. Я было хотел взять какую-нибудь книгу от скуки, но не взял: при одной мысли развлечь себя стало вдвое противнее. Больше часу как продолжалась чрезвычайная тишина, и вот вдруг, где-то очень близко, за дверью, которую заслонял диван, я невольно и постепенно стал различать всё больше и больше разраставшийся шепот. Говорили два голоса, очевидно женские, это слышно было, но расслышать слов совсем нельзя было; и, однако, я от скуки как-то стал вникать. Ясно было, что говорили одушевленно и страстно и что дело шло не о выкройках: о чем-то сговаривались, или спорили, или один голос убеждал и просил, а другой не слушался и возражал. Должно быть, какие-нибудь другие жильцы. Скоро мне наскучило и ухо привыкло, так что я хоть и продолжал слушать, но механически, а иногда и совсем забывая, что слушаю, как вдруг произошло что-то чрезвычайное, точно как бы кто-то

соскочил со стула обеими ногами или вдруг вскочил с места и затопал; затем раздался стон и вдруг крик, даже и не крик, а визг, животный, озлобленный и которому уже всё равно, услышат чужие или нет. Я бросился к двери и отворил; разом со мной отворилась и другая дверь в конце коридора, хозяйкина, как узнал я после, откуда выглянули две любопытные головы. Крик, однако, тотчас затих, как вдруг отворилась дверь рядом с моею, от соседок, и одна молодая, как показалось мне, женщина быстро вырвалась и побежала вниз по лестнице. Другая же, пожилая женщина, хотела было удержать ее, но не смогла, и только простонала ей вслед:

— Оля, Оля, куда? ох!

Но, разглядев две наши отворенные двери, проворно притворила свою, оставив щелку и из нее прислушиваясь на лестницу до тех пор, пока не замолкли совсем шаги убежавшей вниз Оли. Я вернулся к моему окну. Всё затихло. Случай пустой, а может быть, и смешной, и я перестал об нем думать.

Примерно четверть часа спустя раздался в коридоре, у самой двери Васина, громкий и развязный мужской голос. Кто-то схватился за ручку двери и приотворил ее настолько, что можно было разглядеть в коридоре какого-то высокого ростом мужчину, очевидно тоже и меня увидавшего и даже меня уже рассматривавшего, но не входившего еще в комнату, а продолжавшего, через весь коридор и держась за ручку, разговаривать с хозяйкой. Хозяйка перекликалась с ним тоненьким и веселеньким голоском, и уж по голосу слышалось, что посетитель ей давно знаком, уважаем ею и ценим, и как солидный гость и как веселый господин. Веселый господин кричал и острил, но дело шло только о том, что Васина нет дома, что он всё никак не может застать его, что это ему на роду написано и что он опять, как тогда, подождет, и всё это, без сомнения, казалось верхом остроумия хозяйке. Наконец гость вошел, размахнув дверь на весь отлет.

Это был хорошо одетый господин, очевидно у лучшего портного, как говорится, «по-барски», а между тем всего менее в нем имелось барского, и, кажется, несмотря на значительное желание иметь. Он был не то что развязен, а как-то натурально нахален, то есть все-таки менее обидно, чем нахал, выработавший себя перед зеркалом. Волосы его, темно-русые с легкою проседью, черные брови, большая борода и большие глаза не только не способствовали его характерности, но именно как бы придавали ему что-то общее, на всех похожее. Этакий человек и смеется и готов смеяться, но вам почему-то с ним никогда не весело. Со смешливого он быстро переходит на важный вид, с важного на игривый или подмигивающий, но всё это как-то раскидчиво и беспричинно... Впрочем, нечего вперед описывать. Этого господина я потом узнал гораздо больше и ближе, а потому поневоле представляю его теперь уже более зазнамо, чем тогда, когда он отворил дверь и вошел в комнату. Однако и теперь затруднился бы сказать о нем что-нибудь точное

и определяющее, потому что в этих людях главное — именно их незаконченность, раскидчивость и неопределенность.

Он еще не успел и сесть, как мне вдруг померещилось, что это, должно быть, отчим Васина, некий господин Стебельков, о котором я уже что-то слышал, но до того мельком, что никак бы не мог сказить, что именно: помнил только, что что-то нехорошее. Я знал, что Васин долго был сиротой под его началом, но что давно уже вышел из-под его влияния, что и цели и интересы их различны и что живут они совсем розно во всех отношениях. Запомнилось мне тоже, что у этого Стебелькова был некоторый капитал и что он какой-то даже спекулянт и вертун; одним словом, я уже, может быть, и знал про него что-нибудь подробнее, но забыл. Он обмерил меня взглядом, не поклонившись впрочем, поставил свою шляпу-цилиндр на стол перед диваном, стол властно отодвинул ногой и не то что сел, а прямо развалился на диван, на котором я не посмел сесть, так что тот затрещал, свесил ноги и, высоко подняв правый носок своего лакированного сапога, стал им любоваться. Конечно, тотчас же обернулся ко мне и опять обмерил меня своими большими, несколько неподвижными глазами.

— Не застаю! — слегка кивнул он мне головой.

Я промолчал.

— Неаккуратен! Свои взгляды на дело. С Петербургской?

— То есть вы пришли с Петербургской? — переспросил я его.

— Нет, это я вас спрашиваю.

— Я... я пришел с Петербургской, только почему вы узнали?

— Почему? Гм. — Он подмигнул, но не удостоил разъяснить.

— То есть я не живу на Петербургской, но я был теперь на Петербургской и оттуда пришел сюда.

Он продолжал молча улыбаться какою-то значительною улыбкою, которая мне ужасно как не нравилась. В этом подмигивании было что-то глупое.

— У господина Дергачева? — проговорил он наконец.

— Что у Дергачева? — открыл я глаза.

Он победоносно смотрел на меня.

— Я и незнаком.

— Гм.

— Как хотите, — ответил я. Он мне становился противен.

— Гм, да-с. Нет-с, позвольте; вы покупаете в лавке вещь, в другой лавке рядом другой покупатель покупает другую вещь, какую бы вы думали? Деньги-с, у купца, который именуется ростовщиком-с... потому что деньги есть тоже вещь, а ростовщик есть тоже купец... Вы следите?

— Пожалуй, слежу.

— Проходит третий покупатель и, показывая на одну из лавок, говорит: «Это основательно», а показывая на другую из лавок, говорит: «Это неосновательно». Что могу я заключить о сем покупателе?

— Почем я знаю.

— Нет-с, позвольте. Я к примеру; хорошим примером человек живет. Я иду по Невскому и замечаю, что по другой стороне улицы, по тротуару, идет господин, которого характер я желал бы определить. Мы доходим, по разным сторонам, вплоть до поворота в Морскую, и именно там, где английский магазин, мы замечаем третьего прохожего, только что раздавленного лошадью. Теперь вникните: проходит четвертый господин и желает определить характер всех нас троих, вместе с раздавленным, в смысле практичности и основательности... Вы следите?

— Извините, с большим трудом.

— Хорошо-с; так я и думал. Я переменю тему. Я на водах в Германии, на минеральных водах, как и бывал неоднократно, на каких — это всё равно. Хожу по водам и вижу англичан. С англичанином, как вы знаете, знакомство завязать трудно; но вот через два месяца, кончив срок лечения, мы все в области гор, всходим компанией, с остроконечными палками, на гору, ту или другую, всё равно. На повороте, то есть на этапе, и именно там, где монахи водку шартрез делают, — это заметьте, — я встречаю туземца, стоящего уединенно, смотрящего молча. Я желаю заключить о его основательности: как вы думаете, мог бы я обратиться за заключением к толпе англичан, с которыми шествую, единственно потому только, что не сумел заговорить с ними на водах?

— Почем я знаю. Извините, мне очень трудно следить за вами.

— Трудно?

— Да, вы меня утомляете.

— Гм. — Он подмигнул и сделал рукой какой-то жест, вероятно долженствовавший обозначать что-то очень торжествующее и победоносное; затем весьма солидно и спокойно вынул из кармана газету, очевидно только что купленную, развернул и стал читать в последней странице, по-видимому оставив меня в совершенном покое. Минут пять он не глядел на меня.

— Бресто-граевские-то ведь не шлепнулись, а? Ведь пошли, ведь идут! Многих знаю, которые тут же шлепнулись.

Он от всей души поглядел на меня.

— Я пока в этой бирже мало смыслю, — ответил я.

— Отрицаете?

— Что?

— Деньги-с.

— Я не отрицаю деньги, но... но, мне кажется, сначала идея, а потом деньги.

— То есть, позвольте-с... вот человек состоит, так сказать, при собственном капитале...

— Сначала высшая идея, а потом деньги, а без высшей идеи с деньгами общество провалится.

Не знаю, зачем я стал было горячиться. Он посмотрел на меня несколько тупо, как будто запутавшись, но вдруг всё лицо его раздвинулось в веселейшую и хитрейшую улыбку:

— Версилов-то, а? Ведь тяпнул-таки, тяпнул! Присудили вчера, а?

Я вдруг и неожиданно увидал, что он уж давно знает, кто я такой, и, может быть, очень многое еще знает. Не понимаю только, зачем я вдруг покраснел и глупейшим образом смотрел, не отводя от него глаз. Он видимо торжествовал, он весело смотрел на меня, точно в чем-то хитрейшим образом поймал и уличил меня.

— Нет-с, — поднял он вверх обе брови, — это вы меня спросите про господина Версилова! Что я вам говорил сейчас насчет основательности? Полтора года назад, из-за этого ребенка, он бы мог усовершенствованное дельце завершить — да-с, а он шлепнулся, да-с.

— Из-за какого ребенка?

— Из-за грудного-с, которого и теперь на стороне выкармливает, только ничего не возьмет чрез это... потому...

— Какой грудной ребенок? Что такое?

— Конечно, его ребенок, его собственный-с, от mademoiselle Лидии Ахмаковой... «Прелестная дева ласкала меня...» Фосфорные-то спички — а?

— Что за вздор, что за дичь! У него никогда не было ребенка от Ахмаковой!

— Вона! Да я-то где был? Я ведь и доктор и акушер-с. Фамилия моя Стебельков, не слыхали? Правда, я и тогда уже не практиковал давно, но практический совет в практическом деле я мог подать.

— Вы акушер... принимали ребенка у Ахмаковой?

— Нет-с, я ничего не принимал у Ахмаковой. Там, в форштадте, был доктор Гранц, обремененный семейством, по полталера ему платили, такое там у них положение на докторов, и никто-то его вдобавок не знал, так вот он тут был вместо меня... Я же его и посоветовал, для мрака неизвестности. Вы следите? А я только практический совет один дал, по вопросу Версилова-с, Андрея Петровича, по вопросу секретнейшему-с, глаз на глаз. Но Андрей Петрович двух зайцев предпочел.

Я слушал в глубочайшем изумлении.

— За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь, говорит народная, или, вернее, простонародная пословица. Я же говорю так: исключения, беспрерывно повторяющиеся, обращаются в общее правило. За другим зайцем, то есть, в переводе на русский язык, за другой дамой погнался — и результатов никаких. Уж если что схватил, то сего и держись. Где надо убыстрять дело, он там мямлит. Версилов — ведь это «бабий пророк-с» — вот как его молодой князь Сокольский тогда при мне красиво обозначил. Нет, вы ко мне приходите! Если вы хотите про Версилова много узнать, вы ко мне приходите.

Он видимо любовался на мой раскрытый от удивления рот. Никогда и ничего не слыхивал я до сих пор про грудного ребенка. И вот в этот миг вдруг хлопнула дверь у соседок и кто-то быстро вошел в их комнату.

— Версилов живет в Семеновском полку, в Можайской улице, дом Литвиновой, номер семнадцать, сама была в адресном! — громко прокричал раздраженный женский голос; каждое слово было нам слышно. Стебельков вскинул бровями и поднял над головою палец.

— Мы о нем здесь, а он уж и там... Вот они, исключения-то, беспрерывно повторяющиеся! Quand on parle d'une corde...[1]

Он быстро, с прискоком присел на диване и стал прислушиваться к той двери, к которой был приставлен диван.

Ужасно поражен был и я. Я сообразил, что это, вероятно, та самая молодая женщина прокричала, которая давеча убежала в таком волнении. Но каким же образом и тут Версилов? Вдруг раздался опять давешний визг, неистовый, визг озверевшего от гнева человека, которому чего-то не дают или которого от чего-то удерживают. Разница с давешним была лишь та, что крики и взвизги продолжались еще дольше. Слышалась борьба, какие-то слова, частые, быстрые: «Не хочу, не хочу, отдайте, сейчас отдайте!» — или что-то в этом роде — не могу совершенно припомнить. Затем, как и давеча, кто-то стремительно бросился к дверям и отворил их. Обе соседки выскочили в коридор, одна, как и давеча, очевидно удерживая другую. Стебельков, уже давно вскочивший с дивана и с наслаждением прислушивавшийся, так и сиганул к дверям и тотчас преоткровенно выскочил в коридор прямо к соседкам. Разумеется, я тоже подбежал к дверям. Но его появление в коридоре было ведром холодной воды: соседки быстро скрылись и с шумом захлопнули за собою дверь. Стебельков прыгнул было за ними, но приостановился, подняв палец, улыбаясь и соображая; на этот раз в улыбке его я разглядел что-то чрезвычайно скверное, темное и зловещее. Увидав хозяйку, стоявшую опять у своих дверей, он скорыми цыпочками побежал к ней через коридор; прошушукав с нею минуты две и, конечно, получив сведения, он уже осанисто и решительно воротился в комнату, взял со стола свой цилиндр, мельком взглянулся в зеркало, взъерошил волосы и с самоуверенным достоинством, даже не поглядев на меня, отправился к соседкам. Мгновение он прислушивался у двери, подставив ухо и победительно подмигивая через коридор хозяйке, которая грозила ему пальцем и покачивала головой, как бы выговаривая: «Ох шалун, шалун!» Наконец с решительным, но деликатнейшим видом, даже как бы сгорбившись от деликатности, постучал костями пальцев к соседкам. Послышался голос:

— Кто там?

— Не позволите ли войти по важнейшему делу? — громко и осанисто произнес Стебельков.

Помедлили, но все-таки отворили, сначала чуть-чуть, на четверть; но Стебельков тотчас же крепко ухватился за ручку замка и уж не дал бы затворить опять. Начался разговор, Стебельков

[1] Когда говорят о веревке... *(франц.)*

заговорил громко, всё порываясь в комнату; я не помню слов, но он говорил про Версилова, что может сообщить, всё разъяснить — «нет-с, вы меня спросите», «нет-с, вы ко мне приходите» — в этом роде. Его очень скоро впустили. Я воротился к дивану и стал было подслушивать, но всего не мог разобрать, слышал только, что часто упоминали про Версилова. По интонации голоса я догадывался, что Стебельков уже овладел разговором, говорит уже не вкрадчиво, а властно и развалившись, вроде как давеча со мной: «вы следите?», «теперь извольте вникнуть» и проч. Впрочем, с женщинами он должен быть необыкновенно любезен. Уже раза два раздался его громкий хохот и, наверно, совсем неуместно, потому что рядом с его голосом, а иногда и побеждая его голос, раздавались голоса обеих женщин, вовсе не выражавшие веселости, и преимущественно молодой женщины, той, которая давеча визжала: она говорила много, нервно, быстро, очевидно что-то обличая и жалуясь, ища суда и судьи. Но Стебельков не отставал, возвышал речь всё больше и больше и хохотал всё чаще и чаще; эти люди слушать других не умеют. Я скоро сошел с дивана, потому что подслушивать показалось мне стыдно, и перебрался на мое старое место, у окна, на плетеном стуле. Я был убежден, что Васин считает этого господина ни во что, но что объяви я то же мнение, и он тотчас же с серьезным достоинством заступится и назидательно заметит, что это «человек практический, из людей теперешних деловых, и которого нельзя судить с наших общих и отвлеченных точек зрения». В то мгновение, впрочем, помню, я был как-то весь нравственно разбит, сердце у меня билось и я несомненно чего-то ждал. Прошло минут десять, и вдруг, в самой середине одного раскатистого взрыва хохота, кто-то, точь-в-точь как давеча, прянул со стула, затем раздались крики обеих женщин, слышно было, как вскочил и Стебельков, что он что-то заговорил уже другим голосом, точно оправдывался, точно упрашивая, чтоб его дослушали... Но его не дослушали; раздались гневные крики: «Вон! вы негодяй, вы бесстыдник!» Одним словом, ясно было, что его выталкивают. Я отворил дверь как раз в ту минуту, когда он выпрыгнул в коридор от соседок и, кажется, буквально, то есть руками, выпихнутый ими. Увидав меня, он вдруг закричал, на меня указывая:

— Вот сын Версилова! Если не верите мне, то вот сын его, его собственный сын! Пожалуйте! — И он властно схватил меня за руку.

— Это сын его, родной его сын! — повторял он, подводя меня к дамам и не прибавляя, впрочем, ничего больше для разъяснения.

Молодая женщина стояла в коридоре, пожилая — на шаг сзади ее в дверях. Я запомнил только, что эта бедная девушка была недурна собой, лет двадцати, но худа и болезненного вида, рыжеватая и с лица как бы несколько похожая на мою сестру; эта черта мне мелькнула и уцелела в моей памяти; только Лиза никогда не бывала и, уж конечно, никогда и не могла быть в таком

гневном исступлении, в котором стояла передо мной эта особа: губы ее были белы, светло-серые глаза сверкали, она вся дрожала от негодования. Помню тоже, что сам я был в чрезвычайно глупом и недостойном положении, потому что решительно не нашелся, что сказать, по милости этого нахала.

— Что ж такое, что сын! Если он с вами, то он негодяй. Если вы сын Версилова, — обратилась она вдруг ко мне, — то передайте от меня вашему отцу, что он негодяй, что он недостойный бесстыдник, что мне денег его не надо... Нате, нате, нате, передайте сейчас ему эти деньги!

Она быстро вырвала из кармана несколько кредиток, но пожилая (то есть ее мать, как оказалось после) схватила ее за руку:

— Оля, да ведь, может, и неправда, может, они и не сын его!

Оля быстро посмотрела на нее, сообразила, посмотрела на меня презрительно и повернулась назад в комнату, но прежде чем захлопнуть дверь, стоя на пороге, еще раз прокричала в исступлении Стебелькову:

— Вон!

И даже топнула на него ногой. Затем дверь захлопнулась и уже заперлась на замок. Стебельков, всё еще держа меня за плечо, поднял палец и, раздвинув рот в длинную раздумчивую улыбку, уперся в меня вопросительным взглядом.

— Я нахожу ваш поступок со мной смешным и недостойным, — пробормотал я в негодовании.

Но он меня и не слушал, хотя и не сводил с меня глаз.

— Это бы надо ис-сле-довать! — проговорил он раздумчиво.

— Но, однако, как вы смели вытянуть меня? Кто это такое? Что это за женщина? Вы схватили меня за плечо и подвели, — что тут такое?

— Э, черт! Лишенная невинности какая-то... «часто повторяющееся исключение» — вы следите?

И он уперся было мне в грудь пальцем.

— Э, черт! — отпихнул я его палец.

Но он вдруг, и совсем неожиданно, засмеялся тихо, неслышно, долго, весело. Наконец надел свою шляпу и, с быстро переменившимся и уже мрачным лицом, заметил, нахмурив брови:

— А хозяйку надо бы научить... надо бы их выгнать из квартиры — вот что, и как можно скорей, а то они тут... Вот увидите! Вот помяните мое слово, увидите! Э, черт! — развеселился он вдруг опять, — вы ведь Гришу дождетесь?

— Нет, не дождусь, — отвечал я решительно.

— Ну и всё едино...

И не прибавив более ни звука, он повернулся, вышел и направился вниз по лестнице, не удостоив даже и взгляда очевидно поджидавшую разъяснения и известий хозяйку. Я тоже взял шляпу и, попросив хозяйку передать, что был я, Долгорукий, побежал по лестнице.

III

Я только потерял время. Выйдя, я тотчас пустился отыскивать квартиру; но я был рассеян, пробродил несколько часов по улицам и хоть зашел в пять или шесть квартир от жильцов, но уверен, что мимо двадцати прошел, не заметив их. К еще пущей досаде, я и не воображал, что нанимать квартиры так трудно. Везде комнаты, как васинская, и даже гораздо хуже, а цены огромные, то есть не по моему расчету. Я прямо требовал угла, чтоб только повернуться, и мне презрительно давали знать, что в таком случае надо идти «в углы». Кроме того, везде множество странных жильцов, с которыми я уж по одному виду их не мог бы ужиться рядом; даже заплатил бы, чтоб не жить рядом. Какие-то господа без сюртуков, в одних жилетах, с растрепанными бородами, развязные и любопытные. В одной крошечной комнате сидело их человек десять за картами и за пивом, а рядом мне предлагали комнату. В других местах я сам на расспросы хозяев отвечал так нелепо, что на меня глядели с удивлением, а в одной квартире так даже поссорился. Впрочем, не описывать же всех этих ничтожностей; я только хочу сказать, что, устав ужасно, я поел чего-то в одной кухмистерской уже почти когда смерклось. У меня разрешилось окончательно, что я пойду, отдам сейчас сам и один Версилову письмо о наследстве (без всяких объяснений), захвачу сверху мои вещи в чемодан и узел и перееду на ночь хоть в гостиницу. В конце Обуховского проспекта, у Триумфальных ворот, я знал, есть постоялые дворы, где можно достать даже особую комнатку за тридцать копеек; на одну ночь я решился пожертвовать, только чтоб не ночевать у Версилова. И вот, проходя уже мимо Технологического института, мне вдруг почему-то вздумалось зайти к Татьяне Павловне, которая жила тут же напротив Технологического. Собственно, предлогом зайти было всё то же письмо о наследстве, но непреодолимое мое побуждение зайти, конечно, имело другие причины, которых я, впрочем, не сумею и теперь разъяснить: тут была какая-то путаница в уме о «грудном ребенке», «об исключениях, входящих в общее правило». Хотелось ли мне рассказать, или порисоваться, или подраться, или даже заплакать — не знаю, только я поднялся к Татьяне Павловне. Я был у ней доселе всего лишь один раз, в начале моего приезда из Москвы, по какому-то поручению от матери, и помню: зайдя и передав порученное, ушел через минуту, даже и не присев, а она и не попросила.

Я позвонил, и мне тотчас отворила кухарка и молча впустила меня в комнаты. Именно нужны все эти подробности, чтоб можно было понять, каким образом могло произойти такое сумасшедшее приключение, имевшее такое огромное влияние на всё последующее. И во-первых, о кухарке. Это была злобная и курносая чухонка и, кажется, ненавидевшая свою хозяйку, Татьяну Павловну, а та, напротив, расстаться с ней не могла по какому-то пристрастию, вроде как у старых дев к старым мокроносым моськам или вечно

спящим кошкам. Чухонка или злилась и грубила, или, поссорившись, молчала по неделям, тем наказывая барыню. Должно быть, я попал в такой молчальный день, потому что она даже на вопрос мой: «Дома ли барыня?» — который я положительно помню, что задал ей, — не ответила и молча прошла в свою кухню. Я после этого, естественно уверенный, что барыня дома, прошел в комнату и, не найдя никого, стал ждать, полагая, что Татьяна Павловна сейчас выйдет из спальни; иначе зачем бы впустила меня кухарка? Я не садился и ждал минуты две-три; почти уже смеркалось, и темная квартирка Татьяны Павловны казалась еще неприветливее от бесконечного, везде развешанного ситца. Два слова про эту скверную квартиренку, чтоб понять местность, на которой произошло дело. Татьяна Павловна, по характеру своему, упрямому и повелительному, и вследствие старых помещичьих пристрастий не могла бы ужиться в меблированной комнате от жильцов и нанимала эту пародию на квартиру, чтоб только быть особняком и сама себе госпожой. Эти две комнаты были точь-в-точь две канареечные клетки, одна к другой приставленные, одна другой меньше, в третьем этаже и окнами на двор. Входя в квартиру, вы прямо вступали в узенький коридорчик, аршина в полтора шириною, налево вышеозначенные две канареечные клетки, а прямо по коридорчику, в глубине, вход в крошечную кухню. Полторы кубических сажени необходимого для человека на двенадцать часов воздуху, может быть, в этих комнатках и было, но вряд ли больше. Были они до безобразия низки, но, что глупее всего, окна, двери, мебель — всё, всё было обвешано или убрано ситцем, прекрасным французским ситцем, и отделано фестончиками; но от этого комната казалась еще вдвое темнее и походила на внутренность дорожной кареты. В той комнатке, где я ждал, еще можно было повернуться, хотя всё было загромождено мебелью, и, кстати, мебелью весьма недурною: тут были разные столики, с наборной работой, с бронзовой отделкой, ящики, изящный и даже богатый туалет. Но следующая комнатка, откуда я ждал ее выхода, спальня, густо отделенная от этой комнаты занавесью, состояла, как оказалось после, буквально из одной кровати. Все эти подробности необходимы, чтобы понять ту глупость, которую я сделал.

Итак, я ждал и не сомневался, как раздался звонок. Я слышал, как неторопливыми шагами прошла по коридорчику кухарка и молча, точь-в-точь как и давеча меня, впустила вошедших. Это были две дамы, и обе громко говорили, но каково же было мое изумление, когда я по голосу узнал в одной Татьяну Павловну, а в другой — именно ту женщину, которую всего менее приготовлен был теперь встретить, да еще при такой обстановке! Ошибаться я не мог: я слышал этот звучный, сильный, металлический голос вчера, правда всего три минуты, но он остался в моей душе. Да, это была «вчерашняя женщина». Что мне было делать? Я вовсе не читателю задаю этот вопрос, я только представляю себе эту тогдашнюю минуту, и совершенно не в силах даже и теперь объяснить,

каким образом случилось, что я вдруг бросился за занавеску и очутился в спальне Татьяны Павловны. Короче, я спрятался и едва успел вскочить, как они вошли. Почему я не пошел к ним навстречу, а спрятался, — не знаю; всё случилось нечаянно, в высшей степени безотчетно.

Вскочив в спальню и наткнувшись на кровать, я тотчас заметил, что есть дверь из спальни в кухню, стало быть был исход из беды и можно было убежать совсем, но — о ужас! — дверь была заперта на замок, а в щелке ключа не было. В отчаянии я опустился на кровать; мне ясно представилось, что, стало быть, я теперь буду подслушивать, а уже по первым фразам, по первым звукам разговора я догадался, что разговор их секретный и щекотливый. О, конечно, честный и благородный человек должен был встать, даже и теперь, выйти и громко сказать: «Я здесь, подождите!» — и, несмотря на смешное положение свое, пройти мимо; но я не встал и не вышел; не посмел, подлейшим образом струсил.

— Милая моя вы, Катерина Николаевна, глубоко вы меня огорчаете, — умоляла Татьяна Павловна, — успокойтесь вы раз навсегда, не к вашему это даже характеру. Везде, где вы, там и радость, и вдруг теперь... Да уж в меня-то вы, я думаю, продолжаете верить: ведь знаете, как я вам предана. Ведь уж не меньше, как и Андрею Петровичу, к которому опять-таки вечной преданности моей не скрываю... Ну так поверьте же мне, честью клянусь вам, нет этого документа в руках у него, а может быть, и совсем ни у кого нет; да и не способен он на такие пронырства, грех вам и подозревать. Сами вы оба только сочинили себе эту вражду...

— Документ есть, а он способен на всё. И что ж, вхожу вчера, и первая встреча — ce petit espion,[1] которого он князю навязал.

— Эх, ce petit espion. Во-первых, вовсе и не espion, потому что это я, я его настояла к князю поместить, а то он в Москве помешался бы или помер с голоду, — вот как его аттестовали оттуда; и главное, этот грубый мальчишка даже совсем дурачок, где ему быть шпионом?

— Да, какой-то дурачок, что, впрочем, не мешает ему стать мерзавцем. Я только была в досаде, а то бы умерла вчера со смеху: побледнел, подбежал, расшаркивается, по-французски заговорил. А в Москве Марья Ивановна меня о нем, как о гении, уверяла. Что несчастное письмо это цело и где-то находится в самом опасном месте — это я, главное, по лицу этой Марьи Ивановны заключила.

— Красавица вы моя! Да ведь вы сами же говорите, что у ней нет ничего!

— То-то и есть, что есть: она только лжет, и какая это, я вам скажу, искусница! Еще до Москвы у меня всё еще оставалась надежда, что не осталось никаких бумаг, но тут, тут...

— Ах, милая, напротив, это, говорят, доброе и рассудительное существо, ее покойник выше всех своих племянниц ценил. Правда,

---

[1] этот маленький шпион *(франц.)*.

я ее не так знаю, но — вы бы ее обольстили, моя красавица! Ведь победить вам ничего не стоит, ведь я же старуха — вот влюблена же в вас и сейчас вас целовать примусь... Ну что бы стоило вам ее обольстить!

— Обольщала, Татьяна Павловна, пробовала, в восторг даже ее привела, да хитра уж и она очень... Нет, тут целый характер, и особый, московский... И представьте, посоветовала мне обратиться к одному здешнему, Крафту, бывшему помощнику у Андроникова, авось, дескать, он что знает. О Крафте этом я уже имею понятие и даже мельком помню его; но как сказала она мне про этого Крафта, тут только я и уверилась, что ей не просто неизвестно, а что она лжет и всё знает.

— Да почему же, почему же? А ведь, пожалуй, что и можно бы у него справиться! Этот немец, Крафт, не болтун и, я помню, пречестный — право, расспросить бы его! Только его, кажется, теперь в Петербурге нет...

— О, вернулся еще вчера, я сейчас у него была... Я именно и пришла к вам в такой тревоге, у меня руки-ноги дрожат, я хотела вас попросить, ангел мой Татьяна Павловна, так как вы всех знаете, нельзя ли узнать хоть в бумагах его, потому что непременно теперь от него остались бумаги, так к кому ж они теперь от него пойдут? Пожалуй, опять в чьи-нибудь опасные руки попадут? Я вашего совета прибежала спросить.

— Да про какие вы это бумаги? — не понимала Татьяна Павловна, — да ведь вы же говорите, что сейчас сами были у Крафта?

— Была, была, сейчас была, да он застрелился! Вчера еще вечером.

Я вскочил с кровати. Я мог высидеть, когда меня называли шпионом и идиотом; и чем дальше они уходили в своем разговоре, тем менее мне казалось возможным появиться. Это было бы невообразимо! Я решил в душе высидеть, замирая, пока Татьяна Павловна выпроводит гостью (если на мое счастье сама не войдет раньше зачем-нибудь в спальню), а потом, как уйдет Ахмакова, пусть тогда мы хоть подеремся с Татьяной Павловной!.. Но вдруг теперь, когда я, услышав о Крафте, вскочил с кровати, меня всего обхватило как судорогой. Не думая ни о чем, не рассуждая и не воображая, я шагнул, поднял портьеру и очутился перед ними обеими. Еще было достаточно светло для того, чтоб меня разглядеть, бледного и дрожащего... Обе вскрикнули. Да как и не вскрикнуть?

— Крафт? — пробормотал я, обращаясь к Ахмаковой, — застрелился? Вчера? На закате солнца?

— Где ты был? Откуда ты? — взвизгнула Татьяна Павловна и буквально вцепилась мне в плечо, — ты шпионил? Ты подслушивал?

— Что я вам сейчас говорила? — встала с дивана Катерина Николаевна, указывая ей на меня.

Я вышел из себя.

— Ложь, вздор! — прервал я ее неистово, — вы сейчас называли меня шпионом, о боже! Стоит ли не только шпионить, но даже и жить на свете подле таких, как вы! Великодушный человек кончает самоубийством, Крафт застрелился — из-за идеи, из-за Гекубы... Впрочем, где вам знать про Гекубу!.. А тут — живи между ваших интриг, валандайся около вашей лжи, обманов, подкопов... Довольно!

— Дайте ему в щеку! Дайте ему в щеку! — прокричала Татьяна Павловна, а так как Катерина Николаевна хоть и смотрела на меня (я помню всё до черточки), не сводя глаз, но не двигалась с места, то Татьяна Павловна, еще мгновение, и наверно бы сама исполнила свой совет, так что я невольно поднял руку, чтоб защитить лицо; вот из-за этого-то движения ей и показалось, что я сам замахиваюсь.

— Ну, ударь, ударь! Докажи, что хам от роду! Ты сильнее женщин, чего ж церемониться!

— Довольно клеветы, довольно! — закричал я. — Никогда я не поднимал руки на женщину! Бесстыдница вы, Татьяна Павловна, вы всегда меня презирали. О, с людьми надо обращаться не уважая их! Вы смеетесь, Катерина Николаевна, вероятно, над моей фигурой; да, бог не дал мне фигуры, как у ваших адъютантов. И однако же, я чувствую себя не униженным перед вами, а, напротив, возвышенным... Ну, всё равно, как бы ни выразиться, но только я не виноват! Я попал сюда нечаянно, Татьяна Павловна; виновата одна ваша чухонка или, лучше сказать, ваше к ней пристрастие: зачем она мне на мой вопрос не ответила и прямо меня сюда привела? А потом, согласитесь сами, выскочить из спальни женщины мне уже показалось до того монстрюозным, что я решился скорее молча выносить ваши плевки, но не показываться... Вы опять смеетесь, Катерина Николаевна?

— Пошел вон, пошел вон, иди вон! — прокричала Татьяна Павловна, почти толкая меня. — Не считайте ни во что его вранье, Катерина Николаевна: я вам сказала, что оттуда его за помешанного аттестовали!

— За помешанного? Оттуда? Кто бы это такой и откуда? Всё равно, довольно. Катерина Николаевна! клянусь вам всем, что есть святого, разговор этот и всё, что я слышал, останется между нами... Чем я виноват, что узнал ваши секреты? Тем более что я кончаю мои занятия с вашим отцом завтра же, так что насчет документа, который вы разыскиваете, можете быть спокойны!

— Что это?.. Про какой документ говорите вы? — смутилась Катерина Николаевна, и даже до того, что побледнела, или, может быть, так мне показалось. Я понял, что слишком уже много сказал.

Я быстро вышел; они молча проводили меня глазами, и в высшей степени удивление было в их взгляде. Одним словом, я задал загадку...

Глава девятая

I

Я спешил домой и — чудное дело — я был очень доволен собою. Так, конечно, не говорят с женщинами, да еще с такими женщинами, — вернее сказать, с такою женщиной, потому что Татьяну Павловну я не считал. Может быть, никак нельзя сказать в лицо женщине такого разряда: «Наплевать на ваши интриги», но я сказал это и был именно этим-то и доволен. Не говоря о другом, я по крайней мере был уверен, что этим тоном затер всё смешное, бывшее в моем положении. Но очень много думать об этом было некогда: у меня в голове сидел Крафт. Не то чтоб он меня так уж очень мучил, но все-таки я был потрясен до основания; и даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастии, то есть когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и проч., даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне другому, чрезвычайно цельному ощущению, именно горю, сожалению о Крафте, то есть сожалению ли, не знаю, но какому-то весьма сильному и доброму чувству. И этим я был тоже доволен. Удивительно, как много посторонних мыслей способно мелькнуть в уме, именно когда весь потрясен каким-нибудь колоссальным известием, которое, по-настоящему, должно бы было, кажется, задавить другие чувства и разогнать все посторонние мысли, особенно мелкие; а мелкие-то, напротив, и лезут. Помню еще, что меня всего охватила мало-помалу довольно чувствительная нервная дрожь, которая и продолжалась несколько минут, и даже всё время, пока я был дома и объяснялся с Версиловым.

Объяснение это последовало при странных и необыкновенных обстоятельствах. Я уже упоминал, что мы жили в особом флигеле на дворе; эта квартира была помечена тринадцатым номером. Еще не войдя в ворота, я услышал женский голос, спрашивавший у кого-то громко, с нетерпением и раздражением: «Где квартира номер тринадцать?» Это спрашивала дама, тут же близ ворот, отворив дверь в мелочную лавочку; но ей там, кажется, ничего не ответили или даже прогнали, и она сходила с крылечка вниз, с надрывом и злобой.

— Да где же здесь дворник? — прокричала она, топнув ногой. Я давно уже узнал этот голос.

— Я иду в квартиру номер тринадцать, — подошел я к ней, — кого угодно?

— Я уже целый час ищу дворника, у всех спрашиваю, по всем лестницам взбиралась.

— Это на дворе. Вы меня не узнаете?

Но она уже узнала меня.

— Вам Версилова; вы имеете до него дело, и я тоже, — продолжал я, — я пришел с ним распроститься навеки. Пойдемте.

— Вы его сын?

— Это ничего не значит. Впрочем, положим, что сын, хотя я Долгорукий, я незаконнорожденный. У этого господина бездна незаконнорожденных детей. Когда требуют совесть и честь, и родной сын уходит из дому. Это еще в Библии. К тому же он получил наследство, а я не хочу разделять его и иду с трудами рук моих. Когда надо, великодушный жертвует даже жизнью; Крафт застрелился, Крафт, из-за идеи, представьте, молодой человек, подавал надежды... Сюда, сюда! Мы в отдельном флигеле. А это еще в Библии дети от отцов уходят и свое гнездо основывают... Коли идея влечет... коли есть идея! Идея главное, в идее всё...

Я ей болтал в этом роде всё время, пока мы взбирались к нам. Читатель, вероятно, замечает, что я себя не очень щажу и отлично, где надо, аттестую: я хочу выучиться говорить правду. Версилов был дома. Я вошел не сбросив пальто, она тоже. Одета она была ужасно жидко: на темном платьишке болтался сверху лоскуточек чего-то, долженствовавший изображать плащ или мантилью; на голове у ней была старая, облупленная шляпка-матроска, очень ее не красившая. Когда мы вошли в залу, мать сидела на своем обычном месте за работой, а сестра вышла поглядеть из своей комнаты и остановилась в дверях. Версилов, по обыкновению, ничего не делал и поднялся нам навстречу; он уставился на меня строгим, вопросительным взглядом.

— Я тут ни при чем, — поспешил я отмахнуться и стал в сторонке, — я встретил эту особу лишь у ворот; она вас разыскивала, и никто не мог ей указать. Я же по своему собственному делу, которое буду иметь удовольствие объяснить после них...

Версилов все-таки продолжал меня любопытно разглядывать.

— Позвольте, — нетерпеливо начала девушка; Версилов обратился к ней. — Я долго думала, почему вам вздумалось оставить у меня вчера деньги... Я... одним словом... Вот ваши деньги! — почти взвизгнула она, как давеча, и бросила пачку кредиток на стол, — я вас в адресном столе должна была разыскивать, а то бы раньше принесла. Слушайте, вы! — повернулась она вдруг к матери, которая вся побледнела, — я не хочу вас оскорблять, вы имеете честный вид и, может быть, это даже ваша дочь. Я не знаю, жена ли вы ему, но знайте, что этот господин вырезает газетные объявления, где на последние деньги публикуются гувернантки и учительницы, и ходит по этим несчастным, отыскивая бесчестной поживы и втягивая их в беду деньгами. Я не понимаю, как я могла взять от него вчера деньги! Он имел такой честный вид!.. Прочь, ни одного слова! Вы негодяй, милостивый государь! Если б вы даже были и с честными намерениями, то я не хочу вашей милостыни. Ни слова, ни слова! О, как я рада, что обличила вас теперь перед вашими женщинами! Будьте вы прокляты!

Она быстро выбежала, но с порога повернулась на одно мгновение, чтоб только крикнуть:

— Вы, говорят, наследство получили!

И затем исчезла как тень. Напоминаю еще раз: это была исступленная. Версилов был глубоко поражен: он стоял как бы задумавшись и что-то соображая; наконец вдруг повернулся ко мне:

— Ты ее совсем не знаешь?

— Случайно давеча видел, как она бесновалась в коридоре у Васина, визжала и проклинала вас; но в разговоры не вступал и ничего не знаю, а теперь встретил у ворот. Вероятно, это та самая вчерашняя учительница, «дающая уроки из арифметики»?

— Это та самая. Раз в жизни сделал доброе дело и... А впрочем, что у тебя?

— Вот это письмо, — ответил я. — Объяснять считаю ненужным: оно идет от Крафта, а тому досталось от покойного Андроникова. По содержанию узнаете. Прибавлю, что никто в целом мире не знает теперь об этом письме, кроме меня, потому что Крафт, передав мне вчера это письмо, только что я вышел от него, застрелился...

Пока я говорил, запыхавшись и торопясь, он взял письмо в руки и, держа его в левой руке на отлете, внимательно следил за мной. Когда я объявил о самоубийстве Крафта, я с особым вниманием всмотрелся в его лицо, чтоб увидеть эффект. И что же? — известие не произвело ни малейшего впечатления: даже хоть бы брови поднял! Напротив, видя, что я остановился, вытащил свой лорнет, никогда не оставлявший его и висевший на черной ленте, поднес письмо к свечке и, взглянув на подпись, пристально стал разбирать его. Не могу выразить, как я был даже обижен этим высокомерным бесчувствием. Он очень хорошо должен был знать Крафта; к тому же все-таки такое необыкновенное известие! Наконец, мне, натурально, хотелось, чтоб оно производило эффект. Подождав с полминуты и зная, что письмо длинно, я повернулся и вышел. Чемодан мой был давно готов, оставалось упрятать лишь несколько вещей в узел. Я думал о матери и что так и не подошел к ней. Через десять минут, когда уже я был совсем готов и хотел идти за извозчиком, вошла в мою светелку сестра.

— Вот мама посылает тебе твои шестьдесят рублей и опять просит извинить ее за то, что сказала про них Андрею Петровичу, да еще двадцать рублей. Ты дал вчера за содержание свое пятьдесят; мама говорит, что больше тридцати с тебя никак нельзя взять, потому что пятидесяти на тебя не вышло, и двадцать рублей посылает сдачи.

— Ну и спасибо, если только она говорит правду. Прощай, сестра, еду!

— Куда ты теперь?

— Пока на постоялый двор, чтоб только не ночевать в этом доме. Скажи маме, что я люблю ее.

— Она это знает. Она знает, что ты и Андрея Петровича тоже любишь. Как тебе не стыдно, что ты эту несчастную привел!

— Клянусь тебе, не я: я ее у ворот встретил.

— Нет, это ты привел.
— Уверяю тебя...
— Подумай, спроси себя и увидишь, что и ты был причиною.
— Я только очень рад был, что осрамили Версилова. Вообрази, у него грудной ребенок от Лидии Ахмаковой... впрочем, что ж я тебе говорю...
— У него? Грудной ребенок? Но это не его ребенок! Откуда ты слышал такую неправду?
— Ну, где тебе знать.
— Мне-то не знать? Да я же и нянчила этого ребенка в Луге. Слушай, брат: я давно вижу, что ты совсем ни про что не знаешь, а между тем оскорбляешь Андрея Петровича, ну и маму тоже.
— Если он прав, то я буду виноват, вот и все, а вас я не меньше люблю. Отчего ты так покраснела, сестра? Ну вот еще пуще теперь! Ну хорошо, а все-таки я этого князька на дуэль вызову за пощечину Версилову в Эмсе. Если Версилов был прав с Ахмаковой, так тем паче.
— Брат, опомнись, что ты!
— Благо в суде теперь дело кончено... Ну вот, теперь побледнела.
— Да князь и не пойдет с тобой, — улыбнулась сквозь испуг бледною улыбкой Лиза.
— Тогда я публично осрамлю его. Что с тобой, Лиза?
Она до того побледнела, что не могла стоять на ногах и опустилась на диван.
— Лиза! — послышался снизу зов матери.
Она оправилась и встала; она ласково мне улыбалась.
— Брат, оставь эти пустяки или пережди до времени, пока многое узнаешь: ты ужасно как мало знаешь.
— Я буду помнить, Лиза, что ты побледнела, когда услышала, что я пойду на дуэль!
— Да, да, вспомни и об этом! — улыбнулась она еще раз на прощанье и сошла вниз.
Я призвал извозчика и с его помощью вытащил из квартиры мои вещи. Никто из домашних не противоречил мне и не остановил меня. Я не зашел проститься с матерью, чтоб не встретиться с Версиловым. Когда я уже уселся на извозчика, у меня вдруг мелькнула мысль.
— На Фонтанку, к Семеновскому мосту, — скомандовал я внезапно и отправился опять к Васину.

II

Мне вдруг подумалось, что Васин уже знает о Крафте и, может быть, во сто раз больше меня; точно так и вышло. Васин тотчас же и обязательно мне сообщил все подробности, без большого, впрочем, жару; я заключил, что он утомился, да и впрямь

так было. Он сам был утром у Крафта. Крафт застрелился из револьвера (из того самого) вчера, уже в полные сумерки, что явствовало из его дневника. Последняя отметка сделана была в дневнике перед самым выстрелом, и он замечает в ней, что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы; свечку же зажечь не хочет, боясь оставить после себя пожар. «А зажечь, чтоб пред выстрелом опять потушить, как и жизнь мою, не хочу», — странно прибавил он чуть не в последней строчке. Этот предсмертный дневник свой он затеял еще третьего дня, только что воротился в Петербург, еще до визита к Дергачеву; после же моего ухода вписывал в него каждые четверть часа; самые же последние три-четыре заметки записывал в каждые пять минут. Я громко удивился тому, что Васин, имея этот дневник столько времени перед глазами (ему дали прочитать его), не снял копии, тем более что было не более листа кругом и заметки всё короткие, — «хотя бы последнюю-то страничку!» Васин с улыбкою заметил мне, что он и так помнит, притом заметки без всякой системы, о всем, что на ум взбредет. Я стал было убеждать, что это-то в данном случае и драгоценно, но бросил и стал приставать, чтоб он что-нибудь припомнил, и он припомнил несколько строк, примерно за час до выстрела, о том, «что его знобит»; «что он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, остановила его». «Всё почти в этом роде», — заключил Васин.

— И это вы называете пустяками! — воскликнул я.

— Где же я называл? Я только не снял копии. Но хоть и не пустяки, а дневник действительно довольно обыкновенный, или, вернее, естественный, то есть именно такой, какой должен быть в этом случае...

— Но ведь последние мысли, последние мысли!

— Последние мысли иногда бывают чрезвычайно ничтожны. Один такой же самоубийца именно жалуется в таком же своем дневнике, что в такой важный час хоть бы одна «высшая мысль» посетила его, а, напротив, всё такие мелкие и пустые.

— И о том, что знобит, тоже пустая мысль?

— То есть вы, собственно, про озноб или про кровоизлияние? Между тем факт известен, что очень многие из тех, которые в силах думать о своей предстоящей смерти, самовольной или нет, весьма часто наклонны заботиться о благообразии вида, в каком останется их труп. В этом смысле и Крафт побоялся излишнего кровоизлияния.

— Я не знаю, известен ли этот факт... и так ли это, — пробормотал я, — но я удивляюсь, что вы считаете это все так естественным, а между тем давно ли Крафт говорил. волновался, сидел между нами? Неужто вам хоть не жаль его?

— О, конечно жалко, и это совсем другое дело; но во всяком случае сам Крафт изобразил смерть свою в виде логического вывода. Оказывается, что всё, что говорили вчера у Дергачева

о нем, справедливо: после него осталась вот этакая тетрадь ученых выводов о том, что русские — порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить. Если хотите, тут характернее всего то, что можно сделать логический вывод какой угодно, но взять и застрелиться вследствие вывода — это, конечно, не всегда бывает.

— По крайней мере надобно отдать честь характеру.

— Может быть, и не одному этому, — уклончиво заметил Васин, но ясно, что он подразумевал глупость или слабость рассудка. Меня всё это раздражало.

— Вы сами говорили вчера про чувства, Васин.

— Не отрицаю и теперь; но ввиду совершившегося факта что-то до того представляется в нем грубо ошибочным, что суровый взгляд на дело поневоле как-то вытесняет даже и самую жалость.

— Знаете что, я по вашим глазам еще давеча догадался, что вы будете хулить Крафта, и, чтобы не слышать хулы, положил не добиваться вашего мнения; но вы его сами высказали, и я поневоле принужден согласиться с вами; а между тем я недоволен вами! Мне жаль Крафта.

— Знаете, мы далеко зашли...

— Да, да, — перебил я, — но утешительно по крайней мере то, что всегда, в таких случаях, оставшиеся в живых, судьи покойного, могут сказать про себя: «хоть и застрелился человек, достойный всякого сожаления и снисхождения, но всё же остались мы, а стало быть, тужить много нечего».

— Да, разумеется, если с такой точки... Ах, да вы, кажется, пошутили! И преумно. Я в это время пью чай и сейчас прикажу, вы, вероятно, сделаете компанию.

И он вышел, обмерив глазами мой чемодан и узел.

Мне действительно захотелось было сказать что-нибудь позлее, в отместку за Крафта; я и сказал как удалось; но любопытно, что он принял было сначала мою мысль о том, что «остались такие, как мы», за серьезную. Но так или нет, а все-таки он во всем был правее меня, даже в чувствах. Сознался я в этом без всякого неудовольствия, но решительно почувствовал, что не люблю его.

Когда внесли чай, я объяснил ему, что попрошу его гостеприимства всего только на одну ночь и что если нельзя, то пусть скажет, и я перееду на постоялый двор. Затем вкратце изложил мои причины, выставив прямо и просто, что поссорился с Версиловым окончательно, не вдаваясь при этом в подробности. Васин выслушал внимательно, но без всякого волнения. Вообще, он отвечал только на вопросы, хотя отвечал радушно и в достаточной полноте. Про письмо же, с которым я приходил к нему давеча просить совета, я совсем умолчал; а давешнее посещение мое объяснил как простой визит. Дав слово Версилову, что

письмо это, кроме меня, никому не будет известно, я почел уже себя не вправе объявлять о нем кому бы то ни было. Мне особенно почему-то противно стало сообщать о иных делах Васину. О иных, но не о других; мне все-таки удалось заинтересовать его рассказами о давешних сценах в коридоре и у соседок, кончившихся в квартире Версилова. Он выслушал чрезвычайно внимательно, особенно о Стебелькове. О том, как Стебельков расспрашивал про Дергачева, он заставил повторить два раза и даже задумался; впрочем, все-таки под конец усмехнулся. Мне вдруг в это мгновение показалось, что Васина ничто и никогда не может поставить в затруднение; впрочем, первая мысль об этом, я помню, представилась мне в весьма лестной для него форме.

— Вообще, я не мог многого извлечь из того, что говорил господин Стебельков, — заключил я о Стебелькове, — он как-то сбивчиво говорит... и как будто в нем что-то такое легкомысленное...

Васин тотчас же сделал серьезный вид.

— Он действительно даром слова не владеет, но только с первого взгляда; ему удавалось делать чрезвычайно меткие замечания; и вообще — это более люди дела, аферы, чем обобщающей мысли; их надо с этой точки судить...

Точь-в-точь как я угадал давеча.

— Однако ж он ужасно набунтовал у ваших соседок, и бог знает чем бы могло кончиться.

О соседках Васин сообщил, что живут они здесь недели с три и откуда-то приехали из провинции; что комнатка у них чрезвычайно маленькая, и по всему видно, что они очень бедны; что они сидят и чего-то ждут. Он не знал, что молодая публиковалась в газетах как учительница, но слышал, что к ним приходил Версилов; это было в его отсутствие, а ему передала хозяйка. Соседки, напротив, всех чуждаются, и даже самой хозяйки. В последние самые дни и он стал замечать, что у них действительно что-то неладно, но таких сцен, как сегодня, не было. Все эти наши толки о соседках я припоминаю ввиду последствий; у самих же соседок за дверью в это время царствовала мертвая тишина. С особенным интересом выслушал Васин, что Стебельков предполагал необходимым поговорить насчет соседок с хозяйкой и что повторил два раза: «Вот увидите, вот увидите!»

— И увидите, — прибавил Васин, — что ему пришло это в голову недаром; у него на этот счет презоркий взгляд.

— Что ж, по-вашему, посоветовать хозяйке их выгнать?

— Нет, я не про то, чтоб выгнать, а чтобы не вышло какой истории... Впрочем, все этакие истории, так или этак, но кончаются... Оставим это.

Насчет же посещения соседок Версиловым он решительно отказался дать заключение.

— Всё может быть; человек почувствовал в кармане у себя деньги... Впрочем, вероятно и то, что он просто подал милостыню; это — в его преданиях, а может быть, и в наклонностях.

Я рассказал, что Стебельков болтал давеча про «грудного ребенка».

— Стебельков, в этом случае, совершенно ошибается, — с особенною серьезностью и с особенным ударением произнес Васин (и это я слишком запомнил).

— Стебельков, — продолжал он, — слишком вверяется иногда своему практическому здравомыслию, а потому и спешит сделать вывод сообразно с своей логикой, нередко весьма проницательной; между тем происшествие может иметь на деле гораздо более фантастический и неожиданный колорит, взяв во внимание действующих лиц. Так случилось и тут: зная дело отчасти, он заключил, что ребенок принадлежит Версилову; и однако, ребенок не от Версилова.

Я пристал к нему, и вот что узнал, к большому моему удивлению: ребенок был от князя Сергея Сокольского. Лидия Ахмакова, вследствие ли болезни или просто по фантастичности характера, действовала иногда как помешанная. Она увлеклась князем еще до Версилова, а князь «не затруднился принять ее любовь», выразился Васин. Связь продолжалась мгновение: они, как уже известно, поссорились, и Лидия прогнала от себя князя, «чему, кажется, тот был рад».

— Это была очень странная девушка, — прибавил Васин, — очень даже может быть, что она не всегда была в совершенном рассудке. Но, уезжая в Париж, князь совсем не знал, в каком положении оставил свою жертву, не знал до самого конца, до своего возвращения. Версилов, сделавшись другом молодой особы, предложил брак с собой именно ввиду обозначившегося обстоятельства (которого, кажется, и родители не подозревали почти до конца). Влюбленная девушка была в восторге и в предложении Версилова «видела не одно только его самопожертвование», которое тоже, впрочем, ценила. Впрочем, уж конечно, он сумел это сделать, — прибавил Васин. — Ребенок (девочка) родился за месяц или за шесть недель раньше сроку, был помещен где-то в Германии же, но потом Версиловым взят обратно и теперь где-то в России, может быть в Петербурге.

— А фосфорные спички?

— Про это я ничего не знаю, — заключил Васин. — Лидия Ахмакова умерла недели две спустя после своего разрешения; что тут случилось — не знаю. Князь, только лишь возвратясь из Парижа, узнал, что был ребенок, и, кажется, сначала не поверил, что от него... Вообще, эту историю со всех сторон держат в секрете даже до сих пор.

— Но каков же этот князь! — вскричал я в негодовании. — Каков поступок с больной девушкой!

— Она не была тогда еще так больна... Притом она сама прогнала его... Правда, он, может быть, излишне поспешил воспользоваться своей отставкой.

— Вы оправдываете такого подлеца?

— Нет, я только не называю его подлецом. Тут много другого, кроме прямой подлости. Вообще, это дело довольно обыкновенное.

— Скажите, Васин, вы знали его коротко? Мне особенно хотелось бы довериться вашему мнению, ввиду одного очень касающегося меня обстоятельства.

Но тут Васин отвечал как-то слишком уж сдержанно. Князя он знал, но при каких обстоятельствах с ним познакомился — с видимым намерением умолчал. Далее сообщил, что по характеру своему он достоин некоторого снисхождения. «Он полон честных наклонностей и впечатлителен, но не обладает ни рассудком, ни силою воли, чтобы достаточно управлять своими желаниями». Это — человек необразованный; множество идей и явлений ему не по силам, а между тем он на них бросается. Он, например, будет вам навязчиво утверждать в таком роде: «Я князь и происхожу от Рюрика; но почему мне не быть сапожным подмастерьем, если надо заработывать хлеб, а к другому занятию я не способен? На вывеске будет: „Сапожник князь такой-то“ — даже благородно». «Скажет и сделает — вот ведь главное, — прибавил Васин, — а между тем тут совсем не сила убеждения, а лишь одна самая легкомысленная впечатлительность. Зато потом несомненно придет и раскаяние, и тогда он всегда готов на какую-нибудь совершенно обратную крайность; в том и вся жизнь. В наш век много людей попались впросак таким образом, — заключил Васин, — именно тем, что родились в наше время».

Я невольно задумался.

— Правда ли, что он прежде из полка был выгнан? — справился я.

— Я не знаю, выгнан ли, но он оставил полк в самом деле по неприятностям. Вам известно, что он прошлого года осенью, именно будучи в отставке, месяца два или три прожил в Луге?

— Я... я знаю, что вы тогда жили в Луге.

— Да, некоторое время и я. Князь тоже был знаком и с Лизаветой Макаровной.

— Да? Не знал я. Признаюсь, я так мало разговаривал с сестрой... Но неужели он был принят в доме у моей матери? — вскричал я.

— О нет: он был слишком отдаленно знаком, через третий дом.

— Да бишь, что мне говорила сестра про этого ребенка? Разве и ребенок был в Луге?

— Некоторое время.

— А теперь где?

— Непременно в Петербурге.

— Никогда в жизни не поверю, — вскричал я в чрезвычайном волнении, — чтобы мать моя хоть чем-нибудь участвовала в этой истории с этой Лидией!

— В этой истории, кроме всех этих интриг, которых я не берусь разбирать, собственно роль Версилова не имела в себе ничего особенно предосудительного, — заметил Васин, снисходительно улыбаясь. Ему, кажется, становилось тяжело со мной говорить, но он только не показывал вида.

— Никогда, никогда не поверю, чтобы женщина, — вскричал я опять, — могла уступить своего мужа другой женщине, этому я не поверю!.. Клянусь, что моя мать в том не участвовала!

— Кажется, однако, не противоречила?

— Я бы из гордости одной на ее месте не противоречил!

— С моей стороны, я совершенно отказываюсь судить в этаком деле, — заключил Васин.

Действительно, Васин, при всем своем уме, может быть, ничего не смыслил в женщинах, так что целый цикл идей и явлений оставался ему неизвестен. Я замолчал. Васин временно служил в одном акционерном обществе, и я знал, что он брал себе занятия на дом. На мой настойчивый вопрос он сознался, что у него есть и теперь занятие — счеты, и я с жаром попросил его со мной не церемониться. Это, кажется, доставило ему удовольствие; но прежде чем сесть за бумаги, он принялся устраивать мне на диване постель. Первоначально уступил мне кровать, но когда я не согласился, то, кажется, тоже остался доволен. У хозяйки достали подушку и одеяло; Васин был чрезвычайно вежлив и любезен, но мне как-то тяжело было глядеть, что он так из-за меня хлопочет. Мне больше понравилось, когда я раз, недели три тому, заночевал нечаянно на Петербургской у Ефима. Помню, как он стряпал мне тогда постель, тоже на диване и потихоньку от тетки, предполагая почему-то, что та рассердится, узнав, что к нему ходят ночевать товарищи. Мы очень смеялись, вместо простыни постлали рубашку, а вместо подушки сложили пальто. Помню, как Зверев, окончив работу, с любовью щелкнул по дивану и проговорил мне:

— Vous dormirez comme un petit roi.[1]

И глупая веселость его и французская фраза, которая шла к нему как к корове седло, сделали то, что я с чрезвычайным удовольствием выспался тогда у этого шута. Что же до Васина, то я чрезвычайно был рад, когда он уселся наконец ко мне спиной за свою работу. Я развалился на диване и, смотря ему в спину, продумал долго и о многом.

---

[1] Вы будете спать, как маленький король *(франц.)*.

III

Да и было о чем. На душе моей было очень смутно, а целого не было; но некоторые ощущения выдавались очень определенно, хотя ни одно не увлекало меня за собою вполне вследствие их обилия. Всё как-то мелькало без связи и очереди, а самому мне, помню, совсем не хотелось останавливаться на чем-нибудь или заводить очередь. Даже идея о Крафте неприметно отошла на второй план. Всего более волновало меня мое собственное положение, что вот уже я «порвал», и чемодан мой со мной, и я не дома, и начал совсем всё новое. Точно до сих пор все мои намерения и приготовления были в шутку, а только «теперь вдруг и, главное, *внезапно*, всё началось уже в самом деле». Эта идея бодрила меня и, как ни смутно было на душе моей от многого, веселила меня. Но... но были и другие ощущения; одному из них особенно хотелось выделиться перед прочими и овладеть душой моей, и, странно, это ощущение тоже бодрило меня, как будто вызывало на что-то ужасно веселое. А началось, однако, со страху: я боялся, уже давно, с самого давеча, что в жару и врасплох слишком проговорился Ахмаковой про документ. «Да, я слишком много сказал, — думал я, — и, пожалуй, они о чем-нибудь догадаются... беда! Разумеется, они мне не дадут покоя, если станут подозревать, но... пусть! Пожалуй, и не найдут меня — спрячусь! А что, если и в самом деле начнут за мною бегать...» И вот мне начало припоминаться до последней черточки и с нарастающим удовольствием, как я стоял давеча перед Катериной Николаевной и как ее дерзкие, но удивленные ужасно глаза смотрели на меня в упор. Я, и выйдя, оставил ее в этом удивлении, припомнил я; «глаза ее, однако, не совсем черные... ресницы лишь очень черны, оттого и глаза кажутся так темны...»

И вдруг, помню, мне стало ужасно омерзительно вспоминать... и досадно и тошно, и на них и на себя. Я в чем-то упрекал себя и старался думать о другом. «Почему у меня нет ни малейшего негодования на Версилова за историю с соседкой?» — пришло мне вдруг в голову. С моей стороны, я твердо был убежден, что он сыграл тут любовную роль и приходил с тем, чтоб повеселиться, но собственно это не возмущало меня. Мне даже казалось, что иначе его и представить нельзя, и хоть я и в самом деле был рад, что его осрамили, но не винил его. Мне не то было важно; мне важно было то, что он так озлобленно посмотрел на меня, когда я вошел с соседкой, так посмотрел, как никогда. «Наконец-то и он посмотрел на меня *серьезно!*» — подумал я с замиранием сердца. О, если б я не любил его, я бы не обрадовался так его ненависти!

Наконец я задремал и совсем заснул. Помню лишь сквозь сон, как Васин, кончив занятие, аккуратно убрался и, пристально посмотрев на мой диван, разделся и потушил свечу. Был первый час пополуночи.

IV

Почти ровно через два часа я вскочил спросонья как полоумный и сел на моем диване. Из-за двери к соседкам раздавались страшные крики, плач и вой. Наша дверь отворена была настежь, а в коридоре, уже освещенном, кричали и бегали люди. Я кликнул было Васина, но догадался, что его уже нет на постели. Не зная, где найти спички, я нашарил мое платье и стал торопясь в темноте одеваться. К соседкам, очевидно, сбежались и хозяйка, а может быть, и жильцы. Вопил, впрочем, один голос, именно пожилой соседки, а вчерашний молодой голос, который я слишком хорошо запомнил, — совсем молчал; помню, что мне это, с первой мысли, пришло тогда в голову. Не успел я еще одеться, как поспешно вошел Васин; мигом, знакомой рукой, отыскал спички и осветил комнату. Он был в одном белье, в халате и в туфлях и тотчас принялся одеваться.

— Что случилось? — крикнул я ему.

— Пренеприятное и прехлопотливое дело! — ответил он почти злобно, — эта молодая соседка, про которую вы рассказывали, у себя в комнате повесилась.

Я так и закричал. Передать не могу, до какой степени заныла душа моя! Мы выбежали в коридор. Признаюсь, я не осмелился войти к соседкам и уже потом только увидел несчастную, уже когда ее сняли, да и тут, правда, с некоторого расстояния, накрытую простыней, из-за которой выставлялись две узенькие подошвы ее башмаков. Так и не заглянул почему-то в лицо. Мать была в страшном положении; с нею была наша хозяйка, довольно мало, впрочем, испуганная. Все жильцы квартиры толпились тут же. Их было немного: всего один пожилой моряк, всегда очень ворчливый и требовательный и который, однако, теперь совсем притих, и какие-то приезжие из Тверской губернии, старик и старуха, муж и жена, довольно почтенные и чиновные люди. Не стану описывать всей этой остальной ночи, хлопот, а потом и официальных визитов; вплоть до рассвета я буквально дрожал мелкою дрожью и считал обязанностью не ложиться, хотя, впрочем, ничего не делал. Да и все имели чрезвычайно бодрый вид, даже какой-то особенно ободренный. Васин даже ездил куда-то. Хозяйка оказалась довольно почтенною женщиной, гораздо лучше, чем я предполагал ее. Я убедил ее (и вменяю себе это в честь), что мать оставить нельзя так, одну с трупом дочери, и что хоть до завтра пусть бы она ее перевела в свою комнату. Та тотчас согласилась, и как ни билась и ни плакала мать, отказываясь оставить труп, однако все-таки наконец перешла к хозяйке, которая тотчас же велела поставить самоварчик. После этого и жильцы разошлись по своим комнатам и затворились, но я все-таки ни за что не лег и долго просидел у хозяйки, которая даже рада была лишнему человеку, да еще с своей стороны могущему коечто сообщить по делу. Самовар очень пригодился, и вообще

самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических; даже мать выкушала две чашечки, конечно после чрезвычайных просьб и почти насилия. А между тем, искренно говорю, никогда я не видел более жестокого и прямого горя, как смотря на эту несчастную. После первых взрывов рыданий и истерики она даже с охотой начала говорить, и рассказ ее я выслушал жадно. Есть несчастные, особенно из женщин, которым даже необходимо дать как можно больше говорить в таких случаях. Кроме того, есть характеры, так сказать, слишком уж обшарканные горем, долго всю жизнь терпевшие, претерпевшие чрезвычайно много и большого горя, и постоянного по мелочам и которых ничем уже не удивишь, никакими внезапными катастрофами и, главное, которые даже перед гробом любимейшего существа не забудут ни единого из столь дорого доставшихся правил искательного обхождения с людьми. И я не осуждаю; тут не пошлость эгоизма и не грубость развития; в этих сердцах, может быть, найдется даже больше золота, чем у благороднейших на вид героинь, но привычка долгого принижения, инстинкт самосохранения, долгая запуганность и придавленность берут наконец свое. Бедная самоубийца не походила в этом на маменьку. Лицом, впрочем, обе были, кажется, одна на другую похожи, хотя покойница положительно была недурна собой. Мать же была еще не очень старая женщина, лет под пятьдесят всего, такая же белокурая, но с ввалившимися глазами и щеками и с желтыми, большими и неровными зубами. Да и всё в ней отзывалось какой-то желтизной: кожа на лице и руках походила на пергамент; темненькое платье ее от ветхости тоже совсем пожелтело, а один ноготь, на указательном пальце правой руки, не знаю почему, был залеплен желтым воском тщательно и аккуратно.

Рассказ бедной женщины был в иных местах и бессвязен. Расскажу, как сам понял и что сам запомнил.

V

Они приехали из Москвы. Она уже давно вдовеет, «однако же надворная советница», муж служил, ничего почти не оставил, «кроме двухсот рублей, однако, пенсиону. Ну что двести рублей?» Взрастила, однако же, Олю и обучила в гимназии... «И ведь как училась-то, как училась; серебряную медаль при выпуске получила...» (Тут, разумеется, долгие слезы.) Был у покойника мужа потерян на одном здешнем петербургском купце капитал, почти в четыре тысячи. Вдруг этот купец опять разбогател, «у меня документы, стала советоваться, говорят: ищите, непременно всё получите...» «Я и начала, купец стал соглашаться; поезжайте, говорят мне, сами. Собрались мы с Олей, приехали

тому назад уже месяц. Средства у нас какие; взяли мы эту комнатку, потому что самая маленькая из всех, да и в честном, сами видим, доме, а это нам пуще всего: женщины мы неопытные, всякий-то нас обидит. Ну, вам внесли за один месяц, туда-сюда, Петербург-от кусается, отказывается совсем наш купец. „Знать вас не знаю, ведать не ведаю“, а документ у меня неисправен, сама это понимаю. Вот и советуют мне: сходите к знаменитому адвокату; он профессором был, не просто адвокат, а юрист, так чтоб уж он наверно сказал, что делать. Понесла я к нему последние пятнадцать рублей; вышел адвокат и трех минут меня не слушал: „Вижу, говорит, знаю, говорит, захочет, говорит, отдаст купец, не захочет — не отдаст, а дело начнете — сами приплатиться можете, всего лучше помиритесь“. Еще из Евангелия тут же пошутил: „Миритесь, говорит, пока на пути, дондеже не заплатите последний кодрант“, — провожает меня, смеется. Пропали мои пятнадцать рублей! Прихожу к Оле, сидим друг против дружки, заплакала я. Она не плачет, гордая такая сидит, негодует. И всё-то она у меня такая была, во всю жизнь, даже маленькая, никогда-то не охала, никогда-то не плакала, а сидит, грозно смотрит, даже мне жутко смотреть на нее. И верите ли тому: боялась я ее, совсем-таки боялась, давно боялась; и хочу иной раз заныть, да не смею при ней. Сходила я к купцу в последний раз, расплакалась у него вволю: „Хорошо, говорит“, — не слушает даже. Меж тем, признаться вам должна, так как мы на долгое-то время не рассчитывали, то давно уж без денег сидим. Стала я из платьишка помаленьку таскать: что заложим, тем и живем. Всё-то с себя заложили; стала она мне свое последнее бельишко отдавать, и заплакала я тут горькой слезой. Топнула она ногой, вскочила, побежала сама к купцу. Вдовец он; поговорил с ней: „Приходите, говорит, послезавтра в пять часов, может, что и скажу“. Пришла она, повеселела: „Вот, говорит, может, что и скажет“. Ну, рада и я, а только как-то на сердце у меня захолохнуло: что-то, думаю, будет, а расспрашивать ее не смею. Послезавтра возвращается она от купца, бледная, дрожит вся, бросилась на кровать — поняла я всё и спрашивать не смею. Что ж бы вы думали: вынес он ей, разбойник, пятнадцать рублей, а коли, „говорит, полную честность встречу, то сорок рублев и еще донесу“. Так и сказал ей в глаза, не постыдился. Кинулась она тут, рассказывала мне, на него, да отпихнул он ее и в другой комнате даже на замок от нее затворился. А меж тем у нас, признаюсь вам по истинной совести, почти кушать нечего. Снесли мы куцавейку, на заячьем меху была, продали, пошла она в газету и вот тут-то публиковалась: приготовляет, дескать, изо всех наук и из арифметики: „Хоть по тридцати копеек, говорит, будут платить“. И стала я на нее, матушка, под самый конец даже ужасаться: ничего-то она не говорит со мной, сидит по целым часам у окна, смотрит на крышу дома напротив да вдруг крикнет: „Хоть бы белье стирать, хоть бы землю копать!“ —

только одно слово какое-нибудь этакое и крикнет, топнет ногою. И никого-то у нас здесь знакомых таких, пойти совсем не к кому: „Что с нами будет? — думаю“. А с ней всё боюсь говорить. Спит это она однажды днем, проснулась, открыла глаза, смотрит на меня; я сижу на сундуке, тоже смотрю на нее; встала она молча, подошла ко мне, обняла меня крепко-крепко, и вот тут мы обе не утерпели и заплакали, сидим и плачем и друг дружку из рук не выпускаем. В первый раз так с нею было во всю ее жизнь. Только этак мы друг с дружкой сидим, а ваша Настасья входит и говорит: „Какая-то вас там барыня спрашивает, осведомляется“. Всего это четыре дня тому назад было. Входит барыня: видим, одета уж очень хорошо, говорит-то хоть и по-русски, но немецкого как будто выговору: „Вы, говорит, публиковались в газете, что уроки даете?“ Так мы ей обрадовались тогда, посадили ее, смеется так опа ласково: „Не ко мне, говорит, а у племянницы моей дети маленькие; коли угодно, пожалуйте к нам, там и сговоримся“. Адрес дала, у Вознесенского моста, номер такой-то и квартира номер такой-то. Ушла. Отправилась Олечка, в тот же день побежала, что ж — возвратилась через два часа, истерика с ней, бьется. Рассказала потом: „Спрашиваю, говорит, у дворника: где квартира номер такой-то?“ Дворник, говорит, и поглядел на меня: „А вам чего, говорит, в той квартире надоть?“ Так странно это сказал, так, что уж тут можно б было спохватиться. А она у меня такая властная была, нетерпеливая, расспросов этих и грубостей не переносила. „Ступайте“, — говорит, ткнул ей пальцем на лестницу, а сам повернулся, в свою каморку ушел. Что ж бы вы думали? Входит это она, спрашивает, и набежали тотчас со всех сторон женщины: „Пожалуйте, пожалуйте!“ — всё женщины, смеются, бросились, нарумяненные, скверные, на фортепьянах играют, тащат ее; „я, было, говорит, от них вон, да уж не пускают“. Оробела тут она, ноги подкосились, не пускают, да и только, ласково говорят, уговаривают, портеру раскупорили, подают, потчуют. Вскочила это она, кричит благим матом, дрожит: „Пустите, пустите!“ Бросилась к дверям, двери держат, она вопит; тут подскочила давешняя, что приходила к нам, ударила мою Олю два раза в щеку и вытолкнула в дверь: „Не стоишь, говорит, ты, шкура, в благородном доме быть!“ А другая кричит ей на лестницу: „Ты сама к нам приходила проситься, благо есть нечего, а мы на такую харю и глядеть-то не стали!“ Всю ночь эту она в лихорадке пролежала, бредила, а наутро глаза сверкают у ней, встанет, ходит: „В суд, говорит, на нее, в суд!“ Я молчу: ну что, думаю, тут в суде возьмешь, чем докажешь? Ходит она, руки ломает, слезы у ней текут, а губы сжала, недвижимы. И потемнел у ней весь лик с той самой минуты и до самого конца. На третий день легче ей стало, молчит, как будто успокоилась. Вот тут-то в четыре часа пополудни и пожаловал к нам господин Версилов.

И вот прямо скажу: понять не могу до сих пор, каким это образом тогда Оля, такая недоверчивая, с первого почти слова

начала его слушать? Пуще всего обеих нас привлекло тогда, что был у него такой серьезный вид, строгий даже, говорит тихо, обстоятельно и всё так вежливо, — куды вежливо, почтительно даже, — а меж тем никакого такого исканья в нем не видно: прямо видно, что пришел человек от чистого сердца. „Я, говорит, ваше объявление в газете прочел, вы, говорит, не так, сударыня, его написали, так что даже повредить себе тем самым можете“. И стал он объяснять, признаться, не поняла я, про арифметику тут что-то, только Оля, смотрю, покраснела и вся словно оживилась, слушает, в разговор вступила так охотно (да и умный же человек, должно быть!), слышу, даже благодарит его. Расспросил ее про всё так обстоятельно, и видно, что в Москве подолгу живал, и директрису гимназии, оказалось, лично знает. „Уроки я вам, говорит, найду непременно, потому что я со многими здесь знаком и многих влиятельных даже лиц просить могу, так что если даже пожелаете постоянного места, то и то можно иметь в виду... а покамест простите, говорит, меня за один прямой к вам вопрос: не могу ли я сейчас быть вам чем полезным? Не я вам, говорит, а вы мне, напротив, тем самым сделаете удовольствие, коли допустите пользу оказать вам какую ни есть. Пусть это будет, говорит, за вами долг, и как только получите место, то в самое короткое время можете со мной поквитаться. Я же, верьте чести моей, если б сам когда потом впал в такую же нужду, а вы, напротив, были бы всем обеспечены, — то прямо бы к вам пришел за малою помощью, жену бы и дочь мою прислал“... То есть не припомню я вам всех его слов, только я тут прослезилась, потому вижу, и у Оли вздрогнули от благодарности губки: „Если и принимаю, — отвечает она ему, — то потому, что доверяюсь честному и гуманному человеку, который бы мог быть моим отцом“... Прекрасно она тут так сказала ему, коротко и благородно: „гуманному, говорит, человеку“. Он тотчас встал: „Непременно, непременно, говорит, доставлю вам уроки и место; с сего же дня займусь, потому что вы к тому совсем достаточный имеете аттестат“... А я и забыла сказать, что он с самого начала, как вошел, все ее документы из гимназии осмотрел, показала она ему, и сам ее в разных предметах экзаменовал... „Ведь он меня, маменька, — говорит мне потом Оля, — из предметов экзаменовал, и какой он, говорит, умный, в кои-то веки с таким развитым и образованным человеком поговоришь“... И вся-то она так и сияет. Деньги шестьдесят рублей на столе лежат: „Уберите, говорит, маменька: место получим, первым долгом как можно скорей отдадим, докажем, что мы честные, а что мы деликатные, то он уже видел это“. Потом помолчала, вижу, так она глубоко дышит: „Знаете, — говорит вдруг мне, — маменька, кабы мы были грубые, то мы бы от него, может, по гордости нашей, и не приняли, а что мы теперь приняли, то тем самым только деликатность нашу доказали ему, что во всем ему доверяем, как почтенному седому человеку, не правда ли?“ Я сначала не так поняла да говорю: „Почему, Оля, от благород-

ного и богатого человека благодеяния не принять, коли он сверх того доброй души человек?“ Нахмурилась она на меня: „Нет, говорит, маменька, это не то, не благодеяние нужно, а «гуманность» его, говорит, дорога. А деньги так даже лучше бы было нам и совсем не брать, маменька: коли уж он место обещался достать, то и того достаточно... хоть мы и нуждаемся“. — „Ну, говорю, Оля, нужды-то наши таковы, что отказаться никак нельзя“, — усмехнулась даже я. Ну, рада я про себя, только она мне через час и ввернула: „Вы, говорит, маменька, деньги-то подождите тратить“, — решительно так сказала. „Что же? — говорю“. — „Так, говорит“, — оборвала и замолчала. На весь вечер примолкла; только ночью во втором часу просыпаюсь я, слышу, Оля ворочается на кровати: „Не спите, вы, маменька?“ — „Нет, говорю, не сплю“. — „Знаете, говорит, ведь он меня оскорбить хотел?“ — „Что ты, что ты? — говорю“. — „Непременно, говорит, так: это подлый человек, не смейте, говорит, ни одной копейки его денег тратить“. Я было стала ей говорить, всплакнула даже тут же на постели, — отвернулась она к стене: „Молчите, говорит, дайте мне спать!“ Наутро смотрю на нее, ходит, на себя непохожа; и вот, верьте не верьте мне, перед судом божиим скажу: не в своем уме она тогда была! С самого того разу, как ее в этом подлом доме оскорбили, помутилось у ней сердце... и ум. Смотрю я на нее в то утро и сумневаюсь на нее; страшно мне; не буду, думаю, противоречить ей ни в одном слове. „Он, говорит, маменька, адреса-то своего так и не оставил“. — „Грех тебе, говорю, Оля: сама его вчера слышала, сама потом хвалила, сама благодарными слезами заплакать готова была“. Только я это сказала — взвизгнула она, топнула: „Подлых, говорит, вы чувств женщина, старого вы, говорит, воспитания на крепостном праве!“... И уж что тут не говорила, схватила шляпку, выбежала, я кричу ей вслед: что с ней, думаю, куда побежала? А она бегала в адресный стол, узнала, где господин Версилов живет, пришла: „Сегодня же, говорит, сейчас отнесу ему деньги и в лицо шваркну; он меня, говорит, оскорбить хотел, как Сафронов (это купец-то наш); только Сафронов оскорбил как грубый мужик, а этот как хитрый иезуит“. А тут вдруг на беду и постучался этот вчерашний господин: „Слышу, говорят про Версилова, могу сообщить“. Как услыхала она про Версилова, так на него и накинулась, в исступлении вся, говорит-говорит, смотрю я на нее и дивлюсь: ни с кем она, молчаливая такая, так не говорит, а тут еще с незнакомым совсем человеком? Щеки у ней разгорелись, глаза сверкают... А он-то как раз: „Совершенная, говорит, ваша правда, сударыня. Версилов, говорит, это точь-в-точь как генералы здешние, которых в газетах описывают; разоденется генерал во все ордена и пойдет по всем гувернанткам, что в газетах публикуются, и ходит и что надо находит; а коли не найдет чего надо, посидит, поговорит, наобещает с три короба и уйдет, — все-таки развлечение себе доставил“. Расхохоталась

даже Оля, только злобно так, а господин-то этот, смотрю, за руку ее берет, руку к сердцу притягивает: „Я, говорит, сударыня, и сам при собственном капитале состою, и всегда бы мог прекрасной девице предложить, но лучше, говорит, я прежде у ней только миленькую ручку поцелую..." — и тянет, вижу, целовать руку. Как вскочит она, но тут уж и я вместе с ней, прогнали мы его обе. Вот перед вечером выхватила у меня Оля деньги, побежала, приходит обратно: „Я, говорит, маменька, бесчестному человеку отмстила!" — „Ах, Оля, Оля, говорю, может, счастья своего мы лишились, благородного, благодетельного человека ты оскорбила!" Заплакала я с досады на нее, не вытерпела. Кричит она на меня: „Не хочу, кричит, не хочу! Будь он самый честный человек, и тогда его милостыни не хочу! Чтоб и жалел кто-нибудь меня, и того не хочу!" Легла я, и в мысли у меня ничего не было. Сколько я раз на этот гвоздь у вас в стене присматривалась, что от зеркала у вас остался, — невдомек мне, совсем невдомек, ни вчера, ни прежде, и не думала я этого не гадала вовсе, и от Оли не ожидала совсем. Сплю-то я обыкновенно крепко, храплю, кровь это у меня к голове приливает, а иной раз подступит к сердцу, закричу во сне, так что Оля уж ночью разбудит меня: „Что это вы, говорит, маменька, как крепко спите, и разбудить вас, когда надо, нельзя". — „Ой, говорю, Оля, крепко, ой крепко". Вот как я, надо быть, захрапела это вчера, так тут она выждала, и уж не опасаясь, и поднялась. Ремень-то этот от чемодана, длинный, всё на виду торчал, весь месяц, еще утром вчера думала: „Прибрать его наконец, чтоб не валялся". А стул, должно быть, ногой потом отпихнула, а чтобы он не застучал, так юбку свою сбоку подложила. И должно быть, я долго-долго спустя, целый час али больше спустя, проснулась: „Оля! — зову, — Оля!" Сразу померещилось мне что-то, кличу ее. Али что не слышно мне дыханья ее с постели стало, али в темноте-то разглядела, пожалуй, что как будто кровать пуста, — только встала я вдруг, хвать рукой: нет никого на кровати, и подушка холодная. Так и упало у меня сердце, стою на месте как без чувств, ум помутился. „Вышла, думаю, она", — шагнула это я, ан у кровати, смотрю, в углу, у двери, как будто она сама и стоит. Я стою, молчу, гляжу на нее, а она из темноты точно тоже глядит на меня, не шелохнется... „Только зачем же, думаю, она на стул встала?" — „Оля, — шепчу я, робею сама, — Оля, слышишь ты?" Только вдруг как будто во мне всё озарилось, шагнула я, кинула обе руки вперед, прямо на нее, обхватила, а она у меня в руках качается, хватаю, а она качается, понимаю я всё и не хочу понимать... Хочу крикнуть, а крику-то нет... Ах, думаю! Упала на пол с размаха, тут и закричала...»

. . . .

— Васин, — сказал я наутро, часу уже в шестом, — если б не ваш Стебельков, не случилось бы, может, этого.

— Кто знает, наверно бы случилось. Тут нельзя так судить, тут и без того было готово... Правда, этот Стебельков иногда...

Он не договорил и очень неприятно поморщился. Часу в седьмом он опять уехал; он всё хлопотал. Я остался наконец один-одинехонек. Уже рассвело. Голова у меня слегка кружилась. Мне мерещился Версилов: рассказ этой дамы выдвигал его совсем в другом свете. Чтоб удобнее обдумать, я прилег на постель Васина так, как был, одетый и в сапогах, на минутку, совсем без намерения спать — и вдруг заснул, даже не помню, как и случилось. Я проспал почти четыре часа; никто-то не разбудил меня.

Глава десятая

I

Я проснулся около половины одиннадцатого и долго не верил глазам своим: на диване, на котором я вчера заснул, сидела моя мать, а рядом с нею — несчастная соседка, мать самоубийцы. Они обе держали друг дружку за руки, разговаривали шепотом, вероятно, чтоб не разбудить меня, и обе плакали. Я встал с постели и прямо кинулся целовать маму. Она так вся и засияла, поцеловала меня и перекрестила три раза правой рукой. Мы не успели сказать и слова: отворилась дверь, и вошли Версилов и Васин. Мама тотчас же встала и увела с собой соседку. Васин подал мне руку, а Версилов не сказал мне ни слова и опустился в кресло. Он и мама, по-видимому, были здесь уже некоторое время. Лицо его было нахмуренно и озабоченно.

— Всего больше жалею, — расстановочно начал он Васину, очевидно продолжая начатый разговор, — что не успел устроить всё это вчера же вечером, и — наверно не вышло бы тогда этого страшного дела! Да и время было: восьми часов еще не было. Только что убежала она вчера от нас, я тотчас же положил было в мыслях идти за ней следом сюда и переубедить ее, но это непредвиденное и неотложное дело, которое, впрочем, я весьма бы мог отложить до сегодня... на неделю даже, — это досадное дело всему помешало и всё испортило. Сойдется же ведь этак!

— Может быть, и не успели бы убедить; тут и без вашего слишком, кажется, нагорело и накипело, — вскользь заметил Васин.

— Нет, успел бы, успел бы наверно. И ведь была мысль в голове послать вместо себя Софью Андреевну. Мелькнула, но только мелькнула. Софья Андреевна одна бы ее победила, и несчастная осталась бы в живых. Нет, никогда больше не сунусь... с «добрыми делами»... И всего-то раз в жизни высунулся! А я-то думал, что всё еще не отстал от поколения и понимаю современную молодежь. Да, старье наше старится чуть не раньше, чем созреет. Кстати, ведь действительно ужасно много есть современных людей, которые, по привычке, всё еще считают себя молодым поколением, потому

что всего вчера еще таким были, а между тем и не замечают, что уже на фербанте.

— Тут вышло недоразумение, и недоразумение слишком ясное, — благоразумно заметил Васин. — Мать ее говорит, что после жестокого оскорбления в публичном доме она как бы потеряла рассудок. Прибавьте обстановку, первоначальное оскорбление от купца... всё это могло случиться точно так же и в прежнее время, и нисколько, по-моему, не характеризует особенно собственно теперешнюю молодежь.

— Нетерпелива немного она, теперешняя молодежь, кроме, разумеется, и малого понимания действительности, которое хоть и свойственно всякой молодежи во всякое время, но нынешней как-то особенно... Скажите, а что тут напроворил господин Стебельков?

— Господин Стебельков, — ввязался я вдруг, — причиной всему. Не было бы его, ничего бы не вышло; он подлил масла в огонь.

Версилов выслушал, но не взглянул на меня. Васин нахмурился.

— Упрекаю себя тоже в одном смешном обстоятельстве, — продолжал Версилов, не торопясь и по-прежнему растягивая слова, — кажется, я, по скверному моему обычаю, позволил себе тогда с нею некоторого рода веселость, легкомысленный смешок этот — одним словом, был недостаточно резок, сух и мрачен, три качества, которые, кажется, также в чрезвычайной цене у современного молодого поколения... Одним словом, дал ей повод принять меня за странствующего селадона.

— Совершенно напротив, — резко ввязался я опять, — мать особенно утверждает, что вы произвели великолепное впечатление именно серьезностью, строгостью даже, искренностью, — ее собственные слова. Покойница сама вас, как вы ушли, хвалила в этом смысле.

— Д-да? — промямлил Версилов, мельком взглянув наконец на меня. — Возьмите же эту бумажку, она ведь к делу необходима, — протянул он крошечный кусочек Васину. Тот взял и, видя, что я смотрю с любопытством, подал мне прочесть. Это была записка, две неровные строчки, нацарапанные карандашом и, может быть, в темноте:

«Маменька, милая, простите меня за то, что я прекратила мой жизненный дебют. Огорчавшая вас Оля».

— Это нашли только утром, — объяснил Васин.

— Какая странная записка! — воскликнул я в удивлении.

— Чем странная? — спросил Васин.

— Разве можно в такую минуту писать юмористическими выражениями?

Васин глядел вопросительно.

— Да и юмор странный, — продолжал я, — гимназический условный язык между товарищами... Ну кто может в такую ми-

нуту и в такой записке к несчастной матери, — а мать она ведь, оказывается, любила же, — написать: «прекратила мой жизненный дебют»!

— Почему же нельзя написать? — всё еще не понимал Васин.

— Тут ровно никакого и нет юмора, — заметил наконец Версилов, — выражение, конечно, неподходящее, совсем не того тона, и действительно могло зародиться в гимназическом или там каком-нибудь условно товарищеском, как ты сказал, языке али из фельетонов каких-нибудь, но покойница употребляла его в этой ужасной записке совершенно простодушно и серьезно.

— Этого быть не может, она кончила курс и вышла с серебряной медалью.

— Серебряная медаль тут ничего не значит. Нынче многие так кончают курс.

— Опять на молодежь, — улыбнулся Васин.

— Нисколько, — ответил ему Версилов, вставая с места и взяв шляпу, — если нынешнее поколение не столь литературно, то, без сомнения, обладает... другими достоинствами, — прибавил он с необыкновенной серьезностью. — Притом «многие» — не «все», и вот вас, например, я не обвиняю же в плохом литературном развитии, а вы тоже еще молодой человек.

— Да и Васин ничего не нашел дурного в «дебюте»! — не утерпел я, чтоб не заметить.

Версилов молча протянул руку Васину; тот тоже схватил фуражку, чтоб вместе с ним выйти, и крикнул мне: «До свиданья». Версилов вышел, меня не заметив. Мне тоже нечего было время терять: во что бы ни стало надо было бежать искать квартиру, — теперь нужнее чем когда-нибудь! Мамы уже не было у хозяйки, она ушла и увела с собой и соседку. Я вышел на улицу как-то особенно бодро... Какое-то новое и большое ощущение нарождалось в душе. К тому же как нарочно и всё способствовало: я необыкновенно скоро напал на случай и нашел квартиру совсем подходящую; про квартиру эту потом, а теперь окончу о главном.

Был всего второй час в начале, когда я вернулся опять к Васину за моим чемоданом и как раз опять застал его дома. Увидав меня, он с веселым и искренним видом воскликнул:

— Как я рад, что вы застали меня, я сейчас было уходил! Я могу вам сообщить один факт, который, кажется, очень вас заинтересует.

— Уверен заранее! — вскричал я.

— Ба! какой у вас бодрый вид. Скажите, вы не знали ничего о некотором письме, сохранявшемся у Крафта и доставшемся вчера Версилову, именно нечто по поводу выигранного им наследства? В письме этом завещатель разъясняет волю свою в смысле, обратном вчерашнему решению суда. Письмо еще давно писано. Одним словом, я не знаю, что именно в точности, но не знаете ли чего-нибудь вы?

— Как не знать. Крафт третьего дня для того и повел меня к себе... от тех господ, чтоб передать мне это письмо, а я вчера передал Версилову.

— Да? Так я и подумал. Вообразите же, то дело, про которое давеча здесь говорил Версилов, — что помешало ему вчера вечером прийти сюда убедить эту девушку, — это дело вышло именно через это письмо. Версилов прямо, вчера же вечером, отправился к адвокату князя Сокольского, передал ему это письмо и отказался от всего выигранного им наследства. В настоящую минуту этот отказ уже облечен в законную форму. Версилов не дарит, но признает в этом акте полное право князей.

Я остолбенел, но я был в восхищении. По-настоящему, я совершенно был убежден, что Версилов истребит письмо, мало того, хоть я говорил Крафту про то, что это было бы неблагородно, и хоть и сам повторял это про себя в трактире, и что «я приехал к чистому человеку, а не к этому», — но еще более про себя, то есть в самом нутре души, я считал, что иначе и поступить нельзя, как похерив документ совершенно. То есть я считал это самым обыкновенным делом. Если бы я потом и винил Версилова, то винил бы только нарочно, для виду, то есть для сохранения над ним возвышенного моего положения. Но, услыхав теперь о подвиге Версилова, я пришел в восторг искренний, полный, с раскаянием и стыдом осуждая мой цинизм и мое равнодушие к добродетели, и мигом, возвысив Версилова над собою бесконечно, я чуть не обнял Васина.

— Каков человек! Каков человек! Кто бы это сделал? — восклицал я в упоении.

— Я с вами согласен, что очень многие этого бы не сделали... и что, бесспорно, поступок чрезвычайно бескорыстен...

— «Но»?.. договаривайте, Васин, у вас есть «но»?

— Да, конечно, есть и «но»; поступок Версилова, по-моему, немного скор и немного не так прямодушен, — улыбнулся Васин.

— Не прямодушен?

— Да. Тут есть некоторый как бы «пьедестал». Потому что, во всяком случае, можно было бы сделать то же самое, не обижая себя. Если не половина, то всё же несомненно некоторая часть наследства могла бы и теперь следовать Версилову, даже при самом щекотливом взгляде на дело, тем более что документ не имел решительного значения, а процесс им уже выигран. Такого мнения держится и сам адвокат противной стороны; я сейчас только с ним говорил. Поступок остался бы не менее прекрасным, но единственно из прихоти гордости случилось иначе. Главное, господин Версилов погорячился и — излишне поторопился; ведь он сам же сказал давеча, что мог бы отложить на целую неделю...

— Знаете что, Васин? Я не могу не согласиться с вами, но... я так люблю лучше, мне так нравится лучше!

— Впрочем, это дело вкуса. Вы сами вызвали меня, я бы промолчал.

— Даже если тут и «пьедестал», то и тогда лучше, — продолжал я, — пьедестал хоть и пьедестал, но сам по себе он очень ценная вещь. Этот «пьедестал» ведь всё тот же «идеал», и вряд ли лучше, что в иной теперешней душе его нет; хоть с маленьким даже уродством, да пусть он есть! И наверно, вы сами думаете так, Васин, голубчик мой Васин, милый мой Васин! Одним словом, я, конечно, зарапортовался, но вы ведь меня понимаете же. На то вы Васин; и, во всяком случае, я обнимаю вас и целую, Васин!

— С радости?

— С большой радости! Ибо сей человек «был мертв и ожил, пропадал и нашелся»! Васин, я дрянной мальчишка и вас не стою. Я именно потому сознаюсь, что в иные минуты бываю совсем другой, выше и глубже. Я за то, что третьего дня вас расхвалил в глаза (а расхвалил только за то, что меня унизили и придавили), я за то вас целых два дня ненавидел! Я дал слово, в ту же ночь, к вам не ходить никогда и пришел к вам вчера поутру только со зла, понимаете вы: *со зла*. Я сидел здесь на стуле один и критиковал вашу комнату, и вас, и каждую книгу вашу, и хозяйку вашу, старался унизить вас и смеяться над вами...

— Этого не надо бы говорить...

— Вчера вечером, заключив из одной вашей фразы, что вы не понимаете женщины, я был рад, что мог вас на этом поймать. Давеча, поймав вас на «дебюте», — опять-таки ужасно был рад, и всё из-за того, что сам вас тогда расхвалил...

— Да еще же бы нет! — вскричал наконец Васин (он всё продолжал улыбаться, нисколько не удивляясь на меня), — да это так ведь и бывает всегда, почти со всеми, и первым даже делом; только в этом никто не признается, да и не надо совсем признаваться, потому что, во всяком случае, это пройдет и из этого ничего не будет.

— Неужели у всех этак? Все такие? И вы, говоря это, спокойны? Да ведь с таким взглядом жить нельзя!

— А по-вашему:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман?

— Но ведь это же верно, — вскричал я, — в этих двух стихах святая аксиома!

— Не знаю; не берусь решать, верны ли эти два стиха иль нет. Должно быть, истина, как и всегда, где-нибудь лежит посредине: то есть в одном случае святая истина, а в другом — ложь. Я только знаю наверно одно: что еще надолго эта мысль останется одним из самых главных спорных пунктов между людьми. Во всяком случае, я замечаю, что вам теперь танцевать хочется. Что ж, и потанцуйте: моцион полезен, а на меня как раз сегодня утром ужасно много дела взвалили... да и опоздал же я с вами!

— Еду, еду, убираюсь! Одно только слово, — прокричал я, уже схватив чемодан, — если я сейчас к вам опять «кинулся

на шею», то единственно потому, что, когда я вошел, вы с таким искренним удовольствием сообщили мне этот факт и «обрадовались», что я успел вас застать, и это после давешнего «дебюта»; этим искренним удовольствием вы разом перевернули мое «юное сердце» опять в вашу сторону. Ну, прощайте, прощайте, постараюсь как можно дольше не приходить и знаю, что вам это будет чрезвычайно приятно, что вижу даже по вашим глазам, а обоим нам даже будет выгодно...

Так болтая и чуть не захлебываясь от моей радостной болтовни, я вытащил чемодан и отправился с ним на квартиру. Мне, главное, ужасно нравилось то, что Версилов так несомненно на меня давеча сердился, говорить и глядеть не хотел. Перевезя чемодан, я тотчас же полетел к моему старику князю. Признаюсь, эти два дня мне было без него даже немножко тяжело. Да и про Версилова он наверно уже слышал.

II

Я так и знал, что он мне ужасно обрадуется, и, клянусь, я даже и без Версилова зашел бы к нему сегодня. Меня только пугала вчера и давеча мысль, что встречу, пожалуй, как-нибудь Катерину Николаевну; но теперь я уж ничего не боялся.

Он стал обнимать меня с радости.

— Версилов-то! Слышали? — начал я прямо с главного.

— Cher enfant, друг ты мой милый, это до того возвышенно, это до того благородно, — одним словом, даже на Кильяна (этого чиновника внизу) произвело потрясающее впечатление! Это неблагоразумно с его стороны, но это блеск, это подвиг! Идеал ценить надо!

— Не правда ли? Не правда ли? В этом мы с вами всегда сходились.

— Милый ты мой, мы с тобой всегда сходились. Где ты был? Я непременно хотел сам к тебе ехать, но не знал, где тебя найти... Потому что всё же не мог же я к Версилову... Хотя теперь, после всего этого... Знаешь, друг мой: вот этим-то он, мне кажется, и женщин побеждал, вот этими-то чертами, это несомненно...

— Кстати, чтоб не забыть, я именно для вас берег. Вчера один недостойнейший гороховый шут, ругая мне в глаза Версилова, выразился про него, что он — «бабий пророк»; каково выражение, собственно выражение? Я для вас берег...

— «Бабий пророк»! Mais... c'est charmant! [1] Ха-ха! Но это так идет к нему, то есть это вовсе не идет — тьфу!.. Но это так метко... то есть это вовсе не метко, но...

— Да ничего, ничего, не конфузьтесь, смотрите только как на бонмо!

— Бонмо великолепное, и, знаешь, оно имеет глубочайший

---

[1] Но... это очаровательно! *(франц.)*

смысл... Совершенно верная идея! То есть, веришь ли... Одним словом, я тебе сообщу один крошечный секрет. Заметил ты тогда эту Олимпиаду? Веришь ли, что у ней болит немножко по Андрею Петровичу сердце, и до того, что она даже, кажется, что-то питает...

— Питает! Вот ей, не угодно ли этого? — вскричал я, в негодовании показывая кукиш.

— Mon cher, не кричи, это всё так, и ты, пожалуй, прав, с твоей точки. Кстати, друг мой, что это случилось с тобой прошлый раз при Катерине Николаевне? Ты качался... я думал, ты упадешь, и хотел броситься тебя поддержать.

— Об этом не теперь. Ну, одним словом, я просто сконфузился, по одной причине...

— Ты и теперь покраснел.

— Ну, а вам надо сейчас же и размазать. Вы знаете, что она во вражде с Версиловым... ну и там всё это, ну вот и я взволновался: эх, оставим, после!

— И оставим, и оставим, я и сам рад всё это оставить... Одним словом, я чрезвычайно перед ней виноват, и даже, помнишь, роптал тогда при тебе... Забудь это, друг мой; она тоже изменит свое о тебе мнение, я это слишком предчувствую... А вот и князь Сережа!

Вошел молодой и красивый офицер. Я жадно посмотрел на него, я его никогда еще не видал. То есть я говорю красивый, как и все про него точно так же говорили, но что-то было в этом молодом и красивом лице не совсем привлекательное. Я именно замечаю это, как впечатление самого первого мгновения, первого на него моего взгляда, оставшееся во мне на всё время. Он был сухощав, прекрасного роста, темно-рус, с свежим лицом, немного, впрочем, желтоватым, и с решительным взглядом. Прекрасные темные глаза его смотрели несколько сурово, даже и когда он был совсем спокоен. Но решительный взгляд его именно отталкивал потому, что как-то чувствовалось почему-то, что решимость эта ему слишком недорого стоила. Впрочем, не умею выразиться... Конечно, лицо его способно было вдруг изменяться с сурового на удивительно ласковое, кроткое и нежное выражение, и, главное, при несомненном простодушии превращения. Это-то простодушие и привлекало. Замечу еще черту: несмотря на ласковость и простодушие, никогда это лицо не становилось веселым; даже когда князь хохотал от всего сердца, вы все-таки чувствовали, что настоящей, светлой, легкой веселости как будто никогда не было в его сердце... Впрочем, чрезвычайно трудно так описывать лицо. Не умею я этого вовсе. Старый князь тотчас же бросился нас знакомить, по глупой своей привычке.

— Это мой юный друг, Аркадий Андреевич (опять Андреевич!) Долгорукий.

Молодой князь тотчас повернулся ко мне с удвоенно вежливым выражением лица; но видно было, что имя мое совсем ему незнакомо.

— Это... родственник Андрея Петровича, — пробормотал мой досадный князь. (Как досадны бывают иногда эти старички, с их привычками!) Молодой князь тотчас же догадался.

— Ах! Я так давно слышал... — быстро проговорил он, — я имел чрезвычайное удовольствие познакомиться прошлого года в Луге с сестрицей вашей Лизаветой Макаровной... Она тоже мне про вас говорила...

Я даже удивился: на лице его сияло решительно искреннее удовольствие.

— Позвольте, князь, — пролепетал я, отводя назад обе мои руки, — я вам должен сказать искренно, — и рад, что говорю при милом нашем князе, — что я даже желал с вами встретиться, и еще недавно желал, всего только вчера, но совсем уже с другими целями. Я это прямо говорю, как бы вы ни удивлялись. Короче, я хотел вас вызвать за оскорбление, сделанное вами, полтора года назад, в Эмсе, Версилову. И хоть вы, конечно, может быть, и не пошли бы на мой вызов, потому что я всего лишь гимназист и несовершеннолетний подросток, однако я всё бы сделал вызов, как бы вы там ни приняли и что бы вы там ни сделали... и, признаюсь, даже и теперь тех же целей.

Старый князь передавал мне потом, что мне удалось это высказать чрезвычайно благородно.

Искренняя скорбь выразилась в лице князя.

— Вы мне только не дали договорить, — внушительно ответил он. — Если я обратился к вам с словами от всей души, то причиною тому были именно теперешние, настоящие чувства мои к Андрею Петровичу. Мне жаль, что не могу вам сейчас сообщить всех обстоятельств; но уверяю вас честью, я давным-давно уже смотрю на мой несчастный поступок в Эмсе с глубочайшим раскаянием. Собираясь в Петербург, я решился дать всевозможные удовлетворения Андрею Петровичу, то есть прямо, буквально, просить у него прощения, в той самой форме, в какой он сам назначит. Высшие и могущественные влияния были причиною перемены в моем взгляде. То, что мы были в тяжбе, не повлияло бы на мое решение нимало. Вчерашний же поступок его со мной, так сказать, потряс мою душу, и даже в эту минуту, верите ли, я как бы еще не пришел в себя. И вот я должен сообщить вам — я именно и к князю приехал, чтоб ему сообщить об одном чрезвычайном обстоятельстве: три часа назад, то есть это ровно в то время, когда они составляли с адвокатом этот акт, явился ко мне уполномоченный Андрея Петровича и передал мне от него вызов... формальный вызов из-за истории в Эмсе...

— Он вас вызвал? — вскричал я и почувствовал, что глаза мои загорелись и кровь залила мне лицо.

— Да, вызвал; я тотчас же принял вызов, но решил, еще раньше встречи, послать ему письмо, в котором излагаю мой взгляд на мой поступок и всё мое раскаяние в этой ужасной ошибке... потому что это была только ошибка — несчастная, роковая

ошибка! Замечу вам, что мое положение в полку заставляло меня таким образом рисковать: за такое письмо перед встречей я подвергал себя общественному мнению... вы понимаете? Но несмотря даже на это, я решился, и только не успел письма отправить, потому что час спустя после вызова получил от него опять записку, в которой он просит меня извинить его, что обеспокоил, и забыть о вызове и прибавляет, что раскаивается в этом «минутном порыве малодушия и эгоизма», — его собственные слова. Таким образом, он уже совершенно облегчает мне теперь шаг с письмом. Я еще его не отослал, но именно приехал сказать кое-что об этом князю... И поверьте, я сам выстрадал от упреков моей совести гораздо больше, чем, может быть, кто-нибудь... Довольно ли вам этого объяснения, Аркадий Макарович, по крайней мере теперь, пока? Сделаете ли вы мне честь поверить вполне моей искренности?

Я был совершенно побежден; я видел несомненное прямодушие, которого в высшей степени не ожидал. Да и ничего подобного я не ожидал. Я что-то пробормотал в ответ и прямо протянул ему мои обе руки; он с радостью потряс их в своих руках. Затем отвел князя и минут с пять говорил с ним в его спальне.

— Если бы вы захотели мне сделать особенное удовольствие, — громко и открыто обратился он ко мне, выходя от князя, — то поедемте сейчас со мною, и я вам покажу письмо, которое сейчас посылаю к Андрею Петровичу, а вместе и его письмо ко мне.

Я согласился с чрезвычайною охотой. Мой князь захлопотал, провожая меня, и тоже вызывал меня на минутку в свою спальню.

— Mon ami, как я рад, как я рад... Мы обо всем этом после. Кстати, вот тут в портфеле у меня два письма: одно нужно завезти и объясниться лично, другое в банк — и там тоже...

И тут он мне поручил два будто бы неотложные дела и требующие будто бы необыкновенного труда и внимания. Предстояло съездить и действительно подать, расписаться и проч.

— Ах вы, хитрец! — вскричал я, принимая письма, — клянусь, ведь всё это — вздор и никакого тут дела нет, а эти два поручения вы нарочно выдумали, чтоб уверить меня, что я служу и не даром деньги беру!

— Mon enfant, клянусь тебе, что в этом ты ошибаешься: это два самые неотложные дела... Cher enfant! — вскричал он вдруг, ужасно умилившись, — милый мой юноша! (Он положил мне обе руки на голову.) Благословляю тебя и твой жребий... будем всегда чисты сердцем, как и сегодня... добры и прекрасны, как можно больше... будем любить всё прекрасное... во всех его разнообразных формах... Ну, enfin... enfin rendons grâce... et je te bénis! [1]

Он не докончил и захныкал над моей головой. Признаюсь, почти заплакал и я; по крайней мере искренно и с удовольствием обнял моего чудака. Мы очень поцеловались.

---

[1] а теперь... теперь вознесем хвалу... и я благословляю тебя! *(франц.)*

III

Князь Сережа (то есть князь Сергей Петрович, так и буду его называть) привез меня в щегольской пролетке на свою квартиру, и первым делом я удивился великолепию его квартиры. То есть не то что великолепию, но квартира эта была как у самых «порядочных людей»: высокие, большие, светлые комнаты (я видел две, остальные были притворены) и мебель — опять-таки хоть и не бог знает какой Versailles [1] или Renaissance, [2] но мягкая, комфортная, обильная, на самую широкую ногу; ковры, резное дерево и статуэтки. Между тем про них все говорили, что они нищие, что у них ровно ничего. Я мельком слышал, однако, что этот князь и везде задавал пыли, где только мог, — и здесь, и в Москве, и в прежнем полку, и в Париже, — что он даже игрок и что у него долги. На мне был перемятый сюртук, и вдобавок в пуху, потому что я так и спал не раздевшись, а рубашке приходился уже четвертый день. Впрочем, сюртук мой был еще не совсем скверен, но, попав к князю, я вспомнил о предложении Версилова сшить себе платье.

— Вообразите, я по поводу одной самоубийцы всю ночь проспал одевшись, — заметил я с рассеянным видом, и так как он тотчас же выразил внимание, то вкратце и рассказал. Но его, очевидно, занимало больше всего его письмо. Главное, мне странно было, что он не только не улыбнулся, но даже самого маленького вида не показал в этом смысле, когда я давеча прямо так и объявил, что хотел вызвать его на дуэль. Хоть я бы и сумел заставить его не смеяться, но все-таки это было странно от человека такого сорта. Мы уселись друг против друга посреди комнаты за огромным его письменным столом, и он мне передал на просмотр уже готовое и переписанное набело письмо его к Версилову. Документ этот был очень похож на всё то, что он мне давеча высказал у моего князя; написано даже горячо. Это видимое прямодушие его и готовность ко всему хорошему я, правда, еще не знал, как принять окончательно, но начинал уже поддаваться, потому, в сущности, почему же мне было не верить? Каков бы ни был человек и что бы о нем ни рассказывали, но он всё же мог быть с хорошими наклонностями. Я посмотрел тоже и последнюю записочку Версилова в семь строк — отказ от вызова. Хоть он и действительно прописал в ней про свое «малодушие» и про свой «эгоизм», но вся, в целом, записка эта как бы отличалась каким-то высокомерием... или, лучше, во всем поступке этом выяснялось какое-то пренебрежение. Я, впрочем, не высказал этого.

— Вы, однако, как смотрите на этот отказ, — спросил я, — ведь не считаете же вы, что он струсил?

— Конечно нет, — улыбнулся князь, но как-то очень серьез-

---

[1] Версаль *(франц.)*.
[2] Ренессанс *(франц.)*.

ной улыбкой, и вообще он становился всё более и более озабочен, — я слишком знаю, что этот человек мужествен. Тут, конечно, особый взгляд... свое собственное расположение идей...

— Без сомнения, — прервал я горячо. — Некто Васин говорит, что в поступке его с этим письмом и с отказом от наследства заключается «пьедестал»... По-моему, такие вещи не делаются для показу, а соответствуют чему-то основному, внутреннему.

— Я очень хорошо знаю господина Васина, — заметил князь.

— Ах да, вы должны были видеть его в Луге.

Мы вдруг взглянули друг на друга, и, вспоминаю, я, кажется, капельку покраснел. По крайней мере он перебил разговор. Мне, впрочем, очень хотелось разговориться. Мысль об одной вчерашней встрече моей соблазняла меня задать ему кой-какие вопросы, но только я не знал, как приступить. И вообще я был как-то очень не по себе. Поражала меня тоже его удивительная благовоспитанность, вежливость, непринужденность манер — одним словом, весь этот лоск ихнего тона, который они принимают чуть не с колыбели. В письме его я начитал две прегрубые грамматические ошибки. И вообще при таких встречах я никогда не принижаюсь, а становлюсь усиленно резок, что иногда, может быть, и дурно. Но в настоящем случае тому особенно способствовала еще и мысль, что я в пуху, так что я несколько даже сплошал и влез в фамильярность... Я потихоньку заметил, что князь иногда очень пристально меня оглядывал.

— Скажите, князь, — вылетел я вдруг с вопросом, — не находите вы смешным внутри себя, что я, такой еще «молокосос», хотел вас вызвать на дуэль, да еще за чужую обиду?

— За обиду отца очень можно обидеться. Нет, не нахожу смешным.

— А мне так кажется, что это ужасно смешно... на иной взгляд... то есть, разумеется, не на собственный мой. Тем более что я Долгорукий, а не Версилов. А если вы говорите мне неправду или чтоб как-нибудь смягчить из приличий светского лоска, то, стало быть, вы меня и во всем остальном обманываете?

— Нет, не нахожу смешным, — повторил он ужасно серьезно, — не можете же вы не ощущать в себе крови своего отца?.. Правда, вы еще молоды, потому что... не знаю... кажется, не достигшему совершенных лет нельзя драться, а от него еще нельзя принять вызов... по правилам... Но, если хотите, тут одно только может быть серьезное возражение: если вы делаете вызов без ведома обиженного, за обиду которого вы вызываете, то тем самым выражаете как бы некоторое собственное неуважение ваше к нему, не правда ли?

Разговор наш вдруг прервал лакей, который вошел о чем-то доложить. Завидев его, князь, кажется ожидавший его, встал, не докончив речи, и быстро подошел к нему, так что тот доложил уже вполголоса, и я, конечно, не слыхал о чем.

— Извините меня, — обратился ко мне князь, — я через минуту буду.

И вышел. Я остался один; ходил по комнате и думал. Странно, он мне и нравился и ужасно не нравился. Было что-то такое, чего бы я и сам не сумел назвать, но что-то отталкивающее. «Если он ни капли не смеется надо мной, то, без сомнения, он ужасно прямодушен; но если б он надо мной смеялся, то... может быть, казался бы мне тогда умнее...» — странно как-то подумал я. Я подошел к столу и еще раз прочел письмо к Версилову. Завлекшись, даже забыл о времени, и когда очнулся, то вдруг заметил, что князева минутка, бесспорно, продолжается уже целую четверть часа. Это меня немножко взволновало; я еще раз прошелся взад и вперед, наконец взял шляпу и, помню, решился выйти, с тем чтоб, встретив кого-нибудь, послать за князем, а когда он придет, то прямо проститься с ним, уверив, что у меня дела и ждать больше не могу. Мне казалось, что так будет всего приличнее, потому что меня капельку мучила мысль, что он, оставляя меня так надолго, поступает со мной небрежно.

Обе затворенные двери в эту комнату приходились по обоим концам одной и той же стены. Забыв, в которую дверь мы вошли, а пуще в рассеянности, я отворил одну из них, и вдруг, в длинной и узкой комнате, увидел сидевшую на диване — сестру мою Лизу. Кроме нее, никого не было, и она, конечно, кого-то ждала. Но не успел я даже удивиться, как вдруг услышал голос князя, с кем-то громко говорившего и возвращавшегося в кабинет. Я быстро притворил дверь, и вошедший из другой двери князь ничего не заметил. Помню, он стал извиняться и что-то проговорил про какую-то Анну Федоровну... Но я был так смущен и поражен, что ничего почти не разобрал, а пролепетал только, что мне необходимо домой, затем настойчиво и быстро вышел. Благовоспитанный князь, конечно, с любопытством должен был смотреть на мои приемы. Он проводил меня в самую переднюю и всё говорил, а я не отвечал и не глядел на него.

IV

Выйдя на улицу, я повернул налево и пошел куда попало. В голове у меня ничего не вязалось. Шел я тихо и, кажется, прошел очень много, шагов пятьсот, как вдруг почувствовал, что меня слегка ударили по плечу. Обернулся и увидел Лизу: она догнала меня и слегка ударила зонтиком. Что-то ужасно веселое, а на капельку и лукавое, было в ее сияющем взгляде.

— Ну как я рада, что ты в эту сторону пошел, а то бы я так тебя сегодня и не встретила! — Она немного задыхалась от скорой ходьбы.

— Как ты задохлась.

— Ужасно бежала, тебя догоняла.

— Лиза, ведь это тебя я сейчас встретил?

— Где это?

— У князя... у князя Сокольского...

— Нет, не меня, нет, меня ты не встретил...

Я замолчал, и мы прошли шагов десять. Лиза страшно расхохоталась:

— Меня, меня, конечно меня! Послушай, ведь ты же меня сам видел, ведь ты же мне глядел в глаза, и я тебе глядела в глаза, так как же ты спрашиваешь, меня ли ты встретил? Ну характер! А знаешь, я ужасно хотела рассмеяться, когда ты там мне в глаза глядел, ты ужасно смешно глядел.

Она хохотала ужасно. Я почувствовал, как вся тоска сразу оставила мое сердце.

— Да как же, скажи, ты там очутилась?

— У Анны Федоровны.

— У какой Анны Федоровны?

— У Столбеевой. Когда мы в Луге жили, я у ней по целым дням сиживала; она и маму у себя принимала и к нам даже ходила. А она ни к кому почти там не ходила. Андрею Петровичу она дальняя родственница, и князьям Сокольским родственница: она князю какая-то бабушка.

— Так она у князя живет?

— Нет, князь у ней живет.

— Так чья же квартира?

— Ее квартира, вся квартира ее уже целый год. Князь только что приехал, у ней и остановился. Да и она сама всего только четыре дня в Петербурге.

— Ну... знаешь что, Лиза, бог с ней с квартирой, и с ней самой...

— Нет, она прекрасная...

— И пусть, и книги ей в руки. Мы сами прекрасные! Смотри, какой день, смотри, как хорошо! Какая ты сегодня красавица, Лиза. А впрочем, ты ужасный ребенок.

— Аркадий, скажи, та девушка-то, вчерашняя-то.

— Ах, как жаль, Лиза, ах, как жаль!

— Ах, как жаль! Какой жребий! Знаешь, даже грешно, что мы идем такие веселые, а ее душа где-нибудь теперь летит во мраке, в каком-нибудь бездонном мраке, согрешившая, и с своей обидой... Аркадий, кто в ее грехе виноват? Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти, и как это грешно! Не люблю я темноты, то ли дело такое солнце! Мама говорит, что грешно бояться... Аркадий, знаешь ли ты хорошо маму?

— Еще мало, Лиза, мало знаю.

— Ах, какое это существо; ты ее должен, должен узнать! Ее нужно особенно понимать...

— Да ведь вот же и тебя не знал, а ведь знаю же теперь всю. Всю в одну минуту узнал. Ты, Лиза, хоть и боишься смерти, а, дол-

жно быть, гордая, смелая, мужественная. Лучше меня, гораздо лучше меня! Я тебя ужасно люблю, Лиза. Ах, Лиза! Пусть приходит, когда надо, смерть, а пока жить, жить! О той несчастной пожалеем, а жизнь все-таки благословим, так ли? Так ли? У меня есть «идея», Лиза. Лиза, ты ведь знаешь, что Версилов отказался от наследства?

— Как не знать! Мы уже с мамой целовались.

— Ты не знаешь души моей, Лиза, ты не знаешь, что значил для меня человек этот...

— Ну вот не знать, всё знаю!

— Всё знаешь? Ну да, еще бы! Ты умна; ты умнее Васина. Ты и мама — у вас глаза проницающие, гуманные, то есть взгляды, а не глаза, я вру... Я дурен во многом, Лиза.

— Тебя нужно в руки взять, вот и кончено!

— Возьми, Лиза. Как хорошо на тебя смотреть сегодня. Да знаешь ли, что ты прехорошенькая? Никогда еще я не видал твоих глаз... Только теперь в первый раз увидел... Где ты их взяла сегодня, Лиза? Где купила? Что заплатила? Лиза, у меня не было друга, да и смотрю я на эту идею как на вздор; но с тобой не вздор... Хочешь, станем друзьями? Ты понимаешь, что я хочу сказать?..

— Очень понимаю.

— И знаешь, без уговору, без контракту, — просто будем друзьями!

— Да, просто, просто, но только один уговор: если когда-нибудь мы обвиним друг друга, если будем в чем недовольны, если сделаемся сами злы, дурны, если даже забудем всё это, — то не забудем никогда этого дня и вот этого самого часа! Дадим слово такое себе. Дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы вот шли с тобой оба рука в руку, и так смеялись, и так нам весело было... Да? Ведь да?

— Да, Лиза, да, и клянусь; но, Лиза, я как будто тебя в первый раз слушаю... Лиза, ты много читала?

— До сих пор еще не спросил! Только вчера в первый раз, как я в слове оговорилась, удостоили обратить внимание, милостивый государь, господин мудрец.

— А что ж ты сама со мной не заговаривала, коли я был такой дурак?

— А я всё ждала, что поумнеешь. Я выглядела вас всего с самого начала, Аркадий Макарович, и как выглядела, то и стала так думать: «Ведь он придет же, ведь уж наверно кончит тем, что придет», — ну, и положила вам лучше эту честь самому предоставить, чтоб вы первый-то сделали шаг: «Нет, думаю, походи-ка теперь за мной!»

— Ах ты, кокетка! Ну, Лиза, признавайся прямо: смеялась ты надо мной в этот месяц или нет?

— Ох, ты очень смешной, ты ужасно смешной, Аркадий! И знаешь, я, может быть, за то тебя всего больше и любила в этот

месяц, что ты вот этакий чудак. Но ты во многом и дурной чудак, — это чтоб ты не возгордился. Да знаешь ли, кто еще над тобой смеялся? Мама смеялась, мама со мной вместе: «Экий, шепчем, чудак, ведь этакий чудак!» А ты-то сидишь и думаешь в это время, что мы сидим и тебя трепещем.

— Лиза, что ты думаешь про Версилова?

— Я очень много об нем думаю; но знаешь, мы теперь об нем не будем говорить. Об нем сегодня не надо; ведь так?

— Совершенно так! Нет, ты ужасно умна, Лиза! Ты непременно умнее меня. Вот подожди, Лиза, кончу это всё и тогда, может, я кое-что и скажу тебе...

— Чего ты нахмурился?

— Нет, я не нахмурился, Лиза, а я так... Видишь, Лиза, лучше прямо: у меня такая черта, что не люблю, когда до иного щекотного в душе пальцами дотрагиваются... или, лучше сказать, если часто иные чувства выпускать наружу, чтоб все любовались, так ведь это стыдно, не правда ли? Так что я иногда лучше люблю хмуриться и молчать: ты умна, ты должна понять.

— Да мало того, я и сама такая же; я тебя во всем поняла. Знаешь ли ты, что и мама такая же?

— Ах, Лиза! Как бы только подольше прожить на свете! А? Что ты сказала?

— Нет, я ничего не сказала.

— Ты смотришь?

— Да и ты смотришь. Я на тебя смотрю и люблю тебя.

Я довел ее почти вплоть до дому и дал ей мой адрес. Прощаясь, я поцеловал ее в первый раз еще в жизни...

V

И всё бы это было хорошо, но одно только было нехорошо: одна тяжелая идея билась во мне с самой ночи и не выходила из ума. Это то, что когда я встретился вчера вечером у наших ворот с той несчастной, то сказал ей, что я сам ухожу из дому, из гнезда, что уходят от злых и основывают свое гнездо и что у Версилова много незаконнорожденных. Такие слова, про отца от сына, уж конечно, утвердили в ней все ее подозрения на Версилова и на то, что он ее оскорбил. Я обвинял Стебелькова, а ведь, может быть, я-то, главное, и подлил масла в огонь. Эта мысль ужасна, ужасна и теперь... Но тогда, в то утро, я хоть и начинал уже мучиться, но мне все-таки казалось, что это вздор: «Э, тут и без меня „нагорело и накипело“, — повторял я по временам, — э, ничего, пройдет! Поправлюсь! Я это чем-нибудь наверстаю... каким-нибудь добрым поступком... Мне еще пятьдесят лет впереди!»

А идея все-таки билась.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

I

Перелетаю пространство почти в два месяца; пусть читатель не беспокоится: всё будет ясно из дальнейшего изложения. Резко отмечаю день пятнадцатого ноября — день слишком для меня памятный по многим причинам. И во-первых, никто бы меня не узнал, кто видел меня назад два месяца; по крайней мере снаружи, то есть и узнал бы, но ничего бы не разобрал. Я одет франтом — это первое. Тот «добросовестный француз и со вкусом», которого хотел когда-то отрекомендовать мне Версилов, не только сшил уж мне весь костюм, но уж и забракован мною: мне шьют уже другие портные, повыше, первейшие, и даже я имею у них счет. У меня бывает счет и в одном знатном ресторане, но я еще тут боюсь, и, чуть деньги, сейчас плачу, хотя и знаю, что это — моветон и что я себя тем компрометирую. На Невском француз парикмахер со мной на короткой ноге и, когда я у него причесываюсь, рассказывает мне анекдоты. И, признаюсь, я практикуюсь с ним по-французски. Хоть я и знаю язык, и даже порядочно, но в большом обществе как-то всё еще боюсь начинать; да и выговор у меня, должно быть, далеко не парижский. У меня Матвей, лихач, рысак, и является к моим услугам, когда я назначу. У него светло-гнедой жеребец (я не люблю серых). Есть, впрочем, и беспорядки: пятнадцатое ноября, и уже три дня как стала зима, а шуба у меня старая, енотовая, версиловский обносок: продать — стоит рублей двадцать пять. Надо завести новую, а карманы пусты, и, кроме того, надо припасти денег сегодня же на вечер, и это во что бы ни стало, — иначе я «несчастен и погиб»; это — собственные мои тогдашние изречения. О низость! Что ж, откуда вдруг эти тысячи, эти рысаки и Борели? Как мог я так вдруг всё забыть и так измениться? Позор! Читатель, я начинаю теперь историю моего стыда и позора, и ничто в жизни не может для меня быть постыднее этих воспоминаний!

Так говорю, как судья, и знаю, что я виновен. В том вихре, в котором я тогда закружился, я хоть был и один, без руководителя и советника, но, клянусь, и тогда уже сам сознавал свое падение, а потому неизвиним. А между тем все эти два месяца я был почти счастлив — зачем почти? Я был слишком счастлив! И даже до того, что сознание позора, мелькавшее минутами (частыми минутами!), от которого содрогалась душа моя, — это-то сознание — поверят ли? — пьянило меня еще более: «А что ж, падать так падать; да не упаду же, выеду! У меня звезда!» Я шел по тоненькому мостику из щепок, без перил, над пропастью, и мне весело было, что я так иду; даже заглядывал в пропасть.

Был риск и было весело. А «идея»? «Идея» — потом, идея ждала; всё, что было, — «было лишь уклонением в сторону»: «почему ж не повеселить себя?» Вот тем-то и скверна «моя идея», повторю еще раз, что допускает решительно все уклонения; была бы она не так тверда и радикальна, то я бы, может быть, и побоялся уклониться.

А пока я всё еще продолжал занимать мою квартиренку, занимать, но не жить в ней; там лежал мой чемодан, сак и иные вещи; главная же резиденция моя была у князя Сергея Сокольского. Я у него сидел, я у него и спал, и так по целым даже неделям... Как это случилось, об этом сейчас, а пока скажу об этой моей квартиренке. Она уже была мне дорога: сюда ко мне пришел Версилов, сам, в первый раз после тогдашней ссоры, и потом приходил много раз. Повторяю, это время было страшным позором, но и огромным счастьем... Да и всё тогда так удавалось и так улыбалось! «И к чему все эти прежние хмурости, — думал я в иные упоительные минуты, — к чему эти старые больные надрывы, мое одинокое и угрюмое детство, мои глупые мечты под одеялом, клятвы, расчеты и даже „идея“? Я всё это напредставил и выдумал, а оказывается, что в мире совсем не то; мне вот так радостно и легко: у меня отец — Версилов, у меня друг — князь Сережа, у меня и еще»... но об еще — оставим. Увы, всё делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным.

Довольно.

II

Он пришел ко мне в первый раз на третий день после нашего тогдашнего разрыва. Меня не было дома, и он остался ждать. Когда я вошел в мою крошечную каморку, то хоть и ждал его все эти три дня, но у меня как бы заволоклись глаза и так стукнуло сердце, что я даже приостановился в дверях. К счастью, он сидел с моим хозяином, который, чтоб не было скучно гостю ждать, нашел нужным немедленно познакомиться и о чем-то ему с жаром начал рассказывать. Это был титулярный советник, лет уже сорока, очень рябой, очень бедный, обремененный больной в чахотке женой и больным ребенком; характера чрезвычайно сообщительного и смирного, впрочем довольно и деликатный. Я обрадовался его присутствию, и он даже выручил, потому что что ж бы я сказал Версилову? Я знал, серьезно знал, все эти три дня, что Версилов придет сам, первый, — точь-в-точь как я хотел того, потому что ни за что на свете не пошел бы к нему первый, и не по строптивости, а именно по любви к нему, по какой-то ревности любви, — не умею я этого выразить. Да и вообще красноречия читатель у меня не найдет. Но хоть я и ждал его все эти три дня и представлял себе почти беспрерывно, как он войдет, а все-таки никак не мог вообразить наперед, хоть и воображал из всех сил, о чем мы с ним вдруг заговорим после всего, что произошло.

— А, вот и ты, — протянул он мне руку дружески и не вставая с места. — Присядь-ка к нам; Петр Ипполитович рассказывает преинтересную историю об этом камне, близ Павловских казарм... или тут где-то...

— Да, я знаю камень, — ответил я поскорее, опускаясь на стул рядом с ними. Они сидели у стола. Вся комната была ровно в две сажени в квадрате. Я тяжело перевел дыхание.

Искра удовольствия мелькнула в глазах Версилова: кажется, он сомневался и думал, что я захочу делать жесты. Он успокоился.

— Вы уж начните сначала, Петр Ипполитович. — Они уже величали друг друга по имени-отчеству.

— То есть это при покойном государе еще вышло-с, — обратился ко мне Петр Ипполитович, нервно и с некоторым мучением, как бы страдая вперед за успех эффекта, — ведь вы знаете этот камень, — глупый камень на улице, к чему, зачем, только лишь мешает, так ли-с? Ездил государь много раз, и каждый раз этот камень. Наконец государю не понравилось, и действительно: целая гора, стоит гора на улице, портит улицу: «Чтоб не было камня!» Ну, сказал, чтоб не было, — понимаете, что значит «чтоб не было»? Покойника-то помните? Что делать с камнем? Все потеряли голову; тут Дума, а главное, тут, не помню уж кто именно, но один из самых первых тогдашних вельмож, на которого было возложено. Вот этот вельможа и слушает: говорят, пятнадцать тысяч будет стоить, не меньше, и серебром-с (потому что ассигнации это при покойном государе только обратили на серебро). «Как пятнадцать тысяч, что за дичь!» Сначала англичане рельсы подвести хотели, поставить на рельсы и отвезти паром; но ведь чего же бы это стоило? Железных-то дорог тогда еще не было, только вот Царскосельская ходила...

— Ну вот, распилить можно было, — начал я хмуриться; мне ужасно стало досадно и стыдно перед Версиловым; но он слушал с видимым удовольствием. Я понимал, что и он рад был хозяину, потому что тоже стыдился со мной, я видел это; мне, помню, было даже это как бы трогательно от него.

— Именно распилить-с, именно вот на эту идею и напали, и именно Монферан; он ведь тогда Исаакиевский собор строил. Распилить, говорит, а потом свезти. Да-с, да чего оно будет стоить?

— Ничего не стоит, просто распилить да и вывезти.

— Нет, позвольте, ведь тут нужно ставить машину, паровую-с, и притом куда свезти? И притом такую гору? Десять тысяч, говорят, менее не обойдется, десять или двенадцать тысяч.

— Послушайте, Петр Ипполитович, ведь это — вздор, это было не так... — Но в это время Версилов мне подмигнул незаметно, и в этом подмигивании я увидел такое деликатное сострадание к хозяину, даже страдание за него, что мне это ужасно понравилось, и я рассмеялся.

— Ну, вот, вот, — обрадовался хозяин, ничего не заметивший и ужасно боявшийся, как и всегда эти рассказчики, что его станут

сбивать вопросами, — только как раз подходит один мещанин, и еще молодой, ну, знаете, русский человек, бородка клином, в долгополом кафтане, и чуть ли не хмельной немножко... впрочем, нет, не хмельной-с. Только стоит этот мещанин, как они это сговариваются, англичане да Монферан, а это лицо, которому поручено-то, тут же в коляске подъехал, слушает и сердится: как это так решают и не могут решить; и вдруг замечает в отдалении, этот мещанинишка стоит и фальшиво этак улыбается, то есть не фальшиво, я не так, а как бы это...

— Насмешливо, — осторожно поддакнул Версилов.

— Насмешливо-с, то есть немножко насмешливо, этакая добрая русская улыбка такая, знаете; ну, лицу, конечно, под досадную руку, знаете: «Ты здесь, борода, чего дожидаешься? Кто таков?» — «Да вот, говорит, камушек смотрю, ваша светлость». Именно, кажется, светлость; да чуть ли это не князь Суворов был, Италийский, потомок полководца-то... Впрочем, нет, не Суворов, и как жаль, что забыл, кто именно, только, знаете, хоть и светлость, а чистый этакий русский человек, русский этакий тип, патриот, развитое русское сердце; ну, догадался: «Что ж, ты, что ли, говорит, свезешь камень: чего ухмыляешься?» — «На агличан больше, ваша светлость, слишком уж несоразмерную цену берут-с, потому что русский кошель толст, а им дома есть нечего. Сто рубликов определите, ваша светлость, — завтра же к вечеру сведем камушек». Ну, можете представить подобное предложение. Англичане, разумеется, съесть хотят; Монферан смеется; только этот светлейший, русское-то сердце: «Дать, говорит, ему сто рублей! Да неужто, говорит, свезешь?» — «Завтра к вечеру потрафим, ваша светлость». — «Да как ты сделаешь?» — «Это уж, если не обидно вашей светлости, — наш секрет-с», — говорит, и, знаете, русским этаким языком. Понравилось: «Э, дать ему всё, что потребует!» Ну и оставили; что ж бы, вы думали, он сделал?

Хозяин приостановился и стал обводить нас умиленным взглядом.

— Не знаю, — улыбался Версилов; я очень хмурился.

— А вот как он сделал-с, — проговорил хозяин с таким торжеством, как будто он сам это сделал, — нанял он мужичков с заступами, простых этаких русских, и стал копать у самого камня, у самого края, яму; всю ночь копали, огромную выкопали, ровно в рост камню и так только на вершок еще поглубже, а как выкопали, велел он, помаленьку и осторожно, подкапывать землю уж из-под самого камня. Ну, натурально, как подкопали, камню-то не на чем стоять, равновесие-то и покачнулось; а как покачнулось равновесие, они камушек-то с другой стороны уже руками ионаперли, этак на ура, по-русски: камень-то и бух в яму! Тут же лопатками засыпали, трамбовкой утрамбовали, камушками замостили, — гладко, исчез камушек!

— Представьте себе! — сказал Версилов.

— То есть народу-то, народу-то тут набежало, видимо-невидимо; англичане эти тут же, давно догадались, злятся. Монферан приехал: это, говорит, по-мужицки, слишком, говорит, просто. Да ведь в том-то и штука, что просто, а вы-то не догадались, дураки вы этакие! Так это я вам скажу, этот начальник-то, государственное-то лицо, только ахнул, обнял его, поцеловал: «Да откуда ты был такой, говорит?» — «А из Ярославской губернии, ваше сиятельство, мы, собственно, по нашему рукомеслу портные, а летом в столицу фруктом приходим торговать-с». Ну, дошло до начальства; начальство велело ему медаль повесить; так и ходил с медалью на шее, да опился потом, говорят; знаете, русский человек, не удержится! Оттого-то вот нас до сих пор иностранцы и заедают, да-с, вот-с!

— Да, конечно, русский ум... — начал было Версилов.

Но тут рассказчика, к счастью его, кликнула больная хозяйка, и он убежал, а то бы я не выдержал. Версилов смеялся.

— Милый ты мой, он меня целый час перед тобой веселил. Этот камень... это всё, что есть самого патриотически-непорядочного между подобными рассказами, но как его перебить? ведь ты видел, он тает от удовольствия. Да и, кроме того, этот камень, кажется, и теперь стоит, если только не ошибаюсь, и вовсе не зарыт в яму...

— Ах, боже мой! — вскричал я, — да ведь и вправду. Как же он смел!..

— Что ты? Да ты, кажется, совсем в негодовании, полно. А это он действительно смешал: я слышал какой-то в этом роде рассказ о камне еще во времена моего детства, только, разумеется, не так и не про этот камень. Помилуй: «дошло до начальства». Да у него вся душа пела в ту минуту, когда он «дошел до начальства». В этой жалкой среде и нельзя без подобных анекдотов. Их у них множество, главное — от их невоздержности. Ничему не учились, ничего точно не знают, ну, а кроме карт и производств захочется поговорить о чем-нибудь общечеловеческом, поэтическом... Что он, кто такой, этот Петр Ипполитович?

— Беднейшее существо, и даже несчастный.

— Ну вот видишь, даже, может, и в карты не играет! Повторяю, рассказывая эту дребедень, он удовлетворяет своей любви к ближнему: ведь он и нас хотел осчастливить. Чувство патриотизма тоже удовлетворено; например, еще анекдот есть у них, что Завьялову англичане миллион давали с тем только, чтоб он клейма не клал на свои изделия...

— Ах, боже мой, этот анекдот я слышал.

— Кто этого не слышал, и он совершенно даже знает, рассказывая, что ты это наверно уж слышал, но все-таки рассказывает, *нарочно* воображая, что ты не слыхал. Видение шведского короля — это уж у них, кажется, устарело; но в моей юности его с засосом повторяли и с таинственным шепотом, точно так же, как и о том, что в начале столетия кто-то будто бы стоял в сенате на коленях

перед сенаторами. Про коменданта Башуцкого тоже много было анекдотов, как монумент увезли. Они придворные анекдоты ужасно любят; например, рассказы про министра прошлого царствования Чернышева, каким образом он, семидесятилетний старик, так подделывал свою наружность, что казался тридцатилетним, и до того, что покойный государь удивлялся на выходах...

— И это я слышал.

— Кто не слыхал? Все эти анекдоты — верх непорядочности; но знай, что этот тип непорядочного гораздо глубже и дальше распространен, чем мы думаем. Желание соврать, с целью осчастливить своего ближнего, ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе, ибо все мы страдаем этою невоздержанностью сердец наших. Только у нас в другом роде рассказы; что у нас об одной Америке рассказывают, так это — страсть, и государственные даже люди! Я и сам, признаюсь, принадлежу к этому непорядочному типу и всю жизнь страдал от того...

— Про Чернышева я сам рассказывал несколько раз.

— Уж и сам рассказывал?

— Тут есть, кроме меня, еще жилец чиновник, тоже рябой, и уже старик, но тот ужасный прозаик, и чуть Петр Ипполитович заговорит, тотчас начнет его сбивать и противоречить. И до того довел, что тот у него как раб прислуживает и угождает ему, только чтоб тот слушал.

— Это — уж другой тип непорядочного и даже, может быть, омерзительнее первого. Первый — весь восторг! «Да ты дай только соврать — посмотри, как хорошо выйдет». Второй — весь хандра и проза: «Не дам соврать, где, когда, в котором году»? — одним словом, человек без сердца. Друг мой, дай всегда немного соврать человеку — это невинно. Даже много дай соврать. Во-первых, это покажет твою деликатность, а во-вторых, за это тебе тоже дадут соврать — две огромных выгоды — разом. Que diable! [1] надобно любить своего ближнего. Но мне пора. Ты премило устроился, — прибавил он, подымаясь со стула. — Расскажу Софье Андреевне и сестре твоей, что заходил и застал тебя в добром здоровье. До свиданья, мой милый.

Как, неужели всё? Да мне вовсе не о том было нужно; я ждал другого, *главного*, хотя совершенно понимал, что и нельзя было иначе. Я со свечой стал провожать его на лестницу; подскочил было хозяин, но я, потихоньку от Версилова, схватил его изо всей силы за руку и свирепо оттолкнул. Он поглядел было с изумлением, но мигом стушевался.

— Эти лестницы... — мямлил Версилов, растягивая слова, видимо чтоб сказать что-нибудь и видимо боясь, чтоб я не сказал чего-нибудь, — эти лестницы, — я отвык, а у тебя третий этаж, а впрочем, я теперь найду дорогу... Не беспокойся, мой милый, еще простудишься.

---

[1] Черт возьми! *(франц.)*

Но я не уходил. Мы спускались уже по второй лестнице.

— Я вас ждал все эти три дня, — вырвалось у меня внезапно, как бы само собой; я задыхался.

— Спасибо, мой милый.

— Я знал, что вы непременно придете.

— А я знал, что ты знаешь, что я непременно приду. Спасибо, мой милый.

Он примолк. Мы уже дошли до выходной двери, а я всё шел за ним. Он отворил дверь; быстро ворвавшийся ветер потушил мою свечу. Тут я вдруг схватил его за руку; была совершенная темнота. Он вздрогнул, но молчал. Я припал к руке его и вдруг жадно стал ее целовать, несколько раз, много раз.

— Милый мой мальчик, да за что ты меня так любишь? — проговорил он, но уже совсем другим голосом. Голос его задрожал, и что-то зазвенело в нем совсем новое, точно и не он говорил.

Я хотел было что-то ответить, но не смог и побежал наверх. Он же всё ждал на месте, и только лишь когда я добежал до квартиры, я услышал, как отворилась и с шумом захлопнулась наружная дверь внизу. Мимо хозяина, который опять зачем-то подвернулся, я проскользнул в мою комнату, задвинулся на защелку и, не зажигая свечки, бросился на мою кровать, лицом в подушку, и — плакал, плакал. В первый раз заплакал с самого Тушара! Рыданья рвались из меня с такою силою, и я был так счастлив... но что описывать!

Я записал это теперь не стыдясь, потому что, может быть, всё это было и хорошо, несмотря на всю нелепость.

III

Но уж и досталось же ему от меня за это! Я стал страшным деспотом. Само собою, об этой сцене потом у нас и помину не было. Напротив, мы встретились с ним на третий же день как ни в чем не бывало — мало того: я был почти груб в этот второй вечер, а он тоже как будто сух. Случилось это опять у меня; я почему-то всё еще не пошел к нему сам, несмотря на желание увидеть мать.

Говорили мы во всё это время, то есть во все эти два месяца, лишь о самых отвлеченных предметах. И вот этому я удивляюсь: мы только и делали, что говорили об отвлеченных предметах, — конечно, общечеловеческих и самых необходимых, но нимало не касавшихся насущного. Между тем многое, очень многое из насущного надо было определить и уяснить, и даже настоятельно, но об этом-то мы и молчали. Я даже ничего о матери и о Лизе не говорил и... ну и, наконец, о себе самом, о всей моей истории. От стыда ли это всё было или от какой-то юношеской глупости — не знаю. Полагаю, что от глупости, потому что стыд все-таки можно было перескочить. А деспотировал я его ужасно, и даже въезжал неоднократно в нахальство, и даже против сердца: это

всё как-то само собою неудержимо делалось, сам себя не мог удержать. Его же тон был по-прежнему с тонкой насмешкой, хотя и чрезвычайно всегда ласковый, несмотря ни на что. Поражало меня тоже, что он больше любил сам приходить ко мне, так что я наконец ужасно редко стал ходить к маме, в неделю раз, не больше, особенно в самое последнее время, когда я уж совсем завертелся. Он приходил всё по вечерам, сидел у меня и болтал; тоже очень любил болтать и с хозяином; последнее меня бесило от такого человека, как он. Приходило мне тоже на мысль: неужели ему не к кому ходить, кроме меня? Но я знал наверно, что у него были знакомства; в последнее время он даже возобновил многие прежние сношения в светском кругу, в последний год им оставленные; но, кажется, он не особенно соблазнялся ими и многое возобновил лишь официально, более же любил ходить ко мне. Трогало меня иногда очень, что он, входя по вечерам, почти каждый раз как будто робел, отворяя дверь, и в первую минуту всегда с странным беспокойством заглядывал мне в глаза: «не помешаю ли, дескать? скажи — я уйду». Даже говорил это иногда. Раз, например, именно в последнее время, он вошел, когда уже я был совсем одет в только что полученный от портного костюм и хотел ехать к «князю Сереже», чтоб с тем отправиться куда следует (куда — объясню потом). Он же, войдя, сел, вероятно не заметив, что я собираюсь; на него минутами нападала чрезвычайно странная рассеянность. Как нарочно, он заговорил о хозяине; я вспылил:

— Э, черт с ним, с хозяином!

— Ах, милый мой, — вдруг поднялся он с места, — да ты, кажется, собираешься со двора, а я тебе помешал... Прости, пожалуйста.

И он смиренно заторопился выходить. Вот это-то смирение предо мной от такого человека, от такого светского и независимого человека, у которого так много было своего, разом воскрешало в моем сердце всю мою нежность к нему и всю мою в нем уверенность. Но если он так любил меня, то почему же он не остановил меня тогда во время моего позора? Скажи он тогда слово — и я бы, может быть, удержался. Впрочем, может быть, нет. Но видел же он это франтовство, это фанфаронство, этого Матвея (я даже раз хотел довезти его на моих санях, но он не сел, и даже несколько раз это было, что он не хотел садиться), ведь видел же, что у меня деньги сыплются, — и ни слова, ни слова, даже не полюбопытствовал! Это меня до сих пор удивляет, даже теперь. А я, разумеется, нисколько тогда перед ним не церемонился и всё наружу выказывал, хотя, конечно, ни слова тоже не говорил в объяснение. Он не спрашивал, я и не говорил.

Впрочем, раза два-три мы как бы заговаривали и об насущном. Я спросил его раз однажды, вначале, вскоре после отказа от наследства: чем же он жить теперь будет?

— Как-нибудь, друг мой, — проговорил он с чрезвычайным спокойствием.

Теперь я знаю, что даже крошечный капитал Татьяны Павловны, тысяч в пять, наполовину был затрачен на Версилова, в эти последние два года.

В другой раз мы как-то заговорили о маме:

— Друг мой, — сказал он вдруг грустно, — я часто говорил Софье Андреевне, в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце: «Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты передо мной; а ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью».

Впрочем, помню, в тот вечер он был особенно откровенен:

— Хоть бы я был слабохарактерною ничтожностью и страдал этим сознаньем! А то ведь нет, я ведь знаю, что я бесконечно силен, и чем, как ты думаешь? А вот именно этою непосредственною силою уживчивости с чем бы то ни было, столь свойственною всем умным русским людям нашего поколения. Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака. Я могу чувствовать преудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время — и уж конечно не по моей воле. Но тем не менее знаю, что это бесчестно, главное потому, что уж слишком благоразумно. Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю: хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела; но любить жизнь такому, как я, — подло. В последнее время началось что-то новое, и Крафты не уживаются, а застреливаются. Но ведь ясно, что Крафты глупы; ну а мы умны — стало быть, и тут никак нельзя вывести параллели, и вопрос все-таки остается открытым. И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да; но идея эта уж слишком безотрадная. А впрочем... а впрочем, вопрос все-таки остается открытым.

Он говорил с грустью, и все-таки я не знал, искренно или нет. Была в нем всегда какая-то складка, которую он ни за что не хотел оставить.

IV

Я тогда его засыпа́л вопросами, я бросался на него, как голодный на хлеб. Он всегда отвечал мне с готовностью и прямодушно, но в конце концов всегда сводил на самые общие афоризмы, так что, в сущности, ничего нельзя было вытянуть. А между тем все эти вопросы меня тревожили всю мою жизнь, и, признаюсь откровенно, я еще в Москве отдалял их решение именно до свидания нашего в Петербурге. Я даже прямо это заявил ему, и он не рассмеялся надо мной — напротив, помню, пожал мне руку. Из всеобщей политики и из социальных вопросов я почти ничего не мог из него извлечь, а эти-то вопросы, ввиду моей «идеи»,

всего более меня и тревожили. О таких, как Дергачев, я вырвал у него раз заметку, «что они ниже всякой критики», но в то же время он странно прибавил, что «оставляет за собою право не придавать своему мнению никакого значения». О том, как кончатся современные государства и мир и чем вновь обновится социальный мир, он ужасно долго отмалчивался, но наконец я таки вымучил из него однажды несколько слов:

— Я думаю, что всё это произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно, — проговорил он раз. — Просто-напросто все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на «отсутствие дефицитов», un beau matin [1] запутаются окончательно и все до единого пожелают не заплатить, чтоб всем до единого обновиться во всеобщем банкрутстве. Между тем весь консервативный элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкрутства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление; прибудет много жида, и начнется жидовское царство; а засим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно не захотят участвовать в окислении... Начнется борьба, и, после семидесяти семи поражений, нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Вернее, что тоже обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсисе...

— Да неужели всё это так материально; неужели только от одних финансов кончится нынешний мир?

— О, разумеется, я взял лишь один уголок картины, но ведь и этот уголок связан со всем, так сказать, неразрывными узами.

— Что же делать?

— Ах, боже мой, да ты не торопись: это всё не так скоро. Вообще же, ничего не делать всего лучше; по крайней мере спокоен совестью, что ни в чем не участвовал.

— Э, полноте, говорите дело. Я хочу знать, что именно мне делать и как мне жить?

— Что тебе делать, мой милый? Будь честен, никогда не лги, не пожелай дому ближнего своего, одним словом, прочти десять заповедей: там всё это навеки написано.

— Полноте, полноте, всё это так старо и притом — одни слова; а нужно дело.

— Ну, уж если очень одолеет скука, постарайся полюбить кого-нибудь или что-нибудь или даже просто привязаться к чему-нибудь.

— Вы только смеетесь! И притом, что я один-то сделаю с вашими десятью заповедями?

---

[1] в одно прекрасное утро *(франц.)*.

— А ты их исполни, несмотря па все твои вопросы и сомнения, и будешь человеком великим.

— Никому не известным.

— Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным.

— Да вы решительно смеетесь!

— Ну, если уж ты так принимаешь к сердцу, то всего лучше постарайся поскорее специализироваться, займись постройками или адвокатством и тогда, занявшись уже настоящим и серьезным делом, успокоишься и забудешь о пустяках.

Я промолчал; ну что тут можно было извлечь? И однако же, после каждого из подобных разговоров я еще более волновался, чем прежде. Кроме того, я видел ясно, что в нем всегда как бы оставалась какая-то тайна; это-то и привлекало меня к нему всё больше и больше.

— Слушайте, — прервал я его однажды, — я всегда подозревал, что вы говорите всё это только так, со злобы и от страдания, но втайне, про себя, вы-то и есть фанатик какой-нибудь высшей идеи и только скрываете или стыдитесь признаться.

— Спасибо тебе, мой милый.

— Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешить этого; но я только вашего мнения ищу: вы скажете, и как вы скажете, так я и пойду, клянусь вам! Ну, в чем же великая мысль?

— Ну, обратить камни в хлебы — вот великая мысль.

— Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь; скажите же: самая великая?

— Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: «Ну вот я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым.

— Вы раз говорили про «женевские идеи»; я не понял, что такое «женевские идеи»?

— Женевские идеи — это добродетель без Христа, мой друг, теперешние идеи или, лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации. Одним словом, это — одна из тех длинных историй, которые очень скучно начинать, и гораздо будет лучше, если мы с тобой поговорим о другом, а еще лучше, если помолчим о другом.

— Вам бы всё молчать!

— Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво.

— Красиво?

— Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего.

— Да так говорить, как мы с вами, конечно, всё равно что молчать. Черт с этакой красотой, а пуще всего черт с этакой выгодой!

— Милый мой, — сказал он мне вдруг, несколько изменяя тон, даже с чувством и с какою-то особенною настойчивостью, — милый мой, я вовсе не хочу прельстить тебя какою-нибудь буржуазною добродетелью взамен твоих идеалов, не твержу тебе, что «счастье лучше богатырства»; напротив, богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье. Таким образом, это между нами решено. Я именно и уважаю тебя за то, что ты смог, в наше прокислое время, завести в душе своей какую-то там «свою идею» (не беспокойся, я очень запомнил). Но все-таки нельзя же не подумать и о мере, потому что тебе теперь именно хочется звонкой жизни, что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше всей России, пронестись громовою тучей и оставить всех в страхе и в восхищении, а самому скрыться в Северо-Американские Штаты. Ведь, наверно, что-нибудь в этом роде в душе твоей, а потому я и считаю нужным тебя предостеречь, потому что искренно полюбил тебя, мой милый.

Что мог я извлечь и из этого? Тут было только беспокойство обо мне, об моей материальной участи; сказывался отец с своими прозаическими, хотя и добрыми, чувствами; но того ли мне надо было ввиду идей, за которые каждый честный отец должен бы послать сына своего хоть на смерть, как древний Гораций своих сыновей за идею Рима?

Я приставал к нему часто с религией, но тут туману было пуще всего. На вопрос: что мне делать в этом смысле? — он отвечал самым глупым образом, как маленькому: «Надо веровать в бога, мой милый».

— Ну, а если я не верю всему этому? — вскричал я раз в раздражении.

— И прекрасно, мой милый.

— Как прекрасно?

— Самый превосходный признак, мой друг; самый даже благонадежный, потому что наш русский атеист, если только он вправду атеист и чуть-чуть с умом, — самый лучший человек в целом мире и всегда наклонен приласкать бога, потому что непременно добр, а добр потому, что безмерно доволен тем, что он — атеист. Атеисты наши — люди почтенные и в высшей степени благонадежные, так сказать, опора отечества...

Это, конечно, было что-нибудь, но я хотел не того; однажды только он высказался, но только так странно, что удивил меня больше всего, особенно ввиду всех этих католичеств и вериг, про которые я об нем слышал.

— Милый мой, — сказал он мне однажды, не дома, а как-то на улице, после длинного разговора; я провожал его. — Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же, должно. И потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо). Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, «памятуя, что и ты человек». Разумеется, ты поставлен быть с ними строгим, если дано

тебе быть хоть чуть-чуть поумнее средины. Люди по природе своей низки и любят любить из страху; не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на «строптивых» как на мышей, делать им добро и проходить мимо, — немножко гордо, но верно. Умей презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо всего чаще тут-то они и скверны. О милый мой, я судя по себе сказал это! Кто лишь чуть-чуть не глуп, тот не может жить и не презирать себя, честен он или бесчестен — это всё равно. Любить своего ближнего и не презирать его — невозможно. По-моему, человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах с самого начала, и «любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей (другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь) и которого, поэтому, никогда и не будет на самом деле.

— Никогда не будет?

— Друг мой, я согласен, что это было бы глуповато, но тут не моя вина; а так как при мироздании со мной не справлялись, то я и оставлю за собою право иметь на этот счет свое мнение.

— Как же вас называют после этого христианином, — вскричал я, — монахом с веригами, проповедником? не понимаю!

— А кто меня так называет?

Я рассказал ему; он выслушал очень внимательно, но разговор прекратил.

Никак не запомню, по какому поводу был у нас этот памятный для меня разговор; но он даже раздражился, чего с ним почти никогда не случалось. Говорил страстно и без насмешки, как бы и не мне говорил. Но я опять-таки не поверил ему: не мог же он с таким, как я, говорить о таких вещах серьезно?

Глава вторая

I

В это утро, пятнадцатого ноября, я именно застал его у «князя Сережи». Я же и свел его с князем, но у них и без меня было довольно пунктов соединения (я говорю об этих прежних историях за границей и проч.). Кроме того, князь дал ему слово выделить ему из наследства по крайней мере одну треть, что составило бы тысяч двадцать непременно. Мне, помню, ужасно тогда было странно, что он выделяет всего треть, а не целую половину; но я смолчал. Это обещание выделить князь дал тогда сам собой; Версилов ни полсловечком не участвовал, не заикнулся; князь сам выскочил, а Версилов только молча допустил и ни разу потом не упомянул, даже и виду не показал, что сколько-нибудь помнит об обещании. Замечу кстати, что князь вначале был им решительно очарован, в особенности речами его, даже приходил в восторг

и несколько раз мне высказывался. Он иногда восклицал наедине со мной и почти с отчаянием про себя, что он — «так необразован, что он на такой ложной дороге!..» О, мы были еще тогда так дружны!.. Я и Версилову всё старался внушать тогда о князе одно хорошее, защищал его недостатки, хотя и видел их сам; но Версилов отмалчивался или улыбался.

— Если в нем недостатки, то в нем по крайней мере столько же достоинств, сколько и недостатков! — воскликнул я раз наедине Версилову.

— Боже, как ты ему льстишь, — засмеялся он.

— Чем льщу? — не понял было я.

— Столько же достоинств! Да ведь его мощи явятся, если столько достоинств, сколько у него недостатков!

Но, конечно, это было не мнение. Вообще о князе он как-то избегал тогда говорить, как и вообще о всем насущном; но о князе особенно. Я подозревал уже и тогда, что он заходит к князю и без меня и что у них есть особые сношения, но я допускал это. Не ревновал тоже и к тому, что он говорил с ним как бы серьезнее, чем со мной, более, так сказать, положительно и менее пускал насмешки; но я был так тогда счастлив, что это мне даже нравилось. Я извинял еще и тем, что князь был немного ограничен, а потому любил в слове точность, а иных острот даже вовсе не понимал. И вот в последнее время он как-то стал эмансипироваться. Чувства его к Версилову как будто начали даже изменяться. Чуткий Версилов это заметил. Предупрежу тоже, что князь в то же время и ко мне изменился, даже слишком видимо; оставались лишь какие-то мертвые формы первоначальной нашей, почти горячей, дружбы. Между тем я все-таки продолжал к нему ходить; впрочем, как бы я и мог не ходить, затянувшись во всё это. О, как я был тогда неискусен, и неужели лишь одна глупость сердца может довести человека до такого неумения и унижения? Я брал у него деньги и думал, что это ничего, что так и надо. Впрочем, не так; я и тогда знал, что так не надо, но — я просто мало думал об этом. Не из-за денег я ходил, хоть мне и ужасно нужны были деньги. Я знал, что я не из-за денег хожу, но понимал, что каждый день прихожу брать деньги. Но я был в вихре, и, кроме всего этого, совсем другое тогда было в душе моей, — пело в душе моей!

Когда я вошел, часов в одиннадцать утра, то застал Версилова уже доканчивавшего какую-то длинную тираду; князь слушал, шагая по комнате, а Версилов сидел. Князь казался в некотором волнении. Версилов почти всегда мог приводить его в волнение. Князь был чрезвычайно восприимчивое существо, до наивности, заставлявшей меня во многих случаях смотреть на него свысока. Но, повторяю, в последние дни в нем явилось что-то злобно оскаливающееся. Он приостановился, увидя меня, и как бы что-то передернулось в его лице. Я знал про себя, чем объяснить эту тень неудовольствия в это утро, но не ожидал, что до такой степени передернется лицо его. Мне известно было, что у него накопились

разные беспокойства, но гадко было то, что я знал лишь десятую долю их — остальное было для меня тогда крепким секретом. Потому это было гадко и глупо, что я часто лез утешать его, давать советы и даже свысока усмехался над слабостью его выходить из себя «из-за таких пустяков». Он отмалчивался; но невозможно, чтоб не ненавидел меня в те минуты ужасно: я был в слишком фальшивом положении и даже не подозревал того. О, свидетельствуюсь богом, что главного не подозревал!

Он, однако, вежливо протянул мне руку, Версилов кивнул головою, не прерывая речи. Я разлегся на диване. И что за тон был тогда у меня, что за приемы! Я даже еще пуще финтил, его знакомых третировал, как своих... Ох, если б была возможность всё теперь переделать, как бы я сумел держать себя иначе!

Два слова, чтоб не забыть: князь жил тогда в той же квартире, но занимал ее уже почти всю; хозяйка квартиры, Столбеева, пробыла лишь с месяц и опять куда-то уехала.

II

Они говорили о дворянстве. Замечу, что эта идея очень волновала иногда князя, несмотря на весь его вид прогрессизма, и я даже подозреваю, что многое дурное в его жизни произошло и началось из этой идеи: ценя свое княжество и будучи нищим, он всю жизнь из ложной гордости сыпал деньгами и затянулся в долги. Версилов несколько раз намекал ему, что не в том состоит княжество, и хотел насадить в его сердце более высшую мысль; но князь под конец как бы стал обижаться, что его учат. По-видимому, что-то в этом роде было и в это утро, но я не застал начала. Слова Версилова показались мне сначала ретроградными, но потом он поправился.

— Слово «честь» значит долг, — говорил он (я передаю лишь смысл и сколько запомню). — Когда в государстве господствует главенствующее сословие, тогда крепка земля. Главенствующее сословие всегда имеет свою честь и свое исповедание чести, которое может быть и неправильным, но всегда почти служит связью и крепит землю; полезно нравственно, но более политически. Но терпят рабы, то есть все не принадлежащие к сословию. Чтоб не терпели — сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это прекрасно. Но по всем опытам, везде доселе (в Европе то есть) при уравнениях прав происходило понижение чувства чести, а стало быть, и долга. Эгоизм заменял собою прежнюю скрепляющую идею, и всё распадалось на свободу лиц. Освобожденные, оставаясь без скрепляющей мысли, до того теряли под конец всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали отстаивать. Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь

уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты. В этом новом или, лучше, обновленном виде могло бы удержаться сословие.

Князь оскалил зубы:

— Это какое же будет тогда дворянство? Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство.

Повторяю, князь был ужасно необразован. Я даже повернулся с досады на диване, хоть и не совсем был согласен с Версиловым. Версилов слишком понял, что князь показывает зубы:

— Я не знаю, в каком смысле вы сказали про масонство, — ответил он, — впрочем, если даже русский князь отрекается от такой идеи, то, разумеется, еще не наступило ей время. Идея чести и просвещения, как завет всякого, кто хочет присоединиться к сословию, незамкнутому и обновляемому беспрерывно, — конечно утопия, но почему же невозможная? Если живет эта мысль хотя лишь в немногих головах, то она еще не погибла, а светит, как огненная точка в глубокой тьме.

— Вы любите употреблять слова: «высшая мысль», «великая мысль», «скрепляющая идея» и проч.; я бы желал знать, что, собственно, вы подразумеваете под словом «великая мысль»?

— Право, не знаю, как вам ответить на это, мой милый князь, — тонко усмехнулся Версилов. — Если я признаюсь вам, что и сам не умею ответить, то это будет вернее. Великая мысль — это чаще всего чувство, которое слишком иногда подолгу остается без определения. Знаю только, что это всегда было то, из чего истекала живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная, а, напротив, нескучная и веселая; так что высшая идея, из которой она истекает, решительно необходима, к всеобщей досаде разумеется.

— Почему к досаде?

— Потому, что жить с идеями скучно, а без идей всегда весело.

Князь съел пилюлю.

— А что же такое эта живая жизнь, по-вашему? (Он видимо злился.)

— Тоже не знаю, князь; знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая.

— Я хотел только сказать, что ваша идея о дворянстве есть в то же время и отрицание дворянства, — сказал князь.

— Ну если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, никогда и не существовало.

— Всё это ужасно темно и неясно. Если говорить, то, по-моему, надо развить...

Князь сморщил лоб и мельком взглянул на стенные часы. Версилов встал и захватил свою шляпу.

— Развить? — сказал он, — нет, уж лучше не развивать, и к тому же страсть моя — говорить без развития. Право, так. И вот еще странность: случись, что я начну развивать мысль, в которую верую, и почти всегда так выходит, что в конце изложения я сам перестаю веровать в излагаемое; боюсь подвергнуться и теперь. До свидания, дорогой князь: у вас я всегда непростительно разболтаюсь.

Он вышел; князь вежливо проводил его, но мне было обидно.

— Чего вы-то нахохлились? — вдруг выпалил он, не глядя и проходя мимо к конторке.

— Я к тому нахохлился, — начал я с дрожью в голосе, — что, находя в вас такую странную перемену тона ко мне и даже к Версилову, я... Конечно, Версилов, может быть, начал несколько ретроградно, но потом он поправился и... в его словах, может быть, заключалась глубокая мысль, но вы просто не поняли и...

— Я просто не хочу, чтоб меня выскакивали учить и считали за мальчишку! — отрезал он почти с гневом.

— Князь, такие слова...

— Пожалуйста, без театральных жестов — сделайте одолжение. Я знаю, что то, что я делаю, — подло, что я — мот, игрок, может быть, вор... да, вор, потому что я проигрываю деньги семейства, но я вовсе не хочу надо мной судей. Не хочу и не допускаю. Я — сам себе суд. И к чему двусмысленности? Если он мне хотел высказать, то и говори прямо, а не пророчь сумбур туманный. Но, чтоб сказать это мне, надо право иметь, надо самому быть честным...

— Во-первых, я не застал начала и не знаю, о чем вы говорили, а во-вторых, чем же бесчестен Версилов, позвольте вас это спросить?

— Довольно, прошу вас, довольно. Вы вчера просили триста рублей, вот они... — Он положил передо мной на стол деньги, а сам сел в кресло, нервно отклонился на спинку и забросил одну ногу за другую. Я остановился в смущении.

— Я не знаю... — пробормотал я, — хоть я вас и просил... и хоть мне и очень нужны деньги теперь, но ввиду такого тона...

— Оставьте тон. Если я сказал что-нибудь резкое, то извините меня. Уверяю вас, что мне не до того. Выслушайте дело: я получил письмо из Москвы; брат Саша, еще ребенок, он, вы знаете, умер четыре дня назад. Отец мой, как вам тоже известно, вот уже два года в параличе, а теперь ему, пишут, хуже, слова не может вымолвить и не узнает. Они обрадовались там наследству и хотят везти за границу; но мне пишет доктор, что он вряд ли и две недели проживет. Стало быть, остаемся мать, сестра и я, и, стало быть, теперь я один почти... Ну, одним словом, я — один... Это на-

следство... Это наследство — о, может, лучше б было, если б оно не приходило вовсе! Но вот что именно я вам хотел сообщить: я обещал из этого наследства Андрею Петровичу minimum двадцать тысяч... А между тем, представьте, за формальностями до сих пор ничего нельзя было сделать. Я даже... мы то есть... то есть отец еще не введен даже и во владение этим имением. Между тем я потерял в последние три недели столько денег, и этот мерзавец Стебельков берет такие проценты... Я вам отдал теперь почти последние...

— О князь, если так...

— Я не к тому, не к тому. Стебельков принесет сегодня наверно, и на перехватку довольно будет, но черт его знает этого Стебелькова! Я умолял его достать мне десять тысяч, чтобы хоть десять тысяч я мог отдать Андрею Петровичу. Мое обещание ему выделить треть меня мучит, истязует. Я дал слово и должен сдержать. И, клянусь вам, я рвусь освободиться от обязательств хоть с этой стороны. Мне они тяжелы, тяжелы, невыносимы! Эта тяготеющая на мне связь... Я не могу видеть Андрея Петровича, потому что не могу глядеть ему прямо в глаза... зачем же он злоупотребляет?

— Чем он злоупотребляет, князь? — остановился я перед ним в изумлении. — Разве он когда вам хоть намекал?

— О нет, и я ценю, но я сам себе намекал. И, наконец, я всё больше и больше втягиваюсь... этот Стебельков...

— Послушайте, князь, успокойтесь, пожалуйста; я вижу, что вы чем дальше, тем больше в волнении, а между тем всё это, может быть, лишь мираж. О, я затянулся и сам, непростительно, подло; но ведь я знаю, что это только временное... и только бы мне отыграть известную цифру, и тогда скажите, я вам должен с этими тремя стами до двух тысяч пятисот, так ли?

— Я с вас, кажется, не спрашиваю, — вдруг оскалился князь.

— Вы говорите: Версилову десять тысяч. Если я беру у вас теперь, то, конечно, эти деньги пойдут в зачет двадцати тысяч Версилова; я иначе не допускаю. Но... но я наверно и сам отдам... Да неужели же вы думаете, что Версилов к вам ходит за деньгами?

— Для меня легче было б, если б он ходил ко мне за деньгами, — загадочно промолвил князь.

— Вы говорите об какой-то «тяготеющей связи»... Если это с Версиловым и со мной, то это, ей-богу, обидно. И наконец, вы говорите: зачем он сам не таков, каким быть учит, — вот ваша логика! И во-первых, это — не логика, позвольте мне это вам доложить, потому что если б он был и не таков, то все-таки мог бы проповедовать истину... И наконец, что это за слово «проповедует»? Вы говорите: пророк. Скажите, это вы его назвали «бабьим пророком» в Германии?

— Нет, не я.

— Мне Стебельков говорил, что вы.

— Он солгал. Я — не мастер давать насмешливые прозвища. Но если кто проповедует честь, то будь и сам честен — вот моя логика, и если неправильна, то всё равно. Я хочу, чтоб было так, и будет так. И никто, никто не смей приходить судить меня ко мне в дом и считать меня за младенца! Довольно, — вскричал он, махнув на меня рукой, чтоб я не продолжал. — А, наконец!

Отворилась дверь, и вошел Стебельков.

III

Он был всё тот же, так же щеголевато одет, так же выставлял грудь вперед, так же глупо смотрел в глаза, так же воображал, что хитрит, и был очень доволен собой. Но на этот раз, входя, он как-то странно осмотрелся; что-то особенно осторожное и проницательное было в его взгляде, как будто он что-то хотел угадать по нашим физиономиям. Мигом, впрочем, он успокоился, и самоуверенная улыбка засияла на губах его, та «просительно-наглая» улыбка, которая все-таки была невыразимо гадка для меня.

Я знал давно, что он очень мучил князя. Он уже раз или два приходил при мне. Я... я тоже имел с ним одно сношение в этот последний месяц, но на этот раз я, по одному случаю, немного удивился его приходу.

— Сейчас, — сказал ему князь, не поздоровавшись с ним, и, обратясь к нам спиной, стал вынимать из конторки нужные бумаги и счеты. Что до меня, я был решительно обижен последними словами князя; намек на бесчестность Версилова был так ясен (и так удивителен!), что нельзя было оставить его без радикального разъяснения. Но при Стебелькове невозможно было. Я разлегся опять на диване и развернул лежавшую передо мной книгу.

— Белинский, вторая часть! Это — новость; просветиться желаете? — крикнул я князю, и, кажется, очень выделанно.

Он был очень занят и спешил, но на слова мои вдруг обернулся.

— Я вас прошу, оставьте эту книгу в покое, — резко проговорил он.

Это выходило уже из границ, и, главное — при Стебелькове! Как нарочно, Стебельков хитро и гадко осклабился и украдкой кивнул мне на князя. Я отворотился от этого глупца.

— Не сердитесь, князь; уступаю вас самому главному человеку, а пока стушевываюсь...

Я решился быть развязным.

— Это я-то — главный человек? — подхватил Стебельков, весело показывая сам на себя пальцем.

— Да, вы-то; вы самый главный человек и есть, и сами это знаете.

— Нет-с, позвольте. На свете везде второй человек. Я — второй человек. Есть первый человек, и есть второй человек. Первый

человек сделает, а второй человек возьмет. Значит, второй человек выходит первый человек, а первый человек — второй человек. Так или не так?

— Может, и так, только я вас, по обыкновению, не понимаю.

— Позвольте. Была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и всё взял. Революция — это первый человек, а Наполеон — второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Так или не так?

Замечу, между прочим, что в том, что он заговорил со мной про французскую революцию, я увидел какую-то еще прежнюю хитрость его, меня очень забавлявшую: он всё еще продолжал считать меня за какого-то революционера и во все разы, как меня встречал, находил необходимым заговорить о чем-нибудь в этом роде.

— Пойдемте, — сказал князь, и оба они вышли в другую комнату. Оставшись один, я окончательно решился отдать ему назад его триста рублей, как только уйдет Стебельков. Мне эти деньги были до крайности нужны, но я решился.

Они оставались там минут десять совсем не слышно и вдруг громко заговорили. Заговорили оба, но князь вдруг закричал, как бы в сильном раздражении, доходившем до бешенства. Он иногда бывал очень вспыльчив, так что даже я спускал ему. Но в эту самую минуту вошел лакей с докладом; я указал ему на их комнату, и там мигом всё затихло. Князь быстро вышел с озабоченным лицом, но с улыбкой; лакей побежал, и через полминуты вошел к князю гость.

Это был один важный гость, с аксельбантами и вензелем, господин лет не более тридцати, великосветской и какой-то строгой наружности. Предварю читателя, что князь Сергей Петрович к высшему петербургскому свету всё еще не принадлежал настоящим образом, несмотря на всё страстное желание свое (о желании я знал), а потому он ужасно должен был ценить такое посещение. Знакомство это, как мне известно было, только что завязалось, после больших стараний князя; гость отдавал теперь визит, но, к несчастию, накрыл хозяина врасплох. Я видел, с каким мучением и с каким потерянным взглядом обернулся было князь на миг к Стебелькову; но Стебельков вынес взгляд как ни в чем не бывало и, нисколько не думая стушевываться, развязно сел на диван и начал рукой ерошить свои волосы, вероятно в знак независимости. Он сделал даже какую-то важную мину, одним словом, решительно был невозможен. Что до меня, разумеется, я и тогда уже умел себя держать и, конечно, не осрамил бы никого, но каково же было мое изумление, когда я поймал тот же потерянный, жалкий и злобный взгляд князя и на мне: он стыдился, стало быть, нас обоих и меня равнял с Стебельковым. Эта идея привела меня в бешенство; я разлегся еще больше и стал перебирать книгу с таким видом, как будто до меня ничего не касается. Напротив, Стебельков выпучил глаза, выгнулся вперед и начал

вслушиваться в их разговор, полагая, вероятно, что это и вежливо и любезно. Гость раз-другой глянул на Стебелькова; впрочем, и на меня тоже.

Они заговорили о семейных новостях; этот господин когда-то знал мать князя, происходившую из известной фамилии. Сколько я мог заключить, гость, несмотря на любезность и кажущееся простодушие тона, был очень чопорен и, конечно, ценил себя настолько, что визит свой мог считать за большую честь даже кому бы то ни было. Если б князь был один, то есть без нас, я уверен, он был достойнее и находчивее; теперь же что-то особенно дрожавшее в улыбке его, может быть слишком уж любезной, и какая-то странная рассеянность выдавали его.

Еще пяти минут они не сидели, как вдруг еще доложили гостя, и, как нарочно, тоже из компрометирующих. Этого я знал хорошо и слышал о нем много, хотя он меня совсем не знал. Это был еще очень молодой человек, впрочем лет уже двадцати трех, прелестно одетый, хорошего дома и красавчик собой, но — несомненно дурного общества. В прошлом году он еще служил в одном из виднейших кавалерийских гвардейских полков, но принужден был сам подать в отставку, и все знали из каких причин. Об нем родные публиковали даже в газетах, что не отвечают за его долги, но он продолжал еще и теперь свой кутеж, доставая деньги по десяти процентов в месяц, страшно играя в игорных обществах и проматываясь на одну известную француженку. Дело в том, что с неделю назад ему удалось выиграть в один вечер тысяч двенадцать, и он торжествовал. С князем он был на дружеской ноге: они часто вместе и заодно играли; но князь даже вздрогнул, завидев его, я заметил это с своего места: этот мальчик был всюду как у себя дома, говорил громко и весело, не стесняясь ничем и всё, что на ум придет, и, уж разумеется, ему и в голову не могло прийти, что наш хозяин так дрожит перед своим важным гостем за свое общество.

Войдя, он прервал их разговор и тотчас начал рассказывать о вчерашней игре, даже еще и не садясь.

— Вы, кажется, тоже были, — оборотился он с третьей фразы к важному гостю, приняв того за кого-то из своих, но, тотчас же разглядев, крикнул:

— Ах, извините, а я вас было принял тоже за вчерашнего!

— Алексей Владимирович Дарзан, Ипполит Александрович Нащокин, — поспешно познакомил их князь; этого мальчика все-таки можно было рекомендовать: фамилия была хорошая и известная, но нас он давеча не отрекомендовал, и мы продолжали сидеть по своим углам. Я решительно не хотел повертывать к ним головы; но Стебельков при виде молодого человека стал радостно осклабляться и видимо угрожал заговорить. Всё это мне становилось даже забавно.

— Я вас в прошлом году часто у графини Веригиной встречал, — сказал Дарзан.

— Я вас помню, но вы были тогда, кажется, в военном, — ласково ответил Нащокин.

— Да, в военном, но благодаря... А, Стебельков, уж тут? Каким образом он здесь? Вот именно благодаря вот этим господчикам я и не в военном, — указал он прямо на Стебелькова и захохотал. Радостно засмеялся и Стебельков, вероятно приняв за любезность. Князь покраснел и поскорее обратился с каким-то вопросом к Нащокину, а Дарзан, подойдя к Стебелькову, заговорил с ним о чем-то очень горячо, но уже вполголоса.

— Вам, кажется, очень знакома была за границей Катерина Николаевна Ахмакова? — спросил гость князя.

— О да, я знал...

— Кажется, здесь будет скоро одна новость. Говорят, она выходит замуж за барона Бьоринга.

— Это верно! — крикнул Дарзан.

— Вы... наверно это знаете? — спросил князь Нащокина, с видимым волнением и с особенным ударением выговаривая свой вопрос.

— Мне говорили; и об этом, кажется, уже говорят; наверно, впрочем, не знаю.

— О, наверно! — подошел к ним Дарзан, — мне вчера Дубасов говорил; он всегда такие новости первый знает. Да и князю следовало бы знать...

Нащокин переждал Дарзана и опять обратился к князю:

— Она редко стала бывать в свете.

— Последний месяц ее отец был болен, — как-то сухо заметил князь.

— А с похождениями, кажется, барыня! — брякнул вдруг Дарзан.

Я поднял голову и выпрямился.

— Я имею удовольствие лично знать Катерину Николаевну и беру на себя долг заверить, что все скандальные слухи — одна ложь и срам... и выдуманы теми... которые кружились, да не успели.

Так глупо оборвав, я замолчал, всё еще смотря на всех с разгоревшимся лицом и выпрямившись. Все ко мне обернулись, но вдруг захихикал Стебельков; осклабился тоже и пораженный было Дарзан.

— Аркадий Макарович Долгорукий, — указал на меня князь Дарзану.

— Ах, поверьте, *князь,* — открыто и добродушно обратился ко мне Дарзан, — я не от себя говорю; если были толки, то не я их распустил.

— О, я не вам! — быстро ответил я, но уж Стебельков непозволительно рассмеялся, и именно, как объяснилось после, тому, что Дарзан назвал меня князем. Адская моя фамилия и тут подгадила. Даже и теперь краснею от мысли, что я, от стыда конечно, не посмел в ту минуту поднять эту глупость и не заявил вслух,

что я — просто Долгорукий. Это случилось еще в первый раз в моей жизни. Дарзан в недоумении глядел на меня и на смеющегося Стебелькова.

— Ах да! какую это хорошенькую я сейчас встретил у вас на лестнице, востренькая и светленькая? — спросил он вдруг князя.

— Право, не знаю какую, — ответил тот быстро, покраснев.

— Кому же знать? — засмеялся Дарзан.

— Впрочем, это... это могла быть... — замялся как-то князь.

— Это... вот именно их сестрица была, Лизавета Макаровна! — указал вдруг на меня Стебельков. — Потому я их тоже давеча встретил...

— Ах, в самом деле! — подхватил князь, но на этот раз с чрезвычайно солидною и серьезною миной в лице, — это, должно быть, Лизавета Макаровна, короткая знакомая Анны Федоровны Столбеевой, у которой я теперь живу. Она, верно, посещала сегодня Дарью Онисимовну, тоже близкую знакомую Анны Федоровны, на которую та, уезжая, оставила дом...

Это всё точно так и было. Эта Дарья Онисимовна была мать бедной Оли, о которой я уже рассказывал и которую Татьяна Павловна приютила наконец у Столбеевой. Я отлично знал, что Лиза у Столбеевой бывала и изредка посещала потом бедную Дарью Онисимовну, которую все у нас очень полюбили; но тогда, вдруг, после этого, впрочем, чрезвычайно дельного заявления князя и особенно после глупой выходки Стебелькова, а может быть и потому, что меня сейчас назвали князем, я вдруг от всего этого весь покраснел. К счастью, в эту самую минуту встал Нащокин, чтоб уходить; он протянул руку и Дарзану. В мгновение, когда мы остались одни с Стебельковым, тот вдруг закивал мне на Дарзана, стоявшего к нам спиною, в дверях; я показал Стебелькову кулак.

Через минуту отправился и Дарзан, условившись с князем непременно встретиться завтра в каком-то уже намеченном у них месте — в игорном доме разумеется. Выходя, он крикнул что-то Стебелькову и слегка поклонился и мне. Чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху:

— Этот барчонок следующую штучку на прошлой неделе отколол: дал вексель, а бланк надписал фальшивый на Аверьянова. Векселек-то в этом виде и существует, только это не принято! Уголовное. Восемь тысяч.

— И наверно этот вексель у вас? — зверски взглянул я на него.

— У меня банк-с, у меня mont de piété,[1] а не вексель. Слыхали, что такое mont de piété в Париже? хлеб и благодеяние бедным; у меня mont de piété...

Князь грубо и злобно остановил его:

— Вы чего тут? Зачем вы сидели?

---

[1] ломбард, ссудная касса *(франц.)*.

— А! — быстро закивал глазами Стебельков, — а то? Разве пе то?

— Нет-нет-иет, не то, — закричал и топнул князь, — я сказал!

— А ну, если так... так и так. Только это — не так...

Он круто повернулся и, наклоня голову и выгнув спину, вдруг вышел. Князь прокричал ему вслед уже в дверях:

— Знайте, сударь, что я вас нисколько не боюсь!

Он был очень раздражен, хотел было сесть, но, взглянув на меня, не сел. Взгляд его как будто и мне тоже проговорил: «Ты тоже зачем торчишь?»

— Я, князь, — начал было я...

— Мне, право, некогда, Аркадий Макарович, я сейчас еду.

— Одну минутку, князь, мне очень важное; и, во-первых, возьмите назад ваши триста.

— Это еще что такое?

Он ходил, но приостановился.

— То такое, что после всего, что было... и то, что вы говорили про Версилова, что он бесчестен, и, наконец, ваш тон во всё остальное время... Одним словом, я никак не могу принять.

— Вы, однако же, *принимали* целый месяц.

Он вдруг сел на стул. Я стоял у стола и одной рукой трепал книгу Белинского, а в другой держал шляпу.

— Были другие чувства, князь... И наконец, я бы никогда не довел до известной цифры... Эта игра... Одним словом, я не могу!

— Вы просто ничем не ознаменовали себя, а потому и беситесь; я бы попросил вас оставить эту книгу в покое.

— Что это значит: «не ознаменовали себя»? И наконец, вы при ваших гостях почти сравняли меня с Стебельковым.

— А, вот разгадка! — едко осклабился он. — К тому же вы сконфузились, что Дарзан вас назвал князем.

Он злобно засмеялся. Я вспыхнул:

— Я даже не понимаю... ваше княжество я не возьму и даром...

— Я знаю ваш характер. Как смешно вы крикнули в защиту Ахмаковой... Оставьте книгу!

— Что это значит? — вскричал я тоже.

— О-ставь-те книгу! — завопил он вдруг, свирепо выпрямившись в кресле, точно готовый броситься.

— Это уж сверх всяких границ, — проговорил я и быстро вышел из комнаты. Но я еще не прошел до конца залы, как он крикнул мне из дверей кабинета:

— Аркадий Макарович, воротитесь! Во-ро-ти-тесь! Во-ро-ти-тесь сейчас!

Я не слушал и шел. Он быстрыми шагами догнал меня, схватил за руку и потащил в кабинет. Я не сопротивлялся!

— Возьмите! — говорил он, бледный от волнения, подавая брошенные мной триста рублей. — Возьмите непременно... иначе мы... непременно!

— Князь, как могу я взять?

— Ну, я у вас прошу прощенья, хотите? Ну, простите меня!..

— Князь, я вас всегда любил, и если вы меня тоже...

— Я — тоже; возьмите...

Я взял. Губы его дрожали.

— Я понимаю, князь, что вы взбешены этим мерзавцем... но я не иначе, князь, возьму, как если мы поцелуемся, как в прежних размолвках...

Говоря это, я тоже дрожал.

— Ну вот нежности, — пробормотал князь, смущенно улыбаясь, но нагнулся и поцеловал меня. Я вздрогнул: в лице его в миг поцелуя я решительно прочел отвращение.

— По крайней мере деньги-то вам принес?..

— Э, всё равно.

— Я для вас же...

— Принес, принес.

— Князь, мы были друзьями... и, наконец, Версилов...

— Ну да, да, хорошо!

— И, наконец, я, право, не знаю окончательно, эти триста...

Я держал их в руках.

— Берите, бе-ри-те! — усмехнулся он опять, но в улыбке его было что-то очень недоброе.

Я взял.

Глава третья

I

Я взял потому, что любил его. Кто не поверит, тому я отвечу, что в ту минуту по крайней мере, когда я брал у него эти деньги, я был твердо уверен, что если захочу, то слишком могу достать и из другого источника. А потому, стало быть, взял не из крайности, а из деликатности, чтоб только его не обидеть. Увы, я так тогда рассуждал! Но все-таки мне было очень тяжело выходя от него: я видел необычайную перемену ко мне в это утро; такого тона никогда еще не было; а против Версилова это был уж решительный бунт. Стебельков, конечно, чем-нибудь досадил ему очень давеча, но он начал еще и до Стебелькова. Повторю еще раз: перемену против первоначального можно было заметить и во все последние дни, но не так, не до такой степени — вот что главное.

Могло повлиять и глупое известие об этом флигель-адъютанте бароне Бьоринге... Я тоже вышел в волнении, но... То-то и есть, что тогда сияло совсем другое, и я так много пропускал мимо глаз легкомысленно: спешил пропускать, гнал всё мрачное и обращался к сияющему...

Еще не было часу пополудни. От князя на моем Матвее я отправился прямо — поверят ли к кому? — к Стебелькову! То-то и есть,

что он давеча удивил меня не столько приходом своим к князю (так как он и обещал ему быть), сколько тем, что он хоть и подмигивал мне по своей глупой привычке, но вовсе не на ту тему, на которую я ожидал. Вчера вечером я получил от него по городской почте записку, довольно для меня загадочную, в которой он очень просил побывать к нему именно сегодня, во втором часу, и «что он может сообщить мне вещи для меня неожиданные». И вот о письме этом, сейчас, там у князя, он даже и виду не подал. Какие могли быть тайны между Стебельковым и мною? Такая идея была даже смешна; но ввиду всего происшедшего я теперь, отправляясь к нему, был даже в маленьком волнении. Я, конечно, обращался к нему раз, недели две тому, за деньгами, и он давал, но почему-то мы тогда разошлись, и я сам не взял: он что-то тогда забормотал неясно, по своему обыкновению, и мне показалось, что он хотел что-то предложить, какие-то особые условия; а так как я третировал его решительно свысока во все разы, как встречал у князя, то гордо прервал всякую мысль об особенных условиях и вышел, несмотря на то что он гнался за мной до дверей; я тогда взял у князя.

Стебельков жил совершенным особняком, и жил зажиточно: квартира из четырех прекрасных комнат, хорошая мебель, мужская и женская прислуга и какая-то экономка, довольно, впрочем, пожилая. Я вошел в гневе.

— Послушайте, батюшка, — начал я еще из дверей, — что значит, во-первых, эта записка? Я не допускаю переписки между мною и вами. И почему вы не объявили то, что вам надо, давеча прямо у князя: я был к вашим услугам.

— А вы зачем давеча тоже молчали и не спросили? — раздвинул он рот в самодовольнейшую улыбку.

— Потому что не я к вам имею надобность, а вы ко мне имеете надобность, — крикнул я, вдруг разгорячившись.

— А зачем же вы ко мне прибыли, коли так? — чуть не подскочил он на месте от удовольствия. Я мигом повернулся и хотел было выйти, но он ухватил меня за плечо.

— Нет, нет, я шутил. Дело важное; сами увидите.

Я сел. Признаюсь, мне было любопытно. Мы уселись у края большого письменного стола, один против другого. Он хитро улыбнулся и подпял было палец.

— Пожалуйста, без ваших хитростей и без пальцев, и главное — без всяких аллегорий, а прямо к делу, не то я сейчас уйду! — крикнул я опять в гневе.

— Вы... горды! — произнес он с каким-то глупым укором, качнувшись ко мне в креслах и подняв кверху все свои морщины на лбу своем.

— Так и надо с вами!

— Вы... у князя брали сегодня деньги, триста рублей; у меня есть деньги. Мои деньги лучше.

— Откуда вы знаете, что я брал? — ужасно удивился я. — Неужто ж он про это вам сам сказал?

— Он мне сказал; не беспокойтесь, так, мимо речи, к слову вышло, к одному только слову, не нарочно. Он мне сказал. А можно было у него не брать. Так или не так?

— Но вы, я слышал, дерете проценты невыносимые.

— У меня mont de piété, а я не деру. Я для приятелей только держу, а другим не даю. Для других mont de piété...

Этот mont de piété был самая обыкновенная ссуда денег под залоги, на чье-то имя, в другой квартире, и процветавшее.

— А приятелям я большие суммы даю.

— Что ж, князь вам разве такой приятель?

— При-я-тель; но... он задает турусы. А он не смеет задавать турусы.

— Что ж, он так у вас в руках? Много должен?

— Он... много должен.

— Он вам заплатит; у него наследство...

— Это — не его наследство; он деньги должен и еще другое должен. Мало наследства. Я вам дам без процентов.

— Тоже как «приятелю»? Чем же это я заслужил? — засмеялся я.

— Вы заслужите. — Он опять рванулся ко мне всем корпусом и поднял было палец.

— Стебельков! без пальцев, иначе уйду.

— Слушайте... он может жениться на Анне Андреевне! — И он адски прищурил свой левый глаз.

— Послушайте, Стебельков, разговор принимает до того скандальный характер... Как вы смеете упоминать имя Анны Андреевны?

— Не сердитесь.

— Я только скрепя сердце слушаю, потому что ясно вижу какую-то тут проделку и хочу узнать... Но я могу не выдержать, Стебельков?

— Не сердитесь, не гордитесь. Немножко не гордитесь и выслушайте; а потом опять гордитесь. Про Анну Андреевну ведь знаете? Про то, что князь может жениться... ведь знаете?

— Об этой идее я, конечно, слышал, и знаю всё; но я никогда не говорил с князем об этой идее. Я знаю только, что эта идея родилась в уме старого князя Сокольского, который и теперь болен; но я никогда ничего не говорил и в том не участвовал. Объявляя вам об этом единственно для объяснения, позволю вас спросить, во-первых: для чего вы-то со мной об этом заговорили? А во-вторых, неужели князь с *вами* о таких вещах говорит?

— Не он со мной говорит; он не хочет со мной говорить, а я с ним говорю, а он не хочет слушать. Давеча кричал.

— Еще бы! Я одобряю его.

— Старичок, князь Сокольский, за Анной Андреевной много даст; она угодила. Тогда жених князь Сокольский мне все деньги отдаст. И неденежный долг тоже отдаст. Наверно отдаст! А теперь ему нечем отдать.

— Я-то, я-то зачем вам нужен?

— Для главного вопроса: вы знакомы; вы везде там знакомы. Вы можете всё узнать.

— Ах, черт... что узнать?

— Хочет ли князь, хочет ли Анна Андреевна, хочет ли старый князь. Узнать наверно.

— И вы смеете мне предлагать быть вашим шпионом, и это — за деньги! — вскочил я в негодовании.

— Не гордитесь, не гордитесь. Еще только немножко не гордитесь, минут пять всего. — Он опять посадил меня. Он видимо не боялся моих жестов и возгласов; но я решился дослушать.

— Мне нужно скоро узнать, скоро узнать, потому... потому, может, скоро будет и поздно. Видели, как давеча он пилюлю съел, когда офицер про барона с Ахмаковой заговорил?

Я решительно унижался, что слушал долее, но любопытство мое было непобедимо завлечено.

— Слушайте, вы... негодный вы человек! — сказал я решительно. — Если я здесь сижу и слушаю и допускаю говорить о таких лицах... и даже сам отвечаю, то вовсе не потому, что допускаю вам это право. Я просто вижу какую-то подлость... И, во-первых, какие надежды может иметь князь на Катерину Николаевну?

— Никаких, но он бесится.

— Это неправда!

— Бесится. Теперь, стало быть, Ахмакова — пас. Он тут плиэ проиграл. Теперь у него одна Анна Андреевна. Я вам две тысячи дам... без процентов и без векселя.

Выговорив это, он решительно и важно откинулся на спинку стула и выпучил на меня глаза. Я тоже глядел во все глаза.

— На вас платье с Большой Миллионной; надо денег, надо деньги; у меня деньги лучше, чем у него. Я больше, чем две тысячи, дам...

— Да за что? За что, черт возьми?

Я топнул ногой. Он нагнулся ко мне и проговорил выразительно:

— За то, чтоб вы не мешали.

— Да я и без того не касаюсь, — крикнул я.

— Я знаю, что вы молчите; это хорошо.

— Я не нуждаюсь в вашем одобрении. Я очень желаю этого сам с моей стороны, но считаю это не моим делом, и что мне это даже неприлично.

— Вот видите, вот видите, неприлично! — поднял он палец.

— Что вот видите?

— Неприлично... Хе! — и он вдруг засмеялся. — Я понимаю, понимаю, что вам неприлично, но... мешать не будете? — подмигнул он; но в этом подмигивании было уж что-то столь нахальное, даже насмешливое, низкое! Именно он во мне предполагал какую-то

низость и на эту низость рассчитывал... Это ясно было, но я никак не понимал, в чем дело.

— Анна Андреевна — вам тоже сестра-с, — произнес он внушительно.

— Об этом вы не смеете говорить. И вообще об Анне Андреевне вы не смеете говорить.

— Не гордитесь, одну только еще минутку! Слушайте: он деньги получит и всех обеспечит, — веско сказал Стебельков, — всех, *всех,* вы следите?

— Так вы думаете, что я возьму у него деньги?

— Теперь берете же?

— Я беру свои!

— Какие свои?

— Это — деньги версиловские: он должен Версилову двадцать тысяч.

— Так Версилову, а не вам.

— Версилов — мой отец.

— Нет, вы — Долгорукий, а не Версилов.

— Это всё равно!

Действительно, я мог тогда так рассуждать! Я знал, что не всё равно, я не был так глуп, но я опять-таки из «деликатности» так тогда рассуждал.

— Довольно! — крикнул я. — Я ничего ровно не понимаю. И как вы смели призывать меня за такими пустяками?

— Неужто вправду не понимаете? Вы — нарочно иль нет? — медленно проговорил Стебельков, пронзительно и с какою-то недоверчивою улыбкой в меня вглядываясь.

— Божусь, не понимаю!

— Я говорю: он может всех обеспечить, *всех,* только не мешайте и не отговаривайте...

— Вы, должно быть, с ума сошли! Что вы выехали с этим «всех»? Версилова, что ли, он обеспечит?

— Не вы одни есть, и не Версилов... тут и еще есть. А Анна Андреевна вам такая же сестра, *как и Лизавета Макаровна!*

Я смотрел, выпуча глаза. Вдруг что-то даже меня сожалеющее мелькнуло в его гадком взгляде:

— Не понимаете, так и лучше! Это хорошо, очень хорошо, что не понимаете. Это похвально... если действительно только не понимаете.

Я совершенно взбесился:

— У-бир-райтесь вы с вашими пустяками, помешанный вы человек! — крикнул я, схватив шляпу.

— Это — не пустяки! Так идет? А знаете, вы опять придете.

— Нет, — отрезал я на пороге.

— Придете, и тогда... тогда другой разговор. Будет главный разговор. Две тысячи, помните!

II

Он произвел на меня такое грязное и смутное впечатление, что, выйдя, я даже старался не думать и только отплевался. Идея о том, что князь мог говорить с ним обо мне и об этих деньгах, уколола меня как булавкой. «Выиграю и отдам сегодня же», — подумал я решительно.

Как ни был глуп и косноязычен Стебельков, но я видел яркого подлеца, во всем его блеске, а главное, без какой-то интриги тут не могло обойтись. Только некогда мне было вникать тогда ни в какие интриги, и это-то было главною причиною моей куриной слепоты! Я с беспокойством посмотрел на часы, но не было еще и двух; стало быть, еще можно было сделать один визит, иначе я бы пропал до трех часов от волнения. Я поехал к Анне Андреевне Версиловой, моей сестре. С ней я давно уже сошелся у моего старичка князя, именно во время его болезни. Идея о том, что я уже дня три-четыре не видал его, мучила мою совесть; но именно Анна Андреевна меня выручила: князь чрезвычайно как пристрастился к ней и называл даже мне ее своим ангелом-хранителем. Кстати, мысль выдать ее за князя Сергея Петровича действительно родилась в голове моего старичка, и он даже не раз выражал мне ее, конечно по секрету. Я передал эту идею Версилову, заметив и прежде, что из всего насущного, к которому Версилов был столь равнодушен, он, однако, всегда как-то особенно интересовался, когда я передавал ему что-нибудь о встречах моих с Анной Андреевной. Версилов пробормотал мне тогда, что Анна Андреевна слишком умна и может обойтись в таком щекотливом деле и без посторонних советов. Разумеется, Стебельков был прав, что старик даст ей приданое, но как он-то смел рассчитывать тут на что-нибудь? Давеча князь крикнул ему вслед, что не боится его вовсе: уж и в самом деле не говорил ли Стебельков ему в кабинете об Анне Андреевне; воображаю, как бы я был взбешен на его месте.

У Анны Андреевны в последнее время я бывал даже довольно часто. Но тут всегда случалась одна странность: всегда было сама назначит, чтоб я приехал, и уж наверно ждет меня, но, чуть я войду, она непременно сделает вид, что я вошел нежданно и нечаянно; эту черту я в ней заметил, но все-таки я к ней привязался. Она жила у Фанариотовой, своей бабушки, конечно как ее воспитанница (Версилов ничего не давал на их содержание), — но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у Пушкина, например, в «Пиковой даме» воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама вроде графини. Она жила в этом доме совершенно отдельно, то есть хоть и в одном этаже и в одной квартире с Фанариотовыми, но в отдельных двух комнатах, так что, входя и выходя, я, например, ни разу не встретил никого из Фанариотовых. Она имела право принимать к себе, кого хотела, и употреблять всё свое время, как ей было угодно. Правда, ей был уже двадцать третий год. В свет она,

в последний год, почти прекратила ездить, хотя Фанариотова и не скупилась на издержки для своей внучки, которую, как я слышал, очень любила. Напротив, мне именно нравилось в Анне Андреевне, что я всегда встречал ее в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или с рукодельем. В ее виде было что-то монастырское, почти монашеское, и это мне нравилось. Она была немногоречива, но говорила всегда с весом и ужасно умела слушать, чего я никогда не умел. Когда я говорил ей, что она, не имея ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминает мне Версилова, она всегда чуть-чуть краснела. Она краснела часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть, и я очень полюбил в ее лице эту особенность. У ней я никогда не называл Версилова по фамилии, а непременно Андреем Петровичем, и это как-то так само собою сделалось. Я очень даже заметил, что вообще у Фанариотовых, должно быть, как-то стыдились Версилова; я по одной, впрочем, Анне Андреевне это заметил, хотя опять-таки не знаю, можно ли тут употребить слово «стыдились»; что-то в этом роде, однако же, было. Я заговаривал с нею и о князе Сергее Петровиче, и она очень слушала и, мне казалось, интересовалась этими сведениями; но как-то всегда так случалось, что я сам сообщал их, а она никогда не расспрашивала. О возможности между ними брака я никогда не смел с нею заговорить, хотя часто желал, потому что мне самому эта идея отчасти нравилась. Но в ее комнате я ужасно о многом переставал как-то сметь говорить, и, наоборот, мне было ужасно хорошо в ее комнате. Любил я тоже очень, что она очень образованна и много читала, и даже дельных книг; гораздо более моего читала.

Она сама позвала меня к себе в первый раз. Я понимал и тогда, что она, может быть, рассчитывала иногда кой о чем у меня выведать. О, тогда многие могли выведать от меня очень многое! «Но что ж из того, — думал я, — ведь не для этого одного она меня у себя принимает»; одним словом, я даже был рад, что мог быть ей полезным и... и когда я сидел с ней, мне всегда казалось про себя, что это сестра моя сидит подле меня, хоть, однако, про наше родство мы еще ни разу с ней не говорили, ни словом, ни даже намеком, как будто его и не было вовсе. Сидя у ней, мне казалось как-то совсем и немыслимым заговорить про это, и, право, глядя на нее, мне приходила иногда в голову нелепая мысль: что она, может быть, и не знает совсем про это родство, — до того она так держала себя со мной.

III

Войдя, я вдруг застал у ней Лизу. Меня это почти поразило. Мне очень хорошо было известно, что они и прежде виделись; произошло это у «грудного ребенка». Об этой фантазии гордой и стыдливой Анны Андреевны увидать этого ребенка и о встрече там с Лизой я, может быть, потом расскажу, если будет место; но всё

же я никак не ожидал, чтоб Анна Андреевна когда-нибудь пригласила Лизу к себе. Это меня приятно поразило. Не подав виду, разумеется, я, поздоровавшись с Анной Андреевной и горячо пожав руку Лизе, уселся подле нее. Обе занимались *делом:* на столе и на коленях у них лежало дорогое выездное платье Анны Андреевны, но старое, то есть три раза надеванное и которое она желала как-нибудь переделать. Лиза была большая «мастерица» на этот счет и со вкусом, а потому и происходил торжественный совет «мудрых женщин». Я вспомнил Версилова и рассмеялся; да и весь я был в сияющем расположении духа.

— Вы очень сегодня веселы, и это очень приятно, — промолвила Анна Андреевна, важно и раздельно выговаривая слова. Голос ее был густой и звучный контральт, но она всегда произносила спокойно и тихо, всегда несколько опустив свои длинные ресницы и с чуть-чуть мелькавшей улыбкой на ее бледном лице.

— Лиза знает, как я неприятен, когда невесел, — ответил я весело.

— Может быть, и Анна Андреевна про то знает, — кольнула меня шаловливая Лиза. Милая! Если б я знал, что тогда было у нее на душе!

— Что вы теперь делаете? — спросила Анна Андреевна. (Замечу, что она именно даже просила меня побывать к ней сегодня.)

— Я теперь здесь сижу и спрашиваю себя: почему мне всегда приятнее вас находить за книгой, чем за рукодельем? Нет, право, рукоделье к вам почему-то нейдет. В этом смысле я в Андрея Петровича.

— Всё еще не решили поступить в университет?

— Я слишком благодарен, что вы не забываете наших разговоров: это значит, что вы обо мне иногда думаете; но... насчет университета я еще не составил понятия, притом же у меня свои цели.

— То есть у него свой секрет, — заметила Лиза.

— Оставь шутки, Лиза. Один умный человек выразился на днях, что во всем этом прогрессивном движении нашем за последние двадцать лет мы прежде всего доказали, что грязно необразованны. Тут, конечно, и про наших университетских было сказано.

— Ну, верно, папа сказал; ты ужасно часто повторяешь его мысли, — заметила Лиза.

— Лиза, точно ты не предполагаешь во мне собственного ума.

— В наше время полезно вслушиваться в слова умных людей и запоминать их, — слегка заступилась за меня Анна Андреевна.

— Именно, Анна Андреевна, — подхватил я с жаром. — Кто не мыслит о настоящей минуте России, тот не гражданин! Я смотрю на Россию, может быть, с странной точки: мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж конечно потому, что то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и

надо свободу перенести: сумеем ли? Так же ли по вкусу нам свобода окажется? — вот вопрос.

Лиза быстро взглянула на Анну Андреевну, а та тотчас потупилась и начала что-то искать около себя; я видел, что Лиза изо всей силы крепилась, но вдруг как-то нечаянно наши взгляды встретились, и она прыснула со смеху; я вспыхнул:

— Лиза, ты непостижима!

— Прости меня! — сказала она вдруг, перестав смеяться и почти с грустью. — У меня бог знает что в голове...

И точно слезы задрожали вдруг в ее голосе. Мне стало ужасно стыдно: я взял ее руку и крепко поцеловал.

— Вы очень добрый, — мягко заметила мне Анна Андреевна, увидав, что я целую руку Лизы.

— Я пуще всего рад тому, Лиза, что на этот раз встречаю тебя смеющуюся, — сказал я. — Верите ли, Анна Андреевна, в последние дни она каждый раз встречала меня каким-то странным взглядом, а во взгляде как бы вопросом: «Что, не узнал ли чего? Всё ли благополучно?» Право, с нею что-то в этом роде.

Анна Андреевна медленно и зорко на нее поглядела, Лиза потупилась. Я, впрочем, очень хорошо видел, что они обе гораздо более и ближе знакомы, чем мог я предположить, входя давеча; эта мысль была мне приятна.

Вы сказали сейчас, что я добрый; вы не поверите, как я весь изменяюсь у вас к лучшему и как мне приятно быть у вас, Анна Андреевна, — сказал я с чувством.

— А я очень рада, что вы именно теперь так говорите, — с значением ответила она мне. Я должен сказать, что она никогда не заговаривала со мной о моей беспорядочной жизни и об омуте, в который я окунулся, хотя, я знал это, она обо всем этом не только знала, но даже стороной расспрашивала. Так что теперь это было вроде первого намека, и — сердце мое еще более повернулось к ней.

— Что наш больной? — спросил я.

— О, ему гораздо легче: он ходит, и вчера и сегодня ездил кататься. А разве вы и сегодня не заходили к нему? Он вас очень ждет.

— Я виноват пред ним, но теперь вы его навещаете и меня вполне заменили: он — большой изменник и меня на вас променял.

Она сделала очень серьезную мину, так как очень может быть, что шутка моя была тривиальна.

— Я был давеча у князя Сергея Петровича, — забормотал я, — и я... Кстати, Лиза, ты ведь заходила давеча к Дарье Онисимовне?

— Да, была, — как-то коротко ответила она, не подымая головы. — Да ведь ты, кажется, каждый день ходишь к больному князю? — спросила она как-то вдруг, чтобы что-нибудь сказать, может быть.

— Да, я к нему хожу, да только не дохожу, — усмехнулся я. — Я вхожу и поворачиваю налево.

— Даже князь заметил, что вы очень часто заходите к Катерине Николаевне. Он вчера говорил и смеялся, — сказала Анна Андреевна.

— Чему же, чему же смеялся?

— Он шутил, вы знаете. Он говорил, что, напротив, молодая и прекрасная женщина на молодого человека в вашем возрасте всегда производит лишь впечатление негодования и гнева... — засмеялась вдруг Анна Андреевна.

— Послушайте... знаете, что это он ужасно метко сказал, — вскричал я, — наверно, это не он, а вы сказали ему?

— Почему же? Нет, это он.

— Ну, а если эта красавица обратит на него внимание, несмотря на то что он так ничтожен, стоит в углу и злится, потому что «маленький», и вдруг предпочтет его всей толпе окружающих ее обожателей, что тогда? — спросил я вдруг с самым смелым и вызывающим видом. Сердце мое застучало.

— Тогда ты тут так и пропадешь перед нею, — рассмеялась Лиза.

— Пропаду? — вскричал я. — Нет, я не пропаду. Кажется, не пропаду. Если женщина станет поперек моей дороги, то она должна идти за мной. Мою дорогу не прерывают безнаказанно...

Лиза как-то говорила мне раз, мельком, вспоминая уже долго спустя, что я произнес тогда эту фразу ужасно странно, серьезно и как бы вдруг задумавшись; но в то же время «так смешно, что не было возможности выдержать»; действительно, Анна Андреевна опять рассмеялась.

— Смейтесь, смейтесь надо мною! — воскликнул я в упоении, потому что весь этот разговор и направление его мне ужасно нравились, — от вас мне это только удовольствие. Я люблю ваш смех, Анна Андреевна! У вас есть черта: вы молчите и вдруг рассмеетесь, в один миг, так что за миг даже и не угадать по лицу. Я знал в Москве одну даму, отдаленно, я смотрел из угла: она была почти так же прекрасна собою, как вы, но она не умела так же смеяться, и лицо ее, такое же привлекательное, как у вас, — теряло привлекательность; у вас же ужасно привлекает... именно этою способностью... Я вам давно хотел высказать.

Когда я выговорил про даму, что «она была прекрасна собою, как вы», то я тут схитрил: я сделал вид, что у меня вырвалось нечаянно, так что как будто я и не заметил; я очень знал, что такая «вырвавшаяся» похвала оценится выше женщиной, чем какой угодно вылощенный комплимент. И как ни покраснела Анна Андреевна, а я знал, что ей это приятно. Да и даму эту я выдумал: никакой я не знал в Москве; я только чтоб похвалить Анну Андреевну и сделать ей удовольствие.

— Вправду можно подумать, — прелестно усмехнулась она, — что вы в последние дни находились под влиянием какой-нибудь прекрасной женщины.

Я как будто летел куда-то... Мне даже хотелось бы им что-нибудь открыть... но удержался.

— А кстати, как недавно еще вы выражались о Катерине Николавне совсем враждебно.

— Если я выражался как-нибудь дурно, — засверкал я глазами, — то виною тому была монстрюозная клевета на нее, что она — враг Андрею Петровичу; клевета и на него в том, что будто он любил ее, делал ей предложение и подобные нелепости. Эта идея так же чудовищна, как и другая клевета на нее же, что она, будто бы еще при жизни мужа, обещала князю Сергею Петровичу выйти за него, когда овдовеет, а потом не сдержала слова. Но я знаю из первых рук, что всё это не так, а была лишь шутка. Я из первых рук знаю. Раз там, за границей, в одну шутливую минуту, она действительно сказала князю: «может быть», в будущем; но что же это могло означать, кроме лишь легкого слова? Я слишком знаю, что князь, с своей стороны, никакой цены не может придавать такому обещанию, да и не намерен он вовсе, — прибавил я, спохватившись. — У него, кажется, совсем другие идеи, — ввернул я хитро. — Давеча у него Нащокин говорил, что будто бы Катерина Николавна замуж выходит за барона Бьоринга: поверьте, что он перенес это известие как нельзя лучше, будьте уверены.

— У него был Нащокин? — вдруг, веско и как бы удивившись, спросила Анна Андреевна.

— О да; кажется, это из таких порядочных людей...

— И Нащокин говорил с ним об этой свадьбе с Бьорингом? — очень заинтересовалась вдруг Анна Андреевна.

— Не о свадьбе, а так, о возможности, как слух; он говорил, что в свете будто бы такой слух; что до меня, я уверен, что вздор.

Анна Андреевна подумала и наклонилась к своему шитью.

— Я князя Сергея Петровича люблю, — прибавил я вдруг с жаром. — У него есть свои недостатки, бесспорно, я вам говорил уже, именно некоторая одноидейность... но и недостатки его свидетельствуют тоже о благородной душе, не правда ли? Мы с ним, например, сегодня чуть не поссорились за одну идею: его убеждение, что если говоришь о благородстве, то будь сам благороден, не то всё, что ты скажешь, — ложь. Ну, логично ли это? А между тем это же свидетельствует и о высоких требованиях чести в душе его, долга, справедливости, не правда ли?.. Ах, боже мой, который это час? — вдруг вскричал я, нечаянно взглянув на циферблат часов на камине.

— Без десяти минут три, — спокойно произнесла она, взглянув на часы. Всё время, пока я говорил о князе, она слушала меня потупившись, с какою-то хитренькою, но милою усмешкой: она знала, для чего я так хвалю его. Лиза слушала, наклонив голову над работой, и давно уже не ввязывалась в разговор.

Я вскочил как обожженный.

— Вы куда-нибудь опоздали?

— Да... нет... впрочем, опоздал, но я сейчас. Одно только слово, Анна Андреевна, — начал я в волнении, — я не могу не высказать вам сегодня! Я хочу вам признаться, что я уже несколько раз благословлял вашу доброту и ту деликатность, с которою вы пригласили меня бывать у вас... На меня знакомство с вами имело самое сильное впечатление. В вашей комнате я как бы очищаюсь душой и выхожу от вас лучшим, чем я есть. Это верно. Когда я сижу с вами рядом, то не только не могу говорить о дурном, но и мыслей дурных иметь не могу; они исчезают при вас, и, вспоминая мельком о чем-нибудь дурном подле вас, я тотчас же стыжусь этого дурного, робею и краснею в душе. И знаете, мне особенно было приятно встретить у вас сегодня сестру мою... Это свидетельствует о таком вашем благородстве... о таком прекрасном отношении... Одним словом, вы высказали что-то такое *братское*, если уж позволите разбить этот лед, что я...

Пока я говорил, она подымалась с места и всё более и более краснела; но вдруг как бы испугалась чего-то, какой-то черты, которую не надо бы перескакивать, и быстро перебила меня:

— Поверьте, что я сумею оценить всем сердцем ваши чувства... Я их и без слов поняла... и уже давно...

Она приостановилась в смущении, пожимая мне руку. Вдруг Лиза незаметно дернула меня за рукав. Я простился и вышел; но в другой же комнате догнала меня Лиза.

IV

— Лиза, зачем ты меня дернула за рукав? — спросил я.

— Она — скверная, она хитрая, она не стоит... Она тебя держит, чтоб от тебя выведать, — быстрым злобным шепотом прошептала она. Никогда еще я не видывал у ней такого лица.

— Лиза, бог с тобой, она — такая прелестная девушка!

— Ну, так я — скверная.

— Что с тобой?

— Я очень дурная. Она, может быть, самая прелестная девушка, а я дурная. Довольно, оставь. Слушай: мама просит тебя о том, «чего сама сказать не смеет», так и сказала. Голубчик Аркадий! перестань играть, милый, молю тебя... мама тоже...

— Лиза, я сам знаю, но... Я знаю, что это — жалкое малодушие, но... это — только пустяки и больше ничего! Видишь, я задолжал, как дурак, и хочу выиграть, только чтоб отдать. Выиграть можно, потому что я играл без расчета, на ура, как дурак, а теперь за каждый рубль дрожать буду... Не я буду, если не выиграю! Я не пристрастился; это не главное, это только мимолетное, уверяю тебя! Я слишком силен, чтоб не прекратить, когда хочу. Отдам деньги, и тогда ваш нераздельно, и маме скажи, что не выйду от вас...

— Эти триста рублей давеча чего тебе стоили!

— Почему ты знаешь? — вздрогнул я.

— Дарья Онисимовна давеча всё слышала...

Но в эту минуту Лиза вдруг толкнула меня за портьеру, и мы оба очутились за занавесью, в так называемом «фонаре», то есть в круглой маленькой комнатке из окон. Не успел я опомниться, как услышал знакомый голос, звон шпор и угадал знакомую походку.

— Князь Сережа, — прошептал я.

— Он, — прошептала она.

— Чего ты так испугалась?

— Так; я ни за что не хочу, чтоб он меня встретил...

— Tiens, [1] да уж не волочится ли он за тобой? — усмехнулся я, — я б ему тогда задал. Куда ты?

— Выйдем; я с тобой.

— Ты разве уж там простилась?

— Простилась; моя шубка в передней...

Мы вышли; на лестнице меня поразила одна идея:

— Знаешь, Лиза, он, может быть, приехал сделать ей предложение!

— Н-нет... он не сделает предложения... — твердо и медленно проговорила она тихим голосом.

— Ты не знаешь, Лиза, я хоть с ним давеча и поссорился, — если уж тебе пересказывали, — но, ей-богу, я люблю его искренно и желаю ему тут удачи. Мы давеча помирились. Когда мы счастливы, мы так добры... Видишь, в нем много прекрасных наклонностей... и гуманность есть... Зачатки по крайней мере... а у такой твердой и умной девушки в руках, как Версилова, он совсем бы выровнялся и стал бы счастлив. Жаль, что некогда... да проедем вместе немного, я бы тебе сообщил кое-что...

— Нет, поезжай, мне не туда. Обедать придешь?

— Приду, приду, как обещал. Слушай, Лиза: один поганец — одним словом, одно мерзейшее существо, ну, Стебельков, если знаешь, имеет на его дела страшное влияние... векселя... ну, одним словом, держит его в руках и до того его припер, а тот до того унизился, что уж другого исхода, как в предложении Анне Андреевне, оба не видят. Ее по-настоящему надо бы предупредить; впрочем, вздор, она и сама поправит потом все дела. А что, откажет она ему, как ты думаешь?

— Прощай, некогда, — оборвала Лиза, и в мимолетном взгляде ее я увидал вдруг столько ненависти, что тут же вскрикнул в испуге:

— Лиза, милая, за что ты?

— Я не на тебя; не играй только...

— Ах, ты про игру, не буду.

— Ты сейчас сказал: «когда мы в счастье», так ты очень счастлив?

---

[1] Вот как *(франц.)*.

— Ужасно, Лиза, ужасно! Боже мой, да уж три часа, больше!.. Прощай, Лизок. Лизочка, милая, скажи: разве можно заставлять женщину ждать себя? Позволительно это?

— Это при свидании, что ли? — чуть-чуть улыбнулась Лиза какою-то мертвенькою, дрожащею улыбкой.

— Дай свою ручку на счастье.

— На счастье? Мою руку? Ни за что не дам!

И она быстро удалилась. И главное, так серьезно вскрикнула. Я бросился в мои сани.

Да, да, это-то «счастье» и было тогда главною причиною, что я, как слепой крот, ничего, кроме себя, не понимал и не видел!

Глава четвертая

I

Теперь я боюсь и рассказывать. Всё это было давно; но всё это и теперь для меня как мираж. Как могла бы такая женщина назначить свидание такому гнусному тогдашнему мальчишке, каким был я? — вот что было с первого взгляда! Когда я, оставив Лизу, помчался и у меня застучало сердце, я прямо подумал, что я сошел с ума: идея о *назначенном* свидании показалась мне вдруг такою яркою нелепостью, что не было возможности верить. И что же, я совсем не сомневался; даже так: чем ярче казалась нелепость, тем пуще я верил.

То, что пробило уже три часа, меня беспокоило: «Если мне дано свидание, то как же я опаздываю на свидание», — думал я. Мелькали тоже глупые вопросы, вроде таких: «Что мне теперь лучше, смелость или робость?». Но всё это только мелькало, потому что в сердце было главное, и такое, что я определить не мог. Накануне сказано было так: «Завтра я в три часа буду у Татьяны Павловны» — вот и всё. Но, во-первых, я и у ней, в ее комнате, всегда был принят наедине, и она могла сказать мне всё что угодно, и не переселяясь к Татьяне Павловне; стало быть, зачем же назначать другое место у Татьяны Павловны? И опять вопрос: Татьяна Павловна будет дома или не дома? Если это — свидание, то, значит, Татьяны Павловны не будет дома. А как этого достигнуть, не объяснив всего заранее Татьяне Павловне? Значит, и Татьяна Павловна в секрете? Эта мысль казалась мне дикою и как-то нецеломудренною, почти грубою.

И, наконец, она просто-запросто могла захотеть побывать у Татьяны Павловны и сообщила мне вчера безо всякой цели, а я навообразил. Да и сказано было так мельком, небрежно, спокойно и после весьма скучного сеанса, потому что во всё время, как я у ней был вчера, я почему-то был как сбитый с толку: сидел, мямлил и не знал, что сказать, злился и робел ужасно, а она куда-то собиралась, как вышло после, и видимо была рада, когда я стал

уходить. Все эти рассуждения толпились в моей голове. Я решил наконец, что войду, позвоню, отворит кухарка, и я спрошу: «Дома Татьяна Павловна?» Коли нет дома, значит «свидание». Но я не сомневался, не сомневался!

Я взбежал на лестницу и — на лестнице, перед дверью, весь мой страх пропал: «Ну пускай, — думал я, — поскорей бы только!» Кухарка отворила и с гнусной своей флегмой прогнусила, что Татьяны Павловны нет. «А нет ли другого кого, не ждет ли кто Татьяну Павловну?» — хотел было я спросить, но не спросил: «лучше сам увижу», и, пробормотав кухарке, что я подожду, сбросил шубу и отворил дверь...

Катерина Николавна сидела у окна и «дожидалась Татьяну Павловну».

— Ее нет? — вдруг спросила она меня как бы с заботой и досадой, только что меня увидала. И голос и лицо до того не соответствовали моим ожиданиям, что я так и завяз на пороге.

— Кого нет? — пробормотал я.

— Татьяны Павловны! Ведь я же вас просила вчера передать, что буду у ней в три часа?

— Я... я и не видал ее вовсе.

— Вы забыли?

Я сел как убитый. Так вот что оказывалось! И, главное, всё было так ясно, как дважды два, а я — я всё еще упорно верил.

— Я и не помню, что вы просили ей передать. Да вы и не просили: вы просто сказали, что будете в три часа, — оборвал я нетерпеливо. Я не глядел на нее.

— Ах! — вдруг вскричала она, — так если вы забыли сказать, а сами знали, что я буду здесь, так вы-то сюда зачем приехали?

Я поднял голову: ни насмешки, ни гнева в ее лице, а была лишь ее светлая, веселая улыбка и какая-то усиленная шаловливость в выражении лица, — ее всегдашнее выражение, впрочем, — шаловливость почти детская. «Вот видишь, я тебя поймала всего; ну, что ты теперь скажешь?» — как бы говорило всё ее лицо.

Я не хотел отвечать и опять потупился. Молчание продолжалось с полминуты.

— Вы теперь от папа́? — вдруг спросила она.

— Я теперь от Анны Андреевны, а у князя Николая Ивановича вовсе не был... и вы это знали, — вдруг прибавил я.

— С вами ничего не случилось у Анны Андреевны?

— То есть что я имею теперь сумасшедший вид? Нет, я и до Анны Андреевны имел сумасшедший вид.

— И у ней не поумнели?

— Нет, не поумнел. Я там, кроме того, слышал, что вы выходите замуж за барона Бьоринга.

— Это она вам сказала? — вдруг заинтересовалась она.

— Нет, это я ей передал, а слышал, как говорил давеча Нащокин князю Сергею Петровичу у него в гостях.

Я всё не подымал на нее глаз: поглядеть на нее значило облиться светом, радостью, счастьем, а я не хотел быть счастливым. Жало негодования вонзилось в мое сердце, и в один миг я принял огромное решение. Затем я вдруг начал говорить, едва помню о чем. Я задыхался и как-то бормотал, но глядел я уже смело. Сердце у меня стучало. Я заговорил о чем-то ни к чему не относящемся, впрочем, может быть, и складно. Она сначала было слушала с своей ровной, терпеливой улыбкой, никогда не покидавшей ее лица, но мало-помалу удивление, а потом даже испуг мелькнули в ее пристальном взгляде. Улыбка всё еще не покидала ее, но и улыбка подчас как бы вздрагивала.

— Что с вами? — спросил я вдруг, заметив, что она вся вздрогнула.

— Я вас боюсь, — ответила она мне почти тревожно.

— Почему вы не уезжаете? Вот, как теперь Татьяны Павловны нет, и вы знаете, что не будет, то, стало быть, вам надо встать и уехать?

— Я хотела подождать, но теперь... в самом деле...

Она было приподнялась.

— Нет, нет, сядьте, — остановил я ее, — вот вы опять вздрогнули, но вы и в страхе улыбаетесь... У вас всегда улыбка. Вот вы теперь совсем улыбнулись...

— Вы в бреду?

— В бреду.

— Я боюсь... — прошептала она опять.

— Чего?

— Что вы стену ломать начнете... — опять улыбнулась опа, но уже в самом деле оробев.

— Я не могу выносить вашу улыбку!..

И я опять заговорил. Я весь как бы летел. Меня как бы что-то толкало. Я никогда, никогда так не говорил с нею, а всегда робел. Я и теперь робел ужасно, но говорил; помню, я заговорил о ее лице.

— Я не могу больше выносить вашу улыбку! — вскричал я вдруг, — зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами еще в Москве? Да, в Москве; мы об вас еще там говорили с Марьей Ивановной и представляли вас, какая вы должны быть... Помните Марью Ивановну? Вы у ней были. Когда я ехал сюда, вы всю ночь снились мне в вагоне. Я здесь до вашего приезда глядел целый месяц на ваш портрет у вашего отца в кабинете и ничего не угадал. Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие — вот! Я ужасно дивился на это всё время, как к вам ходил. О, и вы умеете смотреть гордо и раздавливать взглядом: я помню, как вы посмотрели на меня у вашего отца, когда приехали тогда из Москвы... Я вас тогда видел, а между тем спроси меня тогда, как я вышел: какая вы? — и я бы не сказал. Даже росту вашего бы не сказал. Я как увидал вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож: у вас глаза не темные, а светлые, и только от длинных

ресниц кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы, — не обижайтесь, ведь это хорошо, это лучше — круглое, румяное, ясное, смелое, смеющееся и... застенчивое лицо! Право, застенчивое. Застенчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой! Застенчивое и целомудренное, клянусь! Больше чем целомудренное — детское! — вот ваше лицо! Я всё время был поражен и всё время спрашивал себя: та ли это женщина? Я теперь знаю, что вы очень умны, но ведь сначала я думал, что вы простоваты. У вас ум веселый, но без всяких прикрас... Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка: это — мой рай! Еще люблю ваше спокойствие, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лениво, — именно эту ленивость люблю. Кажется, подломись под вами мост, вы и тут что-нибудь плавно и мерно скажете... Я воображал вас вéрхом гордости и страстей, а вы все два месяца говорили со мной как студент с студентом... Я никогда не воображал, что у вас такой лоб: он немного низок, как у статуй, но бел и нежен, как мрамор, под пышными волосами. У вас грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нет никакой. Я ведь только теперь поверил, всё не верил!

Она с большими открытыми глазами слушала всю эту дикую тираду; она видела, что я сам дрожу. Несколько раз она приподымала с милым, опасливым жестом свою гантированную ручку, чтоб остановить меня, но каждый раз отнимала ее в недоумении и страхе назад. Иногда даже быстро отшатывалась вся назад. Два-три раза улыбка опять просвечивалась было на ее лице; одно время она очень покраснела, но под конец решительно испугалась и стала бледнеть. Только что я приостановился, она протянула было руку и как бы просящим, но все-таки плавным голосом промолвила:

— Этак нельзя говорить... этак невозможно говорить...

И вдруг поднялась с места, неторопливо захватывая свой шейный платок и свою соболью муфту.

— Вы идете? — вскричал я.

— Я решительно вас боюсь... вы злоупотребляете... — протянула она как бы с сожалением и упреком.

— Послушайте, я, ей-богу, стену не буду ломать.

— Да вы уж начали, — не удержалась она и улыбнулась. — Я даже не знаю, пустите ли вы меня пройти? — И кажется, она впрямь опасалась, что я ее не пущу.

— Я вам сам дверь отворю, идите, но знайте: я принял одно огромное решение; и если вы захотите дать свет моей душе, то воротитесь, сядьте и выслушайте только два слова. Но если не хотите, то уйдите, и я вам сам дверь отворю!

Она посмотрела на меня и села на место.

— С каким бы негодованием вышла иная, а вы сели! — вскричал я в упоении.

— Вы никогда так прежде не позволяли себе говорить.

— Я всегда робел прежде. Я и теперь вошел, не зная, что говорить. Вы думаете, я теперь не робею? Я робею. Но я вдруг принял огромное решение и почувствовал, что его выполню. А как принял это решение, то сейчас и сошел с ума и стал всё это говорить... Выслушайте, вот мои два слова: шпион я ваш или нет? Ответьте мне — вот вопрос!

Краска быстро залила ее лицо.

— Не отвечайте еще, Катерина Николавна, а выслушайте всё и потом скажите всю правду.

Я разом сломал все заборы и полетел в пространство.

II

— Два месяца назад я здесь стоял за портьерой... вы знаете... а вы говорили с Татьяной Павловной про письмо. Я выскочил и, вне себя, проговорился. Вы тотчас поняли, что я что-то знаю... вы не могли не понять... вы искали важный документ и опасались за него... Подождите, Катерина Николавна, удерживайтесь еще говорить. Объявляю вам, что ваши подозрения были основательны: этот документ существует... то есть был... я его видел; это — ваше письмо к Андроникову, так ли?

— Вы видели это письмо? — быстро спросила она, в смущении и волнении. — Где вы его видели?

— Я видел... я видел у Крафта... вот у того, который застрелился...

— В самом деле? Вы сами видели? Что ж с ним сталось?

— Крафт его разорвал.

— При вас, вы видели?

— При мне. Он разорвал, вероятно, перед смертью... Я ведь не знал тогда, что он застрелится...

— Так оно уничтожено, слава богу! — проговорила она медленно, вздохнув, и перекрестилась.

Я не солгал ей. То есть я и солгал, потому что документ был у меня и никогда у Крафта, но это была лишь мелочь, а в самом главном я не солгал, потому что в ту минуту, когда лгал, то дал себе слово сжечь это письмо в тот же вечер. Клянусь, если б оно было у меня в ту минуту в кармане, я бы вынул и отдал ей; но его со мною не было, оно было на квартире. Впрочем, может быть, и не отдал бы, потому что мне было бы очень стыдно признаться ей тогда, что оно у меня и что я сторожил ее так долго, ждал и не отдавал. Всё одно: сжег бы дома, во всяком случае, и не солгал! Я был чист в ту минуту, клянусь.

— А коли так, — продолжал я почти вне себя, — то скажите мне: для того ли вы привлекали меня, ласкали меня, принимали меня, что подозревали во мне знание о документе? Постойте, Катерина Николаевна, еще минутку не говорите, а дайте мне всё

докончить: я всё время, как к вам ходил, всё это время подозревал, что вы для того только и ласкали меня, чтоб из меня выпытать это письмо, довести меня до того, чтоб я признался... Постойте, еще минуту: я подозревал, но я страдал. Двоедушие ваше было для меня невыносимо, потому что... потому что я нашел в вас благороднейшее существо! Я прямо говорю, я прямо говорю: я был вам враг, но я нашел в вас благороднейшее существо! Всё было побеждено разом. Но двоедушие, то есть подозрение в двоедушии, томило... Теперь должно всё решиться, всё объясниться, такое время пришло; но постойте еще немного, не говорите, узнайте, как я смотрю сам на всё это, именно сейчас, в теперешнюю минуту; прямо говорю: если это и так было, то я не рассержусь... то есть я хотел сказать — не обижусь, потому что это так естественно, я ведь понимаю. Что ж тут может быть неестественного и дурного? Вы мучаетесь документом, вы подозреваете, что такой-то всё знает; что ж, вы очень могли желать, чтоб такой-то высказался... Тут ничего нет дурного, ровно ничего. Искренно говорю. Но все-таки надо, чтобы вы теперь мне что-нибудь сказали... признались (простите это слово). Мне надо правду. Почему-то так надо! Итак, скажите: для того ли вы обласкали меня, чтоб выпытать у меня документ... Катерина Николаевна?

Я говорил как будто падал, и лоб мой горел. Она слушала меня уже без тревоги, напротив, чувство было в лице; но она смотрела как-то застенчиво, как будто стыдясь.

— Для того, — проговорила она медленно и вполголоса. — Простите меня, я была виновата, — прибавила она вдруг, слегка приподымая ко мне руки. Я никак не ожидал этого. Я всего ожидал, но только не этих двух слов; даже от нее, которую знал уже.

— И вы говорите мне: «виновата»! Так прямо: «виновата»? — вскричал я.

— О, я уже давно стала чувствовать, что пред вами виновата... и даже рада теперь, что вышло наружу...

— Давно чувствовали? Для чего же вы не говорили прежде?

— Да я не умела как и сказать, — улыбнулась она, — то есть я и сумела бы, — улыбнулась она опять, — но как-то становилось всё совестно... потому что я действительно вначале вас только для этого «привлекала», как вы выразились, ну а потом мне очень скоро стало противно... и надоело мне всё это притворство, уверяю вас! — прибавила она с горьким чувством, — да и все эти хлопоты тоже!

— И почему, почему бы вам не спросить тогда прямехонько образом? Так бы и сказали: «Ведь ты знаешь про письмо, чего же ты притворяешься?» И я бы вам тотчас всё сказал, тотчас признался!

— Да я вас... боялась немного. Признаюсь, я тоже вам и не доверяла. Да и вправду: если я хитрила, то ведь и вы тоже, — прибавила она, усмехнувшись.

— Да, да, я был недостоин! — вскричал я пораженный. — О, вы еще не знаете всех бездн моего падения!

— Ну уж и бездн! Узнаю ваш слог, — тихо улыбнулась она. — Это письмо, — прибавила она грустно, — было самым грустным и легкомысленным поступком моей жизни. Сознание об этом поступке было мне всегдашним укором. Под влиянием обстоятельств и опасений я усумнилась в моем милом, великодушном отце. Зная, что это письмо могло попасть... в руки злых людей... имея полные основания так думать (с жаром произнесла она), я трепетала, что им воспользуются, покажут папа́... а на него это могло произвести чрезвычайное впечатление... в его положении... на здоровье его... и он бы меня разлюбил... Да, — прибавила она, смотря мне ясно в глаза и, вероятно, поймав на лету что-то в моем взгляде, — да, я боялась тоже и за участь мою: я боялась, что он... под влиянием своей болезни... мог лишить меня и своих милостей... Это чувство тоже входило, но я, наверно, и тут перед ним виновата: он так добр и великодушен, что, конечно, бы меня простил. Вот и всё, что было. А что я так поступила с вами, то так не надо было, — кончила она, опять вдруг застыдившись. — Вы меня привели в стыд.

— Нет, вам нечего стыдиться! — вскричал я.

— Я действительно рассчитывала... на вашу пылкость... и сознаюсь в этом, — вымолвила она потупившись.

— Катерина Николаевна! Кто, кто, скажите, заставляет вас делать такие признания мне вслух? — вскрикнул я, как опьянелый, — ну что бы вам стоило встать и в отборнейших выражениях, самым тонким образом доказать мне, как дважды два, что хоть оно и было, но все-таки ничего не было, — понимаете, как обыкновенно умеют у вас в высшем свете обращаться с правдой? Ведь я глуп и груб, я бы вам тотчас поверил, я бы всему поверил от вас, что бы вы ни сказали! Ведь вам бы ничего не стоило так поступить? Ведь не боитесь же вы меня в самом деле? Как могли вы так добровольно унизиться перед выскочкой, перед жалким подростком?

— В этом по крайней мере я не унизилась перед вами, — промолвила она с чрезвычайным достоинством, по-видимому не поняв мое восклицание.

— О, напротив, напротив! я только это и кричу!..

— Ах, это было так дурно и так легкомысленно с моей стороны! — воскликнула она, приподнимая к лицу свою руку и как бы стараясь закрыться рукой, — мне стыдно было еще вчера, а потому я и была так не по себе, когда вы у меня сидели... Вся правда в том, — прибавила она, — что теперь обстоятельства мои вдруг так сошлись, что мне необходимо надо было узнать наконец всю правду об участи этого несчастного письма, а то я было уж стала забывать о нем... потому что я вовсе не из этого только принимала вас у себя, — прибавила она вдруг.

Сердце мое задрожало.

— Конечно нет, — улыбнулась она тонкой улыбкой, — конечно нет! Я... Вы очень метко заметили это давеча, Аркадий Макарович, что мы часто с вами говорили как студент с студентом. Уверяю вас, что мне очень скучно бывает иногда в людях; особенно стало это после заграницы и всех этих наших семейных несчастий... Я даже мало теперь и бываю где-нибудь, и не от одной только лени. Мне часто хочется уехать в деревню. Я бы там перечла мои любимые книги, которые уж давно отложила, а всё никак не сберусь прочесть. Я вам про это уж говорила. Помните, вы смеялись, что я читаю русские газеты, по две газеты в день?

— Я не смеялся...

— Конечно, потому что и вас это так же волновало, а я вам давно призналась: я русская и Россию люблю. Вы помните, мы всё с вами читали «факты», как вы это называли (улыбнулась она). Вы хоть и очень часто бываете какой-то... странный, но вы иногда так оживлялись, что всегда умели сказать меткое слово, и интересовались именно тем, что меня интересовало. Когда вы бываете «студентом», вы, право, бываете милы и оригинальны. Вот другие роли вам, кажется, мало идут, — прибавила она с прелестной, хитрой усмешкой. — Вы помните, мы иногда по целым часам говорили про одни только цифры, считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями... хотелось узнать, куда это всё стремится и что с нами самими, наконец, будет. Я в вас встретила искренность. В свете с нами, с женщинами, так никогда не говорят. Я на прошлой неделе заговорила было с князем —вым о Бисмарке, потому что очень интересовалась, а сама не умела решить, и вообразите, он сел подле и начал мне рассказывать, даже очень подробно, но всё с какой-то иронией и с тою именно нестерпимою для меня снисходительностью, с которою обыкновенно говорят «великие мужи» с нами, женщинами, если те сунутся «не в свое дело»... А помните, как мы о Бисмарке с вами чуть не поссорились? Вы мне доказывали, что у вас есть своя идея «гораздо почище» Бисмарковой, — засмеялась вдруг она. — Я в жизни встретила лишь двух людей, которые со мной говорили вполне серьезно: покойного мужа, очень, очень умного и... бла-го-родного человека, — произнесла она внушительно, — и еще — вы сами знаете кого...

— Версилова! — вскричал я. Я чуть дышал над каждым ее словом.

— Да; я очень любила его слушать, я стала с ним под конец вполне... слишком, может быть, откровенною, но тогда-то он мне и не поверил!

— Не поверил?

— Да, ведь и никто никогда мне не верил.

— Но Версилов, Версилов!

— Он не просто не поверил, — промолвила она, опустив

глаза и странно как-то улыбнувшись, — а счел, что во мне «все пороки».

— Которых у вас нет ни одного!

— Нет, есть некоторые и у меня.

— Версилов не любил вас, оттого и не понял вас, — вскричал я, сверкая глазами.

Что-то передернулось в ее лице.

— Оставьте об этом и никогда не говорите мне об... этом человеке... — прибавила она горячо и с сильною настойчивостью. — Но довольно; пора. (Она встала, чтоб уходить.) — Что ж, прощаете вы меня или нет? — проговорила она, явно смотря на меня.

— Мне... вас... простить! Послушайте, Катерина Николаевна, и не рассердитесь! правда, что вы выходите замуж?

— Это еще совсем не решено, — проговорила она, как бы испугавшись чего-то, в смущении.

— Хороший он человек? Простите, простите мне этот вопрос!

— Да, очень хороший...

— Не отвечайте больше, не удостоивайте меня ответом! Я ведь знаю, что такие вопросы от меня невозможны! Я хотел лишь знать, достоин он или нет, но я про него узнаю сам.

— Ах, послушайте! — с испугом проговорила она.

— Нет, не буду, не буду. Я пройду мимо... Но вот что только скажу: дай вам бог всякого счастия, всякого, какое сами выберете... за то, что вы сами дали мне теперь столько счастья, в один этот час! Вы теперь отпечатались в душе моей вечно. Я приобрел сокровище: мысль о вашем совершенстве. Я подозревал коварство, грубое кокетство и был несчастен... потому что не мог с вами соединить эту мысль... в последние дни я думал день и ночь; и вдруг всё становится ясно как день! Входя сюда, я думал, что унесу иезуитство, хитрость, выведывающую змею, а нашел честь, славу, студента!.. Вы смеетесь? Пусть, пусть! Ведь вы — святая, вы не можете смеяться над тем, что священно...

— О нет, я тому только, что у вас такие ужасные слова... Ну, что такое «выведывающая змея»? — засмеялась она.

— У вас вырвалось сегодня одно драгоценное слово, — продолжал я в восторге. — Как могли вы только выговорить предо мной, «что рассчитывали на мою пылкость»? Ну пусть вы святая и признаетесь даже в этом, потому что вообразили в себе какую-то вину и хотели себя казнить... Хотя, впрочем, никакой вины не было, потому что если и было что, то от вас всё свято! Но все-таки вы могли не сказать именно этого слова, этого выражения!.. Такое неестественное даже чистосердечие показывает лишь высшее ваше целомудрие, уважение ко мне, веру в меня, — бессвязно восклицал я. — О, не краснейте, не краснейте!.. И кто, кто мог клеветать и говорить, что вы — страстная женщина? О, простите: я вижу мучительное выражение на вашем лице; простите исступленному подростку его неуклюжие слова! Да и в словах ли, в выражениях ли теперь дело? Не выше ли вы всех выражений?.. Верси-

лов раз говорил, что Отелло не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому, что у него отняли его идеал!.. Я это понял, потому что и мне сегодня возвратили мой идеал!

— Вы меня слишком хвалите: я не стою того, — произнесла она с чувством. — Помните, что я говорила вам про ваши глаза? — прибавила она шутливо.

— Что у меня не глаза, а вместо глаз два микроскопа, и что я каждую муху преувеличиваю в верблюда! Нет-с, тут не верблюд!.. Как, вы уходите?

Она стояла среди комнаты, с муфтой и с шалью в руке.

— Нет, я подожду, когда вы выйдете, а сама выйду потом. Я еще напишу два слова Татьяне Павловне.

— Я сейчас уйду, сейчас, но еще раз: будьте счастливы, одни или с тем, кого выберете, и дай вам бог! А мне — мне нужен лишь идеал!

— Милый, добрый Аркадий Макарович, поверьте, что я об вас... Про вас отец мой говорит всегда: «милый, добрый мальчик!» Поверьте, я буду помнить всегда ваши рассказы о бедном мальчике, оставленном в чужих людях, и об уединенных его мечтах... Я слишком понимаю, как сложилась душа ваша... Но теперь хоть мы и студенты, — прибавила она с просящей и стыдливой улыбкой, пожимая руку мою, — но нам нельзя уже более видеться как прежде и, и... верно, вы это понимаете?

— Нельзя?

— Нельзя, долго нельзя... в этом уж я виновата... Я вижу, что это теперь совсем невозможно... Мы будем встречаться иногда у папа́...

«Вы боитесь „пылкости“ моих чувств, вы не верите мне?» — хотел было я вскричать; но она вдруг так предо мной застыдилась, что слова мои сами не выговорились.

— Скажите, — вдруг остановила она меня уже совсем у дверей, — вы сами видели, что... то письмо... разорвано? Вы хорошо это запомнили? Почему вы тогда узнали, что это было то самое письмо к Андроникову?

— Крафт мне рассказал его содержание и даже показал мне его... Прощайте! Когда я бывал у вас в кабинете, то робел при вас, а когда вы уходили, я готов был броситься и целовать то место на полу, где стояла ваша нога... — проговорил я вдруг безотчетно, сам не зная как и для чего, и, не взглянув на нее, быстро вышел.

Я пустился домой; в моей душе был восторг. Всё мелькало в уме, как вихрь, а сердце было полно. Подъезжая к дому мамы, я вспомнил вдруг о Лизиной неблагодарности к Анне Андреевне, об ее жестоком, чудовищном слове давеча, и у меня вдруг заныло за них всех сердце! «Как у них у всех жестко на сердце! Да и Лиза, что с ней?» — подумал я, став на крыльцо.

Я отпустил Матвея и велел приехать за мной, ко мне на квартиру в девять часов.

Глава пятая

I

К обеду я опоздал, но они еще не садились и ждали меня. Может быть, потому, что я вообще у них редко обедал, сделаны были даже кой-какие особые прибавления: явились на закуску сардины и проч. Но к удивлению моему и к горю, я застал всех чем-то как бы озабоченными, нахмуренными: Лиза едва улыбнулась, меня завидя, а мама видимо беспокоилась; Версилов улыбался, но с натуги. «Уж не поссорились ли?» — подумалось мне. Впрочем, сначала всё шло хорошо: Версилов только поморщился немного на суп с клецками и очень сгримасничал, когда подали зразы:

— Стоит только предупредить, что желудок мой такого-то кушанья не выносит, чтоб оно на другой же день и явилось, — вырвалось у него в досаде.

— Да ведь что ж, Андрей Петрович, придумать-то? Никак не придумаешь нового-то кушанья никакого, — робко ответила мама.

— Твоя мать — совершенная противоположность иным нашим газетам, у которых что ново, то и хорошо, — хотел было сострить Версилов поигривее и подружелюбнее; но у него как-то не вышло, и он только пуще испугал маму, которая, разумеется, ничего не поняла в сравнении ее с газетами и озиралась с недоумением. В эту минуту вошла Татьяна Павловна и, объявив, что уж отобедала, уселась подле мамы на диване.

Я всё еще не успел приобрести расположения этой особы; даже, напротив, она еще пуще стала на меня нападать за всё про всё. Особенно усилилось ее неудовольствие на меня за последнее время: она видеть не могла моего франтовского платья, а Лиза передавала мне, что с ней почти случился припадок, когда она узнала, что у меня лихач-извозчик. Я кончил тем, что по возможности стал избегать с ней встречи. Два месяца назад, после отдачи наследства, я было забежал к ней поболтать о поступке Версилова, но не встретил ни малейшего сочувствия; напротив, она была страшно обозлена: ей очень не понравилось, что отдано всё, а не половина; мне же она резко тогда заметила:

— Бьюсь об заклад, ты уверен, что он и деньги отдал и на дуэль вызывал, единственно чтоб поправиться в мнении Аркадия Макаровича.

И ведь почти она угадала: в сущности я что-то в этом роде тогда действительно чувствовал.

Я тотчас понял, только что она вошла, что она непременно на меня накинется; даже был немножко уверен, что она, собственно, для этого и пришла, а потому я стал вдруг необыкновенно развязен; да и ничего мне это не стоило, потому что я всё еще, с давешнего, продолжал быть в радости и в сиянии. Замечу раз навсегда, что развязность никогда в жизни не шла ко мне, то есть не была мне

к лицу, а, напротив, всегда покрывала меня позором. Так случилось и теперь: я мигом проврался; без всякого дурного чувства, а чисто из легкомыслия; заметив, что Лиза ужасно скучна, я вдруг брякнул, даже и не подумав о том, что говорю:

— В кои-то веки я здесь обедаю, и вот ты, Лиза, как нарочно, такая скучная!

— У меня голова болит, — ответила Лиза.

— Ах, боже мой, — вцепилась Татьяна Павловна, — что ж, что больна? Аркадий Макарович изволил приехать обедать, должна плясать и веселиться.

— Вы решительно — несчастье моей жизни, Татьяна Павловна; никогда не буду при вас сюда ездить! — и я с искренней досадой хлопнул ладонью по столу; мама вздрогнула, а Версилов странно посмотрел на меня. Я вдруг рассмеялся и попросил у них прощения.

— Татьяна Павловна, беру слово о несчастье назад, — обратился я к ней, продолжая развязничать.

— Нет, нет, — отрезала она, — мне гораздо лестнее быть твоим несчастьем, чем наоборот, будь уверен.

— Милый мой, надо уметь переносить маленькие несчастия жизни, — промямлил, улыбаясь, Версилов, — без несчастий и жить не стоит.

— Знаете, вы — страшный иногда ретроград, — воскликнул я, нервно смеясь.

— Друг мой, это наплевать.

— Нет, не наплевать! Зачем вы ослу не говорите прямо, когда он — осел?

— Уж ты не про себя ли? Я, во-первых, судить никого не хочу и не могу.

— Почему не хотите, почему не можете?

— И лень, и претит. Одна умная женщина мне сказала однажды, что я не имею права других судить потому, что «страдать не умею», а чтобы стать судьей других, надо выстрадать себе право на суд. Немного высокопарно, но в применении ко мне, может, и правда, так что я даже с охотой покорился суждению.

— Да неужто ж это Татьяна Павловна вам сказала? — воскликнул я.

— А ты почему узнал? — с некоторым удивлением взглянул Версилов.

— Да я по лицу Татьяны Павловны угадал: она вдруг так дернулась.

Я угадал случайно. Фраза эта действительно, как оказалось потом, высказана была Татьяной Павловной Версилову накануне в горячем разговоре. Да и вообще, повторяю, я с моими радостями и экспансивностями налетел на них всех вовсе не вовремя: у каждого из них было свое, и очень тяжелое.

— Ничего я не понимаю, потому что всё это так отвлеченно; и вот черта: ужасно как вы любите отвлеченно говорить, Андрей

Петрович; это — эгоистическая черта; отвлеченно любят говорить одни только эгоисты.

— Неглупо сказано, но ты не приставай.

— Нет, позвольте, — лез я с экспансивностями, — что значит «выстрадать право на суд»? Кто честен, тот и судья — вот моя мысль.

— Немного же ты в таком случае наберешь судей.

— Одного уж я знаю.

— Кого это?

— Он теперь сидит и говорит со мной.

Версилов странно усмехнулся, нагнулся к самому моему уху и, взяв меня за плечо, прошептал мне: «Он тебе всё лжет».

Я до сих пор не понимаю, что у него тогда была за мысль, но очевидно он в ту минуту был в какой-то чрезвычайной тревоге (вследствие одного известия, как сообразил я после). Но это слово «он тебе всё лжет» было так неожиданно и так серьезно сказано и с таким странным, вовсе не шутливым выражением, что я весь как-то нервно вздрогнул, почти испугался и дико поглядел на него; но Версилов поспешил рассмеяться.

— Ну и слава богу! — сказала мама, испугавшись тому, что он шептал мне на ухо, — а то я было подумала... Ты, Аркаша, на нас не сердись; умные-то люди и без нас с тобой будут, а вот кто тебя любить-то станет, коли нас друг у дружки не будет?

— Тем-то и безнравственна родственная любовь, мама, что она — не заслуженная. Любовь надо заслужить.

— Пока-то еще заслужишь, а здесь тебя и ни за что любят.

Все вдруг рассмеялись.

— Ну, мама, вы, может, и не хотели выстрелить, а птицу убили! — вскричал я, тоже рассмеявшись.

— А ты уж и в самом деле вообразил, что тебя есть за что любить, — набросилась опять Татьяна Павловна, — мало того, что даром тебя любят, тебя сквозь отвращенье они любят!

— Ан вот нет! — весело вскричал я, — знаете ли, кто, может быть, сказал мне сегодня, что меня любит?

— Хохоча над тобой, сказал! — вдруг как-то неестественно злобно подхватила Татьяна Павловна, как будто именно от меня и ждала этих слов. — Да деликатный человек, а особенно женщина, из-за одной только душевной грязи твоей в омерзение придет. У тебя пробор на голове, белье тонкое, платье у француза шито, а ведь всё это — грязь! Тебя кто обшил, тебя кто кормит, тебе кто деньги, чтоб на рулетках играть, дает? Вспомни, у кого ты брать не стыдишься?

Мама до того вся вспыхнула, что я никогда еще не видал такого стыда на ее лице. Меня всего передернуло:

— Если я трачу, то трачу свои деньги и отчетом никому не обязан, — отрезал было я, весь покраснев.

— Чьи свои? Какие свои?

«Подросток». Страница чернового автографа главы VII третьей части (исповедь Версилова). 1875 г.

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

— Не мои, так Андрей Петровичевы. Он мне не откажет... Я брал у князя в зачет его долга Андрею Петровичу...

— Друг мой, — проговорил вдруг твердо Версилов, — там моих денег ни копейки нет.

Фраза была ужасно значительна. Я осекся на месте. О, разумеется, припоминая всё тогдашнее, парадоксальное и бесшабашное настроение мое, я конечно бы вывернулся каким-нибудь «благороднейшим» порывом, или трескучим словечком, или чем-нибудь, но вдруг я заметил в нахмуренном лице Лизы какое-то злобное, обвиняющее выражение, несправедливое выражение, почти насмешку, и точно бес меня дернул:

— Вы, сударыня, — обратился я вдруг к ней, — кажется, часто посещаете в квартире князя Дарью Онисимовну? Так не угодно ли вам передать ему самой вот эти триста рублей, за которые вы меня сегодня уж так пилили!

Я вынул деньги и протянул ей. Ну поверят ли, что низкие слова эти были сказаны тогда без всякой цели, то есть без малейшего намека на что-нибудь. Да и намека такого не могло быть, потому что в ту минуту я ровнешенько ничего не знал. Может быть, у меня было лишь желание чем-нибудь кольнуть ее, сравнительно ужасно невинным, вроде того, что вот, дескать, барышня, а не в свое дело мешается, так вот не угодно ли, если уж непременно вмешаться хотите, самой встретиться с этим князем, с молодым человеком, с петербургским офицером, и ему передать, «если уж так захотели ввязываться в дела молодых людей». Но каково было мое изумление, когда вдруг встала мама и, подняв передо мной палец и грозя мне, крикнула:

— Не смей! Не смей!

Ничего подобного этому я не мог от нее представить и сам вскочил с места, не то что в испуге, а с каким-то страданием, с какой-то мучительной раной на сердце, вдруг догадавшись, что случилось что-то тяжелое. Но мама не долго выдержала: закрыв руками лицо, она быстро вышла из комнаты. Лиза, даже не глянув в мою сторону, вышла вслед за нею. Татьяна Павловна с полминуты смотрела на меня молча:

— Да неужто ты в самом деле что-нибудь хотел сморозить? — загадочно воскликнула она, с глубочайшим удивлением смотря на меня, но, не дождавшись моего ответа, тоже побежала к ним. Версилов с неприязненным, почти злобным видом встал из-за стола и взял в углу свою шляпу.

— Я полагаю, что ты вовсе не так глуп, а только невинен, — промямлил он мне насмешливо. — Если придут, скажи, чтоб меня не ждали к пирожному: я немножко пройдусь.

Я остался один; сначала мне было странно, потом обидно, а потом я ясно увидел, что я виноват. Впрочем, я не знал, в чем, собственно, я виноват, а только что-то почувствовал. Я сидел у окна и ждал. Прождав минут десять, я тоже взял шляпу и пошел наверх, в мою бывшую светелку. Я знал, что они там, то есть мама

и Лиза, и что Татьяна Павловна уже ушла. Так я их и нашел обеих вместе на моем диване, об чем-то шептавшихся. При моем появлении обе тотчас же перестали шептаться. К удивлению моему, они на меня не сердились; мама по крайней мере мне улыбнулась.

— Я, мама, виноват... — начал было я.

— Ну, ну, ничего, — перебила мама, — а вот любите только друг дружку и никогда не ссорьтесь, то и бог счастья пошлет.

— Он, мама, никогда меня не обидит, я вам это говорю! — убежденно и с чувством проговорила Лиза.

— Если б не эта только Татьяна Павловна, ничего бы не вышло, — вскричал я, — скверная она!

— Видите, мама? Слышите? — указала ей на меня Лиза.

— Я вот что вам скажу обеим, — провозгласил я, — если в свете гадко, то гадок только я, а всё остальное — прелесть!

— Аркаша, не рассердись, милый, а кабы ты в самом деле перестал...

— Это играть? Играть? Перестану, мама; сегодня в последний раз еду, особенно после того, как Андрей Петрович сам и вслух объявил, что его денег там нет ни копейки. Вы не поверите, как я краснею... Я, впрочем, должен с ним объясниться... Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал... неловкое слово... мамочка, я врал: я хочу искренно веровать, я только фанфаронил, и очень люблю Христа...

У нас в прошлый раз действительно вышел разговор в этом роде; мама была очень огорчена и встревожена. Выслушав меня теперь, она улыбнулась мне как ребенку:

— Христос, Аркаша, всё простит: и хулу твою простит, и хуже твоего простит. Христос — отец, Христос не нуждается и сиять будет даже в самой глубокой тьме...

Я с ними простился и вышел, подумывая о шансах увидеться сегодня с Версиловым; мне очень надо было переговорить с ним, а давеча нельзя было. Я сильно подозревал, что он дожидается у меня на квартире. Пошел я пешком; с тепла принялось слегка морозить, и пройтись было очень приятно.

II

Я жил близ Вознесенского моста, в огромном доме, на дворе. Почти входя в ворота, я столкнулся с выходившим от меня Версиловым.

— По моему обычаю, дошел, гуляя, до твоей квартиры и даже подождал тебя у Петра Ипполитовича, но соскучился. Они там у тебя вечно ссорятся, а сегодня жена у него даже слегла и плачет. Посмотрел и пошел.

Мне почему-то стало досадно.

— Вы, верно, только ко мне одному и ходите, и, кроме меня да Петра Ипполитовича, у вас никого нет во всем Петербурге?

— Друг мой... да ведь всё равно.

— Куда же теперь-то?

— Нет, уж я к тебе не вернусь. Если хочешь — пройдемся, славный вечер.

— Если б вместо отвлеченных рассуждений вы говорили со мной по-человечески и, например, хоть намекнули мне только об этой проклятой игре, я бы, может, не втянулся как дурак, — сказал я вдруг.

— Ты раскаиваешься? Это хорошо, — ответил он, цедя слова,— я и всегда подозревал, что у тебя игра — не главное дело, а лишь вре-мен-ное уклонение... Ты прав, мой друг, игра — свинство, и к тому же можно проиграться.

— И чужие деньги проигрывать.

— А ты проиграл и чужие?

— Ваши проиграл. Я брал у князя за ваш счет. Конечно, это — страшная нелепость и глупость с моей стороны... считать ваши деньги своими, но я всё хотел отыграться.

— Предупреждаю тебя еще раз, мой милый, что там моих денег нет. Я знаю, этот молодой человек сам в тисках, и я на нем ничего не считаю, несмотря на его обещания.

— В таком случае, я в вдвое худшем положении... я в комическом положении! И с какой стати ему мне давать, а мне у него брать после этого?

— Это — уж твое дело... А действительно, нет ни малейшей стати тебе брать у него, а?

— Кроме товарищества...

— Нет, кроме товарищества? Нет ли чего такого, из-за чего бы ты находил возможным брать у него, а? Ну, там по каким бы то ни было соображениям?

— По каким это соображениям? Я не понимаю.

— И тем лучше, что не понимаешь, и, признаюсь, мой друг, я был в этом уверен. Brisons-là, mon cher, [1] и постарайся как-нибудь не играть.

— Если б вы мне заранее сказали! Вы и теперь мне говорите точно мямлите.

— Если б я заранее сказал, то мы бы с тобой только рассорились, и ты меня не с такой бы охотою пускал к себе по вечерам. И знай, мой милый, что все эти спасительные заранее советы — всё это есть только вторжение на чужой счет в чужую совесть. Я достаточно вскакивал в совесть других и в конце концов вынес одни щелчки и насмешки. На щелчки и насмешки, конечно, наплевать, но главное в том, что этим маневром ничего и не достигнешь: никто тебя не послушается, как ни вторгайся... и все тебя разлюбят.

— Я рад, что вы со мной начали говорить не об отвлеченностях. Я вас еще об одном хочу спросить, давно хочу, но всё как-то

[1] Оставим это, мой милый *(франц.)*.

с вами нельзя было. Хорошо, что мы на улице. Помните, в тот вечер у вас, в последний вечер, два месяца назад, как мы сидели с вами у меня «в гробе» и я расспрашивал вас о маме и о Макаре Ивановиче, — помните ли, как я был с вами тогда «развязен»? Можно ли было позволить пащенку-сыну в таких терминах говорить про мать? И что ж? вы ни одним словечком не подали виду: напротив, сами «распахнулись», а тем и меня еще пуще развязали.

— Друг ты мой, мне слишком приятно от тебя слышать... такие чувства... Да, я помню очень, я действительно ждал тогда появления краски в твоем лице, и если сам поддавал, то, может быть, именно чтоб довести тебя до предела...

— И только обманули меня тогда и еще пуще замутили чистый источник в душе моей! Да, я — жалкий подросток и сам не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мне тогда хоть капельку дороги, и я бы догадался и тотчас вскочил на правый путь. Но вы только меня тогда разозлили.

— Cher enfant, я всегда предчувствовал, что мы, так или иначе, а с тобой сойдемся: эта «краска» в твоем лице пришла же теперь к тебе сама собой и без моих указаний, а это, клянусь, для тебя же лучше... Ты, мой милый, я замечаю, в последнее время много приобрел... неужто в обществе этого князька?

— Не хвалите меня, я этого не люблю. Не оставляйте в моем сердце тяжелого подозрения, что вы хвалите из иезуитства, во вред истине, чтоб не переставать нравиться. А в последнее время... видите ли... я к женщинам ездил. Я очень хорошо принят, например, у Анны Андреевны, вы знаете?

— Я это знаю от нее же, мой друг. Да, она — премилая и умная. Mais brisons-là, mon cher. Мне сегодня как-то до странности гадко — хандра, что ли? Приписываю геморрою. Что дома? Ничего? Ты там, разумеется, примирился, и были объятия? Cela va sans dire.[1] Грустно как-то к ним иногда бывает возвращаться, даже после самой скверной прогулки. Право, иной раз лишний крюк по дождю сделаю, чтоб только подольше не возвращаться в эти недра... И скучища же, скучища, о боже!

— Мама...

— Твоя мать — совершеннейшее и прелестнейшее существо, mais...[2] Одним словом, я их, вероятно, не стою. Кстати, что у них там сегодня? Они за последние дни все до единой какие-то такие... Я, знаешь, всегда стараюсь игнорировать, но там что-то у них сегодня завязалось... Ты ничего не заметил?

— Ничего не знаю решительно и даже не заметил бы совсем, если б не эта проклятая Татьяна Павловна, которая не может не полезть кусаться. Вы правы: там что-то есть. Давеча я Лизу застал у Анны Андреевны; она и там еще была какая-то... даже удивила меня. Ведь вы знаете, что она принята у Анны Андреевны?

---

[1] Это само собой разумеется *(франц.)*.
[2] но *(франц.)*.

— Знаю, мой друг. А ты... ты когда же был давеча у Анны Андреевны, в котором именно часу то есть? Это мне надо для одного факта.

— От двух до трех. И представьте, когда я выходил, приезжал князь...

Тут я рассказал ему весь мой визит до чрезвычайной подробности. Он всё выслушал молча; о возможности сватовства князя к Анне Андреевне не промолвил ни слова; на восторженные похвалы мои Анне Андреевне промямлил опять, что «она — милая».

— Я ее чрезвычайно успел удивить сегодня, сообщив ей самую свежеиспеченную светскую новость о том, что Катерина Николаевна Ахмакова выходит за барона Бьоринга, — сказал я вдруг, как будто вдруг что-то сорвалось у меня.

— Да? Представь же себе, она мне эту самую «новость» сообщила еще давеча, раньше полудня, то есть гораздо раньше, чем ты мог удивить ее.

— Что вы? — так и остановился я на месте, — а откуда ж она узнать могла? А впрочем, что ж я? разумеется, она могла узнать раньше моего, но ведь представьте себе: она выслушала от меня, как совершенную новость! Впрочем... впрочем, что ж я? да здравствует широкость! Надо широко допускать характеры, так ли? Я бы, например, тотчас всё разболтал, а она запрет в табакерку... И пусть, и пусть, тем не менее она — прелестнейшее существо и превосходнейший характер!

— О, без сомнения, каждый по-своему! И что оригинальнее всего: эти превосходные характеры умеют иногда чрезвычайно своеобразно озадачивать; вообрази, Анна Андреевна вдруг огорошивает меня сегодня вопросом: «Люблю ли я Катерину Николаевну Ахмакову или нет?»

— Какой дикий и невероятный вопрос! — вскричал я, опять ошеломленный. У меня даже замутилось в глазах. Никогда еще я не заговаривал с ним об этой теме, и — вот он сам...

— Чем же она формулировала?

— Ничем, мой друг, совершенно ничем; табакерка заперлась тотчас же и еще пуще, и, главное, заметь, ни я не допускал никогда даже возможности подобных со мной разговоров, ни она... Впрочем, ты сам говоришь, что ее знаешь, а потому можешь представить, как к ней идет подобный вопрос... Уж не знаешь ли ты чего?

— Я так же озадачен, как и вы. Любопытство какое-нибудь, может быть, шутка?

— О, напротив, самый серьезный вопрос, и не вопрос, а почти, так сказать, запрос, и очевидно для самых чрезвычайных и категорических причин. Не будешь ли у ней? Не узнаешь ли чего? Я бы тебя даже просил, видишь ли...

— Но возможность, главное — возможность только предположить вашу любовь к Катерине Николаевне! Простите, я всё

еще не выхожу из остолбенения. Я никогда, никогда не дозволял себе говорить с вами на эту или на подобную тему...

— И благоразумно делал, мой милый.

— Ваши бывшие интриги и ваши сношения — уж конечно, эта тема между нами неприлична, и даже было бы глупо с моей стороны; но я, именно за последнее время, за последние дни, несколько раз восклицал про себя: что, если б вы любили хоть когда-нибудь эту женщину, хоть минутку? — о, никогда бы вы не сделали такой страшной ошибки на ее счет в вашем мнении о ней, как та, которая потом вышла! О том, что вышло, — про то я знаю: о вашей обоюдной вражде и о вашем отвращении, так сказать, обоюдном друг от друга я знаю, слышал, слишком слышал, еще в Москве слышал; но ведь именно тут прежде всего выпрыгивает наружу факт ожесточенного отвращения, ожесточенность неприязни, именно *нелюбви*, а Анна Андреевна вдруг задает вам: «Любите ли?» Неужели она так плохо рансеньирована? Дикое что-то! Она смеялась, уверяю вас, смеялась!

— Но я замечаю, мой милый, — послышалось вдруг что-то нервное и задушевное в его голосе, до сердца проницающее, что ужасно редко бывало с ним, — я замечаю, что ты и сам слишком горячо говоришь об этом. Ты сказал сейчас, что ездишь к женщинам... мне, конечно, тебя расспрашивать как-то... на эту тему, как ты выразился... Но и «эта женщина» не состоит ли тоже в списке недавних друзей твоих?

— Эта женщина... — задрожал вдруг мой голос, — слушайте, Андрей Петрович, слушайте: эта женщина есть то, что вы давеча у этого князя говорили про «живую жизнь», — помните? Вы говорили, что эта «живая жизнь» есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на вас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем... Ну вот, с таким взглядом вы встретили и женщину-идеал и в совершенстве, в идеале признали — «все пороки»! Вот вам!

Читатель может судить, в каком я был исступлении.

— «Все пороки»! Ого! Эту фразу я знаю! — воскликнул Версилов. — И если уж до того дошло, что тебе сообщена такая фраза, то уж не поздравить ли тебя с чем? Это означает такую интимность между вами, что, может быть, придется даже похвалить тебя за скромность и тайну, к которой способен редкий молодой человек...

В его голосе сверкал милый, дружественный, ласкающий смех... что-то вызывающее и милое было в его словах, в его светлом лице, насколько я мог заметить ночью. Он был в удивительном возбуждении. Я весь засверкал поневоле.

— Скромность, тайна! О нет, нет! — восклицал я, краснея и в то же время сжимая его руку, которую как-то успел схватить и, не замечая того, не выпускал ее. — Нет, ни за что!.. Одним словом, меня поздравлять не с чем, и тут никогда, никогда не

может ничего случиться, — задыхался я и летел, и мне так хотелось лететь, мне так было это приятно, — знаете... ну уж пусть будет так однажды, один маленький разочек! Видите, голубчик, славный мой папа, — вы позволите мне вас назвать папой, — не только отцу с сыном, но и всякому нельзя говорить с третьим лицом о своих отношениях к женщине, даже самых чистейших! Даже чем чище, тем тут больше должно положить запрету! Это претит, это грубо, одним словом — конфидент невозможен! Но ведь если нет ничего, ничего совершенно, то ведь тогда можно говорить, можно?

— Как сердце велит.

— Нескромный, очень нескромный вопрос: ведь вы, в вашу жизнь, знавали женщин, имели связи?.. Я вообще, вообще, я не в частности! — краснел я и захлебывался от восторга.

— Положим, бывали грехи.

— Так вот что — случай, а вы мне его разъясните, как более опытный человек: вдруг женщина говорит, прощаясь с вами, этак нечаянно, сама смотрит в сторону: «Я завтра в три часа буду там-то»... ну, положим, у Татьяны Павловны, — сорвался я и полетел окончательно. Сердце у меня стукнуло и остановилось; я даже говорить приостановился, не мог. Он ужасно слушал.

— И вот, завтра я в три часа у Татьяны Павловны, вхожу и рассуждаю так: «Отворит кухарка, — вы знаете ее кухарку? — я и спрошу первым словом: дома Татьяна Павловна? И если кухарка скажет, что нет дома Татьяны Павловны, а что ее какая-то гостья сидит и ждет, — что́ я тогда должен заключить, скажите, если вы... Одним словом, если вы...»

— Просто-запросто, что тебе назначено было свидание. Но, стало быть, это было? И было сегодня? Да?

— О нет, нет, нет, ничего, ничего! Это было, но было не то; свидание, но не для того, и я это прежде всего заявляю, чтоб не быть подлецом, было, но...

— Друг мой, всё это начинает становиться до того любопытным, что я предлагаю...

— Сам давал по десяти и по двадцати пяти просителям. На крючок! Только несколько копеек, умоляет поручик, просит бывший поручик! — загородила нам вдруг дорогу высокая фигура просителя, может быть действительно отставного поручика. Любопытнее всего, что он весьма даже хорошо был одет для своей профессии, а между тем протягивал руку.

III

Этот мизернейший анекдот о ничтожном поручике я нарочно не хочу пропустить, так как весь Версилов вспоминается мне теперь не иначе как со всеми мельчайшими подробностями обстановки тогдашней роковой для него минуты. Роковой, а я и не знал того!

— Если вы, сударь, не отстанете, то я немедленно позову полицию, — вдруг как-то неестественно возвысил голос Версилов, останавливаясь пред поручиком.

Я бы никогда не мог вообразить такого гнева от такого философа и из-за такой ничтожной причины. И заметьте, что мы прервали разговор на самом интереснейшем для него месте, о чем он и сам заявил.

— Так неужто у вас и пятелтышки нет? — грубо прокричал поручик, махнув рукой, — да у какой же теперь канальи есть пятелтынный! Ракальи! Подлецы! Сам в бобрах, а из-за пятелтынного государственный вопрос делает!

— Городовой! — крикнул Версилов.

Но кричать и не надо было: городовой как раз стоял на углу и сам слышал брань поручика.

— Я вас прошу быть свидетелем оскорбления, а вас прошу пожаловать в участок, — проговорил Версилов.

— Э-э, мне всё равно, решительно ничего не докажете! Преимущественно ума не докажете!

— Не упускайте, городовой, и проводите нас, — настоятельно заключил Версилов.

— Да неужто мы в участок? Черт с ним! — прошептал я ему.

— Непременно, мой милый. Эта бесшабашность на наших улицах начинает надоедать до безобразия, и если б каждый исполнял свой долг, то вышло бы всем полезнее. C'est comique, mais c'est ce que nous ferons. [1]

Шагов сотню поручик очень горячился, бодрился и храбрился; он уверял, что «так нельзя», что тут «из пятелтышки» и проч., и проч. Но наконец начал что-то шептать городовому. Городовой, человек рассудительный и видимо враг уличных нервностей, кажется, был на его стороне, но лишь в известном смысле. Он бормотал ему вполголоса на его вопросы, что «теперь уж нельзя», что «дело вышло» и что «если б, например, вы извинились, а господин согласился принять извинение, то тогда разве...»

— Ну, па-а-слушайте, милостивый государь, ну, куда мы идем? Я вас спрашиваю: куда мы стремимся и в чем тут остроумие? — громко прокричал поручик. — Если человек несчастный в своих неудачах соглашается принесть извинение... если, наконец, вам надо его унижение... Черт возьми, да не в гостиной же мы, а на улице! Для улицы и этого извинения достаточно...

Версилов остановился и вдруг расхохотался; я даже было подумал, что всю эту историю он вел для забавы, но это было не так.

— Совершенно вас извиняю, господин офицер, и уверяю вас, что вы со способностями. Действуйте так и в гостиной — скоро и для гостиной этого будет совершенно достаточно, а пока вот вам два двугривенных, выпейте и закусите; извините, городовой, за беспокойство, поблагодарил бы и вас за труд, но вы теперь на

[1] Это смешно, но так мы и сделаем *(франц.)*.

такой благородной ноге... Милый мой, — обратился он ко мне, — тут есть одна харчевня, в сущности страшный клоак, но там можно чаю напиться, и я б тебе предложил... вот тут сейчас, пойдем же.

Повторяю, я еще не видал его в таком возбуждении, хотя лицо его было весело и сияло светом; но я заметил, что когда он вынимал из портмоне два двугривенных, чтоб отдать офицеру, то у него дрожали руки, а пальцы совсем не слушались, так что он наконец попросил меня вынуть и дать поручику; я забыть этого не могу.

Привел он меня в маленький трактир на канаве, внизу. Публики было мало. Играл расстроенный сиплый органчик, пахло засаленными салфетками; мы уселись в углу.

— Ты, может быть, не знаешь? я люблю иногда от скуки... от ужасной душевной скуки... заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся ария из «Лючии», эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из биллиардной — всё это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим. Ну, так что ж, мой милый? этот сын Марса остановил нас на самом, кажется, интересном месте... А вот и чай; я люблю здесь чай... Представь, Петр Ипполитович вдруг сейчас стал там уверять этого другого рябого постояльца, что в английском парламенте, в прошлом столетии, нарочно назначена была комиссия из юристов, чтоб рассмотреть весь процесс Христа перед первосвященником и Пилатом, единственно чтоб узнать, как теперь это будет по нашим законам, и что всё было произведено со всею торжественностью, с адвокатами, прокурорами и с прочим... ну и что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговор... Удивительно что такое! Тот дурак жилец стал спорить, обозлился и рассорился и объявил, что завтра съезжает... хозяйка расплакалась, потому что теряет доход... Mais passons. [1] В этих трактирах бывают иногда соловьи. Знаешь старый московский анекдот à la Петр Ипполитович? Поет в московском трактире соловей, входит купец «ндраву моему не препятствуй»: «Что стоит соловей?» — «Сто рублей». — «Зажарить и подать!» Зажарили и подали. «Отрежь на гривенник». Я Петру Ипполитовичу рассказывал раз, но он не поверил, и даже с негодованием...

Он много еще говорил. Привожу эти отрывки для образчика. Он беспрерывно меня перебивал, чуть лишь я раскрывал рот, чтоб начать мой рассказ, и начинал говорить совершенно какой-нибудь особенный и не идущий вздор; говорил возбужденно, весело; смеялся бог знает чему и даже хихикал, чего я от него никогда не видывал. Он залпом выпил стакан чаю и налил новый. Теперь мне понятно: он походил тогда на человека, получившего дорогое, любопытное и долго ожидаемое письмо и которое тот положил перед собой и нарочно не распечатывает, напротив, долго вертит в руках, осматривает конверт, печать, идет распорядиться в другую

[1] Но оставим это *(франц.)*.

комнату, отдаляет, одним словом, интереснейшую минуту, зная, что она ни за что не уйдет от него, и всё это для большей полноты наслаждения.

Я, разумеется, всё рассказал ему, всё с самого начала, и рассказывал, может быть, около часу. Да и как могло быть иначе; я жаждал говорить еще давеча. Я начал с самой первой нашей встречи, тогда у князя, по ее приезде из Москвы; потом рассказал, как всё это шло постепенно. Я не пропустил ничего, да и не мог пропустить: он сам наводил, он угадывал, он подсказывал. Мгновениями мне казалось, что происходит что-то фантастическое, что он где-нибудь там сидел или стоял за дверьми, каждый раз, во все эти два месяца: он знал вперед каждый мой жест, каждое мое чувство. Я ощущал необъятное наслаждение в этой исповеди ему, потому что видел в нем такую задушевную мягкость, такую глубокую психологическую тонкость, такую удивительную способность угадывать с четверть слова. Он выслушивал нежно, как женщина. Главное, он сумел сделать так, что я ничего не стыдился; иногда он вдруг останавливал меня на какой-нибудь подробности; часто останавливал и нервно повторял: «Не забывай мелочей, главное — не забывай мелочей, чем мельче черта, тем иногда она важнее». И в этом роде он несколько раз перебивал меня. О, разумеется, я начал сначала свысока, к ней свысока, но быстро свел на истину. Я искренно рассказал ему, что готов был бросаться целовать то место на полу, где стояла ее нога. Всего краше, всего светлее было то, что он в высшей степени понял, что «можно страдать страхом по документу» и в то же время оставаться чистым и безупречным существом, каким она сегодня передо мной открылась. Он в высшей степени понял слово «студент». Но когда я уже оканчивал, то заметил, что сквозь добрую улыбку его начало по временам проскакивать что-то уж слишком нетерпеливое в его взгляде, что-то как бы рассеянное и резкое. Когда я дошел до «документа», то подумал про себя: «Сказать ему настоящую правду или не сказать?» — и не сказал, несмотря на весь мой восторг. Это я отмечаю здесь для памяти на всю мою жизнь. Я ему объяснил дело так же, как и ей, то есть Крафтом. Глаза его загорелись. Странная складка мелькнула на лбу, очень мрачная складка.

— Ты твердо помнишь, мой милый, об этом письме, что Крафт его сжег на свечке? Ты не ошибаешься?

— Не ошибаюсь, — подтвердил я.

— Дело в том, что эта грамотка слишком важна для нее, и, будь только она у тебя сегодня в руках, то ты бы сегодня же мог... — Но что «мог», он не договорил. — А что, у тебя нет ее теперь в руках?

Я весь вздрогнул внутри, но не снаружи. Снаружи я ничем не выдал себя, не смигнул; но я всё еще не хотел верить вопросу.

— Как нет в руках? *Теперь* в руках? Да ведь если Крафт ее тогда сжег?

— Да? — устремил он на меня огневой, неподвижный взгляд, памятный мне взгляд. Впрочем, он улыбался, но всё добродушие его, вся женственность выражения, бывшая доселе, вдруг исчезли. Настало что-то неопределенное и расстроенное; он всё более и более становился рассеян. Владей он тогда собой более, именно так, как до той минуты владел, он не сделал бы мне этого вопроса о документе; если же сделал, то наверно потому, что сам был в исступлении. Впрочем, я говорю лишь теперь; но тогда я не так скоро вникнул в перемену, происшедшую с ним: я всё еще продолжал лететь, а в душе была всё та же музыка. Но рассказ был кончен; я смотрел на него.

— Удивительное дело, — проговорил он вдруг, когда я уже высказал всё до последней запятой, — престранное дело, мой друг: ты говоришь, что был там от трех до четырех и что Татьяны Павловны не было дома?

— Ровно от трех до половины пятого.

— Ну, представь же себе, я заходил к Татьяне Павловне ровнешенько в половину четвертого, минута в минуту, и она встретила меня в кухне: я ведь почти всегда к ней хожу через черный ход.

— Как, она встретила вас в кухне? — вскричал я, отшатнувшись от изумления.

— Да, и объявила мне, что не может принять меня; я у ней пробыл минуты две, а заходил лишь позвать ее обедать.

— Может быть, она только что откуда-нибудь воротилась?

— Не знаю; впрочем — конечно нет. Она была в своей распашной кофте. Это было ровнешенько в половине четвертого.

— Но... Татьяна Павловна не сказала вам, что я тут?

— Нет, она мне не сказала, что ты тут... Иначе я бы знал и тебя об этом не спрашивал.

— Послушайте, это очень важно...

— Да... с какой точки судя; и ты даже побледнел, мой милый; а впрочем, что же так уж важно-то?

— Меня осмеяли как ребенка!

— Просто «побоялась твоей пылкости», как сама она тебе выразилась, — ну, и заручилась Татьяной Павловной.

— Но боже, какая это была проделка! Послушайте, она дала мне всё это высказать при третьем лице, при Татьяне Павловне; та, стало быть, всё слышала, что я давеча говорил! Это... это ужасно даже вообразить!

— C'est selon, mon cher. [1] И притом же ты сам давеча упомянул о «широкости» взгляда на женщину вообще и воскликнул: «Да здравствует широкость!»

— Если б я был Отелло, а вы — Яго, то вы не могли бы лучше... впрочем, я хохочу! Не может быть никакого Отелло, потому что нет никаких подобных отношений. Да и как не хохотать! Пусть! Я все-таки верю в то, что бесконечно меня выше, и не теряю моего

---

[1] Это смотря как, милый мой *(франц.)*.

идеала!.. Если это — шутка с ее стороны, то я прощаю. Шутка с жалким подростком — пусть! Да ведь и не рядил же я себя ни во что, а студент — студент все-таки был и остался, несмотря ни на что, в душе ее был, в сердце ее был, существует и будет существовать! Довольно! Послушайте, как вы думаете: поехать мне к ней сейчас, чтобы всю правду узнать, или нет?

Я говорил «хохочу», а у меня были слезы на глазах.

— Что ж? съезди, мой друг, если хочешь.

— Я как будто измарался душой, что вам всё это пересказал. Не сердитесь, голубчик, но об женщине, я повторяю это, — об женщине нельзя сообщать третьему лицу; конфидент не поймет. Ангел и тот не поймет. Если женщину уважаешь — не бери конфидента, если себя уважаешь — не бери конфидента! Я теперь не уважаю себя. До свиданья; не прощу себе...

— Полно, мой милый, ты преувеличиваешь. Сам же ты говоришь, что «ничего не было».

Мы вышли на канаву и стали прощаться.

— Да неужто ты никогда меня не поцелуешь задушевно, по-детски, как сын отца? — проговорил он мне с странною дрожью в голосе. Я горячо поцеловал его.

— Милый... будь всегда так же чист душой, как теперь.

Никогда в жизни я еще не целовал его, никогда бы я не мог вообразить, что он сам захочет.

Глава шестая

I

«Разумеется, ехать! — решил было я, поспешая домой, — сейчас же ехать. Весьма вероятно, что застану ее дома одну; одну или с кем-нибудь — всё равно: можно вызвать. Она меня примет; удивится, но примет. А не примет, то я настою, чтоб приняла, пошлю сказать, что крайне нужно. Она подумает, что что-нибудь о документе, и примет. И узнаю всё об Татьяне. А там... а там что ж? Если я не прав, я ей заслужу, а если я прав, а она виновата, то ведь тогда уж конец всему! Во всяком случае — конец всему! Что ж я проигрываю? Ничего не проигрываю. Ехать! Ехать!»

И вот, никогда не забуду и с гордостью вспомяну, что я *не* поехал! Это никому не будет известно, так и умрет, но довольно и того, что это мне известно и что я в такую минуту был способен на благороднейшее мгновение! «Это искушение, а я пройду мимо его, — решил я наконец, одумавшись, — меня пугали фактом, а я не поверил и не потерял веру в ее чистоту! И зачем ехать, о чем справляться? Почему она так непременно должна была верить в меня, как я в нее, в мою „чистоту“, не побояться „пылкости“ и не заручиться Татьяной? Я еще не заслужил этого в ее

глазах. Пусть, пусть она не знает, что я заслуживаю, что я не соблазняюсь „искушениями“, что я не верю злым на нее наветам: зато я сам это знаю и буду себя уважать за это. Уважать свое чувство. О да, она допустила меня высказаться при Татьяне, она допустила Татьяну, она знала, что тут сидит и подслушивает Татьяна (потому что та не могла не подслушивать), она знала, что та надо мной смеется, — это ужасно, ужасно! Но... но ведь — если невозможно было этого избежать? Что ж она могла сделать в давешнем положении и как же ее за это винить? Ведь налгал же я ей давеча сам про Крафта, ведь обманул же и я ее, потому что невозможно было тоже этого избежать, и я невольно, невинно налгал. Боже мой! — воскликнул я вдруг, мучительно краснея, — а сам-то, сам-то что я сейчас сделал: разве я не потащил ее перед ту же Татьяну, разве я не рассказал же сейчас всё Версилову? Впрочем, что ж я? тут — разница. Тут было только о документе; я, в сущности, сообщил Версилову лишь о документе, потому что и не было больше о чем сообщать, и не могло быть. Не я ли первый предуведомил его и кричал, что „не могло быть“? Это — человек понимающий. Гм... Но какая же, однако, ненависть в его сердце к этой женщине даже доселе! И какая же, должно быть, драма произошла тогда между ними и из-за чего? Конечно из самолюбия! *Версилов ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен!*»

Да, эта последняя мысль вырвалась у меня тогда, и я даже не заметил ее. Вот какие мысли, последовательно одна за другой, пронеслись тогда в моей голове, и я был чистосердечен тогда с собой: я не лукавил, не обманывал сам себя; и если чего не осмыслил тогда в ту минуту, то потому лишь, что ума недостало, а не из иезуитства пред самим собой.

Я воротился домой в ужасно возбужденном и, не знаю почему, в ужасно веселом состоянии духа, хотя в очень смутном. Но я боялся анализировать и всеми силами старался развлечься. Тотчас же я пошел к хозяйке: действительно, между мужем и ею шел страшный разрыв. Это была очень чахоточная чиновница, может быть и добрая, но, как все чахоточные, чрезвычайно капризная. Я тотчас их начал мирить, сходил к жильцу, очень грубому, рябому дураку, чрезвычайно самолюбивому чиновнику, служившему в одном банке, Червякову, которого я очень сам не любил, но с которым жил, однако же, ладно, потому что имел низость часто подтрунивать вместе с ним над Петром Ипполитовичем. Я тотчас уговорил его не переезжать, да он и сам не решился бы в самом-то деле переехать. Кончилось тем, что хозяйку я успокоил окончательно и, сверх того, сумел отлично поправить ей под головой подушку. «Никогда-то вот не сумеет этак Петр Ипполитович», — злорадно заключила она. Затем возился на кухне с ее горчишниками и собственноручно изготовил ей два превосходных горчишника. Бедный Петр Ипполитович только смотрел на меня и завидовал, но я ему не дал и прикоснуться и был награжден

буквально слезами ее благодарности. И вот, помню, мне вдруг это всё надоело, и я вдруг догадался, что я вовсе не по доброте души ухаживал за больной, а так, по чему-то, по чему-то совсем другому.

Я нервно ждал Матвея: в этот вечер я решил в последний раз испытать счастье и... и, кроме счастья, ощущал ужасную потребность играть; иначе бы было невыносимо. Если б никуда не ехать, я бы, может быть, не утерпел и поехал к ней. Матвей должен был скоро явиться, но вдруг отворилась дверь и вошла неожиданная гостья, Дарья Онисимовна. Я поморщился и удивился. Она знала мою квартиру потому, что раз когда-то, по поручению мамы, заходила ко мне. Я ее посадил и стал глядеть на нее вопросительно. Она ничего не говорила, смотрела мне только прямо в глаза и приниженно улыбалась.

— Вы не от Лизы ли? — вздумалось мне спросить.

— Нет, я так-с.

Я предупредил ее, что сейчас уеду; она опять ответила, что «она так» и сейчас сама уйдет. Мне стало почему-то вдруг ее жалко. Замечу, что от всех нас, от мамы и особенно от Татьяны Павловны, она видела много участья, но, пристроив ее у Столбеевой, все наши как-то стали ее забывать, кроме разве Лизы, часто навещавшей ее. Причиной тому, кажется, была она сама, потому что обладала способностью отдаляться и стушевываться, несмотря на всю свою приниженность и заискивающие улыбки. Мне же лично очень не нравились эти улыбки ее и то, что она всегда видимо подделывала лицо, и я даже подумал о ней однажды, что не долго же она погрустила о своей Оле. Но в этот раз мне почему-то стало жалко ее.

И вот, вдруг она, ни слова не говоря, нагнулась, потупилась и вдруг, бросив обе руки вперед, обхватила меня за талью, а лицом наклонилась к моим коленям. Она схватила мою руку, я думал было, что целовать, но она приложила ее к глазам, и горячие слезы струей полились на нее. Она вся тряслась от рыданий, но плакала тихо. У меня защемило сердце, несмотря на то что мне стало как бы и досадно. Но она совершенно доверчиво обнимала меня, нисколько не боясь, что я рассержусь, несмотря на то что сейчас же пред сим так боязливо и раболепно мне улыбалась. Я ее начал просить успокоиться.

— Батюшка, голубчик, не знаю, что делать с собой. Как сумерки, так я и не выношу; как сумерки, так и перестаю выносить, так меня и потянет на улицу, в мрак. И тянет, главное, мечтание. Мечта такая зародилась в уме, что — вот-вот я как выйду, так вдруг и встречу ее на улице. Хожу и как будто вижу ее. То есть это другие ходят, а я сзади нарочно иду да и думаю: не она ли, вот-вот, думаю, это Оля моя и есть? И думаю, и думаю. Одурела под конец, только о народ толкаюсь, тошно. Точно пьяная толкаюсь, иные бранятся. Я уж таю про себя и ни к кому не хожу. Да и куда придешь — еще тошней. Проходила сейчас мимо вас,

подумала: «Дай зайду к нему; он всех добрее, и тогда был при том». Батюшка, простите вы меня, бесполезную; я уйду сейчас и пойду...

Она вдруг поднялась и заторопилась. Тут как раз прибыл Матвей; я посадил ее с собой в сани и по дороге завез ее к ней домой, на квартиру Столбеевой.

II

В самое последнее время я стал ездить на рулетку Зерщикова. До того же времени ездил дома в три, всё с князем, который «вводил» меня в эти места. В одном из этих домов преимущественно шел банк и играли на очень значительные деньги. Но там я не полюбил: я видел, что там хорошо при больших деньгах и, кроме того, туда слишком много приезжало нахальных людей и «гремящей» молодежи из высшего света. Это-то князь и любил; любил он и играть, но любил и якшаться с этими сорванцами. Я заметил, что на этих вечерах он хоть и входил иногда со мной вместе рядом, но от меня как-то, в течение вечера, отдалялся и ни с кем «из своих» меня не знакомил. Я же смотрел совершенным дикарем и даже иногда до того, что, случалось, обращал на себя тем внимание. За игорным столом приходилось даже иногда говорить кой с кем; но раз я попробовал на другой день, тут же в комнатах, раскланяться с одним господчиком, с которым не только говорил, но даже и смеялся накануне, сидя рядом, и даже две карты ему угадал, и что ж — он совершенно не узнал меня. То есть хуже: посмотрел как бы с выделанным недоумением и прошел мимо улыбнувшись. Таким образом, я скоро там бросил и пристрастился ездить в один клоак — иначе не умею назвать. Это была рулетка, довольно ничтожная, мелкая, содержимая одной содержанкой, хотя та в залу сама и не являлась. Там было ужасно нараспашку, и хотя бывали и офицеры, и богачи купцы, но всё происходило с грязнотцой, что многих, впрочем, и привлекало. Кроме того, там мне часто везло. Но я и тут бросил после одной омерзительной истории, случившейся раз в самом разгаре игры и окончившейся дракой каких-то двух игроков, и стал ездить к Зерщикову, к которому опять-таки ввел меня князь. Это был отставной штабс-ротмистр, и тон на его вечерах был весьма сносный, военный, щекотливо-раздражительный к соблюдению форм чести, краткий и деловой. Шутников, например, и больших кутил там не появлялось. Кроме того, ответный банк был очень даже нешуточный. Играли же в банк и в рулетку. До сего вечера, пятнадцатого ноября, я побывал там всего раза два, и Зерщиков, кажется, уже знал меня в лицо; но знакомых я еще никого не имел. Как нарочно, и князь с Дарзаном явились в этот вечер уже около полуночи, воротясь с того банка светских сорванцов, который я бросил: таким образом, в этот вечер я был как незнакомый в чужой толпе.

Если б у меня был читатель и прочел всё то, что я уже написал о моих приключениях, то, нет сомнения, ему нечего было бы объяснять, что я решительно не создан для какого бы то ни было общества. Главное, я никак не умею держать себя в обществе. Когда я куда вхожу, где много народу, мне всегда чувствуется, что все взгляды меня электризуют. Меня решительно начинает коробить, коробить физически, даже в таких местах, как в театре, а уж не говорю в частных домах. На всех этих рулетках и сборищах я решительно не умел приобрести себе никакой осанки: то сижу и упрекаю себя за излишнюю мягкость и вежливость, то вдруг встану и сделаю какую-нибудь грубость. А между тем какие негодяи, сравнительно со мной, умели там держать себя с удивительной осанкой — и вот это-то и бесило меня пуще всего, так что я всё больше и больше терял хладнокровие. Скажу прямо, не только теперь, но и тогда уже мне всё это общество, да и самый выигрыш, если уж всё говорить, — стало, наконец, отвратительно и мучительно. Решительно — мучительно. Я, конечно, испытывал наслаждение чрезвычайное, но наслаждение это проходило чрез мучение; всё это, то есть эти люди, игра и, главное, я сам вместе с ними, казалось мне страшно грязным. «Только что выиграю и тотчас на всё плюну!» — каждый раз говорил я себе, засыпая на рассвете у себя на квартире после ночной игры. И опять-таки этот выигрыш: взять уж то, что я вовсе не любил деньги. То есть я не стану повторять гнусной казенщины, обыкновенной в этих объяснениях, что я играл, дескать, для игры, для ощущений, для наслаждений риска, азарта и проч., а вовсе не для барыша. Мне деньги были нужны ужасно, и хоть это был и не мой путь, не моя идея, но так или этак, а я тогда все-таки решил попробовать, в виде опыта, и этим путем. Тут всё сбивала меня одна сильная мысль: «Ведь уж ты вывел, что миллионщиком можешь стать непременно, лишь имея соответственно сильный характер; ведь уж ты пробы делал характеру; так покажи себя и здесь: неужели у рулетки нужно больше характеру, чем для твоей идеи?» — вот что я повторял себе. А так как я и до сих пор держусь убеждения, что в азартной игре, при полном спокойствии характера, при котором сохранилась бы вся тонкость ума и расчета, невозможно не одолеть грубость слепого случая и не выиграть — то, естественно, я должен был тогда всё более и более раздражаться, видя, что поминутно не выдерживаю характера и увлекаюсь, как совершенный мальчишка. «Я, могший выдержать голод, я не могу выдержать себя на такой глупости!» — вот что дразнило меня. К тому же сознание, что у меня, во мне, как бы я ни казался смешон и унижен, лежит то сокровище силы, которое заставит их всех когда-нибудь изменить обо мне мнение, это сознание — уже с самых почти детских униженных лет моих — составляло тогда единственный источник жизни моей, мой свет и мое достоинство, мое оружие и мое утешение, иначе я бы, может быть, убил себя еще ребенком. А потому, мог ли я не быть раздражен на себя,

видя, в какое жалкое существо обращаюсь я за игорным столом? Вот почему я уж и не мог отстать от игры: теперь я всё это ясно вижу. Кроме этого, главного, страдало и мелочное самолюбие: проигрыш унижал меня перед князем, перед Версиловым, хотя тот ничего не удостоивал говорить, перед всеми, даже перед Татьяной, — так мне казалось, чувствовалось. Наконец, сделаю и еще признание: я уже тогда развратился; мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от Матвея, от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну и от всего этого. Я сознавал это и тогда, но только отмахивался рукой; теперь же, записывая, краснею.

III

Прибыв один и очутившись в незнакомой толпе, я сначала пристроился в уголке стола и начал ставить мелкими кушами и так просидел часа два, не шевельнувшись. В эти два часа шла страшная бурда — ни то ни се. Я пропускал удивительные шансы и старался не злиться, а взять хладнокровием и уверенностью. Кончилось тем, что за все два часа я не проиграл и не выиграл: из трехсот рублей проиграл рублей десять — пятнадцать. Этот ничтожный результат обозлил меня, и к тому же случилась пренеприятная гадость. Я знаю, что за этими рулетками случаются иногда воры, то есть не то что с улицы, а просто из известных игроков. Я, например, уверен, что известный игрок Афердов — вор; он и теперь фигурирует по городу: я еще недавно встретил его на паре собственных пони, но он — вор и украл у меня. Но об этом история еще впереди; в этот же вечер случилась лишь прелюдия: я сидел все эти два часа на углу стола, а подле меня, слева, помещался всё время один гниленький франтик, я думаю, из жидков; он, впрочем, где-то участвует, что-то даже пишет и печатает. В самую последнюю минуту я вдруг выиграл двадцать рублей. Две красные кредитки лежали передо мной, и вдруг, я вижу, этот жиденок протягивает руку и преспокойно тащит одну мою кредитку. Я было остановил его, но он, с самым наглым видом и нисколько не возвышая голоса, вдруг объявляет мне, что это — его выигрыш, что он сейчас сам поставил и взял; он даже не захотел и продолжать разговора и отвернулся. Как нарочно, я был в ту секунду в преглупом состоянии духа: я замыслил большую идею и, плюнув, быстро встал и отошел, не захотев даже спорить и подарив ему красненькую. Да уж и трудно было бы вести эту историю с наглым воришкой, потому что было упущено время; игра уже ушла вперед. И вот это-то и было моей огромной ошибкой, которая и отразилась в последствиях: три-четыре игрока подле нас заметили наше препинание и, увидя, что я так легко отступился, вероятно, приняли меня самого за такого. Было ровно двенадцать часов; я прошел в следующую комнату, подумал, сообразил о новом плане и, воротясь, разменял у банка мои

кредитки на полуимпериалы. У меня очутилось их сорок с лишком штук. Я разделил их на десять частей и решил поставить десять ставок сряду на zéro, [1] каждую в четыре полуимпериала, одну за другой. «Выиграю — мое счастье, проставлю — тем лучше; никогда уже более не буду играть». Замечу, что во все эти два часа zéro ни разу не выходило, так что под конец никто уже на zéro и не ставил.

Я ставил стоя, молча, нахмурясь и стиснув зубы. На третьей же ставке Зерщиков громко объявил zéro, не выходившее весь день. Мне отсчитали сто сорок полуимпериалов золотом. У меня оставалось еще семь ставок, и я стал продолжать, а между тем всё кругом меня завертелось и заплясало.

— Переходите сюда! — крикнул я через весь стол одному игроку, с которым давеча сидел рядом, одному седому усачу, с багровым лицом и во фраке, который уже несколько часов с невыразимым терпением ставил маленькими кушами и проигрывал ставку за ставкой, — переходите сюда! Здесь счастье!

— Вы это мне? — с каким-то угрожающим удивлением откликнулся усач с конца стола.

— Да, вам! Там дотла проиграетесь!

— Не ваше это дело, и прошу мне не мешать!

Но я уже никак не мог выдержать. Напротив меня, через стол, сидел один пожилой офицер. Глядя на мой куш, он пробормотал своему соседу:

— Странно: zéro. Нет, я на zéro не решусь.

— Решайтесь, полковник! — крикнул я, ставя новый куш.

— Прошу оставить и меня в покое-с, без ваших советов, — резко отрезал он мне. — Вы очень здесь кричите.

— Я вам добрый же совет подаю; ну, хотите пари, что сейчас же выйдет опять zéro: десять золотых, вот, я ставлю, угодно?

И я выставил десять полуимпериалов.

— Десять золотых, пари? это я могу, — промолвил он сухо и строго. — Держу против вас, что не выйдет zéro.

— Десять луидоров, полковник.

— Каких же десять луидоров?

— Десять полуимпериалов, полковник, а в высоком слоге — луидоров.

— Так вы так и говорите, что полуимпериалов, а не извольте шутить со мной.

Я, разумеется, не надеялся выиграть пари: было тридцать шесть шансов против одного, что zéro не выйдет; но я предложил, во-первых, потому, что форсил, а во-вторых, потому, что хотелось чем-то всех привлечь к себе. Я слишком видел, что меня никто здесь почему-то не любит и что мне с особенным удовольствием дают это знать. Рулетка завертелась — и каково же было всеобщее изумление, когда вдруг вышло опять zéro! Даже всеобщий крик

---

[1] ноль *(франц.)*.

раздался. Тут слава выигрыша совершенно меня отуманила. Мне опять отсчитали сто сорок полуимпериалов. Зерщиков спросил меня, не хочу ли я получить часть кредитками, но я что-то промычал ему, потому что буквально уже не мог спокойно и обстоятельно изъясняться. Голова у меня кружилась и ноги слабели. Я вдруг почувствовал, что страшно сейчас пойду рисковать; кроме того, мне хотелось еще что-нибудь предпринять, предложить еще какое-нибудь пари, отсчитать кому-нибудь несколько тысяч. Машинально сгребал я ладонью мою кучку кредиток и золотых и не мог собраться их сосчитать. В эту минуту я вдруг заметил сзади меня князя и Дарзана: они только что вернулись с своего банка и, как узнал я после, проигравшись там в пух.

— А, Дарзан, — крикнул я ему, — вот где счастье! Ставьте на zéro!

— Проигрался, нет денег, — ответил он сухо; князь же решительно как будто не заметил и не узнал меня.

— Вот деньги! — крикнул я, показывая на свою золотую кучу, — сколько надо?

— Черт возьми! — крикнул Дарзан, весь покраснев, — я, кажется, не просил у вас денег.

— Вас зовут, — дернул меня за рукав Зерщиков.

Звал меня уже несколько раз и почти с бранью полковник, проигравший мне пари десять империалов.

— Извольте принять! — крикнул он весь багровый от гнева, — я не обязан стоять над вами; а то после скажете, что не получили. Сосчитайте.

— Верю, верю, полковник, верю без счету; только, пожалуйста, так на меня не кричите и не сердитесь, — и я сгреб кучку его золота рукой.

— Милостивый государь, я вас прошу, суйтесь с вашими восторгами к кому другому, а не ко мне, — резко закричал полковник. — Я с вами вместе свиней не пас!

— Странно пускать таких, — кто такой? — юноша какой-то, — раздавались вполголоса восклицания.

Но я не слушал, я ставил зря и уже не на zéro. Я поставил целую пачку радужных на восемнадцать первых.

— Едем, Дарзан, — послышался сзади голос князя.

— Домой? — обернулся я к ним. — Постойте меня, вместе выйдем, я — шабаш.

Моя ставка выиграла; это был крупный выигрыш.

— Баста! — крикнул я и дрожащими руками начал загребать и сыпать золото в карманы, не считая и как-то нелепо уминая пальцами кучки кредиток, которые все вместе хотел засунуть в боковой карман. Вдруг пухлая рука с перстнем Афердова, сидевшего сейчас от меня направо и тоже ставившего на большие куши, легла на три радужных мои кредитки и накрыла их ладонью.

— Позвольте-с, это — не ваше, — строго и раздельно отчеканил он, довольно, впрочем, мягким голосом.

Вот это-то и была та прелюдия, которой потом, через несколько дней, суждено было иметь такие последствия. Теперь же, честью клянусь, что эти три сторублевые были мои, но, к моей злой судьбе, тогда я хоть и был уверен в том, что они мои, но всё же у меня оставалась одна десятая доля и сомнения, а для честного человека это — всё; а я — честный человек. Главное, я тогда еще не знал наверно, что Афердов — вор; я тогда еще и фамилию его не знал, так что в ту минуту действительно мог подумать, что я ошибся и что эти три сторублевые не были в числе тех, которые мне сейчас отсчитали. Я всё время не считал мою кучу денег и только пригребал руками, а перед Афердовым тоже всё время лежали деньги, и как раз сейчас подле моих, но в порядке и сосчитанные. Наконец, Афердова здесь знали, его считали за богача, к нему обращались с уважением: всё это и на меня повлияло, и я опять не протестовал. Ужасная ошибка! Главное свинство заключалось в том, что я был в восторге.

— Чрезвычайно жаль, что я наверно не помню; но мне ужасно кажется, что это — мои, — проговорил я с дрожащими от негодования губами. Слова эти тотчас же вызвали ропот.

— Чтоб говорить такие вещи, то надо *наверно* помнить, а вы сами изволили провозгласить, что помните *не* наверно, — проговорил нестерпимо свысока Афердов.

— Да кто такой? — да как позволять это? — раздалось было несколько восклицаний.

— Это с ними не в первый раз; давеча там с Рехбергом вышла тоже история из-за десятирублевой, — раздался подле чей-то подленький голос.

— Ну, довольно же, довольно! — восклицал я, — я не протестую, берите! Князь... где же князь и Дарзан? Ушли? Господа, вы не видали, куда ушли князь и Дарзан? — и, подхватив наконец все мои деньги, а несколько полуимпериалов так и не успев засунуть в карман и держа в горсти, я пустился догонять князя и Дарзана. Читатель, кажется, видит, что я не щажу себя и припоминаю в эту минуту всего себя тогдашнего, до последней гадости, чтоб было понятно, что потом могло выйти.

Князь и Дарзан уже спустились с лестницы, не обращая ни малейшего внимания на мой зов и крики. Я уже догнал их, но остановился на секунду перед швейцаром и сунул ему в руку три полуимпериала, черт знает зачем; он поглядел на меня с недоумением и даже не поблагодарил. Но мне было всё равно, и если бы тут был и Матвей, то я наверно бы отвалил ему целую горсть золотых, да так и хотел, кажется, сделать, но, выбежав на крыльцо, вдруг вспомнил, что я его еще давеча отпустил домой. В эту минуту князю подали его рысака, и он сел в сани.

— Я с вами, князь, и к вам! — крикнул я, схватил полость и отмахнул ее, чтоб влезть в его сани; но вдруг, мимо меня, в сани вскочил Дарзан, и кучер, вырвав у меня полость, запахнул господ.

— Черт возьми! — крикнул я в исступлении. Выходило, что будто бы я для Дарзана и отстегивал полость, как лакей.

— Домой! — крикнул князь.

— Стой! — заревел я, хватаясь за сани, но лошадь дернула, и я покатился в снег. Мне показалось даже, что они засмеялись. Вскочив, я мигом схватил подвернувшегося извозчика и полетел к князю, понукая каждую секунду мою клячу.

IV

Как нарочно, кляча тащила неестественно долго, хоть я и обещал целый рубль. Извозчик только стегал и, конечно, настегал ее на рубль. Сердце мое замирало; я начинал что-то заговаривать с извозчиком, но у меня даже не выговаривались слова, и я бормотал какой-то вздор. Вот в каком положении я вбежал к князю. Он только что воротился; он завез Дарзана и был один. Бледный и злой, шагал он по кабинету. Повторю еще раз: он страшно проигрался. На меня он посмотрел с каким-то рассеянным недоумением.

— Вы опять! — проговорил он, нахмурившись.

— А чтоб с вами покончить, сударь! — проговорил я задыхаясь. — Как вы смели со мной так поступить?

Он глядел вопросительно.

— Если вы ехали с Дарзаном, то могли мне так и ответить, что едете с Дарзаном, а вы дернули лошадь, и я...

— Ах да, вы, кажется, упали в снег, — и он засмеялся мне в глаза.

— На это отвечают вызовом, а потому мы сначала кончим счеты...

И я дрожащею рукой пустился вынимать мои деньги и класть их на диван, на мраморный столик и даже в какую-то раскрытую книгу, кучками, пригоршнями, пачками; несколько монет покатилось на ковер.

— Ах да, вы, кажется, выиграли?.. то-то и заметно по вашему тону.

Никогда еще не говорил он со мной так дерзко. Я был очень бледен.

— Тут... я не знаю сколько... надо бы сосчитать. Я вам должен до трех тысяч... или сколько?.. больше или меньше?

— Я вас, кажется, не вынуждаю платить.

— Нет-с, я сам хочу заплатить, и вы должны знать почему. Я знаю, что в этой пачке радужных — тысяча рублей, вот! — И я стал было дрожащими руками считать, но бросил. — Всё равно, я знаю, что тысяча. Ну, так вот, эту тысячу я беру себе, а всё остальное, вот эти кучи, возьмите за долг, за часть долга: тут, я думаю, до двух тысяч или, пожалуй, больше!

— А тысячу-то все-таки себе оставляете? — оскалился князь.

— А вам надо? В таком случае... я хотел было... я думал было, что вы не захотите... но, если надо — то вот...

— Нет, не надо, — презрительно отвернулся он от меня и опять зашагал по комнате.

— И черт знает, что вам вздумалось отдавать? — повернулся он вдруг ко мне с страшным вызовом в лице.

— Я отдаю, чтоб потребовать у вас отчета! — завопил я в свою очередь.

— Убирайтесь вы прочь с вашими вечными словами и жестами! — затопал он вдруг на меня, как бы в исступлении. — Я вас обоих давно хотел выгнать, вас и вашего Версилова.

— Вы с ума сошли! — крикнул я. Да и было похоже на то.

— Вы меня измучили оба трескучими вашими фразами и всё фразами, фразами, фразами! Об чести, например! Тьфу! Я давно хотел порвать... Я рад, рад, что пришла минута. Я считал себя связанным и краснел, что принужден принимать вас... обоих! А теперь не считаю себя связанным ничем, ничем, знайте это! Ваш Версилов подбивал меня напасть на Ахмакову и осрамить ее... Не смейте же после того говорить у меня о чести. Потому что вы — люди бесчестные... оба, оба; а вы разве не стыдились у меня брать мои деньги?

В глазах моих потемнело.

— Я брал у вас как товарищ, — начал я ужасно тихо, — вы предлагали сами, и я поверил вашему расположению...

— Я вам — не товарищ! Я вам давал, да не для того, а вы сами знаете для чего.

— Я брал в зачет версиловских; конечно, это глупо, но я...

— Вы не могли брать в зачет версиловских без его позволения, и я не мог вам давать его деньги без его позволения... Я вам свои давал; и вы знали; знали и брали; а я терпел ненавистную комедию в своем доме!

— Что такое я знал? Какая комедия? За что же вы мне давали?

— Pour vos beaux yeux, mon cousin! [1] — захохотал он мне прямо в глаза.

— К черту! — завопил я, — возьмите всё, вот вам и эта тысяча! Теперь — квиты, и завтра...

И я бросил в него этой пачкой радужных, которую оставил было себе для разживы. Пачка попала ему прямо в жилет и шлепнулась на пол. Он быстро, огромными тремя шагами, подступил ко мне в упор.

— Посмеете ли вы сказать, — свирепо и раздельно, как по складам, проговорил он, — что, брав мои деньги весь месяц, вы не знали, что ваша сестра от меня беременна?

— Что? Как! — вскричал я, и вдруг мои ноги ослабели, и я бессильно опустился на диван. Он мне сам говорил потом, что я побледнел буквально как платок. Ум замешался во мне.

[1] За ваши прекрасные глаза, мой кузен! *(франц.)*

Помню, мы всё смотрели молча друг другу в лицо. Как будто испуг прошел по его лицу; он вдруг наклонился, схватил меня за плечи и стал меня поддерживать. Я слишком помню его неподвижную улыбку; в ней были недоверчивость и удивление. Да, он никак не ожидал такого эффекта своих слов, потому что был убежден в моей виновности.

Кончилось обмороком, но на одну лишь минуту; я опомнился, приподнялся на ноги, глядел на него и соображал — и вдруг вся истина открылась столь долго спавшему уму моему! Если б мне сказали заранее и спросили: «Что бы я сделал с ним в ту минуту?» — я бы наверно ответил, что растерзал бы его на части. Но вышло совсем иное, и совсем не по моей воле: я вдруг закрыл лицо обеими руками и горько, навзрыд, заплакал. Само так вышло! В молодом человеке сказался вдруг маленький ребенок. Маленький ребенок, значит, жил еще тогда в душе моей на целую половину. Я упал на диван и всхлипывал. «Лиза! Лиза! Бедная, несчастная!» Князь вдруг и совершенно поверил.

— Боже, как я виноват перед вами! — вскричал он с глубокою горестью. — О, как гнусно я думал об вас в моей мнительности... Простите меня, Аркадий Макарович!

Я вдруг вскочил, хотел ему что-то сказать, стал перед ним, но, не сказав ничего, выбежал из комнаты и из квартиры. Я прибрел домой пешком и едва помню путь. Я бросился на мою кровать, лицом в подушку, в темноте, и думал-думал. В такие минуты стройно и последовательно никогда не думается. Ум и воображение мое как бы срывались с нитки, и, помню, я начинал даже мечтать о совершенно постороннем и даже бог знает о чем. Но горе и беда вдруг опять припоминались с болью и с нытьем, и я опять ломал руки и восклицал: «Лиза, Лиза!» — и опять плакал. Не помню, как заснул, но спал крепко, сладко.

Глава седьмая

I

Я проснулся утром часов в восемь, мигом запер мою дверь, сел к окну и стал думать. Так просидел до десяти часов. Служанка два раза стучалась ко мне, но я прогонял ее. Наконец, уже в одиннадцатом часу, опять постучались. Я было закричал опять, но это была Лиза. С нею вошла и служанка, принесла мне кофей и расположилась затоплять печку. Прогнать служанку было невозможно, и всё время, пока Фекла накладывала дров и раздувала огонь, я всё ходил большими шагами по моей маленькой комнате, не начиная разговора и даже стараясь не глядеть на Лизу. Служанка действовала с невыразимою медленностью, и это нарочно, как все служанки в таких случаях, когда приметят,

что они господам мешают при них говорить. Лиза села на стул у окна и следила за мною.

— У тебя кофей простынет, — сказала она вдруг.

Я поглядел на нее: ни малейшего смущения, полное спокойствие, а на губах так даже улыбка.

— Вот женщины! — не вытерпел я и вскинул плечами. Наконец служанка затопила печку и принялась было прибирать, но я с жаром выгнал ее и наконец-то запер дверь.

— Скажи мне, пожалуйста, зачем ты опять запер дверь? — спросила Лиза.

Я стал перед нею:

— Лиза, мог ли я подумать, что ты так обманешь меня! — воскликнул я вдруг, совсем даже не думая, что так начну, и не слезы на этот раз, а почти злобное какое-то чувство укололо вдруг мое сердце, так что я даже не ожидал того сам. Лиза покраснела, но не ответила, только продолжала смотреть мне прямо в глаза.

— Постой, Лиза, постой, о, как я был глуп! Но глуп ли? Все намеки сошлись только вчера в одну кучу, а до тех пор откуда я мог узнать? Из того, что ты ходила к Столбеевой и к этой... Дарье Онисимовне? Но я тебя за солнце считал, Лиза, и как могло бы мне прийти что-нибудь в голову? Помнишь, как я тебя встретил тогда, два месяца назад, у *него* на квартире, и как мы с тобой шли тогда по солнцу и радовались... тогда уже было? Было?

Она ответила утвердительным наклонением головы.

— Так ты уж и тогда меня обманывала! Тут не от глупости моей, Лиза, тут, скорее, мой эгоизм, а не глупость причиною, мой эгоизм сердца и — и, пожалуй, уверенность в святость. О, я всегда был уверен, что все вы бесконечно выше меня и — вот! Наконец, вчера, в один день сроку, я не успел и сообразить, несмотря на все намеки... Да и не тем совсем я был вчера занят!

Тут я вдруг вспомнил о Катерине Николавне, и что-то опять мучительно, как булавкой, кольнуло меня в сердце, и я весь покраснел. Я, естественно, не мог быть в ту минуту добрым.

— Да в чем ты оправдываешься? Ты, Аркадий, кажется, в чем-то спешишь оправдаться, так в чем же? — тихо и кротко спросила Лиза, но очень твердым и убежденным голосом.

— Как в чем? Да мне-то что теперь делать? — вот хоть бы этот вопрос! А ты говоришь: «в чем же?» Я не знаю, как поступить! Я не знаю, как в этих случаях поступают братья... Я знаю, что заставляют жениться с пистолетом в руке... Поступлю, как надо честному человеку! А я вот и не знаю, как тут надо поступить честному человеку!.. Почему? Потому что мы — не дворяне, а он — князь и делает там свою карьеру; он нас, честных-то людей, и слушать не станет. Мы — даже и не братья с тобой, а незаконнорожденные какие-то, без фамилии, дети дворового; а князья разве женятся на дворовых? О, гадость! И, сверх того, ты сидишь и на меня теперь удивляешься.

— Я верю, что ты мучишься, — покраснела опять Лиза, — но ты торопишься и сам себя мучаешь.

— Торопишься? Да неужели же я недостаточно опоздал, по-твоему! Тебе ли, тебе ли, Лиза, мне так говорить? — увлекся я наконец полным негодованием. — А сколько я вынес позору, и как этот князь должен был меня презирать! О, мне теперь всё ясно, и вся эта картина передо мной: он вполне вообразил, что я уже давно догадался о его связи с тобой, но молчу или даже подымаю нос и похваляюсь «честью» — вот что он даже мог обо мне подумать! И за сестру, за позор сестры беру деньги! Вот что ему было омерзительно видеть, и я его оправдываю вполне: каждый день видать и принимать подлеца, потому что он — ей брат, да еще говорит о чести... это сердце иссохнет, хоть бы и его сердце! И ты всё это допустила, ты не предупредила меня! Он до того презирал меня, что говорил обо мне Стебелькову и сам сказал мне вчера, что хотел нас обоих с Версиловым выгнать. А Стебельков-то! «Анна Андреевна ведь — такая же вам сестрица, как и Лизавета Макаровна», да еще кричит мне вслед: «Мои деньги лучше». А я-то, я-то нахально разваливался у *него* на диванах и лез, как ровня, к его знакомым, черт бы их взял! И ты всё это допустила! Пожалуй, и Дарзан теперь знает, судя по крайней мере по тону его вчера вечером... Все, все знают, кроме меня!

— Никто ничего не знает, никому из знакомых он не говорил и *не мог* сказать, — прервала меня Лиза, — а про Стебелькова этого я знаю только, что Стебельков его мучит и что Стебельков этот мог разве лишь догадаться... А о тебе я ему несколько раз говорила, и он вполне мне верил, что тебе ничего не известно, и вот только не знаю, почему и как это у вас вчера вышло.

— О, по крайней мере я с ним вчера расплатился, и хоть это с сердца долой! Лиза, знает мама? Да как не знать: вчера-то, вчера-то она поднялась на меня!.. Ах, Лиза! Да неужто ты решительно во всем себя считаешь правой, так-таки ни капли не винишь себя? Я не знаю, как это судят по-теперешнему и каких ты мыслей, то есть насчет меня, мамы, брата, отца... Знает Версилов?

— Мама ему ничего не говорила; он не спрашивает; верно, не хочет спрашивать.

— Знает, да не хочет знать, это — так, это на него похоже! Ну, пусть ты осмеиваешь роль брата, глупого брата, когда он говорит о пистолетах, но мать, мать? Неужели ты не подумала, Лиза, что это — маме укор? Я всю ночь об этом промучился; первая мысль мамы теперь: «Это — потому, что я тоже была виновата, а какова мать — такова и дочь!»

— О, как это злобно и жестоко ты сказал! — вскричала Лиза с прорвавшимися из глаз слезами, встала и быстро пошла к двери.

— Стой, стой! — обхватил я ее, посадил опять и сел подле нее, не отнимая руки.

— Я так и думала, что всё так и будет, когда шла сюда, и тебе непременно понадобится, чтоб я непременно сама повинилась.

Изволь, вопьюсь. Я только из гордости сейчас молчала, не говорила, а вас и маму мне гораздо больше, чем себя самое, жаль... — Она не договорила и вдруг горячо заплакала.

— Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я — тебе не судья. Лиза, что мама? Скажи, давно она знает?

— Я думаю, что давно: но я сама сказала ей недавно, когда *это* случилось, — тихо проговорила она, опустив глаза.

— Что ж она?

— Она сказала: «носи!» — еще тише проговорила Лиза.

— Ах, Лиза, да, «носи»! Не сделай чего над собой, упаси тебя боже!

— Не сделаю, — твердо ответила она и вновь подняла на меня глаза.

— Будь спокоен, — прибавила она, — тут совсем не то.

— Лиза, милая, я вижу только, что я тут ничего не знаю, но зато теперь только узнал, как тебя люблю. Одного только не понимаю, Лиза; всё мне тут ясно, одного только совсем не пойму: за что ты его полюбила? Как ты могла такого полюбить? Вот вопрос!

— И, верно, тоже об этом мучился ночью? — тихо улыбнулась Лиза.

— Стой, Лиза, это — глупый вопрос, и ты смеешься; смейся, но ведь невозможно же не удивляться: ты и *он* — вы такие противоположности! Он — я его изучил — он мрачный, мнительный, может быть, он очень добрый, пусть его, но зато в высшей степени склонный прежде всего во всем видеть злое (в этом, впрочем, совершенно как я!). Он страстно уважает благородство — это я допускаю, это вижу, но только, кажется, в идеале. О, он склонен к раскаянью, он всю жизнь беспрерывно клянет себя и раскаивается, но зато никогда и не исправляется, впрочем, это тоже, может быть, как я. Тысяча предрассудков и ложных мыслей и — никаких мыслей! Ищет большого подвига и пакостит по мелочам. Прости, Лиза, я, впрочем, — дурак: говоря это, я тебя обижаю и знаю это; я это понимаю...

— Портрет бы верен, — улыбнулась Лиза, — но ты слишком на него зол за меня, а потому и ничего не верно. Он с самого начала был к тебе недоверчив, и ты не мог его всего видеть, а со мной еще с Луги... Он только и видел одну меня, с самой Луги. Да, он мнительный и болезненный и без меня с ума бы сошел; и если меня оставит, то сойдет с ума или застрелится; кажется, он это понял и знает, — прибавила Лиза как бы про себя и задумчиво. — Да, он слаб беспрерывно, но этакие-то слабые способны когда-нибудь и на чрезвычайно сильное дело... Как ты странно сказал про пистолет, Аркадий: ничего тут этого не надо, и я знаю сама, что будет. Не я за ним хожу, а он за мною ходит. Мама плачет, говорит: «Если за него выйдешь, несчастна будешь, любить перестанет». Я этому не верю; несчастна, может, буду, а любить он не перестанет. Я не потому всё не давала ему согласия, а по другой

причине. Я ему уже два месяца не даю согласия, но сегодня я сказала ему: *да*, выйду за тебя. Аркаша, знаешь, он вчера (глаза ее засияли, и она вдруг обхватила мне обеими руками шею) — он вчера приехал к Анне Андреевне и прямо, со всей откровенностью сказал ей, что не может любить ее... Да, он объяснился совсем, и эта мысль теперь кончена! Он никогда в этой мысли не участвовал, это всё намечтал князь Николай Иванович, да напирали на него эти мучители, Стебельков и другой один... Вот я и сказала ему за это сегодня: *да*. Милый Аркадий, он очень зовет тебя, и не обижайся после вчерашнего: он сегодня не так здоров и весь день дома. Он взаправду нездоров, Аркадий: не подумай, что отговорка. Он меня нарочно прислал и просил передать, что «нуждается» в тебе, что ему много надо сказать тебе, а у тебя здесь, на этой квартире, будет неловко. Ну, прощай! Ах, Аркадий, стыдно мне только говорить, а я шла сюда и ужасно боялась, что ты меня разлюбил, всё крестилась дорогою, а ты — такой добрый, милый! Не забуду тебе этого никогда! Я к маме. А ты его полюби хоть немножко, а?

Я горячо ее обнял и сказал ей:

— Я, Лиза, думаю, что ты — крепкий характер. Да, я верю, что не ты за ним ходишь, а он за тобой ходит, только все-таки...

— Только все-таки «за что ты его полюбила — вот вопрос!» — подхватила, вдруг усмехнувшись шаловливо, как прежде, Лиза и ужасно похоже на меня произнесла «вот вопрос!». И при этом, совершенно как я делаю при этой фразе, подняла указательный палец перед глазами. Мы расцеловались, но, когда она вышла, у меня опять защемило сердце.

II

Замечу здесь лишь для себя: были, например, мгновения, по уходе Лизы, когда самые неожиданные мысли целой толпой приходили мне в голову, и я даже был ими очень доволен. «Ну, что я хлопочу, — думал я, — мне-то что? У всех так или почти. Что ж такое, что с Лизой это случилось? Что я „честь семейства“, что ли, должен спасти?» Отмечаю все эти подлости, чтоб показать, до какой степени я еще не укреплен был в разумении зла и добра. Спасало лишь чувство: я знал, что Лиза несчастна, что мама несчастна, и знал это чувством, когда вспоминал про них, а потому и чувствовал, что всё, что случилось, должно быть нехорошо.

Теперь предупрежу, что события с этого дня до самой катастрофы моей болезни пустились с такою быстротой, что мне, припоминая теперь, даже самому удивительно, как мог я устоять перед ними, как не задавила меня судьба. Они обессилили мой ум и даже чувства, и если б я под конец, не устояв, совершил преступление (а преступление чуть-чуть не совершилось), то присяжные, весьма может быть, оправдали бы меня. Но постараюсь описать в

строгом порядке, хотя предупреждаю, что тогда в мыслях моих мало было порядка. События налегли, как ветер, и мысли мои закрутились в уме, как осенние сухие листья. Так как я весь состоял из чужих мыслей, то где мне было взять своих, когда они потребовались для самостоятельного решения? Руководителя же совсем не было.

К князю я решил пойти вечером, чтобы обо всем переговорить на полной свободе, а до вечера оставался дома. Но в сумерки получил по городской почте опять записку от Стебелькова, в три строки, с настоятельною и «убедительнейшею» просьбою посетить его завтра утром часов в одиннадцать для «самоважнейших дел, и сами увидите, что за делом». Обдумав, я решил поступить судя по обстоятельствам, так как до завтра было еще далеко.

Было уже восемь часов; я бы давно пошел, но всё поджидал Версилова: хотелось ему многое выразить, и сердце у меня горело. Но Версилов не приходил и не пришел. К маме и к Лизе мне показываться пока нельзя было, да и Версилова, чувствовалось мне, наверно весь день там не было. Я пошел пешком, и мне уже на пути пришло в голову заглянуть во вчерашний трактир на канаве. Как раз Версилов сидел на вчерашнем своем месте.

— Я так и думал, что ты сюда придешь, — странно улыбнувшись и странно посмотрев на меня, сказал он. Улыбка его была недобрая, и такой я уже давно не видал на его лице.

Я присел к столику и рассказал ему сначала всё фактами о князе и о Лизе и о вчерашней сцене моей у князя после рулетки; не забыл и о выигрыше на рулетке. Он выслушал очень внимательно и переспросил о решении князя жениться на Лизе.

— Pauvre enfant, [1] может быть, она ничего тем не выиграет. Но, вероятно, не состоится... хотя он способен...

— Скажите мне как другу: ведь вы это знали, предчувствовали?

— Друг мой, что я тут мог? Всё это — дело чувства и чужой совести, хотя бы и со стороны этой бедненькой девочки. Повторю тебе: я достаточно в о́но время вскакивал в совесть других — самый неудобный маневр! В несчастье помочь не откажусь, насколько сил хватит и если сам разберу. А ты, мой милый, ты таки всё время ничего и не подозревал?

— Но как могли вы, — вскричал я, весь вспыхнув, — как могли вы, подозревая даже хоть на каплю, что я знаю о связи Лизы с князем, и видя, что я в то же время беру у князя деньги, — как могли вы говорить со мной, сидеть со мной, протягивать мне руку, — мне, которого вы же должны были считать за подлеца, потому что, бьюсь об заклад, вы наверно подозревали, что я знаю всё и беру у князя за сестру деньги зазнамо!

— Опять-таки — дело совести, — усмехнулся он. — И почему ты знаешь, — с каким-то загадочным чувством внятно прибавил он, — почему ты знаешь, не боялся ли и я, как ты вчера при

[1] Бедное дитя *(франц.)*.

другом случае, свой «идеал» потерять и, вместо моего пылкого и честного мальчика, негодяя встретить? Опасаясь, отдалял минуту. Почему не предположить во мне, вместо лености или коварства, чего-нибудь более невинного, ну, хоть глупого, но поблагороднее. Que diable! [1] я слишком часто бываю глуп и без благородства. Что бы пользы мне в тебе, если б у тебя уж такие наклонности были? Уговаривать и исправлять в таких случаях низко; ты бы потерял в моих глазах всякую цену, хотя бы и исправленный...

— А Лизу жалеете, жалеете?

— Очень жалею, мой милый. С чего ты взял, что я так бесчувствен? Напротив, постараюсь всеми силами... Ну, а ты *как*, как *твои* дела?

— Оставим мои дела; у меня теперь нет *моих* дел. Слушайте, почему вы сомневаетесь, что он женится? Он вчера был у Анны Андреевны и положительно отказался... ну, то есть от той глупой мысли... вот что зародилась у князя Николая Ивановича, — сосватать их. Он отказался положительно.

— Да? Когда же это было? И от кого ты именно слышал? — с любопытством осведомился он. Я рассказал всё, что знал.

— Гм... — произнес он раздумчиво и как бы соображая про себя, — стало быть, это происходило ровно за какой-нибудь час... до одного другого объяснения. Гм... ну да, конечно, подобное объяснение могло у них произойти... хотя мне, однако, известно, что там до сих пор ничего никогда не было сказано или сделано ни с той, ни с другой стороны... Да, конечно, достаточно двух слов, чтоб объясниться. Но вот что, — странно усмехнулся он вдруг, — я тебя, конечно, заинтересую сейчас одним чрезвычайным даже известием: если б твой князь и сделал вчера свое предложение Анне Андреевне (чего я, подозревая о Лизе, всеми бы силами моими не допустил, entre nous soit dit [2]), то Анна Андреевна наверно и во всяком случае ему тотчас бы отказала. Ты, кажется, очень любишь Анну Андреевну, уважаешь и ценишь ее? Это очень мило с твоей стороны, а потому, вероятно, и порадуешься за нее: она, мой милый, выходит замуж, и, судя по ее характеру, кажется, выйдет наверно, а я — ну, я, уж конечно, благословлю.

— Замуж выходит? За кого же? — вскричал я, ужасно удивленный.

— А угадай. Мучить не буду: за князя Николая Ивановича, за твоего милого старичка.

Я глядел во все глаза.

— Должно быть, она давно эту идею питала и, уж конечно, художественно обработала ее со всех сторон, — лениво и раздельно продолжал он. — Я полагаю, это произошло ровно час спустя

---

[1] Черт возьми! *(франц.)*

[2] между нами говоря *(франц.)*.

после посещения «князя Сережи». (Вот ведь некстати-то расскакался!) Она просто пришла к князю Николаю Ивановичу и сделала ему предложение.

— Как «сделала ему предложение»? То есть он сделал ей предложение?

— Ну где ему! Она, она сама. То-то и есть, что он в полном восторге. Он, говорят, теперь всё сидит и удивляется, как это ему самому не пришло в голову. Я слышал, он даже прихворнул... тоже от восторга, должно быть.

— Послушайте, вы так насмешливо говорите... Я почти не могу поверить. Да и как она могла предложить? что она сказала?

— Будь уверен, мой друг, что я искренно радуюсь, — ответил он, вдруг приняв удивительно серьезную мину, — он стар, конечно, но жениться может, по всем законам и обычаям, а она — тут опять-таки дело чужой совести, то, что уже я тебе повторял, мой друг. Впрочем, она слишком компетентна, чтоб иметь свой взгляд и свое решение. А собственно о подробностях и какими словами она выражалась, то не сумею тебе передать, мой друг. Но уж конечно, она-то сумела, да так, может быть, как мы с тобою и не придумали бы. Лучше всего во всем этом то, что тут никакого скандала, все très comme il faut[1] в глазах света. Конечно, слишком ясно, что она захотела себе положения в свете, но ведь она же и стоит того. Всё это, друг мой, — совершенно светская вещь. А предложила она, должно быть, великолепно и изящно. Это — строгий тип, мой друг, девушка-монашенка, как ты ее раз определил; «спокойная девица», как я ее давно уже называю. Она ведь — почти что его воспитанница, ты знаешь, и уже не раз видела его доброту к себе. Она уверяла меня уже давно, что его «так уважает и так ценит, так жалеет и симпатизирует ему», ну и всё прочее, так что я даже отчасти был подготовлен. Мне о всем этом сообщил сегодня утром, от ее лица и по ее просьбе, сын мой, а ее брат Андрей Андреевич, с которым ты, кажется, незнаком и с которым я вижусь аккуратно раз в полгода. Он почтительно апробует шаг ее.

— Так это уже гласно? Боже, как я изумлен!

— Нет, это совсем еще не гласно, до некоторого времени... я там не знаю, вообще я в стороне совершенно. Но всё это верно.

— Но теперь Катерина Николаевна... Как вы думаете, эта закуска Бьорингу не понравится?

— Этого я уж не знаю... что, собственно, тут ему не понравится; но поверь, что Анна Андреевна и в этом смысле — в высшей степени порядочный человек. А каково, однако, Анна-то Андреевна! Как раз справилась перед тем у меня вчера утром: «Люблю ли я или нет госпожу вдову Ахмакову?» Помнишь, я тебе с удивлением вчера передавал: нельзя же бы ей выйти за отца, если б я женился на дочери? Понимаешь теперь?

---

[1] очень прилично *(франц.)*.

— Ах, в самом деле! — вскричал я. — Но неужто же в самом деле Анна Андреевна могла предположить, что вы... могли бы желать жениться на Катерине Николаевне?

— Видно, что так, мой друг, а впрочем... а впрочем, тебе, кажется, пора туда, куда ты идешь. У меня, видишь ли, всё голова болит. Прикажу «Лючию». Я люблю торжественность скуки, а впрочем, я уже говорил тебе это... Повторяюсь непростительно... Впрочем, может быть, и уйду отсюда. Я люблю тебя, мой милый, но прощай; когда у меня голова болит или зубы, я всегда жажду уединения.

На лице его показалась какая-то мучительная складка; верю теперь, что у него болела тогда голова, особенно голова...

— До завтра, — сказал я.

— Что такое до завтра и что будет завтра? — криво усмехнулся он.

— Приду к вам, или вы ко мне.

— Нет, я к тебе не приду, а ты ко мне прибежишь...

В лице его было что-то слишком уж недоброе, но мне было даже не до него: такое происшествие!

III

Князь был действительно нездоров и сидел дома один с обвязанной мокрым полотенцем головой. Он очень ждал меня; но не голова одна у него болела, а скорее он весь был болен нравственно. Предупреждаю опять: во всё это последнее время, и вплоть до катастрофы, мне как-то пришлось встречаться сплошь с людьми, до того возбужденными, что все они были чуть не помешанные, так что я сам поневоле должен был как бы заразиться. Я, признаюсь, пришел с дурными чувствами, да и стыдно мне было очень того, что я вчера перед ним расплакался. Да и все-таки они так ловко с Лизой сумели меня обмануть, что я не мог же не видеть в себе глупца. Словом, когда я вошел к нему, в душе моей звучали фальшивые струны. Но всё это напускное и фальшивое соскочило быстро. Я должен отдать ему справедливость: как скоро падала и разбивалась его мнительность, то он уже отдавался окончательно; в нем сказывались черты почти младенческой ласковости, доверчивости и любви. Он со слезами поцеловал меня и тотчас же начал говорить о деле... Да, я действительно был ему очень нужен: в словах его и в течении идей было чрезвычайно много беспорядка.

Он совершенно твердо заявил мне о своем намерении жениться на Лизе, и как можно скорей. «То, что она не дворянка, поверьте, не смущало меня ни минуты, — сказал он мне, — мой дед женат был на дворовой девушке, певице на собственном крепостном театре одного соседа-помещика. Конечно, мое семейство питало насчет меня своего рода надежды, но им придется теперь уступить,

да и борьбы никакой не будет. Я хочу разорвать, разорвать со всем теперешним окончательно! Всё другое, всё по-новому! Я не понимаю, за что меня полюбила ваша сестра; но, уж конечно, я без нее, может быть, не жил бы теперь на свете. Клянусь вам от глубины души, что я смотрю теперь на встречу мою с ней в Луге как на перст провидения. Я думаю, она полюбила меня за „беспредельность моего падения“... впрочем, поймете ли вы это, Аркадий Макарович?»

— Совершенно! — произнес я в высшей степени убежденным голосом. Я сидел в креслах перед столом, а он ходил по комнате.

— Я должен вам рассказать весь этот факт нашей встречи без утайки. Началось с моей душевной тайны, которую она одна только и узнала, потому что одной только ей я и решился поверить. И никто до сих пор не знает. В Лугу тогда я попал с отчаянием в душе и жил у Столбеевой, не знаю зачем, может быть, искал полнейшего уединения. Я тогда только что оставил службу в —м полку. В полк этот я поступил, воротясь из-за границы, после той встречи за границей с Андреем Петровичем. У меня были тогда деньги, я в полку мотал, жил открыто; но офицеры-товарищи меня не любили, хотя я старался не оскорблять. И признаюсь вам, что меня никто никогда не любил. Там был один корнет, Степанов какой-то, признаюсь вам, чрезвычайно пустой, ничтожный и даже как бы забитый, одним словом, ничем не отличавшийся. Бесспорно, впрочем, честный. Он ко мне повадился, я с ним не церемонился, он просиживал у меня в углу молча по целым дням, но с достоинством, хотя не мешал мне вовсе. Раз я рассказал ему один текущий анекдот, в который приплел много вздору, о том, что дочь полковника ко мне неравнодушна и что полковник, рассчитывая на меня, конечно, сделает всё, что я пожелаю... Одним словом, я опускаю подробности, но из всего этого вышла потом пресложная и прегнусная сплетня. Вышла не от Степанова, а от моего денщика, который всё подслушал и запомнил, потому что тут был один смешной анекдот, компрометировавший молодую особу. Вот этот денщик и указал на допросе у офицеров, когда вышла сплетня, на Степанова, то есть что я этому Степанову рассказывал. Степанов был поставлен в такое положение, что никак не мог отречься, что слышал; это было делом чести. А так как я на две трети в анекдоте этом налгал, то офицеры были возмущены, и полковой командир, собрав нас к себе, вынужден был объясниться. Вот тут-то и был задан при всех Степанову вопрос: слышал он или нет? И тот показал всю правду. Ну-с, что же я тогда сделал, я, тысячелетний князь? Я отрекся и в глаза Степанову сказал, что он солгал, учтивым образом, то есть в том смысле, что он «не так понял», и проч... Я опять-таки опускаю подробности, но выгода моего положения была та, что так как Степанов ко мне учащал, то я, не без некоторого вероятия, мог выставить дело в таком виде, что он будто бы стакнулся с моим денщиком из некоторых выгод. Степанов только

молча поглядел на меня и пожал плечами. Я помню его взгляд и никогда его не забуду. Затем он немедленно подал было в отставку, но, как вы думаете, что вышло? Офицеры, все до единого, разом, сделали ему визит и уговорили его не подавать. Через две недели вышел и я из полка: меня никто не выгонял, никто не приглашал выйти, я выставил семейный предлог для отставки. Тем дело и кончилось. Сначала я был совершенно ничего и даже на них сердился; жил в Луге, познакомился с Лизаветой Макаровной, но потом, еще месяц спустя, я уже смотрел на мой револьвер и подумывал о смерти. Я смотрю на каждое дело мрачно, Аркадий Макарович. Я приготовил письмо в полк командиру и товарищам, с полным сознанием во лжи моей, восстановляя честь Степанова. Написав письмо, я задал себе задачу: «послать и жить или послать и умереть?» Я бы не разрешил этого вопроса. Случай, слепой случай, после одного быстрого и странного разговора с Лизаветой Макаровной, вдруг сблизил меня с нею. А до того она ходила к Столбеевой; мы встречались, раскланивались и даже редко говорили. Я вдруг всё открыл ей. Вот тогда-то она и подала мне руку.

— Как же она решила вопрос?

— Я не послал письма. Она решила не посылать. Она мотивировала так: если пошлю письмо, то, конечно, сделаю благородный поступок, достаточный, чтоб смыть всю грязь и даже гораздо больше, но вынесу ли его сам? Ее мнение было то, что и никто бы не вынес, потому что будущность тогда погибла и уже воскресение к новой жизни невозможно. И к тому же, добро бы пострадал Степанов; но ведь он же был оправдан обществом офицеров и без того. Одним словом — парадокс; но она удержала меня, и я ей отдался вполне.

— Она решила по-иезуитски, но по-женски! — вскричал я, — она уже тогда вас любила!

— Это-то и возродило меня к новой жизни. Я дал себе слово переделать себя, переломить жизнь, заслужить перед собой и перед нею, и — вот у нас чем кончилось! Кончилось тем, что мы с вами ездили здесь на рулетки, играли в банк; я не выдержал перед наследством, обрадовался карьере, всем этим людям, рысакам... я мучил Лизу — позор!

Он потер себе лоб рукой и прошелся по комнате.

— Нас с вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадий Макарович: вы не знаете, что делать, и я не знаю, что делать. Выскочи русский человек чуть-чуть из казенной, узаконенной для него обычаем колеи — и он сейчас же не знает, что делать. В колее всё ясно: доход, чин, положение в свете, экипаж, визиты, служба, жена — а чуть что и — что я такое? Лист, гонимый ветром. Я не знаю, что делать! Эти два месяца я стремился удержаться в колее, полюбил колею, втянулся в колею. Вы еще не знаете глубины моего здешнего падения: я любил Лизу, искренно любил и в то же время думал об Ахмаковой!

— Неужели? — с болью вскричал я. — Кстати, князь, что вы сказали мне вчера про Версилова, что он подбивал вас на какую-то подлость против Катерины Николавны?

— Я, может быть, преувеличил и так же виноват в моей мнительности перед ним, как и перед вами. Оставьте это. Что, неужели вы думаете, что во всё это время, с самой Луги может быть, я не питал высокого идеала жизни? Клянусь вам, он не покидал меня и был передо мной постоянно, не потеряв нисколько в душе моей своей красоты. Я помнил клятву, данную Лизавете Макаровне, возродиться. Андрей Петрович, говоря вчера здесь о дворянстве, не сказал мне ничего нового, будьте уверены. Мой идеал поставлен твердо: несколько десятков десятин земли (и только несколько десятков, потому что у меня не остается уже почти ничего от наследства); затем полный, полнейший разрыв со светом и с карьерой; сельский дом, семья и сам — пахарь или вроде того. О, в нашем роде это — не новость: брат моего отца пахал собственноручно, дед тоже. Мы — всего только тысячелетние князья и благородны, как Роганы, но мы — нищие. И вот этому я бы и научил и моих детей: «Помни всегда всю жизнь, что ты — дворянин, что в жилах твоих течет святая кровь русских князей, но не стыдись того, что отец твой сам пахал землю: это он делал *по-княжески*». Я бы не оставил им состояния, кроме этого клочка земли, но зато бы дал высшее образование, это уж взял бы обязанностью. О, тут помогла бы Лиза. Лиза, дети, работа, о, как мы мечтали обо всем этом с нею, здесь мечтали, вот тут, в этих комнатах, и что же? я в то же время думал об Ахмаковой, не любя этой особы вовсе, и о возможности светского, богатого брака! И только после известия, привезенного вчера Нащокиным, об этом Бьоринге, я и решил отправиться к Анне Андреевне.

— Но ведь вы же ездили отказаться? Ведь вот уже честный поступок, я думаю?

— Вы думаете? — остановился он передо мной, — нет, вы еще не знаете моей природы! Или... или я тут, сам не знаю чего-нибудь: потому что тут, должно быть, не одна природа. Я вас искренно люблю, Аркадий Макарович, и, кроме того, я глубоко виноват перед вами за все эти два месяца, а потому я хочу, чтобы вы, как брат Лизы, всё это узнали: я ездил к Анне Андреевне с тем, чтоб сделать ей предложение, а не отказываться.

— Может ли быть? Но Лиза говорила...

— Я обманул Лизу.

— Позвольте: вы сделали формальное предложение, и Анна Андреевна отказала вам? Так ли? Так ли? Подробности для меня чрезвычайно важны, князь.

— Нет, я предложения не делал совсем, но лишь потому, что не успел; она сама предупредила меня, — не в прямых, конечно, словах, но, однако же, в слишком прозрачных и ясных дала мне «деликатно» понять, что идея эта впредь невозможна.

— Значит, всё равно что не делали предложения и гордость ваша не пострадала!

— Неужели вы можете так рассуждать! А суд собственной совести, а Лиза, которую я обманул и... хотел бросить, стало быть? А обет, данный себе и всему роду моих предков, — возродиться и выкупить все прежние подлости! Умоляю вас, не говорите ей про это. Может быть, она этого одного не в состоянии была бы простить мне! Я со вчерашнего болен. А главное, кажется, теперь уже всё кончено и последний из князей Сокольских отправится в каторгу. Бедная Лиза! Я очень ждал вас весь день, Аркадий Макарович, чтоб открыть вам, как брату Лизы, то, чего она еще не знает. Я — уголовный преступник и участвую в подделке фальшивых акций —ской железной дороги.

— Это что еще! Как в каторгу? — вскочил я, в ужасе смотря на него. Лицо его выражало глубочайшую, мрачную, безысходную горесть.

— Сядьте, — сказал он и сам сел в кресла напротив. — Во-первых, узнайте факт: год с лишком назад, вот в то самое лето Эмса, Лидии и Катерины Николавны, и потом Парижа, именно в то время, когда я отправился на два месяца в Париж, в Париже мне недостало, разумеется, денег. Тут как раз подвернулся Стебельков, которого я, впрочем, и прежде знал. Он дал мне денег и обещал еще дать, но просил и с своей стороны помочь ему: ему нужен был артист, рисовальщик, гравер, литограф и прочее, химик и техник, и — с известными целями. О целях он высказался даже с первого раза довольно прозрачно. И что ж? он знал мой характер — меня всё это только рассмешило. Дело в том, что мне еще со школьной скамьи был знаком один, в настоящее время русский эмигрант, не русского, впрочем, происхождения и проживающий где-то в Гамбурге. В России он раз уже был замешан в одной истории по подделке бумаг. Вот на этого-то человека и рассчитывал Стебельков, но потребовалась к нему рекомендация, и он обратился ко мне. Я дал ему две строки и тотчас забыл о них. Потом он еще и еще раз встречался со мной, и я получил от него тогда всего до трех тысяч. Обо всем этом деле я буквально забыл. Здесь я брал всё время у него деньги под векселя и залоги, и он извивался передо мною как раб, и вдруг вчера я узнаю от него в первый раз, что я — уголовный преступник.

— Когда, вчера?

— А вот вчера, когда мы утром кричали с ним в кабинете перед приездом Нащокина. Он в первый раз и совершенно уже ясно осмелился заговорить со мной об Анне Андреевне. Я поднял руку, чтоб ударить его, но он вдруг встал и объявил мне, что я с ним солидарен и чтоб я помнил, что я — его участник и такой же мошенник, как он, — одним словом, хоть не эти слова, но эта мысль.

— Вздор какой, но ведь это мечта?

— Нет, это — не мечта. Он был у меня сегодня и объяснил подробнее. Акции эти давно в ходу и еще будут пущены в ход, но, кажется, где-то уж начали попадаться. Конечно, я в стороне, но «ведь, однако же, вы тогда изволили дать это письмецо-с», — вот что мне сказал Стебельков.

— Так ведь вы же не знали, для чего, или знали?

— Знал, — отвечал тихо князь и потупил глаза. — То есть, видите ли, и знал и не знал. Я смеялся, мне было весело. Я ни о чем тогда не думал, тем более что мне было совсем не надо фальшивых акций и что не я собирался их делать. Но, однако же, эти три тысячи, которые он мне тогда дал, он даже их и на счет потом не поставил, а я допустил это. А впрочем, почем вы знаете, может быть, и я был фальшивый монетчик? Я не мог не знать, я — не маленький; я знал, но мне было весело, и я помог подлецам каторжникам... и помог за деньги! Стало быть, и я фальшивый монетчик!

— О, вы преувеличиваете; вы виноваты, но вы преувеличиваете!

— Тут, главное, есть один Жибельский, еще молодой человек, по судейской части, нечто вроде помощника аблакатишки. В этих акциях он тут — тоже какой-то участник, ездил потом от того господина в Гамбурге ко мне, с пустяками разумеется, и я даже сам не знал, для чего, об акциях и помину не было... Но, однако же, у него уцелело моей руки два документа, всё записки по две строчки, и, уж конечно, они тоже свидетельствуют; это я сегодня хорошо понял. Стебельков объясняет, что этот Жибельский мешает всему: он что-то там украл, чьи-то деньги, казенные кажется, но намерен еще украсть и затем эмигрировать; так вот ему надобно восемь тысяч, не меньше, в виде вспомоществования на эмиграцию. Моя часть из наследства удовлетворяет Стебелькова, но Стебельков говорит, что надо удовлетворить и Жибельского... Одним словом, отказаться от моей части в наследстве и еще десять тысяч — вот их последнее слово. И тогда мне воротят мои две записки. Они — сообща, это ясно.

— Явная нелепость! Ведь если они донесут на вас, то себя предадут! Они ни за что не донесут.

— Понимаю. Они совсем и не грозят донести; они говорят только: «Мы, конечно, не донесем, но, в случае если дело откроется, то»... вот что они говорят, и всё; но я думаю, что этого довольно! Дело не в том: что бы там ни вышло и хотя бы эти записки были у меня теперь же в кармане, но быть солидарным с этими мошенниками, быть их товарищем вечно, вечно! Лгать России, лгать детям, лгать Лизе, лгать своей совести!..

— Лиза знает?

— Нет, всего она не знает. Она не перенесла бы в своем положении. Я теперь ношу мундир моего полка и при встрече с каждым солдатом моего полка, каждую секунду, сознаю в себе, что я не смею носить этот мундир.

— Слушайте, — вскричал я вдруг, — тут нечего разговаривать; у вас один-единственный путь спасения: идите к князю Николаю Ивановичу, возьмите у него десять тысяч, попросите, не открывая ничего, призовите потом этих двух мошенников, разделайтесь окончательно и выкупите назад ваши записки... и дело с концом! Всё дело с концом, и ступайте пахать! Прочь фантазии, и доверьтесь жизни!

— Я об этом думал, — сказал он твердо. — Я весь день сегодня решался и наконец решил. Я ждал только вас; я поеду. Знаете ли, что я никогда в моей жизни не брал ни копейки у князя Николая Ивановича. Он добр к нашему семейству и даже... принимал участие, но собственно я, я лично, я никогда не брал денег. Но теперь я решился... Заметьте, наш род Сокольских старше, чем род князя Николая Ивановича: они — младшая линия, даже побочная, почти спорная... Наши предки были в вражде. В начале петровской реформы мой прапрадед, тоже Петр, был и остался раскольником и скитался в костромских лесах. Этот князь Петр во второй раз тоже на недворянке был женат... Вот тогда-то и выдвинулись эти другие Сокольские, но я... о чем же я это говорю?

Он был очень утомлен, почти как бы заговаривался.

— Успокойтесь же, — встал я, захватывая шляпу, — лягте спать, это — первое. А князь Николай Иванович ни за что не откажет, особенно теперь на радостях. Вы знаете тамошнюю-то историю? Неужто нет? Я слышал дикую вещь, что он женится; это — секрет, но не от вас, разумеется.

И я всё рассказал ему, уже стоя со шляпой в руке. Он ничего не знал. Он быстро осведомился о подробностях, преимущественно времени, места и о степени достоверности. Я, конечно, не скрыл, что это, по рассказам, произошло тотчас вслед за его вчерашним визитом к Анне Андреевне. Не могу выразить, какое болезненное впечатление произвело на него это известие; лицо его исказилось, как бы перекосилось, кривая улыбка судорожно стянула губы; под конец он ужасно побледнел и глубоко задумался, потупив глаза. Я вдруг слишком ясно увидел, что самолюбие его было страшно поражено вчерашним отказом Анны Андреевны. Может быть, ему слишком уж ярко, при болезненном настроении его, представилась в эту минуту вчерашняя смешная и унизительная роль его перед этой девицей, в согласии которой, как оказывалось теперь, он был всё время так спокойно уверен. И, наконец, может быть, мысль, что сделал такую подлость перед Лизой и так задаром! Любопытно то, за кого эти светские франты почитают друг друга и на каких это основаниях могут они уважать друг друга; ведь этот князь мог же предположить, что Анна Андреевна уже знает о связи его с Лизой, в сущности с ее сестрой, а если не знает, то когда-нибудь уж наверно узнает; и вот он «не сомневался в ее решении»!

— И неужели же вы могли подумать, — гордо и заносчиво вскинул он вдруг на меня глаза, — что я, я способен ехать теперь,

после такого сообщения, к князю Николаю Ивановичу и у него просить денег! У него, жениха той невесты, которая мне только что отказала, — какое нищенство, какое лакейство! Нет, теперь всё погибло, и если помощь этого старика была моей последней надеждой, то пусть гибнет и эта надежда!

Я с ним про себя в душе моей согласился; но на действительность надо было смотреть все-таки шире: старичок князь разве был человек, жених? У меня закипело несколько идей в голове. Я и без того, впрочем, решил давеча, что завтра непременно навещу старика. Теперь же я постарался смягчить впечатление и уложить бедного князя спать: «Выспитесь, и идеи будут светлее, сами увидите!» Он горячо пожал мою руку, но уже не целовался. Я дал ему слово, что приду к нему завтра вечером, и «поговорим, поговорим: слишком много накопилось об чем говорить». На эти слова мои он как-то фатально улыбнулся.

Глава восьмая

I

Всю ту ночь снилась мне рулетка, игра, золото, расчеты. Я всё что-то рассчитывал, будто бы за игорным столом, какую-то ставку, какой-то шанс, и это давило меня как кошмар всю ночь. Скажу правду, что и весь предыдущий день, несмотря на все чрезвычайные впечатления мои, я поминутно вспоминал о выигрыше у Зерщикова. Я подавлял мысль, но впечатление не мог подавить и вздрагивал при одном воспоминании. Этот выигрыш укусил мое сердце. Неужели я рожден игроком? По крайней мере — наверное, что с качествами игрока. Даже и теперь, когда всё это пишу, я минутами люблю думать об игре! Мне случается целые часы проводить иногда, сидя молча, в игорных расчетах в уме и в мечтах о том, как это всё идет, как я ставлю и беру. Да, во мне много разных «качеств», и душа у меня неспокойная.

В десять часов я намеревался отправиться к Стебелькову, и пешком. Матвея я отправил домой, только что тот явился. Пока пил кофей, старался обдуматься. Почему-то я был доволен; вникнув мгновенно в себя, догадался, что доволен, главное, тем, что «буду сегодня в доме князя Николая Ивановича». Но день этот в жизни моей был роковой и неожиданный и как раз начался сюрпризом.

Ровно в десять часов отворилась наотмашь моя дверь и влетела — Татьяна Павловна. Я всего мог ожидать, только не ее посещения, и вскочил перед ней в испуге. Лицо ее было свирепо, жесты беспорядочны, и, спросить ее, она бы сама, может, не сказала: зачем вбежала ко мне? Предупрежу заранее: она только что получила одно чрезвычайное, подавившее ее известие и была под самым первым впечатлением его. А известие задевало и меня.

Впрочем, она пробыла у меня полминуты, ну, положим, всю минуту, только уж не более. Она так и вцепилась в меня.

— Так ты вот как! — стала она передо мной, вся изогнувшись вперед. — Ах ты, пащенок! Что ты это наделал? Аль еще не знаешь? Кофей пьет! Ах ты, болтушка, ах ты, мельница, ах ты, любовник из бумажки... да таких розгами секут, розгами, розгами!

— Татьяна Павловна, что случилось? Что сделалось? Мама?..

— Узнаешь! — грозно вскричала она и выбежала из комнаты, — только я ее и видел. Я конечно бы погнался за ней, но меня остановила одна мысль, и не мысль, а какое-то темное беспокойство: я предчувствовал, что «любовник из бумажки» было в криках ее главным словом. Конечно, я бы ничего не угадал сам, но я быстро вышел, чтоб, поскорее кончив с Стебельковым, направиться к князю Николаю Ивановичу. «Там — всему ключ!» — подумал я инстинктивно.

Удивительно каким образом, но Стебельков уже всё знал об Анне Андреевне, и даже в подробностях; не описываю его разговора и жестов, но он был в восторге, в исступлении восторга от «художественности подвига».

— Вот это — особа-с! Нет-с, вот это — так особа! — восклицал он. — Нет-с, это не по-нашему; мы вот сидим да и ничего, а тут захотелось испить водицы в настоящем источнике — и испила. Это... это — древняя статуя! Это — древняя статуя Минервы-с, только ходит и современное платье носит!

Я попросил его перейти к делу; всё дело, как я и предугадал вполне, заключалось лишь в том, чтоб склонить и уговорить князя ехать просить окончательной помощи у князя Николая Ивановича. «Не то ведь ему очень, очень плохо может быть, и не по моей уж воле; так иль не так?»

Он заглядывал мне в глаза, но, кажется, не предполагал, что мне что-нибудь более вчерашнего известно. Да и не мог предположить: само собою разумеется, что я ни словом, ни намеком не выдал, что знаю «об акциях». Объяснялись мы недолго, он тотчас же стал обещать мне денег, «и значительно-с, значительно-с, только способствуйте, чтоб князь поехал. Дело спешное, очень спешное, в том-то и сила, что слишком уж спешное!»

Спорить и пререкаться с ним, как вчера, я не захотел и встал выходить, на всякий случай бросив ему, что я «постараюсь». Но вдруг он меня удивил невыразимо: я уже направлялся к двери, как он, внезапно, ласково обхватив мою талию рукой, начал говорить мне... самые непонятные вещи.

Опускаю подробности и не привожу всю нить разговора, чтоб не утомлять. Смысл в том, что он сделал мне предложение «познакомить его с господином Дергачевым, так как вы там бываете!»

Я мгновенно притих, всеми силами стараясь не выдать себя каким-нибудь жестом. Тотчас, впрочем, ответил, что вовсе там незнаком, а если был, то всего один раз случайно.

— Но если были *допущены* раз, то уже можете прийти и в другой, так или не так?

Я прямо, но очень хладнокровно спросил его, для чего ему это нужно? И вот до сих пор не могу понять, каким образом до такой степени может доходить наивность иного человека, по-видимому не глупого и «делового», как определил его Васин? Он совершенно прямо объяснил мне, что у Дергачева, по подозрениям его, «наверно что-нибудь из запрещенного, из запрещенного строго, а потому, исследовав, я бы мог составить тем для себя некоторую выгоду». И он, улыбаясь, подмигнул мне левым глазом.

Я ничего ровно не ответил утвердительно, но прикинулся, что обдумываю, и «обещал подумать», а затем поскорее ушел. Дела усложнялись: я полетел к Васину и как раз застал его дома.

— А, и вы — тоже! — загадочно проговорил он, завидев меня.

Не подымая его фразы, я прямо приступил к делу и рассказал. Он был видимо поражен, хотя нисколько не потерял хладнокровия. Он всё подробно переспросил.

— Очень могло быть, что вы не так поняли?

— Нет; уж понял верно, смысл совершенно прямой.

— Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен, — прибавил он искренно. — Да, действительно, если так всё было, то он полагал, что вы не можете устоять против известной суммы.

— И к тому же ему слишком известно мое положение: я всё играл, я вел себя дурно, Васин.

— Я об этом слышал.

— Всего загадочнее для меня то, что он знает же про вас, что и вы там бываете, — рискнул я спросить.

— Он слишком знает, — совершенно просто ответил Васин, — что я там ни при чем. Да и вся эта молодежь больше болтуны и ничего больше; вы, впрочем, сами лучше всех это можете помнить.

Мне показалось, что он как будто мне в чем-то не доверял.

— Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен.

— Я слышал, что дела господина Стебелькова несколько порасстроились, — попробовал я еще спросить, — по крайней мере я слышал про одни акции...

— Про какие акции вы слышали?

Я нарочно заметил об «акциях», но, уж разумеется, не для того, чтоб рассказать ему вчерашний секрет князя. Мне только захотелось сделать намек и посмотреть по лицу, по глазам, знает ли он что-нибудь про акции? Я достиг цели: по неуловимому и мгновенному движению в лице его я догадался, что ему, может быть, и тут кое-что известно. Я не ответил на его вопрос: «какие акции», а промолчал; а он, любопытно это, так и не продолжал об этом.

— Как здоровье Лизаветы Макаровны? — осведомился он с участием.

— Она здорова. Сестра моя всегда вас уважала...

Удовольствие блеснуло в его глазах: я давно уже угадал, что он неравнодушен к Лизе.

— У меня на днях был князь Сергей Петрович, — вдруг сообщил он.

— Когда? — вскричал я.

— Ровно четыре дня тому.

— Не вчера?

— Нет, не вчера. — Он вопросительно посмотрел на меня.

— Потом я, может быть, вам сообщу подробнее об этой нашей встрече, но теперь нахожу нужным предупредить вас, — загадочно проговорил Васин, — что он показался мне тогда как бы в ненормальном состоянии духа и... ума даже. Впрочем, я и еще имел один визит, — вдруг улыбнулся он, — сейчас перед вами, и тоже принужден был заключить об не совсем нормальном состоянии посетителя.

— Князь был сейчас?

— Нет, не князь, я теперь не про князя. У меня был сейчас Андрей Петрович Версилов и... вы ничего не знаете? Не случилось с ним ничего такого?

— Может быть, и случилось, но что именно у вас-то с ним произошло? — торопливо спросил я.

— Конечно, я должен бы был тут сохранить секрет... Мы как-то странно разговариваем с вами, слишком секретно, — опять улыбнулся он. — Андрей Петрович, впрочем, не заказывал мне секрета. Но вы — сын его, и так как я знаю ваши к нему чувства, то на этот раз даже, кажется, хорошо сделаю, если вас предупрежу. Вообразите, он приходил ко мне с вопросом: «Если на случай, на днях, очень скоро, ему бы потребовалось драться на дуэли, то согласился ль бы я взять роль его секунданта?» Я, разумеется, вполне отказал ему.

Я был бесконечно изумлен; эта новость была всех беспокойнее: что-то вышло, что-то произошло, что-то непременно случилось, чего я еще не знаю! Я вдруг мельком вспомнил, как Версилов промолвил мне вчера: «Не я к тебе приду, а ты ко мне прибежишь». Я полетел к князю Николаю Ивановичу, еще более предчувствуя, что там разгадка. Васин, прощаясь, еще раз поблагодарил меня.

II

Старик князь сидел перед камином, окутав пледом свои ноги. Он встретил меня каким-то даже вопросительным взглядом, точно удивившись, что я пришел, а между тем сам же, чуть не каждый день, присылал звать меня. Впрочем, поздоровался ласково, но на первые вопросы мои отвечал как бы несколько брезгливо и ужасно как-то рассеянно. По временам как бы что-то соображал и пристально вглядывался в меня, как бы что-то забыв и припоминая нечто такое, что несомненно долженствовало отно-

ситься ко мне. Я прямо сказал, что слышал уже всё и очень рад. Приветливая и добрая улыбка тотчас показалась на губах его, и он оживился; осторожность и недоверчивость его разом соскочили, точно он и забыл о них. Да и конечно забыл.

— Друг ты мой милый, я так и знал, что первый придешь, и, знаешь, я вчера еще это про тебя подумал: «Кто обрадуется? Он обрадуется». Ну, а больше-то и никто; но это ничего. Люди — злые языки, но это ничтожно... Cher enfant, всё это так возвышенно и так прелестно... Но ведь ты ее знаешь сам слишком хорошо. А об тебе Анна Андреевна даже высоких мыслей. Это, это — строгое и прелестное лицо, лицо из английского кипсека. Это — прелестнейшая английская гравюра, какая только может быть... Третьего года у меня была целая коллекция этих гравюр... Я всегда, всегда имел это намерение, всегда; я удивляюсь только, как я об этом никогда не думал.

— Вы, сколько я помню, всегда так любили и отличали Анну Андреевну.

— Друг мой, мы никому не хотим вредить. Жизнь с друзьями, с родными, с милыми сердцу — это рай. Все — поэты... Одним словом, еще с доисторических времен это известно. Знаешь, мы летом сначала в Соден, а потом в Бад-Гаштейн. Но как ты давно, однако же, не был, мой друг; да что с тобою? Я тебя ожидал. И не правда ли, как много, много прошло с тех пор. Жаль только, что я неспокоен; как только остаюсь один, то и неспокоен. Вот потому-то мне и нельзя одному оставаться, не правда ли? Это ведь дважды два. Я это тотчас же понял с первых же слов ее. О друг мой, она сказала всего только два слова, но это... это было вроде великолепнейшего стихотворения. А впрочем, ведь ты ей — брат, почти брат, не правда ли? Мой милый, недаром же я так любил тебя! Клянусь, я всё это предчувствовал. Я поцеловал у нее ручку и заплакал.

Он вынул платок, как бы опять собираясь заплакать. Он был сильно потрясен и, кажется, в одном из самых своих дурных «состояний», в каких я мог его запомнить за всё время нашего знакомства. Обыкновенно и даже почти всегда он бывал несравненно свежее и бодрее.

— Я бы всех простил, друг мой, — лепетал он далее. — Мне хочется всех простить, и я давно уже ни на кого не сержусь. Искусство, la poésie dans la vie,[1] вспоможение несчастным и она, библейская красота. Quelle charmante personne, а? Les chants de Salomon... non, ce n'est pas Salomon, c'est David qui mettait une jeune belle dans son lit pour se chauffer dans sa vieillesse. Enfin David, Salomon,[2] всё это кружится у меня в голове — кавардак

---

[1] поэзия в жизни *(франц.)*.

[2] Какая очаровательная особа, а? Песни Соломона... нет, это не Соломон, это Давид, который укладывал на свое ложе юную красавицу, чтобы согреть свою старость. Впрочем, Давид, Соломон *(франц.)*.

какой-то. Всякая вещь, cher enfant, может быть и величественна, и в то же время смешна. Cette jeune belle de la vieillesse de David — c'est tout un poème,[1] а у Поль де Кока вышла бы из этого какая-нибудь scène de bassinoire,[2] и мы бы все смеялись. У Поль де Кока нет ни меры, ни вкуса, хотя он с талантом... Катерина Николаевна улыбается... Я сказал, что мы не будем мешать. Мы начали наш роман, и пусть нам дадут его докончить. Пусть это — мечта, но пусть не отымают у нас эту мечту.

— То есть как же мечта, князь?

— Мечта? Как мечта? Ну пусть мечта, только пусть дадут нам умереть с этой мечтой.

— О князь, к чему умирать? Жить, теперь только и жить!

— А я что же говорю? Я только это и твержу. Я решительно не знаю, для чего жизнь так коротка. Чтоб не наскучить, конечно, ибо жизнь есть тоже художественное произведение самого творца, в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения. Краткость есть первое условие художественности. Но если кому не скучно, тем бы и дать пожить подольше.

— Скажите, князь, это уже гласно?

— Нет! мой милый, отнюдь нет; мы все так и уговорились. Это семейно, семейно и семейно. Пока я лишь открылся вполне Катерине Николавне, потому что считаю себя перед нею виновным. О, Катерина Николавна — ангел, она ангел!

— Да, да!

— Да? И ты — «да»? А я думал, что ты-то ей и враг. Ах да, кстати, она ведь просила не принимать тебя более. И представь себе, когда ты вошел, я это вдруг позабыл.

— Что вы говорите? — вскочил я, — за что? Когда?

(Предчувствие не обмануло меня; да, я именно в этом роде предчувствовал с самой Татьяны!)

— Вчера, мой милый, вчера, я даже не понимаю, как ты теперь прошел, ибо приняты меры. Как ты вошел?

— Я просто вошел.

— Вероятнее всего. Если б ты с хитростью вошел, они бы наверно тебя изловили, а так как ты просто вошел, то они тебя и пропустили. Простота, mon cher, это в сущности высочайшая хитрость.

— Я ничего не понимаю, стало быть, и вы решили не принимать меня?

— Нет, мой друг, я сказал, что я в стороне... То есть я дал полное согласие. И будь уверен, мой милый мальчик, что я тебя слишком люблю. Но Катерина Николаевна слишком, слишком настоятельно потребовала... А, да вот!

---

[1] Эта юная красавица старого Давида — это же целая поэма *(франц.)*.
[2] *Здесь:* альковная сцена *(франц.)*.

В эту минуту вдруг показалась в дверях Катерина Николаевна. Она была одета как для выезда и, как и прежде это бывало, зашла к отцу поцеловать его. Увидя меня, она остановилась, смутилась, быстро повернулась и вышла.

— Voilà! [1] — вскричал пораженный и ужасно взволнованный князь.

— Это недоразумение! — вскричал я, — это какая-то одна минута... Я... я сейчас к вам, князь!

И я выбежал вслед за Катериной Николаевной.

Затем всё, что последовало, совершилось так быстро, что я не только не мог сообразиться, но даже и чуть-чуть приготовиться, как вести себя. Если б я мог приготовиться, я бы, конечно, вел себя иначе! Но я потерялся как маленький мальчик. Я было бросился в ее комнаты, но лакей на дороге сказал мне, что Катерина Николаевна уже вышла и садится в карету. Я бросился сломя голову на парадную лестницу. Катерина Николаевна сходила вниз, в своей шубе, и рядом с ней шел или, лучше сказать, вел ее высокий стройный офицер, в форме, без шинели, с саблей; шинель нес за ним лакей. Это был барон, полковник, лет тридцати пяти, щеголеватый тип офицера, сухощавый, с немного слишком продолговатым лицом, с рыжеватыми усами и даже ресницами. Лицо его было хоть и совсем некрасиво, но с резкой и вызывающей физиономией. Я описываю наскоро, как заметил в ту минуту. Перед тем же я его никогда не видал. Я бежал за ними по лестнице без шляпы и без шубы. Катерина Николаевна меня заметила первая и быстро прошептала ему что-то. Он повернул было голову, но тотчас же кивнул слуге и швейцару. Слуга шагнул было ко мне у самой уже выходной двери, но я отвел его рукой и выскочил вслед за ними на крыльцо. Бьоринг усаживал Катерину Николавну в карету.

— Катерина Николавна! Катерина Николавна! — восклицал я бессмысленно (как дурак! Как дурак! О, я всё припоминаю, я был без шляпы!).

Бьоринг свирепо повернулся было опять к слуге и что-то крикнул ему громко, одно или два слова, я не разобрал. Я почувствовал, что кто-то схватил было меня за локоть. В эту минуту карета тронулась; я крикнул было опять и бросился за каретой. Катерина Николавна, я видел это, выглядывала в окно кареты и, кажется, была в большом беспокойстве. Но в быстром движении моем, когда я бросился, я вдруг сильно толкнул, совсем о том не думая, Бьоринга и, кажется, очень больно наступил ему на ногу. Он слегка вскрикнул, скрежетнул зубами и, сильною рукою схватив меня за плечо, злобно оттолкнул, так что я отлетел шага на три. В это мгновение ему подали шинель, он накинул, сел в сани и из саней еще раз грозно крикнул, указывая на меня

---

[1] Ну вот! *(франц.)*

лакеям и швейцару. Тут они меня схватили и удержали: один слуга набросил на меня шубу, другой подал шляпу, и — я уж не помню, что они тут говорили; они что-то говорили, а я стоял и их слушал, ничего не понимая. Но вдруг бросил их и побежал.

III

Ничего не разбирая и наталкиваясь на народ, добежал я наконец до квартиры Татьяны Павловны, даже не догадавшись нанять дорогой извозчика. Бьоринг оттолкнул меня при ней! Конечно, я отдавил ему ногу, и он инстинктивно оттолкнул меня как человек, которому наступили на мозоль (а может, я и впрямь раздавил ему мозоль!). Но она видела, и видела, что меня хватают слуги, и это всё при ней, при ней! Когда я вбежал к Татьяне Павловне, то в первую минуту не мог ничего говорить и нижняя челюсть моя тряслась как в лихорадке. Да я и был в лихорадке и сверх того плакал... О, я был так оскорблен!

— А! Что? Вытолкали? И поделом, и поделом! — проговорила Татьяна Павловна; я молча опустился на диван и глядел на нее.

— Да что с ним? — оглядела она меня пристально. — На, выпей стакан, выпей воду, выпей! Говори, что ты еще там накуролесил?

Я пробормотал, что меня выгнали, а Бьоринг толкнул на улице.

— Понимать-то можешь что-нибудь али еще нет? На вот, прочти, полюбуйся. — И, взяв со стола записку, она подала ее мне, а сама стала передо мной в ожидании. Я сейчас узнал руку Версилова, было всего несколько строк: это была записка к Катерине Николавне. Я вздрогнул, и понимание мгновенно воротилось ко мне во всей силе. Вот содержание этой ужасной, безобразной, нелепой, разбойнической записки, слово в слово:

«Милостивая государыня,
Катерина Николаевна,

Как вы ни развратны, по природе вашей и по искусству вашему, но всё же я думал, что вы сдержите ваши страсти и не посягнете по крайней мере на детей. Но вы и этого не устыдились. Уведомляю вас, что известный вам документ наверно не сожжен на свечке и никогда не был у Крафта, так что вы ничего тут не выиграете. А потому и не развращайте напрасно юношу. Пощадите его, он еще несовершеннолетний, почти мальчик, не развит и умственно и физически, что ж вам в нем проку? Я беру в нем участие, а потому и рискнул написать вам, хоть и не надеюсь на успех. Честь имею предупредить, что копию с сего одновременно посылаю к барону Бьорингу.

А. Версилов».

Я бледнел, читая, но потом вдруг вспыхнул, и губы мои затряслись от негодования.

— Это он про меня! Это про то, что я открыл ему третьего дня! — вскричал я в ярости.

— То-то и есть, что открыл! — вырвала у меня записку Татьяна Павловна.

— Но... я не то, совсем не то говорил! О боже, что она может обо мне теперь подумать! Но ведь это сумасшедший? Ведь он сумасшедший... Я вчера его видел. Когда письмо было послано?

— Вчера днем послано, вечером пришло, а сегодня она мне передала лично.

— Но я его видел вчера сам, он сумасшедший! Так не мог написать Версилов, это писал сумасшедший! Кто может написать так женщине?

— А вот такие сумасшедшие в ярости и пишут, когда от ревности да от злобы ослепнут и оглохнут, а кровь в яд-мышьяк обратится... А ты еще не знал про него, каков он есть! Вот его и прихлопнут теперь за это, так что только мокренько будет. Сам под секиру лезет! Да лучше поди ночью на Николаевскую дорогу, положи голову на рельсы, вот и оттяпали бы ее ему, коли тяжело стало носить! Тебя-то что дернуло говорить ему! Тебя-то что дергало его дразнить? Похвалиться вздумал?

— Но какая же ненависть! Какая ненависть! — хлопнул я себя по голове рукой, — и за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала? Что такое у них за сношения были, что такие письма можно писать?

— Не-на-висть! — с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна.

Кровь ударила мне опять в лицо: я вдруг как бы что-то понял совсем уже новое; я глядел на нее вопросительно изо всех сил.

— Убирайся ты от меня! — взвизгнула она, быстро отвернувшись и махнув на меня рукой. — Довольно я с вами со всеми возилась! Полно теперь! Хоть провалитесь вы все сквозь землю!.. Только твою мать одну еще жалко...

Я, разумеется, побежал к Версилову. Но такое коварство! такое коварство!

IV

Версилов был не один. Объясню заранее: отослав вчера такое письмо к Катерине Николаевне и действительно (один только бог знает зачем) послав копию с него барону Бьорингу, он, естественно, сегодня же, в течение дня, должен был ожидать и известных «последствий» своего поступка, а потому и принял своего рода меры: с утра еще он перевел маму и Лизу (которая, как я узнал потом, воротившись еще утром, расхворалась и лежала в постели) наверх, «в гроб», а комнаты, и особенно наша «гостиная», были

усиленно прибраны и выметены. И действительно, в два часа пополудни пожаловал к нему один барон Р., полковник, военный, господин лет сорока, немецкого происхождения, высокий, сухой и с виду очень сильный физически человек, тоже рыжеватый, как и Бьоринг, и немного только плешивый. Это был один из тех баронов Р., которых очень много в русской военной службе, всё людей с сильнейшим баронским гонором, совершенно без состояния, живущих одним жалованьем и чрезвычайных служак и фрунтовиков. Я не застал начала их объяснения; оба были очень оживлены, да и как не быть. Версилов сидел на диване перед столом, а барон в креслах сбоку. Версилов был бледен, но говорил сдержанно и цедя слова, барон же возвышал голос и видимо наклонен был к порывистым жестам, сдерживался через силу, но смотрел строго, высокомерно и даже презрительно, хотя и не без некоторого удивления. Завидев меня, он нахмурился, но Версилов почти мне обрадовался:

— Здравствуй, мой милый. Барон, это вот и есть тот самый очень молодой человек, об котором упомянуто было в записке, и поверьте, он не помешает, а даже может понадобиться. (Барон презрительно оглядел меня.) — Милый мой, — прибавил мне Версилов, — я даже рад, что ты пришел, а потому посиди в углу, прошу тебя, пока мы кончим с бароном Не беспокойтесь, барон, он только посидит в углу.

Мне было всё равно, потому что я решился, и, кроме того, всё это меня поражало; я сел молча в угол, как можно более в угол, и просидел, не смигнув и не пошевельнувшись, до конца объяснения...

— Еще раз вам повторяю, барон, — твердо отчеканивая слова, говорил Версилов, — что Катерину Николаевну Ахмакову, которой я написал это недостойное и болезненное письмо, я считаю не только наиблагороднейшим существом, но и верхом всех совершенств!

— Такое опровержение своих же слов, как я уже вам заметил, похоже на подтверждение их вновь, — промычал барон. — Ваши слова решительно непочтительны.

— И однако, всего будет вернее, если вы их примете в точном смысле. Я, видите ли, страдаю припадками и... разными расстройствами, и даже лечусь, а потому и случилось, что в одну из подобных минут...

— Эти объяснения никак не могут входить. Еще и еще раз говорю вам, что вы упорно продолжаете ошибаться, может быть, хотите нарочно ошибаться. Я уже предупредил вас с самого начала, что весь вопрос относительно этой дамы, то есть о письме вашем, собственно, к генеральше Ахмаковой долженствует, при нашем теперешнем объяснении, быть устранен окончательно; вы же всё возвращаетесь. Барон Бьоринг просил меня и поручил мне особенно привести в ясность, собственно, лишь то, что тут до одного лишь его касается, то есть ваше дерзкое сообщение этой «ко-

нии», а потом вашу приписку, что «вы готовы отвечать за это чем и как угодно».

— Но, кажется, последнее уже ясно без разъяснений.

— Понимаю, слышал. Вы даже не просите извинения, а продолжаете лишь настаивать, что «готовы отвечать чем и как угодно». Но это слишком будет дешево. А потому я уже теперь нахожу себя вправе, в видах оборота, который вы упорно хотите придать объяснению, высказать вам с своей стороны всё уже без стеснения, то есть: я пришел к заключению, что барону Бьорингу никаким образом нельзя иметь с вами дела... на равных основаниях.

— Такое решение, конечно, одно из самых выгодных для друга вашего, барона Бьоринга, и, признаюсь, вы меня нисколько не удивили: я ожидал того.

Замечу в скобках: мне слишком было видно с первых слов, с первого взгляда, что Версилов даже ищет взрыва, вызывает и дразнит этого раздражительного барона и слишком, может быть, испытывает его терпение. Барона покоробило.

— Я слышал, что вы можете быть остроумным, но остроумие еще не ум.

— Чрезвычайно глубокое замечание, полковник.

— Я не спрашивал похвал ваших, — вскрикнул барон, — и не переливать из пустого приехал! Извольте выслушать: барон Бьоринг был в большом сомнении, получив письмо ваше, потому что оно свидетельствовало о сумасшедшем доме. И, конечно, могли быть тотчас же найдены средства, чтоб вас... успокоить. Но для вас, по некоторым особым соображениям, было сделано снисхождение и об вас были наведены справки: оказалось, что хотя вы и принадлежали к хорошему обществу и когда-то служили в гвардии, но из общества исключены и репутация ваша более чем сомнительна. Однако, несмотря и на это, я прибыл сюда, чтоб удостовериться лично, и вот, сверх всего, вы еще позволяете себе играть словами и сами засвидетельствовали о себе, что подвержены припадкам. Довольно! Положение барона Бьоринга и его репутация не могут снисходить в этом деле... Одним словом, милостивый государь, я уполномочен вам объявить, что если за сим последует повторение или хоть что-нибудь похожее на прежний поступок, то найдены будут немедленно средства вас усмирить, весьма скорые и верные, могу вас уверить. Мы живем не в лесу, а в благоустроенном государстве!

— Вы так в этом уверены, мой добрый барон Р.?

— Черт возьми, — вдруг встал барон, — вы меня слишком испытываете доказать вам сейчас, что я не очень-то «добрый ваш барон Р.».

— Ах, еще раз предупреждаю вас, — поднялся и Версилов, — что здесь недалеко моя жена и дочь... а потому я бы вас просил говорить не столь громко, потому что ваши крики до них долетают.

— Ваша жена... черт... Если я сидел и говорил теперь с вами, то единственно с целью разъяснить это гнусное дело, — с прежним гневом и нисколько не понижая голоса продолжал барон. — Довольно! — вскричал он яростно, — вы не только исключены из круга порядочных людей, но вы — маньяк, настоящий помешанный маньяк, и так вас аттестовали! Вы снисхождения недостойны, и объявляю вам, что сегодня же насчет вас будут приняты меры и вас позовут в одно такое место, где вам сумеют возвратить рассудок... и вывезут из города!

Он быстрыми и большими шагами вышел из комнаты. Версилов не провожал его. Он стоял, глядел на меня рассеянно и как бы меня не замечая; вдруг он улыбнулся, тряхнул волосами и, взяв шляпу, направился тоже к дверям. Я схватил его за руку.

— Ах да, и ты тут? Ты... слышал? — остановился он передо мной.

— Как могли вы это сделать? Как могли вы так исказить, так опозорить!.. С таким коварством!

Он смотрел пристально, но улыбка его раздвигалась всё более и более и решительно переходила в смех.

— Да ведь меня же опозорили... при ней! при ней! Меня осмеяли в ее глазах, а он... толкнул меня! — вскричал я вне себя.

— Неужели? Ах, бедный мальчик, как мне тебя жаль... Так тебя там ос-ме-яли!

— Вы смеетесь, вы смеетесь надо мной! Вам смешно!

Он быстро вырвал из моей руки свою руку, надел шляпу и, смеясь, смеясь уже настоящим смехом, вышел из квартиры. Что мне было догонять его, зачем? Я всё понял и — всё потерял в одну минуту! Вдруг я увидел маму; она сошла сверху и робко оглядывалась.

— Ушел?

Я молча обнял ее, а она меня, крепко, крепко, так и прижалась ко мне.

— Мама, родная, неужто вам можно оставаться? Пойдемте сейчас, я вас укрою, я буду работать для вас как каторжный, для вас и для Лизы... Бросимте их всех, всех и уйдем. Будем одни. Мама, помните, как вы ко мне к Тушару приходили и как я вас признать не хотел?

— Помню, родной, я всю жизнь перед тобой виновата, я тебя родила, а тебя не знала.

— Он виноват в этом, мама, это он во всем виноват; он нас никогда не любил.

— Нет, любил.

— Пойдемте, мама.

— Куда я от него пойду, что он, счастлив, что ли?

— Где Лиза?

— Лежит; пришла — прихворнула; боюсь я. Что они, очень на него там сердятся? Что с ним теперь сделают? Куда он пошел? Что этот офицер тут грозил?

— Ничего ему не будет, мама, никогда ему ничего не бывает, никогда ничего с ним не случится и не может случиться. Это такой человек! Вот Татьяна Павловна, ее спросите, коли не верите, вот она. (Татьяна Павловна вдруг вошла в комнату.) Прощайте, мама. Я к вам сейчас, и когда приду, опять спрошу то же самое...

Я выбежал; я не мог видеть кого бы то ни было, не только Татьяну Павловну, а мама меня мучила. Я хотел быть один, один.

V

Но я не прошел и улицы, как почувствовал, что не могу ходить, бессмысленно наталкиваясь на этот народ, чужой и безучастный; но куда же деться? Кому я нужен и — что мне теперь нужно? Я машинально прибрел к князю Сергею Петровичу, вовсе о нем не думая. Его не было дома. Я сказал Петру (человеку его), что буду ждать в кабинете (как и множество раз это делалось). Кабинет его была большая, очень высокая комната, загроможденная мебелью. Я забрел в самый темный угол, сел на диван и, положив локти на стол, подпер обеими руками голову. Да, вот вопрос: «Что мне теперь нужно?» Если я и мог тогда формулировать этот вопрос, то всего менее мог на него ответить.

Но я не мог ни думать толком, ни спрашивать. Я уже предуведомил выше, что, под конец этих дней, я был «раздавлен событиями»; я теперь сидел, и всё как хаос вертелось в уме моем. «Да, я в нем всё проглядел и ничего не уразумел, — мерещилось мне минутами. — Он засмеялся сейчас мне в глаза: это не надо мной; тут всё Бьоринг, а не я. Третьего дня за обедом уж он всё знал и был мрачен. Он подхватил у меня мою глупую исповедь в трактире и исказил всё насчет всякой правды, только зачем ему было правды? Он ни полслову сам не верит из того, что ей написал. Ему надо было только оскорбить, бессмысленно оскорбить, не зная даже для чего, придравшись к предлогу, а предлог дал я... Поступок бешеной собаки! Убить, что ли, он теперь хочет Бьоринга? Для чего? Его сердце знает для чего! А я ничего не знаю, что в его сердце... Нет, нет, и теперь не знаю. Неужели до такой страсти ее любит? или до такой страсти ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то? Что это я сказал маме, что с ним „ничего не может сделаться"; что я этим хотел сказать? Потерял я его или не потерял?»

«...Она видела, как меня толкали... Она тоже смеялась или нет? Я бы смеялся! Шпиона били, шпиона!..»

«Что значит (мелькнуло мне вдруг), что значит, что он включил в это гадкое письмо, что документ вовсе не сожжен, а существует?..»

«Он не убьет Бьоринга, а наверно теперь в трактире сидит и слушает „Лючию"! А может, после „Лючии" пойдет и убьет Бьоринга. Бьоринг толкнул меня, ведь почти ударил; ударил ли?

Бьоринг даже и с Версиловым драться брезгает, так разве пойдет со мной? Может быть, мне надо будет убить его завтра из револьвера, выждав на улице...» И вот эту мысль провел я в уме совсем машинально, не останавливаясь на ней нисколько.

Минутами мне как бы мечталось, что вот сейчас отворится дверь, войдет Катерина Николаевна, подаст мне руку, и мы оба рассмеемся... О, студент мой милый! Это мне мерещилось, то есть желалось, уж когда очень стемнело в комнате. «Да давно ли это было, что я стоял перед ней, прощался с ней, а она подавала мне руку и смеялась? Как могло случиться, что в такое короткое время вышло такое ужасное расстояние! Просто пойти к ней и объясниться сейчас же, сию минуту, просто, просто! Господи, как это так вдруг совсем новый мир начался! Да, новый мир, совсем, совсем новый... А Лиза, а князь, это еще старые... Вот я здесь теперь у князя. И мама, — как могла она жить с ним, коли так? Я бы мог, я всё смогу, но она? Теперь что же будет?» И вот, как в вихре, фигуры Лизы, Анны Андреевны, Стебелькова, князя, Афердова, всех, бесследно замелькали в моем больном мозгу. Но мысли становились всё бесформеннее и неуловимее; я рад был, когда удавалось осмыслить какую-нибудь и ухватиться за нее.

«У меня есть „идея“! — подумал было я вдруг, — да так ли? Не наизусть ли я затвердил? Моя идея — это мрак и уединение, а разве теперь уж возможно уползти назад в прежний мрак? Ах, боже мой, я ведь не сжег „документ“! Я так и забыл его сжечь третьего дня. Ворочусь и сожгу на свечке, именно на свечке; не знаю только, то ли я теперь думаю...»

Давно смерклось, и Петр принес свечи. Он постоял надо мной и спросил, кушал ли я? Я только махнул рукой. Однако спустя час он принес мне чаю, и я с жадностью выпил большую чашку. Потом я осведомился, который час? Было половина девятого, и я даже не удивился, что сижу уже пять часов.

— Я к вам уже раза три входил, — сказал Петр, — да вы, кажется, спали.

Я же не помнил, что он входил. Не знаю почему, но вдруг ужасно испугавшись, что я «спал», я встал и начал ходить по комнате, чтоб опять не «заснуть». Наконец, сильно начала болеть голова. Ровно в десять часов вошел князь, и я удивился тому, что я ждал его; я о нем совсем забыл, совсем.

— Вы здесь, а я заезжал к вам, за вами, — сказал он мне. Лицо его было мрачно и строго, ни малейшей улыбки. В глазах неподвижная идея.

— Я бился весь день и употребил все меры, — продолжал он сосредоточенно, — всё рушилось, а в будущем ужас... (NB. Он так и не был у князя Николая Ивановича.) Я видел Жибельского, это человек невозможный. Видите: сначала надо иметь деньги, а потом мы увидим. А если и с деньгами не удастся, тогда... Но я сегодня решился об этом не думать. Добудем сегодня только деньги, а завтра всё увидим. Ваш третьегодняшний выигрыш еще

цел до копейки. Там без трех рублей три тысячи. За вычетом вашего долга, вам остается сдачи триста сорок рублей. Возьмите их и еще семьсот, чтоб была тысяча, а я возьму остальные две. Затем сядем у Зерщикова на двух разных концах и попробуем выиграть десять тысяч — может, что-нибудь сделаем, не выиграем — тогда... Впрочем, только это и остается.

Он фатально посмотрел на меня.

— Да, да! — вскричал я вдруг, точно воскресая, — едем! Я только вас и ждал...

Замечу, что я ни одного мгновения не думал в эти часы о рулетке.

— А подлость? А низость поступка? — спросил вдруг князь.

— Это что мы на рулетку-то! Да это всё! — вскричал я, — деньги всё! Это только мы с вами святые, а Бьоринг продал же себя. Анна Андреевна продала же себя, а Версилов — слышали вы, что Версилов маньяк? Маньяк! Маньяк!

— Вы здоровы, Аркадий Макарович? У вас какие-то странные глаза.

— Это вы, чтоб без меня уехать? Да я от вас теперь не отстану. Недаром мне всю ночь игра снилась. Едем, едем! — вскрикивал я, точно вдруг нашел всему разгадку.

— Ну так едем, хоть вы и в лихорадке, а там...

Он не договорил. Тяжелое, ужасное было у него лицо. Мы уже выходили.

— Знаете ли, — сказал он вдруг, приостановившись в дверях, — что есть и еще один выход из беды, кроме игры?

— Какой?

— Княжеский!

— Что же? Что же?

— Потом узнаете что. Знайте только, что я уже его недостоин, потому что опоздал. Едем, а вы попомните мое слово. Попробуем выход лакейский... И разве я не знаю, что я сознательно, с полной волей, еду и действую как лакей!

VI

Я полетел на рулетку, как будто в ней сосредоточилось всё мое спасение, весь выход, а между тем, как сказал уже, до приезда князя я об ней и не думал. Да и играть ехал я не для себя, а на деньги князя для князя же; осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло непреоборимо. О, никогда эти люди, эти лица, эти крупёры, эти игорные крики, вся эта подлая зала у Зерщикова, никогда не казалось мне всё это так омерзительно, так мрачно, так грубо и грустно, как в этот раз! Я слишком помню скорбь и грусть, по временам хватавшую меня за сердце во все эти часы у стола. Но для чего я не уезжал? Для чего выносил, точно принял на себя жребий, жертву, подвиг? Скажу лишь одно: вряд ли я могу ска-

зать про себя тогдашнего, что был в здравом рассудке. А между тем никогда еще не играл я так разумно, как в этот вечер. Я был молчалив и сосредоточен, внимателен и расчетлив ужасно; я был терпелив и скуп и в то же время решителен в решительные минуты. Я поместился опять у zéro, то есть опять между Зерщиковым и Афердовым, который всегда усаживался подле Зерщикова справа; мне претило это место, но мне непременно хотелось ставить на zéro, а все остальные места у zéro были заняты. Мы играли уже с лишком час; наконец я увидел с своего места, что князь вдруг встал и, бледный, перешел к нам и остановился передо мной напротив, через стол: он всё проиграл и молча смотрел на мою игру, впрочем, вероятно, ничего в ней не понимая и даже не думая уже об игре. К этому времени я только что стал выигрывать, и Зерщиков отсчитал мне деньги. Вдруг Афердов, молча, в моих глазах, самым наглым образом, взял и присоединил к своей, лежавшей перед ним куче денег, одну из моих сторублевых. Я вскрикнул и схватил его за руку. Тут со мной произошло нечто мною неожиданное: я точно сорвался с цепи; точно все ужасы и обиды этого дня вдруг сосредоточились в этом одном мгновении, в этом исчезновении сторублевой. Точно всё накопившееся и сдавленное во мне ждало только этого мига, чтобы прорваться.

— Это — вор: он украл у меня сейчас сторублевую! — восклицал я, озираясь кругом, вне себя.

Не описываю поднявшейся суматохи; такая история была здесь совершенною новостью. У Зерщикова вели себя пристойно, и игра у него тем славилась. Но я не помнил себя. Среди шума и криков вдруг послышался голос Зерщикова:

— И однако же, денег нет, а они здесь лежали! Четыреста рублей!

Разом вышла и другая история: пропали деньги в банке, под носом у Зерщикова, пачка в четыреста рублей. Зерщиков указывал место, где они лежали, «сейчас только лежали», и это место оказывалось прямо подле меня, соприкасалось со мной, с тем местом, где лежали мои деньги, то есть гораздо, значит, ближе ко мне, чем к Афердову.

— Вор здесь! Это он опять украл, обыщите его! — восклицал я, указывая на Афердова.

— Это — всё потому, — раздался чей-то громовый и внушительный голос среди общих криков, — что входят неизвестно какие. Пускают нерекомендованных! Кто его ввел? Кто он такой?

— Долгорукий какой-то.

— Князь Долгорукий?

— Его князь Сокольский ввел, — закричал кто-то.

— Слышите, князь, — вопил я ему через стол в исступлении, — они меня же вором считают, тогда как меня же здесь сейчас обокрали! Скажите же им, скажите им обо мне!

И вот тут произошло нечто самое ужасное изо всего, что случилось во весь день... даже из всей моей жизни: князь отрекся.

Я видел, как он пожал плечами и в ответ на сыпавшиеся вопросы резко и ясно выговорил:

— Я ни за кого не отвечаю. Прошу оставить меня в покое.

Между тем Афердов стоял среди толпы и громко требовал, чтоб его обыскали. Он выворачивал сам свои карманы. Но на требование его отвечали криками: «Нет, нет, вор известен!» Два призванные лакея схватили меня сзади за руки.

— Я не дам себя обыскивать, не позволю! — кричал я вырываясь.

Но меня увлекли в соседнюю комнату, там, среди толпы, меня обыскали всего до последней складки. Я кричал и рвался.

— Сбросил, должно быть, надо на полу искать, — решил кто-то.

— Где ж теперь искать на полу!

— Под стол, должно быть, как-нибудь успел забросить!

— Конечно, след простыл...

Меня вывели, но я как-то успел стать в дверях и с бессмысленной яростию прокричать на всю залу:

— Рулетка запрещена полицией. Сегодня же донесу на всех вас!

Меня свели вниз, одели и... отворили передо мною дверь на улицу.

Глава девятая

I

День закончился катастрофой, но оставалась ночь, и вот что я запомнил из этой ночи.

Я думаю, был первый час в начале, когда я очутился на улице. Ночь была ясная, тихая и морозная. Я почти бежал, страшно торопился, но — совсем не домой. «Зачем домой? разве теперь может быть дом? В доме живут, я завтра проснусь, чтоб жить, — а разве это теперь возможно? Жизнь кончена, жить теперь уже совсем нельзя». И вот я брел по улицам, совсем не разбирая, куда иду, да и не знаю, хотел ли куда добежать? Мне было очень жарко, и я поминутно распахивал тяжелую енотовую мою шубу. «Теперь уже никакое действие, казалось мне в ту минуту, не может иметь никакой цели». И странно: мне всё казалось, что всё кругом, даже воздух, которым я дышу, был как будто с иной планеты, точно я вдруг очутился на Луне. Всё это — город, прохожие, тротуар, по которому я бежал, — всё это было уже *не мое*. «Вот это — Дворцовая площадь, вот это — Исаакий, — мерещилось мне, — но теперь мне до них никакого дела»; всё как-то отчудилось, всё это стало вдруг *не мое*. «У меня мама, Лиза — ну что ж, что мне теперь Лиза и мать? Всё кончилось, всё разом кончилось, кроме одного: того, что я — вор навечно».

«Чем доказать, что я — не вор? Разве это теперь возможно? Уехать в Америку? Ну что ж этим докажешь? Версилов первый поверит, что я украл! „Идея“? Какая „идея“? Что теперь „идея“? Через пятьдесят лет, через сто лет я буду идти, и всегда найдется человек, который скажет, указывая на меня: „Вот это — вор“. Он начал с того „свою идею“, что украл деньги с рулетки...»

Была ли во мне злоба? Не знаю, может быть, была. Странно, во мне всегда была, и, может быть, с самого первого детства, такая черта: коли уж мне сделали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня неутолимое желание пассивно подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желаниям обидчика: «Нате, вы унизили меня, так я еще пуще сам унижусь, вот смотрите, любуйтесь!» Тушар бил меня и хотел показать, что я — лакей, а не сенаторский сын, и вот я тотчас же сам вошел тогда в роль лакея. Я не только подавал ему одеваться, но я сам схватывал щетку и начинал счищать с него последние пылинки, вовсе уже без его просьбы или приказания, сам гнался иногда за ним со щеткой, в пылу лакейского усердия, чтоб смахнуть какую-нибудь последнюю соринку с его фрака, так что он сам уже останавливал меня иногда: «Довольно, довольно, Аркадий, довольно». Он придет, бывало, снимет верхнее платье — а я его вычищу, бережно сложу и накрою клетчатым шелковым платочком. Я знаю, что товарищи смеются и презирают меня за это, отлично знаю, но мне это-то и любо: «Коли захотели, чтоб я был лакей, ну так вот я и лакей, хам — так хам и есть». Пассивную ненависть и подпольную злобу в этом роде я мог продолжать годами. И что же? У Зерщикова я крикнул на всю залу, в совершенном исступлении: «Донесу на всех, рулетка запрещена полицией!» И вот клянусь, что и тут было нечто как бы подобное: меня унизили, обыскали, огласили вором, убили — «ну так знайте же все, что вы угадали, я — не только вор, но я — и доносчик!» Припоминая теперь, я именно так подвожу и объясняю; тогда же было вовсе не до анализа; крикнул я тогда без намерения, даже за секунду не знал, что так крикну: само крикнулось — уж *черта* такая в душе была.

Когда я бежал, несомненно начинался уже бред, но я очень вспоминаю, что действовал сознательно. А между тем твердо говорю, что целый цикл идей и заключений был для меня тогда уже невозможен; я даже и в те минуты чувствовал про себя сам, что «одни мысли я могу иметь, а других я уже никак не могу иметь». Равно и некоторые решения мои, хотя и при ясном сознании, могли не иметь в себе тогда ни малейшей логики. Мало того, я очень хорошо помню, что я мог в иные минуты вполне сознавать нелепость иного решения и в то же время с полным сознанием тут же приступить к его исполнению. Да, преступление навертывалось в ту ночь и только случайно не совершилось.

Мне мелькнуло вдруг тогда словцо Татьяны Павловны о Версилове: «Пошел бы на Николаевскую дорогу и положил бы го-

лову на рельсы: там бы ему ее и оттяпали». Эта мысль на мгновение овладела всеми моими чувствами, но я мигом и с болью прогнал ее: «Положить голову на рельсы и умереть, а завтра скажут: это оттого он сделал, что украл, сделал от стыда, — нет, ни за что!» И вот в это мгновение, помню, я ощутил вдруг один миг страшной злобы. «Что ж? — пронеслось в уме моем, — оправдаться уж никак нельзя, начать новую жизнь тоже невозможно, а потому — покориться, стать лакеем, собакой, козявкой, доносчиком, настоящим уже доносчиком, а самому потихоньку приготовляться и когда-нибудь — всё вдруг взорвать на воздух, всё уничтожить, всех, и виноватых и невиноватых, и тут вдруг все узнают, что это — тот самый, которого назвали вором... а там уж и убить себя».

Не помню, как я забежал в переулок, где-то близко от Конногвардейского бульвара. В переулке этом с обеих сторон, почти на сотню шагов, шли высокие каменные стены — заборы задних дворов. За одной стеной слева я увидел огромный склад дров, длинный склад, точно на дровяном дворе, и с лишком на сажень превышавший стену. Я вдруг остановился и начал обдумывать. В кармане со мной были восковые спички в маленькой серебряной спичечнице. Повторяю, я вполне отчетливо сознавал тогда то, что обдумывал и что хотел сделать, и так припоминаю и теперь, но для чего я хотел это сделать — не знаю, совсем не знаю. Помню только, что мне очень вдруг захотелось. «Взлезть на забор очень можно», — рассуждал я; как раз тут в двух шагах очутились в стене ворота, должно быть наглухо запертые по целым месяцам. «Став на уступ внизу, — раздумывал я далее, — можно, схватившись за верх ворот, взлезть на самую стену — и никто не приметит, никого нет, тишина! А там я усядусь на верху стены и отлично зажгу дрова, даже не сходя вниз можно, потому что дрова почти соприкасаются со стеной. От холода еще сильнее будут гореть, стоит только рукой достать одно березовое полено... да и незачем совсем доставать полено: можно прямо, сидя на стене, содрать рукой с березового полена бересту и на спичке зажечь ее, зажечь и пропихнуть в дрова — вот и пожар. А я соскочу вниз и уйду; даже и бежать не надо, потому что долго еще не заметят...» Так я это всё рассудил и — вдруг совсем решился. Я ощутил чрезвычайное удовольствие, наслаждение и полез. Я лазить умел отлично: гимнастика была моею специальностью еще в гимназии, но я был в калошах, и дело оказалось труднее. Однако ж я успел-таки уцепиться рукой за один едва ощущаемый выступ вверху и приподнялся, другую руку замахнул было, чтоб ухватиться уже за верх стены, но тут вдруг оборвался и навзничь полетел вниз. Полагаю, что я стукнулся о землю затылком и, должно быть, минуту или две пролежал без сознания. Очнувшись, я машинально запахнул на себе шубу, вдруг ощутив нестерпимый холод, и, еще плохо сознавая, что делаю, пополз в угол ворот и там присел, съежившись и скорчившись, в углублении между воротами

и выступом стены. Мысли мои мешались, и, вероятно, я очень быстро задремал. Как сквозь сон теперь вспоминаю, что вдруг раздался в ушах моих густой, тяжелый колокольный звон, и я с наслаждением стал к нему прислушиваться.

II

Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный, плавный звон, и я вдруг различил, что это ведь — звон знакомый, что звонят у Николы, в красной церкви напротив Тушара, — в старинной московской церкви, которую я так помню, выстроенной еще при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и «в столпах», — и что теперь только что минула святая неделя и на тощих березках в палисаднике тушаровского дома уже трепещут новорожденные зелененькие листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату, а у меня, в моей маленькой комнатке налево, куда Тушар отвел меня еще год назад от «графских и сенаторских детей», сидит гостья. Да, у меня, безродного, вдруг очутилась гостья — в первый раз с того времени, как я у Тушара. Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла: это была мама, хотя с того времени, как она меня причащала в деревенском храме и голубок пролетел через купол, я не видал уж ее ни разу. Мы сидели вдвоем, и я странно к ней приглядывался. Потом, уже спустя много лет, я узнал, что она тогда, оставшись без Версилова, уехавшего вдруг за границу, прибыла в Москву на свои жалкие средства *самовольно*, почти украдкой от тех, которым поручено было тогда о ней попечение, и это единственно чтоб со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она — моя мать. Она сидела подле меня, и, помню, я даже удивлялся, что она мало так говорит. С ней был узелок, и она развязала его: в нем оказалось шесть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемленным видом ответил, что здесь у нас «пища» очень хорошая и нам каждый день дают к чаю по целой французской булке.

— Всё равно, голубчик, я ведь так по простоте подумала: «Может, их там, в школе-то, худо кормят», не взыщи, родной.

— И Антонине Васильевне (жене Тушара) обидно станет-с. Товарищи тоже будут надо мною смеяться...

— Не примешь, что ли, может, и скушаешь?

— Пожалуй, оставьте-с...

А к гостинцам я даже не притронулся; апельсины и пряники лежали передо мной на столике, а я сидел, потупив глаза, но с большим видом собственного достоинства. Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от нее, что визит ее меня даже

перед товарищами стыдит; хоть капельку показать ей это, чтоб поняла: «Вот, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того». О, я уже тогда бегал со щеткой за Тушаром смахивать с него пылинки! Представлял я тоже себе, сколько перенесу я от мальчишек насмешек, только что она уйдет, а может, и от самого Тушара, — и ни малейшего доброго чувства не было к ней в моем сердце. Искоса только я оглядывал ее темненькое старенькое платьице, довольно грубые, почти рабочие руки, совсем уж грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо; морщинки уже прорезывались у нее на лбу, хотя Антонина Васильевна и сказала мне потом, вечером, по ее уходе: «Должно быть, ваша maman была когда-то очень недурна собой».

Так мы сидели, и вдруг Агафья вошла с подносом, на котором была чашка кофею. Было время послеобеденное, и Тушары всегда в этот час пили у себя в своей гостиной кофей. Но мама поблагодарила и чашку не взяла: как узнал я после, она совсем тогда не пила кофею, производившего у ней сердцебиение. Дело в том, что визит ее и дозволение ей меня видеть Тушары внутри себя, видимо, считали чрезвычайным с их стороны снисхождением, так что посланная маме чашка кофею была, так сказать, уже подвигом гуманности, сравнительно говоря, приносившим чрезвычайную честь их цивилизованным чувствам и европейским понятиям. А мама-то как нарочно и отказалась.

Меня позвали к Тушару, и он велел мне взять все мои тетрадки и книги и показать маме: «чтоб она видела, сколько успели вы приобрести в моем заведении». Тут Антонина Васильевна, съежив губки, обидчиво и насмешливо процедила мне с своей стороны:

— Кажется, вашей maman не понравился наш кофей.

Я набрал тетрадок и понес их к дожидавшейся маме мимо столпившихся в классной и подглядывавших нас с мамой «графских и сенаторских детей». И вот, мне даже понравилось исполнить приказание Тушара в буквальной точности. Я методически стал развертывать мои тетрадки и объяснять: «Вот это — уроки из французской грамматики, вот это — упражнение под диктант, вот тут спряжение вспомогательных глаголов avoir и être, вот тут по географии, описание главных городов Европы и всех частей света» и т. д., и т. д. Я с полчаса или больше объяснял ровным, маленьким голоском, благонравно потупив глазки. Я знал, что мама ничего не понимает в науках, может быть, даже писать не умеет, но тут-то моя роль мне и нравилась. Но утомить ее я не смог, — она всё слушала, не прерывая меня, с чрезвычайным вниманием и даже с благоговением, так что мне самому наконец наскучило, и я перестал; взгляд ее был, впрочем, грустный, и что-то жалкое было в ее лице.

Она поднялась наконец уходить; вдруг вошел сам Тушар и с дурацки-важным видом спросил ее: довольна ли она успехами своего сына? Мама начала бессвязно бормотать и благодарить; подошла и Антонина Васильевна. Мама стала просить их обоих

«не оставить сиротки, всё равно он что сиротка теперь, окажите благодеяние ваше...» — и она со слезами на глазах поклонилась им обоим, каждому раздельно, каждому глубоким поклоном, именно как кланяются «из простых», когда приходят просить о чем-нибудь важных господ. Тушары этого даже не ожидали, а Антонина Васильевна, видимо, была смягчена и, конечно, тут же изменила свое заключение насчет чашки кофею. Тушар, с усиленною важностию, гуманно ответил, что он «детей не рознит, что все здесь — его дети, а он — их отец, что я у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми, и что это надо ценить», и проч., и проч. Мама только кланялась, но, впрочем, конфузилась, наконец обернулась ко мне и со слезами, блеснувшими на глазах, проговорила: «Прощай, голубчик!»

И поцеловала меня, то есть я позволил себя поцеловать. Ей видимо хотелось бы еще и еще поцеловать меня, обнять, прижать, но совестно ли стало ей самой при людях, али от чего-то другого горько, али уж догадалась она, что я ее устыдился, но только она поспешно, поклонившись еще раз Тушарам, направилась выходить. Я стоял.

— Mais suivez donc votre mère, — проговорила Антонина Васильевна, — il n'a pas de cœur cet enfant! [1]

Тушар в ответ ей пожал плечами, что, конечно, означало: «недаром же, дескать, я третирую его как лакея».

Я послушно спустился за мамой; мы вышли на крыльцо. Я знал, что они все там смотрят теперь из окошка. Мама повернулась к церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ее вздрагивали, густой колокол звучно и мерно гудел с колокольни. Она повернулась ко мне и — не выдержала, положила мне обе руки на голову и заплакала над моей головой.

— Маменька, полноте-с... стыдно... ведь они из окошка теперь это видят-с...

Она вскинулась и заторопилась:

— Ну, господи... ну, господь с тобой... ну, храни тебя ангелы небесные, пречестная мать, Николай-угодник... Господи, господи! — скороговоркой повторяла она, всё крестя меня, всё стараясь чаще и побольше положить крестов, — голубчик ты мой, милый ты мой! Да постой, голубчик...

Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький клетчатый платочек с крепко завязанным на кончике узелочком и стала развязывать узелок... но он не развязывался...

— Ну, всё равно, возьми и с платочком, чистенький, пригодится, может, четыре двугривенных тут, может, понадобятся, прости, голубчик, больше-то как раз сама не имею... прости, голубчик.

Я принял платочек, хотел было заметить, что нам «от господина Тушара и Антонины Васильевны очень хорошее положено

---

[1] Проводите же мать ... что за бессердечный мальчик! *(франц.)*

содержание и мы ни в чем не нуждаемся», но удержался и взял платочек.

Еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву и вдруг — и вдруг поклонилась и мне точно так же, как наверху Тушарам, — глубоким, медленным, длинным поклоном — никогда не забуду я этого! Так я и вздрогнул и сам не знал отчего. Что она хотела сказать этим поклоном: «вину ли свою передо мной признала?» — как придумалось мне раз уже очень долго спустя — не знаю. Но тогда мне тотчас же еще пуще стало стыдно, что «сверху они оттудова смотрят, а Ламберт так, пожалуй, и бить начнет».

Она наконец ушла. Апельсины и пряники поели еще до моего прихода сенаторские и графские дети, а четыре двугривенных у меня тотчас же отнял Ламберт; на них накупили они в кондитерской пирожков и шоколаду и даже меня не попотчевали.

Прошли целые полгода, и наступил уже ветреный и ненастный октябрь. Я про маму совсем забыл. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла в мое сердце, совсем напитала его; я хоть и обчищал щеткой Тушара по-прежнему, но уже ненавидел его изо всех сил и каждый день всё больше и больше. И вот тогда, как-то раз в грустные вечерние сумерки, стал я однажды перебирать для чего-то в моем ящике и вдруг, в уголку, увидал синенький батистовый платочек ее; он так и лежал с тех пор, как я его тогда сунул. Я вынул его и осмотрел даже с некоторым любопытством; кончик платка сохранял еще вполне след бывшего узелка и даже ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки; я, впрочем, положил платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ко всенощной. Воспитанники уже с после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье, не знаю, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня тогда бить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы проговорили весь вечер о лепажевских пистолетах, которых ни тот, ни другой из нас не видал, о черкесских шашках и о том, как они рубят, о том, как хорошо было бы завести шайку разбойников, и под конец Ламберт перешел к любимым своим разговорам на известную гадкую тему, и хоть я и дивился про себя, но очень любил слушать. Этот же раз мне стало вдруг нестерпимо, и я сказал ему, что у меня болит голова. В десять часов мы легли спать; я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул синенький платочек: я для чего-то опять сходил, час тому назад, за ним в ящик и, только что постлали наши постели, сунул его под подушку. Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. «Мама, мама», — шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимало, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил ей: «Стыдно, смотрят». «Мамочка, мама, раз-то в жизни была ты у меня... Мамочка, где ты теперь, гостья ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к кото-

рому приходила... Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел как лакей. Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил! Мамочка, где ты теперь, слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь голубо́чка в деревне?..»

— Ах черт... Чего он! — ворчит с своей кровати Ламберт, — постой, я тебе! Спать не дает... — Он вскакивает наконец с постели, подбегает ко мне и начинает рвать с меня одеяло, но я крепко-крепко держусь за одеяло, в которое укутался с головой.

— Хнычешь, чего ты хнычешь, дурак, духгак! Вот тебе! — и он бьет меня, он больно ударяет меня кулаком в спину, в бок, всё больней и больней, и... и я вдруг открываю глаза...

Уже сильно рассветает, иглистый мороз сверкает на снегу, на стене... Я сижу, скорчившись, еле живой, окоченев в моей шубе, а кто-то стоит надо мной, будит меня, громко ругая и больно ударяя меня в бок носком правой ноги. Приподымаюсь, смотрю: человек в богатой медвежьей шубе, в собольей шапке, с черными глазами, с черными как смоль щегольскими бакенами, с горбатым носом, с белыми оскаленными на меня зубами, белый, румяный, лицо как маска... Он очень близко наклонился ко мне, и морозный пар вылетает из его рта с каждым его дыханием:

— Замерзла, пьяная харя, духгак! Как собака замерзнешь, вставай! Вставай!

— Ламберт! — кричу я.

— Кто ты такой?

— Долгорукий!

— Какой такой черт Долгорукий?

— *Просто* Долгорукий!.. Тушар... Вот тот, которому ты вилку в бок в трактире всадил!..

— Га-а-а! — вскрикивает он, улыбаясь какой-то длинной, вспоминающей улыбкой (да неужто же он позабыл меня!). — Га! Так это ты, ты!

Он поднимает меня, ставит на ноги; я еле стою, еле двигаюсь, он ведет меня, придерживая рукой. Он заглядывает мне в глаза, как бы соображая и припоминая и слушая меня изо всех сил, а я лепечу тоже изо всех сил, беспрерывно, без умолку, и так рад, так рад, что говорю, и рад тому, что это — Ламберт. Показался ли он почему-нибудь мне «спасением» моим, или потому я бросился к нему в ту минуту, что принял его за человека совсем из другого мира, — не знаю, — не рассуждал я тогда, — но я бросился к нему не рассуждая. Что говорил я тогда, я совсем не помню, и вряд ли складно хоть сколько-нибудь, вряд ли даже слова выговаривал ясно; но он очень слушал. Он схватил первого попавшегося извозчика, и через несколько минут я сидел уже в тепле, в его комнате.

III

У всякого человека, кто бы он ни был, наверно, сохраняется какое-нибудь воспоминание о чем-нибудь таком, с ним случившемся, на что он смотрит или наклонен смотреть, как на нечто фантастическое, необычайное, выходящее из ряда, почти чудесное, будет ли то — сон, встреча, гадание, предчувствие или что-нибудь в этом роде. Я до сих пор наклонен смотреть на эту встречу мою с Ламбертом как на нечто даже пророческое... судя по крайней мере по обстоятельствам и последствиям встречи. Всё это произошло, впрочем, по крайней мере с одной стороны, в высшей степени натурально: он просто возвращался с одного ночного своего занятия (какого — объяснится потом), полупьяный, и в переулке, остановясь у ворот на одну минуту, увидел меня. Был же он в Петербурге всего только еще несколько дней.

Комната, в которой я очутился, была небольшой, весьма нехитро меблированный нумер обыкновенного петербургского шамбр-гарни средней руки. Сам Ламберт был, впрочем, превосходно и богато одет. На полу валялись два чемодана, наполовину лишь разобранные. Угол комнаты был загорожен ширмами, закрывавшими кровать.

— Alphonsine! [1] — крикнул Ламберт.

— Présente! [2] — откликнулся из-за ширм дребезжащий женский голос с парижским акцентом, и не более как через две минуты выскочила mademoiselle Alphonsine, наскоро одетая, в распашонке, только что с постели, — странное какое-то существо, высокого роста и сухощавая, как щепка, девица, брюнетка, с длинной талией, с длинным лицом, с прыгающими глазами и с ввалившимися щеками, — страшно износившееся существо!

— Скорей! (я перевожу, а он ей говорил по-французски), у них там уж должен быть самовар; живо кипятку, красного вина и сахару, стакан сюда, скорей, он замерз, это — мой приятель... проспал ночь на снегу.

— Malheureux! [3] — вскричала было она, с театральным жестом всплеснув руками.

— Но-но! — прикрикнул на нее Ламберт, словно на собачонку, и пригрозил пальцем; она тотчас оставила жесты и побежала исполнять приказание.

Он меня осмотрел и ощупал; попробовал мой пульс, пощупал лоб, виски. «Странно, — ворчал он, — как ты не замерз... впрочем, ты весь был закрыт шубой, с головой, как в меховой норе сидел...»

Горячий стакан явился, я выхлебнул его с жадностью, и он оживил меня тотчас же; я опять залепетал; я полулежал в углу на диване и всё говорил, — я захлебывался говоря, — но что именно и как я рассказывал, опять-таки совсем почти не помню;

---

[1] Альфонсина! *(франц.)*
[2] Я здесь! *(франц.)*
[3] Несчастный! *(франц.)*

мгновениями и даже целыми промежутками совсем забыл. Повторю: понял ли он что тогда из моих рассказов — не знаю; но об одном я догадался потом уже ясно, а именно: он успел понять меня ровно настолько, чтоб вывести заключение, что встречей со мной ему пренебрегать не следует... Потом объясню в своем месте, какой он мог иметь тут расчет.

Я не только был оживлен ужасно, но минутами, кажется, весел. Припоминаю солнце, вдруг осветившее комнату, когда подняли шторы, и затрещавшую печку, которую кто-то затопил, — кто и как — не запомню. Памятна мне тоже черная крошечная болонка, которую держала mademoiselle Alphonsine в руках, кокетливо прижимая ее к своему сердцу. Эта болонка как-то уж очень меня развлекала, так даже, что я переставал рассказывать и раза два потянулся к ней, но Ламберт махнул рукой, и Альфонсина с своей болонкой мигом стушевалась за ширмы.

Сам он очень молчал, сидел напротив меня и, сильно наклонившись ко мне, слушал не отрываясь; порой улыбался длинной, долгой улыбкой, скалил зубы и прищуривал глаза, как бы усиленно соображая и желая угадать. Я сохранил ясное воспоминание лишь о том, что когда рассказывал ему о «документе», то никак не мог понятливо выразиться и толком связать рассказ, и по лицу его слишком видел, что он никак не может понять меня, но что ему очень бы хотелось понять, так что даже он рискнул остановить меня вопросом, что было опасно, потому что я тотчас, чуть перебивали меня, сам перебивал тему и забывал, о чем говорил. Сколько времени мы просидели и проговорили так — я не знаю и даже сообразить не могу. Он вдруг встал и позвал Альфонсину:

— Ему надо покой; может, надо будет доктора. Что спросит — всё исполнять, то есть... vous comprenez, ma fille? vous avez l'argent,[1] нет? Вот! — И он вынул ей десятирублевую. Он стал с ней шептаться: Vous comprenez! vous comprenez! — повторял он ей, грозя пальцем и строго хмуря брови. Я видел, что она страшно перед ним трепетала.

— Я приду, а ты всего лучше выспись, — улыбнулся он мне и взял шапку.

— Mais vous n'avez pas dormi du tout, Maurice! [2] — патетически прокричала было Альфонсина.

— Taisez-vous, je dormirai après,[3] — и он вышел.

— Sauvée! [4] — патетически прошептала она, показав мне вслед ему рукой. — Monsieur, monsieur! — задекламировала она тотчас же, став в позу среди комнаты, — jamais homme ne fut si cruel, si Bismark, que cet être, qui regarde une femme comme

---

[1] вы понимаете, милая моя? у вас есть деньги? *(франц.)*
[2] Но вы же совсем не спали, Морис! *(франц.)*
[3] Замолчите, потом посплю *(франц.)*.
[4] Спасена! *(франц.)*

une saleté de hasard. Une femme, qu'est-ce que ça dans notre époque? «Tue-la!» — voilà le dernier mot de l'Académie française!..[1]

Я выпучил на нее глаза; у меня в глазах двоилось, мне мерещились уже две Альфонсины... Вдруг я заметил, что она плачет, вздрогнул и сообразил, что она уже очень давно мне говорит, а я, стало быть, в это время спал или был без памяти.

— ...Hélas! de quoi m'aurait servi de le découvrir plutôt, — восклицала она, — et n'aurais-je pas autant gagné à tenir ma honte cachée toute ma vie? Peut-être, n'est-il pas honnête à une demoiselle de s'expliquer si librement devant monsieur, mais enfin je vous avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, oh, ce serait de lui plonger au cœur mon couteau, mais en détournant les yeux, de peur que son regard exécrable ne fît trembler mon bras et ne glaçât mon courage! Il a assassiné ce pope russe, monsieur, il lui arracha sa barbe rousse pour la vendre à un artiste en cheveux au pont des Maréchaux, tout près de la Maison de monsieur Andrieux — hautes nouveautés, articles de Paris, linge, chemises, vous savez, n'est-ce pas?.. Oh, monsieur, quand l'amitié rassemble à table épouse, enfants, sœurs, amis, quand une vive allégresse enflamme mon cœur, je vous le demande, monsieur: est-il bonheur préférable à celui dont tout jouit? Mais il rit, monsieur, ce monstre exécrable et inconcevable et si ce n'était pas par l'entremise de monsieur Andrieux, jamais, oh, jamais je ne serais... Mais quoi, monsieur, qu'avez vous, monsieur? [2]

Она бросилась ко мне: со мной, кажется, был озноб, а может, и обморок. Не могу выразить, какое тяжелое, болезненное впечатление производило на меня это полусумасшедшее существо. Может быть, она вообразила, что ей велено развлекать меня: по крайней мере она не отходила от меня ни на миг. Может быть, она когда-нибудь была на сцене; она страшно декламировала, вертелась, говорила без умолку, а я уже давно молчал. Всё, что я мог понять из ее рассказов, было то, что она как-то тесно

---

[1] Сударь, сударь! никогда еще мужчина не был так жесток, не был таким Бисмарком, как это существо, которое смотрит па женщину как на что-то никчемное и грязное. Что такое женщина в наше время? «Убей ее!» — вот последнее слово Французской академии! *(франц.)*

[2] ... Увы! какую пользу принесло бы мне это открытие, сделай я его раньше, и не лучше ли было бы скрывать мой позор всю жизнь? Быть может, непристойно девице так откровенно говорить с мужчиной, но, признаюсь вам, если бы мне было дозволено иметь какие-то желания, я хотела бы одного: вонзить ему в сердце нож, но только отвернувшись, из страха, что от его отвратительного взгляда задрожит моя рука и замрет мое мужество. Он убил того русского попа, сударь, вырвал его рыжую бороду и продал парикмахеру на Кузнецком мосту, совсем рядом с магазином господина Андрие, — вы, конечно, знаете: парижские новинки, модные изделия, белье, сорочки... О сударь, когда дружба собирает за столом супругу, детей, сестер, друзей, когда живая радость воспламеняет мое сердце, — скажите мне, сударь: есть ли большее счастье, чем то, которым все наслаждаются? А он смеется, сударь, это отвратительное и непостижимое чудовище смеется, и если бы всё это устроилось не через господина Андрие, никогда, никогда бы я не... Но что это, сударь, что с вами, сударь? *(франц.)*

связана с каким-то «la Maison de monsieur Andrieux — hautes nouveautés, articles de Paris, etc.»,[1] и даже произошла, может быть, из la Maison de monsieur Andrieux, но она была как-то отторгнута навеки от monsieur Andrieux, par ce monstre furieux et inconcevable,[2] и вот в том-то и заключалась трагедия... Она рыдала, но мне казалось, что это только так, для порядка, и что она вовсе не плачет; порой мне чудилось, что она вдруг вся, как скелет, рассыплется; она выговаривала слова каким-то раздавленным, дребезжащим голосом; слово préférable, например, она произносила préfé-a-able и на слоге *а* словно блеяла как овца. Раз очнувшись, я увидел, что она делает среди комнаты пируэт, но она не танцевала, а относился этот пируэт как-то тоже к рассказу, а она только изображала в лицах. Вдруг она бросилась и раскрыла маленькое, старенькое расстроенное фортепьянце, бывшее в комнате, забренчала и запела... Кажется, я минут на десять или более забылся совсем, заснул, но взвизгнула болонка, и я очнулся: сознание вдруг на мгновение воротилось ко мне вполне и осветило меня всем своим светом; я вскочил в ужасе.

«Ламберт, я у Ламберта!» — подумал я и, схватив шапку, бросился к моей шубе.

— Où allez-vous, monsieur? [3] — прокричала зоркая Альфонсина.

— Я хочу прочь, я хочу выйти! Пустите меня, не держите меня...

— Oui, monsieur! — изо всех сил подтвердила Альфонсина и бросилась сама отворить мне дверь в коридор. — Mais ce n'est pas loin, monsieur, c'est pas loin du tout, ça ne vaut pas la peine de mettre votre chouba, c'est ici près, monsieur! [4] — восклицала она на весь коридор. Выбежав из комнаты, я повернул направо.

— Par ici, monsieur, c'est par ici! [5] — восклицала она изо всех сил, уцепившись за мою шубу своими длинными костлявыми пальцами, а другой рукой указывая мне налево по коридору куда-то, куда я вовсе не хотел идти. Я вырвался и побежал к выходным дверям на лестницу.

— Il s'en va, il s'en va! [6] — гналась за мною Альфонсина, крича своим разорванным голосом, — mais il me tuera, monsieur, il me tuera! [7] — Но я уже выскочил на лестницу и, несмотря на то, что она даже и по лестнице гналась за мной, успел-таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на первого извозчика. Я дал адрес мамы...

---

[1] магазином господина Андрие — последние новинки, парижские изделия и т. д. *(франц.)*.

[2] от господина Андрие этим ужасным и непостижимым чудовищем... *(франц.)*

[3] Куда вы, сударь? *(франц.)*

[4] Да, сударь! Но это недалеко, сударь, это совсем недалеко, не стоит надевать шубу, это совсем рядом! *(франц.)*

[5] Сюда, сударь, вот сюда! *(франц.)*

[6] Он уходит, уходит! *(франц.)*

[7] но ведь он убьет меня, сударь, убьет! *(франц.)*

IV

Но сознание, блеснув на миг, быстро потухло. Я еще помню чуть-чуть, как довезли меня и ввели к маме, но там я почти тотчас же впал в совершенное уже беспамятство. На другой день, как рассказывали мне потом (да и сам я это, впрочем, запомнил), рассудок мой опять было на мгновение прояснился. Я запомнил себя в комнате Версилова, на его диване; помню вокруг меня лица Версилова, мамы, Лизы, помню очень, как Версилов говорил мне о Зерщикове, о князе, показывал мне какое-то письмо, успокоивал меня. Они рассказывали потом, что я с ужасом всё спрашивал про какого-то Ламберта и всё слышал лай какой-то болонки. Но слабый свет сознания скоро померк: к вечеру этого второго дня я уже был в полной горячке. Но предупрежу события и объясню вперед.

Когда я в тот вечер выбежал от Зерщикова и когда там всё несколько успокоилось, Зерщиков, приступив к игре, вдруг заявил громогласно, что произошла печальная ошибка: пропавшие деньги, четыреста рублей, отыскались в куче других денег и счеты банка оказались совершенно верными. Тогда князь, остававшийся в зале, приступил к Зерщикову и потребовал настоятельно, чтоб тот заявил публично о моей невинности и, кроме того, принес бы мне извинение в форме письма. Зерщиков, с своей стороны, нашел требование достойным уважения и дал слово, при всех, завтра же отправить мне объяснительное и извинительное письмо. Князь сообщил ему адрес Версилова, и действительно Версилов на другой же день получил лично от Зерщикова письмо на мое имя и с лишком тысячу триста рублей, принадлежавших мне и забытых мною на рулетке денег. Таким образом, дело у Зерщикова было покончено; радостное это известие сильно способствовало моему выздоровлению, когда я очнулся от беспамятства.

Князь, воротившись с игры, написал в ту же ночь два письма — одно мне, а другое в тот прежний его полк, в котором была у него история с корнетом Степановым. Оба письма он отправил в следующее же утро. Засим написал рапорт по начальству и с этим рапортом в руках, рано утром, явился сам к командиру своего полка и заявил ему, что он, «уголовный преступник, участник в подделке --х акций, отдается в руки правосудия и просит над собою суда». При сем вручил и рапорт, в котором всё это изложено было письменно. Его арестовали.

Вот то письмо его ко мне, которое он написал в ту ночь, слово в слово:

«Бесценный Аркадий Макарович,

Испробовав „выход“ лакейский, я потерял тем самым право утешить хоть сколько-нибудь мою душу мыслью, что смог и я наконец решиться на подвиг справедливый. Я виновен перед отечеством и перед родом моим и за это сам, последний в роде, казню

себя. Не понимаю, как мог я схватиться за низкую мысль о самосохранении и некоторое время мечтать откупиться от них деньгами? Всё же сам, перед своею совестью, я оставался бы навеки преступником. Люди же эти, если б и возвратили мне компрометирующие меня записки, не оставили бы меня ни за что во всю жизнь! Что же оставалось: жить с ними, быть с ними заодно во всю жизнь — вот участь, меня ожидавшая! Я не мог принять ее и нашел в себе наконец настолько твердости или, может быть, лишь отчаяния, чтоб поступить так, как поступаю теперь.

Я написал письмо в прежний полк к прежним товарищам и оправдал Степанова. В поступке этом нет и не может быть никакого искупительного подвига: это всё — лишь предсмертное завещание завтрашнего мертвеца. Так надо смотреть.

Простите мне, что я отвернулся от вас в игорном доме; это — потому, что в ту минуту я был в вас не уверен. Теперь, когда я — уже человек мертвый, я могу делать даже такие признания... с того света.

Бедная Лиза! Она ничего не знала об этом решении; пусть не клянет меня, а обсудит сама. Я же не могу оправдываться и даже не нахожу слов, чтоб объяснить ей хоть что-нибудь. Узнайте тоже, Аркадий Макарович, что вчера, поутру, когда она приходила ко мне в последний раз, я открыл ей мой обман и признался, что ездил к Анне Андреевне с намерением сделать той предложение. Я не мог оставить это на моей совести перед последним, задуманным уже решением, видя ее любовь, и открыл ей. Она простила, всё простила, но я не поверил ей; это — не прощение; на ее месте я бы не мог простить.

Попомните меня.

Ваш несчастный последний князь *Сокольский*».

Я пролежал в беспамятстве ровно девять дней.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

I

Теперь — совсем о другом.

Я всё возвещаю: «о другом, о другом», а сам всё продолжаю строчить об одном себе. Между тем я уже тысячу раз объявлял, что вовсе не хочу себя описывать; да и твердо не хотел, начиная записки: я слишком понимаю, что я нисколько не надобен читателю. Я описываю и хочу описать других, а не себя, а если всё сам подвертываюсь, то это — только грустная ошибка, потому что никак нельзя миновать, как бы я ни желал того. Глав-

ное, мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда. Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал: «О, если б можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если б не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком. Это слишком очевидно; и если б только представить кто мог, как надоели мне все эти извинения и предисловия, которые я вынужден втискивать поминутно даже в самую средину моих записок!

К делу.

После девятидневного беспамятства я очнулся тогда возрожденный, но не исправленный; возрождение мое было, впрочем, глупое, разумеется если брать в обширном смысле, и, может быть, если б это теперь, то было бы не так. Идея, то есть чувство, состояло опять лишь в том (как и тысячу раз прежде), чтоб уйти от них совсем, но уже непременно уйти, а не так, как прежде, когда я тысячу раз задавал себе эту же тему и всё не мог исполнить. Мстить я не хотел никому, и даю в том честное слово, — хотя был всеми обижен. Уходить я собирался без отвращения, без проклятий, но я хотел собственной силы, и уже настоящей, не зависимой ни от кого из них и в целом мире; а я-то уже чуть было не примирился со всем на свете! Записываю эту тогдашнюю грезу мою не как мысль, а как неотразимое тогдашнее ощущение. Я его еще не хотел формулировать, пока был в постели. Больной и без сил, лежа в версиловской комнате, которую они отвели для меня, я с болью сознавал, на какой низкой степени бессилия я находился: валялась на постели какая-то соломинка, а не человек, и не по болезни только, — и как мне это было обидно! И вот из самой глубины существа моего из всех сил стал подыматься протест, и я задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и вызова. Я не помню даже времени в целой жизни моей, когда бы я был полон более надменных ощущений, как в те первые дни моего выздоровления, то есть когда валялась соломинка на постели.

Но пока я молчал и даже решился ничего не обдумывать! Я всё заглядывал в их лица, стараясь по ним угадать всё, что мне надо было. Видно было, что и они не желали ни расспрашивать, ни любопытствовать, а говорили со мной совсем о постороннем. Мне это нравилось и в то же время огорчало меня; не буду объяснять это противоречие. Лизу я видел реже, чем маму, хотя она заходила ко мне каждый день, даже по два раза. Из отрывков их разговора и из всего их вида я заключил, что у Лизы накопилось страшно много хлопот и что она даже часто дома не бывает из-за своих дел: уже в одной этой идее о возможности «своих дел» как бы заключалось для меня нечто обидное; впрочем, всё это были лишь больные, чисто физиологические ощущения, которые не стоит описывать. Татьяна Павловна тоже при-

ходила ко мне чуть не ежедневно, и хоть была вовсе не нежна со мной, но по крайней мере не ругалась по-прежнему, что до крайности меня раздосадовало, так что я ей просто высказал: «Вы, Татьяна Павловна, когда не ругаетесь, прескучная». — «Ну, так и не приду к тебе», — оторвала она и ушла. А я был рад, что хоть одну прогнал.

Всего больше я мучил маму и на нее раздражался. У меня явился страшный аппетит, и я очень ворчал, что опаздывало кушанье (а оно никогда не опаздывало). Мама не знала, как угодить. Раз она принесла мне супу и стала, по обыкновению, сама кормить меня, а я всё ворчал, пока ел. И вдруг мне стало досадно, что я ворчу: «Ее-то одну, может быть, я и люблю, а ее же и мучаю». Но злость не унималась, и я от злости вдруг расплакался, а она, бедненькая, подумала, что я от умиления заплакал, нагнулась ко мне и стала целовать. Я скрепился и кое-как вытерпел и действительно в ту секунду ее ненавидел. Но маму я всегда любил, и тогда любил, и вовсе не ненавидел, а было то, что всегда бывает: кого больше любишь, того первого и оскорбляешь.

Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось; но такова всегда «средина» и «улица». Я долго терпел, но наконец вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила; что, наконец, по всей вероятности, он грубо необразован, «как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос». Доктор очень обиделся (уж этим одним доказал, что он такое), однако же продолжал бывать. Я заявил наконец Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в десять раз неприятнее. Версилов заметил только, что и вдвое неприятнее нельзя уже было сказать против того, что было высказано, а не то что в десять раз. Я был рад, что он это заметил.

Вот человек, однако! Я говорю про Версилова. Он, он только и был всему причиной — и что же: на него одного я тогда не злился. Не одна его манера со мной меня подкупила. Я думаю, мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны друг другу многими объяснениями... и что именно потому всего лучше никогда не объясняться. Чрезвычайно приятно, когда в подобных положениях жизни натолкнешься на умного человека! Я уже сообщал во второй части моего рассказа, забегая вперед, что он очень кратко и ясно передал мне о письме ко мне арестованного князя, о Зерщикове, о его объяснении в мою пользу и проч., и проч. Так как

я решился молчать, то сделал ему, со всею сухостью, лишь два-три самых кратких вопроса; он ответил на них ясно и точно, но совершенно без лишних слов и, что всего лучше, без лишних чувств. Лишних-то чувств я тогда и боялся.

О Ламберте я молчу, но читатель, конечно, догадался, что я о нем слишком думал. В бреду я несколько раз говорил о Ламберте; но, очнувшись от бреда и приглядываясь, я скоро сообразил, что о Ламберте всё осталось в тайне и что они ничего не знают, не исключая и Версилова. Тогда я обрадовался и страх мой прошел, но я ошибался, как и узнал потом, к моему удивлению: он во время моей болезни уже заходил, но Версилов умолчал мне об этом, и я заключил, что для Ламберта я уже канул в вечность. Тем не менее я часто думал о нем; мало того: думал не только без отвращения, не только с любопытством, но даже с участием, как бы предчувствуя тут что-то новое и выходное, соответствующее зарождавшимся во мне новым чувствам и планам. Одним словом, я положил обдумать Ламберта прежде всего, когда решусь начать думать. Внесу одну странность: я совершенно забыл, где он живет и в какой всё это улице тогда происходило. Комнату, Альфонсину, собачонку, коридор — всё запомнил; хоть сейчас нарисовать; а где это всё происходило, то есть в какой улице и в каком доме — совершенно забыл. И что страннее всего, догадался о том лишь на третий или на четвертый день моего полного сознания, когда давно уже начал заботиться о Ламберте.

Итак, вот каковы были мои первые ощущения по воскресении моем. Я отметил лишь самое поверхностное, и вероятнее всего, что не умел отметить главного. В самом деле, может быть, всё главное именно тогда-то и определилось и сформулировалось в моем сердце; ведь не всё же я досадовал и злился за то только, что мне не несут бульону. О, я помню, как бывало мне тогда грустно и как я тосковал иногда в те минуты, особенно когда оставался подолгу один. Они же, как нарочно, скоро поняли, что мне тяжело с ними и что их участие меня раздражает, и стали оставлять меня всё чаще и чаще одного: излишняя тонкость догадливости.

II

На четвертый день моего сознания я лежал, в третьем часу пополудни, на моей постели, и никого со мной не было. День был ясный, и я знал, что в четвертом часу, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч его ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место. Я знал это по прежним дням, и то, что это непременно сбудется через час, а главное то, что я знал об этом вперед, как дважды два, разозлило меня до злобы. Я судорожно повернулся всем телом и вдруг, среди глубокой тишины, ясно услышал слова: «Господи, Иисусе Христе,

боже наш, помилуй нас». Слова произнеслись полушепотом, за ними следовал глубокий вздох всею грудью, и затем всё опять совершенно стихло. Я быстро приподнял голову.

Я уже и прежде, то есть накануне, и даже еще с третьего дня, стал замечать что-то такое особенное в этих наших трех комнатах внизу. В той комнатке, через залу, где прежде помещались мама и Лиза, очевидно был теперь кто-то другой. Я уже не раз слышал какие-то звуки и днем и по ночам, но всё лишь мгновениями, самыми краткими, и тишина восстановлялась тотчас же полная, на несколько часов, так что я и не обращал внимания. Накануне мне пришла было мысль, что там Версилов, тем более что он скоро затем вошел ко мне, хотя я знал, притом наверно, из их же разговоров, что Версилов, на время моей болезни, переехал куда-то в другую квартиру, в которой и ночует. Про маму же с Лизой мне давно уже стало известно, что они обе (для моего же спокойствия, думал я) перебрались наверх, в бывший мой «гроб», и даже подумал раз про себя: «Как это могли они там вдвоем поместиться?» И вдруг теперь оказывается, что в ихней прежней комнате живет какой-то человек и что человек этот — совсем не Версилов. С легкостью, которую я и не предполагал в себе (воображая до сих пор, что я совершенно бессилен), спустил я с постели ноги, сунул их в туфли, накинул серый, мерлушечий халат, лежавший подле (и пожертвованный для меня Версиловым), и отправился через нашу гостиную в бывшую спальню мамы. То, что я там увидел, сбило меня совсем с толку; я никак не предполагал ничего подобного и остановился как вкопанный на пороге.

Там сидел седой-преседой старик, с большой, ужасно белой бородой, и ясно было, что он давно уже там сидит. Он сидел не на постели, а на маминой скамеечке и только спиной опирался на кровать. Впрочем, он до того держал себя прямо, что, казалось, ему и не надо совсем никакой опоры, хотя, очевидно, был болен. На нем был, сверх рубашки, крытый меховой тулупчик, колена же его были прикрыты маминым пледом, а ноги в туфлях. Росту он, как угадывалось, был большого, широкоплеч, очень бодрого вида, несмотря на болезнь, хотя несколько бледен и худ, с продолговатым лицом, с густейшими волосами, но не очень длинными, лет же ему казалось за семьдесят. Подле него на столике, рукой достать, лежали три или четыре книги и серебряные очки. У меня хоть и ни малейшей мысли не было его встретить, но я в тот же миг угадал, кто он такой, только всё еще сообразить не мог, каким это образом он просидел эти все дни, почти рядом со мной, так тихо, что я до сих пор ничего не расслышал.

Он не шевельнулся, меня увидев, но пристально и молча глядел на меня, так же как я на него, с тою разницею, что я глядел с непомерным удивлением, а он без малейшего. Напротив, как бы рассмотрев меня всего, до последней черты, в эти пять или десять секунд молчания, он вдруг улыбнулся и даже тихо

и неслышно засмеялся, и хоть смех прошел скоро, но светлый, веселый след его остался в его лице и, главное, в глазах, очень голубых, лучистых, больших, но с опустившимися и припухшими от старости веками, и окруженных бесчисленными крошечными морщинками. Этот смех его всего более на меня подействовал.

Я так думаю, что когда смеется человек, то в большинстве случаев на него становится противно смотреть. Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющегося, хотя сам смеющийся почти всегда ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят. У иного спящего лицо и во сне умное, а у другого, даже и умного, во сне лицо становится очень глупым и потому смешным. Я не знаю, отчего это происходит: я хочу только сказать, что смеющийся, как и спящий, большею частью ничего не знает про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут уметь нечего: это — дар, и его не выделаешь. Выделаешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя к лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера: тогда и смех такого человека, весьма вероятно, мог бы перемениться к лучшему. Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности, а где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди всего чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех — это веселость, а где в людях в наш век веселость, и умеют ли люди веселиться? (О веселости в наш век — это замечание Версилова, и я его запомнил.) Веселость человека — это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Только с самым высшим и с самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитие говорю, а про характер, про целое человека. Итак: если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек — значит хороший человек. Примечайте притом все оттенки: надо, например, чтобы смех человека ни в каком случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и простодушен. Чуть заметите малейшую черту глуповатости в смехе — значит несомненно тот человек ограничен умом, хотя бы только и делал, что сыпал идеями. Если и не глуп его смех, но сам человек, рассмеявшись, стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, — то знайте, что в человеке том нет настоящего собственного достоинства, по крайней мере

вполне. Или, наконец, если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека пошловата, и всё благородное и возвышенное, что вы заметили в нем прежде, — или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек непременно впоследствии изменится к худшему, займется «полезным», а благородные идеи отбросит без сожаления, как заблуждения и увлечения молодости.

Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом, даже жертвуя течением рассказа, ибо считаю ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни. И особенно рекомендую ее тем девушкам-невестам, которые уж и готовы выйти за избранного человека, но всё еще приглядываются к нему с раздумьем и недоверчивостью и не решаются окончательно. И пусть не смеются над жалким подростком за то, что он суется с своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка: одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо — оттого-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся — это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен, как дитя. И вот что-то детское и до невероятности привлекательное мелькнуло и в мимолетном смехе этого старика. Я тотчас же подошел к нему.

III

— Садись, присядь, ноги-то небось не стоят еще, — приветливо пригласил он меня, указав мне на место подле себя и всё продолжая смотреть мне в лицо тем же лучистым взглядом. Я сел подле него и сказал:

— Я вас знаю, вы — Макар Иванович.

— Так, голубчик. Вот и прекрасно, что встал. Ты — юноша, прекрасно тебе. Старцу к могиле, а юноше жить.

— А вы больны?

— Болен, друг, ногами пуще; до порога еще донесли ноженьки, а как вот тут сел, и распухли. Это у меня с прошлого самого четверга, как стали градусы (№3 то есть стал мороз). Мазал я их доселе мазью, видишь; третьего года мне Лихтен, доктор, Едмунд Карлыч, в Москве прописал, и помогала мазь, ух помогала; ну, а вот теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложило. А вот со вчерашнего и спина, ажно собаки едят... По ночам-то и не сплю.

— Как это вас здесь совсем не слышно? — перебил я. Он посмотрел на меня, как бы что-то соображая.

— Только ты мать не буди, — прибавил он, как бы вдруг что-то припомнив. — Она тут всю ночь подле суетилась, да не-

слышно так, словно муха; а теперь, я знаю, прилегла. Ох, худо больному старцу, — вздохнул он, — за что, кажись, только душа зацепилась, а всё держится, а всё свету рада; и кажись, если б всю-то жизнь опять сызнова начинать, и того бы, пожалуй, не убоялась душа; хотя, может, и греховна такая мысль.

— Почему греховна?

— Мечта она, эта мысль, а старцу надо отходить благолепно. Опять, оно если с ропотом али с недовольством встречаешь смерть, то сие есть великий грех. Ну а если от веселия духовного жизнь возлюбил, то, полагаю, и бог простит, хоша бы и старцу. Трудно человеку знать про всякий грех, что грешно, а что нет: тайна тут, превосходящая ум человеческий. Старец же должен быть доволен во всякое время, а умирать должен в полном цвете ума своего, блаженно и благолепно, насытившись днями, воздыхая на последний час свой и радуясь, отходя, как колос к снопу, и восполнивши тайну свою.

— Вы всё говорите «тайну»; что такое «восполнивши тайну свою»? — спросил я и оглянулся на дверь. Я рад был, что мы одни и что кругом стояла невозмутимая тишина. Солнце ярко светило в окно перед закатом. Он говорил несколько высокопарно и неточно, но очень искренно и с каким-то сильным возбуждением, точно и в самом деле был так рад моему приходу. Но я заметил в нем несомненно лихорадочное состояние, и даже сильное. Я тоже был больной, тоже в лихорадке, с той минуты, как вошел к нему.

— Тайна что? Всё есть тайна, друг, во всем тайна божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, али звезды всем сонмом на небе блещут в ночи — всё одна эта тайна, одинаковая. А всех бо́льшая тайна — в том, что душу человека на том свете ожидает. Вот так-то, друг!

— Я не знаю, в каком вы смысле... Я, конечно, не для того, чтоб вас дразнить, и, поверьте, что в бога верую; но все эти тайны давно открыты умом, а что еще не открыто, то будет открыто всё, совершенно наверно и, может быть, в самый короткий срок. Ботаника совершенно знает, как растет дерево, физиолог и анатом знают даже, почему поет птица, или скоро узнают, а что до звезд, то они не только все сосчитаны, но всякое движение их вычислено с самою минутною точностью, так что можно предсказать, даже за тысячу лет вперед, минута в минуту, появление какой-нибудь кометы... а теперь так даже и состав отдаленнейших звезд стал известен. Вы возьмите микроскоп — это такое стекло увеличительное, что увеличивает предметы в мильон раз, — и рассмотрите в него каплю воды, и вы увидите там целый новый мир, целую жизнь живых существ, а между тем это тоже была тайна, а вот открыли же.

— Слышал я про это, голубчик, неоднократно слышал от людей. Что говорить, дело великое и славное; всё предано чело-

веку волею божиею; недаром бог вдунул в него дыхание жизни: «Живи и познай».

— Ну, это — общие места. Однако вы — не враг науки, не клерикал? То есть я не знаю, поймете ли вы...

— Нет, голубчик, сызмлада науку почитал, и хоть сам не смыслен, но на то не ропщу: не мне, так другому досталось. Оно тем, может, и лучше, потому что всякому свое. Потому, друг милый, что не всякому и наука впрок. Все-то невоздержны, всякий-то хочет всю вселенну удивить, а я-то, может, и пуще всех, коли б был искусен. А будучи теперь весьма не искусен, как могу превозноситься, когда сам ничего не знаю? Ты же млад и востер, и таков удел тебе вышел, ты и учись. Всё познай, чтобы, когда повстречаешь безбожника али озорника, чтоб ты мог перед ним ответить, а он чтоб тебя неистовыми словесами не забросал и мысли твои незрелые чтобы не смутил. А стекло это я еще и не так давно видел.

Он перевел дух и вздохнул. Решительно, я доставил ему чрезвычайное удовольствие моим приходом. Жажда сообщительности была болезненная. Кроме того, я решительно не ошибусь, утверждая, что он смотрел на меня минутами с какою-то необыкновенною даже любовью: он ласкательно клал ладонь на мою руку, гладил меня по плечу... ну, а минутами, надо признаться, совсем как бы забывал обо мне, точно один сидел, и хотя с жаром продолжал говорить, но как бы куда-то на воздух.

— Есть, друг, — продолжал он, — в Геннадиевой пустыни один великого ума человек. Роду он благородного, и чином подполковник, и великое богатство имеет. В мире живши, обязаться браком не захотел; заключился же от свету вот уже десятый год, возлюбив тихие и безмолвные пристанища и чувства свои от мирских сует успокоив. Соблюдает весь устав монастырский, а постричься не хочет. И книг, друг мой, у него столько, что я и не видывал еще столько ни у кого, — сам говорил мне, что на восемь тысяч рублей. Петром Валерьянычем звать. Много он меня в разное время поучал, а любил я его слушать чрезмерно. Говорю это я ему раз: «Как это вы, сударь, да при таком великом вашем уме и проживая вот уже десять лет в монастырском послушании и в совершенном отсечении воли своей, — как это вы честного пострижения не примете, чтоб уж быть еще совершеннее?» А он мне на то: «Что ты, старик, об уме моем говоришь; а может, ум мой меня же заполонил, а не я его остепенил. И что о послушании моем рассуждаешь: может, я давно уже меру себе потерял. И что об отсечении воли моей толкуешь? Я вот денег моих сей же час решусь, и чины отдам, и кавалерию всю сей же час на стол сложу, а от трубки табаку, вот уже десятый год бьюсь, отстать не могу. Какой же я после этого инок, и какое же отсечение воли во мне прославляешь?» И удивился я тогда смирению сему. Ну так вот, прошлого лета, в Петровки, зашел я опять в ту пустынь — привел господь — и вижу, в келии его стоит эта самая вещь —

микроскоп, — за большие деньги из-за границы выписал. «Постой, говорит, старик, покажу я тебе дело удивительное, потому ты сего еще никогда не видывал. Видишь каплю воды, как слеза чиста, ну так посмотри, что в ней есть, и увидишь, что механики скоро все тайны божии разыщут, ни одной нам с тобой не оставят», — так и сказал это, запомнил я. А я в этот микроскоп, еще тридцать пять лет перед тем, смотрел у Александра Владимировича Малгасова, господина нашего, дядюшки Андрея Петровичева по матери, от которого вотчина и отошла потом, по смерти его, к Андрею Петровичу. Барин был важный, большой генерал, и большую псовую охоту содержал, и я многие годы при нем выжил тогда в ловчих. Вот тогда и поставил он тоже этот микроскоп, тоже привез с собой, и повелел всей дворне одному за другим подходить, как мужскому, так и женскому полу, и смотреть, и тоже показывали блоху и вошь, и конец иголки, и волосок, и каплю воды. И уж потеха была: подходить боятся, да и барина боятся — вспыльчив был. Одни так и смотреть-то не умеют, щурят глаз, а ничего не видят; другие страшатся и кричат, а староста Савин Макаров глаза обеими руками закрыл да и кричит: «Что хошь со мной делайте — нейду!» Пустого смеху тут много вышло. Петру Валерьянычу я, однако, не признался, что еще допреж сего, с лишком тридцать пять лет тому, это самое чудо видел, потому вижу от великого удовольствия показывает человек, и стал я, напротив, дивиться и ужасаться. Дал он мне срок и спрашивает: «Ну, что, старик, теперь скажешь?» А я восклонился и говорю ему: «Рече господь: да будет свет, и бысть свет», а он вдруг мне на то: «А не бысть ли тьма?» И так странно сказал сие, даже не усмехнулся. Удивился я на него тогда, а он словно даже осердился, примолк.

— Просто-запросто ваш Петр Валерьяныч в монастыре ест кутью и кладет поклоны, а в бога не верует, и вы под такую минуту попали — вот и всё, — сказал я, — и сверх того, человек довольно смешной: ведь уж, наверно, он раз десять прежде того микроскоп видел, что ж он так с ума сошел в одиннадцатый-то раз? Впечатлительность какая-то нервная... в монастыре выработал.

— Человек чистый и ума высокого, — внушительно произнес старик, — и не безбожник он. В ём ума гущина, а сердце неспокойное. Таковых людей очень много теперь пошло из господского и из ученого звания. И вот что еще скажу: сам казнит себя человек. А ты их обходи и им не досаждай, а перед ночным сном их поминай на молитве, ибо таковые бога ищут. Ты молишься ли перед сном-то?

— Нет, считаю это пустою обрядностью. Я должен вам, впрочем, признаться, что мне ваш Петр Валерьяныч нравится: не сено по крайней мере, а всё же человек, несколько похожий на одного близкого нам обоим человечка, которого мы оба знаем.

Старик обратил внимание лишь на первую фразу моего ответа:

— Напрасно, друг, не молишься; хорошо оно, сердцу весело, и пред сном, и восстав от сна, и пробудясь в ночи. Это я тебе скажу. Летом же, в июле месяце, поспешали мы в Богородский монастырь к празднику. Чем ближе подходили к месту, тем пуще приставал народ, и сошлось наконец нас чуть не два ста человек, всё спешивших лобызать святые и целокупные мощи великих обоих чудотворцев Аникия и Григория. Заночевали, брате, мы в поле, и проснулся я заутра рано, еще все спали, и даже солнышко из-за леса не выглянуло. Восклонился я, милый, главой, обвел кругом взор и вздохнул: красота везде неизреченная! Тихо всё, воздух легкий; травка растет — расти, травка божия, птичка поет — пой, птичка божия, ребеночек у женщины на руках пискнул — господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик! И вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей, всё сие в себе заключил... Склонился я опять, заснул таково легко. Хорошо на свете, милый! Я вот, кабы полегчало, опять бы по весне пошел. А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно сердцу и дивно; и страх сей к веселию сердца: «Всё в тебе, господи, и я сам в тебе и приими меня!» Не ропщи, вьюнош: тем еще прекрасней оно, что тайна, — прибавил он умиленно.

— «Тем даже прекрасней оно, что тайна...» Это я запомню, эти слова. Вы ужасно неточно выражаетесь, но я понимаю... Меня поражает, что вы гораздо более знаете и понимаете, чем можете выразить; только вы как будто в бреду... — вырвалось у меня, смотря на его лихорадочные глаза и на побледневшее лицо. Но он, кажется, и не слышал моих слов.

— Знаешь ли ты, милый вьюнош, — начал он опять, как бы продолжая прежнюю речь, — знаешь ли ты, что есть предел памяти человека на сей земле? Предел памяти человеку положен лишь во сто лет. Сто лет по смерти его еще могут запомнить дети его али внуки его, еще видевшие лицо его, а затем хоть и может продолжаться память его, но лишь устная, мысленная, ибо прейдут все видевшие живой лик его. И зарастет его могилка на кладбище травкой, облупится на ней бел камушек и забудут его все люди и самое потомство его, забудут потом самое имя его, ибо лишь немногие в памяти людей остаются — ну и пусть! И пусть забудут, милые, а я вас и из могилки люблю. Слышу, деточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на родных отчих могилках в родительский день; живите пока на солнышке, радуйтесь, а я за вас бога помолю, в сонном видении к вам сойду... всё равно и по смерти любовь!..

Главное, я сам был в такой же, как и он, лихорадке; вместо того чтоб уйти или уговорить его успокоиться, а может, и положить его на кровать, потому что он был совсем как в бреду, я вдруг схватил его за руку и, нагнувшись к нему и сжимая его руку, проговорил взволнованным шепотом и со слезами в душе:

— Я вам рад. Я, может быть, вас давно ожидал. Я их никого не люблю: у них нет благообразия... Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду...

Но, к счастию, вдруг вошла мама, а то бы я не знаю чем кончил. Она вошла с только что проснувшимся и встревоженным лицом, в руках у ней была стклянка и столовая ложка; увидя нас, она воскликнула:

— Так и знала! Хинное-то лекарство и опоздала дать вовремя, весь в лихорадке! Проспала я, Макар Иванович, голубчик!

Я встал и вышел. Она все-таки дала ему лекарство и уложила в постель. Я тоже улегся в свою, но в большом волнении. Я воротился с великим любопытством и изо всех сил думал об этой встрече. Чего я тогда ждал от нее — не знаю. Конечно, я рассуждал бессвязно, и в уме моем мелькали не мысли, а лишь обрывки мыслей. Я лежал лицом к стене и вдруг в углу увидел яркое, светлое пятно заходящего солнца, то самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал давеча, и вот помню, вся душа моя как бы взыграла и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы... Я тогда выздоравливал, а стало быть, такие порывы могли быть неминуемым следствием состояния моих нервов; но в ту самую светлую надежду я верю и теперь — вот что я хотел теперь записать и припомнить. Конечно, я и тогда твердо знал, что не пойду странствовать с Макаром Ивановичем и что сам не знаю, в чем состояло это новое стремление, меня захватившее, но одно слово я уже произнес, хотя и в бреду: «В них нет благообразия!» — «Кончено, думал я в исступлении, с этой минуты я ищу „благообразия“, а у них его нет, и за то я оставлю их».

Что-то зашелестило сзади меня, я обернулся: стояла мама, склонясь надо мной и с робким любопытством заглядывая мне в глаза. Я вдруг взял ее за руку.

— А что же вы, мама, мне про нашего дорогого гостя ничего не сказали? — спросил я вдруг, сам почти не ожидая, что так скажу. Всё беспокойство разом исчезло с лица ее, и на нем вспыхнула как бы радость, но она мне ничего не ответила, кроме одного только слова:

— Лизу тоже не забудь, Лизу; ты Лизу забыл.

Она выговорила это скороговоркой, покраснев, и хотела было поскорее уйти, потому что тоже страх как не любила размазывать чувства и на этот счет была вся в меня, то есть застенчива и целомудренна; к тому же, разумеется, не хотела бы начинать со мной на тему о Макаре Ивановиче; довольно было и того, что мы могли сказать, обменявшись взглядами. Но я, именно ненавидевший всякую размазню чувств, я-то и остановил ее насильно за руку: я сладко глядел ей в глаза, тихо и нежно смеялся, а другой ладонью гладил ее милое лицо, ее впалые щеки. Она пригнулась и прижалась своим лбом к моему.

— Ну, Христос с тобой, — сказала она вдруг, восклонившись и вся сияя, — выздоравливай. Зачту это тебе. Болен он, очень болен... В жизни волен бог... Ах, что это я сказала, да быть же того не может!..

Она ушла. Очень уж почитала она всю жизнь свою, во страхе, и трепете, и благоговении, законного мужа своего и странника Макара Ивановича, великодушно и раз навсегда ее простившего.

Глава вторая

I

А Лизу я не «забыл», мама ошиблась. Чуткая мать видела, что между братом и сестрой как бы охлаждение, но дело было не в нелюбви, а скорее в ревности. Объясню, ввиду дальнейшего, в двух словах.

В бедной Лизе, с самого ареста князя, явилась какая-то заносчивая гордость, какое-то недоступное высокомерие, почти нестерпимое; но всякий в доме понял истину и то, как она страдала, а если дулся и хмурился вначале я на ее манеру с нами, то единственно по моей мелочной раздражительности, в десять раз усиленной болезнию, — вот как я думаю об этом теперь. Любить же Лизу я не переставал вовсе, а, напротив, любил еще более, только не хотел подходить первый, понимая, впрочем, что и сама она не подойдет первая ни за что.

Дело в том, что, как только обнаружилось всё о князе, тотчас после его ареста, то Лиза, первым делом, поспешила стать в такое положение относительно нас и всех, кого угодно, что как будто и мысли не хотела допустить, что ее можно сожалеть или в чем-нибудь утешать, а князя оправдывать. Напротив, — стараясь нисколько не объясняться и ни с кем не спорить, — она как будто беспрерывно гордилась поступком своего несчастного жениха как высшим геройством. Она как будто говорила всем нам поминутно (повторяю: не произнося ни слова): «Ведь вы никто так не сделаете, ведь вы не предадите себя из-за требований чести и долга; ведь у вас ни у кого нет такой чуткой и чистой совести? А что до его поступков, то у кого нет дурных поступков на душе? Только все их прячут, а этот человек пожелал скорее погубить себя, чем оставаться недостойным в собственных глазах своих». Вот что выражал, по-видимому, каждый жест ее. Не знаю, но я точно бы так же поступил на ее месте. Не знаю тоже, те ли же мысли были у нее на душе, то есть про себя; подозреваю, что нет. Другой, ясной половиной своего рассудка она непременно должна была прозревать всю ничтожность своего «героя»; ибо кто ж не согласится теперь, что этот несчастный и даже великодушный человек в своем роде был в то же время в высшей степени ничтожным человеком? Даже самая эта за-

посчивость и как бы накидчивость ее на всех нас, эта беспрерывная подозрительность ее, что мы думаем об нем иначе, — давала отчасти угадывать, что в тайниках ее сердца могло сложиться и другое суждение о несчастном ее друге. Но спешу прибавить, однако же, от себя, что, на мой взгляд, она была хоть наполовину, да права; ей даже было простительнее всех нас колебаться в окончательном выводе. Я сам признаюсь от всей души моей, что и до сих пор, когда уже всё прошло, совершенно не знаю, как и во что окончательно оценить этого несчастного, задавшего нам всем такую задачу.

Тем не менее в доме от нее начался было чуть не маленький ад. Лиза, столь сильно любившая, должна была очень страдать. По характеру своему она предпочла страдать молча. Характер ее был похож на мой, то есть самовластный и гордый, и я всегда думал, и тогда и теперь, что она полюбила князя из самовластия, именно за то, что в нем не было характера и что он вполне, с первого слова и часа, подчинился ей. Это как-то само собою в сердце делается, безо всякого предварительного расчета; но такая любовь, сильная к слабому, бывает иногда несравненно сильнее и мучительнее, чем любовь равных характеров, потому что невольно берешь на себя ответственность за своего слабого друга. Я по крайней мере так думаю. Все наши, с самого начала, окружили ее самыми нежными заботами, особенно мама; но она не смягчилась, не откликнулась на участие и как бы отвергла всякую помощь. С мамой еще говорила вначале, но с каждым днем становилась скупее на слова, отрывистее и даже жестче. С Версиловым сначала советовалась, но вскоре избрала в советники и помощники Васина, как с удивлением узнал я после... Она ходила к Васину каждый день, ходила тоже по судам, по начальству князя, ходила к адвокатам, к прокурору; под конец ее почти совсем не бывало по целым дням дома. Разумеется, каждый день, раза по два, посещала и князя, который был заключен в тюрьме, в дворянском отделении, но свидания эти, как я вполне убедился впоследствии, бывали очень для Лизы тягостны. Разумеется, кто ж третий может вполне узнать дела двух любящихся? Но мне известно, что князь глубоко оскорблял ее поминутно, и чем, например? Странное дело: беспрерывною ревностью. Впрочем, об этом впоследствии; но прибавлю к этому одну мысль: трудно решить, кто из них кого мучил более. Гордившаяся между нами своим героем, Лиза относилась, может быть, совершенно иначе к нему глаз на глаз, как я подозреваю твердо, по некоторым данным, о которых, впрочем, тоже впоследствии.

Итак, что до чувств и отношений моих к Лизе, то всё, что было наружу, была лишь напускная, ревнивая ложь с обеих сторон, но никогда мы оба не любили друг друга сильнее, как в это время. Прибавлю еще, что к Макару Ивановичу, с самого появления его у нас, Лиза, после первого удивления и любопытства, стала почему то относиться почти пренебрежительно, даже

высокомерно. Она как бы нарочно не обращала на него ни малейшего внимания.

Дав себе слово «молчать», как объяснил я в предыдущей главе, я, конечно, в теории, то есть в мечтах моих, думал сдержать мое слово. О, с Версиловым я, например, скорее бы заговорил о зоологии или о римских императорах, чем, например, об *ней* или об той, например, важнейшей строчке в письме его к ней, где он уведомлял ее, что «документ не сожжен, а жив и явится», — строчке, о которой я немедленно начал про себя опять думать, только что успел опомниться и прийти в рассудок после горячки. Но увы! с первых шагов на практике, и почти еще до шагов, я догадался, до какой степени трудно и невозможно удерживать себя в подобных предрешениях: на другой же день после первого знакомства моего с Макаром Ивановичем я был страшно взволнован одним неожиданным обстоятельством.

II

Взволнован я был неожиданным посещением Настасьи Егоровны, матери покойной Оли. От мамы я уже слышал, что она раза два заходила во время моей болезни и что очень интересовалась моим здоровьем. Для меня ли собственно заходила эта «добрая женщина», как выражалась всегда о ней мама, или просто посещала маму, по заведенному прежде порядку, — я не спросил. Мама рассказывала мне всегда обо всем домашнем, обыкновенно когда приходила с супом кормить меня (когда я еще не мог сам есть), чтобы развлечь меня; я же при этом упорно старался показать каждый раз, что мало интересуюсь всеми этими сведениями, а потому и про Настасью Егоровну не расспросил подробнее, даже промолчал совсем.

Это было часов около одиннадцати; я только что хотел было встать с кровати и перейти в кресло к столу, как она вошла. Я нарочно остался в постели. Мама чем-то очень была занята наверху и не сошла при ее приходе, так что мы вдруг очутились с нею наедине. Она уселась против меня, у стенки на стуле, улыбаясь и не говоря ни слова. Я предчувствовал молчанку; да и вообще приход ее произвел на меня самое раздражительное впечатление. Я даже не кивнул ей головой и прямо смотрел ей в глаза; но она тоже прямо смотрела на меня:

— Вам теперь на квартире, после князя, одной-то скучно? — спросил я вдруг, потеряв терпение.

— Нет-с, я теперь не на той квартире. Я теперь через Анну Андреевну за ребеночком ихним надзираю.

— За чьим ребеночком?

— За Андреем Петровичевым, — произнесла она конфиденциальным шепотом, оглянувшись на дверь.

— Да ведь там Татьяна Павловна...

— И Татьяна Павловна, и Анна Андреевна, они обе-с, и Лизавета Макаровна тоже, и маменька ваша... все-с. Все принимают участие. Татьяна Павловна и Анна Андреевна в большой теперь дружбе к друг-дружке-с.

Новость. Она очень оживилась, говоря. Я с ненавистью глядел на нее.

— Вы очень оживились после последнего разу, как ко мне приходили.

— Ах, да-с.

— Потолстели, кажется?

Она поглядела странно:

— Я их очень полюбила-с, очень-с.

— Кого это?

— Да Анну Андреевну. Очень-с. Такая благородная девица и при таком рассудке...

— Вот как. Что ж она, как теперь?

— Оне очень спокойны-с, очень.

— Она и всегда была спокойна.

— Всегда-с.

— Если вы с сплетнями, — вскричал я вдруг, не вытерпев, — то знайте, что я ни во что не мешаюсь, я решился бросить... всё, всех, мне всё равно — я уйду!..

Я замолчал, потому что опомнился. Мне унизительно стало как бы объяснять ей мои новые цели. Она же выслушала меня без удивления и без волнения, но последовал опять молчок. Вдруг она встала, подошла к дверям и выглянула в соседнюю комнату. Убедившись, что там нет никого и что мы одни, она преспокойно воротилась и села на прежнее место.

— Это вы хорошо! — засмеялся я вдруг.

— Вы вашу-то квартиру, у чиновников, за собой оставите-с? — спросила она вдруг, немного ко мне нагнувшись и понизив голос, точно это был самый главный вопрос, за которым она и пришла.

— Квартиру? Не знаю. Может, и съеду... Почем я знаю?

— А хозяева так очень ждут вас; чиновник тот в большом нетерпении и супруга его. Андрей Петрович удостоверил их, что вы наверно воротитесь.

— Да вам зачем?

— Анна Андреевна тоже желала узнать; очень были довольны, узнамши, что вы остаетесь.

— А она почему так наверно знает, что я на той квартире непременно останусь?

Я хотел было прибавить: «И зачем это ей?» — но удержался расспрашивать из гордости.

— Да и господин Ламберт то же самое им подтвердили.

— Что-о-о?

— Господин Ламберт-с. Они Андрею Петровичу тоже изо всех сил подтверждали, что вы останетесь, и Анну Андреевну в том удостоверили.

Меня как бы всего сотрясло. Что за чудеса! Так Ламберт уже знает Версилова, Ламберт проник до Версилова, — Ламберт и Анна Андреевна, — он проник и до нее! Жар охватил меня, но я промолчал. Страшный прилив гордости залил всю мою душу, гордости или не знаю чего. Но я как бы сказал себе вдруг в ту минуту: «Если спрошу хоть одно слово в объяснение, то опять ввяжусь в этот мир и никогда не порешу с ним». Ненависть загорелась в моем сердце. Я изо всех сил решился молчать и лежал неподвижно; она тоже примолкла на целую минуту.

— Что князь Николай Иванович? — спросил я вдруг, как бы потеряв рассудок. Дело в том, что я спросил решительно, чтобы перебить тему, и вновь, нечаянно, сделал самый капитальный вопрос, сам как сумасшедший возвращаясь опять в тот мир, из которого с такою судорогой только что решился бежать.

— Они в Царском Селе-с. Захворали немного, а в городе эти теперешние горячки пошли, все и посоветовали им переехать в Царское, в собственный ихний тамошний дом, для хорошего воздуху-с.

Я не ответил.

— Анна Андреевна и генеральша их каждые три дня навещают, вместе и ездят-с.

Анна Андреевна и генеральша (то есть *она*) — приятельницы! Вместе ездят! Я молчал.

— Так дружны они обе стали-с, и Анна Андреевна о Катерине Николаевне до того хорошо отзываются...

Я всё молчал.

— А Катерина Николаевна опять в свет «ударилась», праздник за праздником, совсем блистает; говорят, все даже придворные влюблены в нее... а с господином Бьорингом всё совсем оставили, и не бывать свадьбе; все про то утверждают... с того самого будто бы разу.

То есть с письма Версилова. Я весь задрожал, но не проговорил ни слова.

— Анна Андреевна уж как сожалеют про князя Сергея Петровича, и Катерина Николаевна тоже-с, и все про него говорят, что его оправдают, а того, Стебелькова, осудят...

Я ненавистно поглядел на нее. Она встала и вдруг нагнулась ко мне.

— Анна Андреевна особенно приказали узнать про ваше здоровье, — проговорила она совсем шепотом, — и очень приказали просить побывать к ней, только что вы выходить начнете. Прощайте-с. Выздоравливайте-с, а я так и скажу...

Она ушла. Я присел на кровати, холодный пот выступил у меня на лбу, но я чувствовал не испуг: непостижимое для меня и безобразное известие о Ламберте и его происках вовсе, например, не наполнило меня ужасом, судя по страху, может быть безотчетному, с которым я вспоминал и в болезни и в первые дни выздоровления о моей с ним встрече в тогдашнюю ночь. Напротив,

в то смутное первое мгновение на кровати, сейчас по уходе Настасьи Егоровны, я даже и не останавливался на Ламберте, но... меня захватила пуще всего весть о *ней*, о разрыве ее с Бьорингом и о счастье ее в свете, о праздниках, об успехе, о «блеске». «Блестят-с», — слышалось мне словцо Настасьи Егоровны. И я вдруг почувствовал, что не мог с моими силами отбиться от этого круговорота, хоть я и сумел скрепиться, молчать и не расспрашивать Настасью Егоровну после ее чудных рассказов! Непомерная жажда этой жизни, *их* жизнь захватила весь мой дух и... и еще какая-то другая сладостная жажда, которую я ощущал до счастья и до мучительной боли. Мысли же мои как-то вертелись, но я давал им вертеться. «Что тут рассуждать!» — чувствовалось мне. «Однако даже мама смолчала мне, что Ламберт приходил, — думал я бессвязными отрывками, — это Версилов велел молчать... Умру, а не спрошу Версилова о Ламберте!» — «Версилов, — мелькало у меня опять, — Версилов и Ламберт, о, сколько у них нового! Молодец Версилов! Напугал немца — Бьоринга, тем письмом; он оклеветал ее; la calomnie... il en reste toujours quelque chose,[1] и придворный немец испугался скандала — ха-ха... вот ей и урок!» — «Ламберт... уж не проник ли и к ней Ламберт? Еще бы! Отчего ж ей и с ним не „связаться“?»

Тут вдруг я бросил думать всю эту бессмыслицу и в отчаянии упал головой на подушку. «Да не будет же!» — воскликнул я с внезапною решимостью, вскочил с постели, надел туфли, халат и прямо отправился в комнату Макара Ивановича, точно там был отвод всем наваждениям, спасение, якорь, на котором я удержусь.

В самом деле, могло быть, что я эту мысль тогда почувствовал всеми силами моей души; для чего же иначе было мне тогда так неудержимо и вдруг вскочить с места и в таком нравственном состоянии кинуться к Макару Ивановичу?

III

Но у Макара Ивановича я, совсем не ожидая того, застал людей — маму и доктора. Так как я почему-то непременно представил себе, идя, что застану старика одного, как и вчера, то и остановился на пороге в тупом недоумении. Но не успел я нахмуриться, как тотчас же подошел и Версилов, а за ним вдруг и Лиза... Все, значит, собрались зачем-то у Макара Ивановича и «как раз когда не надо»!

— О здоровье вашем пришел узнать, — проговорил я, прямо подходя к Макару Ивановичу.

— Спасибо, милый, ждал тебя: знал, что придешь! Ночкой-то о тебе думал.

---

[1] клевета... от нее всегда что-нибудь да остается *(франц.)*.

Он ласково смотрел мне в глаза, и мне видимо было, что он меня чуть не лучше всех любит, но я мигом и невольно заметил, что лицо его хоть и было веселое, но что болезнь сделала-таки в ночь успехи. Доктор перед тем только что весьма серьезно осмотрел его. Я узнал потом, что этот доктор (вот тот самый молодой человек, с которым я поссорился и который с самого прибытия Макара Ивановича лечил его) весьма внимательно относился к пациенту и — не умею я только говорить их медицинским языком — предполагал в нем целое осложнение разных болезней. Макар Иванович, как я с первого взгляда заметил, состоял уже с ним в теснейших приятельских отношениях; мне это в тот же миг не понравилось; а впрочем, и я, конечно, был очень скверен в ту минуту.

— В самом деле, Александр Семенович, как сегодня наш дорогой больной? — осведомился Версилов. Если б я не был так потрясен, то мне первым делом было бы ужасно любопытно проследить и за отношениями Версилова к этому старику, о чем я уже вчера думал. Меня всего более поразило теперь чрезвычайно мягкое и приятное выражение в лице Версилова; в нем было что-то совершенно искреннее. Я как-то уж заметил, кажется, что у Версилова лицо становилось удивительно прекрасным, когда он чуть-чуть только становился простодушным.

— Да вот мы всё ссоримся, — ответил доктор.

— С Макаром-то Ивановичем? Не поверю: с ним нельзя ссориться.

— Да не слушается; по ночам не спит...

— Да перестань уж ты, Александр Семенович, полно браниться, — рассмеялся Макар Иванович. — Ну что, батюшка, Андрей Петрович, как с нашей барышней поступили? Вот она целое утро клокчет, беспокоится, — прибавил он, показывая на маму.

— Ах, Андрей Петрович, — воскликнула действительно с чрезвычайным беспокойством мама, — расскажи уж поскорей, не томи: чем ее, бедную, порешили?

— Осудили нашу барышню!

— Ах! — вскрикнула мама.

— Да не в Сибирь, успокойся — к пятнадцати рублям штрафу всего; комедия вышла!

Он сел, сел и доктор. Это они говорили про Татьяну Павловну, и я еще совсем не знал ничего об этой истории. Я сидел налево от Макара Ивановича, а Лиза уселась напротив меня направо; у ней, видимо, было какое-то свое, особое сегодняшнее горе, с которым она и пришла к маме; выражение лица ее было беспокойное и раздраженное. В ту минуту мы как-то переглянулись, и я вдруг подумал про себя: «Оба мы опозоренные, и мне надо сделать к ней первый шаг». Сердце мое вдруг к ней смягчилось. Версилов между тем начал рассказывать об утрешнем приключении.

Дело в том, что у Татьяны Павловны был в то утро в мировом суде процесс с ее кухаркою. Дело в высшей степени пустое; я упоминал уже о том, что злобная чухонка иногда, озлясь, молчала даже по неделям, не отвечая ни слова своей барыне на ее вопросы; упоминал тоже и о слабости к ней Татьяны Павловны, всё от нее переносившей и ни за что не хотевшей прогнать ее раз навсегда. Все эти психологические капризы старых дев и барынь, на мои глаза, в высшей степени достойны презрения, а отнюдь не внимания, и если я решаюсь упомянуть здесь об этой истории, то единственно потому, что этой кухарке потом, в дальнейшем течении моего рассказа, суждено сыграть некоторую немалую и роковую роль. И вот, выйдя наконец из терпения перед упрямой чухонкой, не отвечавшей ей ничего уже несколько дней, Татьяна Павловна вдруг ее наконец ударила, чего прежде никогда не случалось. Чухонка и тут не произнесла даже ни малейшего звука, но в тот же день вошла в сообщение с жившим по той же черной лестнице, где-то в углу внизу, отставным мичманом Осетровым, занимавшимся хождением по разного рода делам и, разумеется, возбуждением подобного рода дел в судах, из борьбы за существование. Кончилось тем, что Татьяну Павловну позвали к мировому судье, а Версилову пришлось почему-то показывать при разбирательстве дела в качестве свидетеля.

Рассказал это всё Версилов необыкновенно весело и шутливо, так что даже мама рассмеялась; он представил в лицах и Татьяну Павловну, и мичмана, и кухарку. Кухарка с самого начала объявила суду, что хочет штраф деньгами, «а то барыню как посадят, кому ж я готовить-то буду?» На вопросы судьи Татьяна Павловна отвечала с великим высокомерием, не удостоивая даже оправдываться; напротив, заключила словами: «Прибила и еще прибью», за что немедленно была оштрафована за дерзкие ответы суду тремя рублями. Мичман, долговязый и худощавый молодой человек, начал было длинную речь в защиту своей клиентки, но позорно сбился и насмешил всю залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Павловну присудили заплатить обиженной Марье пятнадцать рублей. Та, не откладывая, тут же вынула портмоне и стала отдавать деньги, причем тотчас подвернулся мичман и протянул было руку получить, но Татьяна Павловна почти ударом отбила его руку в сторону и обратилась к Марье. «Полноте, барыня, стопт беспокоиться, припишите-с к счету, а я уж с этим сама расплачусь». — «Видишь, Марья, какого долговязого взяла себе!» — показала Татьяна Павловна на мичмана, страшно обрадовавшись, что Марья наконец заговорила. «А уж и впрямь долговязый, барыня, — лукаво ответила Марья, — котлетки-то с горошком сегодня приказывали, давеча недослышала, сюда торопилась?» — «Ах нет, с капустой, Марья, да, пожалуйста, не сожги, как вчера». — «Да уж постараюсь сегодня особо, сударыня; пожалуйте ручку-с», — и поцеловала в знак примирения барыне ручку. Одним словом, развеселила всю залу.

— Экая ведь какая! — покачала головой мама, очень довольная и сведением и рассказом Андрея Петровича, но украдкой с беспокойством поглядывая на Лизу.

— Характерная барышня сызмлада была, — усмехнулся Макар Иванович.

— Желчь и праздность, — отозвался доктор.

— Это я-то характерная, это я-то желчь и праздность? — вошла вдруг к нам Татьяна Павловна, по-видимому очень довольная собой, — уж тебе-то, Александр Семенович, не говорить бы вздору; еще десяти лет от роду был, меня знал, какова я праздная, а от желчи сам целый год лечишь, вылечить не можешь, так это тебе же в стыд. Ну, довольно вам надо мной издеваться; спасибо, Андрей Петрович, что потрудился в суд прийти. Ну, что ты, Макарушка, тебя только и зашла проведать, не этого (она указала на меня, но тут же дружелюбно ударила меня по плечу рукой; я никогда еще не видывал ее в таком веселейшем расположении духа).

— Ну, что? — заключила она, вдруг обратившись к доктору и озабоченно нахмурившись.

— Да вот не хочет лечь в постель, а так, сидя, только себя изнуряет.

— Да я только так посижу маненько, с людьми-то, — пробормотал Макар Иванович с просящим, как у ребенка, лицом.

— Да уж любим мы это, любим; любим в кружкé поболтать, когда около нас соберутся; знаю Макарушку, — сказала Татьяна Павловна.

— Да и прыткий, ух какой, — улыбнулся опять старик, обращаясь к доктору, — и в речь не даешься; ты погоди, дай сказать: лягу, голубчик, слышал, а по-нашему это вот что: «Коли ляжешь, так, пожалуй, уж и не встанешь», — вот что, друг, у меня за хребтом стоит.

— Ну да, так я и знал, народные предрассудки: «лягу, дескать, да, чего доброго, уж и не встану» — вот чего очень часто боятся в народе и предпочитают лучше проходить болезнь на ногах, чем лечь в больницу. А вас, Макар Иванович, просто тоска берет, тоска по волюшке да по большой дорожке — вот и вся болезнь; отвыкли подолгу на месте жить. Ведь вы — так называемый странник? Ну, а бродяжество в нашем народе почти обращается в страсть. Это я не раз заметил за народом. Наш народ — бродяга по преимуществу.

— Так Макар — бродяга, по-твоему? — подхватила Татьяна Павловна.

— О, я не в том смысле; я употребил слово в его общем смысле. Ну, там религиозный бродяга, ну, набожный, а все-таки бродяга. В хорошем, почтенном смысле, но бродяга... Я с медицинской точки...

— Уверяю вас, — обратился я вдруг к доктору, — что бродяги — скорее мы с вами, и все, сколько здесь ни есть, а не этот

старик, у которого нам с вами еще поучиться, потому что у него есть твердое в жизни, а у нас, сколько нас ни есть, ничего твердого в жизни... Впрочем, где вам это понять.

Я, видно, резко проговорил, но я с тем и пришел. Я, собственно, не знаю, для чего продолжал сидеть, и был как в безумии.

— Ты чего? — подозрительно глянула на меня Татьяна Павловна, — что, ты как его нашел, Макар Иванович? — указала она на меня пальцем.

— Благослови его бог, востер, — проговорил старик с серьезным видом; но при слове «востер» почти все рассмеялись. Я кое-как скрепился; всех же пуще смеялся доктор. Довольно худо было то, что я не знал тогда об их предварительном уговоре. Версилов, доктор и Татьяна Павловна еще дня за три уговорились всеми силами отвлекать маму от дурных предчувствий и опасений за Макара Ивановича, который был гораздо больнее и безнадежнее, чем я тогда подозревал. Вот почему все шутили и старались смеяться. Только доктор был глуп и, естественно, не умел шутить: оттого всё потом и вышло. Если б я тоже знал об их уговоре, то не наделал бы того, что вышло. Лиза тоже ничего не знала.

Я сидел и слушал краем уха; они говорили и смеялись, а у меня в голове была Настасья Егоровна с ее известиями, и я не мог от нее отмахнуться; мне всё представлялось, как она сидит и смотрит, осторожно встает и заглядывает в другую комнату. Наконец они все вдруг рассмеялись: Татьяна Павловна, совсем не знаю по какому поводу, вдруг назвала доктора безбожником: «Ну уж все вы, докторишки — безбожники!..»

— Макар Иванович! — вскричал доктор, преглупо притворяясь, что обижен и ищет суда, — безбожник я или нет?

— Ты-то безбожник? Нет, ты — не безбожник, — степенно ответил старик, пристально посмотрев на него, — нет, слава богу! — покачал он головой, — ты — человек веселый.

— А кто веселый, тот уж не безбожник? — иронически заметил доктор.

— Это в своем роде — мысль, — заметил Версилов, но совсем не смеясь.

— Это — сильная мысль! — воскликнул я невольно, поразившись идеей. Доктор же оглядывался вопросительно.

— Ученых людей этих, профессоров этих самых (вероятно, перед тем говорили что-нибудь о профессорах), — начал Макар Иванович, слегка потупившись, — я сначала ух боялся: не смел я пред ними, ибо паче всего опасался безбожника. Душа во мне, мыслю, едина; ежели ее погублю, то сыскать другой не могу; ну а потом ободрился: «Что же, думаю, не боги же они, а такие, как и мы, подобострастные нам, человеки». Да и любопытство было большое: «Узнаю, что, мол, есть такое безбожие?» Только, друг, потом и самое любопытство это прошло.

Он примолк, но намереваясь продолжать всё с тою же тихою и степенною улыбкою. Есть простодушие, которое доверяется всем

и каждому, не подозревая насмешки. Такие люди всегда ограниченны, ибо готовы выложить из сердца всё самое драгоценное пред первым встречным. Но в Макаре Ивановиче, мне казалось, было что-то другое и что-то другое движет его говорить, а не одна только невинность простодушия: как бы выглядывал пропагандист. Я с удовольствием поймал некоторую, как бы даже лукавую усмешку, обращенную им к доктору, а может быть, и к Версилову. Разговор был, очевидно, продолжением их прежних споров за неделю; но в нем, к несчастью, проскочило опять то самое роковое словцо, которое так наэлектризовало меня вчера и свело меня на одну выходку, о которой я до сих пор сожалею.

— Безбожника человека, — сосредоточенно продолжал старик, — я, может, и теперь побоюсь; только вот что, друг Александр Семенович: безбожника-то я совсем не стречал ни разу, а стречал заместо его суетливого — вот как лучше объявить его надо. Всякие это люди; не сообразишь, какие люди; и большие и малые, и глупые и ученые, и даже из самого простого звания бывают, и всё суета. Ибо читают и толкуют весь свой век, насытившись сладости книжной, а сами всё в недоумении пребывают и ничего разрешить не могут. Иной весь раскидался, самого себя перестал замечать. Иной паче камене ожесточен, а в сердце его бродят мечты; а другой бесчувствен и легкомыслен и лишь бы ему насмешку свою отсмеять. Иной из книг выбрал одни лишь цветочки, да и то по своему мнению; сам же суетлив и в нем предрешения нет. Вот что скажу опять: скуки много. Малый человек и нуждается, хлебца нет, ребяток сохранить нечем, на вострой соломке спит, а всё в нем сердце веселое, легкое; и грешит и грубит, а всё сердце легкое. А большой человек опивается, объедается, на золотой куче сидит, а всё в сердце у него одна тоска. Иной все науки прошел — и всё тоска. И мыслю так, что чем больше ума прибывает, тем больше и скуки. Да и то взять: учат с тех пор, как мир стоит, а чему же они научили доброму, чтобы мир был самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище? И еще скажу: благообразия не имеют, даже не хотят сего; все погибли, и только каждый хвалит свою погибель, а обратиться к единой истине не помыслит; а жить без бога — одна лишь мука. И выходит, что чем освещаемся, то самое и проклинаем, а и сами того не ведаем. Да и что толку: невозможно и быть человеку, чтобы не преклониться; не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И бога отвергнет, так идолу поклонится — деревянному, али златому, аль мысленному. Идолопоклонники это всё, а не безбожники, вот как объявить их следует. Ну, а и безбожнику как же быть? Есть такие, что и впрямь безбожники, только те много пострашней этих будут, потому что с именем божиим на устах приходят. Слышал неоднократно, но не стречал я их вовсе. Есть, друг, такие, и так думаю, что и должны быть они.

— Есть, Макар Иванович, — вдруг подтвердил Версилов, — есть такие и «должны быть они».

— Непременно есть и «должны быть они»! — вырвалось у меня неудержимо и с жаром, не знаю почему; но меня увлек тон Версилова и пленила как бы какая-то идея в слове «должны быть они». Разговор этот был для меня совсем неожиданностью. Но в эту минуту вдруг случилось нечто тоже совсем неожиданное.

IV

День был чрезвычайно ясный; стору у Макара Ивановича не поднимали обыкновенно во весь день, по приказанию доктора; но на окне была не стора, а занавеска, так что самый верх окна был все-таки не закрыт; это потому, что старик тяготился, не видя совсем, при прежней сторе, солнца. И вот как раз мы досидели до того момента, когда солнечный луч вдруг прямо ударил в лицо Макара Ивановича. За разговором он не обратил сначала внимания, но машинально, во время речи, несколько раз отклонял в сторону голову, потому что яркий луч сильно беспокоил и раздражал его больные глаза. Мама, стоявшая подле него, уже несколько раз взглядывала на окно с беспокойством; просто надо бы было чем-нибудь заслонить окно совсем, но, чтоб не помешать разговору, она вздумала попробовать оттащить скамеечку, на которой сидел Макар Иванович, вправо в сторону: всего-то надо было подвинуть вершка на три, много на четверть. Она уже несколько раз наклонялась и схватывалась за скамейку, но оттащить не могла; скамейка, с сидящим на ней Макаром Ивановичем, не трогалась. Чувствуя ее усилия, но в жару разговора, совсем бессознательно, Макар Иванович несколько раз пробовал было приподняться, но ноги его не слушались. Мама, однако, все-таки продолжала напрягаться и дергать, и вот наконец всё это ужасно озлило Лизу. Мне запомнилось несколько ее сверкающих, раздраженных взглядов, но только я, в первое мгновение, не знал, чему приписать их, да вдобавок был отвлечен разговором. И вот вдруг резко послышался ее почти окрик на Макара Ивановича:

— Да приподымитесь хоть немножко: видите, как трудно маме!

Старик быстро взглянул на нее, разом вникнул и мигом поспешил было приподняться, но ничего не вышло: приподнялся вершка на два и опять упал на скамейку.

— Не могу, голубчик, — ответил он как бы жалобно Лизе, и как-то весь послушно смотря на нее.

— Рассказывать по целой книге можете, а пошевелиться не в силах?

— Лиза! — крикнула было Татьяна Павловна. Макар Иванович опять сделал чрезвычайное усилие.

— Возьмите костыль, подле лежит, с костылем приподыметесь! — еще раз отрезала Лиза.

— А и впрямь, — сказал старик и тотчас же поспешно схватился за костыль.

— Просто надо приподнять его! — встал Версилов; двинулся и доктор, вскочила и Татьяна Павловна, но они не успели и подойти, как Макар Иванович, изо всех сил опершись на костыль, вдруг приподнялся и с радостным торжеством стал на месте, озираясь кругом.

— А и поднялся! — проговорил он чуть не с гордостью, радостно усмехаясь, — вот и спасибо, милая, научила уму, а я-то думал, что совсем уж не служат ноженьки...

Но он простоял недолго, не успел и проговорить, как вдруг костыль его, на который он упирался всею тяжестью тела, как-то скользнул по ковру, и так как «ноженьки» почти совсем не держали его, то и грохнулся он со всей высоты на пол. Это почти ужасно было видеть, я помню. Все ахнули и бросились его поднимать, но, слава богу, он не разбился; он только грузно, со звуком, стукнулся об пол обоими коленями, но успел-таки уставить перед собою правую руку и на ней удержаться. Его подняли и посадили на кровать. Он очень побледнел, не от испуга, а от сотрясения. (Доктор находил в нем, сверх всего другого, и болезнь сердца.) Мама же была вне себя от испуга. И вдруг Макар Иванович, всё еще бледный, с трясущимся телом и как бы еще не опомнившись, повернулся к Лизе и почти нежным, тихим голосом проговорил ей:

— Нет, милая, знать и впрямь не стоят ноженьки!

Не могу выразить моего тогдашнего впечатления. Дело в том, что в словах бедного старика не прозвучало ни малейшей жалобы или укора; напротив, прямо видно было, что он решительно не заметил, с самого начала, ничего злобного в словах Лизы, а окрик ее на себя принял как за нечто должное, то есть что так и следовало его «распечь» за вину его. Всё это ужасно подействовало и на Лизу. В минуту падения она вскочила, как и все, и стояла, вся помертвев и, конечно, страдая, потому что была всему причиною, но услышав такие слова, она вдруг, почти в мгновение, вся вспыхнула краской стыда и раскаяния.

— Довольно! — скомандовала вдруг Татьяна Павловна, — всё от разговоров! Пора по местам; чему быть доброму, когда сам доктор болтовню завел!

— Именно, — подхватил Александр Семенович, суетившийся около больного. — Виноват, Татьяна Павловна, ему надо покой!

Но Татьяна Павловна не слушала: она с полминуты молча и в упор наблюдала Лизу.

— Поди сюда, Лиза, и поцелуй меня, старую дуру, если только хочешь, — проговорила она неожиданно.

И она поцеловала ее, не знаю за что, но именно так надо было сделать; так что я чуть не бросился сам целовать Татьяну Павловну. Именно не давить надо было Лизу укором, а встретить радостью и поздравлением новое прекрасное чувство, которое несомненно должно было в ней зародиться. Но, вместо всех этих чувств, я вдруг встал и начал, твердо отчеканивая слова:

— Макар Иванович, вы опять употребили слово «благообразие», а я как раз вчера и все дни этим словом мучился... да и всю жизнь мою мучился, только прежде не знал о чем. Это совпадение слов я считаю роковым, почти чудесным... Объявляю это в вашем присутствии...

Но меня мигом остановили. Повторяю: я не знал об их уговоре насчет мамы и Макара Ивановича; меня же по прежним делам, уж конечно, они считали способным на всякий скандал в этом роде.

— Унять, унять его! — озверела совсем Татьяна Павловна. Мама затрепетала. Макар Иванович, видя всеобщий испуг, тоже испугался.

— Аркадий, полно! — строго крикнул Версилов.

— Для меня, господа, — возвысил я еще пуще голос, — для меня видеть вас всех подле этого младенца (я указал на Макара) — есть безобразие. Тут одна лишь святая — это мама, но и она...

— Вы его испугаете! — настойчиво проговорил доктор.

— Я знаю, что я — враг всему миру, — пролепетал было я (или что-то в этом роде), но, оглянувшись еще раз, я с вызовом посмотрел на Версилова.

— Аркадий! — крикнул он опять, — такая же точно сцена уже была однажды здесь между нами. Умоляю тебя, воздержись теперь!

Не могу выразить того, с каким сильным чувством он выговорил это. Чрезвычайная грусть, искренняя, полнейшая, выразилась в чертах его. Удивительнее всего было то, что он смотрел как виноватый: я был судья, а он — преступник. Всё это доконало меня.

— Да! — вскричал я ему в ответ, — такая же точно сцена уже была, когда я хоронил Версилова и вырывал его из сердца... Но затем последовало воскресение из мертвых, а теперь... теперь уже без рассвета! но... но вы увидите все здесь, на что я способен! даже и не ожидаете того, что я могу доказать!

Сказав это, я бросился в мою комнату. Версилов побежал за мной...

V

Со мной случился рецидив болезни; произошел сильнейший лихорадочный припадок, а к ночи бред. Но не всё был бред: были бесчисленные сны, целой вереницей и без меры, из которых один сон или отрывок сна я на всю жизнь запомнил. Сообщаю без всяких объяснений; это было пророчество, и пропустить не могу.

Я вдруг очутился, с каким-то великим и гордым намерением в сердце, в большой и высокой комнате; но не у Татьяны Павловны: я очень хорошо помню комнату; замечаю это, забегая вперед. Но хотя я и один, но беспрерывно чувствую, с беспокойством и мукой, что я совсем не один, что меня ждут и что ждут от меня

чего-то. Где-то за дверями сидят люди и ждут того, что я сделаю. Ощущение нестерпимое: «О, если б я был один!» И вдруг входит *она*. Она смотрит робко, она ужасно боится, она засматривает в мои глаза. *В руках моих документ.* Она улыбается, чтоб пленить меня, она ластится ко мне; мне жалко, но я начинаю чувствовать отвращение. Вдруг она закрывает лицо руками. Я бросаю «документ» на стол в невыразимом презрении: «Не просите, нате, мне от вас ничего не надо! Мщу за все мое поругание презрением!» Я выхожу из комнаты, захлебываясь от непомерной гордости. Но в дверях, в темноте, схватывает меня Ламберт: «Духгак, духгак! — шепчет он, изо всех сил удерживая меня за руку, — она на Васильевском острове благородный пансион для девчонок должна открывать» (NB то есть чтоб прокормиться, если отец, узнав от меня про документ, лишит ее наследства и прогонит из дому. Я вписываю слова Ламберта буквально, как приснились).

«Аркадий Макарович ищет „благообразия“», — слышится голосок Анны Андреевны, где-то подле, тут же на лестнице; но не похвала, а нестерпимая насмешка прозвучала в ее словах. Я возвращаюсь в комнату с Ламбертом. Но, увидев Ламберта, *она* вдруг начинает хохотать. Первое впечатление мое — страшный испуг, такой испуг, что я останавливаюсь и не хочу подходить. Я смотрю на нее и не верю; точно она вдруг сняла маску с лица: те же черты, но как будто каждая черточка лица исказилась непомерною наглостью. «Выкуп, барыня, выкуп!» — кричит Ламберт, и оба еще пуще хохочут, а сердце мое замирает: «О, неужели эта бесстыжая женщина — та самая, от одного взгляда которой кипело добродетелью мое сердце?»

«Вот на что они способны, эти гордецы, в ихнем высшем свете, за деньги!» — восклицает Ламберт. Но бесстыдница не смущается даже этим; она хохочет именно над тем, что я так испуган. О, она готова на выкуп, это я вижу и... и что со мной? Я уже не чувствую ни жалости, ни омерзения; я дрожу, как никогда... Меня охватывает новое чувство, невыразимое, которого я еще вовсе не знал никогда, и сильное, как весь мир... О, я уже не в силах уйти теперь ни за что! О, как мне нравится, что это так бесстыдно! Я схватываю ее за руки, прикосновение рук ее мучительно сотрясает меня, и я приближаю мои губы к ее наглым, алым, дрожащим от смеха и зовущим меня губам.

О, прочь это низкое воспоминание! Проклятый сон! Клянусь, что до этого мерзостного сна не было в моем уме даже хоть чего-нибудь похожего на эту позорную мысль! Даже невольной какой-нибудь в этом роде мечты не было (хотя я и хранил «документ» зашитым в кармане и хватался иногда за карман с странной усмешкой). Откудова же это всё явилось совсем готовое? Это оттого, что во мне была душа паука! Это значит, что всё уже давно зародилось и лежало в развратном сердце моем, в *желании* моем лежало, но сердце еще стыдилось наяву, и ум не смел еще представить что-нибудь подобное сознательно. А во сне душа сама всё представила

и выложила, что было в сердце, в совершенной точности и в самой полной картине и — в пророческой форме. И неужели *это* я им хотел *доказать*, выбегая поутру от Макара Ивановича? Но довольно: до времени ничего об этом! Этот сон, мне приснившийся, есть одно из самых странных приключений моей жизни.

Глава третья

I

Через три дня я встал поутру с постели и вдруг почувствовал, ступив на ноги, что больше не слягу. Я всецело ощутил близость выздоровления. Все эти маленькие подробности, может быть, и не стоило бы вписывать, но тогда наступило несколько дней, в которые хотя и не произошло ничего особенного, но которые все остались в моей памяти как нечто отрадное и спокойное, а это — редкость в моих воспоминаниях. Душевного состояния моего не буду пока формулировать; если б читатель узнал, в чем оно состояло, то конечно бы не поверил. Лучше потом всё объяснится из фактов. А пока лишь скажу одно: пусть читатель помнит *душу паука*. И это у того, который хотел уйти от них и от всего света во имя «благообразия»! Жажда благообразия была в высшей мере, и уж конечно так, но каким образом она могла сочетаться с другими, уж бог знает какими, жаждами — это для меня тайна. Да и всегда было тайною, и я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и всё совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость — вот вопрос!

Но оставим. Так или этак, а наступило затишье. Я просто понял, что выздороветь надо во что бы ни стало и как можно скорее, чтобы как можно скорее начать действовать, а потому решился жить гигиенически и слушаясь доктора (кто бы он ни был), а бурные намерения, с чрезвычайным благоразумием (плод широкости), отложил до дня выхода, то есть до выздоровления. Каким образом могли сочетаться все мирные впечатления и наслаждения затишьем с мучительно сладкими и тревожными биениями сердца при предчувствии близких бурных решений — не знаю, но всё опять отношу к «широкости». Но прежнего недавнего беспокойства во мне уже не было; я отложил всё до срока, уже не трепеща перед будущим, как еще недавно, но как богач, уверенный в своих средствах и силах. Надменности и вызова ожидавшей меня судьбе прибывало всё больше и больше, и отчасти, полагаю, от действительного уже выздоровления и от быстро возвращавшихся жизненных сил. Вот эти-то несколько дней окончательного и даже действительного выздоровления я и вспоминаю теперь с полным удовольствием.

О, они мне всё простили, то есть ту выходку, и это — те самые люди, которых я в глаза обозвал безобразными! Это я люблю в людях, это я называю умом сердца; по крайней мере это меня тотчас же привлекало, разумеется до известной меры. С Версиловым, например, мы продолжали говорить, как самые добрые знакомые, но до известной меры: чуть слишком проскакивала экспансивность (а она проскакивала), и мы тотчас же сдерживались оба, как бы капельку стыдясь чего-то. Есть случаи, в которых победитель не может не стыдиться своего побежденного, и именно за то, что одержал над ним верх. Победитель был очевидно — я; я и стыдился.

В то утро, то есть когда я встал с постели после рецидива болезни, он зашел ко мне, и тут я в первый раз узнал от него об их общем тогдашнем соглашении насчет мамы и Макара Ивановича; причем он заметил, что хоть старику и легче, но доктор за него положительно не отвечает. Я от всего сердца дал ему и мое обещание вести себя впредь осторожнее. Когда Версилов передавал мне всё это, я, в первый раз тогда, вдруг заметил, что он и сам чрезвычайно искренно занят этим стариком, то есть гораздо более, чем я бы мог ожидать от человека, как он, и что он смотрит на него как на существо, ему и самому почему-то особенно дорогое, а не из-за одной только мамы. Меня это сразу заинтересовало, почти удивило, и, признаюсь, без Версилова я бы многое пропустил без внимания и не оценил в этом старике, оставившем одно из самых прочных и оригинальных воспоминаний в моем сердце.

Версилов как бы боялся за мои отношения к Макару Ивановичу, то есть не доверял ни моему уму, ни такту, а потому чрезвычайно был доволен потом, когда разглядел, что и я умею иногда понять, как надо отнестись к человеку совершенно иных понятий и воззрений, одним словом, умею быть, когда надо, и уступчивым и широким. Признаюсь тоже (не унижая себя, я думаю), что в этом существе из народа я нашел и нечто совершенно для меня новое относительно иных чувств и воззрений, нечто мне не известное, нечто гораздо более ясное и утешительное, чем как я сам понимал эти вещи прежде. Тем не менее возможности не было не выходить иногда просто из себя от иных решительных предрассудков, которым он веровал с самым возмутительным спокойствием и непоколебимостью. Но тут, конечно, виною была лишь его необразованность; душа же его была довольно хорошо организована, и так даже, что я не встречал еще в людях ничего лучшего в этом роде.

II

Прежде всего привлекало в нем, как я уже и заметил выше, его чрезвычайное чистосердечие и отсутствие малейшего самолюбия; предчувствовалось почти безгрешное сердце. Было «веселие»

сердца, а потому и «благообразие». Словцо «веселие» он очень любил и часто употреблял. Правда, находила иногда на него какая-то как бы болезненная восторженность, какая-то как бы болезненность умиления, — отчасти, полагаю, и оттого, что лихорадка, по-настоящему говоря, не покидала его во всё время; но благообразию это не мешало. Были и контрасты: рядом с удивительным простодушием, иногда совершенно не примечавшим иронии (часто к досаде моей), уживалась в нем и какая-то хитрая тонкость, всего чаще в полемических сшибках. А полемику он любил, но иногда лишь и своеобразно. Видно было, что он много исходил по России, много переслушал, но, повторяю, больше всего он любил умиление, а потому и всё на него наводящее, да и сам любил рассказывать умилительные вещи. Вообще рассказывать очень любил. Много я от него переслушал и о собственных его странствиях, и разных легенд из жизни самых древнейших «подвижников». Незнаком я с этим, но думаю, что он много перевирал из этих легенд, усвоив их большею частью из изустных же рассказов простонародья. Просто невозможно было допустить иных вещей. Но рядом с очевидными переделками или просто с враньем всегда мелькало какое-то удивительное целое, полное народного чувства и всегда умилительное... Я запомнил, например, из этих рассказов один длинный рассказ — «Житие Марии Египетской». О «житии» этом, да почти и о всех подобных, я не имел до того времени никакого понятия. Я прямо говорю: это почти нельзя было вынести без слез, и не от умиления, а от какого-то странного восторга: чувствовалось что-то необычайное и горячее, как та раскаленная песчаная степь со львами, в которой скиталась святая. Впрочем, об этом я не хочу говорить, да и не компетентен.

Кроме умиления, нравились мне в нем и некоторые чрезвычайно оригинальные иногда воззрения на некоторые весьма еще спорные вещи в современной действительности. Рассказывал он раз, например, одну недавнюю историю об одном отпускном солдате; этого происшествия он почти был свидетелем. Воротился один солдат на родину со службы, опять к мужикам, и не понравилось ему жить опять с мужиками, да и сам он мужикам не понравился. Сбился человек, запил и ограбил где-то и кого-то; улик крепких не было, но схватили, однако, и стали судить. В суде адвокат совсем уже было его оправдал — нет улик, да и только, как вдруг тот слушал-слушал, да вдруг встал и перервал адвоката: «Нет, ты постой говорить», да всё и рассказал, «до последней соринки»; повинился во всем, с плачем и с раскаяньем. Присяжные пошли, заперлись судить, да вдруг все и выходят: «Нет, не виновен». Все закричали, зарадовались, а солдат, как стоял, так ни с места, точно в столб обратился, не понимает ничего; не понял ничего и из того, что председатель сказал ему в увещание, отпуская на волю. Пошел солдат опять на волю и всё не верит себе. Стал тосковать, задумался, не ест не пьет, с людьми не говорит, а на

пятый день взял да и повесился. «Вот каково с грехом-то на душе жить!» — заключил Макар Иванович. Рассказ этот, конечно, пустой, и таких бездна теперь во всех газетах, но мне понравился в нем тон, а пуше всего иные словечки, решительно с новою мыслью. Говоря, например, о том, как солдат, возвратясь в деревню, не понравился мужикам, Макар Иванович выразился: «А солдат известно что: солдат — „*мужик порченый*“». Говоря потом об адвокате, чуть не выигравшем дело, он тоже выразился: «А адвокат известно что: адвокат — „*нанятая совесть*“». Оба эти выражения он высказал, совсем не трудясь над ними и себе неприметно, а меж тем в этих двух выражениях — целое особое воззрение на оба предмета, и хоть, уж конечно, не всего народа, так все-таки Макар Ивановичево, собственное и не заимствованное! Эти предрешения в народе насчет иных тем поистине иногда чудесны по своей оригинальности.

— А как вы, Макар Иванович, смотрите на грех самоубийства? — спросил я его по тому же поводу.

— Самоубийство есть самый великий грех человеческий, — ответил он, вздохнув, — но судья тут — един лишь господь, ибо ему лишь известно всё, всякий предел и всякая мера. Нам же беспременно надо молиться о таковом грешнике. Каждый раз, как услышишь о таковом грехе, то, отходя ко сну, помолись за сего грешника умиленно; хотя бы только воздохни о нем к богу; даже хотя бы ты и не знал его вовсе, — тем доходнее твоя молитва будет о нем.

— А поможет ему молитва моя, коли он уже осужден?

— А почем ты знаешь? Многие, ох многие не веруют и оглушают сим людей несведущих; ты же не слушай, ибо сами не знают, куда бредут. Молитва за осужденного от живущего еще человека воистину доходит. Так каково же тому, за кого совсем некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончании и прибавь: «Помилуй, господи Иисусе, и всех тех, за кого некому помолиться». Вельми доходна молитва сия и приятна. Тоже и о всех грешниках, еще живущих: «Господи, иже сам веси судьбами спаси всех нераскаянных», — это тоже молитва хорошая.

Я обещал ему, что помолюсь, чувствуя, что обещанием этим доставлю ему чрезмерное удовольствие. И действительно, радость засияла в его лице; но спешу прибавить, что в подобных случаях он никогда не относился ко мне свысока, то есть вроде как бы старец к какому-нибудь подростку; напротив, весьма часто любил самого меня слушать, даже заслушивался, на разные темы, полагая, что имеет дело, хоть и с «вьюношем», как он выражался в высоком слоге (он очень хорошо знал, что надо выговаривать «юноша», а не «вьюнош»), но понимая вместе и то, что этот «вьюнош» безмерно выше его по образованию. Любил он, например, очень часто говорить о пустынножительстве и ставил «пустыню» несравненно выше «странствий». Я горячо возражал ему, напирая на

эгоизм этих людей, бросающих мир и пользу, которую бы могли принести человечеству, единственно для эгоистической идеи своего спасения. Он сначала не понимал, подозреваю даже, что и совсем не понял; но пустыню очень защищал: «Сначала жалко себя, конечно (то есть когда поселишься в пустыне), — ну а потом каждый день всё больше радуешься, а потом уже и бога узришь». Тут я развил перед ним полную картину полезной деятельности ученого, медика или вообще друга человечества в мире и привел его в сущий восторг, потому что и сам говорил горячо; он поминутно поддакивал мне: «Так, милый, так, благослови тебя бог, по истине мыслишь»; но когда я кончил, он все-таки не совсем согласился: «Так-то оно так, — вздохнул он глубоко, — да много ли таких, что выдержат и не развлекутся? Деньги хоть не бог, а всё же полбога — великое искушение; а тут и женский пол, а тут и самомнение и зависть. Вот дело-то великое и забудут, а займутся маленьким. То ли в пустыне? В пустыне человек укрепляет себя даже на всякий подвиг. Друг! Да и что в мире? — воскликнул он с чрезмерным чувством. — Не одна ли токмо мечта? Возьми песочку да посей на камушке; когда желт песочек у тебя на камушке том взойдет, тогда и мечта твоя в мире сбудется, — вот как у нас говорится. То ли у Христа: „Поди и раздай твое богатство и стань всем слуга“. И станешь богат паче прежнего в бессчетно раз; ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бессчетно любовью. Уж не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь! Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил! Ныне не в редкость, что и самый богатый и знатный к числу дней своих равнодушен, и сам уж не знает, какую забаву выдумать; тогда же дни и часы твои умножатся как бы в тысячу раз, ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую в веселии сердца ощутишь. Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг токмо, а будешь с самим богом лицом к лицу; и воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай...»

Вот эти-то восторженные выходки чрезвычайно, кажется, любил Версилов. В этот раз он тут же был в комнате.

— Макар Иванович! — прервал я его вдруг, сам разгорячась без всякой меры (я помню тот вечер), — да ведь вы коммунизм, решительный коммунизм, коли так, проповедуете!

И так как он решительно ничего не знал про коммунистическое учение, да и самое слово в первый раз услыхал, то я тут же стал ему излагать всё, что знал на эту тему. Признаюсь, я знал мало и сбивчиво, да и теперь не совсем компетентен; но что знал, то изложил с величайшим жаром, несмотря ни на что. До сих пор вспоминаю с удовольствием о чрезвычайном впечатлении, которое я произвел на старика. Это было даже не впечатление, а почти по-

трясение. При сем он страшно интересовался историческими подробностями: «Где? Как? Кто устроил? Кто сказал?» Кстати, я заметил, что это — вообще свойство простонародья: он не удовольствуется общей идеей, если очень заинтересуется, но непременно начнет требовать самых твердых и точных подробностей. Я таки в подробностях сбивался, и так как тут был Версилов, то немного стыдился его, а оттого еще пуще горячился. Кончилось тем, что Макар Иванович, в умилении, под конец только повторял к каждому слову: «Так, так!», но уже видимо не понимая и потеряв нитку. Мне стало досадно, но Версилов вдруг прервал разговор, встал и объявил, что пора идти спать. Мы тогда все были в сборе, и было поздно. Когда он через несколько минут заглянул в мою комнату, я тотчас спросил его: как он глядит на Макара Ивановича вообще и что он об нем думает? Версилов весело усмехнулся (но вовсе не над моими ошибками в коммунизме — напротив, об них не упомянул). Повторяю опять: он решительно как бы прилепился к Макару Ивановичу, и я часто ловил на лице его чрезвычайно привлекательную улыбку, когда он слушал старика. Впрочем, улыбка вовсе не помешала критике.

— Макар Иванович прежде всего — не мужик, а дворовый человек, — произнес он с большою охотою, — бывший дворовый человек и бывший слуга, родившийся слугою и от слуги. Дворовые и слуги чрезвычайно много разделяли интересов частной, духовной и умственной жизни своих господ в былое время. Заметь, что Макар Иванович до сих пор всего больше интересуется событиями из господской и высшей жизни. Ты еще не знаешь, до какой степени интересуется он иными событиями в России за последнее время. Знаешь ли, что он великий политик? Его медом не корми, а расскажи, где кто воюет и будем ли мы воевать. В прежнее время я доводил его подобными разговорами до блаженства. Науку уважает очень и из всех наук любит больше астрономию. При всем том выработал в себе нечто столь независимое, чего уже ни за что в нем не передвинешь. Убеждения есть, и твердые, и довольно ясные... и истинные. При совершенном невежестве, он вдруг способен изумить неожиданным знакомством с иными понятиями, которых бы в нем и не предполагал. Хвалит пустыню с восторгом, но ни в пустыню, ни в монастырь ни за что не пойдет, потому что в высшей степени «бродяга», как мило назвал его Александр Семенович, на которого ты напрасно, мимоходом сказать, сердишься. Ну что ж еще, наконец: несколько художник, много своих слов, но есть и не свои. Несколько хром в логическом изложении, подчас очень отвлеченен; с порывами сентиментальности, но совершенно народной, или, лучше сказать, с порывами того самого общенародного умиления, которое так широко вносит народ наш в свое религиозное чувство. Про чистосердечие и незлобивость его опускаю: не нам с тобой начинать на эту тему...

III

Чтобы закончить с характеристикой Макара Ивановича, передам какой-нибудь из его рассказов, собственно уже из частной жизни. Характер этих рассказов был странный, вернее то, что не было в них никакого общего характера; нравоучения какого-нибудь или общего направления нельзя было выжать, разве то, что все более или менее были умилительны. Но были и не умилительные, были даже совсем веселые, были даже насмешки над иными монахами из беспутных, так что он прямо вредил своей идее, рассказывая, — о чем я и заметил ему: но он не понял, что я хотел сказать. Иногда трудно было сообразить, что его так побуждает рассказывать, так что я подчас даже дивился на такое многоглаголапие и приписывал отчасти старчеству и болезненному состоянию.

— Он — не то, что прежде, — шепнул мне раз Версилов, — он прежде был не совсем таков. Он скоро умрет, гораздо скорее, чем мы думаем, и надо быть готовым.

Я забыл сказать, что у нас установилось нечто вроде «вечеров». Кроме мамы, не отходившей от Макара Ивановича, всегда по вечерам в его комнатку приходил Версилов; всегда приходил я, да и негде мне было и быть; в последние дни почти всегда заходила Лиза, хоть и попозже других, и всегда почти сидела молча. Бывала и Татьяна Павловна, и хоть редко, да бывал и доктор. С доктором я, как-то вдруг так вышло, сошелся; не очень, но по крайней мере прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я наконец разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству, так что я решился наконец ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для франтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность естественно входит в ремесло доктора, и доказал ему это. Подходила, наконец, часто к дверям из своей кухни Лукерья и, стоя за дверью, слушала, как рассказывает Макар Иванович. Версилов вызвал ее раз из-за дверей и пригласил сесть вместе с нами. Мне это понравилось; но с этого разу она уже перестала подходить к дверям. Свои нравы!

Помещаю один из рассказов, без выбору, единственно потому, что он мне полнее запомнился. Это — одна история об одном купце, и я думаю, что таких историй, в наших городах и городишках, случается тысячами, лишь бы уметь смотреть. Желающие могут обойти рассказ, тем более что я рассказываю его слогом.

IV

«А было у нас в городе Афимьевском, скажу теперь, вот како чудо. Жил купец, Скотобойников прозывался, Максим Иванович, и не было его богаче по всей округе. Ситцевую фабрику построил

и рабочих несколько сот содержал; и возмнил о себе безмерно. И надо так сказать, что уже всё ходило по его знаку, и само начальство ни в чем не препятствовало, и архимандрит за ревность благодарил: много на монастырь жертвовал и, когда стих находил, очень о душе своей воздыхал и о будущем веке озабочен был немало. Вдов был и бездетен; про супругу-то его был слух, что усахарил он ее будто еще на первом году и что смолоду ручкам любил волю давать; только давно уж перед тем это было; снова же обязаться браком не захотел. Слаб был тоже и выпить, и, когда наступал ему срок, то хмельной по городу бежит нагишом и вопит; город не знатный, а всё зазорно. Когда же переставал срок, становился сердит, и всё, что он рассудит, то и хорошо, и всё, что повелит, то и прекрасно. А народ рассчитывал произвольно; возьмет счеты, наденет очки: „Тебе, Фома, сколько?“ — „С рождества не брал, Максим Иванович, тридцать девять рублев моих есть“. — „Ух сколько денег! Это много тебе; ты и весь таких денег не стоишь, совсем не к лицу тебе будет: десять рублей с костей долой, а двадцать девять получай“. И молчит человек; да и никто не смеет пикнуть, все молчат.

„Я, говорит, знаю, сколько ему следует дать. С здешним народом по-другому нельзя. Здешний народ развратен; без меня б они все здесь с голоду перемерли, сколько их тут ни есть. Опять сказать, народ здешний — вор, на что взглянет, то и тянет, никакого в нем мужества нет. Опять взять и то, что он — пьяница; разочти его, он в кабак снесет, и сидит в кабаке наг — ни ниточки, выходит голешенек. Опять же он — и подлец: сядет супротив кабака на камушек и пошел причитать: «Матушка моя родимая, и зачем же ты меня, такого горького пьяницу, на свет произвела? А и лучше б ты меня, такого горького пьяницу, на роду придавила!» Так разве это — человек? Это — зверь, а не человек; его, перво-наперво, образить следует, а потом уж ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать“.

Вот так говорил Максим Иванович об народе афимьевском; хоть худо он это говорил, а всё ж и правда была: народ был стомчивый, не выдерживал.

Жил в этом же городе и другой купец, да и помер; человек был молодой и легкомысленный, прогорел и всего капиталу решился. Бился в последний год, как рыба на песке, да урок житию его приспел. С Максим Ивановичем всё время не ладил и кругом ему должен остался. В последний час еще Максима Ивановича проклинал. И оставил по себе вдову еще молодую, да с ней вместе и пятерых детей. И одинокой-то вдовице оставаться после супруга, подобно как бесприютной ластовице, — не малое испытание, а не то что с пятерыми младенцами, которых пропитать нечем: последнее именьишко, дом деревянный, Максим Иванович за долг отбирал. И поставила она их всех рядком у церковной паперти; старшему мальчику восемь годков, а остальные все девочки погодки, все мал малой меньше; старшенькая четырех

годков, а младшая еще на руках, грудь сосет. Кончилась обедня, вышел Максим Иванович, и все деточки, все-то рядком стали перед ним на коленки — научила она их перед тем, и ручки перед собой ладошками как один сложили, а сама за ними, с пятым ребенком на руках, земно при всех людях ему поклонилась: „Батюшка, Максим Иванович, помилуй сирот, не отымай последнего куска, не выгоняй из родного гнезда!“ И все, кто тут ни был, все прослезились — так уж хорошо она их научила. Думала: „При людях-то возгордится и простит, отдаст дом сиротам“, только не так оно вышло. Стал Максим Иванович: „Ты, говорит, молодая вдова, мужа хочешь, а не о сиротах плачешь. Покойник-то меня на смертном одре проклинал“ — и прошел мимо и не отдал дом. „Чего ихним дурачествам подражать (то есть поблажать)? Окажи благодеяние, еще пуще станут костить; всё сие ничтоже успевает, а лишь паче молва бывает“. А молва-то ходила и впрямь, что будто он к сей вдовице, еще к девице, лет десять перед тем подсылал и большим капиталом жертвовал (красива уж очень была), забывая, что грех сей всё едино что храм божий разорить; да ничего тогда не успел. А мерзостей этих самых, и по городу, и по всей даже губернии, производил немало, и даже всякую меру в сем случае потерял.

Возопила мать со птенцами, выгнал сирот из дому, и не по злобе токмо, а и сам не знает иной раз человек, по какому побуждению стоит на своем. Ну, помогали сперва, а потом пошла наниматься в работу. Да только какой у нас, окромя фабрики, заработок; там полы вымоет, там в огороде выполет, там баньку вытопит, да с ребеночком-то на руках и взвоет; а четверо прочих тут же по улице в рубашонках бегают. Когда на коленки их у паперти ставила, всё еще в башмачонках были, каких ни есть, да в салопчиках, всё как ни есть, а купецкие дети; а тут уж пошли бегать и босенькие: на ребенке одежонка горит, известно. Ну, а деткам что: было бы солнышко, радуются, гибели не чувствуют, словно птички, голосочки их что колокольчики. Думает вдова: „Станет зима, и куда я вас тогда подеваю; хоть бы вас к тому сроку бог прибрал!“ Только не дождалась до зимы. Есть по нашему месту такой на детей кашель, коклюш, что с одного на другого переходит. Перво-наперво померла грудная девочка, а за ней заболели и прочие, и всех-то четырех девочек, в ту же осень, одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улице лошади раздавили. Что же ты думаешь? Похоронила да и взвыла; то проклинала, а как бог прибрал, жалко стало. Материнское сердце!

Остался у ней в живых один лишь старшенький мальчик, и уж не надышит она над ним, трепещет. Слабенький был и нежный и личиком миловидный, как девочка. И свела она его на фабрику, к крестному его отцу, управляющему, а сама в нянюшки к чиновнику нанялась. Только бегает мальчик раз на дворе, а тут вдруг и подъехал на паре Максим Иванович, да как раз выпимши; а мальчик-то с лестницы прямо на него, невзначай то есть, посклиз-

нулся, да прямо об него стукнулся, как он с дрожек сходил, и обеими руками ему прямо в живот. Схватил он его за волосенки, завопил: „Чей такой? Лозы́! Высечь его, говорит, тот же час при мне". Помертвел мальчик, стали сечь, закричал. „Так ты еще и кричишь? секи ж его, пока кричать перестанет!" Мало ли, много ли секли, не перестал кричать, пока не омертвел вовсе. Тут и бросили сечь, испугались, не дышит мальчик, лежит в бесчувствии. Сказывали потом, что немного и секли, да уж пуглив был очень. Испугался было и Максим Иванович: „Чей такой?" — спросил; сказали ему. „Ишь ведь! снести его к матери; чего он тут на фабрике шлялся?" Два дня потом молчал и опять спросил: „А что мальчик?" А с мальчиком вышло худо: заболел, у матери в угле лежит, та и место по тому случаю у чиновников бросила, и вышло у него воспаление в легких. „Ишь ведь! — произнес, — и с чего, кажись? Диви б его больно секли: самое лишь малое пристрастие произвели. Я и над всеми прочими такие точно побои произносил; сходило без всяких таких пустяков". Ждал было он, что мать пойдет жаловаться, и, возгордясь, молчал; только где уж, не посмела мать жаловаться. И послал он ей тогда от себя пятнадцать рублей и лекаря от себя; и не то чтоб побоявшись чего, а так, задумался. А тут скоро и срок ему подошел, запил недели на три.

Миновала зима, и на самое светло Христово воскресенье, в самый великий день, спрашивает Максим Иванович опять: „А что тот самый мальчик?" А всю зиму молчал, не спрашивал. И говорят ему: „Выздоровел, у матери, а та всё поденно уходит". И поехал Максим Иванович того же дня ко вдове, в дом не вошел, а вызвал к воротам, сам на дрожках сидит: „Вот что, говорит, честная вдова, хочу я твоему сыну чтобы истинным благодетелем быть и беспредельные милости ему оказать: беру его отселе к себе, в самый мой дом. И ежели вмале мне угодит, то достаточный капитал ему отпишу; а совсем ежели угодит, то и всего состояния нашего могу его, по смерти, преемником утвердить, равно как родного бы сына, с тем, однако, чтобы ваша милость, окромя великих праздников, в дом не жаловали. Коли складно по-вашему, так завтра утром приводи мальчика, не всё ему в бабки играть". И, сказав, уехал, мать оставив как бы в безумии. Прослышали люди, говорят ей: „Возрастет малый, сам попрекать тебя станет, что лишила его такой судьбы". Ночь-то над ним поплакала, а поутру отвела дитя. А мальчик ни жив ни мертв.

Одел его Максим Иванович как барчонка, и учителя нанял, и с того самого часу за книгу засадил; и так дошло, что и с глаз его не спускает, всё при себе. Чуть мальчик зазевается, он уж и кричит: „За книгу! учись: я тебя человеком сделать хочу". А мальчик хилый, с того самого разу, после побоев-то, кашлять стал. „У меня ль не житье! — дивится Максим Иванович, — у матери босой бегал, корки жевал, чего ж он еще пуще прежнего хил?" А учитель и говорит: „Всякому мальчику, говорит, надо и порезвиться, не всё учиться; ему моцион необходим", и вывел ему

всё резоном. Максим Иванович подумал: „Это ты правду говоришь". А был тот учитель Петр Степанович, царство ему небесное, как бы словно юродивый; пил уж очень, так даже, что и слишком, и по тому самому его давно уже от всякого места отставили и жил по городу всё одно что милостыней, а ума был великого и в науках тверд. „Мне бы не здесь быть, — сам говорил про себя, — мне в университете профессором только быть, а здесь я в грязь погружен и «самые одежды мои возгнушались мною»". Сел Максим Иванович и кричит мальчику: „Резвись!" — а тот перед ним еле дышит. И до того дошло, что самого голосу его ребенок не мог снести — так весь и затрепещется. А Максим-то Иванович всё пуще удивляется: „Ни он такой, ни он этакой; я его из грязи взял, в драдедам одел; на нем полсапожки матерчатые, рубашка с вышивкой, как генеральского сына держу, чего ж он ко мне не привержен? Чего как волчонок молчит?" И хоть давно уж все перестали удивляться на Максима Ивановича, но тут опять задивились: из себя вышел человек; к этакому малому ребенку пристал, отступиться не может. „Жив не желаю быть, а характер в нем искореню. Меня отец его, на смертном одре, уже святого причастья вкусив, проклинал; это у него отцовский характер". И ведь даже ни разу лозы не употребил (с того разу боялся). Запугал он его, вот что. Без лозы запугал.

И случилось дело. Только он раз вышел, а мальчик вскочил из-за книги да на стул: пред тем на шифонерку мяч забросил, так чтоб мячик ему достать, да об фарфоровую лампу на шифонерке рукавом и зацепил; лампа-то грохнулась, да на пол, да вдребезги, ажно по всему дому зазвенело, а вещь дорогая — фарфор саксонский. А тут вдруг Максим Иванович из третьей комнаты услышал и завопил. Бросился ребенок бежать куда глаза глядят с перепугу, выбежал на террасу, да через сад, да задней калиткой прямо на набережную. А по набережной там бульвар идет, старые ракиты стоят, место веселое. Сбежал он вниз к воде, люди видели, сплеснул руками, у самого того места, где паром пристает, да ужаснулся, что ли, перед водой — стал как вкопанный. А место это широкое, река быстрая, барки проходят; на той стороне лавки, площадь, храм божий златыми главами сияет. И как раз тут на перевоз поспешала с дочкой полковница Ферзинг — полк стоял пехотный. Дочка, тоже ребеночек лет восьми, идет в беленьком платьице, смотрит на мальчика и смеется, а в руках таку малую кошелочку деревенскую несет, а в кошелочке ежика. „Смотрите, говорит, маменька, как мальчик смотрит на моего ежика". — „Нет, — говорит полковница, — а он испугался чего-то. — Чего вы так испугались, хорошенький мальчик?" (Так всё это потом и рассказывали.) „И какой, говорит, это хорошенький мальчик, и как хорошо одет; чей вы, говорит, мальчик?" А он никогда еще ежика не видывал, подступил, и смотрит, и уже забыл — детский возраст! „Что это, говорит, у вас такое?" — „А это, — говорит барышня, — у нас ежик, мы сейчас у деревен-

ского мужика купили: он в лесу нашел“. — „Как же это, говорит, такой ежик?“ — и уж смеется, и стал он его тыкать пальчиком, а ежик-то щетинится, а девочка-то рада на мальчика: „Мы, говорит, его домой несем и хотим приучать“. — „Ах, говорит, подарите мне вашего ежика!“ И так он это ее умильно попросил, и только что выговорит, как вдруг Максим-то Иванович над ним сверху: „А! Вот ты где! Держи его!“ (До того озверел, что сам без шапки из дому погнался за ним.) Мальчик, как вспомнил про всё, вскрикнул, бросился к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку, посмотрел в небеса (видели, видели!) — да бух в воду! Ну, закричали, бросились с парома, стали ловить, да водой отнесло, река быстрая, а как вытащили, уж и захлебнулся, — мертвенький. Грудкой-то слаб был, не стерпел воды, да и много ль такому надо? И вот на памяти людской еще не было в тех местах, чтобы такой малый робеночек на свою жизнь посягнул! Такой грех! И что может сия малая душка на том свете господу богу сказать!

Над тем самым, с тех пор, Максим Иванович и задумался. И переменился человек, что узнать нельзя. Больно уж тогда опечалился. Стал было пить, много пил, да бросил — не помогло. Бросил и на фабрику ездить, никого не слушает. Говорят ему что — молчит али рукой махнет. Так проходил он месяца с два, а потом стал сам с собой говорить. Ходит и сам с собой говорит. Сгорела подгородная деревнюшка Васькова, выгорело девять домов; поехал Максим Иванович взглянуть. Обступили его погорельцы, взвыли — обещал помочь и приказ отдал, а потом призвал управляющего и всё отменил: „Не надоть, говорит, ничего давать“ — и не сказал за что. „В попрание меня, говорит, отдал господь всем людям, яко же некоего изверга, то уж пусть так и будет. Как ветер, говорит, развеялась слава моя“. Приехал к нему сам архимандрит, старец был строгий и в монастыре общежитие ввел. „Ты чего?“ — говорит, строго так. „А я вот чего“, — и раскрыл ему Максим Иванович книгу и указал место:

„А иже аще соблазнит единого малых сих верующих в мя, уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет в пучине морстей“ (Матф. 18, 6).

— Да, — сказал архимандрит, — хоть и не о том сие прямо сказано, а всё же соприкасается. Беда, коли мерку свою потеряет человек, — пропадет тот человек. А ты возмнил.

А Максим Иванович сидит, словно столбняк на него нашел. Архимандрит глядел-глядел.

— Слушай, говорит, и запомни. Сказано: „Слова отчаянного летят на ветер“. И еще то вспомни, что и ангелы божии несовершенны, а совершен и безгрешен токмо един бог наш Иисус Христос, ему же ангелы служат. Да и не хотел же ты смерти сего младенца, а только был безрассуден. Только вот что, говорит, мне даже чудесно: мало ль ты, говорит, еще горших бесчинств произносил, мало ль по миру людей пустил, мало ль растлил, мало ль погубил,— всё одно как бы убиением? И не его ли сестры еще прежде того

все перемерли, все четыре младенчика, почти что на глазах твоих? Чего ж тебя так сей единый смутил? Ведь о прежних всех, полагаю, не то что сожалеть, а и думать забыл? Почему же так устрашился младенца сего, в коем и не весьма повинен?

— Во сне мне снится, — изрек Максим Иванович.

— И что же?

Но ничего более не открыл, сидит, молчит. Удивился архимандрит да с тем и отъехал: ничего уж тут не поделаешь.

И послал Максим Иванович за учителем, за Петром Степановичем; с самого того случая не видались.

— Помнишь ты? — говорит.

— Помню, — говорит.

— Ты, говорит, здесь масляной краской в трактир картины мазал и с архиреева портрета копию снимал. Можешь ты мне написать краской картину одну?

— Я, говорит, всё могу; я, говорит, всякий талант имею и всё могу.

— Напиши же ты мне картину самую большую, во всю стену, и напиши на ней перво-наперво реку, и спуск, и перевоз, и чтоб все люди, какие были тогда, все тут были. И чтоб полковница и девочка были, и тот самый ежик. Да и другой берег весь мне спиши, чтоб виден был, как есть: и церковь, и площадь, и лавки, и где извозчики стоят, — всё, как есть, спиши. И тут у перевоза мальчика, над самой рекой, на том самом месте, и беспременно, чтобы два кулачка вот так к груди прижал, к обоим сосочкам. Беспременно это. И раскрой ты перед ним с той стороны, над церковью, небо, и чтобы все ангелы во свете небесном летели встречать его. Можешь потрафить аль нет?

— Я всё могу.

— Я не то чтоб такого Трифона, как ты, я и первейшего живописца из Москвы могу выписать, али хоша бы из самого Лондона, да ты его лик помнишь. Если выйдет не схож али мало схож, то дам тебе всего пятьдесят рублей, а если выйдет совсем похож, то дам двести рублей. Помни, глазки голубенькие... Да чтобы самая-самая большая картина вышла.

Изготовились; стал писать Петр Степанович, да вдруг и приходит:

— Нет, говорит, в таком виде нельзя писать.

— Что так?

— Потому что грех сей, самоубивство, есть самый великий из всех грехов. То как же ангели его будут стречать после такого греха?

— Да ведь он — младенец, ему не вменимо.

— Нет, не младенец, а уже отрок: восьми уже лет был, когда сие совершилось. Всё же он хотя некий ответ должен дать.

Еще пуще ужаснулся Максим Иванович.

— А я, — говорит Петр Степанович, — вот как придумал: небо открывать не станем и ангелов писать нечего; а спущу я

с неба, как бы в встречу ему, луч; такой один светлый луч: всё равно как бы нечто и выйдет.

Так и пустили луч. И видел я сам потом, уже спустя, картину сию, и этот луч самый, и реку — во всю стену вытянул, вся синяя; и отрок милый тут же, обе ручки к грудкам прижал, и маленькую барышню, и ежика — всё потрафил. Только Максим Иванович тогда никому картину не открыл, а запер ее в кабинете на ключ от всех глаз. А уж как рвались по городу, чтоб повидать: всех гнать велел. Большой разговор пошел. А Петр Степанович словно из себя тогда вышел: „Я, говорит, теперь уже всё могу; мне, говорит, только в Санкт-Петербурге при дворе состоять". Любезнейший был человек, а превозноситься любил беспримерно. И постигла его участь: как получил все двести рублей, начал тотчас же пить и всем деньги показывать, похваляясь; и убил его пьяного ночью наш мещанин, с которым и пил, и деньги ограбил; всё сие наутро и объяснилось.

А кончилось всё так, что и теперь там напреж всего вспоминают. Вдруг приезжает Максим Иванович к той самой вдове: нанимала на краю у мещанки в избушке. На сей раз уже во двор вошел; стал пред ней да и поклонился в землю. А та с тех разов больна была, еле двигалась. „Матушка, возопил, честная вдовица, выйди за меня, изверга, замуж, дай жить на свете!" Та глядит ни жива ни мертва. „Хочу, говорит, чтоб у нас еще мальчик родился, и ежели родится он, тогда, значит, тот мальчик простил нас обоих: и тебя и меня. Мне так мальчик велел". Видит она, что не в уме человек, а как бы в исступлении, да всё же не утерпела.

— Пустяки это всё, — отвечает ему, — и одно малодушие. Через то самое малодушие я всех моих птенцов истеряла. Я и видеть-то вас перед собой не могу, а не то чтобы такую вековеченскую муку принять.

Отъехал Максим Иванович, да не унялся. Загрохотал весь город от такого чуда. А Максим Иванович свах заслал. Выписал из губернии двух своих теток, по мещанству жили. Тетки не тетки, всё же родственницы, честь, значит; стали те ее склонять, принялись улещать, из избы не выходят. Заслал и из городских, и по купечеству, и протопопшу соборную, и из чиновниц; обступили ее всем городом, а та даже гнушается: „Если б, говорит, сироты мои ожили, а теперь на что? Да я перед сиротками моими какой грех приму!" Склонил и архимандрита, подул и тот в ухо: „Ты, говорит, в нем нового человека воззвать можешь". Ужаснулась она. А люди-то на нее удивляются: „Уж и как же это можно, чтоб от такого счастья отказываться!" И вот чем же он ее в конце покорил: „Всё же он, говорит, самоубивец, и не младенец, а уже отрок, и по летам ко святому причастью его уже прямо допустить нельзя было, а стало быть, всё же он хотя бы некий ответ должен дать. Если же вступишь со мной в супружество, то великое обещание даю: выстрою новый храм токмо на вечный помин души

сго". Против сего не устояла и согласилась. Так и повенчались.

И вышло всем на удивление. Стали они жить с самого первого дня в великом и нелицемерном согласии, опасно соблюдая свое супружество, и как единая душа в двух телесах. Зачала она в ту же зиму, и стали они посещать храмы божии и трепетать гнева господня. Были в трех монастырях и внимали пророчествам. Он же соорудил обещанный храм и выстроил в городе больницу и богадельню. Отделил капитал на вдов и сирот. И воспомнил всех, кого обидел, и возжелал возвратить; деньги же стал выдавать безмерно, так что уже супруга и архимандрит придержали за руки, ибо „довольно, говорят, и сего". Послушался Максим Иванович: „Я, говорит, в тот раз Фому обсчитал". Ну, Фоме отдали. А Фома так даже заплакал: „Я, говорит, я и так... Многим и без того довольны и вечно обязаны богу молить". Всех, стало быть, проникло оно, и, значит, правду говорят, что хорошим примером будет жив человек. А народ там добрый.

Фабрикой сама супруга стала орудовать, и так, что и теперь вспоминают. Пить не перестал, но стала она его в эти самые дни соблюдать, а потом и лечить. Речь его стала степенная, и даже самый глас изменился. Стал жалостлив беспримерно, даже к скотам: увидал из окна, как мужик стегал лошадь по голове безобразно, и тотчас выслал и купил у него лошадь за вдвое цены. И получил дар слезный: кто бы с ним ни заговорил, так и зальется слезами. Когда же приспело время ее, внял наконец господь их молитвам и послал им сына, и стал Максим Иванович, еще в первый раз с тех пор, светел; много милостыни роздал, много долгов простил, на крестины созвал весь город. Созвал он это город, а на другой день, как ночь, вышел. Видит супруга, что с ним нечто сталось, и поднесла к нему новорожденного: „Простил, говорит, нас отрок, внял слезам и молитвам за него нашим". А о сем предмете, надо так сказать, они во весь год ни разу не сказали слова, а лишь оба про себя содержали. И поглядел на нее Максим Иванович мрачно, как ночь: „Подожди, говорит: он, почитай, весь год не приходил, а в сию ночь опять приснился". „Тут-то в первый раз проник и в мое сердце ужас, после сих странных слов", — припоминала потом.

И не напрасно приснился отрок. Только что Максим Иванович о сем изрек, почти, так сказать, в самую ту минуту приключилось с новорожденным нечто: вдруг захворал. И болело дитя восемь дней, молились неустанно, и докторов призывали, и выписали из Москвы самого первого доктора по чугунке. Прибыл доктор, рассердился. „Я, говорит, самый первый доктор, меня вся Москва ожидает". Прописал капель и уехал поспешно. Восемьсот рублей увез. А ребеночек к вечеру помер.

И что же за сим? Отписал Максим Иванович всё имущество любезной супруге, выдал ей все капиталы и документы, завершил всё правильно и законным порядком, а затем стал перед ней и

поклонился ей до земли: „Отпусти ты меня, бесценная супруга моя, душу мою спасти, пока можно. Ежели время мое без успеха душе проведу, то назад уже не возвращусь. Был я тверд и жесток, и тягости налагал, но мню, что за скорби и странствия предстоящие не оставит без воздаяния господь, ибо оставить всё сие есть немалый крест и немалая скорбь". И унимала его супруга со многими слезами: „Ты мне един теперь на земле, на кого же останусь? Я, говорит, за год в сердце милость нажила". И увещевали всем городом целый месяц, и молили его, и положили силой стеречь. Но не послушал их и ночью скрытно вышел, и уже более не возвращался. А, слышно, подвизается в странствиях и терпении даже до сегодня, а супругу милую извещает ежегодно...»

Глава четвертая

I

Теперь приступлю к окончательной катастрофе, завершающей мои записки. Но чтоб продолжать дальше, я должен предварительно забежать вперед и объяснить нечто, о чем я совсем в то время не знал, когда действовал, но о чем узнал и что разъяснил себе вполне уже гораздо позже, то есть тогда, когда всё уже кончилось. Иначе не сумею быть ясным, так как пришлось бы всё писать загадками. И потому сделаю прямое и простое разъяснение, жертвуя так называемою художественностью, и сделаю так, как бы и не я писал, без участия моего сердца, а вроде как бы entrefilet [1] в газетах.

Дело в том, что товарищ моего детства Ламберт очень, и даже прямо, мог бы быть причислен к тем мерзким шайкам мелких пройдох, которые сообщаются взаимно ради того, что называют теперь шантажом и на что подыскивают теперь в своде законов определения и наказания. Шайка, в которой участвовал Ламберт, завелась еще в Москве и уже наделала там довольно проказ (впоследствии она была отчасти обнаружена). Я слышал потом, что в Москве у них, некоторое время, был чрезвычайно опытный и неглупый руководитель и уже пожилой человек. Пускались они в свои предприятия и всею шайкою и по частям. Производили же, рядом с самыми грязненькими и нецензурными вещами (о которых, впрочем, известия уже являлись в газетах), — и довольно сложные и даже хитрые предприятия под руководством их шефа. Об некоторых я потом узнал, но не буду передавать подробностей. Упомяну лишь, что главный характер их приемов состоял в том, чтоб разузнать кой-какие секреты людей, иногда честнейших и довольно высокопоставленных; затем они являлись к этим лицам и грозили

[1] заметка *(франц.)*.

обнаружить документы (которых иногда совсем у них не было) и за молчание требовали выкуп. Есть вещи и не грешные, и совсем не преступные, но обнаружения которых испу́гается даже порядочный и твердый человек. Били они большею частию на семейные тайны. Чтоб указать, как ловко действовал иногда их шеф, расскажу, безо всяких подробностей и в трех только строках, об одной их проделке. В одном весьма честном доме случилось действительно и грешное и преступное дело; а именно жена одного известного и уважаемого человека вошла в тайную любовную связь с одним молодым и богатым офицером. Они это пронюхали и поступили так: прямо дали знать молодому человеку, что уведомят мужа. Доказательств у них не было ни малейших, и молодой человек про это знал отлично, да и сами они от него не таились; но вся ловкость приема и вся хитрость расчета состояла в этом случае лишь в том соображении, что уведомленный муж и без всяких доказательств поступит точно так же и сделает те же самые шаги, как если б получил самые математические доказательства. Они били тут на знание характера этого человека и на знание его семейных обстоятельств. Главное то, что в шайке участвовал один молодой человек из самого порядочного круга и которому удалось предварительно достать сведения. С любовника они содрали очень недурную сумму, и безо всякой для себя опасности, потому что жертва сама жаждала тайны.

Ламберт хоть и участвовал, но всецело к той московской шайке не принадлежал; войдя же во вкус, начал помаленьку и в виде пробы действовать от себя. Скажу заранее: он на это был не совсем способен. Был он весьма неглуп и расчетлив, но горяч и, сверх того, простодушен или, лучше сказать, наивен, то есть не знал ни людей, ни общества. Он, например, вовсе, кажется, не понимал значения того московского шефа и полагал, что направлять и организировать такие предприятия очень легко. Наконец, он предполагал чуть не всех такими же подлецами, как сам. Или, например, раз вообразив, что такой-то человек боится или должен бояться потому-то и потому-то, он уже и не сомневался в том, что тот действительно боится, как в аксиоме. Не умею я это выразить; впоследствии разъясню яснее фактами, но, по-моему, он был довольно грубо развит, а в иные добрые, благородные чувства не то что не верил, но даже, может быть, не имел о них и понятия.

Прибыл он в Петербург, потому что давно уже помышлял о Петербурге как о поприще более широком, чем Москва, и еще потому, что в Москве он где-то и как-то попал впросак и его кто-то разыскивал с самыми дурными на его счет намерениями. Прибыв в Петербург, тотчас же вошел в сообщение с одним прежним товарищем, но поле нашел скудное, дела мелкие. Знакомство потом разрослось, но ничего не составлялось. «Народ здесь дрянной, тут одни мальчишки», — говорил он мне сам потом. И вот, в одно прекрасное утро, на рассвете, он вдруг находит меня замерзав-

шего под забором и прямо нападает на след «богатейшего», по его мнению, «дела».

Всё дело оказалось в моем вранье, когда я оттаял тогда у него на квартире. О, я был тогда как в бреду! Но из слов моих все-таки выступило ясно, что я из всех моих обид того рокового дня всего более запомнил и держал на сердце лишь обиду от Бьоринга и от *нее:* иначе я бы не бредил об этом одном у Ламберта, а бредил бы, например, и о Зерщикове; между тем оказалось лишь первое, как узнал я впоследствии от самого Ламберта. И к тому же я был в восторге и на Ламберта и на Альфонсину смотрел в то ужасное утро как на каких-то освободителей и спасителей. Когда потом, выздоравливая, я соображал, еще лежа в постели: что бы мог узнать Ламберт из моего вранья и до какой именно степени я ему проврался? — то ни разу не приходило ко мне даже подозрения, что он мог так много тогда узнать! О, конечно, судя по угрызениям совести, я уже и тогда подозревал, что, должно быть, насказал много лишнего, но, повторяю, никак не мог предположить, что до такой степени! Надеялся тоже и рассчитывал на то, что я и выговаривать слова тогда у него не в силах был ясно, об чем у меня осталось твердое воспоминание, а между тем оказалось на деле, что я и выговаривал тогда гораздо яснее, чем потом предполагал и чем надеялся. Но главное то, что всё это обнаружилось лишь потом и долго спустя, а в том-то и заключалась моя беда.

Из моего бреда, вранья, лепета, восторгов и проч. он узнал, во-первых, почти все фамилии в точности, и даже иные адресы. Во-вторых, составил довольно приблизительное понятие о значении этих лиц (старого князя, ее, Бьоринга, Анны Андреевны и даже Версилова); третье: узнал, что я оскорблен и грожусь отмстить, и, наконец, четвертое, главнейшее: узнал, что существует такой документ, таинственный и спрятанный, такое письмо, которое если показать полусумасшедшему старику князю, то он, прочтя его и узнав, что собственная дочь считает его сумасшедшим и уже «советовалась с юристами» о том, как бы его засадить, — или сойдет с ума окончательно, или прогонит ее из дому и лишит наследства, или женится на одной mademoiselle Версиловой, на которой уже хочет жениться и чего ему не позволяют. Одним словом, Ламберт очень многое понял; без сомнения, ужасно много оставалось темного, но шантажный искусник все-таки попал на верный след. Когда я убежал потом от Альфонсины, он немедленно разыскал мой адрес (самым простым средством: в адресном столе); потом немедленно сделал надлежащие справки, из коих узнал, что все эти лица, о которых я ему врал, существуют действительно. Тогда он прямо приступил к первому шагу.

Главнейшее состояло в том, что существует *документ*, и что обладатель его — я, и что этот документ имеет высокую ценность: в этом Ламберт не сомневался. Здесь опускаю одно обстоятельство, о котором лучше будет сказать впоследствии и в своем месте, но упомяну лишь о том, что обстоятельство это наиглавнейше утвер-

дило Ламберта в убеждении о действительном существовании и, главное, о ценности документа. (Обстоятельство роковое, предупреждаю вперед, которого я-то уж никак вообразить не мог не только тогда, но даже до самого конца всей истории, когда всё вдруг рушилось и разъяснилось само собой.) Итак, убежденный в главном, он, первым шагом, поехал к Анне Андреевне.

А между тем для меня до сих пор задача: как мог он, Ламберт, профильтроваться и присосаться к такой неприступной и высшей особе, как Анна Андреевна? Правда, он взял справки, но что же из этого? Правда, он был одет прекрасно, говорил по-парижски и носил французскую фамилию, но ведь не могла же Анна Андреевна не разглядеть в нем тотчас же мошенника? Или предположить, что мошенника-то ей и надо было тогда. Но неужели так?

Я никогда не мог узнать подробностей их свидания, но много раз потом представлял себе в воображении эту сцену. Вероятнее всего, что Ламберт, с первого слова и жеста, разыграл перед нею моего друга детства, трепещущего за любимого и милого товарища. Но, уж конечно, в это же первое свидание сумел очень ясно намекнуть и на то, что у меня «документ», дать знать, что это — тайна, что один только он, Ламберт, обладает этой тайной и что я собираюсь отмстить этим документом генеральше Ахмаковой, и проч., и проч. Главное, мог разъяснить ей, как можно точнее, значение и ценность этой бумажки. Что же до Анны Андреевны, то она именно находилась в таком положении, что не могла не уцепиться за известие о чем-нибудь в этом роде, не могла не выслушать с чрезвычайным вниманием и... не могла не пойти на удочку — «из борьбы за существование». У ней именно как раз к тому времени сократили ее жениха и увезли под опеку в Царское, да еще взяли и ее самое под опеку. И вдруг такая находка: тут уж пойдут не бабьи нашептывания на ухо, не слезные жалобы, не наговоры и сплетни, а тут письмо, манускрипт, то есть математическое доказательство коварства намерений его дочки и всех тех, которые его от нее отнимают, и что, стало быть, надо спасаться, хотя бы бегством, всё к ней же, всё к той же Анне Андреевне, и обвенчаться с нею хоть в двадцать четыре часа; не то как раз конфискуют в сумасшедший дом.

А может быть и то, что Ламберт совсем не хитрил с этою девицею, даже ни минуты, а так-таки и брякнул с первого слова: «Mademoiselle, или оставайтесь старой девой, или становитесь княгиней и миллионщицей: вот документ, а я его у подростка выкраду и вам передам... за вексель от вас в тридцать тысяч». Я даже думаю, что именно так и было. О, он всех считал такими же подлецами, как сам; повторяю, в нем было какое-то простодушие подлеца, невинность подлеца... Так или этак, а весьма может быть, что и Анна Андреевна, даже и при таком приступе, не смутилась ни на минуту, а отлично сумела сдержать себя и выслушать шантажника, говорившего своим слогом — и всё из «широкости». Ну, разумеется, сперва покраснела немножко, а там скре-

пилась и выслушала. И как воображу эту неприступную, гордую, действительно достойную девушку, и с таким умом, рука в руку с Ламбертом, то... вот то-то с умом! Русский ум, таких размеров, до широкости охотник; да еще женский, да еще при таких обстоятельствах!

Теперь сделаю резюме: ко дню и часу моего выхода после болезни Ламберт стоял на следующих двух точках (это-то уж я теперь наверно знаю): первое, взять с Анны Андреевны за документ вексель не менее как в тридцать тысяч и затем помочь ей напугать князя, похитить его и с ним вдруг обвенчать ее — одним словом, в этом роде. Тут даже составлен был целый план; ждали только моей помощи, то есть самого документа.

Второй проект: изменить Анне Андреевне, бросить ее и продать бумагу генеральше Ахмаковой, если будет выгоднее. Тут рассчитывалось и на Бьоринга. Но к генеральше Ламберт еще не являлся, а только ее выследил. Тоже ждал меня.

О, я ему был нужен, то есть не я, а документ! Насчет меня у него составились тоже два плана. Первый состоял в том, что если уж нельзя иначе, то действовать со мной вместе и взять меня в половину, предварительно овладев мною и нравственно и физически. Но второй план улыбался ему гораздо больше; он состоял в том, чтоб надуть меня как мальчишку и выкрасть у меня документ или даже просто отнять его у меня силой. Этот план был излюблен и взлелеян в мечтах его. Повторяю: было одно такое обстоятельство, через которое он почти не сомневался в успехе второго плана, но, как сказал уже я, объясню это после. Во всяком случае, ждал меня с судорожным нетерпением: всё от меня зависело, все шаги и на что решиться.

И надо ему отдать справедливость: до времени он себя выдержал, несмотря на горячность. Он не являлся ко мне на дом во время болезни — раз только приходил и виделся с Версиловым; он не тревожил, не пугал меня, сохранил передо мной ко дню и часу моего выхода вид самой полной независимости. Насчет же того, что я мог передать, или сообщить, или уничтожить документ, то в этом он был спокоен. Из моих слов у него он мог заключить, как я сам дорожу тайной и как боюсь, чтобы кто не узнал про документ. А что я приду к нему первому, а не к кому другому, в первый же день по выздоровлении, то и в этом он не сомневался нимало: Настасья Егоровна приходила ко мне отчасти по его приказанию, и он знал, что любопытство и страх уже возбуждены, что я не выдержу... Да к тому же он взял все меры, мог знать даже день моего выхода, так что я никак не мог от него отвернуться, если б даже захотел того.

Но если ждал меня Ламберт, то еще пуще, может быть, ждала меня Анна Андреевна. Прямо скажу: Ламберт отчасти мог быть и прав, готовясь ей изменить, и вина была на ее стороне. Несмотря на несомненное их соглашение (в какой форме, не знаю, но в котором не сомневаюсь), — Анна Андреевна до самой последней

минуты была с ним не вполне откровенна. Не раскрылась на всю распашку. Она намекнула ему на все согласия с своей стороны и на все обещания — но только лишь намекнула; выслушала, может быть, весь его план до подробностей, но одобрила лишь молчанием. Я имею твердые данные так заключить, а причина всему та, что — *ждала меня*. Она лучше хотела иметь дело со мной, чем с мерзавцем Ламбертом, — вот несомненный для меня факт! Это я понимаю; но ошибка ее состояла в том, что это понял наконец и Ламберт. А ему слишком было бы невыгодно, если б она, мимо его, выманила у меня документ и вошла бы со мной в соглашение. К тому же в то время он уже был уверен в крепости «дела». Другой бы на его месте трусил и всё бы еще сомневался; но Ламберт был молод, дерзок, с нетерпеливейшей жаждой наживы, мало знал людей и несомненно предполагал их всех подлыми; такой усумниться не мог, тем более что уже выпытал у Анны Андреевны все главнейшие подтверждения.

Последнее словечко и важнейшее: знал ли что-нибудь к тому дню Версилов и участвовал ли уже тогда в каких-нибудь хоть отдаленных планах с Ламбертом? Нет, нет и нет, *тогда* еще нет, хотя, может быть, уже было закинуто роковое словцо... Но довольно, довольно, я слишком забегаю вперед.

Ну, а я-то что же? Знал ли я что-нибудь и что я знал ко дню выхода? Начиная это entrefilet, я уведомил, что ничего не знал ко дню выхода, что узнал обо всем слишком позже и даже тогда, когда уже всё совершилось. Это правда, но так ли вполне? Нет, не так; я уже знал кое-что несомненно, знал даже слишком много, но как? Пусть читатель вспомнит про *сон!* Если уж мог быть такой сон, если уж мог он вырваться из моего сердца и так формулироваться, то, значит, я страшно много — не знал, а *предчувствовал* из того самого, что сейчас разъяснил и что в самом деле узнал лишь тогда, «когда уже всё кончилось». Знания не было, но сердце билось от предчувствий, и злые духи уже овладели моими снами. И вот к этакому человеку я рвался, вполне зная, что это за человек, и предчувствуя даже подробности! И зачем я рвался? Представьте: мне теперь, вот в эту самую минуту, как я пишу, кажется, что я уже тогда знал во всех подробностях, зачем я рвался к нему, тогда как, опять-таки, я еще ничего не знал. Может быть, читатель это поймет. А теперь — к делу, и факт за фактом.

II

Началось с того, что еще за два дня до моего выхода Лиза воротилась ввечеру вся в тревоге. Она была страшно оскорблена; и действительно, с нею случилось нечто нестерпимое.

Я упомянул уже о ее сношениях с Васиным. Она пошла к нему не потому лишь, чтоб показать нам, что в нас не нуждается, а и потому, что действительно ценила Васина. Знакомство их нача-

лось еще с Луги, и мне всегда казалось, что Васин был к ней неравнодушен. В несчастии, ее поразившем, она естественно могла пожелать совета от ума твердого, спокойного, всегда возвышенного, который предполагала в Васине. К тому же женщины небольшие мастерицы в оценке мужских умов, если человек им нравится, и парадоксы с удовольствием принимают за строгие выводы, если те согласны с их собственными желаниями. В Васине Лиза любила симпатию к своему положению и, как показалось ей с первых разов, симпатию и к князю. Подозревая притом его чувства к себе, она не могла не оценить в нем симпатии к его сопернику. Князь же, которому она сама передала, что ходит иногда советоваться к Васину, принял это известие с чрезвычайным беспокойством с самого первого раза; он стал ревновать ее. Лиза была этим оскорблена, так что нарочно уже продолжала сношения с Васиным. Князь примолк, но был мрачен. Лиза же сама мне потом призналась (очень долго спустя), что Васин даже очень скоро перестал ей тогда нравиться; он был спокоен, и именно это-то вечное ровное спокойствие, столь понравившееся ей вначале, показалось ей потом довольно неприглядным. Казалось бы, он был деловит и действительно дал ей несколько хороших с виду советов, но все эти советы, как нарочно, оказались неисполнимыми. Судил же иногда слишком свысока и нисколько перед нею не конфузясь, — не конфузясь, чем дальше, тем больше, — что и приписала она возраставшему и невольному его пренебрежению к ее положению. Раз она поблагодарила его за то, что он постоянно ко мне благодушен и, будучи так выше меня по уму, разговаривает со мной как с ровней (то есть передала ему мои же слова). Он ей ответил:

— Это не так и не оттого. Это оттого, что я не вижу в нем никакой разницы с другими. Я не считаю его ни глупее умных, ни злее добрых. Я ко всем одинаков, потому что в моих глазах все одинаковы.

— Как, неужели не видите различий?

— О, конечно, все чем-нибудь друг от друга разнятся, но в моих глазах различий не существует, потому что различия людей до меня не касаются; для меня все равны и всё равно, а потому я со всеми одинаково добр.

— И вам так не скучно?

— Нет; я всегда доволен собой.

— И вы ничего не желаете?

— Как не желать? но не очень. Мне почти ничего не надо, ни рубля сверх. Я в золотом платье и я как есть — это всё равно; золотое платье ничего не прибавит Васину. Куски не соблазняют меня: могут ли места или почести стоить того места, которого я стою?

Лиза уверяла меня честью, что он высказал это раз буквально. Впрочем, тут нельзя так судить, а надо знать обстоятельства, при которых высказано.

Мало-помалу Лиза пришла к заключению, что и к князю он относится снисходительно, может, потому лишь, что для него все равны и «не существует различий», а вовсе не из симпатии к ней. Но под конец он как-то видимо стал терять свое равнодушие и к князю начал относиться не только с осуждением, но и с презрительной иронией. Это разгорячило Лизу, но Васин не унялся. Главное, он всегда выражался так мягко, даже и осуждал без негодования, а просто лишь логически выводил о всей ничтожности ее героя; но в этой-то логичности и заключалась ирония. Наконец, почти прямо вывел перед нею всю «неразумность» ее любви, всю упрямую насильственность этой любви. «Вы в своих чувствах заблудились, а заблуждения, раз сознанные, должны быть непременно исправлены».

Это было как раз в тот день; Лиза в негодовании встала с места, чтоб уйти, но что же сделал и чем кончил этот разумный человек? — с самым благородным видом, и даже с чувством, предложил ей свою руку. Лиза тут же назвала его прямо в глаза дураком и вышла.

Предложить измену несчастному потому, что этот несчастный «не стоит» ее, и, главное, предложить это беременной от этого несчастного женщине, — вот ум этих людей! Я называю это страшною теоретичностью и совершенным незнанием жизни, происходящим от безмерного самолюбия. И вдобавок ко всему, Лиза самым ясным образом разглядела, что он даже гордился своим поступком, хотя бы потому, например, что знал уже о ее беременности. Со слезами негодования она поспешила к князю, и тот, — тот даже перещеголял Васина: кажется бы, мог убедиться после рассказа, что уже ревновать теперь нечего; но тут-то он и сошел с ума. Впрочем, ревнивые все таковы! Он сделал ей страшную сцену и оскорбил ее так, что она было решилась порвать с ним тут же все отношения.

Она пришла, однако же, домой еще сдерживаясь, но маме не могла не признаться. О, в тот вечер они сошлись опять совершенно как прежде: лед был разбит; обе, разумеется, наплакались, по их обыкновению, обнявшись, и Лиза, по-видимому, успокоилась, хотя была очень мрачна. Вечер у Макара Ивановича она просидела, не говоря ни слова, но и не покидая комнаты. Она очень слушала, что он говорил. С того разу с скамейкой она стала к нему чрезвычайно и как-то робко почтительна, хотя всё оставалась неразговорчивою.

Но в этот раз Макар Иванович как-то неожиданно и удивительно повернул разговор; замечу, что Версилов и доктор очень нахмуренно разговаривали поутру о его здоровье. Замечу тоже, что у нас в доме уже несколько дней как приготовлялись справлять день рождения мамы, приходившийся ровно через пять дней, и часто говорили об этом. Макар Иванович по поводу этого дня почему-то вдруг ударился в воспоминания и припомнил детство мамы и то время, когда она еще «на ножках не стояла». «У меня

с рук не сходила, — вспоминал старик, — бывало, и ходить учу, поставлю в уголок шага за три да и зову ее, а она-то ко мне колыхается через комнату, и не боится, смеется, а добежит до меня, бросится и за шею обымет. Сказки я тебе потом рассказывал, Софья Андревна; до сказок ты у меня большая была охотница; часа по два на коленях у меня сидит — слушает. В избе-то дивятся: „Ишь к Макару как привязалась". А то унесу тебя в лес, отыщу малиновый куст, посажу у малины, а сам тебе свистульки из дерева режу. Нагуляемся и назад домой на руках несу — спит младенчик. А то раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а и никакого волка не было».

— Это я помню, — сказала мама.

— Неужто помнишь?

— Многое помню. Как только себя в жизни запомнила, с тех пор любовь и милость вашу над собой увидела, — проникнутым голосом проговорила она и вся вдруг вспыхнула.

Макар Иванович переждал немного:

— Простите, детки, отхожу. Ныне урок житию моему приспел. В старости обрел утешение от всех скорбей; спасибо вам, милые.

— Полноте, Макар Иванович, голубчик, — воскликнул, несколько встревожась, Версилов, — мне доктор давеча говорил, что вам несравненно легче...

Мама прислушивалась испуганно:

— Ну что он знает, твой Александр Семеныч, — улыбнулся Макар Иванович, — милый он человек, а и не более. Полноте, други, али думаете, что я помирать боюсь? Было у меня сегодня, после утренней молитвы, такое в сердце чувство, что уж более отсюда не выйду; сказано было. Ну и что же, да будет благословенно имя господне; только на вас еще на всех наглядеться хочется. И Иов многострадальный, глядя на новых своих детушек, утешался, а забыл ли прежних, и мог ли забыть их — невозможно сие! Только с годами печаль как бы с радостью вместе смешивается, в воздыхание светлое преобразуется. Так-то в мире: всякая душа и испытуема и утешена. Положил я, детки, вам словечко сказать одно, небольшое, — продолжал он с тихой, прекрасной улыбкой, которую я никогда не забуду, и обратился вдруг ко мне: — Ты, милый, церкви святой ревнуй, и аще позовет время — и умри за нее, да подожди, не пугайся, не сейчас, — усмехнулся он. — Теперь ты, может быть, о сем и не думаешь, потом, может, подумаешь. Только вот что еще: что благое делать замыслишь, то делай для бога, а не зависти ради. Дела же своего твердо держись и не сдавай через всякое малодушие; делай же постепенно, не бросаясь и не кидаясь; ну, вот и всё, что тебе надо. Разве только молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно. Я это так только, авось когда припомнишь. Хотел было я и вам, Андрей Петрович, сударь, кой-что сказать, да бог и без меня ваше сердце найдет. Да и давно уж мы с вами о сем прекратили, с тех пор как

спя стрела сердце мое пронзила. Ныне же, отходя, лишь напомню... о чем тогда пообещали...

Он почти прошептал последние слова, потупившись.

— Макар Иванович! — смущенно проговорил Версилов и встал со стула.

— Ну, ну, не смущайтесь, сударь, я только так напомнил... А виновен в сем деле богу всех больше я; ибо, хоть и господин мой были, но всё же не должен был я слабости сей попустить. Посему и ты, Софья, не смущай свою душу слишком, ибо весь твой грех — мой, а в тебе, так мыслю, и разуменье-то вряд ли тогда было, а пожалуй, и в вас тоже, сударь, вкупе с нею, — улыбнулся он с задрожавшими от какой-то боли губами, — и хоть мог бы я тогда поучить тебя, супруга моя, даже жезлом, да и должен был, но жалко стало, как предо мной упала в слезах и ничего не потаила... ноги мои целовала. Не в укор тебе воспомнил сие, возлюбленная, а лишь в напоминание Андрею Петровичу... ибо сами, сударь, помните дворянское обещание ваше, а венцом всё прикрывается... При детках говорю, сударь-батюшка...

Он был чрезвычайно взволнован и смотрел на Версилова, как бы ожидая от него подтвердительного слова. Повторяю, всё это было так неожиданно, что я сидел без движения. Версилов был взволнован даже не меньше его: он молча подошел к маме и крепко обнял ее; затем мама подошла, и тоже молча, к Макару Ивановичу и поклонилась ему в ноги.

Одним словом, сцена вышла потрясающая; в комнате на сей раз были мы только все свои, даже Татьяны Павловны не было. Лиза как-то выпрямилась вся на месте и молча слушала; вдруг встала и твердо сказала Макару Ивановичу:

— Благословите и меня, Макар Иванович, на большую муку. Завтра решится вся судьба моя... а вы сегодня обо мне помолитесь.

И вышла из комнаты. Я знаю, что Макару Ивановичу уже известно было о ней всё от мамы. Но я в первый раз еще в этот вечер увидал Версилова и маму вместе; до сих пор я видел подле него лишь рабу его. Страшно много еще не знал я и не приметил в этом человеке, которого уже осудил, а потому воротился к себе смущенный. И надо так сказать, что именно к этому времени сгустились все недоумения мои о нем; никогда еще не представлялся он мне столь таинственным и неразгаданным, как в то именно время; но об этом-то и вся история, которую пишу; всё в свое время.

«Однако, — подумал я тогда про себя, уже ложась спать, — выходит, что он дал Макару Ивановичу свое „дворянское слово“ обвенчаться с мамой в случае ее вдовства. Он об этом умолчал, когда рассказывал мне прежде о Макаре Ивановиче».

Назавтра Лиза не была весь день дома, а возвратясь уже довольно поздно, прошла прямо к Макару Ивановичу. Я было не хотел входить, чтоб не мешать им, но, вскоре заметив, что там уж и мама и Версилов, вошел. Лиза сидела подле старика и плакала

на его плече, а тот, с печальным лицом, молча гладил ее по головке.

Версилов объяснил мне (уже потом у меня), что князь настоял на своем и положил обвенчаться с Лизой при первой возможности, еще до решения суда. Лизе трудно было решиться, хотя не решиться она уже почти не имела права. Да и Макар Иванович «приказывал» венчаться. Разумеется, всё бы это обошлось потом само собой и обвенчалась бы она несомненно и сама без приказаний и колебаний, но в настоящую минуту она так была оскорблена тем, кого любила, и так унижена была этою любовью даже в собственных глазах своих, что решиться ей было трудно. Но, кроме оскорбления, примешалось и новое обстоятельство, которого я и подозревать не мог.

— Ты слышал, вся эта молодежь с Петербургской вчера арестована? — прибавил вдруг Версилов.

— Как? Дергачев? — вскричал я.

— Да; и Васин тоже.

Я был поражен, особенно услышав о Васине.

— Да разве он в чем-нибудь замешан? Боже мой, что с ними теперь будет? И как нарочно в то самое время, как Лиза так обвинила Васина!.. Как вы думаете, что с ними может быть? Тут Стебельков! Клянусь вам, тут Стебельков!

— Оставим, — сказал Версилов, странно посмотрев на меня (именно так, как смотрят на человека непонимающего и неугадывающего), — кто знает, что у них там есть, и кто может знать, что с ними будет? Я не про то: я слышал, ты завтра хотел бы выйти. Не зайдешь ли к князю Сергею Петровичу?

— Первым делом; хоть, признаюсь, мне это очень тяжело. А что, вам не надо ли передать чего?

— Нет, ничего. Я сам увижусь. Мне жаль Лизу. И что может посоветовать ей Макар Иванович? Он сам ничего не смыслит ни в людях, ни в жизни. Вот что еще, мой милый (он меня давно не называл «мой милый»), тут есть тоже... некоторые молодые люди... из которых один твой бывший товарищ, Ламберт... Мне кажется, всё это — большие мерзавцы... Я только, чтоб предупредить тебя... Впрочем, конечно, всё это твое дело, и я понимаю, что не имею права...

— Андрей Петрович, — схватил я его за руку, не подумав и почти в вдохновении, как часто со мною случается (дело было почти в темноте), — Андрей Петрович, я молчал, — ведь вы видели это, — я всё молчал до сих пор, знаете для чего? Для того, чтоб избегнуть ваших тайн. Я прямо положил их не знать никогда. Я — трус, я боюсь, что ваши тайны вырвут вас из моего сердца уже совсем, а я не хочу этого. А коли так, то зачем бы и вам знать мои секреты? Пусть бы и вам всё равно, куда бы я ни пошел! Не так ли?

— Ты прав, но ни слова более, умоляю тебя! — проговорил он и вышел от меня. Таким образом, мы нечаянно и капельку

объяснились. Но он только прибавил к моему волнению перед новым завтрашним шагом в жизни, так что я всю ночь спал, беспрерывно просыпаясь; но мне было хорошо.

III

На другой день я вышел из дому, хоть и в десять часов дня, но изо всех сил постарался уйти потихоньку, не простившись и не сказавшись; так сказать, ускользнул. Для чего так сделал — не знаю, но если б даже мама подглядела, что я выхожу, и заговорила со мной, то я бы ответил ей какой-нибудь злостью. Когда я очутился на улице и дохнул уличного холодного воздуху, то так и вздрогнул от сильнейшего ощущения — почти животного и которое я назвал бы *плотоядным*. Для чего я шел, куда я шел? Это было совершенно неопределенно и в то же время *плотоядно*. И страшно мне было и радостно — всё вместе.

«А опачкаюсь я или не опачкаюсь сегодня?» — молодцевато подумал я про себя, хотя слишком знал, что раз сделанный сегодняшний шаг будет уже решительным и непоправимым на всю жизнь. Но нечего говорить загадками.

Я прямо пришел в тюрьму князя. Я уже три дня как имел от Татьяны Павловны письмецо к смотрителю, и тот принял меня прекрасно. Не знаю, хороший ли он человек, и это, я думаю, лишнее; но свидание мое с князем он допустил и устроил в своей комнате, любезно уступив ее нам. Комната была как комната — обыкновенная комната на казенной квартире у чиновника известной руки, — это тоже, я думаю, лишнее описывать. Таким образом, с князем мы остались одни.

Он вышел ко мне в каком-то полувоенном домашнем костюме, но в чистейшем белье, в щеголеватом галстухе, вымытый и причесанный, вместе с тем ужасно похудевший и пожелтевший. Эту желтизну я заметил даже в глазах его. Одним словом, он так переменился на вид, что я остановился даже в недоумении.

— Как вы изменились! — вскричал я.

— Это ничего! Садитесь, голубчик, — полуфатски показал он мне на кресло, и сам сел напротив. — Перейдем к главному: видите, мой милый Алексей Макарович...

— Аркадий, — поправил я.

— Что? Ах да; ну-ну, всё равно. Ах да! — сообразил он вдруг,— извините, голубчик, перейдем к главному...

Одним словом, он ужасно торопился к чему-то перейти. Он был весь чем-то проникнут, с ног до головы, какою-то главнейшею идеей, которую желал формулировать и мне изложить. Он говорил ужасно много и скоро, с напряжением и страданием разъясняя и жестикулируя, но в первые минуты я решительно ничего не понимал.

— Короче сказать (он уже десять раз перед тем употребил слово «короче сказать»), короче сказать, — заключил он, —

если я вас, Аркадий Макарович, потревожил и так настоятельно позвал вчера через Лизу, то хоть это и пожар, но так как сущность решения должна быть чрезвычайная и окончательная, то мы...

— Позвольте, князь, — перебил я, — вы звали меня вчера?— Мне Лиза ровно ничего не передавала.

— Как! — вскричал он, вдруг останавливаясь в чрезвычайном недоумении, даже почти в испуге.

— Она мне ровно ничего не передавала. Она вечером вчера пришла такая расстроенная, что не успела даже сказать со мной слова.

Князь вскочил со стула.

— Неужели вы вправду, Аркадий Макарович? В таком случае это... это...

— Да что ж тут, однако, такого? Чего вы так беспокоитесь? Просто забыла, или что-нибудь...

Он сел, но на него нашел как бы столбняк. Казалось, известие о том, что Лиза мне ничего не передала, просто придавило его. Он быстро вдруг заговорил и замахал руками, но опять ужасно трудно было понять.

— Постойте! — проговорил он вдруг, умолкая и подымая кверху палец, — постойте, это... это... если только не ошибусь... это — штуки-с!.. — пробормотал он с улыбкою маньяка, — и значит, что...

— Это ровно ничего не значит! — перебил я, — и не понимаю только, почему такое пустое обстоятельство вас так мучит... Ах, князь, с тех пор, с той самой ночи, — помните...

— С какой ночи и что? — капризно крикнул он, явно досадуя, что я перебил.

— У Зерщикова, где мы виделись в последний раз, ну вот перед вашим письмом? Вы тогда тоже были в ужасном волнении, но тогда и теперь — это такая разница, что я даже ужасаюсь на вас... Или вы не помните?

— Ах да, — произнес он голосом светского человека, и как бы вдруг припомнив, — ах да! Тот вечер... Я слышал... Ну как ваше здоровье и как вы теперь сами после всего этого, Аркадий Макарович?.. Но, однако, перейдем к главному. Я, видите ли, собственно преследую три цели; три задачи передо мной, и я...

Он быстро заговорил опять о своем «главном». Я понял наконец, что вижу перед собой человека, которому сейчас же надо бы приложить по крайней мере полотенце с уксусом к голове, если не отворить кровь. Весь бессвязный разговор его, разумеется, вертелся насчет процесса, насчет возможного исхода; насчет того еще, что навестил его сам командир полка и что-то долго ему отсоветовал, но он не послушался; насчет записки, им только что и куда-то поданной; насчет прокурора; о том, что его, наверно, сошлют, по лишении прав, куда-нибудь в северную полосу России; о возможности колонизоваться и выслужиться в Ташкенте; о том, что научит своего сына (будущего, от Лизы) тому-то и передаст

ему то-то, «в глуши, в Архангельске, в Холмогорах». «Если я пожелал вашего мнения, Аркадий Макарович, то поверьте, я так дорожу чувством... Если б вы знали, если б вы знали, Аркадий Макарович, милый мой, брат мой, что́ значит мне Лиза, что́ значила она мне здесь, теперь, всё это время!» — вскричал он вдруг, схватываясь обеими руками за голову.

— Сергей Петрович, неужели вы ее погубите и увезете с собой? В Холмогоры! — вырвалось у меня вдруг неудержимо. Жребий Лизы с этим маньяком на весь век — вдруг ясно и как бы в первый раз предстал моему сознанию. Он поглядел на меня, снова встал, шагнул, повернулся и сел опять, всё придерживая голову руками.

— Мне всё пауки снятся! — сказал он вдруг.

— Вы в ужасном волнении, я бы вам советовал, князь, лечь и сейчас же потребовать доктора.

— Нет, позвольте, это потом. Я, главное, просил вас к себе, чтоб разъяснить вам насчет венчания. Венчание, вы знаете, произойдет здесь же в церкви, я уже говорил. На всё это дано согласие, и они даже поощряют... Что же до Лизы, то...

— Князь, помилуйте Лизу, милый, — вскричал я, — не мучьте ее по крайней мере хоть теперь, не ревнуйте!

— Как! — вскричал он, смотря на меня почти вытаращенными глазами в упор и скосив всё лицо в какую-то длинную, бессмысленно-вопросительную улыбку. Видно было, что слово «не ревнуйте» почему-то страшно его поразило.

— Простите, князь, я нечаянно. О князь, в последнее время я узнал одного старика, моего названого отца... О, если б вы его видели, вы бы спокойнее... Лиза тоже так ценит его.

— Ах да, Лиза... ах да, это — ваш отец? Или... pardon, mon cher,[1] что-то такое... Я помню... она передавала... старичок... Я уверен, я уверен. Я тоже знал одного старичка... Mais passons,[2] главное, чтоб уяснить всю суть момента, надо...

Я встал, чтоб уйти. Мне больно было смотреть на него.

— Я не понимаю! — строго и важно произнес он, видя, что я встаю уходить.

— Мне больно смотреть на вас, — сказал я.

— Аркадий Макарович, одно слово, еще одно слово! — ухватил он меня вдруг за плечи совсем с другим видом и жестом и усадил в кресло. — Вы слышали про этих, понимаете? — наклонился он ко мне.

— Ах да, Дергачев. Тут, наверно, Стебельков! — вскричал я, не удержавшись.

— Да, Стебельков и... вы не знаете?

Он осекся и опять уставился в меня с теми же вытаращенными глазами и с тою же длинною, судорожною, бессмысленно-вопрошающей улыбкой, раздвигавшейся всё более и более. Лицо

---

[1] простите, мой дорогой *(франц.)*.
[2] Но оставим это *(франц.)*.

его постепенно бледнело. Что-то вдруг как бы сотрясло меня: я вспомнил вчерашний взгляд Версилова, когда он передавал мне об аресте Васина.

— О, неужели? — вскричал я испуганно.

— Видите, Аркадий Макарович, я затем вас и звал, чтоб объяснить... я хотел... — быстро зашептал было он.

— Это вы донесли на Васина! — вскричал я.

— Нет; видите ли, там была рукопись. Васин перед самым последним днем передал Лизе... сохранить. А та оставила мне здесь проглядеть, а потом случилось, что они поссорились на другой день...

— Вы представили по начальству рукопись!

— Аркадий Макарович, Аркадий Макарович!

— Итак, вы, — вскричал я, вскакивая и отчеканивая слова, — вы, без всякого иного побуждения, без всякой другой цели, а единственно потому, что несчастный Васин — *ваш соперник*, единственно только из ревности, вы передали *вверенную Лизе рукопись*... передали кому? Кому? Прокурору?

Но он не успел ответить, да и вряд ли бы что ответил, потому что стоял передо мной как истукан всё с тою же болезненною улыбкой и неподвижным взглядом; но вдруг отворилась дверь, и вошла Лиза. Она почти обмерла, увидев нас вместе.

— Ты здесь? Так ты здесь? — вскричала она с исказившимся вдруг лицом и хватая меня за руки, — так ты... *знаешь*?

Но она уже прочла в лице моем, что я «знаю». Я быстро неудержимо обнял ее, крепко, крепко! И в первый раз только я постиг в ту минуту, во всей силе, какое безвыходное, бесконечное горе без рассвета легло навек над всей судьбой этой... добровольной искательницы мучений!

— Да разве можно с ним говорить теперь? — оторвалась она вдруг от меня. — Разве можно с ним быть? Зачем ты здесь? Посмотри на него, посмотри! И разве можно, можно судить его?

Бесконечное страдание и сострадание были в лице ее, когда она, восклицая, указывала на несчастного. Он сидел в кресле, закрыв лицо руками. И она была права: это был человек в белой горячке и безответственный; и, может быть, еще три дня тому уже безответственный. Его в то же утро положили в больницу, а к вечеру у него уже было воспаление в мозгу.

IV

От князя, оставив его тогда с Лизою, я, около часу пополудни, заехал на прежнюю мою квартиру. Я забыл сказать, что день был сырой, тусклый, с начинавшеюся оттепелью и с теплым ветром, способным расстроить нервы даже у слона. Хозяин встретил меня обрадовавшись, заметавшись и закидавшись, чего я страх не люблю именно в такие минуты. Я обошелся сухо и прямо прошел

к себе, но он последовал за мной, и хоть не смел расспрашивать, но любопытство так и сияло в глазах его, притом смотрел как уже имеющий даже какое-то право быть любопытным. Я должен был обойтись вежливо для своей же выгоды; но хотя мне слишком необходимо было кое-что узнать (и я знал, что узнаю), но всё же было противно начать расспросы. Я осведомился о здоровье жены его, и мы сходили к ней. Та встретила меня хоть и внимательно, но с чрезвычайно деловым и неразговорчивым видом; это меня несколько примирило. Короче, я узнал в тот раз весьма чудные вещи.

Ну, разумеется, был Ламберт, но потом он приходил еще два раза и «осмотрел все комнаты», говоря, что, может, наймет. Приходила несколько раз Настасья Егоровна, эта уж бог знает зачем. «Очень тоже любопытствовала», — прибавил хозяин, но я не утешил его, не спросил, о чем она любопытствовала. Вообще, я не расспрашивал, а говорил лишь он, а я делал вид, что роюсь в моем чемодане (в котором почти ничего и не оставалось). Но всего досаднее было, что он тоже вздумал играть в таинственность и, заметив, что я удерживаюсь от расспросов, почел тоже обязанностью стать отрывочнее, почти загадочным.

— Барышня тоже бывала, — прибавил он, странно смотря на меня.

— Какая барышня?

— Анна Андреевна; два раза была; с моей женой познакомилась. Очень милая особа, очень приятная. Такое знакомство даже слишком можно оценить, Аркадий Макарович... — И выговорив, он даже сделал ко мне шаг: очень уж ему хотелось, чтоб я что-то понял.

— Неужели два раза? — удивился я.

— Во второй раз вместе с братцем приезжала.

«Это с Ламбертом», — подумалось мне вдруг невольно.

— Нет-с, не с господином Ламбертом, — так и угадал он сразу, точно впрыгнул в мою душу своими глазами, — а с ихним братцем, действительным, молодым господином Версиловым. Камер-юнкер ведь, кажется?

Я был очень смущен; он смотрел, ужасно ласково улыбаясь.

— Ах, вот еще кто был, вас спрашивал — эта мамзель, француженка, мамзель Альфонсина де Вердень. Ах как поет хорошо и декламирует тоже прекрасно в стихах! Потихоньку к князю Николаю Ивановичу тогда проезжала, в Царское, собачку, говорит, ему продать редкую, черненькую, вся в кулачок...

Я попросил его оставить меня одного, отговорившись головною болью. Он мигом удовлетворил меня, даже не докончив фразы, и не только без малейшей обидчивости, но почти с удовольствием, таинственно помахав рукой и как бы выговаривая: «Понимаю-с, понимаю-с», и хоть не проговорил этого, но зато из комнаты вышел на цыпочках, доставил себе это удовольствие. Есть очень досадные люди на свете.

Я просидел один, обдумывая часа полтора; не обдумывая, впрочем, а лишь задумавшись. Хоть я был и смущен, но зато нимало не удивлен. Я даже ждал еще пуще чего-нибудь, еще бо́льших чудес. «Может, они теперь уж и натворили их», — подумал я. Я твердо и давно был уверен, еще дома, что машина у них заведена и в полном ходу. «Меня только им недостает, вот что», — подумал я опять, с каким-то раздражительным и приятным самодовольством. Что они ждут меня изо всех сил и что-то в моей квартире затевают устроить — было ясно как день. «Уж не свадьбу ли старого князя? на него целая облава. Только позволю ли я, господа, вот что-с?» — заключил я опять с надменным удовольствием.

«Раз начну и тотчас опять в водоворот затянусь, как щепка. Свободен ли я теперь, сейчас, или уж не свободен? Могу ли я еще, воротясь сегодня вечером к маме, сказать себе, как во все эти дни: „Я сам по себе“?».

Вот эссенция моих вопросов или, лучше сказать, биений сердца моего, в те полтора часа, которые я просидел тогда в углу на кровати, локтями в колена, а ладонями подпирая голову. Но ведь я знал, я знал уже и тогда, что все эти вопросы — совершенный вздор, а что влечет меня лишь *она*, — она и она одна! Наконец-то выговорил это прямо и прописал пером на бумаге, ибо даже теперь, когда пишу, год спустя, не знаю еще, как назвать тогдашнее чувство мое по имени!

О, мне было жаль Лизу, и в сердце моем была самая нелицемерная боль! Уж одно бы это чувство боли за нее могло бы, кажется, смирить или стереть во мне, хоть на время, *плотоядность* (опять поминаю это слово). Но меня влекло безмерное любопытство, и какой-то страх, и еще какое-то чувство — не знаю какое; но знаю и знал уже и тогда, что оно было недоброе. Может быть, я стремился пасть к *ее* ногам, а может быть, хотел бы предать ее на все муки и что-то «поскорей, поскорей» доказать ей. Никакая боль и никакое сострадание к Лизе не могли уже остановить меня. Ну мог ли я встать и уйти домой... к Макару Ивановичу?

«А разве нельзя только пойти к ним, разузнать от них обо всем и вдруг уйти от них навсегда, пройдя безвредно мимо чудес и чудовищ?»

В три часа, схватившись и сообразив, что почти опоздал, я поскорее вышел, схватил извозчика и полетел к Анне Андреевне.

Глава пятая

I

Анна Андреевна, лишь только обо мне доложили, бросила свое шитье и поспешно вышла встретить меня в первую свою комнату — чего прежде никогда не случалось. Она протянула мне обе руки и быстро покраснела. Молча провела она меня к себе,

подсела опять к своему рукоделью, меня посадила подле; но за шитье уже не принималась, а всё с тем же горячим участием продолжала меня разглядывать, не говоря ни слова.

— Вы ко мне присылали Настасью Егоровну, — начал я прямо, несколько тяготясь таким уж слишком эффектным участием, хотя оно мне было приятно.

Она вдруг заговорила, не ответив на мой вопрос.

— Я всё слышала, я всё знаю. Эта ужасная ночь... О, сколько вы должны были выстрадать! Правда ли, правда ли, что вас нашли уже без чувств, на морозе?

— Это вам... Ламберт... — пробормотал я, краснея.

— Я от него тогда же всё узнала; но я ждала вас. О, он пришел ко мне испуганный! На вашей квартире... там, где вы лежали больной, его не хотели к вам допустить... и странно встретили... Я, право, не знаю, как это было, но он рассказал мне всё об той ночи: он говорил, что вы, даже едва очнувшись, упоминали уже ему обо мне и... об вашей преданности ко мне. Я была тронута до слез, Аркадий Макарович, и даже не знаю, чем заслужила такое горячее участие с вашей стороны, и еще в таком положении, в каком вы были сами! Скажите, господин Ламберт — ваш товарищ детства?

— Да, но этот случай... я признаюсь, был неосторожен и, может быть, насказал ему тогда слишком много.

— О, об этой черной, ужасной интриге я узнала бы и без него! Я всегда, всегда предчувствовала, что они вас доведут до этого. Скажите, правда ли, что Бьоринг осмелился поднять на вас руку?

Она говорила так, как будто чрез одного Бьоринга и чрез *нее* я и очутился под забором. А ведь она права, подумалось мне, но я вспыхнул:

— Если б он на меня поднял руку, то не ушел бы ненаказанный, и я бы не сидел теперь перед вами, не отомстив, — ответил я с жаром. Главное, мне показалось, что она хочет меня для чего-то раздразнить, против кого-то возбудить (впрочем, известно — против кого); и все-таки я поддался.

— Если вы говорите, что вы предвидели, что меня доведут *до этого*, то со стороны Катерины Николаевны, разумеется, было лишь недоумение... хотя правда и то, что она слишком уж скоро променяла свои добрые чувства ко мне на это недоумение...

— То-то и есть, что уж слишком скоро! — подхватила Анна Андреевна с каким-то даже восторгом сочувствия. — О, если б вы знали, какая там теперь интрига! Конечно, Аркадий Макарович, вам трудно теперь понять всю щекотливость моего положения, — произнесла она, покраснев и потупившись. — С тех пор, в то самое утро, как мы с вами в последний раз виделись, я сделала тот шаг, который не всякий способен понять и разобрать так, как бы понял его человек с вашим незараженным еще умом, с вашим любящим, неиспорченным, свежим сердцем. Будьте уверены, друг мой, что я способна оценить вашу ко мне преданность и заплачу

вам вечною благодарностью. В свете, конечно, подымут на меня камень и подняли уже. Но если б даже они были правы, с своей гнусной точки зрения, то кто бы мог, кто бы смел из них даже и тогда осудить меня? Я оставлена отцом моим с детства; мы, Версиловы, древний, высокий русский род, мы — проходимцы, и я ем чужой хлеб из милости. Не естественно ли мне было обратиться к тому, кто еще с детства заменял мне отца, чьи милости я видела на себе столько лет? Мои чувства к нему видит и судит один только бог, и я не допускаю светского суда над собою в сделанном мною шаге! Когда же тут, сверх того, самая коварная, самая мрачная интрига и доверчивого, великодушного отца сговорилась погубить его же собственная дочь, то разве это можно снести? Нет, пусть сгублю даже репутацию мою, но спасу его! Я готова жить у него просто в няньках, быть его сторожем, сиделкой, но не дам восторжествовать холодному, светскому, мерзкому расчету!

Она говорила с необыкновенным одушевлением, очень может быть, что наполовину напускным, но все-таки искренним, потому что видно было, до какой степени затянулась она вся в это дело. О, я чувствовал, что она лжет (хоть и искренно, потому что лгать можно и искренно) и что она теперь дурная; но удивительно, как бывает с женщинами: этот вид порядочности, эти высшие формы, эта недоступность светской высоты и гордого целомудрия — всё это сбило меня с толку, и я стал соглашаться с нею во всем, то есть пока у ней сидел; по крайней мере — не решился противоречить. О, мужчина в решительном нравственном рабстве у женщины, особенно если великодушен! Такая женщина может убедить в чем угодно великодушного. «Она и Ламберт — боже мой!» — думал я, в недоумении смотря на нее. Впрочем, скажу всё: я даже до сих пор не умею судить ее; чувства ее действительно мог видеть один только бог, а человек к тому же — такая сложная машина, что ничего не разберешь в иных случаях, и вдобавок к тому же, если этот человек — женщина.

— Анна Андреевна, чего именно вы от меня ждете? — спросил я, однако, довольно решительно.

— Как? Что значит ваш вопрос, Аркадий Макарович?

— Мне кажется по всему... и по некоторым другим соображениям... — разъяснял я путаясь, — что вы присылали ко мне, чего-то от меня ожидая; так чего же именно?

Не отвечая на вопрос, она мигом заговорила опять, так же скоро и одушевленно:

— Но я не могу, я слишком горда, чтоб входить в объяснения и сделки с неизвестными лицами, как господин Ламберт! Я ждала вас, а не господина Ламберта. Мое положение — крайнее, ужасное, Аркадий Макарович! Я обязана хитрить, окруженная происками этой женщины, — а это мне нестерпимо. Я унижаюсь почти до интриги и ждала вас как спасителя. Нельзя винить меня за то, что я жадно смотрю кругом себя, чтоб отыскать хоть одного друга,

а потому я и не могла не обрадоваться другу: тот, кто мог даже в ту ночь, почти замерзая, вспоминать обо мне и повторять одно только мое имя, тот, уж конечно, мне предан. Так думала я всё это время, а потому на вас и надеялась.

Она с нетерпеливым вопросом смотрела мне в глаза. И вот у меня опять недостало духу разуверить ее и объяснить ей прямо, что Ламберт ее обманул и что я вовсе не говорил тогда ему, что уж так ей особенно предан, и вовсе не вспоминал «одно только ее имя». Таким образом, молчанием моим я как бы подтвердил ложь Ламберта. О, она ведь и сама, я уверен, слишком хорошо понимала, что Ламберт преувеличил и даже просто налгал ей, единственно чтоб иметь благовидный предлог явиться к ней и завязать с нею сношения; если же смотрела мне в глаза, как уверенная в истине моих слов и моей преданности, то, конечно, знала, что я не посмею отказаться, так сказать, из деликатности и по моей молодости. А впрочем, прав я в этой догадке или не прав — не знаю. Может быть, я ужасно развращен.

— За меня заступится брат мой, — произнесла она вдруг с жаром, видя, что я не хочу ответить.

— Мне сказали, что вы были с ним у меня на квартире, — пробормотал я в смущении.

— Да ведь несчастному князю Николаю Ивановичу почти и некуда спастись теперь от всей этой интриги или, лучше сказать, от родной своей дочери, кроме как на вашу квартиру, то есть на квартиру друга; ведь вправе же он считать вас по крайней мере хоть другом!.. И тогда, если вы только захотите что-нибудь сделать в его пользу, то сделайте это — если только можете, если только в вас есть великодушие и смелость... и, наконец, если и вправду вы *что-то можете сделать*. О, это не для меня, не для меня, а для несчастного старика, который один только любил вас искренно, который успел к вам привязаться сердцем, как к своему сыну, и тоскует о вас даже до сих пор! Себе же я ничего не жду, даже от вас, — если даже родной отец сыграл со мною такую коварную, такую злобную выходку!

— Мне кажется, Андрей Петрович... — начал было я.

— Андрей Петрович, — прервала она с горькой усмешкой, — Андрей Петрович на мой прямой вопрос ответил мне тогда честным словом, что никогда не имел ни малейших намерений на Катерину Николаевну, чему я вполне и поверила, делая шаг мой; а между тем оказалось, что он спокоен лишь до первого известия о каком-нибудь господине Бьоринге.

— Тут не то! — вскричал я, — было мгновение, когда и я было поверил его любви к этой женщине, но это не то... Да если б даже и то, то ведь, кажется, теперь он уже мог бы быть совершенно спокоен... за отставкой этого господина.

— Какого господина?

— Бьоринга.

— Кто же вам сказал об отставке? Может быть, никогда этот господин не был в такой силе, — язвительно усмехнулась она; мне даже показалось, что она посмотрела и на меня насмешливо.

— Мне говорила Настасья Егоровна, — пробормотал я в смущении, которое не в силах был скрыть и которое она слишком заметила.

— Настасья Егоровна — очень милая особа, и, уж конечно, я не могу ей запретить любить меня, но она не имеет никаких средств знать о том, что до нее не касается.

Сердце мое заныло; и так как она именно рассчитывала возжечь мое негодование, то негодование вскипело во мне, но не *к той* женщине, а пока лишь к самой Анне Андреевне. Я встал с места.

— Как честный человек, я должен предупредить вас, Анна Андреевна, что ожидания ваши... насчет меня... могут оказаться в высшей степени напрасными...

— Я ожидаю, что вы за меня заступитесь, — твердо поглядела она на меня, — за меня, всеми оставленную... за вашу сестру, если хотите того, Аркадий Макарович!

Еще мгновение, и она бы заплакала.

— Ну, так лучше не ожидайте, потому что, «может быть», ничего не будет, — пролепетал я с невыразимо тягостным чувством.

— Как понимать мне ваши слова? — проговорила она как-то слишком уж опасливо.

— А так, что я уйду от вас всех, и — баста! — вдруг воскликнул я почти в ярости, — а *документ* — разорву. Прощайте!

Я поклонился ей и вышел молча, в то же время почти не смея взглянуть на нее; но не сошел еще с лестницы, как догнала меня Настасья Егоровна с сложенным вдвое полулистом почтовой бумаги. Откуда взялась Настасья Егоровна и где она сидела, когда я говорил с Анной Андреевной, — даже понять не могу. Она не сказала ни словечка, а только отдала бумажку и убежала назад. Я развернул листок: на нем четко и ясно был написан адрес Ламберта, а заготовлен был, очевидно, еще за несколько дней. Я вдруг вспомнил, что когда была у меня тогда Настасья Егоровна, то я проговорился ей, что не знаю, где живет Ламберт, но в том только смысле, что «не знаю и знать не хочу». Но адрес Ламберта в настоящую минуту я уже знал через Лизу, которую нарочно попросил справиться в адресном столе. Выходка Анны Андреевны показалась мне слишком уж решительною, даже циническою: несмотря на мой отказ содействовать ей, она, как бы не веря мне ни на грош, прямо посылала меня к Ламберту. Мне слишком ясно стало, что она узнала уже всё о документе — и от кого же как не от Ламберта, к которому потому и посылала меня сговариваться?

«Решительно они все до единого принимают меня за мальчишку без воли и без характера, с которым всё можно сделать!» — подумал я с негодованием.

II

Тем не менее я все-таки пошел к Ламберту. Где же было мне справиться с тогдашним моим любопытством? Ламберт, как оказалось, жил очень далеко, в Косом переулке, у Летнего сада, впрочем всё в тех же нумерах; но тогда, когда я бежал от него, я до того не заметил дороги и расстояния, что, получив, дня четыре тому назад, его адрес от Лизы, даже удивился и почти не поверил, что он там живет. У дверей в нумера, в третьем этаже, еще подымаясь по лестнице, я заметил двух молодых людей и подумал, что они позвонили раньше меня и ждали, когда отворят. Пока я подымался, они оба, обернувшись спиной к дверям, тщательно меня рассматривали. «Тут нумера, и они, конечно, к другим жильцам», — нахмурился я, подходя к ним. Мне было бы очень неприятно застать у Ламберта кого-нибудь. Стараясь не глядеть на них, я протянул руку к звонку.

— Атанде! — крикнул мне один.

— Пожалуйста, подождите звонить, — звонким и нежным голоском и несколько протягивая слова проговорил другой молодой человек. — Мы вот кончим и тогда позвоним все вместе, хотите?

Я остановился. Оба были еще очень молодые люди, так лет двадцати или двадцати двух; они делали тут у дверей что-то странное, и я с удивлением старался вникнуть. Тот, кто крикнул «атанде», был малый очень высокого роста, вершков десяти, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, с очень небольшой, по росту, головой и с странным, каким-то комически мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. Он был одет очень скверно: в старую шинель на вате, с вылезшим маленьким енотовым воротником, и не по росту короткую — очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порыжевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху: руки, без перчаток, были грязные, а длинные ногти — в трауре. Напротив, товарищ его был одет щегольски, судя по легкой ильковой шубе, по изящной шляпе и по светлым свежим перчаткам на тоненьких его пальчиках; ростом он был с меня, но с чрезвычайно милым выражением на своем свежем и молоденьком личике.

Длинный парень стаскивал с себя галстух — совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесемку, а миловидный мальчик, вынув из кармана другой, новенький черный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьезным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч.

— Нет, это нельзя, если такая грязная рубашка, — проговорил надевавший, — не только не будет эффекта, но покажется еще грязней. Ведь я тебе сказал, чтоб ты воротнички надел. Я не умею... вы не сумеете? — обратился он вдруг ко мне.

— Чего? — спросил я.

— А вот, знаете, повязать ему галстух. Видите ли, надобно как-нибудь так, чтобы не видно было его грязной рубашки, а то пропадет весь эффект, как хотите. Я нарочно ему галстух у Филиппа-парикмахера сейчас купил, за рубль.

— Это ты — тот рубль? — пробормотал длинный.

— Да, тот; у меня теперь ни копейки. Так не умеете? В таком случае надо будет попросить Альфонсинку.

— К Ламберту? — резко спросил меня вдруг длинный.

— К Ламберту, — ответил я с не меньшею решимостью, смотря ему в глаза.

— Dolgorowky? — повторил он тем же тоном и тем же голосом.

— Нет, не Коровкин, — так же резко ответил я, расслышав ошибочно.

— Dolgorowky?! — почти прокричал, повторяя, длинный и надвигаясь на меня почти с угрозой. Товарищ его расхохотался.

— Он говорит Dolgorowky, а не Коровкин, — пояснил он мне. — Знаете, французы в «Journal des Débats» часто коверкают русские фамилии...

— В «Indépendance», — промычал длинный.

— ...Ну всё равно и в «Indépendance». Долгорукого, например, пишут Dolgorowky — я сам читал, а В—ва всегда comte Wallonieff.

— Doboyny! — крикнул длинный.

— Да, вот тоже есть еще какой-то Doboyny; я сам читал, и мы оба смеялись: какая-то русская madame Doboyny, за границей... только, видишь ли, чего же всех-то поминать? — обернулся он вдруг к длинному.

— Извините, вы — господин Долгорукий?

— Да, я — Долгорукий, а вы почему знаете?

Длинный вдруг шепнул что-то миловидному мальчику, тот нахмурился и сделал отрицательный жест; но длинный вдруг обратился ко мне:

— Monseigneur le prince, vous n'avez pas de rouble d'argent pour nous, pas deux, mais un seul, voulez-vous? [1]

— Ах, какой ты скверный, — крикнул мальчик.

— Nous vous rendons, [2] — заключил длинный, грубо и неловко выговаривая французские слова.

— Он, знаете, — циник, — усмехнулся мне мальчик, — и вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин говорит, а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собою по-французски, а сами не умеют...

---

[1] Князь, у вас нет ли для нас рубля серебром, не двух, а одного, идет? *(франц.)*

[2] Мы вам вернем *(франц.)*.

— Dans les wagons, [1] — пояснил длинный.

— Ну да, и в вагонах; ах, какой ты скучный! нечего пояснять-то. Вот тоже охота прикидываться дураком.

Я между тем вынул рубль и протянул длинному.

— Nous vous rendons, — проговорил тот, спрятал рубль и, вдруг повернувшись к дверям, с совершенно неподвижным и серьезным лицом, принялся колотить в них концом своего огромного грубого сапога и, главное, без малейшего раздражения.

— Ах, опять ты подерешься с Ламбертом! — с беспокойством заметил мальчик. — Позвоните уж вы лучше!

Я позвонил, но длинный все-таки продолжал колотить сапогом.

— Ah, sacré... [2] — послышался вдруг голос Ламберта из-за дверей, и он быстро отпер.

— Dites donc, voulez-vous que je vous casse la tête, mon ami! [3]— крикнул он длинному.

— Mon ami, voilà Dolgorowky, l'autre mon ami, [4] — важно и серьезно проговорил длинный, в упор смотря на покрасневшего от злости Ламберта. Тот, лишь увидел меня, тотчас же как бы весь преобразился.

— Это ты, Аркадий! Наконец-то! Ну, так ты здоров же, здоров наконец?

Он схватил меня за руки, крепко сжимая их; одним словом, он был в таком искреннем восхищении, что мне мигом стало ужасно приятно, и я даже полюбил его.

— К тебе первому!

— Alphonsine! — закричал Ламберт.

Та мигом выпрыгнула из-за ширм.

— Le voilà! [5]

— C'est lui! [6] — воскликнула Альфонсина, всплеснув руками и вновь распахнув их, бросилась было меня обнимать, но Ламберт меня защитил.

— Но-но-но, тубо́! — крикнул он на нее, как на собачонку. — Видишь, Аркадий: нас сегодня несколько парней сговорились пообедать у татар. Я уж тебя не выпущу, поезжай с нами. Пообедаем; я этих тотчас же в шею — и тогда наболтаемся. Да входи, входи! Мы ведь сейчас и выходим, минутку только постоять...

Я вошел и стал посреди той комнаты, оглядываясь и припоминая. Ламберт за ширмами наскоро переодевался. Длинный и его товарищ прошли тоже вслед за нами, несмотря на слова Ламберта. Мы все стояли.

---

[1] В вагонах *(франц.)*.
[2] А, проклятый ... *(франц.)*
[3] Послушайте, друг мой, вы что, хотите, чтобы я проломил вам голову! *(франц.)*
[4] Друг мой, вот Долгоровкий, другой мой друг *(франц.)*.
[5] Вот он! *(франц.)*
[6] Это он! *(франц.)*

— Mademoiselle Alphonsine, voulez-vous me baiser? [1] — промычал длинный.

— Mademoiselle Alphonsine, — подвинулся было младший, показывая ей галстучек, но она свирепо накинулась на обоих.

— Ah, le petit vilain! [2] — крикнула она младшему, — ne m'approchez pas, ne me salissez pas, et vous, le grand dadais, je vous flanque à la porte tous les deux, savez-vous cela! [3]

Младший, несмотря на то что она презрительно и брезгливо от него отмахивалась, как бы в самом деле боясь об него запачкаться (чего я никак не понимал, потому что он был такой хорошенький и оказался так хорошо одет, когда сбросил шубу), — младший настойчиво стал просить ее повязать своему длинному другу галстух, а предварительно повязать ему чистые воротнички из Ламбертовых. Та чуть не кинулась бить их от негодования при таком предложении, но Ламберт, вслушавшись, крикнул ей из-за ширм, чтоб она не задерживала и сделала, что просят, «а то не отстанут», прибавил он, и Альфонсина мигом схватила воротничок и стала повязывать длинному галстух, без малейшей уже брезгливости. Тот, точно так же как на лестнице, вытянул перед ней шею, пока та повязывала.

— Mademoiselle Alphonsine, avez-vous vendu votre bologne? [4] — спросил он.

— Qu'est que ça, ma bologne? [5]

Младший объяснил, что «ma bologne» означает болонку.

— Tiens, quel est ce baragouin? [6]

— Je parle comme une dame russe sur les eaux minérales, [7] — заметил le grand dadais, [8] всё еще с протянутой шеей.

— Qu'est que ça qu'une dame russe sur les eaux minérales et... où est donc votre jolie montre, que Lambert vous a donné? [9] — обратилась она вдруг к младшему.

— Как, опять нет часов? — раздражительно отозвался Ламберт из-за ширм.

— Проели! — промычал le grand dadais.

— Я их продал за восемь рублей: ведь они — серебряные, позолоченные, а вы сказали, что золотые. Этакие теперь и в магазине — только шестнадцать рублей, — ответил младший Ламберту, оправдываясь с неохотой.

---

[1] Мадемуазель Альфонсина, поцелуйте меня *(франц.)*.

[2] А, гадкий мальчишка! *(франц.)*

[3] Не подходите ко мне, вы меня запачкаете, и вы тоже, верзила; а то, знаете, я вас обоих тут же выставлю за дверь! *(франц.)*

[4] Мадемуазель Альфонсина, вы продали вашу болонку? *(искаж. франц.)*

[5] Что это такое, моя bologne? *(франц.)*

[6] Что за страшный жаргон? *(франц.)*

[7] Я говорю как русская дама на минеральных водах *(искаж. франц.)*.

[8] верзила *(франц.)*.

[9] Что такое русская дама на минеральных водах ... и где же красивые часы, что вам подарил Ламберт? *(франц.)*

— Этому надо положить конец! — еще раздражительнее продолжал Ламберт. — Я вам, молодой мой друг, не для того покупаю платье и даю прекрасные вещи, чтоб вы на вашего длинного друга тратили... Какой это галстух вы еще купили?

— Это — только рубль; это не на ваши. У него совсем не было галстуха, и ему надо еще купить шляпу.

— Вздор! — уже действительно озлился Ламберт, — я ему достаточно дал и на шляпу, а он тотчас устриц и шампанского. От него пахнет; он неряха; его нельзя брать никуда. Как я его повезу обедать?

— На извозчике, — промычал dadais. — Nous avons un rouble d'argent que nous avons prêté chez notre nouvel ami.[1]

— Не давай им, Аркадий, ничего! — опять крикнул Ламберт.

— Позвольте, Ламберт; я прямо требую от вас сейчас же десять рублей, — рассердился вдруг мальчик, так что даже весь покраснел и оттого стал почти вдвое лучше, — и не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас Долгорукому. Я требую десять рублей, чтоб сейчас отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчас шляпу — вот сами увидите.

Ламберт вышел из-за ширм.

— Вот три желтых бумажки, три рубля, и больше ничего до самого вторника, и не сметь... не то...

Le grand dadais так и вырвал у него деньги.

— Dolgorowky, вот рубль, nous vous rendons avec beaucoup de grâce. [2] Петя, ехать! — крикнул он товарищу, и затем вдруг, подняв две бумажки вверх и махая ими и в упор смотря на Ламберта, завопил из всей силы: — Ohé, Lambert! où est Lambert, as-tu vu Lambert? [3]

— Не сметь, не сметь! — завопил и Ламберт в ужаснейшем гневе; я видел, что во всем этом было что-то прежнее, чего я не знал вовсе, и глядел с удивлением. Но длинный нисколько не испугался Ламбертова гнева; напротив, завопил еще сильнее. «Ohé, Lambert!» и т. д. С этим криком вышли и на лестницу. Ламберт погнался было за ними, но, однако, воротился.

— Э, я их скоро пр-рогоню в шею! Больше стоят, чем дают... Пойдем, Аркадий! Я опоздал. Там меня ждет один тоже... нужный человек... Скотина тоже.. Это всё — скоты! Шу-ше-хга, шу-шехга! — прокричал он вновь и почти скрежетнул зубами; но вдруг окончательно опомнился. — Я рад, что ты хоть наконец пришел. Alphonsine, ни шагу из дому! Идем.

У крыльца ждал его лихач-рысак. Мы сели; но даже и во весь путь он все-таки не мог прийти в себя от какой-то ярости на этих

---

[1] У нас есть рубль серебром, который мы заняли у нашего нового друга *(искаж. франц.)*.

[2] возвращаем вам с большой благодарностью *(франц.)*.

[3] Эй, Ламберт! Где Ламберт, ты не видел Ламберта? *(франц.)*

молодых людей и успокоиться. Я дивился, что это так серьезно, и тому еще, что они так к Ламберту непочтительны, а он чуть ли даже не трусит перед ними. Мне, по въевшемуся в меня старому впечатлению с детства, всё казалось, что все должны бояться Ламберта, так что, несмотря на всю мою независимость, я, наверно, в ту минуту и сам трусил Ламберта.

— Я тебе говорю, это — всё ужасная шушехга, — не унимался Ламберт. — Веришь: этот высокий, мерзкий, мучил меня, три дня тому, в хорошем обществе. Стоит передо мной и кричит: «Ohé, Lambert!» В хорошем обществе! Все смеются и знают, что это, чтоб я денег дал, — можешь представить. Я дал. О, это — мерзавцы! Веришь, он был юнкер в полку и выгнан, и, можешь представить, он образованный; он получил воспитание в хорошем доме, можешь представить! У него есть мысли, он бы мог... Э, черт! И он силен, как Еркул (Hercule). Он полезен, только мало. И можешь видеть: он рук не моет. Я его рекомендовал одной госпоже, старой знатной барыне, что он раскаивается и хочет убить себя от совести, а он пришел к ней, сел и засвистал. А этот другой, хорошенький, — один генеральский сын; семейство стыдится его. я его из суда вытянул, я его спас, а он вот как платит. Здесь нет народу! Я их в шею, в шею!

— Они знают мое имя; ты им обо мне говорил?

— Имел глупость. Пожалуйста, за обедом посиди, скрепи себя... Туда придет еще одна страшная каналья. Вот это — так уж страшная каналья, и ужасно хитер; здесь все ракальи; здесь нет ни одного честного человека! Ну да мы кончим — и тогда... Что ты любишь кушать? Ну да всё равно, там хорошо кормят. Я плачу, ты не беспокойся. Это хорошо, что ты хорошо одет. Я тебе могу дать денег. Всегда приходи. Представь, я их здесь поил-кормил, каждый день кулебяка; эти часы, что он продал, — это во второй раз. Этот маленький, Тришатов, — ты видел, Альфонсина гнушается даже глядеть на него и запрещает ему подходить близко, — и вдруг он в ресторане, при офицерах: «Хочу бекасов». Я дал бекасов! Только я отомщу.

— Помнишь, Ламберт, как мы с тобой в Москве ехали в трактир, и ты меня в трактире вилкой пырнул, и как у тебя были тогда пятьсот рублей?

— Да, помню! Э, черт, помню! Я тебя люблю... Ты этому верь. Тебя никто не любит, а я люблю; только один я, ты помни... Тот, что придет туда, рябой — это хитрейшая каналья; не отвечай ему, если заговорит, ничего, а коль начнет спрашивать, отвечай вздор, молчи...

По крайней мере он из-за своего волнения ни о чем меня дорогой не расспрашивал. Мне стало даже оскорбительно, что он так уверен во мне и даже не подозревает во мне недоверчивости; мне казалось, что в нем глупая мысль, что он мне смеет по-прежнему приказывать. «И к тому же он ужасно необразован», — подумал я, вступая в ресторан.

III

В этом ресторане, в Морской, я и прежде бывал, во время моего гнусненького падения и разврата, а потому впечатление от этих комнат, от этих лакеев, приглядывавшихся ко мне и узнававших во мне знакомого посетителя, наконец, впечатление от этой загадочной компании друзей Ламберта, в которой я так вдруг очутился и как будто уже принадлежа к ней нераздельно, а главное — темное предчувствие, что я добровольно иду на какие-то гадости и несомненно кончу дурным делом, — всё это как бы вдруг пронзило меня. Было мгновение, что я едва не ушел; но мгновение это прошло, и я остался.

Тот «рябой», которого почему-то так боялся Ламберт, уже ждал нас. Это был человечек с одной из тех глупо-деловых наружностей, которых тип я так ненавижу чуть ли не с моего детства; лет сорока пяти, среднего роста, с проседью, с выбритым до гадости лицом и с маленькими правильными седенькими подстриженными бакенбардами, в виде двух колбасок, по обеим щекам чрезвычайно плоского и злого лица. Разумеется, он был скучен, серьезен, неразговорчив и даже, по обыкновению всех этих людишек, почему-то надменен. Он оглядел меня очень внимательно, но не сказал ни слова, а Ламберт так был глуп, что, сажая нас за одним столом, не счел нужным нас перезнакомить, и, стало быть, тот меня мог принять за одного из сопровождавших Ламберта шантажников. С молодыми этими людьми (прибывшими почти одновременно с нами) он тоже не сказал ничего во весь обед, но видно было, однако, что знал их коротко. Говорил он о чем-то лишь с Ламбертом, да и то почти шепотом, да и то говорил почти один Ламберт, а рябой лишь отделывался отрывочными, сердитыми и ультиматными словами. Он держал себя высокомерно, был зол и насмешлив, тогда как Ламберт, напротив, был в большом возбуждении и, видимо, всё его уговаривал, вероятно склоняя на какое-то предприятие. Раз я протянул руку к бутылке с красным вином; рябой вдруг взял бутылку хересу и подал мне, до тех пор не сказав со мною слова.

— Попробуйте этого, — сказал он, протягивая мне бутылку. Тут я вдруг догадался, что и ему должно уже быть известно обо мне всё на свете — и история моя, и имя мое, и, может быть, то, в чем рассчитывал на меня Ламберт. Мысль, что он примет меня за служащего у Ламберта, взбесила меня опять, а в лице Ламберта выразилось сильнейшее и глупейшее беспокойство, чуть только тот заговорил со мной. Рябой это заметил и засмеялся. «Решительно Ламберт от всех зависит», — подумал я, ненавидя его в ту минуту от всей души. Таким образом, мы хотя и просидели весь обед за одним столом, но были разделены на две группы: рябой с Ламбертом, ближе к окну, один против другого, и я рядом с засаленным Андреевым, а напротив меня — Тришатов. Ламберт спешил с кушаньями, поминутно торопя слугу пода-

вать. Когда подали шампанское, он вдруг протянул ко мне свой бокал.

— За твое здоровье, чокнемся! — проговорил он, прерывая свой разговор с рябым.

— А вы мне позволите с вами чокнуться? — протянул мне через стол свой бокал хорошенький Тришатов. До шампанского он был как-то очень задумчив и молчалив. Dadais же совсем ничего не говорил, но молча и много ел.

— С удовольствием, — ответил я Тришатову. Мы чокнулись и выпили.

— А я за ваше здоровье не стану пить, — обернулся ко мне вдруг dadais, — не потому, что желаю вашей смерти, а потому, чтоб вы здесь сегодня больше не пили. — Он проговорил это мрачно и веско.

— С вас довольно и трех бокалов. Вы, я вижу, смотрите на мой немытый кулак? — продолжал он, выставляя свой кулак на стол. — Я его не мою и так немытым и отдаю внаем Ламберту для раздробления чужих голов в щекотливых для Ламберта случаях. — И, проговорив это, он вдруг стукнул кулаком об стол с такой силой, что подскочили все тарелки и рюмки. Кроме нас, обедали в этой комнате еще на четырех столах, всё офицеры и разные осанистого вида господа. Ресторан этот модный; все на мгновение прервали разговоры и посмотрели в наш угол; да, кажется, мы и давно уже возбуждали некоторое любопытство. Ламберт весь покраснел.

— Га, он опять начинает! Я вас, кажется, просил, Николай Семенович, вести себя, — проговорил он яростным шепотом Андрееву. Тот оглядел его длинным и медленным взглядом:

— Я не хочу, чтоб мой новый друг Dolgorowky пил здесь сегодня много вина.

Ламберт еще пуще вспыхнул. Рябой прислушивался молча, но с видимым удовольствием. Ему выходка Андреева почему-то понравилась. Я только один не понимал, для чего бы это мне не пить вина.

— Это он, чтоб только получить деньги! Вы получите еще семь рублей, слышите, после обеда — только дайте дообедать, не срамите, — проскрежетал ему Ламберт.

— Ага! — победоносно промычал dadais. Это уже совсем восхитило рябого, и он злобно захихикал.

— Послушай, ты уж очень... — с беспокойством и почти с страданием проговорил своему другу Тришатов, видимо желая сдержать его. Андреев замолк, но не надолго; не таков был расчет его. От нас через стол, шагах в пяти, обедали два господина и оживленно разговаривали. Оба были чрезвычайно щекотливого вида средних лет господа. Один высокий и очень толстый, другой — тоже очень толстый, но маленький. Говорили они по-польски о теперешних парижских событиях. Dadais уже давно на них любопытно поглядывал и прислушивался. Маленький поляк, оче-

видно, показался ему фигурой комическою, и он тотчас возненавидел его по примеру всех желчных и печеночных людей, у которых это всегда вдруг происходит безо всякого даже повода. Вдруг маленький поляк произнес имя депутата Мадье де Монжо, но, по привычке очень многих поляков, выговорил его по-польски, то есть с ударением на предпоследнем слоге, и вышло не Мадьé де Монжó, а Мáдье де Мóнжо. Того только и надо было dadais. Он повернулся к полякам и, важно выпрямившись, раздельно и громко, вдруг произнес, как бы обращаясь с вопросом:

— Мáдье де Мóнжо?

Поляки свирепо обернулись к нему.

— Что вам надо? — грозно крикнул большой толстый поляк по-русски. Dadais выждал.

— Мáдье де Мóнжо? — повторил он вдруг опять на всю залу, не давая более никаких объяснений, точно так же как давеча глупо повторял мне у двери, надвигаясь на меня: Dolgorowky? Поляки вскочили с места, Ламберт выскочил из-за стола, бросился было к Андрееву, но, оставив его, подскочил к полякам и принялся униженно извиняться перед ними.

— Это — шуты, пане, это — шуты! — презрительно повторял маленький поляк, весь красный, как морковь, от негодования. — Скоро нельзя будет приходить! — В зале тоже зашевелились, тоже раздавался ропот, но больше смех.

— Выходите... пожалуйста... пойдемте! — бормотал, совсем потерявшись, Ламберт, усиливаясь как-нибудь вывести Андреева из комнаты. Тот, пытливо обозрев Ламберта и догадавшись, что он уже теперь даст денег, согласился за ним последовать. Вероятно, он уже не раз подобным бесстыдным приемом выбивал из Ламберта деньги. Тришатов хотел было тоже побежать за ними, но посмотрел на меня и остался.

— Ах как скверно! — проговорил он, закрывая глаза своими тоненькими пальчиками.

— Скверно очень-с, — прошептал на этот раз уже с разозленным видом рябой. Между тем Ламберт возвратился почти совсем бледный и что-то, оживленно жестикулируя, начал шептать рябому. Тот между тем приказал лакею поскорей подавать кофе; он слушал брезгливо; ему, видимо, хотелось поскорее уйти. И однако, вся история была простым лишь школьничеством. Тришатов с чашкою кофе перешел с своего места ко мне и сел со мною рядом.

— Я его очень люблю, — начал он мне с таким откровенным видом, как будто всегда со мной об этом говорил.

— Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и всё у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется — это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный — это всё одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или всё равно — можно делать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не

снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать — и только. Но поверьте, что это он — только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет: он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче... И к тому же такой большой и сильный и вдруг — так совсем заревет. Какой бедный, не правда ли? Я его хочу спасти, а сам я — такой скверный, потерянный мальчишка, вы не поверите! Пустите вы меня к себе, Долгорукий, если я к вам когда приду?

— О, приходите, я вас даже люблю.

— За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокал. Впрочем, что ж я? вы лучше не пейте. Это он вам правду сказал, что вам нельзя больше пить, — мигнул он мне вдруг значительно, — а я все-таки выпью. Мне уж теперь ничего, а я, верите ли, ни в чем себя удержать не могу. Вот скажите мне, что мне уж больше не обедать по ресторанам, и я на всё готов, чтобы только обедать. О, мы искренно хотим быть честными, уверяю вас, но только мы всё откладываем.

А годы идут — и всё лучшие годы!

А он, я ужасно боюсь, — повесится. Пойдет и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются; почем знать — может, много таких, как мы? Я, например, никак не могу жить без лишних денег. Мне лишние гораздо важнее, чем необходимые. Послушайте, любите вы музыку? я ужасно люблю. Я вам сыграю что-нибудь, когда к вам приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и очень долго учился. Я серьезно учился. Если б я сочинял оперу, то, знаете, я бы взял сюжет из «Фауста». Я очень люблю эту тему. Я всё создаю сцену в соборе, так, в голове только, воображаю. Готический собор, внутренность, хоры, гимны, входит Гретхен, и знаете — хоры средневековые, чтоб так и слышался пятнадцатый век. Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно:

Dies irae, dies illa! [1]

И вдруг — голос дьявола, песня дьявола. Он невидим, одна лишь песня, рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем совсем другое — как-нибудь так это сделать. Песня длинная, неустанная, это — тенор, непременно тенор. Начинает тихо, нежно: «Помнишь, Гретхен, как ты, еще невинная, еще ребенком, приходила с твоей мамой в этот собор и лепетала молитвы по старой книге?» Но песня всё сильнее, всё страстнее, стремительнее; ноты выше: в них слезы, тоска, безустанная, безвыходная и, наконец, отчаяние: «Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения!» Гретхен хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь

---

[1] День гнева, день оный! *(лат.)*

крики — знаете, когда судорога от слез в груди, — а песня сатаны всё не умолкает, всё глубже вонзается в душу, как острие, всё выше — и вдруг обрывается почти криком: «Конец всему, проклята!» Гретхен падает на колена, сжимает перед собой руки — и вот тут ее молитва, что-нибудь очень краткое, полуречитатив, но наивное, безо всякой отделки, что-нибудь в высшей степени средневековое, четыре стиха, всего только четыре стиха — у Страделлы есть несколько таких нот — и с последней нотой обморок! Смятение. Ее подымают, несут — и тут вдруг громовый хор. Это — как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, подавляющий, что-нибудь вроде нашего «Дори-но-си-ма чин-ми», — так, чтоб всё потряслось на основаниях, — и всё переходит в восторженный, ликующий всеобщий возглас: «Hossanna!» как бы крик всей вселенной, а ее несут, несут, и вот тут опустить занавес! Нет, знаете, если б я мог, я бы что-нибудь сделал! Только я ничего уж теперь не могу, а только всё мечтаю. Я всё мечтаю, всё мечтаю; вся моя жизнь обратилась в одну мечту, я и ночью мечтаю. Ах, Долгорукий, читали вы Диккенса «Лавку древностей»?

— Читал; что же?

— Помните вы... Постойте, я еще бокал выпью, — помните вы там одно место в конце, когда они — сумасшедший этот старик и эта прелестная тринадцатилетняя девочка, внучка его, после фантастического их бегства и странствий, приютились наконец где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневекового собора, и эта девочка какую-то тут должность получила, собор посетителям показывала... И вот раз закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка — солнце, как мысль божия, а собор, как мысль человеческая... не правда ли? Ох, я не умею это выразить, но только бог такие первые мысли от детей любит... А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший этот старик, дед, глядит на нее остановившимся взглядом... Знаете, тут нет ничего такого, в этой картинке у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы ввек не забудете, и это осталось во всей Европе — отчего? Вот прекрасное! Тут невинность! Э! не знаю, что тут, только хорошо. Я всё в гимназии романы читал. Знаете, у меня сестра в деревне, только годом старше меня... О, теперь там уже всё продано и уже нет деревни! Мы сидели с ней на террасе, под нашими старыми липами, и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось, и вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем также добрыми, что и мы будем прекрасными, — я тогда в университет готовился и... Ах, Долгорукий, знаете, у каждого есть свои воспоминания!..

И вдруг он склонил свою хорошенькую головку мне на плечо и — заплакал. Мне стало очень, очень его жалко. Правда, он выпил много вина, но он так искренно и так братски со мной го-

ворил и с таким чувством... Вдруг, в это мгновение, с улицы раздался крик и сильные удары пальцами к нам в окно (тут окна цельные, большие и в первом нижнем этаже, так что можно стучать пальцами с улицы). Это был выведенный Андреев.

— Ohé, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? — раздался дикий крик его с улицы.

— Ах, да он ведь здесь! Так он не ушел? — воскликнул, срываясь с места, мой мальчик.

— Счет! — проскрежетал Ламберт прислуге. У него даже руки тряслись от злобы, когда он стал рассчитываться, но рябой не позволил ему за себя заплатить.

— Почему же? Ведь я вас приглашал, вы приняли приглашение?

— Нет, уж позвольте, — вынул свой портмоне рябой и, рассчитав свою долю, уплатил особо.

— Вы меня обижаете, Семен Сидорыч!

— Так уж я хочу-с, — отрезал Семен Сидорович и, взяв шляпу, не простившись ни с кем, пошел один из залы. Ламберт бросил деньги слуге и торопливо выбежал вслед за ним, даже позабыв в своем смущении обо мне. Мы с Тришатовым вышли после всех. Андреев как верста стоял у подъезда и ждал Тришатова.

— Негодяй! — не утерпел было Ламберт.

— Но-но! — рыкнул на него Андреев и одним взмахом руки сбил с него круглую шляпу, которая покатилась по тротуару. Ламберт унизительно бросился поднимать ее.

— Vingt cinq roubles! [1] — указал Андреев Тришатову на кредитку, которую еще давеча сорвал с Ламберта.

— Полно, — крикнул ему Тришатов. — Чего ты всё буянишь... И за что ты содрал с него двадцать пять? С него только семь следовало.

— За что содрал? Он обещал обедать отдельно, с афинскими женщинами, а вместо женщин подал рябого, и, кроме того, я не доел и промерз на морозе непременно на восемнадцать рублей. Семь рублей за ним оставалось — вот тебе ровно и двадцать пять.

— Убир-райтесь к черту оба! — завопил Ламберт, — я вас прогоняю обоих, и я вас в бараний рог...

— Ламберт, я вас прогоняю, и я вас в бараний рог! — крикнул Андреев. — Adieu, mon prince,[2] не пейте больше вина! Петя, марш! Ohé, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? — рявкнул он в последний раз, удаляясь огромными шагами.

— Так я приду к вам, можно? — пролепетал мне наскоро Тришатов, спеша за своим другом.

Мы остались одни с Ламбертом.

— Ну... пойдем! — выговорил он, как бы с трудом переводя дыхание и как бы даже ошалев.

---

[1] Двадцать пять рублей! *(франц.)*

[2] Прощайте, князь *(франц.)*.

— Куда я пойду? Никуда я с тобой не пойду! — поспешил я крикнуть с вызовом.

— Как не пойдешь? — пугливо встрепенулся он, очнувшись разом. — Да я только и ждал, что мы одни останемся!

— Да куда идти-то? — Признаюсь, у меня тоже капельку звенело в голове от трех бокалов и двух рюмок хересу.

— Сюда, вот сюда, видишь?

— Да тут свежие устрицы, видишь, написано. Тут так скверно пахнет...

— Это потому, что ты после обеда, а это — милютинская лавка; мы устриц есть не будем, а я тебе дам шампанского...

— Не хочу! Ты меня опоить хочешь.

— Это тебе они сказали; они над тобой смеялись. Ты веришь мерзавцам!

— Нет, Тришатов — не мерзавец. А я и сам умею быть осторожным — вот что!

— Что, у тебя есть свой характер?

— Да, у меня есть характер, побольше, чем у тебя, потому что ты в рабстве у первого встречного. Ты нас осрамил, ты у поляков, как лакей, прощения просил. Знать, тебя часто били в трактирах?

— Да ведь нам надо же говорить, духгак! — вскричал он с тем презрительным нетерпением, которое чуть не говорило: «И ты туда же?» — Да ты боишься, что ли? Друг ты мне или нет?

— Я — тебе не друг, а ты — мошенник. Пойдем, чтоб только доказать тебе, что я тебя не боюсь. Ах, как скверно пахнет, сыром пахнет! Экая гадость!

Глава шестая

I

Я еще раз прошу вспомнить, что у меня несколько звенело в голове; если б не это, я бы говорил и поступал иначе. В этой лавке, в задней комнате, действительно можно было есть устрицы, и мы уселись за накрытый скверной, грязной скатертью столик. Ламберт приказал подать шампанского; бокал с холодным золотого цвета вином очутился предо мною и соблазнительно глядел на меня; но мне было досадно.

— Видишь, Ламберт, мне, главное, обидно, что ты думаешь, что можешь мне и теперь повелевать, как у Тушара, тогда как ты у всех здешних сам в рабстве.

— Духгак! Э, чокнемся!

— Ты даже и притворяться не удостоиваешь передо мной; хоть бы скрывал, что хочешь меня опоить.

— Ты врешь, и ты пьян. Надо еще пить, и будешь веселее. Бери же бокал, бери же!

— Да что за «бери же»? Я уйду, вот и кончено.

И я действительно было привстал. Он ужасно рассердился:

— Это тебе Тришатов нашептал на меня: я видел — вы там шептались. Ты — духгак после этого. Альфонсина так даже гнушается, что он к ней подходит близко... Он мерзкий. Это я тебе расскажу, какой он.

— Ты это уж говорил. У тебя всё — одна Альфонсина; ты ужасно узок.

— Узок? — не понимал он, — они теперь перешли к рябому. Вот что! Вот почему я их прогнал. Они бесчестные. Этот рябой злодей и их развратит. А я требовал, чтобы они всегда вели себя благородно.

Я сел, как-то машинально взял бокал и отпил глоток.

— Я несравненно выше тебя, по образованию, — сказал я. Но он уж слишком был рад, что я сел, и тотчас подлил мне еще вина.

— А ведь ты их боишься? — продолжал я дразнить его (и уж наверно был тогда гаже его самого). — Андреев сбил с тебя шляпу, а ты ему двадцать пять рублей за то дал.

— Я дал, но он мне заплатит. Они бунтуются, но я их сверну...

— Тебя очень волнует рябой. А знаешь, мне кажется, что я только один у тебя теперь и остался. Все твои надежды только во мне одном теперь заключаются, — а?

— Да, Аркашка, это — так: ты один мне друг и остался; вот это хорошо ты сказал! — хлопнул он меня по плечу.

Что было делать с таким грубым человеком; он был совершенно неразвит и насмешку принял за похвалу.

— Ты бы мог меня избавить от худых вещей, если б был добрый товарищ, Аркадий, — продолжал он, ласково смотря на меня.

— Чем бы я мог тебя избавить?

— Сам знаешь — чем. Ты без меня как духгак и наверно будешь глуп, а я бы тебе дал тридцать тысяч, и мы бы взяли пополам, и ты сам знаешь — как. Ну кто ты такой, посмотри: у тебя ничего нет — ни имени, ни фамилии, а тут сразу куш; а имея такие деньги, можешь знаешь как начать карьеру!

Я просто удивился на такой прием. Я решительно предполагал, что он будет хитрить, а он со мной так прямо, так по-мальчишнически прямо начал. Я решился слушать его из широкости и... из ужасного любопытства.

— Видишь, Ламберт: ты не поймешь этого, но я соглашаюсь слушать тебя, потому что я широк, — твердо заявил я и опять хлебнул из бокала. Ламберт тотчас подлил.

— Вот что, Аркадий: если бы мне осмелился такой, как Бьоринг, наговорить ругательств и ударить при даме, которую я обожаю, то я б и не знаю что сделал! А ты стерпел, и я гнушаюсь тобой: ты — тряпка!

— Как ты смеешь сказать, что меня ударил Бьоринг! — вскричал я, краснея, — это я его скорее ударил, а не он меня.

— Нет, это он тебя ударил, а не ты его.

— Врешь, еще я ему ногу отдавил!

— Но он тебя отбил рукой и велел лакеям тащить... а она сидела и глядела из кареты и смеялась на тебя, — она знает, что у тебя нет отца и что тебя можно обидеть.

— Я не знаю, Ламберт, между нами мальчишнический разговор, которого я стыжусь. Ты это чтоб раздразнить меня, и так грубо и открыто, как с шестнадцатилетним каким-то. Ты сговорился с Анной Андреевной! — вскричал я, дрожа от злости и машинально всё хлебая вино.

— Анна Андреевна — шельма! Она надует и тебя, и меня, и весь свет! Я тебя ждал, потому что ты лучше можешь докончить с той.

— С какою той?

— С madame Ахмаковой. Я всё знаю. Ты мне сам сказал, что она того письма, которое у тебя, боится...

— Какое письмо... врешь ты... Ты видел ее? — бормотал я в смущении.

— Я ее видел. Она хороша собой. Très belle;[1] и у тебя вкус.

— Знаю, что ты видел; только ты с нею не смел говорить, и я хочу, чтобы и об ней ты не смел говорить.

— Ты еще маленький, а она над тобою смеется — вот что! У нас была одна такая добродетель в Москве: ух как нос подымала! а затрепетала, когда пригрозили, что всё расскажем, и тотчас послушалась; а мы взяли и то и другое: и деньги и то — понимаешь что? Теперь она опять в свете недоступная — фу ты, черт, как высоко летает, и карета какая, а коли б ты видел, в каком это было чулане! Ты еще не жил; если б ты знал, каких чуланов они не побоятся...

— Я это думал, — пробормотал я неудержимо.

— Они развращены до конца ногтей; ты не знаешь, на что они способны! Альфонсина жила в одном таком доме, так она гнушалась.

— Я об этом думал, — подтвердил я опять.

— А тебя бьют, а ты жалеешь...

— Ламберт, ты — мерзавец, ты — проклятый! — вскричал я, вдруг как-то сообразив и затрепетав. — Я видел всё это во сне, ты стоял и Анна Андреевна... О, ты — проклятый! Неужели ты думал, что я — такой подлец? Я ведь и видел потому во сне, что так и знал, что ты это скажешь. И наконец, всё это не может быть так просто, чтоб ты мне про всё это так прямо и просто говорил!

— Ишь рассердился! Те-те-те! — протянул Ламберт, смеясь и торжествуя. — Ну, брат Аркашка, теперь я всё узнал, что мне надо. Для того-то и ждал тебя. Слушай, ты, стало быть, ее любишь, а Бьорингу отмстить хочешь — вот что мне надо было узнать. Я всё время это так и подозревал, когда тебя здесь ждал. Ceci posé, cela change la question.[2] И тем лучше, потому что она сама

---

[1] Очень хороша *(франц.)*.

[2] Раз так, то это меняет дело *(франц.)*.

тебя любит. Так ты и женись, нимало не медля, это лучше. Да иначе и нельзя тебе, ты на самом верном остановился. А затем знай, Аркадий, что у тебя есть друг, это я, которого ты можешь верхом оседлать. Вот этот друг тебе и поможет и женит тебя: из-под земли всё достану, Аркаша! А ты уж подари за то потом старому товарищу тридцать тысячек за труды, а? А я помогу, не сомневайся. Я во всех этих делах все тонкости знаю, и тебе всё приданое дадут, и ты — богач с карьерой!

У меня хоть и кружилась голова, но я с изумлением смотрел на Ламберта. Он был серьезен, то есть не то что серьезен, но в возможность женить меня, я видел ясно, он и сам совсем верил и даже принимал идею с восторгом. Разумеется, я видел тоже, что он ловит меня, как мальчишку (наверное — видел тогда же); но мысль о браке с нею до того пронзила меня всего, что я хоть и удивлялся на Ламберта, как это он может верить в такую фантазию, но в то же время сам стремительно в нее уверовал, ни на миг не утрачивая, однако, сознания, что это, конечно, ни за что не может осуществиться. Как-то всё это уложилось вместе.

— Да разве это возможно? — пролепетал я.

— Зачем нет? Ты ей покажешь документ — она струсит и пойдет за тебя, чтобы не потерять деньги.

Я решился не останавливать Ламберта на его подлостях, потому что он до того простодушно выкладывал их предо мной, что даже и не подозревал, что я вдруг могу возмутиться; но я промямлил, однако, что не хотел бы жениться только силой.

— Я ни за что не захочу силой; как ты можешь быть так подл, чтобы предположить во мне это?

— Эвона! Да она сама пойдет: это — не ты, а она сама испугается и пойдет. А пойдет она еще потому, что тебя любит, — спохватился Ламберт.

— Ты это врешь. Ты надо мной смеешься. Почему ты знаешь, что она меня любит?

— Непременно. Я знаю. И Анна Андреевна это полагает. Это я тебе серьезно и правду говорю, что Анна Андреевна полагает. И потом еще я расскажу тебе, когда придешь ко мне, одну вещь, и ты увидишь, что любит. Альфонсина была в Царском; она там тоже узнавала...

— Что ж она там могла узнать?

— А вот пойдем ко мне: она тебе расскажет сама, и тебе будет приятно. Да и чем ты хуже кого? Ты красив, ты воспитан...

— Да, я воспитан, — прошептал я, едва переводя дух. Сердце мое колотилось и, конечно, не от одного вина.

— Ты красив. Ты одет хорошо.

— Да, я одет хорошо.

— И ты добрый...

— Да, я добрый.

— Почему же ей не согласиться? А Бьоринг все-таки не возьмет без денег, а ты можешь ее лишить денег — вот она и испугается;

ты женишься и тем отмстишь Бьорингу. Ведь ты мне сам тогда в ту ночь говорил, после морозу, что она в тебя влюблена.

— Я тебе это разве говорил? Я, верно, не так говорил.

— Нет, так.

— Это я в бреду. Верно, я тебе тогда и про документ сказал?

— Да, ты сказал, что у тебя есть такое письмо; я и подумал: как же он, коли есть такое письмо, свое теряет?

— Это всё — фантазия, и я вовсе не так глуп, чтобы этому поверить, — бормотал я. — Во-первых, разница в летах, а во-вторых, у меня нет никакой фамилии.

— Да уж пойдет; нельзя не пойти, когда столько денег пропадет, — это я устрою. А к тому ж тебя любит. Ты знаешь, этот старый князь к тебе совсем расположен; ты чрез его покровительство знаешь какие связи можешь завязать; а что до того, что у тебя нет фамилии, так нынче этого ничего не надо: раз ты тяпнешь деньги — и пойдешь, и пойдешь, и чрез десять лет будешь таким миллионером, что вся Россия затрещит, так какое тебе тогда надо имя? В Австрии можно барона купить. А как женишься, тогда в руки возьми. Надо их хорошенько. Женщина, если полюбит, то любит, чтобы ее в кулаке держать. Женщина любит в мужчине характер. А ты как испугаешь ее письмом, то с того часа и покажешь ей характер. «А, скажет, он такой молодой, а у него есть характер».

Я сидел как ошалелый. Ни с кем другим никогда я бы не упал до такого глупого разговора. Но тут какая-то сладостная жажда тянула вести его. К тому же Ламберт был так глуп и подл, что стыдиться его нельзя было.

— Нет, знаешь, Ламберт, — вдруг сказал я, — как хочешь, а тут много вздору; я потому с тобой говорил, что мы товарищи и нам нечего стыдиться; но с другим я бы ни за что не унизился. И, главное, почему ты так утверждаешь, что она меня любит? Это ты хорошо сейчас сказал про капитал; но видишь, Ламберт, ты не знаешь высшего света: у них всё это на самых патриархальных, родовых, так сказать, отношениях, так что теперь, пока она еще не знает моих способностей и до чего я в жизни могу достигнуть — ей все-таки теперь будет стыдно. Но я не скрою от тебя, Ламберт, что тут действительно есть один пункт, который может подать надежду. Видишь: она может за меня выйти из благодарности, потому что я ее избавлю тогда от ненависти одного человека. А она его боится, этого человека.

— Ах, ты это про твоего отца? А что, он очень ее любит? — с необыкновенным любопытством встрепенулся вдруг Ламберт.

— О нет! — вскричал я, — и как ты страшен и в то же время глуп, Ламберт! Ну мог ли бы я, если б он любил ее, хотеть тут жениться? Ведь все-таки — сын и отец, это ведь уж стыдно будет. Он маму любит, маму, и я видел, как он обнимал ее, и я прежде сам думал, что он любит Катерину Николаевну, но теперь узнал ясно, что он, может, ее когда-то любил, но теперь давно ненави-

дит... и хочет мстить, и она боится, потому что я тебе скажу, Ламберт, он ужасно страшен, когда начнет мстить. Он почти сумасшедшим становится. Он когда на нее злится, то на всё лезет. Это вражда в старом роде из-за возвышенных принципов. В наше время — наплевать на все общие принципы; в наше время не общие принципы, а одни только частные случаи. Ах, Ламберт, ты ничего не понимаешь: ты глуп, как палец; я говорю тебе теперь об этих принципах, а ты, верно, ничего не понимаешь. Ты ужасно необразован. Помнишь, ты меня бил? Я теперь сильнее тебя — знаешь ты это?

— Аркашка, пойдем ко мне! Мы просидим вечер и выпьем еще одну бутылку, а Альфонсина споет с гитарой.

— Нет, не пойду. Слушай, Ламберт, у меня есть «идея». Если не удастся и не женюсь, то я уйду в идею; а у тебя нет идеи.

— Хорошо, хорошо, ты расскажешь, пойдем.

— Не пойду! — встал я, — не хочу и не пойду. Я к тебе приду, но ты — подлец. Я тебе дам тридцать тысяч — пусть, но я тебя чище и выше... Я ведь вижу, что ты меня обмануть во всем хочешь. А об ней я запрещаю тебе даже и думать: она выше всех, и твои планы — это такая низость, что я даже удивляюсь тебе, Ламберт. Я жениться хочу — это дело другое, но мне не надобен капитал, я презираю капитал. Я сам не возьму, если б она давала мне свой капитал на коленях... А жениться, жениться, это — дело другое. И знаешь, это ты хорошо сказал, чтобы в кулаке держать. Любить, страстно любить, со всем великодушием, какое в мужчине и какого никогда не может быть в женщине, но и деспотировать — это хорошо. Потому что, знаешь что, Ламберт, — женщина любит деспотизм. Ты, Ламберт, женщину знаешь. Но ты удивительно глуп во всем остальном. И, знаешь, Ламберт, ты не совсем такой мерзкий, как кажешься, ты — простой. Я тебя люблю. Ах, Ламберт, зачем ты такой плут? Тогда бы мы так весело стали жить! Знаешь, Тришатов — милый.

Все эти последние бессвязные фразы я пролепетал уже на улице. О, я всё это припоминаю до мелочи, чтоб читатель видел, что, при всех восторгах и при всех клятвах и обещаниях возродиться к лучшему и искать благообразия, я мог тогда так легко упасть и в такую грязь! И клянусь, если б я не уверен был вполне и совершенно, что теперь я уже совсем не тот и что уже выработал себе характер практическою жизнью, то я бы ни за что не признался во всем этом читателю.

Мы вышли из лавки, и Ламберт меня поддерживал, слегка обнявши рукой. Вдруг я посмотрел на него и увидел почти то же самое выражение его пристального, разглядывающего, страшно внимательного и в высшей степени трезвого взгляда, как и тогда, в то утро, когда я замерзал и когда он вел меня, точно так же обняв рукой, к извозчику и вслушивался, и ушами и глазами, в мой бессвязный лепет. У пьянеющих людей, но еще не опьяневших совсем, бывают вдруг мгновения самого полного отрезвления.

— Ни за что к тебе не пойду! — твердо и связно проговорил я, насмешливо смотря на него и отстраняя его рукой.

— Ну, полно, я велю Альфонсине чаю, полно!

Он ужасно был уверен, что я не вырвусь; он обнимал и придерживал меня с наслаждением, как жертвочку, а уж я-то, конечно, был ему нужен, именно в тот вечер и в таком состоянии! Потом это всё объяснится — зачем.

— Не пойду! — повторил я. — Извозчик!

Как раз подскочил извозчик, и я прыгнул в сани.

— Куда ты? Что ты! — завопил Ламберт, в ужаснейшем страхе, хватая меня за шубу.

— И не смей за мной! — вскричал я, — не догоняй. — В этот миг как раз тронул извозчик, и шуба моя вырвалась из рук Ламберта.

— Всё равно придешь! — закричал он мне вслед злым голосом.

— Приду, коль захочу, — моя воля! — обернулся я к нему из саней.

II

Он не преследовал, конечно, потому, что под рукой не случилось другого извозчика, и я успел скрыться из глаз его. Я же доехал лишь до Сенной, а там встал и отпустил сани. Мне ужасно захотелось пройтись пешком. Ни усталости, ни большой опьянелости я не чувствовал, а была лишь одна только бодрость; был прилив сил, была необыкновенная способность на всякое предприятие и бесчисленные приятные мысли в голове.

Сердце усиленно и веско билось — я слышал каждый удар. И всё так мне было мило, всё так легко. Проходя мимо гауптвахты на Сенной, мне ужасно захотелось подойти к часовому и поцеловаться с ним. Была оттепель, площадь почернела и запахла, но мне очень нравилась и площадь.

«Я теперь на Обуховский проспект, — думал я, — а потом поверну налево и выйду в Семеновский полк, сделаю крюку, это прекрасно, всё прекрасно. Шуба у меня нараспашку — а что ж ее никто не снимает, где ж воры? На Сенной, говорят, воры; пусть подойдут, я, может, и отдам им шубу. На что мне шуба? Шуба — собственность. La propriété c'est le vol.[1] А впрочем, какой вздор и как всё хорошо. Это хорошо, что оттепель. Зачем мороз? Совсем не надо морозу. Хорошо и вздор нести. Что, бишь, я сказал Ламберту про принципы? Я сказал, что нет общих принципов, а есть только частные случаи; это я соврал, архисоврал! И нарочно, чтоб пофорсить. Стыдно немножко, а впрочем — ничего, заглажу. Не стыдитесь, не терзайте себя, Аркадий Макарович. Аркадий Макарович, вы мне нравитесь. Вы мне очень даже нравитесь, молодой мой друг. Жаль, что вы — маленький плутишка... и... и... ах да... ах!»

[1] Собственность есть кража *(франц.)*.

Я вдруг остановился, и всё сердце мое опять заныло в упоении:

«Господи! Что это он сказал? Он сказал, что она — меня любит. О, он — мошенник, он много тут налгал; это для того, чтоб я к нему поехал ночевать. А может, и нет. Он сказал, что и Анна Андреевна так думает... Ба! Да ему могла и Настасья Егоровна тут что-нибудь разузнать: та везде шныряет. И зачем я не поехал к нему? я бы всё узнал! Гм! у него план, и я всё это до последней черты предчувствовал. Сон. Широко задумано, господин Ламберт, только врете вы, не так это будет. А может, и так! А может, и так! И разве он может женить меня? А может, и может. Он наивен и верит. Он глуп и дерзок, как все деловые люди. Глупость и дерзость, соединясь вместе, — великая сила. А признайтесь, что вы таки боялись Ламберта, Аркадий Макарович! И на что ему честные люди? Так серьезно и говорит: ни одного здесь честного человека! Да ты-то сам — кто? Э, что ж я! Разве честные люди подлецам не нужны? В плутовстве честные люди еще пуще, чем везде, нужны. Ха-ха! Этого только вы не знали до сих пор, Аркадий Макарович, с вашей полной невинностью. Господи! Что, если он вправду женит меня?»

Я опять приостановился. Я должен здесь признаться в одной глупости (так как это уже давно прошло), я должен признаться, что я уже давно пред тем хотел жениться — то есть не хотел и этого бы никогда не случилось (да и не случится впредь, даю слово), но я уже не раз и давно уже перед тем мечтал о том, как хорошо бы жениться — то есть ужасно много раз, особенно засыпая, каждый раз на ночь. Это началось у меня еще по шестнадцатому году. У меня был в гимназии товарищ, ровесник мне, Лавровский — и такой милый, тихий, хорошенький мальчик, впрочем ничем другим не отличавшийся. Я с ним никогда почти не разговаривал. Вдруг мы как-то сидели рядом одни, и он был очень задумчив, и вдруг он мне: «Ах, Долгорукий, как вы думаете, вот бы теперь жениться; право, когда ж и жениться, как не теперь; теперь бы самое лучшее время, и, однако, никак нельзя!» И так он откровенно это сказал. И я вдруг всем сердцем с этим согласился, потому что сам уж грезил о чем-то. Потом мы несколько дней сряду сходились и всё об этом говорили, как бы в секрете, впрочем только об этом. А потом, не знаю как это произошло, но мы разошлись и перестали говорить. Вот с тех-то пор я и стал мечтать. Об этом, конечно, не стоило бы вспоминать, но мне хотелось только указать, как это издалека иногда идет...

«Тут одно только серьезное возражение, — всё мечтал я, продолжая идти. — О, конечно, ничтожная разница в наших летах не составит препятствия, но вот что: она — такая аристократка, а я — просто Долгорукий! Страшно скверно! Гм! Версилов разве не мог бы, женясь на маме, просить правительство о позволении усыновить меня... за заслуги, так сказать, отца... Он ведь служил, стало быть, были и заслуги; он был мировым посредником... О, черт возьми, какая гадость!»

Я вдруг воскликнул это и вдруг, в третий раз, остановился, но уже как бы раздавленный на месте. Всё мучительное чувство унижения от сознания, что я мог пожелать такого позору, как перемена фамилии усыновлением, эта измена всему моему детству — всё это почти в один миг уничтожило всё прежнее расположение, и вся радость моя разлетелась как дым. «Нет, этого я никому не перескажу, — подумал я, страшно покраснев, — это я потому так унизился, что я... влюблен и глуп. Нет, если в чем прав Ламберт, так в том, что нынче всех этих дурачеств не требуется вовсе, а что нынче в наш век главное — сам человек, а потом его деньги. То есть не деньги, а его могущество. С таким капиталом я брошусь в „идею", и вся Россия затрещит через десять лет, и я всем отомщу. А с ней церемониться нечего, тут опять прав Ламберт. Струсит и просто пойдет. Простейшим и пошлейшим образом согласится и пойдет. „Ты не знаешь, ты не знаешь, в каком это чулане происходило!" — припоминались мне давешние слова Ламберта. И это так, — подтверждал я, — Ламберт прав во всем, в тысячу раз правее меня, и Версилова, и всех этих идеалистов! Он — реалист. Она увидит, что у меня есть характер, и скажет: „А у него есть характер!" Ламберт — подлец, и ему только бы тридцать тысяч с меня сорвать, а все-таки он у меня один только друг и есть. Другой дружбы нет и не может быть, это всё выдумали непрактические люди. А ее я даже и не унижаю; разве я ее унижаю? Ничуть: все женщины таковы! Женщина разве бывает без подлости? Потому-то над ней и нужен мужчина, потому-то она и создана существом подчиненным. Женщина — порок и соблазн, а мужчина — благородство и великодушие. Так и будет во веки веков. А что я собираюсь употребить „документ" — так это ничего. Это не помешает ни благородству, ни великодушию. Шиллеров в чистом состоянии не бывает — их выдумали. Ничего, коль с грязнотцой, если цель великолепна! Потом всё омоется, всё загладится. А теперь это — только широкость, это — только жизнь, это — только жизненная правда — вот как это теперь называется!»

О, опять повторю: да простят мне, что я привожу весь этот тогдашний хмельной бред до последней строчки. Конечно, это только эссенция тогдашних мыслей, но, мне кажется, я этими самыми словами и говорил. Я должен был привести их, потому что я сел писать, чтоб судить себя. А что же судить, как не это? Разве в жизни может быть что-нибудь серьезнее? Вино же не оправдывало. In vino veritas.[1]

Так мечтая и весь закопавшись в фантазию, я и не заметил, что дошел наконец до дому, то есть до маминой квартиры. Даже не заметил, как вошел в квартиру; но только что я вступил в нашу крошечную переднюю, как уже сразу понял, что у нас произошло нечто необычайное. В комнатах говорили громко, вскрикивали, а мама, слышно было, плакала. В дверях меня чуть не сбила с ног

[1] Истина в вине *(лат.)*.

Лукерья, стремительно пробежавшая из комнаты Макара Ивановича в кухню. Я сбросил шубу и вошел к Макару Ивановичу, потому что там все столпились.

Там стояли Версилов и мама. Мама лежала у него в объятиях, а он крепко прижимал ее к сердцу. Макар Иванович сидел, по обыкновению, на своей скамеечке, но как бы в каком-то бессилии, так что Лиза с усилием придерживала его руками за плечо, чтобы он не упал; и даже ясно было, что он всё клонится, чтобы упасть. Я стремительно шагнул ближе, вздрогнул и догадался: старик был мертв.

Он только что умер, за минуту какую-нибудь до моего прихода. За десять минут он еще чувствовал себя как всегда. С ним была тогда одна Лиза; она сидела у него и рассказывала ему о своем горе, а он, как вчера, гладил ее по голове. Вдруг он весь затрепетал (рассказывала Лиза), хотел было привстать, хотел было вскрикнуть и молча стал падать на левую сторону. «Разрыв сердца!» — говорил Версилов. Лиза закричала на весь дом, и вот тут-то они все и сбежались — и всё это за минуту какую-нибудь до моего прихода.

— Аркадий! — крикнул мне Версилов, — мигом беги к Татьяне Павловне. Она непременно должна быть дома. Проси немедленно. Возьми извозчика. Скорей, умоляю тебя!

Его глаза сверкали — это я ясно помню. В лице его я не заметил чего-нибудь вроде чистой жалости, слез — плакали лишь мама, Лиза да Лукерья. Напротив, и это я очень хорошо запомнил, в лице его поражало какое-то необыкновенное возбуждение, почти восторг. Я побежал за Татьяной Павловной.

Путь, как известно из прежнего, тут не длинный. Я извозчика не взял, а пробежал всю дорогу не останавливаясь. В уме моем было смутно и даже тоже почти что-то восторженное. Я понимал, что совершилось нечто радикальное. Опьянение же совершенно исчезло во мне, до последней капли, а вместе с ним и все неблагородные мысли, когда я позвонил к Татьяне Павловне.

Чухонка отперла: «Нет дома!» — и хотела тотчас запереть.

— Как нет дома? — ворвался я в переднюю силой, —да быть же не может! Макар Иванович умер!

— Что-о! — раздался вдруг крик Татьяны Павловны сквозь запертую дверь в ее гостиную.

— Умер! Макар Иванович умер! Андрей Петрович просит вас сию минуту прийти!

— Да ты врешь!..

Задвижка щелкнула, но дверь отворилась только на вершок: «Что такое, рассказывай!»

— Я сам не знаю, я только что пришел, а он уже мертв. Андрей Петрович говорит: разрыв сердца!

— Сейчас, сию минуту. Беги, скажи, что буду: ступай же, ступай же, ступай! Ну, чего еще стал?

Но я ясно видел сквозь притворенную дверь, что кто-то вдруг вышел из-за портьеры, за которой помещалась кровать Татьяны Павловны, и стал в глубине комнаты, за Татьяной Павловной. Машинально, инстинктивно я схватился за замок и уже не дал затворить дверь.

— Аркадий Макарович! Неужели правда, что он умер? — раздался знакомый мне тихий, плавный, металлический голос, от которого всё так и задрожало в душе моей разом: в вопросе слышалось что-то проникнувшее и взволновавшее *ее* душу.

— А коли так, — бросила вдруг дверь Татьяна Павловна, — коли так — так и улаживайтесь, как хотите, сами. Сами захотели!

Она стремительно выбежала из квартиры, накидывая на бегу платок и шубку, и пустилась по лестнице. Мы остались одни. Я сбросил шубу, шагнул и затворил за собою дверь. Она стояла предо мной как тогда, в то свидание, с светлым лицом, с светлым взглядом, и, как тогда, протягивала мне обе руки. Меня точно подкосило, и я буквально упал к ее ногам.

III

Я начал было плакать, не знаю с чего; не помню, как она усадила меня подле себя, помню только, в бесценном воспоминании моем, как мы сидели рядом, рука в руку, и стремительно разговаривали: она расспрашивала про старика и про смерть его, а я ей об нем рассказывал — так что можно было подумать, что я плакал о Макаре Ивановиче, тогда как это было бы верх нелепости; и я знаю, что она ни за что бы не могла предположить во мне такой совсем уж малолетней пошлости. Наконец я вдруг спохватился, и мне стало стыдно. Теперь я полагаю, что плакал тогда единственно от восторга, и думаю, что она это очень хорошо поняла сама, так что насчет этого воспоминания я спокоен.

Мне вдруг показалось очень странным, что она всё так расспрашивала про Макара Ивановича.

— Да вы разве знали его? — спросил я в удивлении.

— Давно. Я его никогда не видала, но в жизни моей он тоже играл роль. Мне много передавал о нем в свое время тот человек, которого я боюсь. Вы знаете — какой человек.

— Я только знаю теперь, что «тот человек» гораздо был ближе к душе вашей, чем вы это мне прежде открыли, — сказал я, сам не зная, что хотел этим выразить, но как бы с укоризной и весь нахмурясь.

— Вы говорите, он целовал сейчас вашу мать? Обнимал ее? Вы это видели сами? — не слушала она меня и продолжала расспрашивать.

— Да, видел; и поверьте, всё это было в высшей степени искренно и великодушно! — поспешил я подтвердить, видя ее радость.

— Дай ему бог! — перекрестилась она. — Теперь он развязан. Этот прекрасный старик только связывал его жизнь. Со смертью его в нем опять воскреснет долг и... достоинство, как воскресали уже раз. О, он прежде всего — великодушный, он успокоит сердце вашей матери, которую любит больше всего на земле, и успокоится наконец сам, да и, слава богу, — пора.

— Он вам очень дорог?

— Да, очень дорог, хотя и не в том смысле, в каком бы он сам желал и в каком вы спрашиваете.

— Да вы теперь-то за него или за себя боитесь? — спросил я вдруг.

— Ну, это — мудреные вопросы, оставим их.

— Оставим конечно; только ничего я этого не знал, слишком многого, может быть; но пусть, вы правы, теперь всё по-новому, и если кто воскрес, то я первый. Я перед вами низок мыслями, Катерина Николаевна, и, может быть, не более часу назад я совершил низость против вас и делом, но знайте, я вот сижу подле вас и не чувствую никакого угрызения. Потому что всё теперь исчезло и всё по-новому, а того человека, который час назад замышлял против вас низость, я не знаю и знать не хочу!

— Очнитесь, — улыбнулась она, — вы как будто немножко в бреду.

— И разве можно судить себя подле вас?.. — продолжал я, — будь честный, будь низкий — вы всё равно, как солнце, недосягаемы... Скажите, как это вы могли выйти ко мне, после всего, что было? Да если б вы знали, что было час назад, только час? И какой сон сбылся?

— Всё, должно быть, знаю, — тихо улыбнулась она, — вы только что хотели мне в чем-нибудь отмстить, поклялись меня погубить и наверно убили бы или прибили тут же всякого, который осмелился бы сказать обо мне при вас хоть одно худое слово.

О, она улыбалась и шутила; но это лишь по чрезмерной ее доброте, потому что вся душа ее в ту минуту была полна, как сообразил я после, такой собственной огромной заботы и такого сильного и могущественного ощущения, что разговаривать со мной и отвечать на мои пустенькие, раздражительные вопросы она могла лишь вроде как когда отвечают маленькому ребенку на какой-нибудь его детский неотвязный вопрос, чтоб отвязаться. Я это вдруг понял, и мне стало стыдно, но я уже не мог отвязаться.

— Нет, — вскричал я, не владея собой, — нет, я не убил того, который говорил об вас худо, а напротив, я же его и поддержал!

— О, ради бога, не надо, не нужно, не рассказывайте ничего, — протянула она вдруг руку, чтобы остановить меня, и даже с каким-то страданием в лице, но я уже вскочил с места и стал перед нею, чтоб высказать всё, и, если б высказал, не случилось бы того, что вышло после, потому что наверно кончилось бы тем, что я бы сознался во всем и возвратил ей документ. Но она вдруг засмеялась:

— Не надо, не надо ничего, никаких подробностей! все ваши преступления я сама знаю: бьюсь об заклад, вы хотели на мне жениться, или вроде того, и только что сговаривались об этом с каким-нибудь из ваших помощников, ваших прежних школьных друзей... Ах, да ведь я, кажется, угадала! — вскричала она, серьезно всматриваясь в мое лицо.

— Как... как вы могли угадать? — пролепетал было я, как дурак, страшно пораженный.

— Ну вот еще! Но довольно, довольно! я вам прощаю, только перестаньте об этом, — махнула она опять рукой, уже с видимым нетерпением. — Я — сама мечтательница, и если б вы знали, к каким средствам в мечтах прибегаю в минуты, когда во мне удержу нет! Довольно, вы меня всё сбиваете. Я очень рада, что Татьяна Павловна ушла; мне очень хотелось вас видеть, а при ней нельзя было бы так, как теперь, говорить. Мне кажется, я перед вами виновата в том, что тогда случилось. Да? Ведь да?

— Вы виноваты? Но тогда я предал вас *ему*, и — что могли вы обо мне подумать! Я об этом думал всё это время, все эти дни, с тех пор, каждую минуту, думал и ощущал. (Я ей не солгал.)

— Напрасно так себя мучили, я тогда же слишком поняла, как это всё вышло; просто вы проговорились ему тогда в радости, что в меня влюблены и что я... ну, и что я вас слушаю. На то вам и двадцать лет. Ведь вы его любите больше всего мира, ищете в нем друга, идеал? Я слишком это поняла, но уже было поздно; о да, я сама была тогда виновата: мне надо было вас позвать тогда же и вас успокоить, но мне стало досадно; и я попросила не принимать вас в дом; вот и вышла та сцена у подъезда, а потом та ночь. И знаете, я всё это время, как и вы, мечтала с вами увидеться потихоньку, только не знала, как бы это устроить. И как вы думаете, чего я боялась больше всего? Того, что вы поверите его наговорам обо мне.

— Никогда! — вскричал я.

— Я ценю наши бывшие встречи; мне в вас дорог юноша, и даже, может быть, эта самая искренность... Я ведь — пресерьезный характер. Я — самый серьезный и нахмуренный характер из всех современных женщин, знайте это... ха-ха-ха! Мы еще наговоримся, а теперь я немного не по себе, я взволнована и... кажется, у меня истерика. Но наконец-то, наконец-то даст *он* и мне жить на свете!

Это восклицание вырвалось нечаянно; я это тотчас понял и не захотел подымать, но я весь задрожал.

— Он знает, что я простила ему! — воскликнула она вдруг опять, как бы сама с собою.

— Неужели вы могли простить ему то письмо? И как он мог бы узнать про то, что вы ему простили? — воскликнул я, уже не сдержавшись.

— Как он узнал? О, он знает, — продолжала она отвечать мне, но с таким видом, как будто и забыв про меня и точно говоря с собою. — Он теперь очнулся. Да и как ему не знать, что я его

простила, коли он знает наизусть мою душу? Ведь знает же он, что я сама немножко в его роде.

— Вы?

— Ну да, это ему известно. О, я — не страстная, я — спокойная: но я тоже хотела бы, как и он, чтоб все были хороши... Ведь полюбил же он меня за что-нибудь.

— Как же он говорил, что в вас все пороки?

— Это он только говорил; у него про себя есть другой секрет. А не правда ли, что письмо свое он ужасно смешно написал?

— Смешно?! (Я слушал ее из всех сил; полагаю, что действительно она была как в истерике и... высказывалась, может быть, вовсе не для меня; но я не мог удержаться, чтоб не расспрашивать).

— О да, смешно, и как бы я смеялась, если б... если б не боялась. Я, впрочем, не такая уж трусиха, не подумайте; но от этого письма я ту ночь не спала, оно писано как бы какою-то больною кровью... и после такого письма что ж еще остается? Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна... Ах, послушайте! — вскинулась она вдруг, — ступайте к нему! Он теперь один, он не может быть всё там, и наверно ушел куда-нибудь один: отыщите его скорей, непременно скорей, бегите к нему, покажите, что вы — любящий сын его, докажите, что вы — милый, добрый мальчик, мой студент, которого я... О, дай вам бог счастья! Я никого не люблю, да это и лучше; но я желаю всем счастья, всем, и ему первому, и пусть он узнает про это... даже сейчас же, мне было бы очень приятно...

Она встала и вдруг исчезла за портьеру; на лице ее в то мгновение блистали слезы (истерические, после смеха). Я остался один, взволнованный и смущенный. Положительно я не знал, чему приписать такое в ней волнение, которого я никогда бы в ней и не предположил. Что-то как бы сжалось в моем сердце.

Я прождал пять минут, наконец — десять; глубокая тишина вдруг поразила меня, и я решился выглянуть из дверей и окликнуть. На мой оклик появилась Марья и объявила мне самым спокойным тоном, что барыня давным-давно оделась и вышла через черный ход.

Глава седьмая

I

Этого только недоставало. Я захватил мою шубу и, накидывая ее на ходу, побежал вон с мыслью: «Она велела идти к нему, а где я его достану?»

Но, мимо всего другого, я поражен был вопросом: «Почему она думает, что теперь что-то настало и что *он* даст ей покой? Конечно — потому, что он женится на маме, но что ж она? Радуется ли тому, что он женится на маме, или, напротив, она оттого

и несчастна? Оттого-то и в истерике? Почему я этого не могу разрешить?»

Отмечаю эту вторую мелькнувшую тогда мысль буквально, для памяти: она — важная. Этот вечер был роковой. И вот, пожалуй, поневоле поверишь предопределению: не прошел я и ста шагов по направлению к маминой квартире, как вдруг столкнулся с тем, кого искал. Он схватил меня за плечо и остановил.

— Это — ты! — вскрикнул он радостно и в то же время как бы в величайшем удивлении. — Вообрази, я был у тебя, — быстро заговорил он, — искал тебя, спрашивал тебя — ты мне нужен теперь один только во всей вселенной! Твой чиновник врал мне бог знает что; но тебя не было, и я ушел, даже забыв попросить передать тебе, чтоб ты немедля ко мне прибежал — и что же? я все-таки шел в непоколебимой уверенности, что судьба не может не послать тебя теперь, когда ты мне всего нужнее, и вот ты первый и встречаешься! Идем ко мне: ты никогда не бывал у меня.

Одним словом, мы оба друг друга искали, и с нами, с каждым, случилось как бы нечто схожее. Мы пошли очень торопясь.

Дорогой он промолвил лишь несколько коротеньких фраз о том, что оставил маму с Татьяной Павловной, и проч. Он вел меня, держа за руку. Жил он от тех мест недалеко, и мы скоро пришли. Я действительно никогда еще у него не бывал. Это была небольшая квартира в три комнаты, которую он нанимал (или, вернее, нанимала Татьяна Павловна) единственно для того «грудного ребенка». Квартира эта и прежде всегда была под надзором Татьяны Павловны, и в ней помещалась нянька с ребенком (а теперь и Настасья Егоровна); но всегда была и комната для Версилова, именно — первая, входная, довольно просторная и довольно хорошо и мягко меблированная, вроде кабинета для книжных и письменных занятий. Действительно, на столе, в шкафу и на этажерках было много книг (которых в маминой квартире почти совсем не было); были исписанные бумаги, были связанные пачки с письмами — одним словом, всё глядело как давно уже обжитой угол, и я знаю, что Версилов и прежде (хотя и довольно редко) переселялся по временам на эту квартиру совсем и оставался в ней даже по целым неделям. Первое, что остановило мое внимание, был висевший над письменным столом, в великолепной резной дорогого дерева раме, мамин портрет — фотография, снятая, конечно, за границей, и, судя по необыкновенному размеру ее, очень дорогая вещь. Я не знал и ничего не слыхал об этом портрете прежде, и что, главное, поразило меня — это необыкновенное в фотографии сходство, так сказать, духовное сходство, — одним словом, как будто это был настоящий портрет из руки художника, а не механический оттиск. Я, как вошел, тотчас же и невольно остановился перед ним.

— Не правда ли? не правда ли? — повторил вдруг надо мной Версилов.

То есть «не правда ли, как похож?» Я оглянулся на него и был поражен выражением его лица. Он был несколько бледен, но с горячим, напряженным взглядом, сиявшим как бы счастием и силой: такого выражения я еще не знал у него вовсе.

— Я не знал, что вы так любите маму! — отрезал я вдруг сам в восторге.

Он блаженно улыбнулся, хотя в улыбке его и отразилось как бы что-то страдальческое или, лучше сказать, что-то гуманное, высшее... не умею я этого высказать; но высокоразвитые люди, как мне кажется, не могут иметь торжественно и победоносно счастливых лиц. Не ответив мне, он снял портрет с колец обеими руками, приблизил к себе, поцеловал его, затем тихо повесил опять на стену.

— Заметь, — сказал он, — фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими, и это понятно: сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывает, и не было ее вовсе в лице. Фотография же застает человека как есть, и весьма возможно, что Наполеон, в иную минуту, вышел бы глупым, а Бисмарк — нежным. Здесь же, в этом портрете, солнце, как нарочно, застало Соню в ее главном мгновении — стыдливой, кроткой любви и несколько дикого, пугливого ее целомудрия. Да и счастлива же как была она тогда, когда наконец убедилась, что я так жажду иметь ее портрет! Этот снимок сделан хоть и не так давно, а всё же она была тогда моложе и лучше собою; а между тем уж и тогда были эти впалые щеки, эти морщинки на лбу, эта пугливая робость взгляда, как бы нарастающая у ней теперь с годами — чем дальше, тем больше. Веришь ли, милый? я почти и представить теперь ее не могу с другим лицом, а ведь была же и она когда-то молода и прелестна! Русские женщины дурнеют быстро, красота их только мелькнет, и, право, это не от одних только этнографических особенностей типа, а и оттого еще, что они умеют любить беззаветно. Русская женщина всё разом отдает, коль полюбит, — и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее: экономничать не умеют, про запас не прячут, и красота их быстро уходит в того, кого любят. Эти впалые щеки — это тоже в меня ушедшая красота, в мою коротенькую потеху. Ты рад, что я любил твою маму, и даже не верил, может быть, что я любил ее? Да, друг мой, я ее очень любил, но, кроме зла, ей ничего не сделал... Вот тут еще есть и другой портрет — посмотри и на него.

Он взял со стола и мне подал. Это тоже была фотография, несравненно меньшего размера, в тоненьком, овальном, деревянном ободочке — лицо девушки, худое и чахоточное и, при всем том, прекрасное; задумчивое и в то же время до странности лишенное мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями

типа, но оставляющие болезненное впечатление: похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу.

— Это... это — та девушка, на которой вы хотели там жениться и которая умерла в чахотке... *ее* падчерица? — проговорил я несколько робко.

— Да, хотел жениться, умерла в чахотке, *ее* падчерица. Я знал, что ты знаешь... все эти сплетни. Впрочем, кроме сплетен, ты тут ничего и не мог бы узнать. Оставь портрет, мой друг, это бедная сумасшедшая и ничего больше.

— Совсем сумасшедшая?

— Или идиотка; впрочем, я думаю, что и сумасшедшая. У нее был ребенок от князя Сергея Петровича (по сумасшествию, а не по любви; это — один из подлейших поступков князя Сергея Петровича); ребенок теперь здесь, в той комнате, и я давно хотел тебе показать его. Князь Сергей Петрович не смел сюда приходить и смотреть на ребенка; это был мой с ним уговор еще за границей. Я взял его к себе, с позволения твоей мамы. С позволения твоей мамы хотел тогда и жениться на этой... несчастной...

— Разве такое позволение возможно? — промолвил я с горячностью.

— О да! она мне позволила: ревнуют к женщинам, а это была не женщина.

— Не женщина для всех, кроме мамы! В жизнь не поверю, чтоб мама не ревновала! — вскричал я.

— И ты прав. Я догадался о том, когда уже было всё кончено, то есть когда она дала позволение. Но оставь об этом. Дело не сладилось за смертью Лидии, да, может, если б и осталась в живых, то не сладилось бы, а маму я и теперь не пускаю к ребенку. Это — лишь эпизод. Милый мой, я давно тебя ждал сюда. Я давно мечтал, как мы здесь сойдемся; знаешь ли, как давно? — уже два года мечтал.

Он искренно и правдиво посмотрел на меня, с беззаветною горячностью сердца. Я схватил его за руку:

— Зачем вы медлили, зачем давно не звали? Если б вы знали, что было... и чего бы не было, если б давно меня кликнули!..

В это мгновение внесли самовар, а Настасья Егоровна вдруг внесла ребенка, спящего.

— Посмотри на него, — сказал Версилов, — я его люблю и велел принести теперь нарочно, чтоб ты тоже посмотрел на него. Ну, и унесите его опять, Настасья Егоровна. Садись к самовару. Я буду воображать, что мы вечно с тобой так жили и каждый вечер сходились, не разлучаясь. Дай мне посмотреть на тебя: сядь вот так, чтоб я твое лицо видел. Как я его люблю, твое лицо! Как я воображал себе твое лицо, еще когда ждал тебя из Москвы! Ты спрашиваешь: зачем давно за тобой не послал? Подожди, это ты, может быть, и поймешь теперь.

— Но неужели только смерть этого старика вам теперь развязала язык? это странно...

Но если я и вымолвил это, то смотрел я с любовью. Говорили мы как два друга, в высшем и полном смысле слова. Он привел меня сюда, чтобы что-то мне выяснить, рассказать, оправдать; а между тем уже всё было, раньше слов, разъяснено и оправдано. Что бы я ни услышал от него теперь — результат уже был достигнут, и мы оба со счастием знали про это и так и смотрели друг на друга.

— Не то что смерть этого старика, — ответил он, — не одна смерть; есть и другое, что попало теперь в одну точку... Да благословит бог это мгновение и нашу жизнь, впредь и надолго! Милый мой, поговорим. Я всё разбиваюсь, развлекаюсь, хочу говорить об одном, а ударяюсь в тысячу боковых подробностей. Это всегда бывает, когда сердце полно... Но поговорим; время пришло, а я давно влюблен в тебя, мальчик...

Он откинулся в своих креслах и еще раз оглядел меня.

— Как это странно! Как это странно слышать! — повторял я, утопая в восторге.

И вот, помню, в лице его вдруг мелькнула его обычная складка — как бы грусти и насмешки вместе, столь мне знакомая. Он скрепился и как бы с некоторою натугою начал.

II

— Вот что, Аркадий: если б я и позвал тебя раньше, то что бы сказал тебе? В этом вопросе весь мой ответ.

— То есть вы хотите сказать, что вы теперь — мамин муж и мой отец, а тогда... Вы насчет социального положения не знали бы, что сказать мне прежде? Так ли?

— Не об одном этом, милый, не знал бы, что тебе сказать: тут о многом пришлось бы молчать. Тут даже многое смешно и унизительно тем, что похоже на фокус; право, на самый балаганный фокус. Ну где же прежде нам было бы понять друг друга, когда я и сам-то понял себя самого — лишь сегодня, в пять часов пополудни, ровно за два часа до смерти Макара Ивановича. Ты глядишь на меня с неприятным недоумением? Не беспокойся: я разъясню фокус; но то, что я сказал, вполне справедливо: вся жизнь в странствии и недоумениях, и вдруг — разрешение их такого-то числа, в пять часов пополудни! Даже обидно, не правда ли? В недавнюю еще старину я и впрямь бы обиделся.

Я слушал действительно с болезненным недоумением; сильно выступала прежняя версиловская складка, которую я не желал бы встретить в тот вечер, после таких уже сказанных слов. Вдруг я воскликнул:

— Боже мой! Вы получили что-нибудь от нее... в пять часов, сегодня?

Он посмотрел на меня пристально и, видимо, пораженный моим восклицанием, а может, и выражением моим: «от нее».

— Ты всё узнаешь, — сказал он, с задумчивою улыбкой, — и, уж конечно, я, что надо, не потаю от тебя, потому что затем тебя и привел; но теперь пока это всё отложим. Видишь, друг мой, я давно уже знал, что у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей. Я наметил этих задумывающихся еще с моей школы и заключил тогда, что всё это потому, что они слишком рано завидуют. Заметь, однако, что я и сам был из задумывающихся детей, но... извини, мой милый, я удивительно как рассеян. Я хотел только выразить, как постоянно я боялся здесь за тебя почти всё это время. Я всегда воображал тебя одним из тех маленьких, но сознающих свою даровитость и уединяющихся существ. Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей. Беда этим существам, оставленным на одни свои силы и грезы и с страстной, слишком ранней и почти мстительной жаждой благообразия, именно — «мстительной». Но довольно, милый: я опять уклонился... Я еще прежде, чем начал любить тебя, уже воображал тебя и твои уединенные, одичавшие мечты... Но довольно; я, собственно, забыл, о чем стал говорить. Впрочем, всё же надо было это высказать. А прежде, прежде что бы я мог тебе сказать? Теперь я вижу твой взгляд на мне и знаю, что на меня смотрит мой *сын*; а я ведь даже вчера еще не мог поверить, что буду когда-нибудь, как сегодня, сидеть и говорить с моим мальчиком.

Он действительно становился очень рассеян, а вместе с тем как бы чем-то растроган.

— Мне теперь не нужно мечтать и грезить, мне теперь довольно и вас! Я пойду за вами! — проговорил я, отдаваясь ему всей душой.

— За мной? А мои странствия как раз кончились и как раз сегодня: ты опоздал, мой милый. Сегодня — финал последнего акта, и занавес опускается. Этот последний акт долго длился. Начался он очень давно — тогда, когда я побежал в последний раз за границу. Я тогда бросил всё, и знай, мой милый, что я тогда разженился с твоей мамой и ей сам заявил про это. Это ты должен знать. Я объяснил ей тогда, что уезжаю навек, что она меня больше никогда не увидит. Всего хуже, что я забыл даже оставить ей тогда денег. Об тебе тоже не подумал ни минуты. Я уехал с тем, чтоб остаться в Европе, мой милый, и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал.

— К Герцену? Участвовать в заграничной пропаганде? Вы, наверно, всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре? — вскричал я, не сдерживаясь.

— Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал. А у тебя так даже глаза засверкали; я люблю твои восклицания, мой милый. Нет, я просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски.

Это была тоска русского дворянина — право, не умею лучше выразиться. Дворянская тоска и ничего больше.

— Крепостное право... освобождение народа? — пробормотал было я, задыхаясь.

— Крепостничество? Ты думаешь, я стосковался по крепостничеству? Не мог вынести освобождения народа? О нет, мой друг, да мы-то и были освободителями. Я эмигрировал без всякой злобы. Я только что был мировым посредником и бился из всех сил; бился бескорыстно и уехал даже и не потому, что мало получил за мой либерализм. Мы и все тогда ничего не получили, то есть опять-таки такие, как я. Я уехал скорее в гордости, чем в раскаянии, и, поверь тому, весьма далекий от мысли, что настало мне время кончить жизнь скромным сапожником. Je suis gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme! [1] Но мне все-таки было грустно. Нас таких в России, может быть, около тысячи человек; действительно, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идее. Мы — носители идеи, мой милый!.. Друг мой, я говорю в какой-то странной надежде, что ты поймешь всю эту белиберду. Я призвал тебя по капризу сердца: мне уже давно мечталось, как я что-нибудь скажу тебе... тебе, именно тебе! А впрочем... впрочем...

— Нет, говорите, — вскричал я, — я вижу на вашем лице опять искренность... Что же, Европа воскресила ли вас тогда? Да и что такое ваша «дворянская тоска»? Простите, голубчик, я еще не понимаю.

— Воскресила ли меня Европа? Но я сам тогда ехал ее хоронить!

— Хоронить? — повторил я в удивлении.

Он улыбнулся.

— Друг Аркадий, теперь душа моя умилилась, и я возмутился духом. Я никогда не забуду моих тогдашних первых мгновений в Европе. Я и прежде живал в Европе, но тогда было время особенное, и никогда я не въезжал туда с такою безотрадною грустью и... с такою любовью, как в то время. Я расскажу тебе одно из первых тогдашних впечатлений моих, один мой тогдашний сон, действительный сон. Это случилось еще в Германии. Я только что выехал из Дрездена и в рассеянности проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня тотчас высадили; был третий час пополудни, день ясный. Это был маленький немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать: следующий поезд проходил в одиннадцать часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда особенно не спешил. Я скитался, друг мой, я скитался. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и обставлена клумбами цветов, как всегда у них. Мне дали тесную комнатку,

---

[1] Я прежде всего дворянин и дворянином умру! *(франц.)*

и так как я всю ночь был в дороге, то и заснул после обеда, в четыре часа пополудни.

Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал таких. В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу — «Асис и Галатея»; я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Я уж и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз мимоездом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось: точно так, как и в картине, — уголок Греческого архипелага, причем и время как бы перешло за три тысячи лет назад; голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце — словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей... Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть! И всё это ощущение я как будто прожил в этом сне; скалы, и море, и косые лучи заходящего солнца — всё это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я был рад. Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до боли; это была всечеловеческая любовь. Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался пук косых лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот — это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества! Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и без того знал, что всё прейдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли; но я, как русский европеец, не мог допустить того. Да, они только что сожгли тогда Тюильри... О, не беспокойся, я знаю, что это было «логично», и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но, как носитель высшей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире: я скитался один. Не про себя лично я говорю — я про русскую мысль говорю. Там была брань и логика; там француз был всего только французом, а немец всего только

немцем, и это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю; стало быть, никогда француз не повредил столько Франции, а немец своей Германии, как в то именно время! Тогда во всей Европе не было ни одного европейца! Только я один, между всеми петролейщиками, мог сказать им в глаза, что их Тюильри — ошибка; и только я один, между всеми консерваторами-отмстителями, мог сказать отмстителям, что Тюильри — хоть и преступление, но всё же логика. И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе *единственным европейцем*. Я не про себя говорю — я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, мой друг, я скитался и твердо знал, что мне надо молчать и скитаться. Но всё же мне было грустно. Я, мальчик мой, не могу не уважать моего дворянства. Ты, кажется, смеешься?

— Нет, не смеюсь, — проговорил я проникнутым голосом, — вовсе не смеюсь: вы потрясли мое сердце вашим видением золотого века, и будьте уверены, что я начинаю вас понимать. Но более всего я рад тому, что вы так себя уважаете. Я спешу вам заявить это. Никогда я не ожидал от вас этого!

— Я уже сказал тебе, что люблю твои восклицания, милый, — улыбнулся он опять на мое наивное восклицание и, встав с кресла, начал, не примечая того, ходить взад и вперед по комнате. Я тоже привстал. Он продолжал говорить своим странным языком, но с глубочайшим проникновением мыслью.

III

— Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало.

Я слушал с напряжением. Выступало убеждение, направление всей жизни. Эти «тысяча человек» так рельефно выдавали его! Я чувствовал, что экспансивность его со мной шла из какого-то внешнего потрясения. Он говорил мне все эти горячие речи, любя меня; но причина, почему он стал вдруг говорить и почему так пожелал именно со мной говорить, мне всё еще оставалась неизвестною.

— Я эмигрировал, — продолжал он, — и мне ничего было не жаль назади. Всё, что было в силах моих, я отслужил тогда России, пока в ней был; выехав, я тоже продолжал ей служить, но

лишь расширив идею. Но, служа так, я служил ей гораздо больше, чем если б я был всего только русским, подобно тому как француз был тогда всего только французом, а немец — немцем. В Европе этого пока еще не поймут. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен.

Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. Я — пионер этой мысли. Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить. Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться (да я и знал, что еду только скитаться), но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску. О, не одна только тогдашняя кровь меня так испугала, и даже не Тюильри, а всё, что должно последовать. Им еще долго суждено драться, потому что они — еще слишком немцы и слишком французы и не кончили свое дело еще в этих ролях. А до тех пор мне жаль разрушения. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями... Там консерватор всего только борется за существование; да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде, чем достигнуть царствия божия.

Признаюсь, я слушал в большом смущении; даже тон его речи пугал меня, хотя я не мог не поразиться мыслями. Я болезненно боялся лжи. Вдруг я заметил ему строгим голосом:

— Вы сказали сейчас: «царствие божие». Я слышал, вы проповедовали там бога, носили вериги?

— О веригах моих оставь, — улыбнулся он, — это совсем другое. Я тогда еще ничего не проповедовал, но о боге их тосковал, это — правда. Они объявили тогда атеизм... одна кучка из них, но это ведь всё равно; это лишь первые скакуны, но это был первый *исполнительный* шаг — вот что важно. Тут опять их логика; но ведь в логике и всегда тоска. Я был другой культуры, и сердце мое не допускало того. Эта неблагодарность, с которою они расставались с идеей, эти свистки и комки грязи мне были невыносимы. Сапожность процесса пугала меня. Впрочем, действительность и всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к идеалу, и я, конечно, это должен был знать; но всё же я был другого типа человек; я был свободен в выборе, а они нет — и я плакал, за них плакал, плакал по старой идее, и, может быть, плакал настоящими слезами, без красного слова.

— Вы так сильно веровали в бога? — спросил я недоверчиво.

— Друг мой, это — вопрос, может быть, лишний. Положим, я и не очень веровал, но всё же я не мог не тосковать по идее. Я не мог не представлять себе временами, как будет жить человек без бога и возможно ли это когда-нибудь. Сердце мое решало всегда, что невозможно; но некоторый период, пожалуй, возможен... Для меня даже сомнений нет, что он настанет; но тут я представлял себе всегда другую картину...

— Какую?

Правда, он уже прежде объявил, что он счастлив; конечно, в словах его было много восторженности; так я и принимаю многое из того, что он тогда высказал. Всего, без сомнения, не решусь, уважая этого человека, передать теперь на бумаге из того, что мы тогда переговорили; но несколько штрихов странной картины, которую я успел-таки от него выманить, я здесь приведу. Главное, меня всегда и всё время прежде мучили эти «вериги», и я желал их разъяснить — потому и настаивал. Несколько фантастических и чрезвычайно странных идей, им тогда высказанных, остались в моем сердце навеки.

— Я представляю себе, мой милый, — начал он с задумчивою улыбкою, — что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни сос-

тавляют всё друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — всё, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем всё свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, — но всё равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, всё так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастие каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...

Милый мой, — прервал он вдруг с улыбкой, — всё это — фантазия, даже самая невероятная; но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю: вера моя невелика, я — деист, философский деист, как вся наша тысяча, так я полагаю, но... но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения...

Оставим это, друг мой; а «вериги» мои — вздор; не беспокойся об них. Да еще вот что: ты знаешь, что я на язык стыдлив и трезв; если разговорился теперь, то это... от разных чувств и потому что — с тобой; другому я никому и никогда не скажу. Это прибавляю, чтобы тебя успокоить.

Но я был даже растроган; лжи, которой я опасался, не было, и я особенно рад был тому, что уже мне ясно стало, что он действительно тосковал и страдал и действительно, несомненно, много любил — а это было мне дороже всего. Я с увлечением ему высказал это.

— Но знаете, — прибавил вдруг я, — мне кажется, что все-таки, несмотря на всю вашу тоску, вы должны были быть чрезвычайно тогда счастливы?

Он весело рассмеялся.

— Ты сегодня особенно меток на замечания, — сказал он. — Ну да, я был счастлив, да и мог ли я быть несчастлив с такой тоской? Нет свободнее и счастливее русского европейского скитальца из нашей тысячи. Это я, право, не смеясь говорю, и тут много серьезного. Да я за тоску мою не взял бы никакого другого счастья. В этом смысле я всегда был счастлив, мой милый, всю жизнь мою. И от счастья полюбил тогда твою маму в первый раз в моей жизни.

— Как в первый раз в жизни?

— Именно — так. Скитаясь и тоскуя, я вдруг полюбил ее, как никогда прежде, и тотчас послал за нею.

— О, расскажите мне и про это, расскажите мне про маму!

— Да я затем и призвал тебя, и знаешь, — улыбнулся он весело, — я уж боялся, что ты простил мне маму за Герцена или за какой-нибудь там заговоришко...

Глава восьмая

I

Так как мы проговорили тогда весь вечер и просидели до ночи, то я и не привожу всех речей, но передам лишь то, что объяснило мне наконец один загадочный пункт в его жизни.

Начну с того, что для меня и сомнения нет, что он любил маму, и если бросил ее и «разженился» с ней, уезжая, то, конечно, потому, что слишком заскучал или что-нибудь в этом роде, что, впрочем, бывает и со всеми на свете, но что объяснить всегда трудно. За границей, после долгого, впрочем, времени, он вдруг полюбил опять маму заочно, то есть в мыслях, и послал за нею. Скажут, пожалуй, «заблажил», но я скажу иное: по-моему, тут было всё, что только может быть серьезного в жизни человеческой, несмотря на видимое брандахлыстничанье, которое я, пожалуй, отчасти допускаю. Но клянусь, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только на ряду, но и несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности по постройке железных дорог. Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов; а любовь его к маме за нечто совершенно неоспоримое, хотя, может быть, немного и фантастическое. За границей, в «тоске и счастии», и, прибавлю, в самом строгом монашеском одиночестве (это особое сведение я уже получил потом через Татьяну Павловну), он вдруг вспомнил о маме — и именно вспомнил ее «впалые щеки», и тотчас послал за нею.

— Друг мой, — вырвалось у него, между прочим, — я вдруг сознал, что мое служение идее вовсе не освобождает меня, как нравственно-разумное существо, от обязанности сделать в продолжение моей жизни хоть одного человека счастливым практически.

— Неужели такая книжная мысль была всему причиной? — спросил я с недоумением.

— Это — не книжная мысль. А впрочем, — пожалуй. Тут всё, однако же, вместе: ведь я же любил твою маму в самом деле, искренно, не книжно. Не любил бы так — не послал бы за нею, а «осчастливил» бы какого-нибудь подвернувшегося немца или немку, если уж выдумал эту идею. А осчастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью для всякого развитого человека; подобно тому, как я поставил бы в закон или в повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево в своей жизни ввиду обезлесения России; впрочем, одного-то дерева мало будет, можно бы приказать сажать и каждый год по дереву. Высший и развитой человек, преследуя высшую мысль, отвлекается иногда совсем от насущного, становится смешон, капризен и холоден, даже просто скажу тебе — глуп, и не только в практической жизни, но под конец даже глуп и в своих теориях. Таким образом, обязанность заняться практикой и осчастливить хоть одно насущное существо в самом деле всё бы поправила и освежила бы самого благотворителя. Как теория, это — очень смешно; но, если б это вошло в практику и обратилось в обычай, то было бы вовсе не глупо. Я это испытал на себе: лишь только я начал развивать эту идею о новой заповеди — и сначала, разумеется, шутя, я вдруг начал понимать всю степень моей, таившейся во мне, любви к твоей матери. До тех пор я совсем не понимал, что люблю ее. Пока жил с нею, я только тешился ею, пока она была хороша, а потом капризничал. Я в Германии только понял, что люблю ее. Началось с ее впалых щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда так даже и видеть без боли в сердце — буквальной боли, настоящей, физической. Есть больные воспоминания, мой милый, причиняющие действительную боль; они есть почти у каждого, но только люди их забывают; но случается, что вдруг потом припоминают, даже только какую-нибудь черту, и уж потом отвязаться не могут. Я стал припоминать тысячи подробностей моей жизни с Соней; под конец они сами припоминались и лезли массами и чуть не замучили меня, пока я ее ждал. Пуще всего меня мучило воспоминание о ее вечной приниженности передо мной и о том, что она вечно считала себя безмерно ниже меня во всех отношениях — вообрази себе — даже в физическом. Она стыдилась и вспыхивала, когда я иногда смотрел на ее руки и пальцы, которые у ней совсем не аристократические. Да и не пальцев одних, она всего стыдилась в себе, несмотря на то что я любил ее красоту. Она и всегда была со мной стыдлива до дикости, но то худо, что в стыдливости этой всегда проскакивал

как бы какой-то испуг. Одним словом, она считала себя предо мной за что-то ничтожное или даже почти неприличное. Право, иной раз, вначале, я иногда подумывал, что она всё еще считает меня за своего барина и боится, но это было совсем не то. А между тем, клянусь, она более чем кто-нибудь способна понимать мои недостатки, да и в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины. О, как она была несчастна, когда я требовал от нее вначале, когда она еще была так хороша, чтобы она рядилась. Тут было и самолюбие и еще какое-то другое оскорблявшееся чувство: она понимала, что никогда ей не быть барыней и что в чужом костюме она будет только смешна. Она, как женщина, не хотела быть смешною в своем платье и поняла, что каждая женщина должна иметь *свой* костюм, чего тысячи и сотни тысяч женщин никогда не поймут — только бы одеться по моде. Насмешливого взгляда моего она боялась — вот что! Но особенно грустно мне было припоминать ее глубоко удивленные взгляды, которые я часто заставал на себе во всё наше время: в них сказывалось совершенное понимание своей судьбы и ожидавшего ее будущего, так что мне самому даже бывало тяжело от этих взглядов, хотя, признаюсь, я в разговоры с ней тогда не пускался и третировал всё это как-то свысока. И, знаешь, ведь она не всегда была такая пугливая и дикая, как теперь; и теперь случается, что вдруг развеселится и похорошеет, как двадцатилетняя; а тогда, смолоду, она очень иногда любила поболтать и посмеяться, конечно, в своей компании — с девушками, с приживалками; и как вздрагивала она, когда я внезапно заставал ее иногда смеющеюся, как быстро краснела и пугливо смотрела на меня! Раз, уже незадолго до отъезда моего за границу, то есть почти накануне того, как я с ней разженился, я вошел в ее комнату и застал ее одну, за столиком, без всякой работы, облокотившуюся на столик рукой и в глубокой задумчивости. С ней никогда почти не случалось, чтоб она так сидела без работы. В то время я уже давно перестал ласкать ее. Мне удалось подойти очень тихо, на цыпочках, и вдруг обнять и поцеловать ее... Она вскочила — и никогда не забуду этого восторга, этого счастья в лице ее, и вдруг это всё сменилось быстрой краской, и глаза ее сверкнули. Знаешь ли, что я прочел в этом сверкнувшем взгляде? «Милостыню ты мне подал — вот что!» Она истерически зарыдала под предлогом, что я ее испугал, но я даже тогда задумался. И вообще все такие воспоминания — претяжелая вещь, мой друг. Это подобно, как у великих художников в их поэмах бывают иногда такие *больные* сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются, — например, последний монолог Отелло у Шекспира, Евгений у ног Татьяны, или встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой, в холодную ночь, у колодца, в «Misérables» [1] Виктора Гюго; это раз пронзает сердце, и потом навеки остается рана. О, как я ждал

[1] «Отверженных» *(франц.)*.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ Только я одинъ между всеми петролейщиками, съ которыми я, какъ русскій, былъ всемъ моимъ сердцемъ, могъ сказать имъ въ глаза, что ихъ Тюильери — ошибка; и только я одинъ между всеми консерваторами-отмстителями, съ которыми я, какъ русскій, былъ тоже всемъ моимъ сердцемъ, только я одинъ могъ сказать отмстителямъ, что Тюильери — хоть и ошибка, но всё-же логика. И это потому, мой мальчикъ, что одинъ я, какъ русскій, былъ тогда въ Европе единственнымъ европейцемъ. ~~[illegible]~~ Я не про себя говорю, я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, ~~[illegible]~~ мой другъ, я скитался, я твердо ~~[illegible]~~ зналъ, что мне надо молчать и скитаться. Но все-же мне было грустно. ~~[illegible]~~ Я, мальчикъ мой, не могу не уважать моего дворянства. Ты, кажется, смеешься? ~~[illegible]~~

— Нетъ, я не смеюсь, — проговорилъ я проникнутымъ голосомъ, ~~[illegible]~~ — вы потрясли мое сердце вашимъ виденіемъ золотого века, и будьте уверены, что я начинаю васъ понимать. Но более всего я радъ тому, что вы такъ себя уважаете. Я спешу вамъ заявить это. Никогда я не ожидалъ отъ васъ этого! ~~[illegible]~~

— Я уже сказалъ тебе, что люблю твои восклицанія, милый, — улыбнулся опять онъ на мои наивные восклицанія и, вставъ съ кресла, началъ, не примечая того, ходить

«Подросток». Страница наборной рукописи главы VII третьей части. С правкой Ф. М. Достоевского. 1875 г.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

Соню и как хотелось мне поскорей обнять ее! Я с судорожным нетерпением мечтал о целой новой програме жизни; я мечтал постепенно, методическим усилием, разрушить в душе ее этот постоянный ее страх предо мной, растолковать ей ее собственную цену и всё, чем она даже выше меня. О, я слишком знал и тогда, что я всегда начинал любить твою маму, чуть только мы с ней разлучались, и всегда вдруг холодел к ней, когда опять с ней сходились; но тут было не то, тогда было не то.

Я был удивлен: «*А она?*» — мелькнул во мне вопрос.

— Ну что ж, как вы встретились тогда с мамой? — спросил я осторожно.

— Тогда? Да я тогда с ней вовсе и не встретился. Она едва до Кенигсберга тогда доехала, да там и осталась, а я был на Рейне. Я не поехал к ней, а ей велел оставаться и ждать. Мы свиделись уже гораздо спустя, о, долго спустя, когда я поехал к ней просить позволения жениться...

II

Здесь передам уже сущность дела, то есть только то, что сам мог усвоить; да и он мне начал передавать бессвязно. Речь его вдруг стала в десять раз бессвязнее и беспорядочнее, только что он дошел до этого места.

Он встретил Катерину Николаевну внезапно, именно тогда, когда ждал маму, в самую нетерпеливую минуту ожидания. Все они были тогда на Рейне, на водах, и все лечились. Муж Катерины Николаевны уже почти умирал, по крайней мере уже обречен был на смерть докторами. С первой встречи она поразила его, как бы заколдовала чем-то. Это был фатум. Замечательно, что, записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтоб он хоть раз употребил тогда в рассказе своем слово «любовь» и то, что он был «влюблен». Слово «фатум» я помню.

И, уж конечно, это был фатум. Он *не захотел* его, «не захотел любить». Не знаю, смогу ли передать это ясно; но только вся душа его была возмущена именно от факта,что с ним это могло случиться. Всё-де, что было в нем свободного, разом уничтожалось пред этой встречей, и человек навеки приковывался к женщине, которой совсем до него не было дела. Он не пожелал этого рабства страсти. Скажу теперь прямо: Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины, — тип, которого в этом кругу, может быть, и не бывает. Это — тип простой и прямодушной женщины в высшей степени. Я слышал, то есть я знаю наверно, что тем-то она и была неотразима в свете, когда в нем появлялась (она почасту удалялась из него совсем). Версилов, разумеется, не поверил тогда, при первой встрече с нею, что она — такая, а именно поверил обратному, то есть что она — притворщица и иезуитка. Здесь приведу, забегая вперед, ее собственное суждение о нем: она утверждала, что он и не мог о ней подумать иначе, «потому

что идеалист, стукнувшись лбом об действительность, всегда, прежде других, наклонен предположить всякую мерзость». Я не знаю, справедливо ли это вообще об идеалистах, но о нем, конечно, было справедливо вполне. Впишу здесь, пожалуй, и собственное мое суждение, мелькнувшее у меня в уме, пока я тогда его слушал: я подумал, что любил он маму более, так сказать, гуманною и общечеловеческою любовью, чем простою любовью, которою вообще любят женщин, и чуть только встретил женщину, которую полюбил этою простою любовью, то тотчас же и не захотел этой любви — вероятнее всего с непривычки. Впрочем, может быть, это — мысль неверная; ему я, конечно, не высказал. Было бы неделикатно; да и клянусь, он был в таком состоянии, что его почти надо было щадить: он был взволнован; в иных местах рассказа иногда просто обрывал и молчал по нескольку минут, расхаживая с злым лицом по комнате.

Она скоро проникла тогда в его тайну; о, может быть, и кокетничала с ним нарочно: даже самые светлые женщины бывают подлы в этих случаях, и это — их непреоборимый инстинкт. Кончилось у них ожесточительным разрывом, и он, кажется, хотел убить ее; он испугал ее и убил бы, может быть; «но всё это обратилось вдруг в ненависть». Потом наступил один странный период: он вдруг задался одною странною мыслью: мучить себя дисциплиной, «вот той самой, которую употребляют монахи. Ты постепенно и методической практикой одолеваешь свою волю, начиная с самых смешных и мелких вещей, а кончаешь совершенным одолением воли своей и становишься свободным». Он прибавил, что у монахов это — дело серьезное, потому что тысячелетним опытом возведено в науку. Но всего замечательнее, что этой идеей о «дисциплине» он задался тогда вовсе не для того, чтоб избавиться от Катерины Николаевны, а в самой полной уверенности, что он не только уже не любит ее, но даже в высшей степени ненавидит. Он до того поверил своей к ней ненависти, что даже вдруг задумал влюбиться и жениться на ее падчерице, обманутой князем, совершенно уверил себя в своей новой любви и неотразимо влюбил в себя бедную идиотку, доставив ей этою любовью, в последние месяцы ее жизни, совершенное счастье. Почему он, вместо нее, не вспомнил тогда о маме, всё ждавшей его в Кенигсберге, — осталось для меня невыясненным... Напротив, об маме он вдруг и совсем забыл, даже денег не выслал на прожиток, так что спасла ее тогда Татьяна Павловна; и вдруг, однако, поехал к маме «спросить ее позволения» жениться на той девице, под тем предлогом, что «такая невеста — не женщина». О, может быть, всё это — лишь портрет «книжного человека», как выразилась про него потом Катерина Николаевна; но почему же, однако, эти «бумажные люди» (если уж правда, что они — бумажные) способны, однако, столь настоящим образом мучиться и доходить до таких трагедий? Впрочем, тогда, в тот вечер, я думал несколько иначе, и меня потрясла одна мысль:

— Вам всё развитие ваше, вся душа ваша досталась страданием и боем всей жизни вашей — а ей всё ее совершенство досталось даром. Тут неравенство... Женщина этим возмутительна. — Я проговорил вовсе не с тем, чтоб подольститься к нему, а с жаром и даже с негодованием.

— Совершенство? Ее совершенство? Да в ней нет никаких совершенств! — проговорил он вдруг, чуть не в удивлении на мои слова. — Это — самая ординарная женщина, это — даже дрянная женщина... Но она обязана иметь все совершенства!

— Почему же обязана?

— Потому что, имея такую власть, она обязана иметь все совершенства! — злобно вскрикнул он.

— Грустнее всего то, что вы и теперь так измучены! — вырвалось у меня вдруг невольно.

— Теперь? Измучен? — повторил он опять мои слова, останавливаясь передо мной, как бы в каком-то недоумении. И вот вдруг тихая, длинная, вдумчивая улыбка озарила его лицо, и он поднял перед собой палец, как бы соображая. Затем, уже совсем опомнившись, схватил со стола распечатанное письмо и бросил его передо мною:

— На, читай! Ты непременно должен всё узнать... и зачем ты так много дал мне перерыть в этой старой дребедени!.. Я только осквернил и озлобил сердце!..

Не могу выразить моего удивления. Письмо это было от *нее* к нему, сегодняшнее, полученное им около пяти часов пополудни. Я прочел его, почти дрожа от волнения. Оно было невелико, но написано до того прямо и искренно, что я, читая, как будто видел ее самое перед собою и слышал ее слова. Она в высшей степени правдиво (а потому почти трогательно) признавалась ему в своем страхе и затем просто умоляла его «оставить ее в покое». В заключение уведомляла, что теперь положительно выходит за Бьоринга. До этого случая она никогда не писала к нему.

И вот что я понял тогда из его объяснений:

Только что он, давеча, прочел это письмо, как вдруг ощутил в себе самое неожиданное явление: в первый раз, в эти роковые два года, он не почувствовал ни малейшей к ней ненависти и ни малейшего сотрясения, подобно тому как недавно еще «сошел с ума» при одном только слухе о Бьоринге. «Напротив, я ей послал благословение от всего сердца», — проговорил он мне с глубоким чувством. Я выслушал эти слова с восхищением. Значит, всё, что было в нем страсти, муки, исчезло разом, само собою, как сон, как двухлетнее наваждение. Еще не веря себе, он поспешил было давеча к маме — и что же: он вошел именно в ту минуту, когда она стала *свободною*, и завещавший ее ему вчера старик умер. Вот эти-то два совпадения и потрясли его душу. Немного спустя он бросился искать меня — и эту столь скорую мысль его обо мне я никогда не забуду.

Да и не забуду окончания того вечера. Этот человек весь и вдруг преобразился опять. Мы просидели до глубокой ночи. О том, как подействовало всё это «известие» на меня, — расскажу потом, в своем месте, а теперь — лишь несколько заключительных слов о нем. Соображая теперь, понимаю, что на меня всего обаятельнее подействовало тогда его как бы смирение передо мной, его такая правдивая искренность передо мной, таким мальчиком! «Это был чад, но благословение и ему! — вскричал он. — Без этого ослепления я бы, может, никогда не отыскал в моем сердце так всецело и навеки единственную царицу мою, мою страдалицу— твою мать». Эти восторженные слова его, вырвавшиеся неудержимо, особенно отмечаю ввиду дальнейшего. Но тогда он захватил и победил мою душу.

Помню, мы стали под конец ужасно веселы. Он велел принести шампанского, и мы выпили за маму и за «будущее». О, он так полон был жизнию и так собирался жить! Но веселы мы стали вдруг ужасно не от вина: мы выпили всего по два бокала. Я не знаю отчего, но под конец мы смеялись почти неудержимо. Мы стали говорить совсем о постороннем; он пустился рассказывать анекдоты, я ему тоже. И смех и анекдоты наши были в высшей степени не злобны и не насмешливы, но нам было весело. Он всё не хотел меня отпускать: «Посиди, посиди еще!» — повторял он, и я оставался. Даже вышел провожать меня; вечер был прелестный, слегка подморозило.

— Скажите: вы *ей* уже послали ответ? — спросил я вдруг совсем нечаянно, в последний раз пожимая его руку на перекрестке.

— Нет еще, нет, и это всё равно. Приходи завтра, приходи раньше... Да вот что еще: брось Ламберта совсем, а «документ» разорви, и скорей. Прощай!

Сказав это, он вдруг ушел; я же остался, стоя на месте и до того в смущении, что не решился воротить его. Выражение «документ» особенно потрясло меня: от кого же бы он узнал, и в таких точных выражениях, как не от Ламберта? Я воротился домой в большом смущении. Да и как же могло случиться, мелькнуло во мне вдруг, чтоб такое «двухлетнее наваждение» исчезло как сон, как чад, как видение?

Глава девятая

I

Но проснулся я наутро свежее и душевнее. Я даже упрекнул себя, невольно и сердечно, за некоторую легкость и как бы высокомерие, с которыми, как припоминалось мне, выслушивал вчера некоторые места его «исповеди». Если отчасти она была в беспорядке, если некоторые откровения были несколько как бы чадны

и даже нескладны, то разве он готовился к ораторской речи, зазвав меня вчера к себе? Он только сделал мне великую честь, обратившись ко мне, как к единственному другу в такое мгновение, и этого я никогда ему не забуду. Напротив, его исповедь была «трогательна», как бы ни смеялись надо мной за это выражение, и если мелькало иногда циническое или даже что-то как будто смешное, то я был слишком широк, чтоб не понять и не допустить реализма — не марая, впрочем, идеала. Главное, я наконец постиг этого человека, и даже мне было отчасти жаль и как бы досадно, что всё это оказалось так просто: этого человека я всегда ставил в сердце моем на чрезвычайную высоту, в облака, и непременно одевал его судьбу во что-то таинственное, так что естественно до сих пор желал, чтобы ларчик открывался похитрее. Впрочем, в встрече его *с нею* и в двухлетних страданиях его было много и сложного: «он не захотел фатума жизни; ему нужна была свобода, а не рабство фатума; через рабство фатума он принужден был оскорбить маму, которая просидела в Кенигсберге...» К тому же этого человека, во всяком случае, я считал проповедником: он носил в сердце золотой век и знал будущее об атеизме; и вот встреча с нею всё надломила, всё извратила! О, я ей не изменил, но все-таки я взял его сторону. Мама, например, рассуждал я, ничему бы не помешала в судьбе его, даже брак его с мамой. Это я понимал; это — совсем не то, что встреча с *тою*. Правда, мама всё равно не дала бы ему спокойствия, но это даже тем бы и лучше: таких людей надо судить иначе, и пусть такова и будет их жизнь всегда; и это — вовсе не безобразие; напротив, безобразием было бы то, если б они успокоились или вообще стали бы похожими на всех средних людей. Похвалы его дворянству и слова его: «Je mourrai gentilhomme»[1] — нимало меня не смущали: я осмыслил, какой это был gentilhomme; это был тип, отдающий всё и становящийся провозвестником всемирного гражданства и главной русской мысли «всесоединения идей». И хотя бы это всё было даже и вздором, то есть «всесоединение идей» (что, конечно, немыслимо), то все-таки уж одно то хорошо, что он всю жизнь поклонялся идее, а не глупому золотому тельцу. Боже мой! Да замыслив мою «идею», я, я сам — разве я поклонился золотому тельцу, разве мне денег тогда надо было? Клянусь, мне надо было лишь идею! Клянусь, что ни одного стула, ни одного дивана не обил бы я себе бархатом и ел бы, имея сто миллионов, ту же тарелку супу с говядиной, как и теперь!

Я одевался и спешил к нему неудержимо. Прибавлю: насчет вчерашней выходки его о «документе» я тоже был впятеро спокойнее, чем вчера. Во-первых, я надеялся с ним объясниться, а во-вторых, что же в том, что Ламберт профильтровался и к нему и об чем-то там поговорил с ним? Но главная радость моя была в одном

---

[1] «Я умру дворянином» *(франц.)*.

чрезвычайном ощущении: это была мысль, что он уже «не любил *ее*»; в это я уверовал ужасно и чувствовал, что с сердца моего как бы кто-то столкнул страшный камень. Помню даже промелькнувшую тогда одну догадку: именно безобразие и бессмыслица той последней яростной вспышки его при известии о Бьоринге и отсылка оскорбительного тогдашнего письма; именно эта крайность и могла служить как бы пророчеством и предтечей самой радикальной перемены в чувствах его и близкого возвращения его к здравому смыслу; это должно было быть почти как в болезни, думал я, и он именно должен был прийти к противоположной точке — медицинский эпизод и больше ничего! Мысль эта делала меня счастливым.

«И пусть, пусть *она* располагает, как хочет, судьбой своей, пусть выходит за своего Бьоринга, сколько хочет, но только пусть он, мой отец, мой друг, более не любит ее», — восклицал я. Впрочем, тут была некоторая тайна моих собственных чувств, но о которых я здесь, в записках моих, размазывать не желаю.

Вот и довольно. А теперь весь последовавший ужас и всю махинацию фактов передам уже безо всяких рассуждений.

II

В десять часов, только что я собрался уходить, — к нему, разумеется, — появилась Настасья Егоровна. Я радостно спросил ее: «Не от него ли?» — и с досадой услышал, что вовсе не от него, а от Анны Андреевны и что она, Настасья Егоровна, «чем свет ушла с квартиры».

— С какой же квартиры?

— Да с той самой, с вчерашней. Ведь квартира вчерашняя, при младенце-то, на мое имя теперь взята, а платит Татьяна Павловна...

— Э, ну мне всё равно! — прервал я с досадой. — Он-то по крайней мере дома? Застану я его?

И, к удивлению моему, я услышал от нее, что он еще раньше ее со двора ушел; значит, она — «чем свет», а он еще раньше.

— Ну, так теперь воротился?

— Нет-с, уж наверно не воротился, да и не воротится, может, и совсем, — проговорила она, смотря на меня тем самым вострым и вороватым глазом и точно так же не спуская его с меня, как в то уже описанное мною посещение, когда я лежал больной. Меня, главное, взорвало, что тут опять выступали их какие-то тайны и глупости и что эти люди, видимо, не могли обойтись без тайн и без хитростей.

— Почему вы сказали: наверно не воротится? Что вы подразумеваете? Он к маме пошел — вот и всё!

— Н-не знаю-с.

— Да вы-то сами зачем пожаловали?

Она объявила мне, что теперь она от Анны Андреевны и что та зовет меня и непременно ждет меня сей же час, а то «поздно будет». Это опять загадочное словцо вывело меня уже из себя:

— Почему поздно? Не хочу я идти и не пойду! Не дам я мной опять овладеть! Наплевать на Ламберта — так и скажите ей, и что если она пришлет ко мне своего Ламберта, то я его выгоню в толчки — так и передайте ей!

Настасья Егоровна испугалась ужасно.

— Ах нет-с, — шагнула она ко мне, складывая руки ладошками и как бы умоляя меня, — вы уж повремените так спешить. Тут дело важное, для вас самих очень важное, для них тоже, и для Андрея Петровича, и для маменьки вашей, для всех... Вы уж посетите Анну Андреевну тотчас же, потому что они никак не могут более дожидаться... уж это я вас уверяю честью... а потом и решение примете.

Я глядел на нее с изумлением и отвращением.

— Вздор, ничего не будет, не приду! — вскричал я упрямо и с злорадством, — теперь — всё по-новому! да и можете ли вы это понять? Прощайте, Настасья Егоровна, нарочно не пойду, нарочно не буду вас расспрашивать. Вы меня только сбиваете с толку. Не хочу я проникать в ваши загадки.

Но так как она не уходила и всё стояла, то я, схватив шубу и шапку, вышел сам, оставив ее среди комнаты. В комнате же моей не было никаких писем и бумаг, да я и прежде никогда почти не запирал комнату, уходя. Но я не успел еще дойти до выходной двери, как с лестницы сбежал за мною, без шляпы и в вицмундире, хозяин мой, Петр Ипполитович.

— Аркадий Макарович! Аркадий Макарович!

— Вам что еще?

— А вы ничего не прикажете, уходя?

— Ничего.

Он смотрел на меня вонзающимся взглядом и с видимым беспокойством:

— Насчет квартиры, например-с?

— Что такое насчет квартиры? Ведь я вам в срок прислал деньги?

— Да нет-с, я не про деньги, — улыбнулся он вдруг длинной улыбкой и всё продолжая вонзаться в меня взглядом.

— Да что с вами со всеми? — крикнул я наконец, почти совсем озверев, — вам-то еще чего?

Он подождал еще несколько секунд, всё еще как бы чего-то от меня ожидая.

— Ну, значит, после прикажете... коли уж теперь стих не таков, — пробормотал он, еще длиннее ухмыляясь, — ступайте-с, а я и сам в должность.

Он убежал к себе по лестнице. Конечно, всё это могло навести на размышления. Я нарочно не опускаю ни малейшей черты из всей этой тогдашней мелкой бессмыслицы, потому что каждая

черточка вошла потом в окончательный букет, где и нашла свое место, в чем и уверится читатель. А что тогда они действительно сбивали меня с толку, то это — правда. Если я был так взволнован и раздражен, то именно заслышав опять в их словах этот столь надоевший мне тон интриг и загадок и напомнивший мне старое. Но продолжаю.

Дома Версилова не оказалось, и ушел он действительно чем свет. «Конечно — к маме», — стоял я упорно на своем. Няньку, довольно глупую бабу, я не расспрашивал, а кроме нее, в квартире никого не было. Я побежал к маме и, признаюсь, в таком беспокойстве, что на полдороге схватил извозчика. *У мамы его со вчерашнего вечера не было.* С мамой были лишь Татьяна Павловна и Лиза. Лиза, только что я вошел, стала собираться уходить.

Они все сидели наверху, в моем «гробе». В гостиной же нашей, внизу, лежал на столе Макар Иванович, а над ним какой-то старик мерно читал Псалтирь. Я теперь ничего уже не буду описывать из не прямо касающегося к делу, но замечу лишь, что гроб, который уже успели сделать, стоявший тут же в комнате, был не простой, хотя и черный, но обитый бархатом, а покров на покойнике был из дорогих — пышность не по старцу и не по убеждениям его; но таково было настоятельное желание мамы и Татьяны Павловны вкупе.

Разумеется, я не ожидал их встретить веселыми; но та особенная давящая тоска, с заботой и беспокойством, которую я прочел в их глазах, сразу поразила меня, и я мигом заключил, что «тут, верно, не один покойник причиною». Всё это, повторяю, я отлично запомнил.

Несмотря на всё, я нежно обнял маму и тотчас спросил *о нем*. Во взгляде мамы мигом сверкнуло тревожное любопытство. Я наскоро упомянул, что мы с ним вчера провели весь вечер до глубокой ночи, но что сегодня его нет дома, еще с рассвета, тогда как он меня сам пригласил еще вчера, расставаясь, прийти сегодня как можно раньше. Мама ничего не ответила, а Татьяна Павловна, улучив минуту, погрозила мне пальцем.

— Прощай, брат, — вдруг отрезала Лиза, быстро выходя из комнаты. Я, разумеется, догнал ее, но она остановилась у самой выходной двери.

— Я так и думала, что ты догадаешься сойти, — проговорила она быстрым шепотом.

— Лиза, что тут такое?

— А я и сама не знаю, только много чего-то. Наверно, развязка «вечной истории». Он не приходил, а они имеют какие-то о нем сведения. Тебе не расскажут, не беспокойся, а ты не расспрашивай, коли умен; но мама убита. Я тоже ни о чем не расспрашивала. Прощай.

Она отворила дверь.

— Лиза, а у тебя у самой нет ли чего? — выскочил я за нею в сени. Ее ужасно убитый, отчаянный вид пронзил мое сердце. Она

посмотрела не то что злобно, а даже почти как-то ожесточенно, желчно усмехнулась и махнула рукой.

— Кабы умер — так и слава бы богу! — бросила она мне с лестницы и ушла. Это она сказала так про князя Сергея Петровича, а тот в то время лежал в горячке и беспамятстве. «Вечная история! Какая вечная история?» — с вызовом подумал я, и вот мне вдруг захотелось непременно рассказать им хоть часть вчерашних моих впечатлений от его ночной исповеди, да и самую исповедь. «Они что-то о нем теперь думают дурное — так пусть же узнают всё!» — пролетело в моей голове.

Я помню, что мне удалось как-то очень ловко начать рассказывать. Мигом на лицах их обнаружилось страшное любопытство. На этот раз и Татьяна Павловна так и впилась в меня глазами; но мама была сдержаннее; она была очень серьезна, но легкая, прекрасная, хоть и совсем какая-то безнадежная улыбка промелькнула-таки в лице ее и не сходила почти во всё время рассказа. Я, конечно, говорил хорошо, хотя и знал, что для них почти непонятно. К удивлению моему, Татьяна Павловна не придиралась, не настаивала на точности, не закидывала крючков, по своему обыкновению, как всегда, когда я начинал что-нибудь говорить. Она только сжимала изредка губы и щурила глаза, как бы вникая с усилием. По временам мне даже казалось, что они всё понимают, но этого почти быть не могло. Я, например, говорил об его убеждениях, но, главное, о его вчерашнем восторге, о восторге к маме, о любви его к маме, о том, что он целовал ее портрет... Слушая это, они быстро и молча переглядывались, а мама вся вспыхнула, хотя обе продолжали молчать. Затем... затем я, конечно, не мог, *при маме,* коснуться до главного пункта, то есть до встречи *с нею* и всего прочего, а главное, до *ее* вчерашнего письма к нему, и о нравственном «воскресении» его после письма; а это-то и было главным, так что все его вчерашние чувства, которыми я думал так обрадовать маму, естественно, остались непонятными, хотя, конечно, не по моей вине, потому что я всё, что можно было рассказать, рассказал прекрасно. Кончил я совершенно в недоумении; их молчание не прерывалось, и мне стало очень тяжело с ними.

— Верно, он теперь воротился, а может, сидит у меня и ждет, — сказал я и встал уходить.

— Сходи, сходи! — твердо поддакнула Татьяна Павловна.

— Внизу-то был? — полушепотом спросила меня мама, прощаясь.

— Был, поклонился ему и помолился о нем. Какой спокойный, благообразный лик у него, мама! Спасибо вам, мама, что не пожалели ему на гроб. Мне сначала это странно показалось, но тотчас же подумал, что и сам то же бы сделал.

— В церковь-то завтра придешь? — спросила она, и у ней задрожали губы.

— Что вы, мама? — удивился я, — я и сегодня на панихиду приду, и еще приду; и... к тому же завтра — день вашего рож-

денья, мама, милый друг мой! Не дожил он трех дней только!

Я вышел в болезненном удивлении: как же это задавать такие вопросы — приду я или нет на отпевание в церковь? И, значит, если так обо мне — то что же они о *нем* тогда думают?

Я знал, что за мной погонится Татьяна Павловна, и нарочно приостановился в выходных дверях; но она, догнав меня, протолкнула меня рукой на самую лестницу, вышла за мной и притворила за собою дверь.

— Татьяна Павловна, значит, вы Андрея Петровича ни сегодня, ни завтра даже не ждете? Я испуган...

— Молчи. Много важности, что ты испуган. Говори: чего ты там не договорил, когда про вчерашнюю ахинею рассказывал?

Я не нашел нужным скрывать и, почти в раздражении на Версилова, передал всё о вчерашнем письме к нему Катерины Николаевны и об эффекте письма, то есть о воскресении его в новую жизнь. К удивлению моему, факт письма ее нимало не удивил, и я догадался, что она уже о нем знала.

— Да ты врешь?

— Нет, не вру.

— Ишь ведь, — ядовито улыбнулась она, как бы раздумывая, — воскрес! Станется от него и это! А правда, что он портрет целовал?

— Правда, Татьяна Павловна.

— С чувством целовал, не притворялся?

— Притворялся? Разве он когда притворяется? Стыдно вам, Татьяна Павловна; грубая у вас душа, женская.

Я проговорил это с жаром, но она как бы не слыхала меня: она что-то как бы опять соображала, несмотря на сильный холод на лестнице. Я-то был в шубе, а она в одном платье.

— Поручила бы я тебе одно дело, да жаль, что уж очень ты глуп, — проговорила она с презрением и как бы с досадой. — Слушай, сходи-ка ты к Анне Андреевне и посмотри, что у ней там делается... Да нет, не ходи; олух — так олух и есть! Ступай, марш, чего стал верстой?

— Ан вот и не пойду к Анне Андреевне! А Анна Андреевна и сама меня присылала звать.

— Сама? Настасью Егоровну? — быстро повернулась она ко мне; она уже было уходила и отворила даже дверь, но опять захлопнула ее.

— Ни за что не пойду к Анне Андреевне! — повторил я с злобным наслаждением, — потому не пойду, что назвали меня сейчас олухом, тогда как я никогда еще не был так проницателен, как сегодня. Все ваши дела на ладонке вижу; а к Анне Андреевне все-таки не пойду!

— Так я и знала! — воскликнула она, но опять-таки вовсе не на мои слова, а продолжая обдумывать свое. — Оплетут теперь *ее* всю и мертвой петлей затянут!

— Анну Андреевну?

— Дурак!

— Так про кого же вы? Так уж не про Катерину ли Николаевну? Какой мертвой петлей? — Я ужасно испугался. Какая-то смутная, но ужасная идея прошла через всю душу мою. Татьяна пронзительно поглядела на меня.

— Ты-то чего там? — спросила она вдруг. — Ты-то там в чем участвуешь? Слышала я что-то и про тебя — ой, смотри!

— Слушайте, Татьяна Павловна: я вам сообщу одну страшную тайну, но только не сейчас, теперь нет времени, а завтра наедине, но зато скажите мне теперь всю правду, и что это за мертвая петля... потому что я весь дрожу...

— А наплевать мне на твою дрожь! — воскликнула она. — Какую еще рассказать хочешь завтра тайну? Да уж ты впрямь не знаешь ли чего? — впилась она в меня вопросительным взглядом. — Ведь сам же ей поклялся тогда, что письмо Крафта сожег?

— Татьяна Павловна, повторяю вам, не мучьте меня, — продолжал я свое, в свою очередь не отвечая ей на вопрос, потому что был вне себя, — смотрите, Татьяна Павловна, чрез то, что вы от меня скрываете, может выйти еще что-нибудь хуже... ведь он вчера был в полном, в полнейшем воскресении!

— Э, убирайся, шут! Сам-то небось тоже, как воробей, влюблен — отец с сыном в один предмет! Фу, безобразники!

Она скрылась, с негодованием хлопнув дверью. В бешенстве от наглого, бесстыдного цинизма самых последних ее слов, — цинизма, на который способна лишь женщина, я выбежал глубоко оскорбленный. Но не буду описывать смутных ощущений моих, как уже и дал слово; буду продолжать лишь фактами, которые теперь всё разрешат. Разумеется, я пробежал мимоходом опять к нему и опять от няньки услышал, что он не бывал вовсе.

— И совсем не придет?

— А бог их ведает.

III

Фактами, фактами!.. Но понимает ли что-нибудь читатель? Помню, как меня самого давили тогда эти же самые факты и не давали мне ничего осмыслить, так что под конец того дня у меня совсем голова сбилась с толку. А потому двумя-тремя словами забегу вперед!

Все муки мои состояли вот в чем: если вчера он воскрес и *ее* разлюбил, то в таком случае где бы он долженствовал быть сегодня? Ответ: прежде всего — у меня, с которым вчера обнимался, а потом сейчас же у мамы, которой портрет он вчера целовал. И вот, вместо этих двух натуральных шагов, его вдруг «чем свет» нету дома и он куда-то пропал, а Настасья Егоровна бредит почему-то, что «вряд ли и воротится». Мало того: Лиза уверяет о какой-то развязке «вечной истории» и о том, что у мамы о нем имеются некоторые сведения, и уже позднейшие; сверх того, там

несомненно знают и про письмо Катерины Николаевны (это я сам приметил) и все-таки не верят его «воскресению в новую жизнь», хотя и выслушали меня внимательно. Мама убита, а Татьяна Павловна над словом «воскресение» ехидно острит. Но если всё это — так, то, значит, с ним опять случился за ночь переворот, опять кризис, и это — после вчерашнего-то восторга, умиления, пафоса! Значит, всё это «воскресение» лопнуло, как надутый пузырь, и он, может быть, теперь опять толчется где-нибудь в том же бешенстве, как тогда после известия о Бьоринге! Спрашивается, что же будет с мамой, со мной, со всеми нами и... и — что же будет, наконец, с *нею?* Про какую «мертвую петлю» проболталась Татьяна, посылая меня к Анне Андреевне? Значит, там-то и есть эта «мертвая петля» — у Анны Андреевны! Почему же у Анны Андреевны? Разумеется, я побегу к Анне Андреевне; это я нарочно, с досады лишь сказал, что не пойду; я сейчас побегу. Но что такое говорила Татьяна про «документ»? И не он ли сам сказал мне вчера: «Сожги документ»?

Вот были мысли мои, вот что давило меня тоже мертвой петлей; но, главное, мне надо было *его*. С ним бы я тотчас же всё порешил — я это чувствовал; мы поняли бы один другого с двух слов! Я бы схватил его за руки, сжал их; я бы нашел в моем сердце горячие слова, — мечталось мне неотразимо. О, я бы покорил безумие!.. Но где он? Где он? И вот нужно же было в такую минуту подвернуться Ламберту, когда я так был разгорячен! Не доходя нескольких шагов до моего дома, я вдруг встретил Ламберта; он радостно завопил, меня увидав, и схватил меня за руку:

— Я к тебе уже тхэтий раз... Enfin![1] Пойдем завтракать!

— Стой! Ты у меня был? Там нет Андрея Петровича?

— Нет там никого. Оставь их всех! Ты, духгак, вчера рассердился; ты был пьян, а я имею тебе говорить важное; я сегодня слышал прелестные вести про то, что мы вчера говорили...

— Ламберт, — перебил я, задыхаясь и торопясь и поневоле несколько декламируя, — если я остановился с тобою, то единственно затем, чтобы навсегда с тобою покончить. Я уже говорил тебе вчера, но ты всё не понимаешь. Ламберт, ты — ребенок и глуп, как француз. Ты всё думаешь, что ты как у Тушара и что я так же глуп, как у Тушара... Но я не так же глуп, как у Тушара... Я вчера был пьян, но не от вина, а потому, что был и без того возбужден; а если я поддакивал тому, что ты молол, то потому, что я хитрил, чтоб выведать твои мысли. Я тебя обманывал, а ты обрадовался и поверил и молол. Знай, что жениться на ней, это — такой вздор, которому гимназист приготовительного класса не поверит. Можно ли подумать, чтоб я поверил? а ты поверил! Ты потому поверил, что ты не принят в высшем обществе и ничего не знаешь, как у них в высшем свете делается. Это не так просто у них в высшем свете делается, и это невозможно,

---

[1] Наконец-то! *(франц.)*

чтоб так просто — взяла да и вышла замуж... Теперь скажу тебе ясно, чего тебе хочется: тебе хочется зазвать меня, чтоб опоить и чтоб я выдал тебе документ и пошел с тобою на какое-то мошенничество против Катерины Николаевны! Так врешь же! не приду к тебе никогда, и знай тоже, что завтра же или уж непременно послезавтра бумага эта будет в ее собственных руках, потому что документ этот принадлежит ей, потому что ею написан, и я сам передам ей лично, и, если хочешь знать где, так знай, что через Татьяну Павловну, ее знакомую, в квартире Татьяны Павловны, при Татьяне Павловне передам и за документ не возьму с нее ничего... А теперь от меня — марш навсегда, не то... не то, Ламберт, я обойдусь не столь учтиво...

Окончив это, я весь дрожал мелкою дрожью. Самое главное дело и самая скверная привычка в жизни, вредящая всему в каждом деле, это... это если зарисуешься. Черт меня дернул разгорячиться перед ним до того, что я, кончая речь и с наслаждением отчеканивая слова и возвышая всё более и более голос, вошел вдруг в такой жар, что всунул эту совсем ненужную подробность о том, что передам документ через Татьяну Павловну и у нее на квартире! Но мне так вдруг захотелось тогда его огорошить! Когда я брякнул так прямо о документе и вдруг увидел его глупый испуг, мне вдруг захотелось еще пуще придавить его точностью подробностей. И вот эта-то бабья хвастливая болтовня и была потом причиною ужасных несчастий, потому что эта подробность про Татьяну Павловну и ее квартиру тотчас же засела в уме его, как у мошенника и практического человека на малые дела; в высших и важных делах он ничтожен и ничего не смыслит, но на эти мелочи у него все-таки есть чутье. Умолчи я про Татьяну Павловну — не случилось бы больших бед. Однако, выслушав меня, он в первую минуту потерялся ужасно.

— Слушай, — пробормотал он, — Альфонсина... Альфонсина споет... Альфонсина была у *ней*; слушай: я имею письмо, почти письмо, где Ахмакова говорит про тебя, мне рябой достал, помнишь рябого — и вот увидишь, вот увидишь, пойдем!

— Лжешь, покажи письмо!

— Оно дома, у Альфонсины, пойдем!

Разумеется, он врал и бредил, трепеща, чтобы я не убежал от него; но я вдруг бросил его среди улицы, и когда он хотел было за мной следовать, то я остановился и погрозил ему кулаком. Но он уже стоял в раздумье — и дал мне уйти: у него уже, может быть, замелькал в голове новый план. Но для меня сюрпризы и встречи не кончились... И как вспомню весь этот несчастный день, то всё кажется, что все эти сюрпризы и нечаянности точно тогда сговорились вместе и так и посыпались разом на мою голову из какого-то проклятого рога изобилия. Едва я отворил дверь в квартиру, как столкнулся, еще в передней, с одним молодым человеком высокого роста, с продолговатым и бледным лицом, важной и «изящной» наружности и в великолепной шубе. У него

был на носу пенсне; но он тотчас же, как завидел меня, стянул его с носа (очевидно, для учтивости) и, вежливо приподняв рукой свой цилиндр, но, впрочем, не останавливаясь, проговорил мне, изящно улыбаясь: «Ha, bonsoir»[1] — и прошел мимо на лестницу. Мы оба узнали друг друга тотчас же, хотя видел я его всего только мельком один раз в моей жизни, в Москве. Это был брат Анны Андреевны, камер-юнкер, молодой Версилов, сын Версилова, а стало быть, почти и мой брат. Его провожала хозяйка (хозяин всё еще не возвращался со службы). Когда он вышел, я так на нее и накинулся:

— Что он тут делал? Он в моей комнате был?

— Совсем не в вашей комнате. Он приходил ко мне... — быстро и сухо отрезала она и повернулась к себе.

— Нет, этак нельзя! — закричал я, — извольте отвечать: зачем он приходил?

— Ах, боже мой! так вам всё и рассказывать, зачем люди ходят. Мы, кажется, тоже свой расчет можем иметь. Молодой человек, может, денег занять захотел, у меня адрес узнавал. Может, я ему еще с прошлого раза пообещала...

— Когда с прошлого раза?

— Ах, боже мой! да ведь не впервой же он приходит!

Она ушла. Главное, я понял, что тут тон изменяется: они со мной начинали говорить грубо. Ясно было, что это — опять секрет; секреты накоплялись с каждым шагом, с каждым часом. В первый раз молодой Версилов приезжал с сестрой, с Анной Андреевной, когда я был болен; про это я слишком хорошо помнил, равно и то, что Анна Андреевна уже закинула мне вчера удивительное словечко, что, может быть, старый князь остановится на моей квартире... но всё это было так сбито и так уродливо, что я почти ничего не мог на этот счет придумать. Хлопнув себя по лбу и даже не присев отдохнуть, я побежал к Анне Андреевне: ее не оказалось дома, а от швейцара получил ответ, что «поехали в Царское; завтра только разве около этого времени будут».

«Она — в Царское и, уж разумеется, к старому князю, а брат ее осматривает мою квартиру! Нет, этого не будет! — проскрежетал я, — а если тут и в самом деле какая-нибудь мертвая петля, то я защищу „бедную женщину“!»

От Анны Андреевны я домой не вернулся, потому что в воспаленной голове моей вдруг промелькнуло воспоминание о трактире на канаве, в который Андрей Петрович имел обыкновение заходить в иные мрачные свои часы. Обрадовавшись догадке, я мигом побежал туда; был уже четвертый час и смеркалось. В трактире известили, что он приходил: «Побывали немного и ушли, а может, и еще придут». Я вдруг изо всей силы решился ожидать его и велел подать себе обедать; по крайней мере являлась надежда.

Я съел обед, съел даже лишнее, чтобы иметь право как можно дольше оставаться, и просидел, я думаю, часа четыре. Не описы-

[1] А, добрый вечер *(франц.)*.

ваю мою грусть и лихорадочное нетерпение; точно всё во мне внутри сотрясалось и дрожало. Этот орган, эти посетители — о, вся эта тоска отпечатлелась в душе моей, быть может, на всю жизнь! Не описываю и мыслей, подымавшихся в голове, как туча сухих листьев осенью, после налетевшего вихря; право, что-то было на это похожее, и, признаюсь, я чувствовал, что по временам мне начинает изменять рассудок.

Но что мучило меня до боли (мимоходом, разумеется, сбоку, мимо главного мучения) — это было одно неотвязчивое, ядовитое впечатление — неотвязчивое, как ядовитая, осенняя муха, о которой не думаешь, но которая вертится около вас, мешает вам и вдруг пребольно укусит. Это было лишь воспоминание, одно происшествие, о котором я еще никому на свете не сказывал. Вот в чем дело, ибо надобно же и это где-нибудь рассказать.

IV

Когда в Москве уже было решено, что я отправлюсь в Петербург, то мне дано было знать чрез Николая Семеновича, чтобы я ожидал присылки денег на выезд. От кого придут деньги — я не справлялся; я знал, что от Версилова, а так как я день и ночь мечтал тогда, с замиранием сердца и с высокомерными планами, о встрече с Версиловым, то о нем вслух совсем перестал говорить, даже с Марьей Ивановной. Напомню, впрочем, что у меня были и свои деньги на выезд; но я все-таки положил ждать; между прочим, предполагал, что деньги придут через почту.

Вдруг однажды Николай Семенович, возвратясь домой, объявил мне (по своему обыкновению, кратко и не размазывая), чтобы я сходил завтра на Мясницкую, в одиннадцать часов утра, в дом и квартиру князя В—ского, и что там приехавший из Петербурга камер-юнкер Версилов, сын Андрея Петровича, и остановившийся у товарища своего по лицею, князя В—ского, вручит мне присланную для переезда сумму. Казалось бы, дело весьма простое: Андрей Петрович весьма мог поручить своему сыну эту комиссию вместо отсылки через почту; но известие это меня как-то неестественно придавило и испугало. Сомнений не было, что Версилов хотел свести меня с своим сыном, моим братом; таким образом, обрисовывались намерения и чувства человека, о котором мечтал я; но представлялся громадный для меня вопрос: как же буду и как же должен я вести себя в этой совсем неожиданной встрече, и не потеряет ли в чем-нибудь собственное мое достоинство?

На другой день, ровно в одиннадцать часов, я явился в квартиру князя В—ского, холостую, но, как угадывалось мне, пышно меблированную, с лакеями в ливреях. Я остановился в передней. Из внутренних комнат долетали звуки громкого разговора и смеха: у князя, кроме камер-юнкера гостя, были и еще посетители. Я велел лакею о себе доложить, и, кажется, в немного гордых выражениях: по крайней мере, уходя докладывать, он посмотрел на меня

странно, мне показалось, даже не так почтительно, как бы следовало. К удивлению моему, он что-то уж очень долго докладывал, минут с пять, а между тем оттуда всё раздавались тот же смех и те же отзвуки разговора.

Я, разумеется, ожидал стоя, очень хорошо зная, что мне, как «такому же барину», неприлично и невозможно сесть в передней, где были лакеи. Сам же я, своей волей, без особого приглашения, ни за что не хотел шагнуть в залу, из гордости; из утонченной гордости, может быть, но так следовало. К удивлению моему, оставшиеся лакеи (двое) осмелились при мне сесть. Я отвернулся, чтобы не заметить этого, и, однако ж, начал дрожать всем телом, и вдруг, обернувшись и шагнув к одному лакею, *велел* ему «тотчас же» пойти доложить еще раз. Несмотря на мой строгий взгляд и чрезвычайное мое возбуждение, лакей лениво посмотрел на меня, не вставая, и уже другой за него ответил:

— Доложено, не беспокойтесь!

Я решил прождать еще только одну минуту или по возможности даже менее минуты, а там — *непременно уйти*. Главное, я был одет весьма прилично: платье и пальто все-таки были новые, а белье совершенно свежее, о чем позаботилась нарочно для этого случая сама Марья Ивановна. Но про этих лакеев я уже гораздо позже и уже в Петербурге *наверно* узнал, что они, чрез приехавшего с Версиловым слугу, узнали еще накануне, что «придет, дескать, такой-то, побочный брат и студент». Про это я теперь знаю наверное.

Минута прошла. Странное это ощущение, когда решаешься и не можешь решиться. «Уйти или нет, уйти или нет?» — повторял я каждую секунду почти в ознобе; вдруг показался уходивший докладывать слуга. В руках у него, между пальцами, болтались четыре красных кредитки, сорок рублей.

— Вот-с, извольте получить сорок рублей!

Я вскипел. Это была такая обида! Я всю прошлую ночь мечтал об устроенной Версиловым встрече двух братьев; я всю ночь грезил в лихорадке, как я должен держать себя и не уронить — не уронить всего цикла идей, которые выжил в уединении моем и которыми мог гордиться даже в каком угодно кругу. Я мечтал, как я буду благороден, горд и грустен, может быть, даже в обществе князя В—ского, и таким образом прямо буду введен в этот свет — о, я не щажу себя, и пусть, и пусть: так и надо записать это в таких точно подробностях! И вдруг — сорок рублей через лакея, в переднюю, да еще после десяти минут ожидания, да еще прямо из рук, из лакейских пальцев, а не на тарелке, не в конверте!

Я до того закричал на лакея, что он вздрогнул и отшатнулся; я немедленно велел ему отнести деньги назад и чтобы «барин его сам принес» — одним словом, требование мое было, конечно, бессвязное и, уж конечно, непонятное для лакея. Однако ж я так закричал, что он пошел. Вдобавок, в зале, кажется, мой крик услышали, и говор и смех вдруг затихли.

Почти тотчас же я заслышал шаги, важные, неспешные, мягкие, и высокая фигура красивого и надменного молодого человека (тогда он мне показался еще бледнее и худощавее, чем в сегодняшнюю встречу) показалась на пороге в переднюю — даже на аршин не доходя до порога. Он был в великолепном красном шелковом халате и в туфлях, и с пенсне на носу. Не проговорив ни слова, он направил на меня пенсне и стал рассматривать. Я, как зверь, шагнул к нему один шаг и стал с вызовом, смотря на него в упор. Но рассматривал он меня лишь мгновение, всего секунд десять; вдруг самая неприметная усмешка показалась на губах его, и, однако ж, самая язвительная, тем именно и язвительная, что почти неприметная; он молча повернулся и пошел опять в комнаты, так же не торопясь, так же тихо и плавно, как и пришел. О, эти обидчики еще с детства, еще в семействах своих выучиваются матерями своими обижать! Разумеется, я потерялся... О, зачем я тогда потерялся!

Почти в то же мгновение появился опять тот же лакей с теми же кредитками в руках:

— Извольте получить, это — вам из Петербурга, а принять вас самих не могут; «в другое время разве как-нибудь, когда им будет свободнее». — Я почувствовал, что эти последние слова он уже от себя прибавил. Но потерянность моя всё еще продолжалась; я принял деньги и пошел к дверям; именно от потерянности принял, потому что надо было не принять; но лакей, уж конечно желая уязвить меня, позволил себе одну самую лакейскую выходку: он вдруг усиленно распахнул предо мною дверь и, держа ее настежь, проговорил важно и с ударением, когда я проходил мимо:

— Пожалуйте-с!

— Подлец! — заревел я на него и вдруг замахнулся, но не опустил руки, — и твой барин подлец! Доложи ему это сейчас! — прибавил я и быстро вышел на лестницу.

— Это вы так не смеете! Это если б я барину тотчас доложил, то вас сию же минуту при записке можно в участок препроводить. А замахиваться руками не смеете...

Я спускался с лестницы. Лестница была парадная, вся открытая, и сверху меня можно было видеть всего, пока я спускался по красному ковру. Все три лакея вышли и стали наверху над перилами. Я, конечно, решился молчать: браниться с лакеями было невозможно. Я сошел всю лестницу, не прибавляя шагу и даже, кажется, замедлив шаг.

О, пусть есть философы (и позор на них!), которые скажут, что всё это — пустяки, раздражение молокососа, — пусть, но для меня это была рана, — рана, которая и до сих пор не зажила, даже до самой теперешней минуты, когда я это пишу и когда уже всё кончено и даже отомщено. О, клянусь! я не злопамятен и не мстителен. Без сомнения, я всегда, даже до болезни, желаю отомстить, когда меня обидят, но клянусь, — лишь одним великодушием. Пусть я отплачу ему великодушием, но с тем, чтобы это

он почувствовал, чтобы он это понял — и я отмщен! Кстати прибавлю: я не мстителен, но я злопамятен, хотя и великодушен: бывает ли так с другими? Тогда же, о, тогда я пришел с великодушными чувствами, может быть смешными, но пусть: лучше пусть смешными, да великодушными, чем не смешными, да подлыми, обыденными, серединными! Про эту встречу с «братом» я никому не открывал, даже Марье Ивановне, даже в Петербурге Лизе; эта встреча была всё равно что полученная позорно пощечина. И вот вдруг этот господин встречается, когда я всего менее его ожидал встретить; он улыбается мне, снимает шляпу и совершенно дружески говорит: «Bonsoir». Конечно, было о чем подумать... Но рана открылась!

V

Просидев часа четыре с лишком в трактире, я вдруг выбежал, как в припадке, — разумеется, опять к Версилову и, разумеется, опять не застал дома: не приходил вовсе; нянька была скучна и вдруг попросила меня прислать Настасью Егоровну; о, до того ли мне было! Я забежал и к маме, но не вошел, а вызвал Лукерью в сени; от нее узнал, что он не был и что Лизы тоже нет дома. Я видел, что Лукерья тоже хотела бы что-то спросить и, может быть, тоже что-нибудь мне поручить; но до того ли мне было! Оставалась последняя надежда, что он заходил ко мне; но уже этому я не верил.

Я уже предуведомил, что почти терял рассудок. И вот в моей комнате я вдруг застаю Альфонсинку и моего хозяина. Правда, они выходили, и у Петра Ипполитовича в руках была свеча.

— Это — что! — почти бессмысленно завопил я на хозяина, — как вы смели ввести эту шельму в мою комнату?

— Tiens! — вскричала Альфонсинка, — et les amis? [1]

— Вон! — заревел я.

— Mais c'est un ours! [2] — выпорхнула она в коридор, притворяясь испуганною, и вмиг скрылась к хозяйке. Петр Ипполитович, всё еще со свечой в руках, подошел ко мне с строгим видом:

— Позвольте вам заметить, Аркадий Макарович, что вы слишком разгорячились; как ни уважаем мы вас, а мамзель Альфонсина не шельма, а даже совсем напротив, находится в гостях, и не у вас, а у моей жены, с которою уже несколько времени как обоюдно знакомы.

— А как вы смели ввести ее в мою комнату? — повторил я, схватив себя за голову, которая почти вдруг ужасно заболела.

— А случайно-с. Это я входил, чтоб затворить форточку, которую я же и отворил для свежего воздуха; а так как мы продолжали с Альфонсиной Карловной прежний разговор, то среди

---

[1] Вот вы! А ваши друзья? *(франц.)*
[2] Да это настоящий медведь! *(франц.)*

разговора она и зашла в вашу комнату, единственно сопровождая меня.

— Неправда, Альфонсинка — шпион, Ламберт — шпион! Может быть, вы сами — тоже шпион! А Альфонсинка приходила у меня что-нибудь украсть.

— Это уж как вам будет угодно. Сегодня вы одно изволите говорить, а завтра другое. А квартиру мою я сдал на некоторое время, а сам с женой переберусь в каморку; так что Альфонсина Карловна теперь — почти такая же здесь жилица, как и вы-с.

— Вы Ламберту сдали квартиру? — вскричал я в испуге.

— Нет-с, не Ламберту, — улыбнулся он давешней длинной улыбкой, в которой, впрочем, видна была уже твердость взамен утреннего недоумения, — полагаю, что сами изволите знать кому, а только напрасно делаете вид, что не знаете, единственно для красы-с, а потому и сердитесь. Покойной ночи-с!

— Да, да, оставьте, оставьте меня в покое! — замахал я руками чуть не плача, так что он вдруг с удивлением посмотрел на меня; однако же вышел. Я насадил на дверь крючок и повалился на мою кровать ничком в подушку. И вот так прошел для меня этот первый ужасный день из этих трех роковых последних дней, которыми завершаются мои записки.

Глава десятая

I

Но я опять, предупреждая ход событий, нахожу нужным разъяснить читателю хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому течению этой истории примешалось так много случайностей, что, не разъяснив их вперед, нельзя разобрать. Тут дело состояло в этой самой «мертвой петле», о которой проговорилась Татьяна Павловна. Состояла же эта петля в том, что Анна Андреевна рискнула наконец на самый дерзкий шаг, который только можно было представить в ее положении. Подлинно — характер! Хотя старый князь, под предлогом здоровья, и был тогда своевременно конфискован в Царское Село, так что известие о его браке с Анной Андреевной не могло распространиться в свете и было на время потушено, так сказать, в самом зародыше, но, однако же, слабый старичок, с которым всё можно было сделать, ни за что на свете не согласился бы отстать от своей идеи и изменить Анне Андреевне, сделавшей ему предложение. На этот счет он был рыцарем; так что рано или поздно он вдруг мог встать и приступить к исполнению своего намерения с неудержимою силой, что весьма и весьма случается именно с слабыми характерами, ибо у них есть такая черта, до которой не надобно доводить их. К тому же он совершенно сознавал всю щекотливость положения Анны Андреевны, которую уважал безмерно, сознавал возможность светских слухов, насмешек, худой на ее счет молвы. Смиряло и останавливало его пока

лишь то, что Катерина Николаевна ни разу, ни словом, ни намеком не позволила себе заикнуться в его присутствии об Анне Андреевне с дурной стороны или обнаружить хоть что-нибудь против намерения его вступить с нею в брак. Напротив, она высказывала чрезвычайное радушие и внимание к невесте отца своего. Таким образом, Анна Андреевна поставлена была в чрезвычайно неловкое положение, тонко понимая своим женским чутьем, что малейшим наговором на Катерину Николаевну, перед которой князь тоже благоговел, а теперь даже более, чем всегда, и именно потому, что она так благодушно и почтительно позволила ему жениться, — малейшим наговором на нее она оскорбила бы все его нежные чувства и возбудила бы в нем к себе недоверие и даже, пожалуй, негодование. Таким образом, на этом поле пока и шла битва: обе соперницы как бы соперничали одна перед другой в деликатности и терпении, и князь в конце концов уже не знал, которой из них более удивляться, и, по обыкновению всех слабых, но нежных сердцем людей, кончил тем, что начал страдать и винить во всем одного себя. Тоска его, говорят, дошла до болезни; нервы его и впрямь расстроились, и вместо поправки здоровья в Царском он, как уверяли, готов уже был слечь в постель.

Здесь замечу в скобках о том, о чем узнал очень долго спустя: будто бы Бьоринг прямо предлагал Катерине Николаевне отвезти старика за границу, склонив его к тому как-нибудь обманом, объявив между тем негласно в свете, что он совершенно лишился рассудка, а за границей уже достать свидетельство об этом врачей. Но этого-то и не захотела Катерина Николаевна ни за что; так по крайней мере потом утверждали. Она будто бы с негодованием отвергнула этот проект. Всё это — только самый отдаленный слух, но я ему верю.

И вот, когда дело, так сказать, дошло до последней безвыходности, Анна Андреевна вдруг через Ламберта узнает, что существует такое письмо, в котором дочь уже советовалась с юристом о средствах объявить отца сумасшедшим. Мстительный и гордый ум ее был возбужден в высочайшей степени. Вспоминая прежние разговоры со мной и сообразив множество мельчайших обстоятельств, она не могла усомниться в верности известия. Тогда в этом твердом, непреклонном женском сердце неотразимо созрел план удара. План состоял в том, чтобы вдруг, без всяких подходов и наговоров, разом объявить всё князю, испугать его, потрясти его, указать, что его неминуемо ожидает сумасшедший дом, и когда он упрется, придет в негодование, станет не верить, то показать ему письмо дочери: «дескать, уж было раз намерение объявить сумасшедшим; так теперь, чтоб помешать браку, и подавно может быть». Затем взять испуганного и убитого старика и перевезти в Петербург — *прямо на мою квартиру*.

Это был ужасный риск, но она твердо надеялась на свое могущество. Здесь, отступая на миг от рассказа, сообщу, забегая очень вперед, что она не обманулась в эффекте удара; мало того,

эффект превзошел все ее ожидания. Известие об этом письме подействовало на старого князя, может быть, в несколько раз сильнее, чем она сама и мы все предполагали. Я и не знал никогда до этого времени, что князю уже было нечто известно об этом письме еще прежде; но, по обычаю всех слабых и робких людей, он не поверил слуху и отмахивался от него из всех сил, чтобы остаться спокойным; мало того, винил себя в неблагородстве своего легковерия. Прибавлю тоже, что факт существования письма подействовал также и на Катерину Николаевну несравненно сильнее, чем я сам тогда ожидал... Одним словом, эта бумага оказалась гораздо важнее, чем я сам, носивший ее в кармане, предполагал. Но тут я уже слишком забежал вперед.

Но зачем же, спросят, ко мне на квартиру? Зачем перевозить князя в жалкие наши каморки и, может быть, испугать его нашею жалкою обстановкой? Если уж нельзя было в его дом (так как там разом могли всему помешать), то почему не на особую «богатую» квартиру, как предлагал Ламберт? Но тут-то и заключался весь риск чрезвычайного шага Анны Андреевны.

Главное состояло в том, чтобы тотчас же по прибытии князя предъявить ему документ; но я не выдавал документа ни за что. А так как времени терять уже было нельзя, то, надеясь на свое могущество, Анна Андреевна и решилась начать дело и без документа, но с тем, чтобы князя прямо доставить ко мне — для чего? А для того именно, чтоб тем же самым шагом накрыть и меня, так сказать, по пословице, одним камнем убить двух воробьев. Она рассчитывала подействовать и на меня толчком, сотрясением, нечаянностью. Она размышляла, что, увидя у себя старика, увидя его испуг, беспомощность и услышав их общие просьбы, я сдамся и предъявлю документ! Признаюсь — расчет был хитрый и умный, психологический, мало того — она чуть было не добилась успеха... что же до старика, то Анна Андреевна тем и увлекла его тогда, тем и заставила поверить себе, хотя бы на слово, что прямо объявила ему, что везет его *ко мне*. Всё это я узнал впоследствии. Даже одно только известие о том, что документ этот у меня, уничтожило в робком сердце его последние сомнения в достоверности факта — до такой степени он любил и уважал меня!

Замечу еще, что сама Анна Андреевна ни на минуту не сомневалась, что документ еще у меня и что я его из рук еще не выпустил. Главное, она понимала превратно мой характер и цинически рассчитывала на мою невинность, простосердечие, даже на чувствительность; а с другой стороны, полагала, что я, если б даже и решился передать письмо, например, Катерине Николаевне, то не иначе как при особых каких-нибудь обстоятельствах, и вот эти-то обстоятельства она и спешила предупредить нечаянностью, наскоком, ударом.

А наконец, во всем этом удостоверил ее и Ламберт. Я уже сказал, что положение Ламберта в это время было самое критиче-

ское: ему, предателю, из всей силы желалось бы сманить меня от Анны Андреевны, чтобы вместе с ним продать документ Ахмаковой, что он находил почему-то выгоднее. Но так как и я ни за что не выдавал документа до последней минуты, то он и решил в крайнем случае содействовать даже и Анне Андреевне, чтоб не лишиться всякой выгоды, а потому из всех сил лез к ней с своими услугами, до самого последнего часу, и я знаю, что предлагал даже достать, если понадобится, и священника... Но Анна Андреевна с презрительной усмешкой попросила его не упоминать об этом. Ламберт ей казался ужасно грубым и возбуждал в ней полное отвращение; но из осторожности она все-таки принимала его услуги, которые состояли, например, в шпионстве. Кстати, не знаю наверно даже до сего дня, подкупили они Петра Ипполитовича, моего хозяина, или нет, и получил ли он от них хоть сколько-нибудь тогда за услуги или просто пошел в их общество для радостей интриги; но только и он был за мной шпионом, и жена его — это я знаю наверно.

Читатель поймет теперь, что я, хоть и был отчасти предуведомлен, но уж никак не мог угадать, что завтра или послезавтра найду старого князя у себя на квартире и в такой обстановке. Да и не мог бы я никак вообразить такой дерзости от Анны Андреевны! На словах можно было говорить и намекать об чем угодно; но решиться, приступить и в самом деле исполнить — нет, это, я вам скажу, — характер!

II

Продолжаю.

Проснулся я наутро поздно, а спал необыкновенно крепко и без снов, о чем припоминаю с удивлением, так что, проснувшись, почувствовал себя опять необыкновенно бодрым нравственно, точно и не было всего вчерашнего дня. К маме я положил не заезжать, а прямо отправиться в кладбищенскую церковь, с тем чтобы потом, после церемонии, возвратясь в мамину квартиру, не отходить уже от нее во весь день. Я твердо был уверен, что во всяком случае встречу его сегодня у мамы, рано ли, поздно ли — но непременно.

Ни Альфонсинки, ни хозяина уже давно не было дома. Хозяйку я ни о чем не хотел расспрашивать, да и вообще положил прекратить с ними всякие сношения и даже съехать как можно скорей с квартиры; а потому, только что принесли мне кофей, я заперся опять на крючок. Но вдруг постучали в мою дверь; к удивлению моему, оказался Тришатов.

Я тотчас отворил ему и, обрадовавшись, просил войти, но он не хотел войти.

— Я только два слова с порогу... или уж войти, потому что, кажется, здесь надо говорить шепотом; только я у вас не сяду. Вы смотрите на мое скверное пальто: это — Ламберт отобрал шубу.

В самом деле он был в дрянном, старом и не по росту длинном пальто. Он стоял передо мной какой-то сумрачный и грустный, руки в карманах и не снимая шляпы.

— Я не сяду, я не сяду. Слушайте, Долгорукий, я не знаю ничего подробно, но знаю, что Ламберт готовит против вас какое-то предательство, близкое и неминуемое, — и это наверно. А потому берегитесь. Мне проговорился рябой — помните рябого? Но ничего не сказал, в чем дело, так что более я ничего не могу сказать. Я только пришел предуведомить — прощайте.

— Да сядьте же, милый Тришатов! я хоть и спешу, но я так рад вам... — вскричал было я.

— Не сяду, не сяду; а то, что вы рады мне, буду помнить. Э, Долгорукий, что других обманывать: я сознательно, своей волей согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у вас. Мы теперь у рябого... Прощайте. Я не стою, чтоб сесть у вас.

— Полноте, Тришатов, милый...

— Нет, видите, Долгорукий, я перед всеми дерзок и начну теперь кутить. Мне скоро сошьют шубу еще лучше, и я буду на рысаках ездить. Но я буду знать про себя, что я все-таки у вас не сел, потому что сам себя так осудил, потому что перед вами низок. Это все-таки мне будет приятно припомнить, когда я буду бесчестно кутить. Прощайте, ну, прощайте. И руки вам не даю; ведь Альфонсинка же не берет моей руки. И, пожалуйста, не догоняйте меня, да и ко мне не ходите; у нас контракт.

Странный мальчик повернулся и вышел. Мне только было некогда, но я положил непременно разыскать его вскорости, только что улажу наши дела.

Затем не стану описывать всего этого утра, хотя и много бы можно было припомнить. Версилова в церкви на похоронах не было, да, кажется, по их виду, можно было еще до выноса заключить, что в церковь его и не ждали. Мама благоговейно молилась и, по-видимому, вся отдалась молитве. У гроба были только Татьяна Павловна и Лиза. Но ничего, ничего не описываю. После погребения все воротились и сели за стол, и опять-таки по виду их я заключил, что и к столу его, вероятно, не ждали. Когда встали из-за стола, я подошел к маме, горячо обнял ее и поздравил с днем ее рождения; за мной сделала то же самое Лиза.

— Слушай, брат, — шепнула мне украдкой Лиза, — они его ждут.

— Угадываю, Лиза, вижу.

— Он наверно придет.

Значит, имеют точные сведения, подумал я, но не расспрашивал. Хоть не описываю чувств моих, но вся эта загадка, несмотря на всю бодрость мою, вдруг опять навалилась камнем на мое сердце. Мы все уселись в гостиной за круглым столом, вокруг мамы. О, как мне нравилось тогда быть с нею и смотреть на нее! Мама вдруг попросила, чтоб я прочел что-нибудь из Евангелия. Я про-

чел главу от Луки. Она не плакала и даже была не очень печальна, но никогда лицо ее не казалось мне столь осмысленным духовно. В тихом взгляде ее светилась идея, но никак я не мог заметить, чтоб она чего-нибудь ждала в тревоге. Разговор не умолкал; стали многое припоминать о покойном, много рассказала о нем и Татьяна Павловна, чего я совершенно не знал прежде. И вообще, если б записать, то нашлось бы много любопытного. Даже Татьяна Павловна совсем как бы изменила свой обычный вид: была очень тиха, очень ласкова, а главное, тоже очень спокойна, хотя и много говорила, чтобы развлечь маму. Но одну подробность я слишком запомнил: мама сидела на диване, а влево от дивана, на особом круглом столике, лежал как бы приготовленный к чему-то образ — древняя икона, без ризы, но лишь с венчиками на главах святых, которых изображено было двое. Образ этот принадлежал Макару Ивановичу — об этом я знал и знал тоже, что покойник никогда не расставался с этою иконой и считал ее чудотворною. Татьяна Павловна несколько раз на нее взглядывала.

— Слушай, Софья, — сказала она вдруг, переменяя разговор, — чем иконе лежать — не поставить ли ее на столе же, прислоня к стене, и не зажечь ли пред ней лампадку?

— Нет, лучше так, как теперь, — сказала мама.

— А и впрямь. А то много торжества покажется...

Я тогда ничего не понял, но дело состояло в том, что этот образ давно уже завещан был Макаром Ивановичем, на словах, Андрею Петровичу, и мама готовилась теперь передать его.

Было уже пять часов пополудни; наш разговор продолжался, и вдруг я заметил в лице мамы как бы содрогание; она быстро выпрямилась и стала прислушиваться, тогда как говорившая в то время Татьяна Павловна продолжала говорить, ничего не замечая. Я тотчас обернулся к двери и миг спустя увидел в дверях Андрея Петровича. Он прошел не с крыльца, а с черной лестницы, через кухню и коридор, и одна мама из всех нас заслышала шаги его. Теперь опишу всю последовавшую безумную сцену, жест за жестом, слово за словом; она была коротка.

Во-первых, в лице его я, с первого взгляда по крайней мере, не заметил ни малейшей перемены. Одет он был как всегда, то есть почти щеголевато. В руках его был небольшой, но дорогой букет свежих цветов. Он подошел и с улыбкой подал его маме; та было посмотрела с пугливым недоумением, но приняла букет, и вдруг краска слегка оживила ее бледные щеки, а в глазах сверкнула радость.

— Я так и знал, что ты так примешь, Соня, — проговорил он. Так как мы все встали при входе его, то он, подойдя к столу, взял кресло Лизы, стоявшее слева подле мамы, и, не замечая, что занимает чужое место, сел на него. Таким образом, прямо очутился подле столика, на котором лежал образ.

— Здравствуйте все. Соня, я непременно хотел принести тебе сегодня этот букет, в день твоего рождения, а потому и не явился

на погребение, чтоб не прийти к мертвому с букетом; да ты и сама меня не ждала к погребению, я знаю. Старик, верно, не посердится на эти цветы, потому что сам же завещал нам радость, не правда ли? Я думаю, он здесь где-нибудь в комнате.

Мама странно поглядела на него; Татьяну Павловну как будто передернуло.

— Кто это здесь в комнате? — спросила она.

— Покойник. Оставим. Вы знаете, что не вполне верующий человек во все эти чудеса всегда наиболее склонен к предрассудкам... Но я лучше буду про букет: как я его донес — не понимаю. Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой.

Мама вздрогнула.

— Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Наш мороз и цветы — какая противоположность! Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош. Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь — так кто же будет лечить меня от испуга, где же взять ангела, как Соню?.. Что это у вас за образ? А, покойников, помню. Он у него родовой, дедовский; он весь век с ним не расставался; знаю, помню, он мне его завещал; очень припоминаю... и, кажется, раскольничий... дайте-ка взглянуть.

Он взял икону в руку, поднес к свече и пристально оглядел ее, но, продержав лишь несколько секунд, положил на стол, уже перед собою. Я дивился, но все эти странные речи его произнесены были так внезапно, что я не мог еще ничего осмыслить. Помню только, что болезненный испуг проникал в мое сердце. Испуг мамы переходил в недоумение и сострадание; она прежде всего видела в нем лишь несчастного; случалось же, что и прежде он говорил иногда почти так же странно, как и теперь. Лиза стала вдруг очень почему-то бледна и странно кивнула мне на него головой. Но более всех испугана была Татьяна Павловна.

— Да что с вами, голубчик Андрей Петрович? — выговорила она осторожно.

— Право, не знаю, милая Татьяна Павловна, что со мной. Не беспокойтесь, я еще помню, что вы — Татьяна Павловна и что вы — милая. Я, однако, зашел лишь на минуту; я хотел бы сказать Соне что-нибудь хорошее и ищу такого слова, хотя сердце полно слов, которых не умею высказать; право, всё таких каких-то странных слов. Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — оглядел он нас всех с ужасно серьезным лицом и с самою искреннею сообщительностью. — Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и бог

знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца, в церкви, вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил... И, право, не знаю, почему мне всё припоминается сегодня этот доктор; до того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вот я взял опять образ (он взял его и вертел в руках), и знаешь, мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины — ни больше ни меньше.

Главное, он проговорил всё это без всякого вида притворства или даже какой-нибудь выходки; он совсем просто говорил, но это было тем ужаснее; и, кажется, он действительно ужасно чего-то боялся; я вдруг заметил, что его руки слегка дрожат.

— Андрей Петрович! — вскрикнула мама, всплеснув руками.

— Оставь, оставь образ, Андрей Петрович, оставь, положи! — вскочила Татьяна Павловна, — разденься и ляг. Аркадий, за доктором!

— Однако... однако как вы засуетились? — проговорил он тихо, обводя нас всех пристальным взглядом. Затем вдруг положил оба локтя на стол и подпер голову руками:

— Я вас пугаю, но вот что, друзья мои: потешьте меня каплю, сядьте опять и станьте все спокойнее — на одну хоть минуту! Соня, я вовсе не об этом пришел говорить; я пришел что-то сообщить, но совсем другое. Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, как уже несколько раз от тебя отправлялся... Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять — в этом смысле ты неминуема. К кому же мне и прийти, когда всё кончится? Верь, Соня, что я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу: какой ты мне враг, какой ты мне враг! Не подумай, что с тем, чтоб разбить этот образ, потому что, знаешь ли что, Соня, мне все-таки ведь хочется разбить...

Когда Татьяна Павловна перед тем вскрикнула: «Оставь образ!» — то выхватила икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он, с последним словом своим, стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись, из всех сил ударил его об угол изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска... Он вдруг обернулся к нам, и его бледное лицо вдруг всё покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила:

— Не прими за аллегорию, Соня, я не наследство Макара разбил, я только так, чтоб разбить... А все-таки к тебе вернусь, к последнему ангелу! А впрочем, прими хоть и за аллегорию; ведь это непременно было так!..

И он вдруг поспешно вышел из комнаты, опять через кухню (где оставалась шуба и шапка). Я не описываю подробно, что ста-

лось с мамой: смертельно испуганная, она стояла, подняв и сложив над собою руки, и вдруг закричала ему вслед:

— Андрей Петрович, воротись хоть проститься-то, милый!

— Придет, Софья, придет! Не беспокойся! — вся дрожа в ужасном припадке злобы, злобы зверской, прокричала Татьяна. — Ведь слышала, сам обещал воротиться! дай ему, блажнику, еще раз, последний, погулять-то. Состарится — кто ж его тогда, в самом деле, безногого-то нянчить будет, кроме тебя, старой няньки? Так ведь прямо сам и объявляет, не стыдится...

Что до нас, то Лиза была в обмороке. Я было хотел бежать за ним, но бросился к маме. Я обнял ее и держал в своих объятиях. Лукерья прибежала со стаканом воды для Лизы. Но мама скоро очнулась; она опустилась на диван, закрыла лицо руками и заплакала.

— Однако, однако... однако догони-ка его! — закричала вдруг изо всей силы Татьяна Павловна, как бы опомнившись. — Ступай... ступай... догони, не отставай от него ни шагу, ступай, ступай! — отдергивала она меня изо всех сил от мамы, — ах, да побегу же я сама!

— Аркаша, ах, побеги за ним поскорей! — крикнула вдруг и мама.

Я выбежал сломя голову тоже через кухню и через двор, но его уже нигде не было. Вдали по тротуару чернелись в темноте прохожие; я пустился догонять их и, нагоняя, засматривал каждому в лицо, пробегая мимо. Так добежал я до перекрестка.

«На сумасшедших не сердятся, — мелькнуло у меня вдруг в голове, — а Татьяна озверела на него от злости; значит, он — вовсе не сумасшедший...» О, мне всё казалось, что это была *аллегория* и что ему непременно хотелось с чем-то покончить, как с этим образом, и показать это нам, маме, всем. Но и «двойник» был тоже несомненно подле него; в этом не было никакого сомнения...

III

Его, однако, нигде не оказывалось, и не к нему же было бежать; трудно было представить, чтоб он так просто отправился домой. Вдруг одна мысль заблестела предо мною, и я стремглав бросился к Анне Андреевне.

Анна Андреевна уже воротилась, и меня тотчас же допустили. Я вошел, сдерживая себя по возможности. Не садясь, я прямо рассказал ей сейчас происшедшую сцену, то есть именно о «двойнике». Никогда не забуду и не прощу ей того жадного, но безжалостно спокойного и самоуверенного любопытства, с которым она меня выслушала, тоже не садясь.

— Где он? Вы, может быть, знаете? — заключил я настойчиво. — К вам меня вчера посылала Татьяна Павловна...

— Я вас призывала еще вчера. Вчера он был в Царском, был и у меня. А теперь (она взглянула на часы), теперь семь часов... Значит, наверно у себя дома.

— Я вижу, что вы всё знаете — так говорите, говорите! — вскричал я.

— Знаю многое, но всего не знаю. Конечно, от вас скрывать нечего... — обмерила она меня странным взглядом, улыбаясь и как бы соображая. — Вчера утром он сделал Катерине Николаевне, в ответ на письмо ее, формальное предложение выйти за него замуж.

— Это — неправда! — вытаращил я глаза.

— Письмо прошло через мои руки; я сама ей и отвезла его, нераспечатанное. В этот раз он поступил «по-рыцарски» и от меня ничего не потаил.

— Анна Андреевна, я ничего не понимаю!

— Конечно, трудно понять, но это — вроде игрока, который бросает на стол последний червонец, а в кармане держит уже приготовленный револьвер, — вот смысл его предложения. Девять из десяти шансов, что она его предложение не примет; но на одну десятую шансов, стало быть, он всё же рассчитывал, и, признаюсь, это очень любопытно, по-моему, впрочем... впрочем, тут могло быть исступление, тот же «двойник», как вы сейчас так хорошо сказали.

— И вы смеетесь? И разве я могу поверить, что письмо было передано через вас? Ведь вы — невеста отца ее? Пощадите меня, Анна Андреевна!

— Он просил меня пожертвовать своей судьбой его счастию, а впрочем, не просил по-настоящему: это всё довольно молчаливо обделалось, я только в глазах его всё прочитала. Ах, боже мой, да чего же больше: ведь ездил же он в Кенигсберг, к вашей матушке, проситься у ней жениться на падчерице madame Ахмаковой? Ведь это очень сходно с тем, что он избрал меня вчера своим уполномоченным и конфидентом.

Она была несколько бледна. Но ее спокойствие было только усилением сарказма. О, я простил ей многое в ту минуту, когда постепенно осмыслил дело. С минуту я обдумывал; она молчала и ждала.

— Знаете ли, — усмехнулся я вдруг, — вы передали письмо потому, что для вас не было никакого риску, потому что браку не бывать, но ведь он? Она, наконец? Разумеется, она отвернется от его предложения, и тогда... что тогда может случиться? Где он теперь, Анна Андреевна? — вскричал я. — Тут каждая минута дорога, каждую минуту может быть беда!

— Он у себя дома, я вам сказала. В своем вчерашнем письме к Катерине Николаевне, которое я передала, он просил у ней, *во всяком случае,* свидания у себя на квартире, сегодня, ровно в семь часов вечера. Та дала обещание.

— Она к нему на квартиру? Как это можно?

— Почему же? Квартира эта принадлежит Настасье Егоровне: они оба очень могли у ней встретиться как ее гости...

— Но она боится его... он может убить ее!

Анна Андреевна только улыбнулась.

— Катерина Николаевна, несмотря на весь свой страх, который я в ней сама приметила, всегда питала, еще с прежнего времени, некоторое благоговение и удивление к благородству правил и к возвышенности ума Андрея Петровича. На этот раз она доверилась ему, чтобы покончить с ним навсегда. В письме же своем он дал ей самое торжественное, самое рыцарское слово, что опасаться ей нечего... Одним словом, я не помню выражений письма, но она доверилась... так сказать, для последнего разу... и, так сказать, отвечая самыми геройскими чувствами. Тут могла быть некоторая рыцарская борьба с обеих сторон.

— А двойник, двойник! — воскликнул я. — Да ведь он с ума сошел!

— Давая вчера свое слово явиться на свидание, Катерина Николаевна, вероятно, не предполагала возможности такого случая.

Я вдруг повернулся и бросился бежать... К нему, к ним, разумеется! Но из залы еще воротился на одну секунду.

— Да вам, может быть, того и надо, чтобы он убил ее! — вскричал я и выбежал из дому.

Несмотря на то что я весь дрожал, как в припадке, я вошел в квартиру тихо, через кухню, и шепотом попросил вызвать ко мне Настасью Егоровну, но та сама тотчас же вышла и молча впилась в меня ужасно вопросительным взглядом.

— Они-с, их нет дома-с.

Но я прямо и точно, быстрым шепотом изложил, что всё знаю от Анны Андреевны, да и сам сейчас от Анны Андреевны.

— Настасья Егоровна, где они?

— Они в зале-с; там же, где вы сидели третьего дня, за столом...

— Настасья Егоровна, пустите меня туда!

— Как это возможно-с?

— Не туда, а в комнату рядом. Настасья Егоровна, Анна Андреевна, может, сама того хочет. Кабы не хотела, не сказала бы мне, что они здесь. Они меня не услышат... она сама того хочет...

— А как не хочет? — не спускала с меня впившегося взгляда своего Настасья Егоровна.

— Настасья Егоровна, я вашу Олю помню... пропустите меня.

У нее вдруг затряслись губы и подбородок:

— Голубчик, вот за Олю разве... за чувство твое...Не покинь ты Анну Андреевну, голубчик! Не покинешь, а? не покинешь?

— Не покину!

— Дай же мне свое великое слово, что не вбежишь к ним и не закричишь, коли я тебя там поставлю?

— Честью моею клянусь, Настасья Егоровна!

Она взяла меня за сюртук, провела в темную комнату, смежную с той, где они сидели, подвела чуть слышно по мягкому ковру к дверям, поставила у самых спущенных портьер и, подняв крошечный уголок портьеры, показала мне их обоих.

Я остался, она ушла. Разумеется, остался. Я понимал, что я подслушиваю, подслушиваю чужую тайну, но я остался. Еще бы не остаться — а двойник? Ведь уж он разбил в моих глазах образ?

IV

Они сидели друг против друга за тем же столом, за которым мы с ним вчера пили вино за его «воскресение»; я мог вполне видеть их лица. Она была в простом черном платье, прекрасная и, по-видимому, спокойная, как всегда. Говорил он, а она с чрезвычайным и предупредительным вниманием его слушала. Может быть, в ней и видна была некоторая робость. Он же был страшно возбужден. Я пришел уже к начатому разговору, а потому некоторое время ничего не понимал. Помню, она вдруг спросила:

— И я была причиною?

— Нет, это я был причиною, — ответил он, — а вы только без вины виноваты. Вы знаете, что бывают без вины виноватыми? Это — самые непростительные вины и всегда почти несут наказание, — прибавил он, странно засмеявшись. — А я и впрямь думал минуту, что вас совсем забыл и над глупой страстью моей совсем смеюсь... но вы это знаете. А, однако же, что мне до того человека, за которого вы выходите? Я сделал вам вчера предложение, простите за это, это — нелепость, а между тем заменить ее совсем нечем... что ж бы я мог сделать, кроме этой нелепости? Я не знаю...

Он потерянно рассмеялся при этом слове, вдруг подняв на нее глаза; до того же времени говорил, как бы смотря в сторону. Если б я был на ее месте, я бы испугался этого смеха, я это почувствовал. Он вдруг встал со стула.

— Скажите, как могли вы согласиться прийти сюда? — спросил он вдруг, как бы вспомнив о главном. — Мое приглашение и мое всё письмо — нелепость... Постойте, я еще могу угадать, каким образом вышло, что вы согласились прийти, но — зачем вы пришли — вот вопрос? Неужто вы из одного только страху пришли?

— Я чтоб видеть вас пришла, — произнесла она, присматриваясь к нему с робкою осторожностью. Оба с полминуты молчали. Версилов опустился опять на стул и кротким, но проникнутым, почти дрожавшим голосом начал:

— Я вас ужасно давно не видал, Катерина Николаевна, так давно, что почти уж и возможным не считал когда-нибудь сидеть, как теперь, подле вас, вглядываться в ваше лицо и слушать ваш голос... Два года мы не видались, два года не говорили. Говорить-то

я с вами уж никогда не думал. Ну, пусть, что прошло — то прошло, а что есть — то завтра исчезнет как дым, — пусть это! Я согласен, потому что опять-таки этого заменить нечем, но не уходите теперь даром, — вдруг прибавил он, почти умоляя, — если уж подали милостыню — пришли, то не уходите даром: ответьте мне на один вопрос!

— На какой вопрос?

— Ведь мы никогда не увидимся и — что вам? Скажите мне правду раз навек, на один вопрос, который никогда не задают умные люди: любили вы меня хоть когда-нибудь, или я... ошибся?

Она вспыхнула.

— Любила, — проговорила она.

Так я и ждал, что она это скажет — о, правдивая, о, искренняя, о, честная!

— А теперь? — продолжал он.

— Теперь не люблю.

— И смеетесь?

— Нет, я потому сейчас усмехнулась, нечаянно, потому что я так и знала, что вы спросите: «А теперь?» А потому улыбнулась... потому что, когда что угадываешь, то всегда усмехнешься...

Мне было даже странно; я еще никогда не видал ее такою осторожною, даже почти робкою и так конфузящеюся. Он пожирал ее глазами.

— Я знаю, что вы меня не любите... и — совсем не любите?

— Может быть, совсем не люблю. Я вас не люблю, — прибавила она твердо и уже не улыбаясь и не краснея. — Да, я любила вас, но недолго. Я очень скоро вас тогда разлюбила...

— Я знаю, знаю, вы увидали, что тут не то, что вам надо, но... что же вам надо? Объясните мне это еще раз...

— Разве я это уже когда-нибудь вам объясняла? Что мне надо? Да я — самая обыкновенная женщина; я — спокойная женщина, я люблю... я люблю веселых людей.

— Веселых?

— Видите, как я даже не умею говорить с вами. Мне кажется, если б вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила, — опять робко улыбнулась она. Самая полная искренность сверкнула в ее ответе, и неужели она не могла понять, что ответ ее есть самая окончательная формула их отношений, всё объясняющая и разрешающая. О, как он должен был понять это! Но он смотрел на нее и странно улыбался.

— Бьоринг — человек веселый? — продолжал он спрашивать.

— Он не должен вас беспокоить совсем, — ответила она с некоторою поспешностью. — Я выхожу за него потому только, что мне за ним будет всего спокойнее. Вся душа моя останется при мне.

— Вы, говорят, опять полюбили общество, свет?

— Не общество. Я знаю, что в нашем обществе такой же беспорядок, как и везде; но снаружи формы еще красивы, так что,

если жить, чтоб только проходить мимо, то уж лучше тут, чем где-нибудь.

— Я часто стал слышать слово «беспорядок»; вы тогда тоже испугались моего беспорядка, вериг, идей, глупостей?

— Нет, это было не совсем то...

— Что же? Ради бога, говорите всё прямо.

— Ну, я вам скажу это прямо, потому что считаю вас за величайший ум... Мне всегда казалось в вас что-то смешное.

Выговорив это, она вдруг вспыхнула, как бы сознав, что сделала чрезвычайную неосторожность.

— Вот за то, что вы мне это сказали, я вам много могу простить, — странно проговорил он.

— Я не договорила, — заторопилась она, всё краснея, — это я смешна... уж тем, что говорю с вами как дура.

— Нет, вы не смешны, а вы — только развратная, светская женщина! — побледнел он ужасно. — Я давеча тоже не договорил, когда вас спрашивал, зачем вы пришли. Хотите, договорю? Тут существует одно письмо, один документ, и вы ужасно его боитесь, потому что отец ваш, с этим письмом в руках, может вас проклясть при жизни и законно лишить наследства в завещании. Вы боитесь этого письма и — вы пришли за этим письмом, — проговорил он, почти весь дрожа и даже чуть не стуча зубами. Она выслушала его с тоскливым и болезненным выражением лица.

— Я знаю, что вы можете мне сделать множество неприятностей, — проговорила она, как бы отмахиваясь от его слов, — но я пришла не столько затем, чтобы уговорить вас меня не преследовать, сколько, чтоб вас самого видеть. Я даже очень желала вас встретить уже давно, сама... Но я встретила вас такого же, как и прежде, — вдруг прибавила она, как бы увлеченная особенною и решительною мыслью и даже каким-то странным и внезапным чувством.

— А вы надеялись увидеть другого? Это — после письма-то моего о вашем разврате? Скажите, вы шли сюда без всякого страху?

— Я пришла потому, что вас прежде любила; но, знаете, прошу вас, не угрожайте мне, пожалуйста, ничем, пока мы теперь вместе, не напоминайте мне дурных моих мыслей и чувств. Если б вы могли заговорить со мной о чем-нибудь другом, я бы очень была рада. Пусть угрозы — потом, а теперь бы другое... Я, право, пришла, чтоб вас минуту видеть и слышать. Ну а если не можете, то убейте меня прямо, но только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами, — заключила она, в странном ожидании смотря на него, точно и впрямь предполагая, что он может убить ее. Он встал опять со стула и, горячим взглядом смотря на нее, проговорил твердо:

— Вы уйдете отсюда без малейшего оскорбления.

— Ах да, ваше честное слово! — улыбнулась она.

— Нет, не потому только, что дано честное слово в письме, а потому, что я хочу и буду думать о вас всю ночь...

— Мучить себя?

— Я воображаю вас, когда я один, всегда. Я только и делаю, что с вами разговариваю. Я ухожу в трущобы и берлоги, и, как контраст, вы сейчас являетесь предо мною. Но вы всегда смеетесь надо мною, как и теперь... — он проговорил это как бы вне себя.

— Никогда, никогда не смеялась я над вами! — воскликнула она проникнутым голосом и как бы с величайшим состраданием, изобразившимся на лице ее. — Если я пришла, то я из всех сил старалась сделать это так, чтоб вам ни за что не было обидно, — прибавила она вдруг. — Я пришла сюда, чтоб сказать вам, что я почти вас люблю... Простите, я, может, не так сказала, — прибавила она торопливо.

Он засмеялся:

— Зачем вы не умеете притворяться? Зачем вы — такая простушка, зачем вы — не такая, как все... Ну как сказать человеку, которого прогоняешь: «почти люблю вас»?

— Я только не умела выразиться, — заторопилась она. — это я не так сказала; это потому, что я при вас всегда стыдилась и не умела говорить с первой нашей встречи. А если я не так сказала словами, что «почти вас люблю», то ведь в мысли это было почти так — вот потому я и сказала, хотя и люблю я вас такою... ну, такою *общею* любовью, которою всех любишь и в которой всегда не стыдно признаться...

Он молча, не спуская с нее своего горячего взгляда, прислушивался.

— Я, конечно, вас обижаю, — продолжал он как бы вне себя. — Это в самом деле, должно быть, то, что называют страстью... Я одно знаю, что я при вас кончен; без вас тоже. Всё равно без вас или при вас, где бы вы ни были, вы всё при мне. Знаю тоже, что я могу вас очень ненавидеть, больше, чем любить... Впрочем, я давно ни об чем не думаю — мне всё равно. Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы...

Голос его прерывался; он продолжал, как бы задыхаясь.

— Чего вам? вам дико, что я так говорю? — улыбнулся он бледной улыбкой. — Я думаю, что если б только это могло вас прельстить, то я бы простоял где-нибудь тридцать лет столпником на одной ноге... Я вижу: вам меня жаль; ваше лицо говорит: «Я бы полюбила тебя, если б могла, но я не могу»... Да? Ничего, у меня нет гордости. Я готов, как нищий, принять от вас всякую милостыню — слышите, всякую... У нищего какая же гордость?

Она встала и подошла к нему.

— Друг мой! — проговорила она, прикасаясь рукой к его плечу и с невыразимым чувством в лице, — я не могу слышать таких слов! Я буду думать о вас всю мою жизнь как о драгоценнейшем человеке, как о величайшем сердце, как о чем-то священном из всего, что могу уважать и любить. Андрей Петрович, поймите мои слова: ведь за что-нибудь я пришла же теперь, милый, и прежде и теперь милый, человек! Я никогда не забуду, как вы потрясли

мой ум при первых наших встречах. Расстанемтесь же как друзья, и вы будете самою серьезнейшею и самою милою моею мыслью во всю мою жизнь!

— «Расстанемтесь, и тогда буду любить вас», буду любить — только расстанемтесь. Слушайте, — произнес он, совсем бледный, — подайте мне еще милостыню; не любите меня, не живите со мной, будем никогда не видаться; я буду ваш раб — если позовете, и тотчас исчезну — если не захотите ни видеть, ни слышать меня, только... *только не выходите ни за кого замуж!*

У меня сердце сжалось до боли, когда я услышал такие слова. Эта наивно унизительная просьба была тем жалчее, тем сильнее пронзала сердце, что была так обнаженна и невозможна. Да, конечно, он просил милостыню! Ну мог ли он думать, что она согласится? Меж тем он унижался до пробы: он попробовал попросить! Эту последнюю степень упадка духа было невыносимо видеть. Все черты лица ее как бы вдруг исказились от боли; но прежде чем она успела сказать слово, он вдруг опомнился.

— Я вас *истреблю!* — проговорил он вдруг странным, искаженным, не своим каким-то голосом.

Но ответила она ему тоже странно, тоже совсем каким-то не своим, неожиданным голосом:

— Подай я вам милостыню, — сказала она вдруг твердо, — и вы отмстите мне за нее потом еще пуще, чем теперь грозите, потому что никогда не забудете, что стояли предо мною таким нищим... Не могу я слышать от вас угроз! — заключила она почти с негодованием, чуть не с вызовом посмотрев на него.

— «От вас угроз», то есть — от такого нищего! Я пошутил, — проговорил он тихо, улыбаясь. — Я вам ничего не сделаю, не бойтесь, уходите... и тот документ из всех сил постараюсь прислать — только идите, идите! Я вам написал глупое письмо, а вы на глупое письмо отозвались и пришли — мы сквитались. Вам сюда, — указал он на дверь (она хотела было пройти через ту комнату, в которой я стоял за портьерой).

— Простите меня, если можете, — остановилась она в дверях.

— Ну что, если мы встретимся когда-нибудь совсем друзьями и будем вспоминать и об этой сцене с светлым смехом? — проговорил он вдруг; но все черты лица его дрожали, как у человека, одержимого припадком.

— О, дай бог! — вскричала она, сложив пред собою руки, но пугливо всматриваясь в его лицо и как бы угадывая, что он хотел сказать.

— Ступайте. Много в нас ума-то в обоих, но вы... О, вы — моего пошиба человек! я написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтоб сказать, что «почти меня любите». Нет, мы с вами — одного безумия люди! Будьте всегда такая безумная, не меняйтесь, и мы встретимся друзьями — это я вам пророчу, клянусь вам!

— И вот тогда я вас полюблю непременно, потому что и теперь это чувствую! — не утерпела в ней женщина и бросила ему с порога эти последние слова.

Она вышла. Я поспешно и неслышно прошел в кухню и, почти не взглянув на Настасью Егоровну, ожидавшую меня, пустился через черную лестницу и двор на улицу. Но я успел только увидать, как она села в извозчичью карету, ожидавшую ее у крыльца. Я побежал по улице.

Глава одиннадцатая

I

Я прибежал к Ламберту. О, как ни желал бы я придать логический вид и отыскать хоть малейший здравый смысл в моих поступках в тот вечер и во всю ту ночь, но даже и теперь, когда могу уже всё сообразить, я никак не в силах представить дело в надлежащей ясной связи. Тут было чувство или, лучше сказать, целый хаос чувств, среди которых я, естественно, должен был заблудиться. Правда, тут было одно главнейшее чувство, меня подавлявшее и над всем командовавшее, но... признаваться ли в нем? Тем более что я не уверен...

Вбежал я к Ламберту, разумеется, вне себя. Я даже испугал было его и Альфонсинку. Я всегда замечал, что даже самые забулдыжные, самые потерянные французы чрезмерно привержены в своем домашнем быту к некоторого рода буржуазному порядку, к некоторого рода самому прозаическому, обыденно-обрядному образу раз навсегда заведенной жизни. Впрочем, Ламберт очень скоро понял, что нечто случилось, и пришел в восторг, видя наконец меня у себя, *обладая* наконец мною. А он об этом только и думал, день и ночь, эти дни! О, как я ему был нужен! И вот, когда уже он потерял всю надежду, я вдруг являюсь сам, да еще в таком безумии — именно в том виде, в каком ему было надо.

— Ламберт, вина! — закричал я, — давай пить, давай буянить. Альфонсина, где ваша гитара?

Сцену я не описываю — лишнее. Мы пили, и я всё ему рассказал, всё. Он выслушал жадно. Я прямо, и сам первый, предложил ему заговор, пожар. Во-первых, мы должны были зазвать Катерину Николаевну к нам письмом...

— Это можно, — поддакивал Ламберт, схватывая каждое мое слово.

Во-вторых, для убедительности, послать в письме всю копию с ее «документа», так чтобы она могла прямо видеть, что ее не обманывают.

— Так и должно, так и надо! — поддакивал Ламберт, беспрерывно переглядываясь с Альфонсинкой.

В-третьих, зазвать ее должен был сам Ламберт, от себя, вроде как бы от неизвестного, приехавшего из Москвы, а я должен был привезти Версилова...

— И Версилова можно, — поддакивал Ламберт.

— Должно, а не можно! — вскричал я, — необходимо! Для него-то всё и делается! — объяснил я, прихлебывая из стакана глоток за глотком. (Мы пили все трое, и, кажется, я один выпил всю бутылку шампанского, а они только делали вид.) — Мы будем сидеть с Версиловым в другой комнате (Ламберт, надо достать другую комнату!) — и, когда вдруг она согласится на всё — и на выкуп деньгами, и на *другой* выкуп, потому что они все — подлые, тогда мы с Версиловым выйдем и уличим ее в том, какая она подлая, а Версилов, увидав, какая она мерзкая, разом вылечится, а ее выгонит пинками. Но тут надо еще Бьоринга, чтобы и тот посмотрел на нее! — прибавил я в исступлении.

— Нет, Бьоринга не надо, — заметил было Ламберт.

— Надо, надо! — завопил я опять, — ты ничего не понимаешь, Ламберт, потому что ты глуп! Напротив, пусть пойдет скандал в высшем свете — этим мы отмстим и высшему свету и ей, и пусть она будет наказана! Ламберт, она даст тебе вексель... Мне денег не надо — я на деньги наплюю, а ты нагнешься и подберешь их к себе в карман с моими плевками, но зато я ее сокрушу!

— Да, да, — всё поддакивал Ламберт, — это ты — так... — Он всё переглядывался с Альфонсинкой.

— Ламберт! Она страшно благоговеет перед Версиловым; я сейчас убедился, — лепетал я ему.

— Это хорошо, что ты всё подсмотрел: я никогда не предполагал, что ты — такой шпион и что в тебе столько ума! — он сказал это, чтобы ко мне подольститься.

— Врешь, француз, я — не шпион, но во мне много ума! А знаешь, Ламберт, она ведь его любит! — продолжал я, стараясь из всех сил высказаться. — Но она за него не выйдет, потому что Бьоринг — гвардеец, а Версилов — всего только великодушный человек и друг человечества, по-ихнему, лицо комическое и ничего больше! О, она понимает эту страсть и наслаждается ею, кокетничает, завлекает, но не выйдет! Это — женщина, это — змея! Всякая женщина — змея, и всякая змея — женщина! Его надо излечить; с него надо сорвать пелену: пусть увидит, какова она, и излечится. Я его приведу к тебе, Ламберт!

— Так и надо, — всё подтверждал Ламберт, подливая мне каждую минуту.

Главное, он так и трепетал, чтобы чем-нибудь не рассердить меня, чтобы не противоречить мне и чтобы я больше пил. Это было так грубо и очевидно, что даже я тогда не мог не заметить. Но я и сам ни за что уже не мог уйти; я всё пил и говорил, и мне страшно хотелось окончательно высказаться. Когда Ламберт пошел за другою бутылкой, Альфонсинка сыграла на гитаре какой-то испанский мотив; я чуть не расплакался.

— Ламберт, знаешь ли ты всё! — восклицал я в глубоком чувстве. — Этого человека надо непременно спасти, потому что кругом его... колдовство. Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками... потому что это бывает. Потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок, как мертвая петля, как болезнь, и — чуть достиг удовлетворения — тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю Ависаги, Ламберт, читал ее?

— Нет, не помню; роман? — пробормотал Ламберт.

— О, ты ничего не знаешь, Ламберт! Ты страшно, страшно необразован... но я плюю. Всё равно. О, он любит маму; он целовал ее портрет; он прогонит ту на другое утро, а сам придет к маме; но уже будет поздно, а потому надо спасти теперь...

Под конец я стал горько плакать, но всё продолжал говорить и ужасно много выпил. Характернейшая черта состояла в том, что Ламберт, во весь вечер, ни разу не спросил про «документ», то есть: где же, дескать, он? То есть чтобы я его показал, выложил на стол. Чего бы, кажется, натуральнее спросить про это, уговариваясь действовать? Еще черта: мы только говорили, что надо это сделать, что мы «это» непременно сделаем, но о том, где это будет, как и когда — об этом мы не сказали тоже ни слова! Он только мне поддакивал да переглядывался с Альфонсинкой —больше ничего! Конечно, я тогда ничего не мог сообразить, но я все-таки это запомнил.

Кончил я тем, что заснул у него на диване, не раздеваясь. Проспал я очень долго и проснулся очень поздно. Вспоминаю, что, пробудясь, я некоторое время лежал на диване как ошеломленный, стараясь сообразить и припомнить и притворясь, что всё еще сплю. Но в комнате Ламберта уже не оказалось: он ушел. Был уже десятый час; трещала затопленная печка, точь-в-точь как тогда, когда я, после той ночи, очутился в первый раз у Ламберта. Но за ширмами сторожила меня Альфонсинка: я это тотчас заметил, потому что она раза два выглянула и приглядывалась, но я каждый раз закрывал глаза и делал вид, что всё еще сплю. Я делал так оттого, что был придавлен и что мне надо было осмыслить мое положение. Я с ужасом чувствовал всю нелепость и всю мерзость моей ночной исповеди Ламберту, моего уговора с ним, моей ошибки, что я прибежал к нему! Но, слава богу, документ всё еще оставался при мне, всё так же зашитый в моем боковом кармане; я ощупал его рукой — там! Значит, стоило только сейчас вскочить и убежать, а стыдиться потом Ламберта нечего было: Ламберт того не стоил.

Но стыдился я сам и себя самого! Я сам был судьею себе, и — о боже, что было в душе моей! Но не стану описывать этого адского, нестерпимого чувства и этого сознания грязи и мерзости. Но всё же я должен признаться, потому что, кажется, пришло тому время.

В записках моих это должно быть отмечено. Итак, пусть же знают, что не для того я хотел ее опозорить и собирался быть свидетелем того, как она даст выкуп Ламберту (о, низость!), — не для того, чтобы спасти безумного Версилова и возвратить его маме, а для того... что, может быть, сам был влюблен в нее, влюблен и ревновал! К кому ревновал: к Бьорингу, к Версилову? Ко всем тем, на которых она на бале будет смотреть и с которыми будет говорить, тогда как я буду стоять в углу, стыдясь самого себя?.. О, безобразие!

Одним словом, я не знаю, к кому я ее ревновал; но я чувствовал только и убедился в вчерашний вечер, как дважды два, что она для меня пропала, что эта женщина меня оттолкнет и осмеет за фальшь и за нелепость! Она — правдивая и честная, а я — я шпион и с документами!

Всё это я таил с тех самых пор в моем сердце, а теперь пришло время и — я подвожу итог. Но опять-таки и в последний раз: я, может быть, на целую половину или даже на семьдесят пять процентов налгал на себя! В ту ночь я ненавидел ее, как исступленный, а потом как разбушевавшийся пьяный. Я сказал уже, что это был хаос чувств и ощущений, в котором я сам ничего разобрать не мог. Но, всё равно, их надо было высказать, потому что хоть часть этих чувств да была же наверно.

С неудержимым отвращением и с неудержимым намерением всё загладить я вдруг вскочил с дивана; но только что я вскочил, мигом выскочила Альфонсинка. Я схватил шубу и шапку и велел ей передать Ламберту, что я вчера бредил, что я оклеветал женщину, что я нарочно шутил и чтоб Ламберт не смел больше никогда приходить ко мне... Всё это я высказал кое-как, через пень колоду, торопясь, по-французски, и, разумеется, страшно неясно, но, к удивлению моему, Альфонсинка всё поняла ужасно; но что всего удивительнее, даже чему-то как бы обрадовалась.

— Oui, oui, — поддакивала она мне, — c'est une honte! Une dame... Oh, vous êtes généreux, vous! Soyez tranquille, je ferai voir raison à Lambert... [1]

Так что я даже в ту минуту должен был бы стать в недоумении, видя такой неожиданный переворот в ее чувствах, а стало быть, пожалуй, и в Ламбертовых. Я, однако же, вышел молча; на душе моей было смутно, и рассуждал я плохо! О, потом я всё обсудил, но тогда уже было поздно! О, какая адская вышла тут махинация! Остановлюсь здесь и объясню ее всю вперед, так как иначе читателю было бы невозможно понять.

Дело состояло в том, что еще в первое свидание мое с Ламбертом, вот тогда, как я оттаивал у него на квартире, я пробормотал ему, как дурак, что документ зашит у меня в кармане. Тогда я вдруг на некоторое время заснул у него на диване в углу, и Ламберт тогда же немедленно ощупал мне карман и убедился, что в нем

---

[1] Да, да... это позор! Даму... О, как вы благородны! Не беспокойтесь, я сумею образумить Ламберта... *(франц.)*

действительно зашита бумажка. Потом он несколько раз убеждался, что бумажка еще тут: так, например, во время нашего обеда у татар, я помню, как он нарочно несколько раз обнимал меня за талию. Поняв наконец, какой важности эта бумага, он составил свой совершенно особый план, которого я вовсе и не предполагал у него. Я, как дурак, всё время воображал, что он так упорно зовет меня к себе, единственно чтоб склонить меня войти с ним в компанию и действовать не иначе как вместе. Но увы! он звал меня совсем для другого! Он звал меня, чтоб опоить меня замертво, и когда я растянусь без чувств и захраплю, то взрезать мой карман и овладеть документом. Точь-в-точь таким образом они с Альфонсинкой в ту ночь и поступили; Альфонсинка и взрезывала карман. Достав письмо, *ее письмо,* мой московский документ, они взяли такого же размера простую почтовую бумажку и положили в надрезанное место кармана и зашили снова как ни в чем не бывало, так что я ничего не мог заметить. Альфонсинка же и зашивала. А я-то, я-то до самого почти конца, еще целых полтора дня, — я всё еще продолжал думать, что я — обладатель тайны и что участь Катерины Николаевны всё еще в моих руках!

Последнее слово: эта кража документа была всему причиною, всем остальным несчастиям!

II

Наступили последние сутки моих записок, и я — на конце конца!

Было, я думаю, около половины одиннадцатого, когда я, возбужденный и, сколько помню, как-то странно рассеянный, но с окончательным решением в сердце, добрел до своей квартиры. Я не торопился, я знал уже, как поступлю. И вдруг, едва только я вступил в наш коридор, как тотчас же понял, что стряслась новая беда и произошло необыкновенное усложнение дела: старый князь, только что привезенный из Царского Села, находился в нашей квартире, а при нем была Анна Андреевна!

Они поместили его не в моей комнате, а в двух хозяйских, рядом с моей. Еще накануне, как оказалось, произведены были в этих комнатах некоторые изменения и украшения, впрочем самые легкие. Хозяин перешел с своей женой в каморку капризного рябого жильца, о котором я уже упоминал прежде, а рябой жилец был на это время конфискован — уж не знаю куда.

Меня встретил хозяин, тотчас же шмыгнувший в мою комнату. Он смотрел не так решительно, как вчера, но был в необыкновенно возбужденном состоянии, так сказать, на высоте события. Я ничего не сказал ему, но, отойдя в угол и взявшись за голову руками, так простоял с минуту. Он сначала подумал было, что я «представляюсь», но под конец не вытерпел и испугался.

— Разве что не так? — пробормотал он. — Я вот ждал вас спросить, — прибавил он, видя, что я не отвечаю, — не прикажете

ли растворить вот эту самую дверь, для прямого сообщения с княжескими покоями... чем через коридор? — Он указывал боковую, всегда запертую дверь, сообщавшуюся с его хозяйскими комнатами, а теперь, стало быть, с помещением князя.

— Вот что, Петр Ипполитович, — обратился я к нему с строгим видом, — прошу вас покорнейше пойти и пригласить сейчас сюда ко мне Анну Андреевну для переговоров. Давно они здесь?

— Да уже почти что час будет.

— Так сходите.

Он сходил и принес ответ странный, что Анна Андреевна и князь Николай Иванович с нетерпением ожидают меня к себе; Анна Андреевна, значит, не захотела пожаловать. Я оправил и почистил мой смявшийся за ночь сюртук, умылся, причесался, всё это не торопясь, и, понимая, как надобно быть осторожным, отправился к старику.

Князь сидел на диване за круглым столом, а Анна Андреевна в другом углу, у другого накрытого скатертью стола, на котором кипел вычищенный как никогда хозяйский самовар, приготовляла ему чай. Я вошел с тем же строгим видом в лице, и старичок, мигом заметив это, так и вздрогнул, и улыбка быстро сменилась в лице его решительно испугом; но я тотчас же не выдержал, засмеялся и протянул ему руки; бедный так и бросился в мои объятия.

Без сомнения, я тотчас же понял, с кем имею дело. Во-первых, мне стало ясно, как дважды два, что из старика, даже почти еще бодрого и все-таки хоть сколько-нибудь разумного и хоть с каким-нибудь да характером, они, за это время, пока мы с ним не виделись, сделали какую-то мумию, какого-то совершенного ребенка, пугливого и недоверчивого. Прибавлю: он совершенно знал, зачем его сюда привезли, и всё случилось точно так, как я объяснил выше, забегая вперед. Его прямо вдруг поразили, разбили, раздавили известием о предательстве его дочери и о сумасшедшем доме. Он дал себя увезти, едва сознавая от страха, что делает. Ему сказали, что я — обладатель тайны и что у меня ключ к окончательному решению. Скажу вперед: вот этого-то окончательного решения и ключа он и пугался пуще всего на свете. Он ждал, что я так и войду к нему с каким-то приговором на лбу и с бумагой в руках, и страшно был рад, что я покамест готов смеяться и болтать совсем о другом. Когда мы обнялись, он заплакал. Признаюсь, капельку заплакал и я; но мне вдруг стало его очень жалко... Маленькая Альфонсинкина собачонка заливалась тоненьким, как колокольчик, лаем и рвалась на меня с дивана. С этой крошечной собачкой он уже не расставался с тех пор, как приобрел ее, даже спал вместе с нею.

— Oh, je disais qu'il a du coeur! [1] — воскликнул он, указывая на меня Анне Андреевне.

---

[1] Я же говорил, что он великодушный юноша! *(франц.)*

— Но как же вы поздоровели, князь, какой у вас прекрасный, свежий, здоровый вид! — заметил я. Увы! всё было наоборот: это была мумия, а я так только сказал, чтоб его ободрить.

— N'est-ce pas, n'est-ce pas? [1] — радостно повторял он. — О, я удивительно поправился здоровьем.

— Однако кушайте ваш чай, и если дадите и мне чашку, то и я выпью с вами.

— И чудесно! «Будем пить и наслаждаться...» или как это там, есть такие стихи. Анна Андреевна, дайте ему чаю, il prend toujours par les sentiments... [2] дайте нам чаю, милая.

Анна Андреевна подала чаю, но вдруг обратилась ко мне и начала с чрезвычайною торжественностью.

— Аркадий Макарович, мы оба, я и благодетель мой, князь Николай Иванович, приютились у вас. Я считаю, что мы приехали к вам, к вам одному, и оба просим у вас убежища. Вспомните, что почти вся судьба этого святого, этого благороднейшего и обиженного человека в руках ваших... Мы ждем решения от вашего правдивого сердца!

Но она не могла докончить; князь пришел в ужас и почти задрожал от испуга:

— Après, après, n'est-ce pas? Chère amie! [3] — повторял он, подымая к ней руки.

Не могу выразить, как неприятно подействовала и на меня ее выходка. Я ничего не ответил и удовольствовался лишь холодным и важным поклоном; затем сел за стол и даже нарочно заговорил о другом, о каких-то глупостях, начал смеяться и острить... Старик был видимо мне благодарен и восторженно развеселился. Но его веселие, хотя и восторженное, видимо было какое-то непрочное и моментально могло смениться совершенным упадком духа; это было ясно с первого взгляда.

— Cher enfant, я слышал, ты был болен... Ах, pardon! ты, я слышал, всё время занимался спиритизмом?

— И не думал, — улыбнулся я.

— Нет? А кто же мне говорил про спи-ри-тизм?

— Это вам здешний чиновник, Петр Ипполитович, давеча говорил, — объяснила Анна Андреевна. — Он очень веселый человек и знает множество анекдотов; хотите, я позову?

— Oui, oui, il est charmant... [4] знает анекдоты, но лучше позовем потом. Мы позовем его, и он нам всё расскажет; mais après. Представь, давеча стол накрывают, а он и говорит: не беспокойтесь, не улетит, мы — не спириты. Неужто у спиритов столы летают?

— Право, не знаю; говорят, подымаются на всех ножках.

---

[1] Не правда ли, не правда ли? *(франц.)*
[2] он всегда берет чувствами... *(франц.)*
[3] Потом, потом, не правда ли? Моя дорогая! *(франц.)*
[4] Да, да, он очень мил... *(франц.)*

— Mais c'est terrible ce que tu dis, [1] — поглядел он на меня испуганно.

— О, не беспокойтесь, это ведь — вздор.

— Я и сам говорю. Настасья Степановна Саломеева... ты ведь знаешь ее... ах да, ты не знаешь ее... представь себе, она тоже верит в спиритизм и, представьте себе, chère enfant, — повернулся он к Анне Андреевне, — я ей и говорю: в министерствах ведь тоже столы стоят, и на них по восьми пар чиновничьих рук лежат, всё бумаги пишут, — так отчего ж там-то столы не пляшут? Вообрази, вдруг запляшут! бунт столов в министерстве финансов или народного просвещения — этого недоставало!

— Какие вы по-прежнему милые вещи говорите, князь, — воскликнул я, стараясь искренно рассмеяться.

— N'est-ce pas? je ne parle pas trop, mais je dis bien. [2]

— Я приведу Петра Ипполитовича, — встала Анна Андреевна. Удовольствие засияло в лице ее: судя по тому, что я так ласков к старику, она обрадовалась. Но лишь только она вышла, вдруг всё лицо старика изменилось мгновенно. Он торопливо взглянул на дверь, огляделся кругом и, нагнувшись ко мне с дивана, зашептал мне испуганным голосом:

— Cher ami! О, если б я мог видеть их обеих здесь вместе! О, cher enfant!

— Князь, успокойтесь...

— Да, да, но... мы их помирим, n'est-ce pas? Тут пустая мелкая ссора двух достойнейших женщин, n'est-ce pas? Я только на тебя одного и надеюсь... Мы это здесь всё приведем в порядок; и какая здесь странная квартира, — оглядывался он почти боязливо, — и знаешь, этот хозяин... у него такое лицо... Скажи, он не опасен?

— Хозяин? О нет, чем же он может быть опасен?

— C'est ça. [3] Тем лучше. Il semble qu'il est bête, ce gentilhomme. [4] Cher enfant, ради Христа, не говори Анне Андреевне, что я здесь всего боюсь; я всё здесь похвалил с первого шагу, и хозяина похвалил. Послушай, ты знаешь историю о фон Зоне — помнишь?

— Так что же?

— Rien, rien du tout... Mais je suis libre ici, n'est-ce pas? [5] Как ты думаешь, здесь ничего не может со мной случиться ... в таком же роде?

— Но уверяю же вас, голубчик... помилуйте!

— Mon ami! Mon enfant! — воскликнул он вдруг, складывая перед собою руки и уже вполне не скрывая своего испуга, — если у тебя в самом деле что-то есть... документы... одним словом —

---

[1] Но ведь то, что ты говоришь, ужасно *(франц.)*.
[2] Не правда ли? я говорю не слишком много, но хорошо *(франц.)*.
[3] Да, конечно *(франц.)*.
[4] Он, кажется, глуп, этот дворянин *(франц.)*.
[5] Ничего, ничего... Но я здесь свободен, не правда ли? *(франц.)*

если у тебя есть что мне сказать, то не говори; ради бога, ничего не говори; лучше не говори совсем... как можно дольше не говори...

Он хотел броситься обнимать меня; слезы текли по его лицу; не могу выразить, как сжалось у меня сердце: бедный старик был похож на жалкого, слабого, испуганного ребенка, которого выкрали из родного гнезда какие-то цыгане и увели к чужим людям. Но обняться нам не дали: отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна, но не с хозяином, а с братом своим, камер-юнкером. Эта новость ошеломила меня; я встал и направился к двери.

— Аркадий Макарович, позвольте вас познакомить, — громко проговорила Анна Андреевна, так что я невольно должен был остановиться.

— Я *слишком* знаком уже с вашим братцем, — отчеканил я, особенно ударяя на слово слишком.

— Ах, тут ужасная ошибка! и я так ви-но-ват, милый Анд... Андрей Макарович, — начал мямлить молодой человек, подходя ко мне с необыкновенно развязным видом и захватив мою руку, которую я не в состоянии был отнять, — во всем виноват мой Степан; он так глупо тогда доложил, что я принял вас за другого — это в Москве, — пояснил он сестре, — потом я стремился к вам изо всей силы, чтоб разыскать и разъяснить, но заболел, вот спросите ее... Cher prince, nous devons être amis même par droit de naissance...[1]

И дерзкий молодой человек осмелился даже обхватить меня одной рукой за плечо, что было уже верхом фамильярности. Я отстранился, но, сконфузившись, предпочел скорее уйти, не сказав ни слова. Войдя к себе, я сел на кровать в раздумье и в волнении. Интрига душила меня, но не мог же я так прямо огорошить и подкосить Анну Андреевну. Я вдруг почувствовал, что и она мне тоже дорога и что положение ее ужасно.

III

Как я и ожидал того, она сама вошла в мою комнату, оставив князя с братом, который начал пересказывать князю какие-то светские сплетни, самые свежие и новоиспеченные, чем мигом и развеселил впечатлительного старичка. Я молча и с вопросительным видом приподнялся с кровати.

— Я вам сказала всё, Аркадий Макарович, — прямо начала она, — наша судьба в ваших руках.

— Но ведь и я вас предупредил, что не могу... Самые святые обязанности мешают мне исполнить то, на что вы рассчитываете...

— Да? Это — ваш ответ? Ну, пусть я погибну, а старик? Как вы рассчитываете: ведь он к вечеру сойдет с ума!

---

[1] Дорогой князь, мы должны быть друзьями хотя бы по праву рождения... *(франц.)*

— Нет, он сойдет с ума, если я ему покажу письмо дочери, в котором та советуется с адвокатом о том, как объявить отца сумасшедшим! — воскликнул я с жаром. — Вот чего он не вынесет. Знайте, что он не верит письму этому, он мне уже говорил!

Я прилгнул, что он мне говорил; но это было кстати.

— Говорил уже? Так я и думала! В таком случае я погибла; он о сю пору уж плакал и просился домой.

— Сообщите мне, в чем, собственно, заключается ваш план? — спросил я настойчиво.

Она покраснела, так сказать, от уязвленной надменности, однако скрепилась:

— С этим письмом его дочери в руках мы оправданы в глазах света. Я тотчас же пошлю к князю В—му и к Борису Михайловичу Пелищеву, его друзьям с детства; оба — почтенные влиятельные в свете лица, и, я знаю это, они уже два года назад с негодованием отнеслись к некоторым поступкам его безжалостной и жадной дочери. Они, конечно, помирят его с дочерью, по моей просьбе, и я сама на том настою; но зато положение дел совершенно изменится. Кроме того, тогда и родственники мои, Фанариотовы, как я рассчитываю, решатся поддержать мои права. Но для меня прежде всего его счастие; пусть он поймет наконец и оценит: кто действительно ему предан? Без сомнения, я всего более рассчитываю на ваше влияние, Аркадий Макарович: вы так его любите... Да кто его и любит-то, кроме нас с вами? Он только и говорил что об вас в последние дни; он тосковал об вас, вы — «молодой его друг»... Само собою, что всю жизнь потом благодарность моя не будет иметь границ...

Это уж она сулила мне награду — денег, может быть.

Я резко прервал ее:

— Что бы вы ни говорили, я не могу, — произнес я с видом непоколебимого решения, — я могу только заплатить вам такою же искренностью и объяснить вам мои последние намерения: я передам, в самом непродолжительном времени, это роковое письмо Катерине Николаевне в руки, но с тем, чтоб из всего, теперь случившегося, не делать скандала и чтоб она дала заранее слово, что не помешает вашему счастью. Вот всё, что я могу сделать.

— Это невозможно! — проговорила она, вся покраснев. Одна мысль о том, что Катерина Николаевна будет ее *щадить*, привела ее в негодование.

— Я не переменю решения, Анна Андреевна.

— Может быть, перемените.

— Обратитесь к Ламберту!

— Аркадий Макарович, вы не знаете, какие могут выйти несчастия через ваше упрямство, — проговорила она сурово и ожесточенно.

— Несчастия выйдут — это наверно... у меня кружится голова. Довольно мне с вами: я решился — и кончено. Только, ради бога, прошу вас — не приводите ко мне вашего брата.

— Но он именно желает загладить...

— Ничего не надо заглаживать! не нуждаюсь, не хочу, не хочу! — восклицал я, схватив себя за голову. (О, может быть, я поступил тогда с нею слишком свысока!) — Скажите, однако, где будет ночевать сегодня князь? Неужели здесь?

— Он будет ночевать здесь, у вас и с вами.

— К вечеру же я съеду на другую квартиру!

И вслед за этими беспощадными словами я схватил шапку и стал надевать шубу. Анна Андреевна молча и сурово наблюдала меня. Мне жаль было, — о, мне жаль было эту гордую девушку! Но я выбежал из квартиры, не оставив ей ни слова в надежду.

IV

Постараюсь сократить. Решение мое было принято неизменно, и я прямо отправился к Татьяне Павловне. Увы! могло бы быть предупреждено большое несчастие, если б я ее застал тогда дома; но, как нарочно, в этот день меня особенно преследовала неудача. Я, конечно, зашел и к маме, во-первых, чтоб проведать бедную маму, а во-вторых, рассчитывая почти наверно встретить там Татьяну Павловну; но и там ее не было; она только что куда-то ушла, а мама лежала больная, и с ней оставалась одна Лиза. Лиза попросила меня не входить и не будить мамы: «Всю ночь не спала, мучилась; слава богу, что хоть теперь заснула». Я обнял Лизу и сказал ей только два слова о том, что принял огромное и роковое решение и сейчас его исполню. Она выслушала без особого удивления, как самые обыкновенные слова. О, они все привыкли тогда к моим беспрерывным «последним решениям» и потом малодушным отменам их. Но теперь — теперь было дело другое! Я зашел, однако же, в трактир на канаве и посидел там, чтоб выждать и чтоб уж наверно застать Татьяну Павловну. Впрочем, объясню, зачем мне так вдруг понадобилась эта женщина. Дело в том, что я хотел ее тотчас послать к Катерине Николаевне, чтоб попросить ту в ее квартиру и при Татьяне же Павловне возвратить документ, объяснив всё и раз навсегда... Одним словом, я хотел только должного; я хотел оправдать себя раз навсегда. Порешив с этим пунктом, я непременно, и уже настоятельно, положил замолвить тут же несколько слов в пользу Анны Андреевны и, если возможно, взяв Катерину Николаевну и Татьяну Павловну (как свидетельницу), привезти их ко мне, то есть к князю, там помирить враждующих женщин, воскресить князя и... и... одним словом, по крайней мере тут, в этой кучке, сегодня же, сделать всех счастливыми, так что оставались бы лишь один Версилов и мама. Я не мог сомневаться в успехе: Катерина Николаевна, из благодарности за возвращение письма, за которое я не спросил бы с нее ничего, не могла мне отказать в такой просьбе. Увы! Я всё еще воображал, что обладаю

документом. О, в каком глупом и недостойном был я положении, сам того не ведая!

Уже сильно смерклось и было уже около четырех часов, когда я опять наведался к Татьяне Павловне. Марья ответила грубо, что «не приходила». Я очень припоминаю теперь странный взгляд исподлобья Марьи; но, разумеется, тогда мне еще ничего не могло зайти в голову. Напротив, меня вдруг кольнула другая мысль: в досаде и в некотором унынии спускаясь с лестницы от Татьяны Павловны, я вспомнил бедного князя, простиравшего ко мне давеча руки, — и я вдруг больно укорил себя за то, что я его бросил, может быть, даже из личной досады. Я с беспокойством начал представлять себе, что в мое отсутствие могло произойти у них даже что-нибудь очень нехорошее, и поспешно направился домой. Дома, однако, произошли лишь следующие обстоятельства.

Анна Андреевна, выйдя давеча от меня во гневе, еще не потеряла духа. Надобно передать, что она еще с утра посылала к Ламберту, затем послала к нему еще раз, и так как Ламберта всё не оказывалось дома, то послала наконец своего брата искать его. Бедная, видя мое сопротивление, возложила на Ламберта и на влияние его на меня свою последнюю надежду. Она ждала Ламберта с нетерпением и только дивилась, что он, не отходивший от нее и юливший около нее до сегодня, вдруг ее совсем бросил и сам исчез. Увы! ей и в голову не могло зайти, что Ламберт, обладая теперь документом, принял уже совсем другие решения, а потому, конечно, скрывается и даже нарочно от нее прячется.

Таким образом, в беспокойстве и с возраставшей тревогой в душе, Анна Андреевна почти не в силах была развлекать старика; а между тем беспокойство его возросло до угрожающих размеров. Он задавал странные и пугливые вопросы, стал даже на нее посматривать подозрительно и несколько раз начинал плакать. Молодой Версилов просидел тогда недолго. После него Анна Андреевна привела наконец Петра Ипполитовича, на которого так надеялась, но этот совсем не понравился, даже произвел отвращение. Вообще на Петра Ипполитовича князь почему-то смотрел всё с более и более возраставшею недоверчивостью и подозрительностью. А хозяин, как нарочно, пустился опять толковать о спиритизме и о каких-то фокусах, которые будто бы сам видел в представлении, а именно как один приезжий шарлатан, будто бы при всей публике, отрезывал человеческие головы, так что кровь лилась, и все видели, и потом приставлял их опять к шее, и что будто бы они прирастали, тоже при всей публике, и что будто бы всё это произошло в пятьдесят девятом году. Князь так испугался, а вместе с тем пришел почему-то в такое негодование, что Анна Андреевна принуждена была немедленно удалить рассказчика. К счастью, прибыл обед, нарочно заказанный накануне где-то поблизости (через Ламберта и Альфонсинку) у одного замечательного француза-

повара, жившего без места и искавшего поместиться в аристократическом доме или в клубе. Обед с шампанским чрезвычайно развеселил старика; он кушал много и очень шутил. После обеда, конечно, отяжелел, и ему захотелось спать, а так как он всегда спал после обеда, то Анна Андреевна и приготовила ему постель. Засыпая, он всё целовал у ней руки, говорил, что она — его рай, надежда, гурия, «золотой цветок», одним словом, пустился было в самые восточные выражения. Наконец заснул, и вот тут-то я и вернулся.

Анна Андреевна торопливо вошла ко мне, сложила передо мной руки и сказала, что «уже не для нее, а для князя, умоляет меня не уходить и, когда он проснется, пойти к нему. Без вас он погибнет, с ним случится нервный удар; я боюсь, что он не вынесет еще до ночи...» Она прибавила, что самой ей непременно надо будет отлучиться, «может быть, даже на два часа, и что князя, стало быть, она оставляет на одного меня». Я с жаром дал ей слово, что останусь до вечера и что, когда он проснется, употреблю все усилия, чтоб развлечь его.

— А я исполню свой долг! — заключила она энергически.

Она ушла. Прибавлю, забегая вперед: она сама поехала отыскивать Ламберта; это была последняя надежда ее; сверх того, побывала у брата и у родных Фанариотовых; понятно, в каком состоянии духа должна была она вернуться.

Князь проснулся примерно через час по ее уходе. Я услышал через стену его стон и тотчас побежал к нему; застал же его сидящим на кровати, в халате, но до того испуганного уединением, светом одинокой лампы и чужой комнатой, что, когда я вошел, он вздрогнул, привскочил и закричал. Я бросился к нему, и когда он разглядел, что это я, то со слезами радости начал меня обнимать.

— А мне сказали, что ты куда-то переехал на другую квартиру, испугался и убежал.

— Кто вам мог сказать это?

— Кто мог? Видишь, я, может быть, это сам выдумал, а может быть, кто и сказал. Представь, я сейчас сон видел: входит старик с бородой и с образом, с расколотым надвое образом, и вдруг говорит: «Так расколется жизнь твоя!»

— Ах, боже мой, вы, наверно, уже слышали от кого-нибудь, что Версилов разбил вчера образ?

— N'est-ce pas? Слышал, слышал! Я от Настасьи Егоровны еще давеча утром слышал. Она сюда перевозила мой чемодан и собачку.

— Ну, вот и приснилось.

— Ну, всё равно; и представь, этот старик всё мне грозил пальцем. Где же Анна Андреевна?

— Она сейчас воротится.

— Откуда? Она тоже уехала? — болезненно воскликнул он.

— Нет, нет, она сейчас тут будет и просила меня у вас посидеть.

— Oui, прийти. Итак, наш Андрей Петрович с ума спятил; «как невзначай и как проворно!» Я всегда предрекал ему, что он этим самым кончит. Друг мой, постой...

Он вдруг схватил меня рукой за сюртук и притянул к себе.

— Хозяин давеча, — зашептал он, — приносит вдруг фотографии, гадкие женские фотографии, всё голых женщин в разных восточных видах, и начинает вдруг показывать мне в стекло... Я, видишь ли, хвалил скрепя сердце, но так ведь точно они гадких женщин приводили к тому несчастному, с тем чтоб потом тем удобнее опоить его...

— Это вы всё о фон Зоне, да полноте же, князь! Хозяин —дурак и ничего больше!

— Дурак и ничего больше! C'est mon opinion! [1] Друг мой, если можешь, то спаси меня отсюдова! — сложил он вдруг предо мною руки.

— Князь, всё, что только могу! Я весь ваш... Милый князь, подождите, и я, может быть, всё улажу!

— N'est-ce pas? Мы возьмем да и убежим, а чемодан оставим для виду, так что он и подумает, что мы воротимся.

— Куда убежим? а Анна Андреевна?

— Нет, нет, вместе с Анной Андреевной... Oh, mon cher, у меня в голове какая-то каша... Постой: там, в саке направо, портрет Кати; я сунул его давеча потихоньку, чтоб Анна Андреевна и особенно чтоб эта Настасья Егоровна не приметили; вынь, ради бога, поскорее, поосторожнее, смотри, чтоб нас не застали... Да нельзя ли насадить на дверь крючок?

Действительно, я отыскал в саке фотографический, в овальной рамке, портрет Катерины Николаевны. Он взял его в руку, поднес к свету, и слезы вдруг потекли по его желтым, худым щекам.

— C'est un ange, c'est un ange du ciel! [2] — восклицал он. — Всю жизнь я был перед ней виноват... и вот теперь! Chère enfant, я не верю ничему, ничему не верю! Друг мой, скажи мне: ну можно ли представить, что меня хотят засадить в сумасшедший дом? Je dis des choses charmantes et tout le monde rit... [3] и вдруг этого-то человека — везут в сумасшедший дом?

— Никогда этого не было! — вскричал я. — Это — ошибка. Я знаю ее чувства!

— И ты тоже знаешь ее чувства? Ну и прекрасно! Друг мой, ты воскресил меня. Что же они мне про тебя наговорили? Друг мой, позови сюда Катю, и пусть они обе при мне поцелуются, и я повезу их домой, а хозяина мы прогоним!

---

[1] Это мое мнение! *(франц.)*
[2] Это ангел, ангел небесный! *(франц.)*
[3] Я говорю прелестные вещи, и все хохочут... *(франц.)*

Он встал, сложил предо мною руки и вдруг стал предо мной на колени.

— Cher, — зашептал он в каком-то безумном уже страхе, весь дрожа как лист, — друг мой, скажи мне всю правду: куда меня теперь денут?

— Боже! — вскричал я, подымая его и сажая на кровать, — да вы и мне, наконец, не верите; вы думаете, что и я в заговоре? Да я вас здесь никому тронуть пальцем не дам!

— C'est ça, не давай, — пролепетал он, крепко ухватив меня за локти обеими руками и продолжая дрожать. — Не давай меня никому! И не лги мне сам ничего... потому что неужто же меня отсюда отвезут? Послушай, этот хозяин, Ипполит, или как его, он... не доктор?

— Какой доктор?

— Это... это — не сумасшедший дом, вот здесь, в этой комнате?

— Но в это мгновение вдруг отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна. Должно быть, она подслушивала у двери и, не вытерпев, отворила слишком внезапно, — и князь, вздрагивавший при каждом скрипе, вскрикнул и бросился ничком в подушку. С ним произошло наконец что-то вроде припадка, разрешившегося рыданиями.

— Вот — плоды вашего дела, — проговорил я ей, указывая на старика.

— Нет, это — плоды вашего дела! — резко возвысила она голос. — В последний раз обращаюсь к вам, Аркадий Макарович, — хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и пожертвовать «безумными и детскими любовными мечтами вашими», чтоб спасти *родную* вашу сестру?

— Я спасу вас всех, но только так, как я вам сказал давеча! Я бегу опять; может быть, через час здесь будет сама Катерина Николаевна! Я всех примирю, и все будут счастливы! — воскликнул я почти в вдохновении.

— Приведи, приведи ее сюда, — встрепенулся князь. — Поведите меня к ней! я хочу Катю, я хочу видеть Катю и благословить ее! — восклицал он, воздымая руки и порываясь с постели.

— Видите, — указал я на него Анне Андреевне, — слышите, что он говорит: теперь уж во всяком случае никакой «документ» вам не поможет.

— Вижу, но он еще помог бы оправдать мой поступок во мнении света, а теперь — я опозорена! Довольно; совесть моя чиста. Я оставлена всеми, даже родным братом моим, испугавшимся неуспеха... Но я исполню свой долг и останусь подле этого несчастного, его нянькой, сиделкой!

Но времени терять было нечего, я выбежал из комнаты.

— Я возвращусь через час и возвращусь не один! — прокричал я с порога.

Глава двенадцатая

I

Наконец-то я застал Татьяну Павловну! Я разом изложил ей всё — всё о документе и всё, до последней нитки, о том, что у нас теперь на квартире. Хотя она и сама слишком понимала эти события и могла бы с двух слов схватить дело, однако изложение заняло у нас, я думаю, минут десять. Говорил я один, говорил всю правду и не стыдился. Она молча и неподвижно, выпрямившись как спица, сидела на своем стуле, сжав губы, не спуская с меня глаз и слушая из всех сил. Но когда я кончил, вдруг вскочила со стула, и до того стремительно, что вскочил и я.

— Ах, пащенок! Так это письмо в самом деле у тебя было зашито, и зашивала дура Марья Ивановна! Ах вы, мерзавцы-безобразники! Так ты с тем, чтоб покорять сердца, сюда ехал, высший свет побеждать, Черту Ивановичу отмстить за то, что побочный сын, захотел?

— Татьяна Павловна, — вскричал я, — не смейте браниться! Может быть, вы-то, с вашею бранью, с самого начала и были причиною моего здешнего ожесточения. Да, я — побочный сын и, может быть, действительно хотел отмстить за то, что побочный сын, и действительно, может быть, какому-то Черту Ивановичу, потому что сам черт тут не найдет виноватого; но вспомните, что я отверг союз с мерзавцами и победил свои страсти! Я молча положу перед нею документ и уйду, даже не дождавшись от нее слова; вы будете сами свидетельницей!

— Давай, давай письмо сейчас, клади сейчас сюда письмо на стол! Да ты лжешь, может быть?

— Оно в моем кармане зашито; сама Марья Ивановна зашивала; а здесь, как сшили новый сюртук, я вынул из старого и сам перешил в этот новый сюртук; вот оно здесь, пощупайте, не лгу-с!

— Давай его, вынимай его! — буянила Татьяна Павловна.

— Ни за что-с, это повторяю вам; я положу его перед нею при вас и уйду, не дождавшись единого слова; но надобно, чтоб она знала и видела своими глазами, что это я, я сам, передаю ей, добровольно, без принуждения и без награды.

— Опять красоваться? Влюблен, пащенок?

— Говорите пакости сколько вам угодно: пусть, я заслужил, но я не обижаюсь. О, пусть я покажусь ей мелким мальчишкой, который стерег ее и замышлял заговор; но пусть она сознается, что я покорил самого себя, а счастье *ее* поставил выше всего на свете! Ничего, Татьяна Павловна, ничего! Я кричу себе: кураж и надежда! Пусть это первый мой шаг вступления на поприще, но зато он хорошо кончился, благородно кончился! И что ж, что я ее люблю, продолжал я вдохновенно и сверкая глазами, — я не стыжусь этого: мама — ангел небесный, а *она* — царица земная!

Версилов вернется к маме, а перед нею мне стыдиться нечего; ведь я слышал же, что они там с Версиловым говорили, я стоял за портьерой... О, мы все трое — «одного безумия люди»! Да вы знаете ли, чье это словечко: «одного безумия люди»? Это — его словечко, Андрей Петровичево! Да знаете ли, что нас здесь, может быть, и больше, чем трое, одного-то безумия? Да бьюсь же об заклад, что и вы, четвертая, — этого же безумия человек! Хотите, скажу: бьюсь об заклад, что вы сами были влюблены всю жизнь в Андрея Петровича, а может быть, и теперь продолжаете...

Повторяю, я был в вдохновении и в каком-то счастье, но я не успел договорить: она вдруг как-то неестественно быстро схватила меня рукой за волосы и раза два качнула меня изо всей силы книзу... потом вдруг бросила и ушла в угол, стала лицом к углу и закрыла лицо платком.

— Пащенок! Не смей мне больше этого никогда говорить! — проговорила она плача.

Это всё было так неожиданно, что я был, естественно, ошеломлен. Я стоял и смотрел на нее, не зная еще, что сделаю.

— Фу, дурак! Поди сюда, поцелуй меня, дуру! — проговорила она вдруг, плача и смеясь, — и не смей, не смей никогда мне это повторить... А я тебя люблю и всю жизнь любила... дурака.

Я ее поцеловал. Скажу в скобках: с этих-то пор я с Татьяной Павловной и стал другом.

— Ах да! Да что ж это я! — воскликнула она вдруг, ударяя себя по лбу, — да что ты говоришь: старик князь у вас на квартире? Да правда ли?

— Уверяю вас.

— Ах боже мой! Ох, тошно мне! — закружилась и заметалась она по комнате. — И они там с ним распоряжаются! Эх, грозы-то нет на дураков! И с самого с утра? Ай да Анна Андреевна! Ай да монашенка! А ведь та-то, Милитриса-то, ничего-то ведь и не ведает!

— Какая Милитриса?

— Да царица-то земная, идеал-то! Эх, да что ж теперь делать?

— Татьяна Павловна! — вскричал я опомнившись, — мы говорили глупости, а забыли главное: я именно прибежал за Катериной Николаевной, и меня все опять там ждут.

И я объяснил, что я передам документ лишь с тем, что она даст слово немедленно примириться с Анной Андреевной и даже согласиться на брак ее...

— И прекрасно, — перебила Татьяна Павловна, — и я тоже ей сто раз повторяла. Ведь он умрет же до брака-то — всё равно не женится, а если деньги оставит ей в завещании, Анне-то, так ведь они же и без того уже вписаны туда и оставлены...

— Неужели Катерине Николаевне только денег жаль?

— Нет, она всё боялась, что документ у ней, у Анны-то, и я тоже. Мы ее и сторожили. Дочери-то не хотелось старика потрясти, а немчурке, Бьорингу, правда, и денег жалко было.

— И после этого она может выходить за Бьоринга?

— Да что ж с дурой поделаешь? Сказано — дура, так дура и будет вовеки. Спокойствие, видишь, какое-то он ей доставит: «Надо ведь, говорит, за кого-нибудь выходить, так за него будто всего ей способнее будет»; а вот и увидим, как там ей будет способнее. Хватит себя потом по бокам руками, а уж поздно будет.

— Так вы-то чего же допускаете? Ведь вы любите же ее; ведь вы в глаза же ей говорили, что влюблены в нее?

— И влюблена, и больше, чем вас всех, люблю, вместе взятых, а все-таки она — дура бессмысленная!

— Да сбегайте же за ней теперь, и мы всё порешим и сами повезем ее к отцу.

— Да нельзя, нельзя дурачок! То-то вот и есть! Ах, что делать! Ах, тошно мне! — заметалась она опять, захватив, однако, рукою плед. — Э-эх, кабы ты раньше четырьмя часами пришел, а теперь — восьмой, и она еще давеча к Пелищевым обедать отправилась, а потом с ними в оперу.

— Господи, так в оперу нельзя ли сбегать... да нет, нельзя! Так что ж теперь с стариком будет? Ведь он, пожалуй, почью помрет!

— Слушай, не ходи туда, ступай к маме, почуй там, а завтра рано...

— Нет, ни за что старика не оставлю, что бы ни вышло.

— И не оставляй; это — ты хорошо. А я, знаешь... побегу-ка я, однако, к ней и оставлю записку... знаешь, я напишу нашими словами (она поймет!), что документ тут и чтоб она завтра ровно в десять часов утра была у меня — ровнешенько! Не беспокойся, явится, меня-то уж послушается: тут всё разом и сладим. А ты беги туда и финти пред стариком что есть мочи, уложи его спать, авось вытянет до утра-то! Анну тоже не пугай; люблю ведь я и ее; ты к ней несправедлив, потому что понимать тут не можешь: она обижена, она с детства была обижена; ох, навалились вы все на меня! Да не забудь, скажи ей от меня, что за это дело я сама взялась, сама, и от всего моего сердца, и чтоб она была спокойна, и что гордости ее ущербу не будет... Ведь мы с ней в последние-то дни совсем разбранились, расплевались — изругались! Ну, беги... да постой, покажи-ка опять карман... да правда ли, правда ли? Ох, правда ли?! Да отдай ты мне это письмо хоть на ночь, чего тебе? Оставь, не съем. Ведь, пожалуй, за ночь-то из рук выпустишь... мненье переменишь?

— Ни за что! — вскрикнул я, — нате, щупайте, смотрите, а ни за что вам не оставлю!

— Вижу, что бумажка, — щупала она пальцами. — Э-эх, ну хорошо, ступай, а я к ней, может, и в театр махну, это ты хорошо сказал! Да беги же, беги!

— Татьяна Павловна, постойте, что мама?

— Жива.

— А Андрей Петрович?

Она махнула рукой.

— Очнется!

Я побежал ободренный, обнадеженный, хоть удалось и не так, как я рассчитывал. Но увы, судьба определила иначе, и меня ожидало другое — подлинно есть фатум на свете!

II

Еще с лестницы я заслышал в нашей квартире шум, и дверь в нее оказалась отпертою. В коридоре стоял незнакомый лакей в ливрее. Петр Ипполитович и жена его, оба чем-то перепуганные, находились тоже в коридоре и чего-то ждали. Дверь к князю была отворена, и там раздавался громовый голос, который я тотчас признал, — голос Бьоринга. Я не успел еще шагнуть двух шагов, как вдруг увидал, что князя, заплаканного, трепещущего, выводили в коридор Бьоринг и спутник его, барон Р., — тот самый, который являлся к Версилову для переговоров. Князь рыдал в голос, обнимал и целовал Бьоринга. Кричал же Бьоринг на Анну Андреевну, которая вышла было тоже в коридор за князем; он ей грозил и, кажется, топал ногами — одним словом, сказался грубый солдат-немец, несмотря на весь «свой высший свет». Потом обнаружилось, что ему почему-то взбрело тогда в голову, что уж Анна Андреевна виновата в чем-то даже уголовном и теперь несомненно должна отвечать за свой поступок даже перед судом. По незнанию дела, он его преувеличил, как бывает со многими, а потому уже стал считать себя вправе быть в высшей степени бесцеремонным. Главное, он не успел еще вникнуть: известили его обо всем анонимно, как оказалось после (и об чем я упомяну потом), и он налетел еще в том состоянии взбесившегося господина, в котором даже и остроумнейшие люди этой национальности готовы иногда драться, как сапожники. Анна Андреевна встретила весь этот наскок в высшей степени с достоинством, но я не застал того. Я видел только, что, выведя старика в коридор, Бьоринг вдруг оставил его на руках барона Р. и, стремительно обернувшись к Анне Андреевне, прокричал ей, вероятно отвечая на какое-нибудь ее замечание:

— Вы — интриганка! Вам нужны его деньги! С этой минуты вы опозорили себя в обществе и будете отвечать перед судом!..

— Это вы эксплуатируете несчастного больного и довели его до безумия... а кричите на меня потому, что я — женщина и меня некому защитить...

— Ах да! вы — невеста его, невеста! — злобно и неистово захохотал Бьоринг.

— Барон, барон... Chère enfant, je vous aime,[1] — проплакнул князь, простирая руки к Анне Андреевне.

— Идите, князь, идите: против вас был заговор и, может быть, даже на жизнь вашу! — прокричал Бьоринг.

---

[1] Дорогое дитя, я люблю вас *(франц.)*.

— Oui, oui, je comprends, j'ai compris au commencement...[1]

— Князь, — возвысила было голос Анна Андреевна, — вы меня оскорбляете и допускаете меня оскорблять!

— Прочь! — крикнул вдруг на нее Бьоринг.

Этого я не мог снести.

— Мерзавец! — завопил я на него. — Анна Андреевна, я — ваш защитник!

Тут я подробно не стану и не могу описывать. Сцена вышла ужасная и низкая, а я вдруг как бы потерял рассудок. Кажется, я подскочил и ударил его, по крайней мере сильно толкнул. Он тоже ударил меня из всей силы по голове, так что я упал на пол. Опомнившись, я пустился уже за ними на лестницу; помню, что у меня из носу текла кровь. У подъезда их ждала карета, и, пока князя сажали, я подбежал к карете и, несмотря на отталкивавшего меня лакея, опять бросился на Бьоринга. Тут не помню, как очутилась полиция. Бьоринг схватил меня за шиворот и грозно велел городовому отвести меня в участок. Я кричал, что и он должен идти вместе, чтоб вместе составить акт, и что меня не смеют взять, почти что с моей квартиры. Но так как дело было на улице, а не в квартире, и так как я кричал, бранился и дрался, как пьяный, и так как Бьоринг был в своем мундире, то городовой и взял меня. Но тут уж я пришел в полное исступление и, сопротивляясь из всех сил, кажется, ударил и городового. Затем, помню, их вдруг явилось двое, и меня повели. Едва помню, как привели меня в какую-то дымную, закуренную комнату, со множеством разных людей, стоявших и сидевших, ждавших и писавших; я продолжал и здесь кричать, я требовал акта. Но дело уже состояло не в одном акте, а усложнилось буйством и бунтом против полицейской власти. Да и был я в слишком безобразном виде. Кто-то вдруг грозно закричал на меня. Городовой меж тем обвинял меня в драке, рассказал о полковнике...

— Как фамилия? — крикнул мне кто-то.

— Долгорукий, — проревел я.

— Князь Долгорукий?

Вне себя, я ответил каким-то весьма скверным ругательством, а затем... затем помню, что меня потащили в какую-то темную каморку «для вытрезвления». О, я не протестую. Вся публика прочла еще как-то недавно в газетах жалобу какого-то господина, просидевшего всю ночь под арестом, связанного, и тоже в комнате для вытрезвления, но тот, кажется, был даже и не виноват; я же был виновен. Я повалился на нары в сообществе каких-то двух бесчувственно спавших людей. У меня болела голова, стучало в висках, стучало сердце. Должно быть, я обеспамятел и, кажется, бредил. Помню только, что проснулся среди глубокой ночи и присел на нарах. Я разом припомнил всё и всё осмыслил и, положив

---

[1] Да, да, понимаю, я сразу понял... *(франц.)*

локти в колени, руками подперев голову, погрузился в глубокое размышление.

О! я не стану описывать мои чувства, да и некогда мне, но отмечу лишь одно: может быть, никогда не переживал я более отрадных мгновений в душе моей, как в те минуты раздумья среди глубокой ночи, на нарах, под арестом. Это может показаться странным читателю, некоторым щелкоперством, желанием блеснуть оригинальностью — и, однако же, это всё было так, как я говорю. Это была одна из тех минут, которые, может быть, случаются и у каждого, но приходят лишь раз какой-нибудь в жизни. В такую минуту решают судьбу свою, определяют воззрение и говорят себе раз на всю жизнь: «Вот где правда и вот куда идти, чтоб достать ее». Да, те мгновения были светом души моей. Оскорбленный надменным Бьорингом и завтра же надеясь быть оскорбленным тою великосветскою женщиной, я слишком знал, что могу им ужасно отмстить, но я решил, что не буду мстить. Я решил, несмотря на всё искушение, что не обнаружу документа, не сделаю его известным уже целому свету (как уже и вертелось в уме моем); я повторял себе, что завтра же положу перед нею это письмо и, если надо, вместо благодарности вынесу даже насмешливую ее улыбку, но все-таки не скажу ни слова и уйду от нее навсегда... Впрочем, нечего распространяться. Обо всем же том, что произойдет со мной завтра здесь, как меня поставят перед начальством и что со мной сделают, — я почти и думать забыл. Я перекрестился с любовью, лег на нары и заснул ясным, детским сном.

Проснулся я поздно, когда уже рассвело. В комнате я уже был один. Я сел и стал молча дожидаться, долго, около часу; должно быть, было уже около девяти часов, когда меня вдруг позвали. Я бы мог войти в более глубокие подробности, но не стоит, ибо всё это теперь постороннее; мне же только бы досказать главное. Отмечу лишь, что, к величайшему моему удивлению, со мной обошлись неожиданно вежливо: меня что-то спросили, я им что-то ответил, и мне тотчас же позволили уйти. Я вышел молча, и во взглядах их с удовольствием прочел даже некоторое удивление к человеку, умевшему даже в таком положении не потерять своего достоинства. Если б я не заметил этого, то я бы не записал. У выхода ждала меня Татьяна Павловна. В двух словах объясню, почему это так легко мне тогда сошло с рук.

Рано утром, еще, может быть, в восемь часов, Татьяна Павловна прилетела в мою квартиру, то есть к Петру Ипполитовичу, всё еще надеясь застать там князя, и вдруг узнала о всех вчерашних ужасах, а главное, о том, что я был арестован. Мигом бросилась она к Катерине Николаевне (которая еще вчера, возвратясь из театра, свиделась с привезенным к ней отцом ее), разбудила ее, напугала и потребовала, чтоб меня немедленно освободили. С запиской от нее она тотчас же полетела к Бьорингу и немедленно вытребовала от него другую записку, к «кому следует», с убедитель-

пейшею просьбою самого Бьоринга немедленно освободить меня, «арестованного по недоразумению». С этой запиской она и прибыла в участок, и просьба его была уважена.

III

Затем продолжаю о главном.

Татьяна Павловна, подхватив меня, посадила па извозчика и привезла к себе, немедленно приказала самовар и сама отмыла и отчистила меня у себя в кухне. В кухне же громко сказала мне, что в половине двенадцатого к ней будет сама Катерина Николаевна — как еще давеча они условились обе — для свидания со мной. Вот тут-то и услышала Марья. Через несколько минут она подала самовар, а еще через две минуты, когда Татьяна Павловна вдруг ее кликнула, она не отозвалась: оказалось, что она зачем-то вышла. Это я прошу очень заметить читателя; было же тогда, я полагаю, без четверти десять часов. Хоть Татьяна Павловна и рассердилась на ее исчезновение без спросу, но подумала лишь, что она вышла в лавочку, и тут же пока забыла об этом. Да и не до того нам было; мы говорили без умолку, потому что было о чем, так что я, например, на исчезновение Марьи совсем почти и не обратил внимания; прошу читателя и это запомнить.

Само собою, я был как в чаду; я излагал свои чувства, а главное — мы ждали Катерину Николаевну, и мысль, что через час я с нею наконец встречусь, и еще в такое решительное мгновение в моей жизни, приводила меня в трепет и дрожь. Наконец, когда я выпил две чашки, Татьяна Павловна вдруг встала, взяла со стола ножницы и сказала:

— Подавай карман, надо вынуть письмо — не при ней же взрезывать!

— Да! — воскликнул я и расстегнул сюртук.

— Что это у тебя тут напутано? Кто зашивал?

— Сам, сам, Татьяна Павловна.

— Ну и видно, что сам. Ну, вот оно...

Письмо вынули; старый пакет был тот же самый, а в нем торчала пустая бумажка.

— Это — что ж?.. — воскликнула Татьяна Павловна, перевертывая ее. — Что с тобой?

Но я стоял уже без языка, бледный... и вдруг в бессилии опустился на стул; право, со мной чуть не случился обморок.

— Да что тут еще! — завопила Татьяна Павловна. — Где ж твоя записка?

— Ламберт! — вскочил я вдруг, догадавшись и ударив себя по лбу.

Торопясь и задыхаясь, я ей всё объяснил — и ночь у Ламберта, и наш тогдашний заговор; впрочем, я ей еще вчера признался об этом заговоре.

— Украли! Украли! — кричал я, топоча по полу и схватив себя за волосы.

— Беда! — решила вдруг Татьяна Павловна, поняв, в чем дело. — Который час?

Было около одиннадцати.

— Эх, нету Марьи!.. Марья, Марья!

— Что вам, барыня? — вдруг отозвалась Марья из кухни.

— Ты здесь? Да что ж теперь делать! Полечу я к ней... Эх ты, рохля, рохля!

— А я — к Ламберту! — завопил я, — и задушу его, если надо!

— Барыня! — пропищала вдруг из кухни Марья, — тут какая-то вас очень спрашивает...

Но она еще не успела договорить, как «какая-то» стремительно, с криком и воплем ворвалась сама из кухни. Это была Альфонсинка. Не стану описывать сцены в полной подробности; сцена была — обман и подделка, но должно заметить, что сыграла ее Альфонсинка великолепно. С плачем раскаяния и с неистовыми жестами она затрещала (по-французски, разумеется), что письмо она тогда взрезала сама, что оно теперь у Ламберта и что Ламберт вместе с «этим разбойником», cet homme noir,[1] хотят зазвать Madame la générale[2] и застрелить ее, сейчас, через час... что она узнала всё это от них и что вдруг ужасно испугалась, потому что у них увидела пистолет, le pistolet, и теперь бросилась сюда к нам, чтоб мы шли, спасли, предупредили... Cet homme noir...

Одним словом, всё это было чрезвычайно правдоподобно, даже самая глупость некоторых Альфонсинкиных разъяснений усиливала правдоподобие.

— Какой homme noir? — прокричала Татьяна Павловна.

— Tiens, j'ai oublié son nom... Un homme affreux... Tiens, Versiloff.[3]

— Версилов, быть не может! — завопил я.

— Ах нет, может! — взвизгнула Татьяна Павловна. — Да говори ты, матушка, не прыгая, руками-то не махай; что ж они там хотят? Растолкуй, матушка, толком: не поверю же я, что они стрелять в нее хотят?

«Матушка» растолковала так (NB: всё была ложь, предупреждаю опять): Versiloff будет сидеть за дверью, а Ламберт, как она войдет, покажет ей cette lettre,[4] тут Versiloff выскочит, и они ее... Oh, ils feront leur vengeance![5] Что она, Альфонсинка, боится беды, потому что сама участвовала, а cette dame, la générale, непременно приедет, «сейчас, сейчас», потому что они послали ей

---

[1] этим черным человеком *(франц.)*.

[2] генеральшу *(франц.)*.

[3] Ах, я забыла, как же его зовут... Ужасный человек... Да, Версилов *(франц.)*.

[4] это письмо *(франц.)*.

[5] О, они совершат свое мщение! *(франц.)*

с письма копию, и та тотчас увидит, что у них в самом деле есть это письмо, и поедет к ним, а написал ей письмо один Ламберт, а про Версилова она не знает; а Ламберт рекомендовался как приехавший из Москвы, от одной московской дамы, une dame de Moscou (NB. Марья Ивановна!).

— Ах, тошно мне! Ах, тошно мне! — восклицала Татьяна Павловна.

— Sauvez-la, sauvez-la! [1] — кричала Альфонсинка.

Уж конечно, в этом сумасшедшем известии даже с первого взгляда заключалось нечто несообразное, но обдумывать было некогда, потому что в сущности всё было ужасно правдоподобно. Можно еще было предположить, и с чрезвычайною вероятностью, что Катерина Николаевна, получив приглашение Ламберта, заедет сначала к нам, к Татьяне Павловне, чтоб разъяснить дело; но зато ведь этого могло и не случиться и она прямо могла проехать к ним, а уж тогда — она пропала! Трудно было тоже поверить, чтоб она так и бросилась к неизвестному ей Ламберту по первому зову; но опять и это могло почему-нибудь так случиться, например, увидя копию и удостоверившись, что у них в самом деле письмо ее, а тогда — всё та же беда! Главное, времени у нас не оставалось ни капли, даже чтоб рассудить.

— А Версилов ее зарежет! Если он унизил себя до Ламберта, то он ее зарежет! Тут двойник! — вскричал я.

— Ах, этот «двойник»! — ломала руки Татьяна Павловна. — Ну, нечего тут, — решилась она вдруг, — бери шапку, шубу и — вместе марш. Вези нас, матушка, прямо к ним. Ах, далеко! Марья, Марья, если Катерина Николаевна приедет, то скажи, что я сейчас буду и чтоб села и ждала меня, а если не захочет ждать, то запри дверь и не выпускай ее силой. Скажи, что я так велела! Сто рублей тебе, Марья, если сослужишь службу.

Мы выбежали на лестницу. Без сомнения, лучше нельзя было и придумать, потому что, во всяком случае, главная беда была в квартире Ламберта, а если в самом деле Катерина Николаевна приехала бы раньше к Татьяне Павловне, то Марья всегда могла ее задержать. И однако, Татьяна Павловна, уже подозвав извозчика, вдруг переменила решение.

— Ступай ты с ней! — велела она мне, оставляя меня с Альфонсинкой, — и там умри, если надо, понимаешь? А я сейчас за тобой, а прежде махну-ка я к ней, авось застану, потому что, как хочешь, а мне подозрительно!

И она полетела к Катерине Николаевне. Мы же с Альфонсинкой пустились к Ламберту. Я погонял извозчика и на лету продолжал расспрашивать Альфонсинку, но Альфонсинка больше отделывалась восклицаниями, а наконец и слезами. Но нас всех хранил бог и уберег, когда всё уже висело на ниточке. Мы не проехали еще и четверти дороги, как вдруг я услышал за собой крик: меня

[1] Спасите ее, спасите! *(франц.)*

звали по имени. Я оглянулся — нас на извозчике догонял Тришатов.

— Куда? — кричал он испуганно, — и с ней, с Альфонсинкой!

— Тришатов! — крикнул я ему, — правду вы сказали — беда! еду к подлецу Ламберту! Поедем вместе, всё больше людей!

— Воротитесь, воротитесь сейчас! — прокричал Тришатов. — Ламберт обманывает, и Альфонсинка обманывает. Меня рябой послал; их дома нет: я встретил сейчас Версилова и Ламберта; они проехали к Татьяне Павловне... они теперь там...

Я остановил извозчика и перескочил к Тришатову. До сих пор не понимаю, каким образом я мог так вдруг решиться, но я вдруг поверил и вдруг решился. Альфонсинка завопила ужасно, но мы ее бросили, и уж не знаю, поворотила ли она за нами, или отправилась домой, но уж я ее больше не видал.

На извозчике Тришатов, кое-как и задыхаясь, сообщил мне, что есть какая-то махинация, что Ламберт согласился было с рябым, но что рябой изменил ему в последнее мгновение и сам послал сейчас Тришатова к Татьяне Павловне уведомить ее, чтоб Ламберту и Альфонсинке не верить. Тришатов прибавил, что больше он ничего не знает, потому что рябой ему ничего больше не сообщил, потому что не успел, что он сам торопился куда-то и что всё было наскоро. «Я увидел, — продолжал Тришатов, — что вы едете, и погнался за вами». Конечно, было ясно, что этот рябой тоже знает всё, потому что послал Тришатова прямо к Татьяне Павловне; но это уж была новая загадка.

Но, чтоб не вышло путаницы, я, прежде чем описывать катастрофу, объясню всю настоящую правду и уже в последний раз забегу вперед.

IV

Украв тогда письмо, Ламберт тотчас же соединился с Версиловым. О том, как мог Версилов совокупиться с Ламбертом, — я пока и говорить не буду: это — потом; главное — тут был «двойник»! Но, совокупившись с Версиловым, Ламберту предстояло как можно хитрее заманить Катерину Николаевну. Версилов прямо утверждал ему, что она не придет. Но у Ламберта еще с тех самых пор, как я тогда, третьего дня вечером, встретил его на улице и, зарисовавшись, объявил ему, что возвращу ей письмо в квартире Татьяны Павловны и при Татьяне Павловне, — у Ламберта, с той самой минуты, над квартирой Татьяны Павловны устроилось нечто вроде шпионства, а именно — подкуплена была Марья. Марье он подарил двадцать рублей, и потом, через день, когда совершилась кража документа, вторично посетил Марью и уже тут договорился с нею радикально и обещал ей за услугу двести рублей.

Вот почему Марья, как услышала давеча, что в половине двенадцатого Катерина Николаевна будет у Татьяны Павловны

и что буду тут и я, то тотчас же бросилась из дому и на извозчике прискакала с этим известием к Ламберту. Именно про это-то она и должна была сообщить Ламберту — в том и заключалась услуга. Как раз у Ламберта в ту минуту находился и Версилов. В один миг Версилов выдумал эту адскую комбинацию. Говорят, что сумасшедшие в иные минуты ужасно бывают хитры.

Комбинация состояла в том, чтоб выманить нас обоих, Татьяну и меня, из квартиры во что бы ни стало, хоть на четверть только часа, но до приезда Катерины Николаевны. Затем — ждать на улице и, только что мы с Татьяной Павловной выйдем, вбежать в квартиру, которую отворит им Марья, и ждать Катерину Николаевну. Альфонсинка же той порой должна была из всех сил задерживать нас где хочет и как хочет. Катерина же Николаевна должна была прибыть, как обещала, в половине двенадцатого, стало быть — непременно вдвое раньше, чем мы могли воротиться. (Само собою, что Катерина Николаевна никакого приглашения от Ламберта не получала и что Альфонсинка налгала, и вот эту-то штуку и выдумал Версилов, во всех подробностях, а Альфонсинка только разыграла роль испуганной предательницы.) Разумеется, они рисковали, но рассудили они верно: «Сойдется — хорошо, не сойдется — еще ничего не потеряно, потому что документ все-таки в руках». Но оно сошлось, да и не могло не сойтись, потому что мы никак не могли не побежать за Альфонсинкой уже по одному только предположению: «А ну как это всё правда!» Опять повторяю: рассудить было некогда.

V

Мы вбежали с Тришатовым в кухню и застали Марью в испуге. Она была поражена тем, что когда пропустила Ламберта и Версилова, то вдруг как-то приметила в руках у Ламберта — револьвер. Хоть она и взяла деньги, но револьвер вовсе не входил в ее расчеты. Она была в недоуменье и, чуть завидела меня, так ко мне и бросилась:

— Генеральша пришла, а у них пистолет!

— Тришатов, постойте здесь в кухне, — распорядился я, — а чуть я крикну, бегите изо всех сил ко мне на помощь.

Марья отворила мне дверь в коридорчик, и я скользнул в спальню Татьяны Павловны — в ту самую каморку, в которой могла поместиться одна лишь только кровать Татьяны Павловны и в которой я уже раз нечаянно подслушивал. Я сел на кровать и тотчас отыскал себе щелку в портьере.

Но в комнате уже был шум и говорили громко; замечу, что Катерина Николаевна вошла в квартиру ровно минуту спустя после них. Шум и говор я заслышал еще из кухни; кричал Ламберт. Она сидела на диване, а он стоял перед нею и кричал как дурак. Теперь я знаю, почему он так глупо потерялся: он торопился

и боялся, чтоб их не накрыли; потом я объясню, кого именно он боялся. Письмо было у него в руках. Но Версилова в комнате не было; я приготовился броситься при первой опасности. Передаю лишь смысл речей, может быть, многое и не так припоминаю, но тогда я был в слишком большом волнении, чтобы запомнить до последней точности.

— Это письмо стоит тридцать тысяч рублей, а вы удивляетесь! Оно сто тысяч стоит, а я только тридцать прошу! — громко и страшно горячась, проговорил Ламберт.

Катерина Николаевна хоть и видимо была испугана, но смотрела на него с каким-то презрительным удивлением.

— Я вижу, что здесь устроена какая-то западня, и ничего не понимаю, — сказала она, — но если только это письмо в самом деле у вас...

— Да вот оно, сами видите! Разве не то? В тридцать тысяч вексель, и ни копейки меньше! — перебил ее Ламберт.

— У меня нет денег.

— Напишите вексель — вот бумага. Затем пойдете и достанете денег, а я буду ждать, но неделю — не больше. Деньги принесете — отдам вексель и тогда и письмо отдам.

— Вы говорите со мной таким странным тоном. Вы ошибаетесь. У вас сегодня же отберут этот документ, если я поеду и пожалуюсь.

—Кому? Ха-ха-ха! А скандал, а письмо покажем князю! Где отберут? Я не держу документов в квартире. Я покажу князю через третье лицо. Не упрямьтесь, барыня, благодарите, что я еще не много прошу, другой бы, кроме того, попросил еще услуг... знаете каких... в которых ни одна хорошенькая женщина не отказывает, при стеснительных обстоятельствах, вот каких... Хе-хе-хе! Vous êtes belle, vous! [1]

Катерина Николаевна стремительно встала с места, вся покраснела и — плюнула ему в лицо. Затем быстро направилась было к двери. Вот тут-то дурак Ламберт и выхватил револьвер. Он слепо, как ограниченный дурак, верил в эффект документа, то есть — главное — не разглядел, с кем имеет дело, именно потому, как я сказал уже, что считал всех с такими же подлыми чувствами, как и он сам. Он с первого слова раздражил ее грубостью, тогда как она, может быть, и не уклонилась бы войти в денежную сделку.

— Ни с места! — завопил он, рассвирепев от плевка, схватив ее за плечо и показывая револьвер, — разумеется для одной лишь острастки. — Она вскрикнула и опустилась на диван. Я ринулся в комнату; но в ту же минуту из двери в коридор выбежал и Версилов. (Он там стоял и выжидал.) Не успел я мигнуть, как он выхватил револьвер у Ламберта и из всей силы ударил его револьвером по голове. Ламберт зашатался и упал без чувств; кровь хлынула из его головы на ковер.

---

[1] Вы же красивая женщина! *(франц.)*

Она же, увидав Версилова, побледнела вдруг как полотно; несколько мгновений смотрела на него неподвижно, в невыразимом ужасе, и вдруг упала в обморок. Он бросился к ней. Всё это теперь передо мной как бы мелькает. Я помню, как с испугом увидел я тогда его красное, почти багровое лицо и налившиеся кровью глаза. Думаю, что он хоть и заметил меня в комнате, но меня как бы не узнал. Он схватил ее, бесчувственную, с неимоверною силою поднял ее к себе на руки, как перышко, и бессмысленно стал носить ее по комнате, как ребенка. Комната была крошечная, но он слонялся из угла в угол, видимо не понимая, зачем это делает. В один какой-нибудь миг он лишился тогда рассудка. Он всё смотрел на ее лицо. Я бежал за ним и, главное, боялся револьвера, который он так и забыл в своей правой руке и держал его возле самой ее головы. Но он оттолкнул меня раз локтем, другой раз ногой. Я хотел было крикнуть Тришатову, но боялся раздражить сумасшедшего. Наконец я вдруг раздвинул портьеру и стал умолять его положить ее на кровать. Он подошел и положил, а сам стал над нею, пристально с минуту смотрел ей в лицо и вдруг, нагнувшись, поцеловал ее два раза в ее бледные губы. О, я понял наконец, что это был человек уже совершенно вне себя. Вдруг он замахнулся на нее револьвером, но, как бы догадавшись, обернул револьвер и навел его ей в лицо. Я мгновенно, изо всей силы, схватил его за руку и закричал Тришатову. Помню: мы оба боролись с ним, но он успел вырвать свою руку и выстрелить в себя. Он хотел застрелить ее, а потом себя. Но когда мы не дали ее, то уткнул револьвер себе прямо в сердце, но я успел оттолкнуть его руку кверху, и пуля попала ему в плечо. В это мгновение с криком ворвалась Татьяна Павловна; но он уже лежал на ковре без чувств, рядом с Ламбертом.

Глава тринадцатая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I

Теперь этой сцене минуло почти уже полгода, и многое утекло с тех пор, многое совсем изменилось, а для меня давно уже наступила новая жизнь... Но развяжу и я читателя.

Для меня по крайней мере первым вопросом, и тогда и еще долго спустя, было: как мог Версилов соединиться с таким, как Ламберт, и какую цель он имел тогда в виду? Мало-помалу я пришел к некоторому разъяснению: по-моему, Версилов в те мгновения, то есть в тот весь последний день и накануне, не мог иметь ровно никакой твердой цели и даже, я думаю, совсем тут и не рассуждал, а был под влиянием какого-то вихря чувств. Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем

более что он — и теперь вовсе не сумасшедший. Но «двойника» допускаю несомненно. Что такое, собственно, двойник? Двойник, по крайней мере по одной медицинской книге одного эксперта, которую я потом нарочно прочел, двойник — это есть не что иное, как первая ступень некоторого серьезного уже расстройства души, которое может повести к довольно худому концу. Да и сам Версилов в сцене у мамы разъяснил нам это тогдашнее «раздвоение» его чувств и воли с страшною искренностью. Но опять-таки повторю: та сцена у мамы, тот расколотый образ хоть бесспорно произошли под влиянием настоящего двойника, но мне всегда с тех пор мерещилось, что отчасти тут и некоторая злорадная аллегория, некоторая как бы ненависть к ожиданиям этих женщин, некоторая злоба к их правам и к их суду, и вот он, пополам с двойником, и разбил этот образ! «Так, дескать, расколются и ваши ожидания!» Одним словом, если и был двойник, то была и просто блажь... Но всё это — только моя догадка; решить же наверно — трудно.

Правда, несмотря на обожание Катерины Николаевны, в нем всегда коренилось самое искреннее и глубочайшее неверие в ее нравственные достоинства. Я наверно думаю, что он так и ждал тогда за дверью ее унижения перед Ламбертом. Но хотел ли он того, если даже и ждал? Опять-таки повторяю: я твердо верю, что он ничего не хотел и даже не рассуждал. Ему просто хотелось быть тут, выскочить потом, сказать ей что-нибудь, а может быть — может быть, и оскорбить, может быть, и убить ее... Всё могло случиться тогда; но только, придя с Ламбертом, он ничего не знал из того, что случится. Прибавлю, что револьвер был Ламбертов, а сам он пришел безоружный. Увидя же ее гордое достоинство, а главное, не стерпев подлеца Ламберта, грозившего ей, он выскочил — и уж затем потерял рассудок. Хотел ли он ее застрелить в то мгновение? По-моему, сам не знал того, но наверно бы застрелил, если б мы не оттолкнули его руку.

Рана его оказалась несмертельною и зажила, но пролежал он довольно долго — у мамы, разумеется. Теперь, когда я пишу эти строки, — на дворе весна, половина мая, день прелестный, и у нас отворены окна. Мама сидит около него; он гладит рукой ее щеки и волосы и с умилением засматривает ей в глаза. О, это — только половина прежнего Версилова; от мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдет более. Он даже получил «дар слезный», как выразился незабвенный Макар Иванович в своей повести о купце; впрочем, мне кажется, что Версилов проживет долго. С нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя, не теряя, впрочем, ни меры, ни сдержанности и не говоря лишнего. Весь ум его и весь нравственный склад его остались при нем, хотя всё, что было в нем идеального, еще сильнее выступило вперед. Я прямо скажу, что никогда столько не любил его, как теперь, и мне жаль, что не имею ни времени, ни места, чтобы поболее поговорить о нем. Впрочем, расскажу один недавний

анекдот (а их много): к великому посту он уже выздоровел и на шестой неделе объявил, что будет говеть. Не говел он лет тридцать, я думаю, или более. Мама была рада; стали готовить постное кушанье, довольно, однако, дорогое и утонченное. Я слышал из другой комнаты, как он в понедельник и во вторник напевал про себя: «Се жених грядет» — и восторгался и напевом и стихом. В эти два дня он несколько раз прекрасно говорил о религии; но в среду говенье вдруг прекратилось. Что-то его вдруг раздражило, какой-то «забавный контраст», как он выразился смеясь. Что-то не понравилось ему в наружности священника, в обстановке; но только он воротился и вдруг сказал с тихою улыбкою: «Друзья мои, я очень люблю бога, но — я к этому не способен». В тот же день за обедом уже подали ростбиф. Но я знаю, что мама часто и теперь садится подле него и тихим голосом, с тихой улыбкой, начинает с ним заговаривать иногда о самых отвлеченных вещах: теперь она вдруг как-то *осмелилась* перед ним, но как это случилось — не знаю. Она садится около него и говорит ему, всего чаще шепотом. Он слушает с улыбкою, гладит ее волосы, целует ее руки, и самое полное счастье светится на лице его. С ним бывают иногда и припадки, почти истерические. Он берет тогда ее фотографию, ту самую, которую он в тот вечер целовал, смотрит на нее со слезами, целует, вспоминает, подзывает нас всех к себе, но говорит в такие минуты мало... О Катерине Николаевне он как будто совершенно забыл и имени ее ни разу не упомянул. О браке с мамой тоже еще ничего у нас не сказано. Хотели было на лето везти его за границу; но Татьяна Павловна настояла, чтоб не возить, да и он сам не захотел. Летом они проживут на даче, где-то в деревне, в Петербургском уезде. Кстати, мы все пока живем на средства Татьяны Павловны. Одно прибавлю: мне страшно грустно, что, в течение этих записок, я часто позволял себе относиться об этом человеке непочтительно и свысока. Но я писал, слишком воображая себя таким именно, каким был в каждую из тех минут, которые описывал. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого, именно процессом припоминания и записывания. От многого отрекаюсь, что написал, особенно от тона некоторых фраз и страниц, но не вычеркну и не поправлю ни единого слова.

Я сказал, что о Катерине Николаевне он не говорит ни единого слова; но я даже думаю, что, может быть, и совсем излечился. О Катерине Николаевне говорим иногда лишь я да Татьяна Павловна, да и то по секрету. Теперь Катерина Николаевна за границей; я виделся с нею перед отъездом и был у ней несколько раз. Из-за границы я уже получил от нее два письма и отвечал на них. Но о содержании наших писем и о том, о чем мы переговорили, прощаясь перед отъездом, я умолчу: это уже другая история, совсем *новая* история, и даже, может быть, вся она еще в будущем. Я даже и с Татьяной Павловной о некоторых вещах умалчиваю;

но довольно. Прибавлю лишь, что Катерина Николаевна не замужем и путешествует с Пелищевыми. Отец ее скончался, и она — богатейшая из вдов. В настоящую минуту она в Париже. Разрыв ее с Бьорингом произошел быстро и как бы сам собой, то есть в высшей степени натурально. Впрочем, расскажу об этом.

В утро той страшной сцены рябой, тот самый, к которому перешли Тришатов и друг его, успел известить Бьоринга о предстоящем злоумышлении. Это случилось таким образом: Ламберт все-таки склонил его к участию вместе и, овладев тогда документом, сообщил ему все подробности и все обстоятельства предприятия, а наконец, и самый последний момент их плана, то есть когда Версилов выдумал комбинацию об обмане Татьяны Павловны. Но в решительное мгновение рябой предпочел изменить Ламберту, будучи благоразумнее их всех и предвидя в проектах их возможность уголовщины. Главное же: он почитал благодарность Бьоринга гораздо вернее фантастического плана неумелого, но горячего Ламберта и почти помешанного от страсти Версилова. Всё это я узнал потом от Тришатова. Кстати, я не знаю и не понимаю отношений Ламберта к рябому и почему Ламберт не мог без него обойтись. Но гораздо любопытнее для меня вопрос: зачем нужен был Ламберту Версилов, тогда как Ламберт, имея уже в руках документ, совершенно бы мог обойтись без его помощи? Ответ мне теперь ясен: Версилов нужен был ему, во-первых, по знанию обстоятельств, а главное, Версилов был нужен ему, в случае переполоха или какой беды, чтобы свалить на него всю ответственность. А так как денег Версилову было не надо, то Ламберт и почел его помощь даже весьма не лишнею. Но Бьоринг не поспел тогда вовремя. Он прибыл уже через час после выстрела, когда квартира Татьяны Павловны представляла уже совсем другой вид. А именно: минут пять спустя после того как Версилов упал на ковер окровавленный, приподнялся и встал Ламберт, которого мы все считали убитым. Он с удивлением осмотрелся, вдруг быстро сообразил и вышел в кухню, не говоря ни слова, там надел свою шубу и исчез навсегда. «Документ» он оставил на столе. Я слышал, что он даже не был и болен, а лишь немного похворал; удар револьвером ошеломил его и вызвал кровь, не произведя более никакой беды. Меж тем Тришатов уже убежал за доктором; но еще до доктора очнулся и Версилов, а еще до Версилова Татьяна Павловна, приведя в чувство Катерину Николаевну, успела отвезти ее к ней домой. Таким образом, когда вбежал к нам Бьоринг, то в квартире Татьяны Павловны находились лишь я, доктор, больной Версилов и мама, еще больная, но прибывшая к нему вне себя и за которой сбегал тот же Тришатов. Бьоринг посмотрел с недоумением и, как только узнал, что Катерина Николаевна уже уехала, тотчас отправился к ней, не сказав у нас ни слова.

Он был смущен; он ясно видел, что теперь скандал и огласка почти неминуемы. Большого скандала, однако же, не произошло,

а вышли лишь слухи. Скрыть выстрела не удалось — это правда; но вся главная история, в главной сущности своей, осталась почти неизвестною; следствие определило только, что некто В., влюбленный человек, притом семейный и почти пятидесятилетний, в исступлении страсти и объясняя свою страсть особе, достойной высшего уважения, но совсем не разделявшей его чувств, сделал, в припадке безумия, в себя выстрел. Ничего больше не вышло наружу, и в таком виде известие проникло темными слухами и в газеты, без собственных имен, с начальными лишь буквами фамилий. По крайней мере я знаю, что Ламберта, например, совсем не обеспокоили. Тем не менее Бьоринг, знавший истину, испугался. Вот тут-то, как нарочно, ему вдруг удалось узнать о происходившем свидании, глаз на глаз, Катерины Николаевны с влюбленным в нее Версиловым, еще за два дня до той катастрофы. Это его взорвало, и он, довольно неосторожно, позволил себе заметить Катерине Николаевне, что после этого его уже не удивляет, что с ней могут происходить такие фантастические истории. Катерина Николаевна тут же и отказала ему, без гнева, но и без колебаний. Всё предрассудочное мнение ее о каком-то благоразумии брака с этим человеком исчезло как дым. Может быть, она уже и давно перед тем его разгадала, а может быть, после испытанного потрясения, вдруг изменились некоторые ее взгляды и чувства. Но тут я опять умолкаю. Прибавлю только, что Ламберт исчез в Москву, и я слышал, что там в чем-то попался. А Тришатова я давно уже, почти с тех самых пор, выпустил из виду, как ни стараюсь отыскать его след даже и теперь. Он исчез после смерти своего друга «le grand dadais»: [1] тот застрелился.

II

Я упомянул о смерти старого князя Николая Ивановича. Добрый, симпатичный старик этот умер скоро после происшествия, впрочем, однако, целый месяц спустя — умер ночью, в постели, от нервного удара. Я с того самого дня, который он прожил на моей квартире, не видал его более. Рассказывали про него, что будто бы он стал в этот месяц несравненно разумнее, даже суровее, не пугался более, не плакал и даже совсем ни разу не произнес во всё это время ни единого слова об Анне Андреевне. Вся любовь его обратилась к дочери. Катерина Николаевна как-то раз, за неделю до его смерти, предложила было ему призвать меня, для развлечения, но он даже нахмурился: факт этот сообщаю без всяких объяснений. Имение его оказалось в порядке, и, кроме того, оказался весьма значительный капитал. До трети этого капитала пришлось, по завещанию старика, разделить бесчисленным его крестницам; но чрезвычайно странно показалось

[1] верзилы *(франц.)*.

для всех, что об Анне Андреевне в завещании этом не упоминалось вовсе: ее имя было пропущено. Но вот что, однако же, мне известно как достовернейший факт: за несколько лишь дней до смерти старик, призвав дочь и друзей своих, Пелищева и князя В—го, велел Катерине Николаевне, в возможном случае близкой кончины его, непременно выделить из этого капитала Анне Андреевне шестьдесят тысяч рублей. Высказал он свою волю точно, ясно и кратко, не позволив себе ни единого восклицания и ни единого пояснения. По смерти его и когда уже выяснились дела, Катерина Николаевна уведомила Анну Андреевну, через своего поверенного, о том, что та может получить эти шестьдесят тысяч когда захочет; но Анна Андреевна сухо, без лишних слов отклонила предложение: она отказалась получить деньги, несмотря на все уверения, что такова была действительно воля князя. Деньги и теперь еще лежат, ее ожидая, и теперь еще Катерина Николаевна надеется, что она переменит решение; но этого не случится, и я знаю про то наверно, потому что я теперь — один из самых близких знакомых и друзей Анны Андреевны. Отказ ее наделал некоторого шуму, и об этом заговорили. Тетка ее, Фанариотова, раздосадованная было сначала ее скандалом с старым князем, вдруг переменила мнение и, после отказа ее от денег, торжественно заявила ей свое уважение. Зато брат ее рассорился с нею за это окончательно. Но хоть я и часто бываю у Анны Андреевны, но не скажу, чтоб мы пускались в большие интимности; о старом не упоминаем вовсе; она принимает меня к себе очень охотно, но говорит со мной как-то отвлеченно. Между прочим, она твердо заявила мне, что непременно пойдет в монастырь; это было недавно; но я ей не верю и считаю лишь за горькое слово.

Но горькое, настоящее горькое слово предстоит мне сказать в особенности о сестре моей Лизе. Вот тут — так несчастье, да и что такое все мои неудачи перед ее горькой судьбой! Началось с того, что князь Сергей Петрович не выздоровел и, не дождавшись суда, умер в больнице. Скончался он еще раньше князя Николая Ивановича. Лиза осталась одна, с будущим своим ребенком. Она не плакала и с виду была даже спокойна; сделалась кротка, смиренна; но вся прежняя горячность ее сердца как будто разом куда-то в ней схоронилась. Она смиренно помогала маме, ходила за больным Андреем Петровичем, но стала ужасно неразговорчива, ни на кого и ни на что даже не взглядывала, как будто ей всё равно, как будто она лишь проходит мимо. Когда Версилову сделалось легче, она начала много спать. Я приносил было ей книги, но она не читала их; она стала страшно худеть. Я как-то не осмеливался начать утешать ее, хотя часто приходил именно с этим намерением; но в присутствии ее мне как-то не подходилось к ней, да и слов таких не оказывалось у меня, чтобы заговорить об этом. Так продолжалось до одного страшного случая: она упала с нашей лестницы, не высоко, всего с трех ступенек, но

она выкинула, и болезнь ее продолжалась почти всю зиму. Теперь она уже встала с постели, но здоровью ее надолго нанесен удар. Она по-прежнему молчалива с нами и задумчива, но с мамой начала понемногу говорить. Все эти последние дни стояло яркое, высокое, весеннее солнце, и я всё припоминал про себя то солнечное утро, когда мы, прошлою осенью, шли с нею по улице, оба радуясь и надеясь и любя друг друга. Увы, что сталось после того? Я не жалуюсь, для меня наступила новая жизнь, но она? Ее будущее — загадка, а теперь я и взглянуть на нее не могу без боли.

Недели три назад я, однако ж, успел заинтересовать ее известием о Васине. Он был наконец освобожден и выпущен совсем на свободу. Этот благоразумный человек дал, говорят, самые точные изъяснения и самые интересные сообщения, которые вполне оправдали его во мнении людей, от которых зависела его участь. Да и пресловутая рукопись его оказалась не более как переводом с французского, так сказать материалом, который он собирал единственно для себя, намереваясь составить потом из него одну полезную статью для журнала. Он отправился теперь в —ю губернию, а отчим его, Стебельков, и доселе продолжает сидеть в тюрьме по своему делу, которое, как я слышал, чем далее, тем более разрастается и усложняется. Лиза выслушала об Васине с странною улыбкою и заметила даже, что с ним непременно должно было так случиться. Но она была, видимо, довольна — конечно, тем, что вмешательство покойного князя Сергея Петровича не повредило Васину. Про Дергачева же и других я здесь ничего не имею сообщить.

Я кончил. Может быть, иному читателю захотелось бы узнать: куда ж это девалась моя «идея» и что такое та новая, начинавшаяся для меня теперь жизнь, о которой я так загадочно возвещаю? Но эта новая жизнь, этот новый, открывшийся передо мною путь и есть моя же «идея», та самая, что и прежде, но уже совершенно в ином виде, так что ее уже и узнать нельзя. Но в «Записки» мои всё это войти уже не может, потому что это — уже совсем другое. Старая жизнь отошла совсем, а новая едва начинается. Но прибавлю, однако, необходимое: Татьяна Павловна, искренний и любимый друг мой, пристает ко мне чуть не каждый день с увещаниями непременно и как можно скорее поступить в университет: «Потом, как кончишь учение, тогда и выдумывай, а теперь доучись». Признаюсь, я задумываюсь о ее предложении, но совершенно не знаю, чем решу. Между прочим, я возразил ей, что я даже и не имею теперь права учиться, потому что должен трудиться, чтобы содержать маму и Лизу; но она предлагает на то свои деньги и уверяет, что их достанет на всё время моего университета. Я решился наконец спросить совета у одного человека. Рассмотрев кругом меня, я выбрал этого человека тщательно и критически. Это — Николай Семенович, бывший мой воспитатель в Москве, муж Марьи Ивановны. Не то чтобы я так нуждался в чьем-нибудь

совете; но мне просто и неудержимо захотелось услышать мнение этого совершенно постороннего и даже несколько холодного эгоиста, но бесспорно умного человека. Я послал ему всю мою рукопись, прося секрета, потому что я не показывал еще ее никому, и в особенности Татьяне Павловне. Посланная рукопись прибыла ко мне обратно через две недели и при довольно длинном письме. Из письма этого сделаю лишь несколько выдержек, находя в них некоторый общий взгляд и как бы нечто разъяснительное. Вот эти выдержки.

III

«...И никогда не могли вы, незабвенный Аркадий Макарович, употребить с большею пользою ваш временный досуг, как теперь, написав эти ваши „Записки“! Вы дали себе, так сказать, сознательный отчет о первых, бурных и рискованных, шагах ваших на жизненном поприще. Твердо верю, что сим изложением вы действительно могли во многом „перевоспитать себя“, как выразились сами. Собственно критических заметок, разумеется, не позволю себе ни малейших: хотя каждая страница наводит на размышления... например, то обстоятельство, что вы так долго и так упорно держали у себя „документ“ — в высшей степени характеристично... Но это — лишь одна заметка из сотен, которую я разрешил себе. Весьма ценю тоже, что вы решились мне сообщить, и, по-видимому, мне одному, „тайну вашей идеи“, по собственному вашему выражению. Но в просьбе вашей сообщить мое мнение собственно об этой идее должен вам решительно отказать: во-первых, на письме не уместится, а во-вторых — и сам не готов к ответу, и мне надо еще это переварить. Замечу лишь, что „идея“ ваша отличается оригинальностью, тогда как молодые люди текущего поколения набрасываются большею частию на идеи не выдуманные, а предварительно данные, и запас их весьма невелик, а часто и опасен. Ваша, например, „идея“ уберегла вас, по крайней мере на время, от идей гг. Дергачева и комп., без сомнения не столь оригинальных, как ваша. А наконец, я в высшей степени согласен с мнением многоуважаемейшей Татьяны Павловны, которую хотя и знавал лично, но не в состоянии был доселе оценить в той мере, как она того заслуживает. Мысль ее о поступлении вашем в университет в высшей степени для вас благотворна. Наука и жизнь несомненно раскроют, в три-четыре года, еще шире горизонты мыслей и стремлений ваших, а если и после университета пожелаете снова обратиться к вашей „идее“, то ничто не помешает тому.

Теперь позвольте мне самому, и уже без вашей просьбы, изложить вам откровенно несколько мыслей и впечатлений, пришедших мне в ум и душу при чтении столь откровенных записок ваших. Да, я согласен с Андреем Петровичем, что за вас и за *уединенную* юность вашу действительно можно было опа-

саться. И таких, как вы, юношей немало, и способности их действительно всегда угрожают развиться к худшему — или в молчалинское подобострастие, или в затаенное желание беспорядка. Но это желание беспорядка — и даже чаще всего — происходит, может быть, от затаенной жажды порядка и „благообразия“ (употребляю ваше слово)? Юность чиста уже потому, что она — юность. Может быть, в этих, столь ранних, порывах безумия заключается именно эта жажда порядка и это искание истины, и кто ж виноват, что некоторые современные молодые люди видят эту истину и этот порядок в таких глупеньких и смешных вещах, что не понимаешь даже, как могли они им поверить! Замечу кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали впоследствии к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое. И если, например, и сознавали, в начале дороги, всю беспорядочность и случайность свою, всё отсутствие благородного в их хотя бы семейной обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потом сами и тем самым приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе — именно потому, что примкнуть почти не к чему.

Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я — совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно. Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в „Преданиях русского семейства“, и, поверьте, что тут действительно всё, что у нас было доселе красивого. По крайней мере тут всё, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного. Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия.

Там хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь, да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь наконец построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже двести лет всё ничего не выходит.

Не обвините в славянофильстве; это — я лишь так, от мизантропии, ибо тяжело на сердце! Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто совсем обратное изображенному выше. Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети. Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой. Не про истинных прогрессистов я говорю, милейший Аркадий Макарович, а про тот лишь сброд, оказавшийся бесчисленным, про который сказано: „Grattez le russe et vous verrez le tartare“.[1] И поверьте, что истинных либералов, истинных и великодушных друзей человечества у нас вовсе не так много, как это нам вдруг показалось.

Но всё это — философия; воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою. О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до́ того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем. Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это — мираж. Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средневысшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской, — этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде. Даже должен явиться каким-нибудь чудаком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать как за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось поле. Еще далее — и исчезнет даже и этот внук-мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но увы! роман ли только окажется тогда невозможным?

Чем далеко ходить, прибегну к вашей же рукописи. Взгляните, например, на оба семейства господина Версилова (на сей раз позвольте уж мне быть вполне откровенным). Во-первых, про

---

[1] «Поскребите русского и вы увидите татарина» *(франц.)*.

самого Андрея Петровича я не распространяюсь; но, однако, он — всё же из родоначальников. Это — дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории. Но довольно о нем самом; вот, однако же, его родовое семейство: про сына его и говорить не стану, да и не стоит он этой чести. Те, у кого есть глаза, знают заранее, до чего дойдут у нас подобные сорванцы, а кстати и других доведут. Но вот его дочь, Анна Андреевна, — и чем же не с характером девица? Лицо в размерах матушки игуменьи Митрофании — разумеется, не предрекая ничего уголовного, что было бы уже несправедливым с моей стороны. Скажите мне теперь, Аркадий Макарович, что семейство это — явление случайное, и я возрадуюсь духом. Но, напротив, не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно родовых, семейств русских с неудержимою силою переходят массами в семейства *случайные* и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе. Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да, Аркадий Макарович, вы — *член случайного семейства,* в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших детство и отрочество.

Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!

Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, — еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться.

Но такие „Записки“, как ваши, могли бы, кажется мне, послужить материалом для будущего художественного произведения, для будущей картины — беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса. Вот тогда-то и понадобятся подобные „Записки“, как ваши, и дадут материал — были бы искренни, несмотря даже на всю их хаотичность и случайность... Уцелеют по крайней мере хотя некоторые верные черты, чтоб угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени, — дознание, не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения...»

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДРОСТОК. *Роман.*

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том XIII

Редакторы издательства *Т. А. Лапицкая* и *К. Н. Феноменов*

Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*

Технический редактор *М. Н. Кондратьева*

Корректоры *В. А. Пузиков* и *А. Х. Салтанаева*

Сдано в набор 14/X 1974 г. Подписано к печати 7/I 1975 г. Формат бумаги $60 \times 90^1/_{16}$.
Бумага № 1. Печ. л. $28^1/_2+1$ вкл. ($^1/_8$ печ. л.)=28,62 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 31,9.
Изд. № 4855. Тип. зак. № 1689. Тираж 200 000. *Цена 2 р. 30 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.